



ШИЛЛЕР

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

ФРИДРИХ
ШИЛЛЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В СЕМИ ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1957

ФРИДРИХ
ШИЛЛЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ СЕДЬМОЙ

ПИСЬМА


ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1957

Издание осуществляется
под общей редакцией
Н. Н. В И Л Ъ М О Н Т А и Р. М. С А М А Р И Н А

Переводы с немецкого
под редакцией
Н. А. С Л А В Я Т И Н С К О Г О



ПИСЬМА





1. ФРИДРИХУ ШАРФЕНШТЕЙНУ

[Штутгарт, лето 1777 г.]

Я не обошелся с тобой дурно, и ты напрасно обвиняешь меня в злосердечии. Мое сердце чисто, радостно, твоя записка не повергла его в смущение, я не покрылся краской стыда, не заплакал, не затрепетал, ибо оно чисто, нет в нем ни фальши, ни обмана, и потому у меня найдутся разумные, серьезные, искренние слова.

Да, верно, я слишком превознес тебя в своих стихах! Верно! Бесспорно верно! Сангир, которого я так люблю, жил только в моем сердце. Одному богу известно, как он зародился в нем; но жил он только в моем сердце, и я обожал его в тебе, его несхожем подобии! Господь не покарает меня за это, ибо я заблуждался только из любви — не из сумасбродства, не из криводушия! Видит бог, подле тебя я забывал обо всем, обо всех! Подле тебя я расцветал, ибо гордился твоей дружбой; но я хотел возвыситься ею не в глазах человечества, а перед горними силами, к которым так рвалось мое сердце, чей голос, казалось, говорил мне: вот единственный, кого ты вправе любить. Я расцветал в твоём присутствии, и все же никогда не был больше принижен, чем в минуты, когда я смотрел на тебя, слышал твои речи, видел, как ты чувствуешь то, чего не могли выразить твои уста; в эти мгновенья я казался себе таким маленьким, как никогда и нигде, я возносил мольбы господа, чтобы он сделал меня равным тебе! Шарфенштейн! Он с нами, он все слышит и покарает меня, если это не так! Но это так, видит бог, это так.

Ты без труда вспомнишь, как в предвкушении этих блаженных времен я дышал только дружбой, как все, все, даже мои стихи, одушевлялось чувством дружбы. Господь да простит тебя, если ты можешь столь низко и неблагоприятно, столь ложно судить обо всем.

А что скрепляло нашу дружбу? Кóрысть? (Я говорю здесь о себе, ибо, видит бог, в тебе я не умею до конца разобраться.) Или легкомыслие? сумасбродство? Были то низкие, земные или — высокие, бессмертные божественные узы? Ответь мне! Ответь! О, дружба, подобная нашей, могла бы длиться вечно! Ответь мне! Ответь искренне! Где бы ты мог сыскать другого, кто бы так одинаково с тобою чувствовал, как тогда, в тихую звездную ночь у моего окна или на той вечерней прогулке, когда мы взорами говорили друг с другом! Перебери всех, всех вокруг себя, где найдешь ты такого, как твой Шиллер, где, среди тысяч, найду я того, кто стал бы мне тем, кем ты мог стать! Верь, верь мне всей душой, каждый из нас был подобием другого; верь мне, отсвет небес мог бы пасть на нашу дружбу, она выросла бы на прекрасной, плодородной почве; нам обоим она не предвещала ничего, кроме рая. Пусть бы один из нас десять раз умер, смерть не отняла бы у нас ни часа... Какая то могла быть дружба!.. И вот! вот!.. как это случилось? как зашло так далеко?

Да, я стал холоден!.. Знает бог... я остался Селимом, а Сангира не стало! Потому я и стал холоден, — но пойми меня правильно, — холоден в ваших глазах! Тревога, порывы моей души, долго, долго бросавшие меня из стороны в сторону, улеглись, я обрел покой, способность чувствовать, могучую опору, и вот стал холоден к тебе.

Но почему — я знаю, ты это спросишь, — почему ты стал холоднее? Послушай, Шарфенштейн, господь властвует над нами, господь слышит меня и тебя, господь рассудит нас! Неужели ты думаешь, все это было хвастовство, фантазерство и я избрал тебя для того, чтоб мне было о ком болтать в моих стихах? Слушай, несчастный, пусть взор твой навеки останется обращенным к земле, если в тебе еще раз шевельнется эта постыдная мысль; а ты ведь высказал ее в своей записке.

Помнишь ли ты еще о нашей первой встрече? Что это за нелепая болтовня о «добром утре»? Разве ты с первых же минут не узнал меня совсем с другой стороны? Право же, если в тебе еще осталось что-то от дружбы, в которой мы поклялись, то это могло бы служить доказательством, что ты отличал меня среди прочих приятелей, ибо я думаю то же самое о пустых словах приветствия.

Но вернемся к главному! Почему я стал холоден? Потому что я любил тебя, потому что я был тебе другом и видел... что ты мне не платишь тем же... Не поражает ли тебя эта мысль: ты мне не был другом! Тебе следовало бы уважать меня, как я тебя уважал; чтобы быть другом друга, надо уважать в нем качества, делающие его достойным уважения, но, но... да не поразит это твое сердце ударом грома — ты ни во что меня не ставил, ты проглядел во мне качества, присущие другу, потешался надо мною, высмеивал мои недостатки, которые каждый день заставляют меня страдать и раскаиваться. Ты молчал, когда долг дружбы требовал, чтобы ты любовно и спокойно мне их разъяснил, и только в гневе попрекал меня — стыдно! стыдно! позорное поведение! — Что ж это было? Дружба, обман или притворство? Ты видишь, я нагромоздил жалобу на жалобу; но я за все отвечаю, я приведу тебе все доказательства, лишь бы ты себе уяснил, как мало уважения и любви ты питал ко мне, сколь мелочным считал мое сердце! А раз так, мог ли ты быть мне другом? Мог ли ты любить того, в ком было столько смешного? Или ты не хотел произнести слово «дружба»? Или ты и впрямь намеревался исправить меня? Ах! Стыдно тебе, обманутой, слепой провидец людских душ: не тем путем исправляют души!.. Так за дело не берутся.

Ты меня ни во что не ставил. Как часто (но лишь когда ты впадал в ярость, — в другое время ты высказывал притворное уважение и восхищение), как часто, как часто доводилось мне слышать от тебя и Буа-жоля — о, как горько, как обидно! — что вся моя сущность вымышленная, а чувства мои — показные чувства. И еще, будто бог, религия, дружба для меня только плод фантазии, короче, что я представляю себе их как поэт, а не как христианин, не как друг. Горе,

горе! Как это ранило мое сердце, а вы это говорили, бог, всеведущий бог, тому свидетель, говорили, да еще с ханжеским видом, с напускной серьезностью. О горе, горе! Как больно мне это слышать от вас! — от тебя!

Вспомни, что ты говорил, когда мне не нравилась какая-нибудь книга, стихотворение и тому подобное, например «Аминта» Клейста. «Правда, в них нет истинного взлета (но ты это говорил только в гневе, в другое время ты предпочитал молчать), нет образов, но зато чувства, совсем другие чувства, чем в твоих стихах, где они заботливо написаны кистью; надо, мол, иметь сердце и т. д.». Да, так ты говорил. А теперь загляни в свою душу, мой Шарфенштейн,— смотри: мне больше не сдержатъ этого возгласа,— смотри на небо пристально, упорно, туда, куда только и должен был устремляться взор нашей дружбы, смотри и спрашивай себя: «Был ли я прав; от чистого ли сердца я избрал в друзья того, кому недостает самого главного в дружбе — теплого сердца, чьи чувства сосредоточены лишь на кончике пера или отложились в памяти после чтения Клопштока?» О, бог да простит тебя за то, что ты так погрешил против своего Селима. Правда, я многим обязан Клопштоку, но я глубоко воспринял его, он сроднился с моими чувствами, вошел в мою плоть и кровь. Это так, он утешит меня в мой последний час.

Далее. Ты потешался над моими пороками! Ты знал, как я самолюбив. Господи боже, я признаю этот порок одним из самых постыдных, я тщусь выкорчевать его из сердца; господи боже ты мой, я сознаюсь в нем, я в нем какось! А ты знал, как я самолюбив,— и теперь пред лицом господа дозвошь тебе сказать: ты над этим потешался. Ты, друг, стыдил меня перед людьми, ты, который с глазу на глаз молчал, таился! Как часто — я упоминаю об этом лишь между прочим — ты пылко восторгался моими стихами, как часто до небес превозносил мой дух, как часто, когда мы вдвоем сидели на моей кровати, ты изумленно выслушивал мои нелепые самовосхваления и молчал. Можно было подумать, что в гневе тебя случайно прорвало или кто-то нашептал все это на ухо Буажолу. Ты не порицал меня даже за

то, что заслуживало всяческого порицания. Уж не хотел ли ты потешить мое самолюбие? Прочь, я стыжусь, что был другом такого человека! Помнишь ли ты еще, как мы среди многих других стояли у постели Гебеля и ты попросил меня помериться с тобою ростом (р. *ragenthèse*¹ должен тебе сказать, что мне и это не понравилось; ты видел, должен был видеть, с какою болью, с какою неохотой я на это согласился; у меня тогда была какая-то неприятность дома, а ты не в первый раз требовал от меня — безо всякой нужды — того, что мне не хотелось делать). Ну что ж, я стал мериться с тобой, и ты перед посторонними людьми со злобной усмешкой процедил: «Он вырос телом и духом!», и тут же, обернувшись ко мне: «Здоровенный детина!» О, неужели ты не заметил, как я тогда покраснел, и ничего еще не заметил? Ты выставил на посмеяние мое самолюбие, и я стоял, господь знает, с каким чувством, меня уязвлял мой великий порок. Но эта издевка, этот миг... от тебя... на глазах у всех... О, я не мог плакать, мне пришлось отвернуться; лучше смерть, чем еще одно такое мгновение из-за тебя!.. Да не прожжет эта слеза твоей души! Ты еще сказал одному из друзей: скоро он будет стоять рядом со мной в шеренге. Прости мне, Шарф, если в это мгновение я молил бога о противном, а бывали ведь минуты, когда единственной моей мечтой было стоять с тобою рядом! Слушай, Шарфенштейн, господь знает про то, господь меня слышит и господь да рассудит нас, если я говорю неискренне. Я не стал бы мучить тебя, но я должен облегчить свое сердце! Хочу еще только сказать, как мучительно мне было, когда оказалось, что ты так привержен Грубу. Ты знаешь, ты мог и должен был знать, почему я ни во что не ставлю этого человека: у него злое и мелочное сердце! И он стал твоим другом? Человек, от которого отворачиваются многие мои товарищи, стоит подле того, кто хочет быть для меня единственным? Мой единственный друг идет бок о бок с ненавистным мне человеком? Из всего этого ты видишь, что в моем сердце нет лжи, как ты полагал! Я выбрал тебя

¹ Кстати (*фр.*).

в друзья, потому что ты умнее, опытнее, положительнее меня, потому что ты единственный, кто вплотную приблизился к моим сокровенным чувствам, потому что у меня, кроме тебя, нет друга! Я все это сказал тебе в час заключения дружбы! Оправдал ли ты мои надежды, понял ли ты мои слова? Шарф, господь пребывает с нами, он все видит! Да рассудит он нас с тобою.

Ну, а теперь я хочу закончить письмо. Я не чувствую себя покинутым. Видишь ли, я открыл источник живительный и благословенный, нашел истинно, истинно прекрасного друга, и потому я прощаю тебя — прощаю — прощаю, — и пусть господь так же простит меня при моем последнем, предсмертном содрогании; все прощаю тебе, готов всегда делать тебе добро, но мне еще долго придется отворачивать лицо от моего Шарфенштейна, чтобы скрыть слезы! Еще раз повторю: я прощаю тебя; я только что читал в библии жизнь Давида. Он и Ионафан любили друг друга, как мои Селим и Сангир, а ими я буду любим и на небесах, ибо сам люблю их! Были когда-то на свете благородные друзья! — и я искал вечной дружбы... Но на небесах мне встретятся благородные сердца! Жаль, что милую мне строфу в моем Селиме и Сангире я должен признать лживой:

Сангир любил Селима нежно,
Как ты меня, мой Шарфенштейн,
Селим любил Сангира нежно,
Как я тебя, мой Шарфенштейн.

Шиллер.

2. ХРИСТОФИНЕ ШИЛЛЕР

Штутгарт, 19 июня 1780 г.

Дорогая сестрица!

Я уже часто выслушивал упреки за свое молчание; но на сей раз я их не заслужил, моя милая. Правда, ты ведь тогда еще не знала, что безвременная кончина младшего сына капитана фон Ховена отняла у меня дорогого, любимого друга. Теперь ты поймешь, до чего мало оставалось у меня времени для писем, ведь я по-

стоянно находился у одра умирающего — как медик и, еще больше, — как участливый друг. Однажды я бодрствовал подле него ночь напролет вместе с его братом и несчастной матерью. Понятно, что мне в те дни было не до писем.

О дорогая моя, с каким трудом освободился я от впечатлений смерти и человеческого страдания. Ведь очень печально, милая сестра, видеть, как умирает молодой человек, умный, добрый, полный надежд. Я был очень привязан к покойному — славному, благородному юноше. Ты знавала его в Людвигсбурге необузданным, легкомысленным, грубоватым, но за девять лет, проведенных в академии, в особенности же за два последних года, он очень изменился к лучшему, превратившись в тонко чувствующего, впечатлительного, нежного и умного юношу. Я смело могу тебе сказать, что с радостью положил бы за него жизнь. Он был очень дорог мне, а жизнь была и осталась для меня тяжким бременем.

Добрая моя сестра, что выстрадало бы твое чувствительное сердце и сердце моей нежной матери, что, господи, выстрадал бы мой почтенный, милый отец, возложивший на меня столько надежд, — больше, чем я когда-нибудь смогу осуществить, — окажись я, единственный сын и брат, на месте моего друга. А ведь могло быть, а может и будет, что и вам не придется радоваться моему выходу из академии, что я — видишь, я не решаюсь выговорить перед тобой эти слова, но ведь все может статься — кому дано заглянуть в тайные книги судеб... Для меня это было бы желательным, тысячекратно желательным исходом. Я больше не радуюсь жизни, и я почитал бы себя счастливым *безвременно* расстаться с нею. Прошу тебя, сестра, если так случится, будь умницей, утешься и утешь своих родителей.

Я написал отцу почившего благородного юноши, и ответ его очень польстил мне. Он готов считать меня своим вторым сыном, готов быть моим другом, моим отцом. Сестра, ты поймешь, как это растрогало меня. Мне посчастливилось, одному из многих тысяч (незаслуженное счастье!), иметь *наилучшего отца*, и вот находится другой, тоже превосходный человек, кото-

рый называет меня сыном. В академии у меня много друзей, очень меня любящих. У меня есть ты, моя дорогая, и все же это не поселяет хоть сколько-нибудь прочной радости в моей душе. Ты не знаешь, в какой мере я внутренне изменился, как я опустошен. Да ты никогда и не должна узнать, что подрывает силы моего духа.

Прилагаю рисунки. Прости, что не послал их раньше. Друг, который дал мне их, недавно вернулся из Гогенгейма и должен был еще заняться их подборкой. Прилагаю также книгу покойного военного пастора Гауса. Если хочешь, оставь ее себе.

Белье пришли поскорее. Башмаки тоже.

Попроси милого папу прислать мне стопу бумаги и несколько перьев.

Напомни милой маме о чулках и попроси ее сделать мне рубашку без манжет — ночную. Можно из грубого холста.

Будь здорова, моя дорогая. Веселись, как истая поселянка. Деревенская жизнь пойдет тебе на пользу и развлечет тебя.

Это письмо не показывай нашим милым родителям — ты знаешь, почему, — мне не хочется их огорчать.

Еще раз будь здорова и продолжай любить твоего брата, почитающего себя счастливым оттого, что он может называться твоим.

И. Х. Ф. Шиллер.

3. ВИЛЬГЕЛЬМУ ПЕТЕРСЕНУ

[Штутгарт, весна 1781 г.]

Любезный друг, для того чтобы ты понял, как важно мне выпустить в свет мою трагедию, и для того чтобы ты тем решительнее, в случае твоего согласия, — а я на него надеюсь, — этому поспособствовал, я еще раз письменно напомню все, что тебе уже говорил Ховен, по части искусства убеждать не уступающий Францу.

Первая и важнейшая причина, по которой я хочу ее опубликования— это всемогущий Маммон, столь не привыкший обитать под моим кровом,— то есть деньги. Штейдлин за лист своих *стихов* получил по дукату от одного тюрингенского издателя. Почему бы мне за мою трагедию, в которой после добавления окажется 12—14 тесно напечатанных листов, не получить от мангеймского издателя столько же или еще больше. Все, что превысит 50 гульденов,— твое. Только не подумай, пожалуйста, что я хочу поймать тебя на удочку корысти (ведь я тебя знаю); ты это честно заработал, а деньги тебе пригодятся.

Вторую причину понять нетрудно, это — мнение света. Мне важно представить на неподкупный суд публики то, на что я и несколько человек друзей смотрят, быть может, не в меру снисходительно. Прибавь еще к этому волнение, надежды, любопытство,— все это скрасит и сократит мне унылую пору ожидания ответа и рассеет мою хандру. Естественно, что я, кроме того, хочу знать, какая участь ждет меня как драматурга, как писателя.

И, наконец, третья причина, пожалуй, самая существенная: у меня нет в жизни других перспектив, кроме работы в области медицины. Это значит, что мне нужно искать счастья и должности там, где я смогу использовать и заново проштудировать мою «Физиологию и философию». Если я и буду писать что-либо постороннее, то опять-таки из этой области. Работы на поприще поэзии, трагедии и т. п. стали бы только помехой моим намерениям сделаться профессором физиологии и медицины. Посему я хочу уже сейчас покончить с этим.

Итак, милый друг, напиши мне, каково твое мнение и есть ли оно у тебя вообще! Огласки опасаться нечего, я буду соблюдать величайшую осторожность. А если слух и разнесется, то ты всегда успеешь выдать за автора одного из твоих братьев. Не думаю, чтобы ты назвал самого себя, это было бы слишком лестно для моего произведения. Не забудь также деньги за книги; мне и Капфу они действительно чертовски нужны. Займись-ка этим. 4-5 гульденов ты ведь всегда за них получишь.

Р. S. Послушай, дружище! А вдруг это выгорит! По такому случаю я уж раскупорю бутылочку-другую бургундского. Будь здоров.

Шиллер.

4. ГЕРИБЕРТУ ФОН ДАЛЬБЕРГУ

[Июль 1781 г.]

Высокородный,
особливо же высокочтимый
господин тайный советник!

Ваше превосходительство, гордые эпитеты, к которым вам угодно было прибегнуть в вашем столь лестном для меня письме, могли бы, принимая во внимание авторитет ценителя, их ко мне приложившего, показаться неоспоримыми и взнести скромного писателя на головокружительную высоту, если бы он не отнесся к ним лишь как к поощрению своей музыки. Глубочайшая убежденность в собственной слабости не позволяет мне видеть в них нечто большее. Но если когда-нибудь в будущем моих сил достанет на подлинно мастерское произведение, то я и мир будем исключительно обязаны этим теплой отзывчивости вашего превосходительства. Я уже много лет имею счастье звать ваше превосходительство по опубликованным вами статьям, ибо блеск мангеймского театра издавна привлекал к себе мое внимание. Признаюсь также, что с тех пор, как я ощутил в себе драматическое дарование, моей заветной мечтой было со временем обосноваться в Мангейме — в раю драматической музыки, но этому не могла не воспрепятствовать моя тесная связь с Вюртембергом.

Милостивое предложение вашего превосходительства касательно моих «Разбойников» и последующих пьес мне бесконечно ценно, но для того, чтобы им воспользоваться, мне, собственно, нужно было бы точнее ознакомиться с партикулярными обстоятельствами театра вашего превосходительства, с господами актерами и non plus ultra¹ театральной механики, короче говоря,

¹ Наилучшими образцами (лат.).

увидеть все собственными глазами, ибо иначе я никогда не смогу отрешиться от впечатлений штутгартского театра, все еще пребывающего в состоянии несовершеннолетия. К сожалению, экономические обстоятельства не позволяют мне совершить долгое путешествие, которое я теперь предпринял бы с тем большей радостью и уверенностью, что имел бы честь сообщить вашему превосходительству несколько плодотворных идей касательно мангеймского театра.

В остальном же вечно пребываю вашего превосходительства покорнейшим слугой и искренним почитателем.

Д-р Шиллер, полковой лекарь.

5. ГЕРИБЕРТУ ФОН ДАЛЬБЕРГУ

Штутгарт, 17 августа 1781 г.

Высокородный,
особливо же высокочтимый
господин тайный советник!

Теперь я уже могу на досуге серьезно подумать о театрализации моих «Разбойников» и надеюсь в течение двух недель закончить весь новый вариант текста.

Поскольку еще до того, как ваше превосходительство удостоили меня милостивого письма, мне были сделаны касательно этой пьесы известные препозиции г-ном камеральным советником Шваном, я был обязан поставить его в известность относительно новых предложений вашего превосходительства и, раз уж я в свое время начал вести с ним переговоры, спросить его совета. Я взял на себя смелость переслать вашему превосходительству его ответ, из которого вам достаточно уяснятся как мои переговоры с ним, так и его отношение к этому делу. Следуя дружественному совету г-на советника, я покорнейше прошу ваше превосходительство удостоить меня более подробного разъяснения относительно ваших намерений и пожеланий в связи с выпуском этой и последующих пьес, дабы я был в состоянии дать решительный ответ камеральному со-

ветнику. Позволяю себе обратить ваше внимание прежде всего на два вопроса:

1. Буду ли я удостоен чести вести переговоры лично с вашим превосходительством.

2. Относятся ли эти условия ко всем моим будущим произведениям, как драматическим, так и другим.

Пока я еще свободен и ничем не связан, я почел бы за исключительное счастье вверить вашему превосходительству, столь горячо любящему литературу, себя и все, что у меня на душе.

Об остальном мне хотелось бы переговорить с глазу па глаз с вашим превосходительством. До этой минуты я откладываю удовольствие лично заверить вас в моем пламенном почитании и в том, что я горжусь быть

вашего высокородия,

высокопочтимого г-на тайного советника,

всепокорнейше преданным слугой *Шиллером*.

6. ГЕРИБЕРТУ ФОН ДАЛЬБЕРГУ

Штутгарт, 6 октября 1781 г.

Вот, наконец, и «Блудный сын», или переплавленные «Разбойники». Правда, я не успел к сроку, который сам же назначил, но я уверен, что даже беглый взгляд, брошенный на количество внесенных мною поправок, и важность их послужат достаточным для меня извинением. К тому же эпидемия дизентерии в моем полковом лазарете часто отрывала меня от *otiiis poëticis*¹.

Теперь, уже окончив работу, я могу с уверенностью сказать, что мне стоило бы меньших усилий и уж, конечно, доставило бы куда больше удовольствия создание нового, может быть, даже мастерского произведения, чем переработка уже сделанного. Мне пришлось выправлять ошибки, коренящиеся в самом построении пьесы, пришлось жертвовать удачными моментами ради ограниченности сцены, своебравия партера, неразумия галерки и прочих презренных условностей. Столь проникновенному знатону, каким я почитаю вас,

¹ От поэтических досугов (*лат.*).

не может не быть очевидно, что как в природе, так и на сцене для каждой идеи, каждого чувства существует лишь одно выражение, одна краска. Изменение внесенное мною в одну какую-нибудь черту характера, нередко дает иной оборот всему характеру действующего лица, а следовательно, его поступкам и покоему на этих поступках механизму пьесы. Возьмем хотя бы Германа. В оригинале разбойники разительно отличаются друг от друга, и, конечно, никому не удастся без труда заставить контрастировать между собой трех-четырёх разбойников, да так, чтобы ни один из них не оскорбил чувств зрительного зала. Вначале, когда я замыслил и набрасывал план пьесы, я вовсе не имел в виду ее сценического воплощения. Потому-то Франц и был задуман как резонирующий злодей — замысел, который наверняка удовлетворит мыслящего читателя и так же наверняка обозлит и утомит зрителя, желающего, чтобы перед его глазами не философствовали, а действовали. В новом варианте я не мог полностью отказаться от такого рисунка, не нанеся удара всему построению пьесы; поэтому я считаю весьма вероятным, что Франц, появившись на сцене, будет играть не ту роль, которую он играл в чтении. Прибавьте сюда еще и то, что поток действия пронесет зрителя мимо многих тонких нюансов, а следовательно, смост по меньшей мере треть всего характера. Если разбойник Моор — а в этом я не сомневаюсь — найдет «своего актера» среди труппы вашего превосходительства, пьеса станет большим театральным событием; за вычетом известного резонерства, а это краска, которая неизбежно должна заиграть на уже законченном полотне, он — весь действие, весь зримая жизнь.

Шпигельберг, Швейцер, Герман и т. д. — подлинно сценические образы, Амалия и отец — в меньшей степени.

Я старался воспользоваться всеми письменными, устными и печатными отзывами. От меня требовали большего, чем я мог сделать, ибо только автору, в особенности если он становится еще и правщиком, до конца ясны все *non plus ultra* его произведения. Внесенные мною поправки весьма существенны, мно-

гие сцены сделаны заново и, по-моему, не портят пьесы.

Сюда относятся контринтриги Германа, разрушающие план Франца, и его сцена с последним, которую я в первом варианте (по справедливому замечанию моего эрфуртского рецензента), к сожалению, полностью упустил из виду. Правда, мой рецензент ждал другого исхода этого столкновения. Но я уверен, что тот, который я счел правильным, не менее обоснован. Сцена Франца с Амалией в саду отнесена на одно действие назад, и все мои друзья утверждают, что нельзя найти для нее лучшего места, лучшего времени, как за несколько минут до сцены Моора с Амалией. Франц несколько приближен к общечеловеческому, но путь для этого избран своеобразный. Таких сцен, как осуждение его в пятом акте, насколько мне известно, не знавал еще ни один театр, равно как и сцены, где Амалию приносит в жертву ее возлюбленный. Развязка пьесы, думается мне,— ее венец. Моор до конца исчерпывает свою роль, и я готов побиться об заклад, что он не будет позабыт тотчас же по окончании спектакля. Если пьеса слишком длинна, то театр по своему усмотрению может разумно сократить ее или убрать кое-что в нескольких местах без ущерба для общего впечатления. Но я решительно протестую против каких бы то ни было пропусков в печатном тексте. У меня было достаточно причин оставить то, что я оставил, и моя уступчивость в отношении театра все же не позволяет мне соглашаться на бреши в тексте или на уродование человеческих характеров для удобства актеров. Что касается выбора костюмов, то разрешите мне, хоть я и не собираюсь ничего предписывать вам, привести здесь одно соображение; в действительности это мелочь, совсем другое на сцене. Угодить вкусу моего разбойника Моора будет нетрудно, я же с величайшим интересом отнесусь к этой мелочи, если мне посчастливится присутствовать на спектакле. На шляпе он носит султан, это существенно для того момента, когда он отказывается предводительствовать шайкой. Я бы дал ему еще и жезл. Его костюм должен быть всегда изящен, без украшений, небрежен, но не легкомыслен.

Способный молодой композитор работает над музыкой для моего блудного сына; я уверен, что она будет превосходна. Как только он ее закончит, я возьму на себя смелость предложить ее вам.

Прошу прощения за разноречивую почерку и погрешности орфографии. Я спешил переслать вам пьесу — отсюда два разных почерка, — у меня не нашлось времени ее прокорректировать. Мой переписчик, по обыкновению самоуверенных писарей-всезнаек, частенько безбожно обходился с орфографией.

Итак, отдаю себя и свою работу на благоусмотрение высокочтимого знатока.

Д-р Шиллер, полковой лекарь.

7. ГЕРИБЕРТУ ФОН ДАЛЬБЕРГУ

Штутгарт, 3 ноября 1781 г.

Столь нетерпеливо ожидавшийся мною ответ и критику моего блудного сына я получил. Очень сожалею, что причиной задержки послужила болезнь, и всем сердцем желаю вашему превосходительству скорейшего выздоровления. Недостатки, на которые вы мне указываете, мне самому, разумеется, нелегко было бы обнаружить, ибо многие театральные условия мне неизвестны; кроме того, пьеса так близка мне, что мой критический разум, нуждающийся в том, чтобы объект находился в известном перспективном удалении, поневоле скользит поверх многих нюансов. Единственное, что удивило меня, это сожаление вашего превосходительства о поэтической стороне вещи, пострадавшей при переделке; по моему разумению, в театральной пьесе она преспокойно может отсутствовать.

Ваше благосклонное суждение о каре, постигшей Франца, было мне тем приятнее, что я ждал одобрения скорее сцене убийства Амалии, да и вообще всей ее ситуации с разбойником в IV акте. На подмостках это все-таки произведет сильнейшее впечатление. Мне страшно нравится, что ваше превосходительство предпочитает застрелить, а не заколоть Амалию, и я с удовольствием соглашаюсь на такое изменение. Эффект

будет удивительный и, по-моему, очень «разбойный». Что касается других поправок, то ваше превосходительство вольны распоряжаться по собственному благоусмотрению. Разумеется, иногда мне тоже хотелось бы сказать несколько слов в пояснение того или иного места.

Если я вправде, — отвечая на ваш вопрос, не лучше ли будет перенести действие в более ранние времена, — высказать свое отнюдь не обязательное мнение, то признаюсь — мне бы это было нежелательно. Характеры здесь слишком просвещенные, слишком современные, так что пьеса неминуемо пострадает, если время действия будет изменено. Но, может быть, мое мнение слишком односторонне, и поэтому оно не должно вас связывать. Больше мне нечего прибавить в пользу моей переработки, во всяком случае такого, что могло бы уместиться в письме. Мои оправдания были бы живее и нагляднее, если бы я мог привести их на примере некоторых пассажей, ибо я помню, что кое-где я все-таки напрягался, стараясь сделать так, а не иначе. Вообще же отдаю работу на суд знатоков и, следовательно, ничего не имею возразить на критические замечания лучшего из них.

Вашего превосходительства
всепокорнейший слуга,
д-р Шиллер.

8. ФРИДРИХУ ФОН ХОВЕНУ

[Конец 1781 г.]

Любезный друг!

Петерсен, вероятно, уже говорил тебе о моем предполагаемом альманахе, или, вернее, антологии. Ты послал ему романс, которым я никак не могу воспользоваться; он не пройдет через богословскую цензуру и может загубить все начинание. А посему будь добр, напиши что-нибудь не столь откровенно дразнящее нетерпимость нашей цензуры. Пришли мне также твою Оссианову «Солнечную песнь» и несколько хороших эпиграмм. Вообще же постарайся, чтобы твоя комическая муза не пропала для нас. Я прошу тебя об этом,

мой милый, и буду очень сожалеть, если ты не пожелаешь у нас дебютировать. Четыре листа уже напечатаны, притом очень красиво и на самой лучшей бумаге. Приезжай на днях сюда, тогда обсудим дальнейшее. Передай мой почтительнейший поклон твоему доброму отцу, твоей матушке и сестрам.

Твой друг

Шиллер.

9. ГЕРИБЕРТУ ФОН ДАЛЬБЕРГУ

Штутгарт, 12 декабря 1781 г.

Я всецело удовлетворен изменением, которое ваше превосходительство внесли в мою пьесу, имея в виду ее издание, в особенности потому, что оно объединило две ранее совершенно различные линии, и притом, как я надеюсь, без ущерба для всего остального и для успеха пьесы. Ваше превосходительство упоминает о некоторых *весьма* существенных изменениях, внесенных вами в мою работу, и я нахожу это достаточным поводом для несколько более пространной беседы. Прежде всего я должен откровенно признать, что перенесение времени действия в эпоху установления имперского мира и отмены кулачного права и весь новый строй пьесы, отсюда возникший, бесконечно превосходит *мой* замысел; более того, я вынужден так считать, даже если это грозит мне утратой пьесы. Во всяком случае справедливо замечание, что в наше просвещенное время, при нашей умелой полиции и строгой определенности законов, да еще как бы в самом лоне законности, такая бесшабашная шайка вряд ли могла бы возникнуть, а тем паче просуществовать несколько лет. Так или иначе, но этот упрек основателен, и я ничего не могу на него возразить, разве только сослаться на право поэтического искусства возводить вероятность в ранг правды, возможность — в ранг правдоподобия. Это, конечно, не опровергает серьезности возражения. Но если я соглашусь с пожеланием вашего превосходительства (а я соглашаюсь искренне и нелицеприятно), то что отсюда воспоследует? — Прежде всего это будет зна-

читать, что моей пьесе с самого её рождения присущ большой недостаток, подлинно прирожденный недостаток, которого не устранить руке самого искусного хирурга и который, если можно так выразиться, будет тяготеть над ней до могилы, ибо он коренится в самой ее сущности и с ним ничего нельзя поделать, не разрушив целого. Я беру на себя смелость подробнее объяснить это вашему превосходительству.

1. Все мои действующие лица говорят слишком современным, слишком просвещенным языком для тогдашнего времени. Диалог у меня совсем иной. От простоты, так живо воссозданной автором «Геца фон Бёрлихингена», здесь нет ничего. Многие тирады, черты как крупные, так и мелкие, даже характеры взяты из нашего времени; перенесенные в век Максимилиана, они ровно ничего не будут стоить. Короче говоря, здесь повторилась бы история с гравюрой, виденной мной в одном из изданий Вергилия. Троянцы на ней были обуты в блестящие гусарские сапоги, а из-за пояса царя Агамемнона торчали два пистолета. Чтобы исправить *ошибку* против эпохи Фридриха II, мне пришлось бы совершить *преступление* против эпохи Максимилиана.

2. Весь эпизод с *любовью Амалии* нестерпимо противоречил бы бесхитростной любви рыцарских времен. Амалию пришлось бы переплавить в дочь рыцаря, а вы сами понимаете, что краски, которыми вписан в картину «Разбойников» род, характер любви, господствующий в моей пьесе, так глубоко проникают все целое, что для приглушения их понадобилось бы замалевать весь холст. Точно так же обстоит дело и с характером Франца, этого умозрительного злодея, метафизически-хитроумного прохвоста. Одним словом, мне думается, что такая «пересадка» моей пьесы, которая до завершения придала бы ей величайший блеск и новые достоинства, теперь, когда она построена и закончена, превратит ее в порочное и отвратительное *quodlibet*, в ворону в павлиньих перьях. Прошу ваше превосходительство простить отцу сие горячее заступничество за свое детище. Все это слова, и любой театр, конечно, вправе делать с пьесами, что ему за-

благорассудится, автору же остается только покориться. Автор «Разбойников» счастлив уже тем, что в лучшие руки они попасть не могли. Со Шваном я договорюсь, чтобы он хоть *печата*л по первоначальному тексту. В театре же я на право голоса не претендую.

Второе изменение, касающееся убийства Амалии, заинтересовало меня, пожалуй, еще больше. Поверьте мне, ваше превосходительство, что эта часть пьесы потребовала от меня наибольшего напряжения и раздумья, и результатом явилось только то, что Моор *должен* убить свою Амалию и что в этом-то и заключается *позитивная* красота его характера. Такой поступок живо рисует его, с одной стороны, как пламенного любовника, с другой — как предводителя разбойничьей шайки. Но для защиты этого места мне никакого письма не хватит. Вообще же те немногие слова, которыми ваше превосходительство оповестили меня обо всем этом, совершенно справедливы и свидетельствуют о понимании ситуации. Я бы гордился, написав их. Так как г-н Шван, в свою очередь, пишет мне, что пьеса с музыкой и необходимейшими антрактами будет идти около 5 часов — а это, понятно, слишком долго, — то необходимо будет еще во второй раз сократить ее. Мне бы не хотелось, чтобы кто-либо, помимо меня, занялся этой работой, сам же я не могу приступить к ней, не посмотрев хотя бы одну репетицию, пусть даже премьеру.

Если бы ваше превосходительство могли устроить генеральную репетицию между 20—30 этого месяца и оплатить мне основные расходы по поездке к вам, то я надеюсь, что в течение нескольких дней мне удалось бы объединить мои интересы с интересами театра, а также придать пьесе театральную закругленность, что для меня, конечно, немислимо без присутствия на спектакле. Покорнейше прошу поскорее поставить меня в известность о вашем решении, дабы я знал, как вести себя. Г-н Шван пишет мне, что барон фон Гемминген хочет оказать честь моей пьесе и взять на себя труд публичного ее прочтения. Я слышал также, что упомянутый г-н Гемминген — автор «Немецкого отца

семейства». Я хотел бы заверить его, что этот отец семейства мне страшно понравился, я увидел в нем превосходного человека и прекрасный ум. Но что, спрашивается, автору «Немецкого отца семейства» до болтовни юного кандидата? Вообще же, если уж мне суждено счастье свидетельствовать мою любовь и уважение Дальбергу из Мангейма, то я охотно кинусь в объятия и этого господина, чтобы сказать ему, сколь дороги мне души таких людей, как Дальберг и Гемминген.

Мысль о маленьком прологе перед спектаклем я считаю весьма удачной и поему прилагаю пробный образец такового. Имею честь заверить вас в моем вечном уважении

вашего превосходительства
всепокорнейший слуга

Шиллер.

Пьеса «Разбойники»

Воссоздание великой, но заблудшей души. Всем наделенная для прекрасной, благородной жизни, она гибнет, несмотря на все эти дары. Безудержная пылкость и дурная компания испортили его сердце, повели его от порока к пороку, покуда он не возглавил шайку убийц и поджигателей, не начал громоздить преступление на преступление и, от одной крайности бросаясь к другой, не впал в бездну отчаяния. Он великодушен и величествен в несчастье, несчастье же исправляет его и возвращает на путь благородства. Такого человека будут оплакивать и ненавидеть в разбойнике Moore, отвращаться от него и его любить. Другой — лицемерный, коварный проныра — будет развенчан и подорвется на им же заложенных минах. Отец — безмерно слабый, безвольный потатчик... Муки сумасбродной любви и пытки неумемной страсти.

Зритель не без ужаса заглянет во внутренний мир порока и воочию увидит на сцене, что позолота счастья не в силах убить червя, разъедающего сердце, что за счастьем следуют по пятам ужас, страх, сожаление и отчаяние. Пусть заплачет зритель на нашем сегодняш-

нем спектакле — содрогнется и... научится подчинять свои страсти законам религии и разума. Пусть юноша со страхом увидит, к чему приводят необузданность и беспутство, а зрелый муж уйдет из театра, поняв, что невидимая рука провидения может и злодея сделать орудием своих намерений и предначертаний, более того, может самым удивительным образом распутать запутаннейший клубок судеб.

10. ГЕРИБЕРТУ ФОН ДАЛЬБЕРГУ

Штутгарт, 25 декабря 1781 г.

В своем последнем письме ваше превосходительство достаточно остроумно осадили меня, и теперь мне остается только ждать и помалкивать. Приведенные вами доводы настолько меня убеждают, в особенности Аристотелева философия и софистический дух тогдашнего века применительно к моему Францу, что я, кажется, сам скоро присоединюсь к вашему мнению. Но все же для читателя и зрителя надо было бы добавить краткое пояснение в диалогах. Что касается Амалии, то, я думаю, многое зависит от того, как ее сыграть. Если невинная простота ее поведения амальгамируется с текстом, то впечатление не может быть невыгодным. Мне чрезвычайно интересно, каков будет мой разбойник Моор; о г-не Бёке, который его играет, я не слышу ничего, кроме хорошего, и радуюсь этому, как дитя.

Мне кажется, что таким образом оживет весь мой драматический мир, и это будет для меня новым источником вдохновения, ибо я первый раз в жизни увижу игру, возвысившуюся над посредственностью.

За любезное предложение оплатить мне расходы по поездке покорнейше благодарю; сие побудит меня в свою очередь оказать какую-нибудь услугу мангеймскому театру.

Страшно рад, что ваше превосходительство остались довольны моим прологом, и надеюсь, что он тоже будет способствовать хорошему приему спектакля.

В надежде, что в скором времени мне представится случай лично засвидетельствовать вашему превосходительству, сколь многим я вам обязан, имею честь оставаться вашего превосходительства всепокорнейшим слугой

д-ром *Шиллером*.

11. ХРИСТИАНУ ШВАНУ

Штутгарт, 30 декабря 1781 г.

Любезный друг!

Досаднейшая история, видимо, грозит разрушить мои надежды, и я не смогу присутствовать на спектакле «Разбойников». Г-н фон Дальберг пишет мне, что он состоится 10-го или 12-го или, может быть, даже 8-го. Дело в том, что 10 января день рождения графини фон Гогенгейм, и все лица, находящиеся в военном звании или вообще имеющие какое-то отношение к герцогу, обязаны быть на месте, ибо этот день собираются праздновать с сугубой торжественностью. Итак, если моя пьеса будет поставлена до десятого или же десятого, то пиши пропало. Я хотел уведомить вас об этом и просить о дружеской услуге — своевременно сообщить мне более точную дату, вообще же по мере возможности не распространяться в Мангейме о моем приезде. О том же прошу г-на фон Дальберга и прочих посвященных лиц, так как возможно, что мне придется извлечь некоторую для себя пользу из этого молчания.

Нельзя ли было бы — впрочем, это слишком дерзкое требование — отложить спектакль на два или три дня; ведь в конце концов от этого ничто не изменится.

В надежде на скорое удовлетворение моей просьбы, а также на вашу любовь и дружбу

преданный вам

Ф. Шиллер.

12. ДРУЗЬЯМ

[Штутгарт, 1781 г. или 1782 г.]

Нечего сказать, славные ребята! Был там, и никаких Петерсенов, никаких Рейхенбахов. Тысяча дьяволов! Будем ли мы сегодня играть в маниллу? Черт вас всех побери! Я дома, ежели хотите меня видеть. До свиданья.

Шиллер.

13. ГЕРИБЕРТУ ФОН ДАЛЬБЕРГУ

Штутгарт, 1 апреля 1782 г.

Одобрительный отзыв, которым ваше превосходительство пытается пробудить от спячки мою драматическую музу, для меня весьма лестен и, в известной мере, свидетельствует о том, что мой первый опыт снискал ваше неопенимое расположение. Я был бы лжецом, если б стал отрицать мое все растущее влечение к драме; оно составляет бóльшую часть блаженства, сужденного мне в этом мире, и все же я не надеюсь предаться ему раньше, чем через полгода. Мое нынешнее положение вынуждает меня озаботиться получением степени доктора медицины в здешнем университете; для этого мне придется написать медицинскую диссертацию и еще раз углубиться в область кормящей меня науки. Правда, я должен буду совершить пренеприятный прыжок из мягкого климата Пинда на север искусства сухой терминологии, но раз это неизбежно, то о любви и хотении говорить уже не придется. Может быть, после долгой разлуки я тем пламеннее обниму свою музу; может быть, в лоне искусства найду сладостное вознаграждение за университетский пот. Я не сомневаюсь, что к концу этого года мне удастся закончить «Заговор в Генуе», бóльшую часть которого я уже подготовил. Разрешите же по сему поводу напомнить вашему превосходительству об обещании дать мне интересную *немецкую* тему для национальной драмы.

За «Геца фон Берлихингена» я еще не решаюсь приняться, боюсь, как бы автор не счел себя оскорбленным. Если бы ваше превосходительство благодаря своему авторитету и личному знакомству с Гете могли бы выговорить мне в этом деле полную свободу, то переработка Геца стала бы для меня приятнейшим отдыхом во время моих медицинских занятий.

Обещанную критику спектакля моих «Разбойников» я откладываю до времени, когда увижу постановку ряда других пьес, что, я надеюсь, будет еще в этом году. Пока что я сказал об этом несколько слов в одном из здешних журналов. В надежде и впредь не утратить милостивого расположения вашего превосходительства честь имею с совершенным уважением пребывать
вашим покорнейшим

слугой *Шиллером.*

14. ГЕРИБЕРТУ ФОН ДАЛЬБЕРГУ

Штутгарт, 4 июня 1782 г.

За удовольствие, столь полно испытанное мною в Мангейме, я с самого своего возвращения расплачиваюсь эпидемической болезнью, которая, к несказанной моей досаде, до сегодняшнего дня делала меня неспособным выразить вашему превосходительству горячую благодарность за внимание и радушный прием. И все же я чуть ли не раскаиваюсь в том, что предпринял это счастливейшее в моей жизни путешествие; несносный контраст между моей родиной и Мангеймом довел меня уже до того, что Штутгарт и все швабские театры сделались мне нестерпимо противны. И никто, кажется, не может быть несчастнее меня. Я достаточно понимаю всю горечь моего положения и обладаю достаточным чувством собственного достоинства, чтобы считать себя заслуживающим лучшей участи; но выход у меня все равно только *один*.

Смею ли я броситься в ваши объятия, прекрасный человек? Я знаю, как быстро воспламеняется ваше благородное сердце, когда его к тому побуждают сострадание и человеколюбие; знаю, как отважно ре-

шаетесь вы на благородный поступок и с каким рвением доводите его до конца. Мои новые друзья в Мангейме, которые вас боготворят, все это мне говорили, но я не нуждался в таких заверениях, поскольку мне выпало счастье воспользоваться некоторой толикой вашего времени: я прочел в вашем открытом взоре гораздо большее. Это-то и дает мне смелость полностью предаться вам, отдать свою судьбу в ваши руки и от вас ожидать счастья всей моей жизни. Пока что я еще мало или почти ничего собой не представляю. На этом севере искусства мне во веки веков не дозреть, тогда как более счастливые созвездия и греческий климат могут вырастить из меня настоящего поэта.

Нужно ли мне приводить еще какие-то резоны, чтобы рассчитывать на полную поддержку Дальберга?

Ваше превосходительство вселили в меня наилучшие надежды, и я всю жизнь буду ощущать рукопожатие, подтвердившее ваше обещание. Трудность вы видели тогда не в том, как устроить меня, а в том, как помочь мне отсюда выбраться. Первое, конечно, виднее вам, что же касается второго, то вот несколько мыслей, которые вы, может быть, сочли бы полезными.

1. Поскольку у нас такой избыток врачей, что приходится радоваться, когда за увольнением одного освобождается место для другого, то главное сводится к тому, чтобы герцогу, который не терпит слушания, учтивейшим образом осветить дело так, словно все совершается его властью, по его воле и служит к его же чести. Ваше превосходительство затронет весьма чувствительную струнку, если в письме, касающемся моих дел, намекнет, что, не будь его, я бы ничего собой не представлял, ибо я обучен и воспитан в учрежденной им академии. Если же еще добавить, что выучеников академии всегда ценят и стараются заполучить истинные знатоки, то этот quasi¹-комплимент распространится на его воспитательную институцию. У герцога это *passé partout*².

2. Мне бы очень хотелось (по тем же соображе-

¹ Здесь: мнимый (лат.).

² Универсальный ключ (фр.).

ниям), чтобы вы ограничили мое пребывание в Национальном театре в Мангейме каким-нибудь сроком (по вашему приказанию он потом может быть и продлен), по истечении которого я, мол, опять буду принадлежать моему герцогу. Так это будет походить скорей на временную отлучку, чем на желание окончательно *расшвабиться* (если так можно сказать). Это не привлечет к себе ничьего внимания. Когда же я скроюсь из глаз, все будут только рады, что я больше о себе не напоминаю.

3. Необходимо также подчеркнуть, что в Мангейме мне будет предоставлена возможность практиковать и продолжать мои медицинские занятия. Этот пункт особенно важен для того, чтобы меня, под предлогом попечения о моем благе, не задержали или не сократили мне срок отлучки.

Если ваше превосходительство одобрит эти три идеи и воспользуется ими в письме к герцогу, то я почти уверен в успехе.

А теперь ото всего сердца повторяю свою просьбу, которая и является подлинной сутью этого письма. Если бы ваше превосходительство могли заглянуть в мою душу и увидеть, какие чувства раздирают ее, если б я мог в красках изобразить, как бунтует мой дух из-за этого неприятнейшего положения, вы бы — я знаю наверное — вы бы не замедлили оказать мне помощь, которая может выразиться в одном или в двух письмах к герцогу.

Еще раз заключаю вас в свои объятия. Единственное, чего хочу, это длительным рвением и усердной службой суметь доказать вам свое уважение и готовность всем для вас пожертвовать.

Вашего превосходительства
покорный слуга *Шиллер*.

15. ГЕРИБЕРТУ ФОН ДАЛЬБЕРГУ

Штутгарт, 15 июля 1782 г.

За свое долгое молчание я вполне мог заслужить от вашего превосходительства упрек в неделикатности, ибо я не только замешкался с ответом на ваше последнее

милостивое письмо, но еще и надолго задержал две известные вам книги. Вся эта задержка явилась следствием неприятной истории, которая у меня здесь вышла. Ваше превосходительство, наверно, немало удивится, узнав, что за свою последнюю поездку к вам я был на две недели посажен под арест. Моему государю донесли обо всем вплоть до мельчайших подробностей. По этому поводу у меня с ним состоялось личное объяснение.

Если ваше превосходительство еще верит, что мои надежды приехать к вам осуществимы, то единственная моя просьба — поспешить с этим делом. Теперь у меня есть причина вдвойне желать этого, но я не решаюсь доверить ее письму. Единственное, что я могу сказать вам наверно: если в течение ближайших месяцев мне не удастся приехать, то у меня уже не останется надежды когда-либо жить подле вас. Мне придется тогда сделать шаг, который лишит меня возможности остаться в Мангейме. Моя трагедия «Заговор Фиеско в Генуе» будет готова к середине августа и сможет предстать на суд вашего превосходительства.

История испанца Дом Карлоса безусловно заслуживает пера драматурга и, вероятно, будет одним из ближайших сюжетов, за обработку которого я примусь.

В Вагнеровой «Детоубийце» имеются трогательные положения и занятные детали. Но все же она не поднимается над уровнем посредственности. Она не очень-то затрагивает мои чувства, и в ней слишком много воды. Что касается «Макбета», то с переводом он справился не блестяще.

Обе книги отсылаю вашему превосходительству с большой благодарностью. Я бы никогда не отважился посвятить такую работу Дальбергу.

Дозвольте мне закончить письмо выражением благодарности за участие, с которым ваше превосходительство до сих пор относились к моей судьбе, я же никогда не перестану с величайшим уважением называть себя

вашего превосходительства
всепокорнейшим слугой
и почитателем.

Шиллер.

Штутгарт, 1 сентября 1782 г.

Ваша светлость!

Всемиловитейший герцог и повелитель!

Фридрих Шиллер, медик при distinguished генерал-фельдцейгмейстера Оже гренадерском полку, всеподданнейше просит о милостивом дозволении и впредь публиковать свои литературные произведения.

Внутреннее убеждение в том, что мой государь и неограниченный повелитель в то же время является мне вторым отцом, дает мне смелость сделать вашей светлости ряд верноподданнейших представлений с целью просить о смягчении относящегося ко мне приказа: более не писать литературных произведений и не общаться с чужеземцами.

Именно эти работы принесли мне сверх всемиловитейше назначенного мне годового содержания еще пятьсот пятьдесят гульденов и дали мне возможность, благодаря переписке с крупными иноземными учеными и приобретению необходимых для моих занятий пособий, заслужить известное признание в ученом мире. Отказавшись от этого приработка, я не сумею планомерно продолжать свое ученье и не стану тем, кем могу надеяться стать.

Одобрение, с которым отдельные мои попытки писать были встречены во всей Германии, — свидетельства тому я готов верноподданнейше представить вашей светлости, — исполнило меня некоторым чувством гордости, ибо из всех многочисленных воспитанников герцогской академии я первый и единственный привлек к себе широкое внимание и завоевал для нее известное уважение — честь, которую я целиком отношу на счет того, кому я обязан своим образованием. Если я преступил границы поэтической вольности, то всепокорнейше прошу вашу светлость дозволить мне публично в том отчитаться и даю торжественное обещание все свои будущие писания подвергать строгой цензуре.

Беру на себя смелость еще раз обратиться с покорнейшей мольбой к вашей светлости — взглянуть на мои всеподданнейшие представления и не отнимать у

меня того единственного пути, на котором я могу себе составить имя.

Остаюсь до конца дней своих
почтительнейшим

вашей светлости верноподданным.

Фрид. Шиллер,
полковой лекарь.

17. ГЕРИБЕРТУ ФОН ДАЛЬБЕРГУ

[Заксенгаузен, 30 сентября 1782 г.]

Ваше превосходительство по возвращении в Мангейм, где я, к сожалению, не мог вас дожидаться, верно, уже узнали от моих друзей обо всем, что со мной происходит. Выражение *я в бегах* исчерпывающе рисует мое положение. Но худшее еще впереди. У меня нет средств, необходимых для противоборства моей злополучной судьбе. Для того чтобы не подвергать себя опасности, мне пришлось поспешно, и как раз во время пребывания великого князя, убраться из Штутгарта. Тем самым я внезапно подорвал всю свою экономику и сумел расплатиться далеко не со всеми долгами. Я уповал на мое пребывание в Мангейме, надеясь при поддержке вашего превосходительства и благодаря моей пьесе не только освободиться от долгов, но еще и поправить свои дела. Все это рухнуло из-за моего внезапного отъезда. Я покинул Штутгарт с опустошенным сердцем и пустым кошельком. Мне бы следовало краснеть от стыда, делая вам такие признания, но я знаю — они меня не унижают. Достаточно печально уже и то, что на мне подтверждается гнусная истина: ни одному вольнолюбивому швабу не дано ни расти, ни совершенствоваться.

Если все мое поведение до этих пор, если все, что известно вашему превосходительству о моем характере, внушает вам доверие к моему чувству чести, то дозвоьте мне откровенно попросить вас о поддержке. Хотя мне крайне необходима теперь та сумма, которую я ожидал от моего «Фиско», тем не менее раньше чем через три недели я ничего не смогу представить театру; ведь мое сердце было так долго стеснено, а

сознание того, в каком положении я нахожусь, далеко уводило меня от поэтических грез. То, что к указанному сроку моя работа окажется не только *готовой*, но, как я надеюсь, и *достойной* внимания, дает мне мужество ходатайствовать перед вашим превосходительством о выплате мне задатка в размере причитающейся мне суммы, ибо сейчас я нуждаюсь в деньгах, вероятно, больше, чем когда-либо в жизни. Мне необходимо отослать в Штутгарт около 200 флоринов. Должен вам признаться, это беспокоит меня куда больше, чем то, как буду я влачить свое существование. Я не успокоюсь, покуда не почувствую себя в этом смысле чистым.

Кроме того, отложенная мной на дорогу сумма через неделю будет исчерпана. Работать с подлинным вдохновением я пока еще не в состоянии. Следовательно, сейчас у меня и в голове нет никаких ресурсов. Если бы ваше превосходительство (раз уж я все сказал) и на этот случай ссудило бы меня сотней флоринов, я бы полностью вышел из положения. А в дальнейшем, если на то будет ваша милость, вы либо передадите мне доход от первого представления моего «Фиеско» с упраздненным абонементом, либо мы договоримся о соответствующей цене за эту пьесу. В обоих случаях мне было бы нетрудно (если просимая мною теперь сумма превысит ту, которую я получу) погасить весь долг при расчете за следующую мою пьесу. Эту мою точку зрения, вернее говоря, горячую просьбу повергаю на благоусмотрение вашего превосходительства с верой в то, что у меня достанет сил выполнить взятые на себя обязательства.

Поелику нынешнее мое положение достаточно явствует из вышесказанного, я считаю излишним докучать вашему превосходительству назойливым расписываньем своей нужды. Быстрая помощь — сейчас единственное, чего я могу желать и на что смею надеяться; я просил г-на Мейера передать мне ответ вашего превосходительства, каков бы он ни был, не желая затруднять вас письмом ко мне.

С величайшим уважением остаюсь вашего превосходительства искренним почитателем

Фрид. Шиллером.

Любезный друг!

Я очень рад, что твои сомнения касательно моего образа мыслей, наконец, рассеялись. Если все, чье мнение мне столь же важно, последуют твоему примеру, я буду доволен; остальные пусть думают, что хотят. Я полагал, что ты станешь судить обо мне не по моим письмам, а по моим поступкам, которые были прямой им противоположностью.

Первые преследовали весьма важную цель — убедить от опасности мою семью и, по мере возможности, придать законный вид моему своевольному поступку. Этой цели я, кажется, достиг, и тем самым вся эта история будет исчерпана. Если бы герцог без всяких двусмысленных оговорок согласился с моими требованиями, я бы, конечно, не только *должен* был, но и мог бы возвратиться с почетом и выгодой, и весь мой замысел получил бы иной вид.

Твои упреки за недоверие к друзьям не совсем справедливы. Горький опыт научил меня отличать подлинное участие от любопытства и болтовни. Кроме того: велика ли заслуга интересоваться тем, кто никогда не подвергает твою симпатию какому бы то ни было испытанию?

О моей участи ты узнаешь, как только в ней наступит более или менее решительный поворот. В данное время я нахожусь на пути в Берлин. Прошу тебя к этому известию отнестись менее недоверчиво, чем к предыдущему. Сознаюсь, первое было вызвано *дипломатическими* соображениями, ибо тогда я сильнее опасался открыть свое местопребывание, нежели теперь. Последнее известие — достоверно.

Все, кто был хоть сколько-нибудь осведомлен о моей судьбе и моем замысле, в один голос советовали мне отправиться в Берлин; теперь я еду туда с отличными рекомендациями и получу еще много таких же, ибо мой путь лежит через Эрфурт, Готу, Веймар и Лейпциг, где меня отчасти уже знают по моим произведе-

ниям, отчасти же я себя зарекомендую имеющимися у меня письмами; там я встречу многих друзей, которые в свою очередь будут способствовать необходимым мне знакомствам в Берлине. Не исключено, что в Берлине я изменю свои намерения и, при содействии некоторых важных лиц, отправлюсь в Петербург. Само собой разумеется, что на службу я поступлю только в качестве медика, а так как мне бы очень хотелось что-нибудь значить и на этом поприще, то возможно, что я год или полтора буду заниматься частной практикой, дабы приобрести бóльшую уверенность в себе и расширить свои познания. Шван, состоящий в близких отношениях с Николаи, заверяет меня, что его рекомендательное письмо к последнему немедленно откроет мне двери не только «Всеобщей библиотеки», но и других видных институций. Мангейм, в сущности говоря, неподходящая для меня сфера. Он слишком мал, чтобы благоприятствовать мне как медику, и слишком бесплоден, чтобы дать мне взрасти как писателю. Взять на себя службу в театре? Но это не входит в мои намерения, да и вообще, какой в этом прок,— он очень оскудел, обеднял и все больше и больше приходит в упадок.

Наслаждения полной свободой я еще не испытал в той мере, в какой мог бы испытать, будь моя судьба уже решена.

До сих пор я был всего лишь беглецом. В течение трех-четырех недель я надеюсь стать свободным гражданином. Сообщи мне побыстрее, какой оборот приняли твои дела, а также напиши, что нового у наших знакомых. Место мое, повидимому, либо останется вакантным, либо будет занято одним из моих однокашников. Заранее его с этим поздравляю.

Нашему доброму Абелью я уже несколько раз порывался написать, но как, спрашивается, в сотый раз пересказывать одну и ту же историю? Это очень скучно, а для того чтобы побеседовать с ним о более важных вещах, у меня до сих пор не было ни времени, ни покоя. Но он может быть уверен, что, как только я почувствую более твердую почву под ногами, это упущение будет исправлено. Передай ему от меня самый теплый привет.

До сих пор все мои потребности удовлетворялись не хуже, чем дома. Я чувствовал себя отлично, и в экономическом отношении моя поездка тоже протекала благополучно. Во Франкфурте-на-Майне, где я пробыл две недели, мне не пришлось истратить и 12 флоринов. Из Мангейма я отправился туда пешком через Дармштадт, и вообще считаю теперь, что ходьба весьма благотворно отзывается на моем здоровье. Побывал я также и в Майнце, куда доехал по Майну, и в Вормсе, куда добрался из Майнца за восемь часов, вместо девяти. Знакомств я не заводил, так как до сих пор скрывал, кто я, зато мне несколько раз выпадало удовольствие слышать, что говорят обо мне люди, не подозревая о моем присутствии. Совсем недавно в Майнце, в соседней комнате, какие-то женщины толковали об авторе «Разбойников» и высказывали страстное желание повидать его, а я пил рядом с ними кофе. Во Франкфурте я заходил в шесть книжных лавок, спрашивал «Разбойников», и везде мне отвечали, что теперь уже не достать ни одного экземпляра и что их то и дело спрашивают. Заметь, во Франкфурте я тоже был инкогнито, иначе я подробнее написал бы тебе оттуда.

Теперь будь здоров и, пожалуйста, напиши мне. Я не могу дать тебе своего адреса, ибо постоянно меняю свое местопребывание, поэтому пиши письма на имя господина Кранца (или Герна), так я получу их скорее, чем из Штутгарта.

Неизменно

любящий тебя

Фр. Шиллер.

19. ГЕРИБЕРТУ ФОН ДАЛЬБЕРГУ

Оггерсгейм, 16 ноября 1782 г.

Я живу сейчас в напряженнейшем ожидании вестей о том, как ваше превосходительство нашли моего «Фиеско» и подтвердились ли вообще мои предположения, или не подтвердились. То, что я уже целую неделю ничего не имею от вас, заставляет меня думать, что путаное развитие сюжета требует известных уси-

лий от критически мыслящего читателя, так же как требовало их от автора. Я хотел создать сложную картину действующего, но поверженного честолюбия,— если это мне удалось, то я не сомневаюсь, что она многое скажет театральной дирекции, актеру и зрителю. Если бы мне удалось, кроме того, еще издать эту пьесу в том виде, в каком мне бы хотелось, и вовсе откинуть мысль о театре, то после изъятия одного только эпизода она стала бы значительно проще. Если вы, ваше превосходительство, еще не вынесли решения относительно пригодности моей пьесы для театра, то прошу вас пока что сообщить мне только свое суждение драматурга, которое чрезвычайно меня интересует.

На случай, если вашему превосходительству благоугодно будет почтить меня ответом, то я проживаю здесь на Скотопрогонном дворе под именем Шмидта.

С совершеннейшим почтением

остаюсь вашего превосходительства
всепокорнейший

Шиллер.

20. АНДРЕАСУ ШТРЕЙХЕРУ

Бауэрбах, 8 декабря 1782 г.

Любезный друг!

Наконец-то я здесь, счастливый и довольный, что уже пристал к берегу. Многое даже превзошло мои надежды; никакие нужды более не страшат меня, ничто извне уже не помешает моим поэтическим грезам, моим высоким иллюзиям.

Дом моих Вольдогенов — весьма изящное и приятное строение, где я совсем не скучаю по городу. Мне предоставлены все удобства, стол, обслуживание, стирка, отопление,— все эти обязанности превосходно и с большой охотой выполняются обитателями здешней деревни. Я приехал вечером,— надо вам знать, что езды сюда из Франкфурта 45 часов,— предъявил письма и был торжественно препровожден в господский дом, где тотчас же начались уборка, топка и приготовление постели. Сейчас я не могу и не хочу

заводить никаких знакомств, так как у меня до ужаса много работы. Ну и задам же я страху на пасхальной ярмарке!

Напишите мне, где вы решили поселиться. Если останетесь в Мангейме, то придерживайтесь общества Швана, Мейера и моих друзей. Но еще лучше, если вы там не останетесь и поступите согласно своему первоначальному плану, который всегда казался мне наиболее разумным.

Что бы вы ни делали, мой милый, запомните навсегда практическую истину, которая дорого далась вашему неопытному другу: если тебе нужно чье-нибудь расположение, то надо либо сделаться подлецом, либо стать этому человеку необходимым. Одно из двух, иначе ты идешь ко дну.

Если бы у вас нашлись основания не ехать в Вену, то я бы посоветовал вам выход, который, с какой стороны я его ни рассматриваю, представляется мне весьма недурным. Вы молоды и уже достаточно преуспели в своем искусстве, чтобы приносить пользу; сыщите себе в каком-нибудь большом городе мастера, имеющего много заказов, снизойдите до ремесленной части вашего искусства и постарайтесь сделаться полезным своему работодателю; таким образом вам предоставится случай изучить людей, а также заработать себе кусок хлеба и хорошие рекомендации, когда вы задумаете уйти. Великий Тициан тер краски Рафаэлю. Это не только не позорит его, но еще больше возвышает.

Передайте мой привет Швану, Мейеру, Кранцу, Герну, Дерену, всему штейновскому дому, а также Скотопрогонному двору. Напишите мне, что это за офицер разыскивал меня.

И еще: в спешке уезжая из Оггерстейма, мы оба позабыли расплатиться на Скотопрогонном дворе. Я не хочу, чтобы вы *остались в накладе*, а так как сумма слишком незначительна, чтобы почте везти ее в течение 65 часов, то касательно уплаты этого долга и еще других мелочей адресуйте к Швану, за которым, поскольку «Фиско» *безусловно* превысит 10 листов, все еще числится какая-то сумма.

Теперь же я должен спешить, это уже пятое письмо, а мне предстоит написать еще столько же, если не больше.

Желаю вам здоровья, дорогой друг, не забывайте меня и будьте твердо уверены, что я буду неизменно помнить о вас, как только мои обстоятельства улучшатся,—надеюсь, что теперь этого ждать уже не долго. Еще раз будьте здоровы. Если захотите мне написать, передайте письмо Швану или Мейеру.

Неизменно преданный вам

Шиллер.

21. АНДРЕАСУ ШТРЕЙХЕРУ

14 января 1783 г.

Я жалкая игрушка в руках судьбы! Все мои планы рушатся! Какой-то дурацкий чертенок словно мячом швыряется мною в этом подлунном мире.

Вы только послушайте!

Когда письмо до вас дойдет, меня уже не будет в Бауэрбахе. Но не пугайтесь. Возможно, что я устроюсь еще лучше.

Г-жа фон Вольцоген уже вернулась из поездки, в которой она сопровождала своего брата обер-гофмейстера фон Маршалка, получившего в Бамберге наследство, что-то около 200 000 гульденов. Можете себе представить, с каким нетерпением летел я ей на встречу... И вот!

Милый друг, никому больше не доверяйтесь. Людской дружбы искать не стоит. И горе тому, кто в силу обстоятельств вынужден рассчитывать на чужую помощь. Слава богу, на этот раз было не так.

Г-жа фон Вольцоген, правда, уверяла меня, что ей очень хотелось бы служить мне опорой в планах моего будущего счастья... Но... я сам должен понять, что долг по отношению к детям стоит для нее на первом месте, а они безусловно пострадают, если герцог В. что-нибудь пронюхает; с меня этого было довольно. Как ни ужасно вновь ошибиться в человеке, но я рад, что приумножил свое знание человеческого

сердца. Друг и счастливая случайность помогли мне наилучшим образом выпутаться из этого положения.

Благодаря стараниям библиотекаря Рейнвальда, моего давнего испытанного друга, я познакомился с юным господином фон Врмб, который наизусть знает моих «Разбойников» и, возможно, напишет к ним продолжение. С первого взгляда он стал моим закадычным другом. Его душа слилась, сроднилась с моей душой.

Итак, слушайте, друг мой! Если я в этом году не сделаюсь первостатейным поэтом, то, значит, я просто дурак, и тогда мне уже все безразлично. Этой зимой я поеду с моим Врмб в его имение — деревню в Тюрингском лесу — и буду жить там, предоставленный самому себе и... дружбе, и, что самое лучшее, научусь стрелять, ибо у моего друга там прекрасная охота. Надеюсь, что все это произведет благотворный переворот в моем уме и сердце.

Не пишите, пока не получите моего нового адреса. О неприятной истории с Вольцоген — молчите. Я уехал из Бауэрбаха — вот все, что вам дозволяется говорить...

Тысяча приветов моему милому, доброму Мейеру. На днях снова напишу ему. Кланяйтесь также Кранцу, Герну и другим. Моя новая трагедия, под названием «Луиза Миллер», закончена. Прилагаемое передайте Швану вместе с моим приветом.

Неизменно ваш

Шиллер.

22. РЕЙНВАЛЬДУ

Бауэрбах, 27 марта 1783 г.

Сажусь за письмо, чтобы, наконец, прервать свое долгое молчание, вызванное отсутствием okazji. Два письма уже были на пути к вам, но лица, которые брались их передать, оба раза возвращались из-за плохой погоды. С Вейганом я окончательно договорился, как вы поймете из прилагаемого. Сомневаюсь, чтобы что-нибудь вышло из моих переговоров с Дальбергом.

Я его знаю, а моей «Луизе Миллер» присущи многие неотъемлемые качества, мало подходящие для театра. Например, готическое смешение комического и трагического, не в меру откровенное изображение различных всемогущих самодуров и разнообразие деталей, рассеивающее внимание зрителя. Сообщите мне ваше мнение о пьесе. Чем пускаться в вейганоподобный торг с Дальбергом, лучше оставить все дело без движения.

Следующая пьеса мне уже ясна. Чтобы разделиться с долгими колебаниями между Имгофом и Марией Стюарт, я обоих отложил до лучших времен и теперь упорно и решительно работаю над Дон Карлосом. Я считаю, что в этой истории заключается больше единства и занимательности, чем мне это поначалу казалось; она даст мне материал для сильных сцен и то потрясающих, то трогательных ситуаций. Думается, что мне удастся создать как характер пылкого, великодушного, чувствительного юноши, к тому же наследника нескольких корон, так и характер королевы, которую постоянное насилие над своими чувствами приводит к гибели; надеюсь, что ревнивый отец и супруг, грозный, насмешливый инквизитор и жестокий герцог Альба тоже окажутся не вовсе неудачными. Прибавьте сюда еще и то, что вообще имеется мало немецких пьес, которые бы изображали крупных государственных мужей, и что мангеймский театр выражает желание иметь этот сюжет в моей обработке. Я и в этом случае, дорогой и уважаемый друг, жду вашего всегда для меня важного совета. Так как я уже обязан вам столь многим, что выгоду и славу нынешних моих занятий наполовину отношу на ваш счет, то не откажите же мне и теперь в вашей дружеской поддержке. Чтобы хорошо обработать кусок испанской истории, мне необходимо ознакомиться с национальным характером, обычаями и государственной жизнью испанцев. Вы, мой друг, лучше всех знаете, из каких источников мне почерпнуть эти знания, и нужные мне книги несомненно найдутся в вашей библиотеке. Если вы хоть на мгновение поставите себя на мое место и поймете, что состояние бездействия и нерешительно-

сти *здесь* для меня особенно непереносимо, то, я знаю наверное, вы, не теряя времени, сделаете все, что вернет вашего друга к деятельности и облегчит ему дальнейший труд.

Раньше чем я не ознакомлюсь с испанскими обычаями и правлением, я не закончу плана моей пьесы и, тем более, опрометчиво не возьмусь за его выполнение. Посему надеюсь, что вы утолите мое нетерпение присылкой хотя бы нескольких книг, трактующих эти вопросы.

Юдифь перед отъездом зайдет к вам и возьмет то, что вы захотите мне послать. Ежели у вас имеется Брантом «История Филиппа II», то ссудите меня и ею.

Неужели вы до сих пор не получили моего «Фиеско», это меня удивляет; хотелось бы также узнать, дано ли уже извещение о нем в «Готской газете».

«История Бастилии» показалась мне очень занимательной, думаю, что на французском языке она читается с большим интересом. Со следующим нарочным отошлю вам ее обратно. Если у вас под рукой окажется поучительная и занимательная книга, то, препроводив ее сюда, вы благодатно оросите иссохшую почву.

Скоро, любезнейший друг, уже придет прекрасная пора, когда ласточки начнут возвращаться под наши небеса, а чувства — в нашу грудь. Как страстно я ее жду! Одиночество, недовольство судьбой, неосуществившиеся надежды, а возможно, и новый образ жизни заставили, если можно так выразиться, фальшиво звучать мой дух и расстроили обычно чистый инструмент моих чувств. Надеюсь, что дружба и май снова возвратят ему былую звучность. Истинный друг опять примирит меня с родом человеческим, часто являвшимся мне со столь неприглядной стороны, и на полпути остановит мою музу, уже отправившуюся к Коциту.

Г-жа фон Вольцоген и ее дочь кланяются вам. Они покинут Штутгарт 17 мая.

Ну, а теперь будьте здоровы, славный вы человек, и любите меня не больше и не меньше, чем я люблю вас.

Вечно ваш

Ш.

К следующей нашей встрече будет готова одна сцена из «Дон Карлоса», которую я и представлю на ваш суд. В. Стихотворение!

23. ГЕРИБЕРТУ ФОН ДАЛЬБЕРГУ

Мейнинген, 3 апреля 1783 г.

Простите меня, ваше превосходительство, за то, что я так поздно отвечаю на ваше любезное письмо. Я уже вступил в переговоры с Вейганом в Лейпциге и должен был довести их до конца, прежде чем сообщить вам свое решение. Думаю все-таки, что мы с ним не сойдемся в цене и я не дам ему этой пьесы.

То, что ваше превосходительство и в отдалении благосклонно вспоминает меня, не может не льстить мне. Вы хотели услышать, как я живу? Если отсутствие забот, удовлетворение любимейшей склонности и несколько друзей, избранных по собственному вкусу, делают человека счастливым, то я вправе похвалиться счастьем.

Ваше превосходительство, несмотря на мою недавнюю неудачную попытку, видимо, еще не совсем изверились в моем драматургическом даровании. Я ничего большего не желаю, как по праву пользоваться вашим доверием, но так как я не хотел бы подвергать себя опасности вновь обмануть его, то я и беру на себя смелость заранее предостеречь вас касательно некоторых особенностей пьесы.

Помимо многообразия характеров и сложности интриги, пожалуй, слишком вольной сатиры, осмеивающей знатных плутов и глупцов, этой трагедии присущ еще и тот порок, что комическое здесь перемешано с трагическим, веселое — со страшным, и хотя кончается она достаточно трагично, в ней все же выступают на первый план несколько веселых характеров и ситуаций. Если в этих недостатках, о которых я умышленно предупреждаю ваше превосходительство, нет ничего, что могло бы отпугнуть театр, то думаю, что остальным вы будете довольны. Но если они на спектакле будут очень бросаться в глаза, все осталь-

ное, как бы превосходно оно ни было, тоже окажется непригодным для вашей конечной цели, и тогда мне лучше пока что попрिдержаться пьесу. Но это вы решите сами. Моя критика слишком зависит от моего настроения и самолюбия. В настоящее время я работаю над неким Дон Карлосом. Этот сюжет кажется мне весьма плодотворным, и я обязан им вашему превосходительству. Собираюсь одновременно работать над трагедией о принце Конрадине.

С величайшим нетерпением жду вашего ответа и имею честь оставаться вашего превосходительства всепокорнейшим

д-ром Шиллером.

24. РЕЙНВАЛЬДУ

*Бауэрбах. Рано утром, в беседке, 14 апреля
1783 г.*

В это дивное ласковое утро я думаю о вас, друг мой... и о моем Карлосе. Природа открывается моей душе в безоблачном, сияющем зеркале, и кажется мне, что мои мысли правильны. Судите сами. По-моему, любой поэтический вымысел не что иное, как восторженная дружба или платоническая любовь к созданию нашего ума. Объяснюсь точнее.

Создавая характеры, мы по-новому перемешиваем наши чувства и наши исторические познания о чужих чувствах, — в положительных давая возобладать плюсу, или свету, а в отрицательных — минусу, или тени. И как из обыкновенного белого луча, в зависимости от того, *как* он упадет на плоскость, рождаются тысячи и тысячи красок, так, по моему убеждению, в нашей душе спят первоосновы всех характеров, чтобы затем благодаря действительности и природе или благодаря художественной иллюзии обрести либо прочное, либо только призрачное и мгновенное бытие. И тогда все порождения нашей фантазии в конце концов — только *мы сами*. А что такое дружба или платоническая любовь, как не сладострастное слияние двух существ? Или созерцание себя в зеркале другой души.

Любовь, друг мой, сия великая и непогрешимая область чувств, в конце концов — только *счастливый* обман. Разве *чужое*, никогда не становящееся *нашим* существо заставляет нас страшиться, пылать и млеть? Конечно, нет. Все это мы претерпеваем лишь для самих себя, для нашего я, отражением которого это существо является. Я здесь не делаю исключения даже для бога. Бог, думается мне, так же равнодушен к серафиму, как и к червю, неведомо для себя его славящему. Он зрит *себя*, свое великое, бесконечное я, рассеянным в бесконечной природе. Сумму всех сил он мгновенно перечисляет на себя, во всей механике мироздания зрит *свой совершенный образ*, словно отраженный в зеркале, в его *очертаниях* любит себя, в *знаке* — *обозначаемое*. С другой стороны, в каждом отдельном создании (в большей или в меньшей степени) он находит частицы своего существа. Выражаясь образно, если душе, по Лейбницу, присуща хотя бы единая черта божества, то душе мимозы от него передалась лишь одна простейшая *точка* — возможность чувствовать, а величайший после бога мыслящий дух... но ведь вы меня уже поняли. От этих образных сравнений я перехожу к более чистому понятию любви. Так же как совершенство не может существовать само по себе, а заслуживает этого наименования лишь в силу известного отношения к всеобщей цели, так и мыслящий дух не может уйти в самого себя и самим собою удовлетвориться. Вечное и неизбежное стремление найти дугу для этого угла, а из дуги вывести круг означает — соединить в неразъемлемое тело рассеянные черты красоты, звенья совершенства, другими словами: извечное внутреннее стремление перейти в другое существо или вобрать его в себя, к себе притянуть — это и есть любовь. И разве во всех проявлениях любви и дружбы — от ласкового рукопожатия и поцелуя до самого пылкого объятия — по-разному не выражается единое стремящееся к слиянию существо?

Теперь я затрону пункт, к которому приблизился окольным путем. Ежели дружба и платоническая любовь — только смешение нашего существа с другим, чуждым, только страстное домогательство его качеств,

тогда и то и другое, собственно, лишь иной вид воздействия поэтического вымысла, короче: существо, почитаемое нами другом или героем нашего произведения, и есть поэтический вымысел. В обоих случаях *мы* идем новыми путями и оказываемся в новых положениях, *мы* приземляемся в иных плоскостях, видим *себя* раскрашенными другими красками, *мы* страдаем в других телах. Если мы можем пламенно сочувствовать нашему другу, то в сердце у нас найдется тепло и для наших поэтических героев. Было бы, однако, преждевременно сделать отсюда вывод, что из способности к дружбе и платонической любви вытекает способность к истинному художественному творчеству. Ибо я могу полностью *прочувствовать* большой характер, не умея его создать. Но при этом можно считать доказанным, что у большого поэта достанет сил и на высшую дружбу, даже если ему и не доведется проявить ее. Бесспорно то, что мы должны быть друзьями наших героев, раз нам суждено вместе с ними распалиться гневом, трепетать, плакать и отчаиваться, что они должны быть для нас самостоятельными людьми, поверяющими нам свои сокровенные чувства, изливающими на нашей груди свои страдания и радости. Отсюда следует, что наши восприятия — это рефракции, нечто не первичное, но порожденное состраданием. Мы, поэты, трогаем, потрясаем, воспламеняем сильнее всего тогда, когда сами почувствовали страх за наших героев и сострадание к ним. Один крупный философ, сейчас не припоминаю его имени, заметил, что симпатию вернее и сильнее всего пробуждает симпатия же. Теперь я отдаю себе полный отчет в этой сентенции. Поэтому надо быть не столько *живописцем* своего героя, сколько его *возлюбленной*, его *задушевным другом*. Участливость любящего подмечает в сто крат *больше* нюансов, нежели самый зоркий взгляд наблюдателя. Благополучие и неудачу, счастье и несчастье любимого нами мы впитываем в себя куда большими дозами, чем то, что мы не так любим, хотя и изучили досконально. Посему «Юлий из Тарента» растрогал меня больше, чем Лессингова «Эмилия», хотя Лессинг несравненно наблю-

дательнее Лейзевица. Лессинг был надсмотрщиком над своими героями, а Лейзевиц — их другом. Поэт, если можно так выразиться, должен сам себе быть читателем, а если он поэт театральный — сам себе партером, публикой...

Я многое сказал вам и сказал, как вижу сейчас, перечитывая письмо, слишком кратко. Может быть, в другой раз я это разовью.

Теперь еще несколько слов о моем Карлосе. Надо вам признаться, что в известной мере он заменяет мне возлюбленную. Я ношу его в своем сердце, брожу с ним по полям и лесам в окрестностях Бауэрбаха. Когда он будет, наконец, готов, вы сопоставите меня и Лейзевица с нашим Карлосом и Юлием не по величю кисти, но по яркости красок, не по мощи владения инструментом, но по тональности, в которой мы играем. У Карлоса, если я смею прибегнуть к такому сравнению, душа шекспировского Гамлета, кровь и нервы лейзевицовского Юлия, пульс — мой. Кроме того, я считаю своим долгом отомстить в этой пьесе своим изображением инквизиции за поруганное чело-вечество, пригвоздить к позорному столбу ее гнусные деяния. Я хочу, — пусть даже из-за этого мой Карлос будет потерян для театра, — чтобы меч трагедии вонзился в самое сердце той людской породы, которую он до сих пор лишь слегка царапал. Я хочу... но вы, боже упаси, еще станете смеяться надо мной...

Ваше последнее письмо, мой дорогой, воздвигло вам нерушимый памятник в моем сердце. Вы — та благородная душа, которой мне так долго недоставало и которая достойна владеть мною со всеми моими слабостями и вдребезги разбившимися добродетелями, ибо первые вы потерпите, а вторые почтите слезой. Дорогой мой друг! Я не тот, кем мог бы быть. Возможно, я бы стал велик, но судьба слишком рано начала противоборствовать мне. Любите и цените меня за то, чем я мог бы стать под более счастливым созвездием, и уважайте во мне те намерения, осуществлению которых воспрепятствовала судьба; главное же, всегда оставайтесь мне другом.

Ш.

25. РЕЙНВАЛЬДУ

5 мая 1783 г.

С добрым утром, милый друг!

Моя «Л. М.» в 5 часов утра уже выгоняет меня из постели. И вот я сижу, чищу перья и пережевываю мысли. Как это верно сказано, что принуждение подрезает крылья духу. Писать в страхе — подойдет ли это театру, в спешке, так как на меня пажимают, и писать притом безусловно — право же, большое искусство. И все же моя Миллер становится лучше. Изменения уже не должны повергать вас в трепет. Моя леди интересуется меня, пожалуй, не меньше моей штутгартской Дульциней. Но это побоку. Мы с вами теперь оба как бы занимаемся умерщвлением плоти или живем, как двое супругов, давших обет не спать вместе. Когда «Л. М.» будет готова, «Карлос» уже не помешает мне лететь к вам. Напишите мне хотя бы несколько строчек, чтобы я знал, что вы еще живы и любите

вашего без лести преданного

Риттера.

26. РЕЙНВАЛЬДУ

[11 мая 1783 г.]

Дражайший друг!

Виною тому, что я сегодня уехал, не повидавшись с вами, во-первых — воскресенье, — не мог же я показаться на люди непричесанный и без свежего белья, — а во-вторых, надо было спешить в Бауэрбах.

О «Луизе Миллер» напишу вам со следующим нарочным и очень попрошу вас со всей критической строгостью разрешить мои сомнения и ответить на вопросы, которые я предлагаю. «Фиеско» и все, что я еще оставил, собственноручно передайте Юдифи. Я совсем сонный. Будьте здоровы.

Р.

27. ГЕНРИЕТТЕ ФОН ВОЛЬЦОГЕН

Мангейм, 11 сентября 1783 г.

Наконец-то я могу снова писать вам, моя дорогая. Сколько тревог зашевелилось в вашем нежном сердце из-за моего молчания, длившегося целый месяц, мне нетрудно вообразить. Боюсь также, что вы отгадали истинную его причину. Уже три недели, как я болен, дорогая. Эта болезнь, слава богу, не угрожает моей жизни, но все же лихорадка с ежедневными приступами ужасно изнурила меня, и хотя я теперь уже здоров, если не считать слабости в голове и быстрой утомляемости, мне придется еще недели две просидеть дома. Все два месяца, которые я живу в Мангейме, в городе свирепствует эпидемия желтухи, настолько распространившаяся, что из 20 000 жителей 6000 охвачены ею. Мейер умер от нее уже в мою бытность здесь — друг, которому я многим был обязан. Теперь, слава господу, эпидемия пошла на убыль. За меня больше не беспокойтесь. Я находился в хороших руках, ухаживали за мной, как за родным сыном, а так как голова моя очень ослабела, то попечение надо мной передали другому доктору.

Я намеревался шаг за шагом доводить до вашего сведения, друг мой, все дурное и хорошее, что произойдет со мной здесь. Болезнь помешала этому, и теперь я должен кратко и суммарно отчитаться перед вами во всем прошедшем и будущем и по возможности коротко обрисовать вам положение вещей.

Ваше последнее письмо, которое неизбежно должно было меня опечалить, ибо в нем излилась печаль вашего сердца, в известной мере разрешило мои сомнения. Как раз когда оно пришло, Дальберг всячески пытался поколебать мою решимость. Вы помните, дражайшая, что я дал вам честное слово не навязываться и ни в коем случае не делать первого шага для получения ангажемента. Теперь я с радостью и с чистой совестью могу вторично честным словом за-

верить вас, что я сдержал обещание. Дальберг первый предложил мне остаться здесь. При этом он предоставил мне решать, на какой срок я хочу заключить контракт с театром и какая сумма нужна мне на неотложные расходы. Хотя я перед самым отъездом и говорил вам, что, может быть, проведу здесь зиму, но в глубине души я сильно в этом сомневался, и неутолимая любовь к нашей тихой прекрасной жизни уже начала было брать верх, когда пришло ваше письмо и я узнал, что Винкельман два месяца проведет у вас. Вы знаете, любезнейшая, что приезд этого господина мог бы прогнать меня даже из Бауэрбаха, если бы я еще находился там, и так же решительно должно было это известие удержать меня от поездки туда. Итак, я решил принять предложение Дальберга, и приблизительно недели три назад, когда я был зван к нему обедать, мы пришли к окончательному соглашению. Я остаюсь здесь до мая 1784 года, причем мы договорились о следующих условиях:

1. Театр получает от меня три новые пьесы — «Фиеско», мою «Луизу Миллер» и третью, которую мне еще предстоит написать до истечения действия нашего договора.

2. Контракт, собственно, заключен на год, с 1 сентября сего года до последнего дня августа следующего. Я испропал себе разрешение по состоянию здоровья жаркую летнюю пору провести где-нибудь в другом месте.

3. Мне выплачивается пенсия в размере 300 флоринов, 200 из которых я уже получил. Кроме того, за *каждую пьесу*, написанную мною для театра, я получаю весь сбор с одного спектакля, с какого именно — я определяю сам. Сбор этот обычно колеблется от 100 до 300 флоринов. Тем не менее пьеса остается моей собственностью, и я вправе продать ее кому угодно, а также и напечатать. Таким образом я безусловно могу рассчитывать до конца августа 1784 года получить 1200—1400 гульденов, 400—500 из которых пойдут на погашение долгов.

Возблагодарите господа вместе со мной, моя дорогая, за то, что он указал мне этот путь, и за то, что

теперь благодаря улучшению моих обстоятельств я смогу вырваться из всех долговых неурядиц и остаться честным человеком. Признаюсь, что только эта мысль и может утешить меня в долгой разлуке с вами и в отсрочке всех моих приятных планов; она же придает мне достаточно мужества и спокойной твердости сказать вам, что раньше чем через 8 или 9 месяцев мы не свидимся. До тех пор, возлюбленнейшая моя подруга, препоручаю вас воле божественного промысла и верю, что в урочный час он возвратит нас друг другу более счастливыми. Думайте же обо мне в минуту одиночества и поминайте меня наряду с вашими детьми в молитвах, возносимых вами господу, прося у него пощадить мое сердце и мою юность. Дружба моя к вам — если только эта мысль может вас порадовать — останется неизменной и будет для меня надежнейшим противоядием от любого соблазна. *Вы были первым человеком*, к которому я испытал неподдельную и чистую сердечную склонность, а такая дружба выше всех превратностей судьбы. Называйте меня и впредь своим сыном, дражайшая подруга, и будьте уверены, что я умею ценить сердце такой матери. Наша разлука, необходимость которой мне не приходится вам доказывать, возвратит мне душевный покой, покой, которым я уже так давно не наслаждался, ибо сознание неопределенности моего будущего и грызущие мысли о долгах дено и ношно преследовали меня. Пребывание здесь поможет мне еще усовершенствоваться в моей науке и даст мне больше права рассчитывать на будущее счастье. Итак, долг по отношению к самому себе и своему честному имени обязывает меня сделать этот шаг, а дальше меня поведет господь.

В остальном, моя дорогая, мне нечего сказать вам о моем нынешнем житье, кроме хорошего, — многое здесь соединилось для того, чтобы принести мне и пользу и удовольствие. Во время болезни мне доставлялись всевозможные развлечения, и моя комната редко когда не была полна посетителей. За день до моего заболевания в мою честь давались «Разбойники», и театр был переполнен до отказа. Я частенько обедаю у Даль-

берга и у Швана — два дома, где собирается избранное общество; в первом из них принимают с царственной роскошью. По театру я разгуливаю невозбранно, как по собственному дому. Как только стану выходить, завяжу знакомства с некоторыми влиятельными людьми, которые хотят поближе меня узнать. Жилье у меня весьма благопристойное. Ах, дорогая, если бы вы взяли да нагрянули ко мне! В скором времени я жду моих сестер и, возможно, задержу их здесь на месяц. За это я заставляю их шить мне рубашки и вязать чулки. Стол, включая вино и кофе, обходится мне в 5 золотых за три месяца. Но экипировка берет немало денег, так как я совсем не подготовлен к зиме. По этой причине вы еще не получите денег вместе с этим письмом, но вам предназначена половина сбора с моего «Фиеско», которого будут играть на масляной, а также половина сбора с «Луизы Миллер». Досадная история с лошадью хозяина «Зеленого дерева» приключилась весьма некстати; собственно, я ничего платить не обязан, клячу надо было вскрыть. Впрочем, чтобы не путаться с этим делом, вы можете пообещать ему, что я уплачу, но, конечно, весьма немного. Удачное лечение вами ребенка Флуршюцев было вполне безупречно, в столь крайнем случае надо было применить именно эти средства. Такая удача не могла не доставить вам истинной душевной радости. Как бы я хотел поздравить вас с устройством нашего милого Вильгельма, любезнейшая, — впрочем, крадущаяся походка герцога и полковника Зегера были мне всегда не по нраву. Но в конце концов это было необходимо, а те несколько месяцев, что остались до декабря, Вильгельм как-нибудь перетерпит, — перетерпел же он в три раза больший срок. Милую Лотту тысячу миллионов раз приветствуйте от моего имени. О, если б мне сейчас денек побыть с вами обеими, — как охотно разорвал бы я все, что связывает меня! — но ведь 8 месяцев в сущности краткий срок, и пролетят они — оглянуться не успеешь. И тогда я снова ваш, моя дорогая, и, если богу будет угодно, — к тому же исправившийся и более счастливый. Радуетесь ли вы вместе со мной дивному мгновению, когда мы полетим навстречу друг другу? Видите, эта надежда

даже на чужбине веселит меня, и я уже сейчас наслаждаюсь радостным будущим. Думаю, что ваше хозяйство, ваши подданные, дети и мои письма будут достаточно этому способствовать.

Ш.

28. ХРИСТОФИНЕ ШИЛЛЕР

Мангейм, 1 января 1784 г.

Дорогая моя сестрица!

Вчера я получил твое письмо, и так как я всерьез призадумался над моей нерадивостью в переписке, то теперь мучительно корю себя. Верь мне, моя дорогая, это не очерствение сердца. Хотя судьба и может изменить характер, но я остался все тем же. Это также не недостаток внимания и любви к тебе — ибо твое будущее нередко занимает меня в часы одиночества, и кто, как не ты, героиня моих светлых грез. Это ужасающая суета и еще своего рода стыд, что мне до сих пор так и не удалось осуществить мои планы касательно счастья близких и, в первую очередь, — твоего. В каком долгу наши поступки у наших надежд! И как часто необъяснимый рок насмехается над лучшими нашими намерениями!

Итак, наша милая матушка все еще прихварывает? Я охотно верю, что изнуряющая грусть не дает ей поправиться и что медикаментами тут, пожалуй, не поможешь. Но ты ошибаешься, милая моя сестра, уповая, что мое присутствие возвратит ей здоровье. Наша добрая матушка, я бы сказал, питается заботой. Если одна забота отпадает, она обязательно сыщет другую. Как часто мы это шепотом говорили друг другу! Прошу тебя, повтори ей это теперь от моего имени. Я говорю только как врач, ибо наш добрый отец, наверное, чаще и убедительнее меня заверял ее, что такое состояние духа не улучшает жизни и несовместимо с верой в господа.

Твои припадки меня действительно немало беспокоят. Я вспоминаю, что они у тебя уже бывали не раз, и думаю, что более подвижный образ жизни, наряду со способствующей похуданию диетой, приостановит их.

Принимай. время от времени селитру с виннокаменной кислотой, а весной начни пить сыворотку.

В письме ты выражаешь желание видеть меня в Солигуд в лоне семьи и вновь повторяешь предложение милого папы ходатайствовать перед герцогом относительно моего *добровольного* возвращения на родину. Единственное, что я могу тебе на это ответить, дорогая, это то, что моя честь ужасно пострадает, если я без установившихся отношений с другим государем, без должности, постоянного обеспечения вновь объявлюсь в Вюртемберге после моего самовольного отъезда. От того, что папа хочет подать просьбу от своего имени, мне мало толку, ибо каждый подумает, что я его к этому подстрекнул, и прежде чем мне не удастся доказать, что я не нуждаюсь в герцоге Вюртембергском, каждый в этом моем выклянченном (безразлично, прямо или косвенно) возвращении усмотрит лишь мое желание пристроиться в Вюртемберге. Сестра, подумай обо всем этом хорошенько, ибо поспешность в таком деле может навеки подорвать счастье твоего брата. Большая часть Германии знает о моих отношениях с вашим герцогом и о том, каков был мой отъезд из Вюртемберга. Интерес ко мне шел в ущерб герцогу. Как паду я во мнении публики (а от нее зависит все счастье моей будущей жизни), какой урон будет нанесен моей чести подозрением, что я искал этого возвращения, что обстоятельства заставили меня раскаяться в моем прежнем шаге, что, нигде не найдя заработка, я ищу его теперь у себя на родине.

Откровенное, благородное мужество, которое я проявил при своем самовольном отъезде, будет, если я не сумею в дальнейшем оправдать его, именоваться ребяческой поспешностью, глупой и грубой выходкой. Любовь к семье, тоска по родине, может быть, послужат мне оправданием в сердце того или другого честного человека, но свет с этим не считается. Конечно, я не могу помешать отцу, чтобы он все-таки поступил согласно своей воле; но одно говорю тебе, сестра: в случае если герцог согласится, я все равно не покажусь в Вюртемберге раньше, чем не выхлопочу себе чина, чего теперь усердно добиваюсь; в случае же если он отве-

тит отказом, я не смогу удержаться, чтобы не отомстить ему за причиненный мне афронт публичными дерзостями. Теперь ты знаешь достаточно, чтобы подать разумный совет в этом деле.

Под конец от всего сердца желаю тебе и всем вам счастливой участи в 1784 году; дай бог нам в этом году исправить все ошибки, содеянные в прошлом, и дай бог, чтобы в этом году счастье искупило свое пренебрежение нами во все прошлые годы.

Вечно преданный тебе брат

Фридрих Ш.

29. ГЕНРИЕТТЕ ФОН ВОЛЬЦОГЕН

Мангейм, 7 июня 1784 г.

Это давно начатое письмо пролежало страшно долго. Когда я начал его писать, новоприбывшие прислали за мной из Пфельцергофа и уговорили поехать в Гейдельберг. Вернулся я оттуда с моей милой лихорадкой и вот сегодня среди бумаг обнаружил это незаконченное письмо к вам. Итак, немедленно его продолжу.

Месяц назад здесь побывали г-н и г-жа фон Кальб, доставившие мне своим обществом несколько весьма приятных дней. Жена в особенности выказала много ума, у нее совсем не обычная женская душа. Они меня почти не отпускали от себя, и на мою долю выпало удовольствие показать им разные достопримечательности Мангейма. Теперь они уехали в Ландау, но обещали частенько сюда наведываться.

Вчера мне оставили свои визитные карточки г-н фон Бейвильц и г-жа фон Ленгефельд, вернувшиеся из Швейцарии. По несчастному стечению обстоятельств меня не оказалось дома, и я едва успел с ними проститься. Они надеются проехать через Мейнинген и тогда, без сомнения, посетят вас в Бауэрбахе. Пока что мне велено передать вам тысячи поклонов. Вы не поверите, любезнейшая, как дороги мне все, кто говорит о вас, все, кто к вам стремится.

Что я побывал во Франкфурте, вам, вероятно, уже известно через Рейнвальда; от него вы можете услы-

шать и о разных других мелких подробностях моей жизни. А не то попросите его дать вам прочесть мое последнее письмо. Не стану отрицать, что за время моего здешнего пребывания я испытал уже кое-что приятное и лестное, но до глубины моего сердца это все же никогда не доходило; оно оставалось холодным и безучастным. Болезнь и чрезмерная занятость подливали до сих пор немало горечи в мое существование, и уже никогда, никогда я не смогу вернуть те счастливые, веселые мгновенья, которыми так изобиловала моя жизнь в Бауэрбахе. Когда мне случается всерьез-поразмыслить над своей судьбой, я вижу, что мне суждено идти необычными и странными путями. Ни разу не вспомнил я без душевного волнения о той прогулке в вашем лесу, когда было решено, что я должен на время уехать. Кто мог тогда предположить, что этот неопределенный план внесет так много, так бесконечно много перемен в мою судьбу? И все же он оказался решающим, вероятно, для всей моей жизни. Или пребывание в Бауэрбахе было только милой причудой судьбы, которая уж никогда более не повторится? Кустарником, за который я зацепился на своем пути лишь затем, чтобы снова быть втянутым в водоворот? Непроницаемая завеса все еще скрывает мое будущее. Я не могу сказать, как долго продлится мое здешнее пребыванье. Сейчас, во всяком случае, мне невозможно его оборвать, ибо меня удерживают здесь тысячи всевозможных нитей, а нынешние дела мои принуждают меня законтраговаться на определенный срок. Но что рано или поздно я смогу поехать к вам, в этом я совершенно убежден. И даже щекотливый пункт — *расходы* — будет облегчен мне, если только мои надежды сбудутся.

Несколько дней назад мне был сделан сюрприз, лучший в мире. Я получил пакеты из Лейпцига и нашел в них четыре письма от совсем чужих людей, исполненные тепла и любви ко мне и моим писаниям. Двое из этих корреспондентов были женщины очень красивые. Одна из них вышила мне замечательный бумажник; по вкусу и тонкости работы — это совершенно исключительная вещь. Другая нарисовала себя и трех других

так, что все художники Мангейма дивятся ее искусству. Третий, желая сделать мне что-нибудь приятное, положил на музыку песню из моих «Разбойников». Вот видите, любезнейшая, бывают иногда у вашего друга совсем неожиданные радости, которые становятся еще дороже оттого, что изобретают их добрая воля, чистое, свободное от какой бы то ни было корысти чувство и душевная симпатия. Такой дар от вовсе не знакомых людей, не вызванный ничем, кроме чистосердечнейшего уважения, преследующий одну-единственную цель — выразить признательность за несколько радостных часов, проведенных за чтением моих произведений, — такой дар вознаграждает меня лучше, нежели громогласные славословия света, служит единственным и сладостным воздаянием за тысячи мрачных минут. И когда я задумываюсь над этим и представляю себе, что, может быть, есть на свете еще не один круг людей, любящих меня, радующихся тому, что они меня узнали, что, может быть, лет через сто или больше, когда и прах мой уже давно развеется, люди будут благословлять мою память и на мою могилу приносить дань слез и восхищенья, — тогда, моя любезнейшая, я радуюсь, что призван быть поэтом, примиряюсь с богом и моей нередко столь тяжкой участью.

Вы будете смеяться, дорогая моя подруга, если я признаюсь вам, что довольно давно лелею мысль о женитьбе. Не то что я уже нашел здесь свою избранницу, отнюдь нет, в этом смысле я так же свободен, как и раньше, но частые раздумья о том, что ничто на свете не может даровать моему сердцу счастливого покоя, моему духу свободы, столь необходимой для умственного труда и тихого бесстрастного досуга, навели меня на эту мысль. Мое сердце жаждет общения, теплого участия. Тихие радости домашней жизни могли бы, должны были бы ободрить меня в моих начинаниях, очистить мою душу от множества диких аффектов, вечно меня терзающих. Твердая уверенность, что я смогу сделать женщину счастливой, если искренняя любовь и забота делают счастливыми, в свою очередь толкают меня на такое решение. О, если бы мне найти девушку,

дорогую моему сердцу! Или если бы мне дойтить вас на слове и стать вашим сыном. Правда, богатой ваша Лотта не была бы никогда, но счастливой — навверное.

Ш.

30. ГЕРИБЕРТУ ФОН ДАЛЬБЕРГУ

Мангейм, 2 июля 1784 г.

Повинуясь приказанию вашего превосходительства, посылаю краткий проспект задуманной мною «Мангеймской драматургии». Если это предприятие, в чем я твердо уверен, послужит к увековечению нашей сцены и завершит великое начинание — сделать наш театр основополагающим для всей Германии и упрочить его славу, то я не думаю, чтобы мои условия, равно продиктованные мне необходимостью и справедливостью, могли бы отпугнуть вас от этой затеи.

В противном случае я, к сожалению, не смогу даже пальцем пошевелить для этого дела, и любезная мне мечта никогда не осуществится. Жду скорейшего ответа от вашего превосходительства и, если таковой окажется положительным, немедленно приму нужные меры и передам почте уже заготовленные письма.

С совершенным уважением вашего
превосходительства всепокорнейший *Ф. Шиллер.*

31. ГЕНРИЕТТЕ ФОН ВОЛЬЦОГЕН

Мангейм, 8 октября 1784 г.

Ваше письмо, моя дорогая, и положение, в котором я поневоле перед вами очутился; повергли меня в отчаяние.

Злосчастная судьба, возмущившая нашу дружбу, заставила меня показаться вам тем, кем я никогда не был и не буду, — неблагодарным подлецом! Вы сами поймете, моя милая, как больно мне хоть на мгновение быть занесенным в список тех, кто злоупотребил вашим доверием. Видит бог, я этого не заслужил. Но что

теперь пользы в общих чертах рассуждать о наших отпущениях. Подумайте лишь об одном: разве ужасное чувство пристыженности, с которым я должен вспоминать о моей благодетельнице, не оправдывает — этого я не смею сказать, — но хоть не делает понятным мое молчание? Как часто я, со стесненным сердцем, со всей моей жаждой дружбы, готов был бы полететь к вам, моя дорогая, если б ужасное сознание полной невозможности исполнить ваше желание и уплатить мои долги не приковывало меня к месту. Мысль о вас, всегда доставляющая мне столько радости, из-за сознания моего бессилия стала для меня источником мучений. Не успевал *ваш образ* встать в моей душе, как передо мной возникала вся картина моего злосчастья. Я боялся писать вам, так как не мог, ни разу не мог написать ничего, кроме вечного: наберитесь со мною терпения.

Но теперешнее ваше письмо уж очень затронуло мою душу. Я вижу, что вы страдаете, и это ужасно. Я должен, я хочу быть с вами откровенным. Может быть, надеюсь, это вас успокоит.

Сейчас, немедленно я ничего не могу возвратить вам из своего долга. Ужасно, что мне надо это говорить, но стыдиться мне нечего, ибо такова судьба. Человек не заслуживает кары за то, что он несчастен. Почти весь истекший год я прохворал. Грызущая тоска, неопределенность будущего препятствовали моему выздоровлению. Это и было единственной причиной того, что мои планы расстроились. Не сложись все так неудачно, я бы уже несомненно в значительной степени расплатился с вами. И разве я виноват, что все так сложилось? Но теперь, хорошенько поразмыслив, я принял окончательное решение. Если ничто не встанет на моем пути, то будущее мое устроено. Я приведу свои дела в порядок и смогу заплатить все до последнего гроша. Мне только надо вздохнуть свободно до того, как мои дела наладятся; если теперь мне подрежут крылья, то уже навсегда.

На этой неделе я сделаю извещение о журнале, который буду издавать по подписке. Люди со всех сторон предлагают мне свои услуги, и я исполнен наилуч-

ших надежд. Ежели я заполучу 500 подписчиков, на что можно рассчитывать почти наверняка, ибо я принял соответствующие весьма разумные меры, то за вычетом всех расходов мне останется 1000 флоринов барыша. Кроме того, поступают доходы с пьес, и все теперь сводится лишь к моему усердию и здоровью. Мысль помочь вам, моя дорогая, выбраться из затруднений и выказать мою бесконечную признательность поощрит мое рвение, а желание наконец-то почувствовать себя в довольстве и спокойствии побудит собрать все силы моего духа. Жизнь моя упорядочена, и могу смело сказать, что я теперь уже отнюдь не легкомысленный расточитель. Лучше во всем отказать себе, чем заставить страдать ту, которой я всем, решительно всем обязан. Итак, я торжественно и твердо обещаю, что, считая от сегодняшнего дня и до конца 1785 года, я в разные сроки расплачусь с вами *сполна*. Для этого я, в целях погашения долга, выписал три векселя, по которым и буду платить в обозначенные сроки. На это обязательство вы можете твердо рассчитывать. Знаю наверное, что господь даст мне здоровья для сей благородной цели. Вы же как дворянка сумеете получить кредит на этот срок. Все займодавцы на свете дают отсрочку своим должникам и соглашаются ждать год-два, а то и три, если знают, что тогда им наверняка будет уплачено, а вы безусловно с ними расплатитесь, это не подлежит сомнению.

Смею вас заверить, моя дорогая, я ничуть не изменился, и лишь то незавидное положение, в каком я очутился перед вами, да боль, причиняемая мне долгом, который я не могу выплатить, до сих пор удерживали меня от общения с вами. Вы всегда были и навеки останетесь дороги и близки мне. Я никогда не стану таким, как вы опасаетесь, но рок и обстоятельства могут иногда до неузнаваемости изменить видимую сторону человека. Потому не лишайте меня своей любви. Вам еще предстоит до конца узнать меня, а может быть, вы тогда больше меня полюбите. Молитесь же иногда за своего друга, который теперь больше, чем когда-либо, нуждается в мужестве и силах для того, чтобы осуществить свое благое решение.

Напишите мне поскорей, как можно скорей, смею ли я полагать, что успокоил вас. Если я буду знать, что вы простили меня, что вы приняли в расчет мои заверения и потому несколько успокоились, то вы по удвоенному количеству писем поймете, что бесконечно дороги мне. Не допустите же, чтобы обстоятельства, которые не продлятся дольше нескольких месяцев, нарушили дружбу столь чистую, столь искреннюю, дружбу, заключенную перед лицом господа. Итак, в ближайшее время я жду письма, и будьте уверены, что я ни на один день не замешкаюсь с ответом.

Вечно и неизменно

друг ваш

Фрид. Шиллер.

32. ФЕРДИНАНДУ ГУБЕРУ

М., 7 декабря 1784 г.

Никогда, никогда не сможете вы простить меня, мои дорогие, за то, что на ваши дружественные письма, письма, дышавшие таким восторгом и благожелательством, да еще сопровождаемые бесценными знаками вашей доброты, я мог не отвечать в течение *семи* месяцев. Сознаюсь, это письмо я пишу с краской стыда на лице, унижающей меня перед самим собою; и я, как трус, опускаю глаза перед вашими портретами, что висят над моим письменным столом и в этот момент кажутся мне живыми обвинителями. Досточтимые друзья и подруги, право же, стыд и неловкость, которые я сейчас испытываю, достаточное отмщение. Не стремитесь же к еще большему и дозвоьте мне сказать несколько слов — не затем, чтобы оправдаться в этом неслыханном нерадении, но затем, чтобы хоть несколько объяснить его вам.

Ваши письма, доставившие мне несказанную радость и озарившие теплым светом этот час моей жизни, застали меня в мрачайшем состоянии духа, о причинах которого я не могу рассказывать в письмах. Мое тогдашнее настроение было не таково, чтобы я мог впер-

вые предстать перед такими людьми, какими я вас считаю. Ваше лестное обо мне мнение было, конечно, всего лишь приятной иллюзией, но тем не менее я имел слабость желать, чтобы она не слишком скоро развеялась. Посему, мои дорогие, я и отложил ответ до лучшего времени — когда гений вновь посетит меня, а благоприятный каприз судьбы откроет мое сердце лучшим чувствам. Но эти идиллические часы так и не настали, и сердце мое в долгой смене печалей и неприятностей очерствело для дружбы и радости. Несчастнейшее стечение обстоятельств, мысль о которых еще и сейчас больно ранит меня, мало-помалу заглушило это благое намерение в моем истерзанном сердце. Случайность, унылый вечер внезапно напомнили мне о вас, о моем проступке, и вот я уже бегу к письменному столу, дабы испросить у вас, мои дорогие, прощение за свою постыдную забывчивость, в которой мое сердце неповинно. Какую боль должна была причинить вам мысль, что вы любили человека, способного так отплатить за выказанные ему добрые чувства! Как, должно быть, раскаивались вы в своем обращении к неблагодарнейшему существу на земле! Но нет, неблагодарным я никогда не был и не предрасположен стать им. Если в вас еще сохранилась хоть искра теплого чувства ко мне, то я прошу подвергнуть мое сердце суровейшим испытаниям и помочь мне всеми способами искупить мое былое небрежение.

Но хватит о моей неблагоприятной роли.

Если я признаюсь вам, что ваши письма и подарки были приятнейшим из всего, когда-либо испытанного мною за время моего писательства, что эта радость сделала меня нечувствительным ко многим тяжким ударам судьбы, преследовавшим меня в пору моей юности, что вы, мои дорогие, — я не преувеличиваю, — можете приписать себе то, что я окончательно не проклял свое призвание, к чему меня уже было вынудил мой злосчастный рок, — если я все это скажу вам, тогда, я знаю, вы не пожалеете о добрых словах, с которыми ко мне обратились. Если *такие* люди, такие *прекрасные* души не вознаградят поэта, то кто же это сделает?

Я не без оснований надеялся лицом к лицу увидеть вас в этом году, ибо всерьез собирался поехать в *Берлин*. Различные обстоятельства отодвинули это намерение по меньшей мере на год. Но все же, возможно, я побываю в Лейпциге на весенней ярмарке.

Сколь сладостной будет минута, когда я встречу вас там и живая близость затуманит радостное воспоминание о ваших портретах! Минне и Доре придется оказать мне снисхождение, если я буду пойман на небольшой покраже и в моих новых поэтических образах они узнают свои черты.

Не знаю, любезные мои друзья, сочтете ли вы меня, после *былого* моего поведения, достойным вашей дружбы и захотите ли продолжать со мной переписку; но я от всего сердца прошу вас об этом. Только более тесное знакомство со мной, со всей моей сущностью сможет воскресить в вас некоторые отблески того представления, которое вы в свое время обо мне составили и которое теперь, вероятно, уже померкло. На мою долю выпало не много жизненных радостей, но этими немногими (вот самые гордые слова, которые я могу сказать о себе) я обязан своему сердцу.

Вместе с письмом вы получите новый продукт моего пера — извещение о журнале. Вас, вероятно, удивит, что я избрал себе *именно эту роль*, но само предприятие, может быть, заставит вас возвратиться к прежнему представлению обо мне. Кроме того, немецкая публика вынуждает писателей в выборе своем руководствоваться не предуказаниями гения, но коммерческими расчетами. «Талии» я отдам все мои силы, но не буду отрицать, что я (если обстоятельства поставят меня выше меркантильных соображений) с удовольствием употребил бы их на другом поприще.

Если несколько ваших строк дадут мне уверенность в том, что я прощен, то за этим письмом незамедлительно последует второе. Женщины обычно непримиримее нас, а потому под прощением должны стоять и их подписи.

С неизменным уважением ваш

Шиллер.

Мангейм, 10 февраля 1785 г.

В то время как половина Мангейма теснится в театре на аутодафе природы и поэтического искусства (представление большой оперы), упиваясь судорогами сих несчастных жертв,— я лечу к вам, мои дорогие, и чувствую себя в этот миг куда более счастливым. Только сейчас начинаю я опять любить свою фантазию, эту беспокойную бродяжку, которая любезно уводит меня к вам из печального однообразия моего здешнего существования. Хотя воспоминание о вас и застилает мне весь горизонт, но это не жертва, а, напротив, своекорыстная радость, ибо то, что душа моя парит подле вас, служит мне сладостным отдохновением в моем нынешнем унылом существовании. Такие мгновения, как сейчас, когда все мои чувства претворяются в сладострастную печаль, когда я ухожу в себя и упиваюсь своей нищетой, мгновения, когда душа моя оставляет свою оболочку и в свободном полете проносится по своей отчизне — Элизиуму, должны быть священны для друзей моего сердца. Если временами, среди шума и чада вашей жизни, вас охватит внезапная необъяснимая тоска, то так и знайте — это Шиллер думает о вас, это его дух вас окликает.

Боюсь, что такое вступление покажется вам скорее сумасбродным мечтательством, нежели подлинным моим ощущением, а между тем я чувствую именно так. Перед вами, друзья мои, я не могу надевать маски, это жалкое прибежище холодного сердца мне неизвестно. Со времени ваших последних писем меня не покидала мысль: «Эти люди принадлежат тебе, ты принадлежишь этим людям». — Посему не считайте мою дружбу сомнительной, хотя она и возникла так внезапно. Есть люди, для которых природа сорвала скучную ограду моды. Благородные души связаны хрупкими узами, но часто нерушимо и навеки. Великие музыканты нередко узнаются по первым аккордам, великие художники — по небрежнейшему мазку кисти, благородные же люди — большей частью по одному какому-то порыву. Но умничать по поводу своих чувств мне

неохота. Ваши письма пришли, и мы стали друзьями. За вас предстательствует ваш первый добровольный шаг и в дальнейшем благородная терпимость к моему молчанию, — за меня, если хотите, Карл Моор на берегу Дуная. Но если и этого недостаточно, мы можем предъявить наши пять голов Лафатеру.

Ежели вы в состоянии полюбить человека, который вынашивал в своем сердце *великое*, а совершал *малое*; который лишь из содеянных им безумств заключает, что у природы были насчет него бóльшие намерения, человека, который, любя, страшно многого *требует* и до сих пор еще не знает, много ли он в силах совершить, но зато умеет любить многое больше, чем себя, и не ведает горя более жгучего, чем то, что он так мало похож на того, кем хотел бы быть, — если такой человек может стать вам дорог и мил; то наша дружба нерушима во веки веков, ибо я — этот человек. Может быть, вы останетесь так же добры к Шиллеру и тогда, когда ваше почитание поэта сойдет на нет.

Подготовило ли вас это первое признание еще ко второму? О мои милые, ваша любовь, добровольно устремившаяся мне навстречу, возымела примечательное действие на состояние моей души. У меня такая несчастная склонность все преувеличивать, что ничтожные причины нередко заставляют меня считать мои надежды разбитыми, а самые незначительные обстоятельства кажутся мне звеном какой-то бесконечной цепи. То же происходит со мной и по отношению к вашей дружбе. Ваши любвеобильные признания дошли до меня в пору, когда потребность в друге я ощущал живее...

22 февраля.

чем когда-либо (тут меня прервал неожиданный посетитель, а за эти 12 дней со мной и во мне произошла революция, которая сделает настоящее письмо гораздо более значительным, чем я смел мечтать, и составит эпоху в моей жизни). Я больше не могу оставаться в Мангейме. С несказанно стесненным сердцем пишу я вам, мои милые. Я больше не могу здесь оставаться. Двенадцать дней вынашивал я это в сердце, словно ре-

шение уйти из мира. Люди, отношения, земля и небо гадки мне. У меня нет здесь ни души, ни единой души, которая заполнила бы пустоту в моем сердце, нет ни подруги, ни друга; а от того, что еще могло бы быть дорого мне, меня отделяют условности, обстоятельства. С театром я разорвал контракт; следовательно, экономические причины моего здешнего житья больше не связывают меня с этим местом. Кроме того, мои нынешние отношения с герцогом Веймарским требуют, чтобы я отправился к нему и сам за себя предстательствовал, как ни жалок я обычно в этих делах. Но прежде всего позвольте мне сказать это открыто, мои дорогие, и смейтесь, если хотите, над моими слабостями — я *должен* побывать в Лейпциге и навестить вас. О, душа моя жаждет *новой* пищи, *лучших* людей, жаждет дружбы, привязанности и любви. Я должен побыть у вас, должен, благодаря частым встречам, благодаря душевному единению с вами, обрести способность вновь довериться своему сердцу и окрылить свое существование. Мое поэтическое вдохновение иссякло, а мое сердце заостенело для прежнего круга друзей. Вы должны вновь отогреть его. У вас я хочу стать и стану вдвойне, втройне тем, кем я некогда был. Больше того, дорогие мои, я стану *счастливым*. Счастливым я еще не был никогда. Плачьте о том, кто вынужден сделать такое признание. Я еще не был счастлив, ибо слава, восхищение и все прочее, сопутствующее писательству, не могут уравновесить и *одного* мгновения, даруемого дружбой и любовью, — сердце так нуждается в этих чувствах.

Значит, вы меня примете?

Видите ли, откровенно говоря, я уже торжественно и бесповоротно объявил в Мангейме, что недели через три, через месяц отправлюсь в Лейпциг. Что-то большое и несказанно радостное должно быть мне уготовано там, ибо мысль об отъезде превращает для меня Мангейм в тюрьму; здешнее небо тяжело давит на меня, словно воспоминание об убийстве, а Лейпциг в мечтах и чаяниях кажется мне розовой зарей, встающей из-за лесистых холмов. За всю свою жизнь не могу припомнить такой глубокой пророческой уверенности, какой я одержим, теперь, что в Лейпциге я буду счастлив.

Я верю этому странному предчувствию, хотя вообще не очень-то почитаю визионерство. Какая-то радость ждет меня — но, собственно, при чем тут предчувствие? Ведь я знаю, что меня ждет, кого я там встречу.

Мне надо так бесконечно много сказать вам, что я готов пуститься в описание пароксизма радости, охватывающего меня при одной мысли об этом. До сих пор судьба разрушала все мои планы. Мое сердце и моя муза должны были смиряться перед необходимостью. И нужна именно такая революция в моей судьбе, для того чтобы мне стать совсем другим человеком — стать поэтом.

«Дон Карлоса» — первое действие его вы прочтете в «Талии» — я привезу вам пока еще только воображаемого, но в вашем кругу я задушевней и веселей заиграю на своей лире. Так будьте же для меня вдохновляющими музами и дозвоьте мне вблизи от вас произвести на свет это любимейшее дитя моей фантазии.

Магический туман, в который людские толки обычно окутывают писателя, ваше блистательно-идеальное представление обо мне, конечно, рассеются при первом же моем появлении. Вы увидите довольно жалкого чудака, но доброго ко мне отношения, понятно, не измените. Задушевная дружба, единение всех чувств, взаимная любовь и уважение, полнейшее проникновение в интересы друг друга уподобят наше совместное пребывание Элизкуму. Я почувствовал бы себя несчастным, если бы мои упоительные чаяния не разожгли и в вас таких же надежд, если бы наши чувства и здесь гармонически не слились воедино, как то бывало обычно.

Я твердо решил, коль скоро обстоятельства хоть в малой степени будут благоприятствовать мне, сделать Лейпциг целью моей жизни и своим неизменным местопребыванием. Надеюсь, что мне удастся осуществить это намерение; все остальное уже не может уместиться в письме и будет отложено для устной беседы. Все равно человеку не дано приподнять таинственную завесу будущего. *Одна* минута может дать совсем иное — счастливое — направление всем моим начинаниям. «Благословен случай! (говорит Фердинанд фон Валь-

тер).— Он совершил больше, нежели мудрствующий разум, и в тот день выдержит искус лучше, чем остро-словие мудрецов». Все письменные сношения, все видения нашей фантазии — как бы неукротима она ни была — лишь зыбкие китайские тени по сравнению со встречей *лицом к лицу*. Я чувствую, как дороги вы мне уже сейчас, но знаю наверное, что это теплое чувство еще ярче разгорится при личном знакомстве и сближении.

Я искал среди здешних девушек *Минну* и *Дору*, но под здешними небесами не встречаются такие лица. Не знаю, что вы на это скажете, но я должен признаться — ваши портреты были для меня *не новы*, и все же, клянусь вам, таких лиц я припомнить не могу — я не устоял бы против тщеславного желания послать вам свой портрет, если бы меня не удержало еще большее тщеславие — а может быть, меня нарисует Дора. Бога ради, не судите обо мне по недавно выпущенной в свет гравюре — в этом случае вы поймете «Разбойников», но уже Шиллера вам будет не понять; этот портрет мрачен, как вечность, к тому же гравер накинул добрых пятнадцать лет на те годы, которые, насколько мне помнится, я успел прожить. Бумажник Минны я недавно освятил в Дармштадте, вложив в него первый акт «Дон Карлоса», читанный мною при дворе, и несравненная государыня, супруга наследного принца Дармштадтского, восхищалась искусством Минны. Это, конечно, мелочь; но в том, что дорого моему сердцу, для меня не бывает непримечательных мелочей.

Хотя я уже долго искушал ваше терпение этим длиннейшим письмом, я все же должен еще возвратиться назад. Итак, решено: через три-четыре недели я покидаю Мангейм. Еду прямо в Лейпциг и уже оттуда (в силу некоторых весьма важных причин) — в Веймар. Судите же сами, до чего несносны будут мне оставшиеся часы мангеймского плена. По счастью, «Рейнская Талия» не дает мне передохнуть. Бесчисленное количество писем, на которые надо отвечать, лежит передо мною; но я утратил всякую охоту к этому, покуда не окажусь в Лейпциге, — уверен, что он составит эпоху в моей жизни.

Сколько несказанных блаженств сулит мне пребывание у вас, и как важно мне будет остаться достойным вашей любви, вашей дружбы и, по мере сил, вашего восхищения мною. Напишите же мне поскорей; в нашей корреспонденции меня за образец не берите. Как только вы решитесь принять меня (или мне отказать) — напишите. Я никогда не остаюсь в накладе, ведь каждое мое письмо оплачивается *вчетверо*, но на вас я не хочу наживаться, посему это письмо и стало *вчетверо* больше обычного.

О некоторых других предметах завтра наверняка напишу Губеру.

Будьте здоровы и знайте, что вас вечно любит
ваш

Шиллер.

34. ГЕРИБЕРТУ ФОН ДАЛЬБЕРГУ

Отправлено 19 марта 1785 г.

Мне стало известно, что появление «Рейнской Та-лии» вызвало в курфюрстском театре среди некоторых здешних актеров волнение, для меня несколько неожиданное. Если бы в суждении о г-не Ренншюбе, а также о его жене, во всех без исключения ролях, я хотел следовать своему чувству и всеобщему голосу избранной публики, то пришлось бы опасаться убийства и кровавой расправы. Впрочем, невоспитанной женщине я готов простить любой припадок тщеславия, даже если она не на сносях. Как я дивлюсь при этом случае, что ваше превосходительство в течение пяти лет умудрились управлять столь обидчивыми людишками, ни в одном из них не поколебав любви к себе.

Но вот поведения господина Г. Бека я снести не могу и твердо решил не оставлять его безнаказанным. Я отозвался о г-не Беке с уважением, которого он не заслуживал, и тем не менее этот человек, не краснея, позволяет себе публично с криками и руганью на меня накидываться и поносить меня площадными словами. Все это мне стало известно до точности. Теперь сопоставьте сами, ваше превосходительство, мой отзыв о

нем в театральном обзоре с его поведением. Впрочем, я понимаю причину его злобы. Господин Бек ждал боготворения и не дождался. Кроме того, он обижен на мое внимание к Бейлю, Бёку и Иффланду и злится, что я не посадил его на трон в театральном обзоре. До чего же возвышаются над ним все три его соперника! Он вполне заслуживает, чтобы его, если когда-нибудь зайдет более подробный разговор о здешнем театре, призвали к целительной скромности и смыли с него комедиантский налет.

Если у вашего превосходительства сегодня под вечер найдется свободных полчаса, то будьте так добры сохранить их для меня.

Шиллер.

35. ФЕРДИНАНДУ ГУБЕРУ

Мангейм, 25 марта 1785 г.

Итак, надо надеяться, что это последнее письмо, которое я пишу вам из Мангейма. Время от 15 марта до сегодняшнего дня показалось мне томительно долгим, как уголовный процесс, но зато, слава богу, я уже на целых десять дней приблизился к вам. По всей вероятности, я уеду отсюда лишь 9 апреля — в день, когда пустится в дорогу книготорговец Гец. Но если я смогу вырваться на неделю раньше, то не стану дожидаться этой okazji, на которую я и так-то соглашаюсь не вполне добровольно.

А теперь, дорогой мой, раз уж вы взвалили себе на плечи все мои дела, дозвоьте мне ознакомить вас еще и с пожеланиями касательно домоводства.

При новом моем устройстве в Лейпциге я хочу избежать ошибки, все время причинявшей мне кучу неприятностей в Мангейме. Я не могу больше сам вести свое хозяйство и жить один. Первое мне никак не по плечу — мне легче придумывать заговоры и государственные преступления, нежели заниматься хозяйством. ведь поэзия, как вы сами понимаете, опаснейшая соперница хозяйственных расчетов. Моя душа вынуждена двоиться, я сваливаюсь с высоты моих идеальных

миров, лишь только разорвавшийся чулок напомним мне о здешнем мире. Для полного благополучия мне необходим настоящий сердечный друг, всегда находящийся подле меня, словно ангел-хранитель, которому я мог бы верить зарождающиеся во мне мысли и чувства не в длинных письмах, не допоздна засиживаясь в гостях. Уже то ничтожное обстоятельство, что такой друг живет вне моих четырех стен, что я должен перейти улицу, чтобы повидаться с ним, должен переодеться и тому подобное, убивает наслаждение минуты, и цепь мыслей грозит оборваться, прежде чем я доберусь до него. Видите ли, дорогой мой, это, конечно, мелочи, но в жизни мелочи иногда превращаются для нас в непосильное бремя. Я знаю себя, может быть, лучше, чем знают себя тысячи других людей, и знаю как много, а часто как мало мне нужно, чтобы быть совершенно счастливым.

Итак, спрашивается, смогу ли я в Лейпциге осуществить это заветное свое желание?

Если можно устроить так, чтобы мы поселились с вами в *одной* квартире, то все мои заботы на этот счет будут устранены. Я неплохой сосед, как вы, вероятно, можете себе представить; во мне достаточно гибкости, чтобы приспособиться к другому человеку, особенно к другу; а временами является и умение скрасить ему, как говорит Йорик, сей жизненный фрагмент. Если вы, кроме того, еще сможете познакомить меня с людьми, которые согласились бы заняться моим скромным хозяйством, то все в полном порядке. Мне не нужно ничего, кроме спальни, которая одновременно служила бы и кабинетом и гостиной. Необходимая мне мебель — это хороший комод, письменный стол, кровать, софа, стол и несколько кресел. Если все это у меня есть, то я для своего удобства больше ни в чем не нуждаюсь. Я не могу жить в первом этаже, а также под самой крышей, кроме того, я бы очень не хотел, чтобы из окна открывался вид на кладбище. Я люблю людей, а следовательно и людскую сутолоку. Если нельзя так устроить, чтобы мы столовались все вместе (я имею в виду наш пятилистник), то я стану довольствоваться на постоянном дворе, ибо я всегда предпочитал лучше уж по-

ститься, нежели есть без компании (большой или малой, но избранной).

Я пишу вам все это, дорогой друг, чтобы предупредить вас о моих чудачествах и дать вам возможность заблаговременно предпринять кое-какие шаги для моего устройства. Мои требования, разумеется, *бесконечно наивны*, но вы избаловали меня своей добротой.

Первую часть «Талии» вы, надо думать, получили, и суждение о «Дон Карлосе» у вас, видимо, уже сложилось. Но я хочу его услышать из ваших уст. Если бы мы пятеро еще не знали друг друга, то разве так невероятно, что вы захотели бы познакомиться со мной по случаю «Дон Карлоса»??

Если понадобится еще раз написать мне, дорогой, то ваше письмо, написанное тотчас же по получении моего, еще застанет меня в Мангейме. Я, скорей всего, здесь пробуду до 8-го или 9-го.

Сегодня (26-го) я еще не получил векселя, но это, повидимому, и слишком рано; если б только он пришел не позднее 31-го сего месяца, — на этот день я назначил все платежи.

Передайте мой поклон *там*. Вы ведь знаете, где? С тоской и нетерпением жду того дня, когда все мои сокровенные помыслы вы прочтете на моем лице.

Вечно ваш

Фридрих Шиллер.

36. ФЕРДИНАНДУ ГУБЕРУ

Лейпциг. Из «Голубого ангела». [17 апреля 1785 г.]

Наконец-то я здесь. Еще несколько мгновений, мой милый, и я поспешу в ваши объятия. Разбитый и усталый от путешествия, какого мне еще не приходилось совершать (ибо дорога к вам, мои дорогие, трудна и мучительна, как, верно, и та, что ведет на небо), я, несмотря на горячее свое желание, не в силах тотчас же быть у вас. Но все же я с вами, мои дорогие, в стенах города, и это сулит мне бесконечно больше радости, чем я сейчас могу предусмотреть. Доставьте мне удоволь-

ствии и не сообщайте нашим девушкам, что я здесь. Сперва мы условимся с вами, как разыграть небольшую комедию.

Подателю этого письма укажите час, в который вы желаете принять меня.

Наш Кернер, как я услышал здесь, на постоялом дворе, тоже еще не уехал. Я горю нетерпением.

Будьте здоровы, дорогой.

Весь ваш

Шиллер.

37. ХРИСТИАНУ ШВАНУ

Лейпциг, 24 апреля 1785 г.

Вы имеете полное право, дорогой друг, сердиться на меня за мое долгое молчание, но, зная вашу доброту, я рассчитываю на прощение. Когда человек вроде меня — совсем еще новичок в большом свете — впервые попадает в Лейпциг как раз во время ярмарки, то вполне понятно, если и не вполне прости-тельно, что в первые дни все эти разнообразные впечатления ошеломляют его так, что он себя не помнит. Так же, любезный мой друг, почти до сегодняшнего дня было и со мной, но теперь я решил урвать мгновение и мысленно провести его с вами.

Наша поездка сюда, которую вам подробно опишет г-н Гец, была самой что ни на есть неудачной. Топи, снег и полая вода — эти три заклятые врага путешественников, попеременно терзали нас, и хотя после Фаха мы принуждены были все время пользоваться двумя подставками, мы, вместо пятницы, как предполагалось, приехали только в воскресенье. Говорят, что ярмарка понесла большой урон из-за отвратительных дорог; так или иначе, но даже в моих глазах толчея продавцов и покупателей далеко не такова, как мне представлялось.

В первые же недели моего здешнего пребывания я свел бесчисленное множество знакомств, из которых наиболее интересные — Вейссе, Эзер, Гиллер, Цолликофер, профессор Губер, Юнгер, знаменитый актер

Рейнике, да еще кое-какие здешние купеческие семьи и несколько берлинцев. Во время ярмарки, как вы сами знаете, собственно, ничем нельзя насладиться сполна; внимание к единичному явлению рассеивается во всеобщей сутолоке. Наиприятнейшим отдыхом служат мне посещения Рихтеровской кофейни, где собирается половина Лейпцига и где я расширяю свои знакомства с местными жителями и с приезжими. От разных лиц я получил весьма соблазнительные предложения в Берлин и Дрезден, против которых я вряд ли устою. Странная это штука — писательская репутация, дорогой мой. Немногих достойных и значительных людей, заинтересовавшихся писателем, чье внимание ему приятно, роковым образом оттесняет целый рой таких, что вьются вокруг него как навозные мухи, рассматривают его, словно диковинного зверя, а если у них за душой, к тому же, оказывается несколько наклепанных листов, то они еще именуют себя его коллегами. Многие никак не могут взять в толк, что человек, написавший «Разбойников», по виду ничем не отличается от других сынов человеческих. Считается, что у него уж по меньшей мере должна быть в кружок остриженная голова, ботфорты на ногах и арапник.

Здесь во многих семействах принято летом перекочевывать в подгородные деревни, чтобы насладиться природой. Я тоже проведу несколько месяцев в деревне Голис, отстоящей всего на четверть мили от Лейпцига, куда очень приятно прогуляться пешком через Долину роз. Я собираюсь быть здесь весьма прилежным, работать над «Карлосом» и «Талией» и, — это, пожалуй, вам всего приятнее будет услышать, — мало-помалу вновь возвратиться к медицине. Я нетерпеливо жду наступления той поры, когда надежды мои сбудутся, все сомнения разрешатся и я смогу предаться своим любимым занятиям лишь ради удовольствия. Кроме того, ведь изучал же я когда-то медицину *con amore*¹ так — почему же мне теперь, тем более, этого не делать?

¹ С любовью (*итал.*).

Надеюсь, дорогой друг, что все это убедит вас в искренности и твердости моих намерений; но о том, что может послужить для вас наивернейшим ручательством и рассеять все ваши сомнения в моем постоянстве, об этом я пока умалчивал. И все же я должен высказаться *теперь* или *никогда*. Только расстояние придает мне мужество сказать это. Дорогой друг, ваша доброта, ваше участие, ваше прекрасное сердце пробудили во мне надежду, которая может быть оправдана лишь вашей снисходительностью и дружбой. То, что двери вашего дома были всегда для меня открыты, помогло мне до конца узнать вашу милую дочь, а непринужденное доброжелательное обращение, которым вы оба удостаивали меня, вселило в мое сердце дерзостное желание стать вашим сыном. Будущее мое до сих пор было темно и неопределенно; теперь все для меня начинает меняться к лучшему. Я напрягу все силы своего духа на пути к определенной цели; судите же сами, могу ли я ее не достигнуть, если мое самое заветное желание будет меня поддерживать в моем рвении. Еще два коротких года, и счастье упрочится за мной. Я чувствую, дражайший друг, сколь *многого* я желаю, сколь дерзновенно это желание и сколь мало я на него имею прав. Уже целый год эта мысль владеет мною, но мое уважение к вам и к вашей прекрасной дочери было слишком велико, чтобы я мог дать волю желанию, которое тогда ни на что не опиралось. Я считал своим долгом реже посещать ваш дом, искать забвения вдали от вас, но эта жалкая уловка мне не удалась. Веймарский герцог был первым человеком, которому я открылся. Его предупредительная отзывчивость и заверение, что он готов содействовать моему счастью, заставили меня признаться, что это счастье зиждется на соединении с вашей благородной дочерью. Герцог весьма одобрил мой выбор. У меня есть основания надеяться, что он будет предстательствовать за меня, когда речь пойдет о том, чтобы завершить мое счастье супружеством. Я ничего не прибавлю больше, дорогой друг, и только возьму на себя смелость заверить вас, что, может быть, сотни других могут предложить вашей дочери более блиста-

тельное будущее, чем я сейчас, но я уверен, что другое *сердце* не будет более достойно ее. От вашего решения, которого я жду нетерпеливо и со страхом, зависит, осмелюсь ли я написать вашей дочери.

Будьте здоровы, вечно преданный вам

Фрид. Шиллер.

(На полях, рукою Швана):

Лаура в Шиллеровом «Примирении» — моя старшая дочь. Я дал ей прочитать это письмо и сказал Шиллеру, чтобы он обратился непосредственно к ней. Почему ничего из этого не вышло, для меня осталось загадкой.

Счастлив с моей дочерью Шиллер бы не был.

38. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Лейпциг, 7 мая 1785 г.

Ежели мое сердечное уважение к вам, мой дорогой, могло бы еще возрасти, то после вашего последнего письма оно безусловно достигло бы наивысшей степени. Я уже давно полюбил ваше благородное сердце, давно восхищался вашей стойкой отвагой, вашей решительностью, но теперь я благоговею перед вашим духом. Да, любезнейший друг, я не могу не благоговеть перед человеком, который жаждет действовать в эпоху, когда *счастливицы*, предавшись сладостной и прельстительной расслабленности, упиваются своим блаженством и растрачивают лучшую пору жизни на одурманивающие грезы; да, я благоговею перед человеком, — дозвоьте мне воспользоваться вашими же словами, — который стремится искупить толику своей вины перед счастьем. Вы радуетесь, дорогой, что нашли во мне друга, которому можно сообщить и поверить *такие мысли*, а я мог бы гордиться, что вы сочли меня достойным приобщения к прекраснейшей стороне вашей души. Обычно напряжение спадает, едва человек ступит на давно вожденную почву счастья, а честолюбие и жажда деятельности

свертывают свои паруса, приблизившись к гавани. Вы же, мой дорогой, смело поднимаете новые паруса и начинаете там, где страсти и желания заурядных людей уже в бессилии бросают якорь.

Итак, в путь, в добрый путь, милый странник, решившийся как брат, как верный друг, сопровождать меня в моем романтическом путешествии к правде, к славе, к счастью! Я чувствую теперь, что мы на деле осуществляем то, что мне как поэту только грезилось. Сродство душ — наивернейший ключ к мудрости. *В одиночку* нам ничего не свершить. Даже если дерзновенный полет мысли занесет нас в неведомые края правды, то в этой новой сфере мы устранимся самих себя и нашего мертвящего одиночества:

Мы, пришлецы, одиноко блуждаем в обители света,

К милой отчизне, на север, скорбный свой взор устремив.

Это было открыто великому мастеру природы, потому-то он и связал друг с другом все мыслящие существа всемогущей магнетической силой общения. А что есть такого в неизмеримом царстве правды, чем бы в конце концов не могли овладеть люди, сроднившиеся, как мы? Радуйтесь, дорогой друг, что дружбе нашей посчастливилось начаться там, где распадаются обычные узы, связывающие людей. Отныне вы не усомнитесь, что она будет длиться вечно. Ее основа — важнейшие побуждения человеческой души. Ее поприще — вечность, ее *non plus ultra* — божество.

Меня очень опечалит, мой дорогой, если вы, даже во внезапном приступе здравомыслия или в минуту мудрствования, сочтете экзальтацией то, что я сказал *сейчас*. Это не экзальтация, если только экзальтация не является предвосхищающим пароксизмом нашего будущего величия, а такое мгновенье я не сменяю и на высшее торжество холодного разума. Но ведь и это письмо предназначено только для нас или одинаково с нами чувствующих людей.

Благодарите творца за лучший из даров, которым он мог осчастливить вас, за чудный талант воодушевления. Жизнь тысяч людей — обычно только циркуляция соков, всасывание через корни, дистилляция через

ствол и испарение через листья; сегодня то же, что завтра; начавшись в некий теплый апрельский день, это кончается в октябре того же года. Я скорблю о такой органической регулярности большинства мыслящих существ и почитаю блаженным того, кому дарована сила произвольно управлять механикой своей природы и внушать часовому механизму, что его колесиками движет *свободный дух*. Говорят, грандиозная система земного притяжения забрезжила в мозгу Ньютона при виде падающего яблока. Сквозь лабиринт скольких тысяч силлогизмов должен был пробираться к этому открытию заурядный ум, тогда как отважный гений одним гигантским прыжком очутился у цели. Да, дорогой мой друг, наша душа призвана не только к тому, чтобы держаться однообразного такта машины. Тысячи людей идут, как карманные часы, заведенные материей, или, если хотите, их чувства и мысли капают гидростатически, как кровь через вены и артерии; тело узурпирует печальную диктатуру над душой, но случается, что она может постоять за свои права, а это и есть минуты торжества духа — вдохновение. *Nemo unquam vir magnus fuit sine aliquo afflatu divino*¹.

Не считайте все вышесказанное, мой друг, за отступление, *digression*. Тройное братство позволит нам идти своими путями, энтузиазм же — первая прибыль от нашего союза. Я хотел доказать вам, на сколько многое может подвигнуть энтузиазм, — и теперь вы знаете, на что нас подвигнет наш союз.

О *строении* нашей дружбы мне приходят в голову тысячи мыслей, от которых я хочу отвязаться либо уже сейчас, в письмах, либо при нашем личном общении, в Дрездене. Законодательницей нашей дружбы станет холодная философия, а форму ей придадут горячее сердце и горячая кровь. Но нет, сейчас я еще не могу изложить вам все те бесчисленные мысли, что приходят мне в голову; сначала они должны перегореть и очиститься. Одно могу сказать наверное — я хочу, чтобы вы побудили меня создать план прекрасного, горделивого здания дружбы, доселе, быть может, беспримерной.

¹ Не было истинно великого мужа, не вдохновенного богом (лат.).

В вашем странствии по наукам, которое вы, мой друг, так живо описали мне, вам никогда не придется раскаиваться. Как это хорошо: в одной области чувствовать себя как дома, но и в другой не оставаться вовсе сторонним человеком. Вы упражняли свой ум в различных сферах мышления, и вам не грозит опасность педантически зарыться в основную свою дисциплину.

Теперешним моим занятием в Голисе будут «Талия» и «Карлос». Правда, дорогой друг, приятность моего нынешнего существования в значительной мере умаляется видами на более высокие наслаждения, ожидающие меня в нашем узком кругу в Дрездепе. Вы же сами знаете, дорогой мой, что все сетования людей вытекают из этого общего источника, ибо химерические видения будущего не дают нам наслаждаться мгновением. Как только мы очутимся вместе, я поделю свое время на три части. Одна будет принадлежать поэту, другая врачу, третья человеку. Разумеется, это еще только *distinction*¹ на бумаге, но ведь вы меня понимаете.

Наши милые девушки теперь уже в Голисе, а что тем временем произошло с Губером, вы, вероятно, уже знаете от него самого. Из Мангейма пришли приятные вести. Напишите мне поскорее, милый друг, и пусть хоть письма скрасят нашу нынешнюю разлуку.

Фридрих Шиллер.

39. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Голис, 3 июля 1785 г.

Мне хочется сегодня написать тебе, ибо мое сердце переполнено. Кроме того, ты, вероятно, надеешься, что я сегодня под вечер присоединюсь к тебе в пути, но так как я не смогу оправдать этих надежд, то пусть хоть душа моя тебя сопровождает. Третьего дня не хватило времени на осуществление всех моих желаний, к тому же я совершил бы несправедливость по

¹ Разделение (*фр.*).

отношению к своим товарищам, если бы один завадел тобой. Итак, пусть это письмо возместит то, чего мы тогда не добрали.

Дорогой мой друг, вчерашний день, второе июля, я не забуду до конца жизни. Будь на свете духи, нам служающие, которые благодаря симпатической магии могли бы пересаживать и переносить наши чувства и настроения, ты ощутил бы всю сладость часа между половиной восьмого и половиной девятого утра. Я и сам, собственно, не знаю, как зашла речь о планах на будущее. Мое сердце размягчилось. То, что открылось мне в великолепной перспективе будущего, была не греза, но философски твердая уверенность. С легким чувством некоторого стыда, не унижительного, но, напротив, заставляющего мужественно собраться, оглянулся я на прошлое, плохо и беспутно прожитое. Я почувствовал в себе смелый порыв сил и то (быть может, великое), что природа тщетно хотела учинить со мной. *Одна* половина была изничтожена дурацким методом моего воспитания и капризом судьбы, но другая, притом ббольшая, мною самим. Милый друг, как глубоко я ощутил это, и в пламенном брожении чувств мой ум и сердце соединились в геракловом обете — наверстать прошедшее и теперь вновь пуститься в благородный путь к высшей цели. Мое чувство было красноречиво и, как электрическая искра, перекинулось к другим. О, как прекрасно, как божественно соприкосновение двух душ, встретившихся на пути к богу. О тебе еще не упоминалось ни единым словом, и все же я прочел в глазах Губера твое имя — и оно произвольно вырвалось у меня. Наши взоры встретились, и святое наше намерение вылилось в нашу святую дружбу. Молчаливое рукопожатие подтвердило, что мы останемся верны решению, принятому в этот миг, — взаимно увлекать друг друга к цели, побуждать и взбадривать друг друга и не останавливаться до той границы, где меряют уже не людскими мерами. О друг мой! Только слиянию наших душ, — я должен вновь употребить это выражение, — только нашей святой дружбе дано было сделать нас великодушными, *добрыми и счастливыми.*

Благое провидение, вияв моим сокровеннейшим желанием, привело меня в твои объятия и, хочу думать, тебя в мои. Без меня твое счастье было бы таким же неполным, как мое без тебя. Наше будущее совершенство не может и не должно покоиться ни на каком другом фундаменте, кроме дружбы. Этот оборот наша беседа приняла, когда мы вышли на обратном пути из экипажа, чтобы позавтракать. В трактире нашлось вино. Пили за твое здоровье. Молча глядели мы друг на друга, благоговейное настроение владело нами, и в глазах у каждого стояли слезы, которые он пытался подавить. Гешен признался, что этот стакан вина еще горит в каждой его жиле, лицо Губера было ярко-красно, а мне вспомнилось таинство святого причастия — «сие творите в мое воспоминание». И тут только нам пришло в голову, что сегодня день твоего рождения. Сами того не зная, мы торжественно отпраздновали его. Друг мой, если бы ты видел прославление твое на наших лицах, слышал его в наших сдавленных рыданием голосах: в этот миг ты забыл бы даже о своей невесте, ты не мог бы позавидовать ни одному счастливцу под солнцем.

...Божественный промысл удивительным образом свел нас друг с другом и дружбой нашей сотворил чудо. Смутное предчувствие заставляло меня многого, очень многого ждать от вас, когда я решился на отъезд в Лейпциг, но провидение даровало мне больше обещанного, в ваших объятиях мне было уготовано блаженство, о котором я тогда не смел и помышлять. Если это сознание может порадовать тебя, дорогой мой, то счастье твое полно.

Сладостная близость обладания Минной, разумеется, заполняет все твое сердце и закрывает его для чужих радостей и страданий, но я и не хочу требовать, чтобы ты расточал на меня свои чувства и занимался состоянием *моей* души. Я хочу только, чтобы мысль о друге приумножала твое счастье, и если случаются минуты, когда ты доступен другим чувствам, — чтобы мое душевное состояние было для тебя еще одним источником радости.

Положение Губера я принимаю очень близко к

сердцу и горячо желаю, чтобы его родители пришли к согласию касательно этого пункта. Для полноты блаженства нашей совместной жизни необходимо, чтобы Губер не оставался в Лейпциге. Я надеюсь, что наш союз со временем повлияет на его формирование, и исполнится одна из прекраснейших моих грез — направлять его ум в эту пору. Ты и я необходимы ему для того, чтобы в нем произошел желательный переворот, а счастье нашего взаимного объединения благодаря Губеру значительно приумножится. Посему, мой дорогой, вмени себе в приятную обязанность выяснить его дело. Это станет возможным, как только граф Редерн обнадежит его отца. Итак, не оставляй его в покое, покуда он не напишет отцу Губера, и сам напиши, чтобы умерить его тревогу касательно экономической стороны этого дела. Губер сам слишком робок и застенчив, чтобы добиться своего, за него должны действовать другие, и ты можешь сделать очень многое. С нетерпением жду следующего письма, в котором ты мне сообщишь, что предприняты какие-то шаги в этом направлении.

Теперь мне нужно задать тебе еще несколько вопросов касательно твоих отношений с Гешеном. Достаточно ли хорошо вы знакомы, чтобы ты мог в его книготорговле стать издателем одной книги, предоставив ему заботу только о ее продаже? Мне важно это узнать, потому что я тогда совсем иначе обойдусь с коммерческой стороной дела и, после предварительного совещания с тобой, возьмусь сам за издание моих сочинений.

Во-вторых, мне пришло на ум еще одно предприятие.

У Швана и Геца хватило дерзости, ни единым словом не уведомив меня, переиздать моего «Фисеско» после того, как первое издание было распродано, а Гец дошел уже до того, что мне пришлось заплатить за те несколько экземпляров, которые я взял для себя из его лавки. Этот подлый поступок снимает с меня все обязательства перед его книготорговлей, и я вправе сам переиздать свои произведения. Меня к этому побуждает множество причин. Во-первых, моя

писательская честь обязывает меня восстановить в первоначальном виде то, что было изгажено переделкой Плюмике. Во-вторых, публике известно, что я внес значительные изменения в моего «Фиеско», которые до сих пор еще не появились в печати. В-третьих, я уверен, что общая переработка (в смысле большей точности) «Разбойников» и «Фиеско» будет интересна публике и не останется без последствий для моей репутации, и, наконец, в-четвертых, я собираюсь издать дополнение к «Разбойникам» в одном действии: конец разбойника Моора, благодаря чему пьеса вновь заиграет. Издание должно быть внешне очень красивым, и нет никакого сомнения, что нам удастся это сделать.

Подробности выполнения этого проекта мне самому еще неясны. Что касается «Талии», то через месяц-два в одной из лучших газет появится мое разъяснение, кратко излагающее причины задержки журнала; мой отъезд из Мангейма вполне оправдывает такую перестановку сроков. На все это предприятие с изданием «Фиеско» и «Разбойников» мне понадобится шесть недель, то есть ровно столько времени, сколько я еще пробуду в Голисе, где я все равно ничем более основательным не хочу заниматься. Далее, мне крайне необходимы деньги; ты без труда можешь себе представить, во что мне обошлась последняя четверть года, проведенная мною в Лейпциге. Кроме того, дорога стоила мне на 5 золотых больше, нежели я предполагал; с мангеймской почтой я не получил еще ни гроша подписных денег, не оправдался также и мой твердый расчет на то, что 2-я тетрадь «Талии» уже готова. Здесь я окончательно прожился, и так как не надеюсь, что «Талия» может быть готова раньше чем через шесть недель, то нужно подумать о чем-то другом.

Итак, если ты, поразмыслив над моим планом, решишь *сам* принять участие в гешеновском деле, то на этом мы и покончим. Мы либо договоримся с тобой об общей сумме, либо ты будешь платить мне с листа, и это уж полностью по твоему усмотрению. Дело в том, что такой план для тебя (или Гешена) *отнюдь не убыточен*, для меня же весьма выгоден; за мои три вещи мне до сих пор платили весьма скудно, и я считаю, что

публика должна мне это возместить. Кроме того, я принимаю во внимание и еще одно обстоятельство. Губер недаром волнуется, что его родителей, может быть, больше всего напугает покупка нового экипажа, он хочет участвовать в этом расходе и своими деньгами. За «Фигаро» и «Этельвольфа» ему еще причитается с Гешена что-то около семидесяти талеров; но так как последний до сих пор об этом молчал, то Губер полагает, что выплата этой суммы для него затруднительна. Я мог бы в значительной степени помочь Губеру выйти из этого стесненного положения, *не рискуя тобой*. Ответь мне подробно, дорогой друг, но помни при этом, что Губеру и мне деньги необходимы; что касается меня, то я теперь окончательно сижу на мели и раньше чем через три месяца не могу рассчитывать ни на один пфенниг с подписки, если меня с этими деньгами вообще не надуют. В случае, если ты согласишься на мое предложение, ты очень одолжишь меня, выдав мне часть суммы авансом. Гешену я обо всем этом деле еще ни словом не обмолвился.

Но хватит о коммерции. Сегодня мы собирались поехать навстречу обоим, но погода очень плохая, и я сомневаюсь, чтобы они приехали. Я мог бы сообщить тебе еще тысячи разных соображений, но ведь скоро мы будем вместе, и я не хочу лишать себя радости изложить их устно. О дорогой мой друг, сколь прекрасной представляется мне дрезденская будущность и как я начинаю теперь радоваться жизни, ибо намерен достойно пользоваться ею. Скажу словами Юлиа Тарентского: «Мозгу в моих костях хватит на века». Будь здоров, дорогой друг.

Вечно твой

Шиллер.

40. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

11 июля 1785 г.

Ты прав, милый Кернер, браня меня за то, что я не решался сообщить тебе о моих затруднениях. Я со стыдом чувствую, что умаляю нашу дружбу, когда мне приходится рассчитывать еще и на твою отзывчивость.

Мне судьба даровала только способность и волю к благородным поступкам, тебе же еще и возможность их совершать. Тебе, следовательно, только больше повезло, но я оказался достаточно заурядным человеком и своей скрытностью молча признал, что превосходство твоей судьбы уязвляет мою гордость больше, чем ее врачует гармония наших сердец. Мне следовало сказать себе: не может быть, чтобы твой друг ценил дары судьбы выше, чем свое сердце, а сердце он уже давно отдал тебе. Я должен был себе сказать: человек, который был так долготерпелив к твоим недостаткам и слабостям, еще терпеливее отнесется к твоей участи. Почему бы ему вменить тебе в преступление эти пороки, раз он прощал другие?

Прости мне, милый друг! Предрассудки, внушенные воспитанием, и стократ повторяющийся жизненный опыт заглушили во мне голос сердца. Моя философия ничего не могла поделать с краской стыда, произвольно залившей мне лицо.

Относительно даров судьбы мы оба, вероятно, придерживаемся одного мнения. Благородный человек испытывает сладостные чувства, обращая их на пользу друга. Поступиться ими — деяние, достойное прекрасной души, но я верю, что существует еще большая добродетель, еще более сладостная отрада. Вот видишь, мой дорогой, мне, для которого закрыт этот источник благородных поступков, приходится думать так; для собственного успокоения я должен преуменьшать меру твоего великодушия и за счет его преувеличивать преимущества и достоинства своего ума и духа, ибо ничем, кроме них, я не располагаю. Чем больше я тебе обязан, тем дороже вынужден ценить свою дружбу, и я слишком хорошо тебя знаю, чтобы не быть наперед убежденным, что ты скорее переоценишь дружбу, чем сделаешь тягостными для меня мои обязательства.

За твое великодушное и благородное предложение я могу только одним отблагодарить тебя — чистосердечно и радостно принять его. Я никогда не одобрял письма, которым великий Руссо ответил графу Орлову, из чистого преклонения предложившему убежище бесприютному беглецу. В этом случае я хочу действовать

настолько же благороднее Руссо, насколько ниже его себя ставлю. Твоя дружба и доброта уготовляют мне Элизиум. Благодаря тебе, милый Кернер, я еще, может быть, стану тем, кем уже не надеялся стать. По мере совершенствования моих способностей возрастет и мое счастье, а вблизи от тебя и благодаря тебе я твердо надеюсь развить их. Слезы, которые я проливаю здесь, на пороге нового поприща, слезы благодарности и восхищения тобой, вновь хлынут из глаз, когда мой путь будет завершен. Если я стану *тем*, кем мечтаю стать,— кто же будет счастливее тебя?

Дружба, ведущая к такой цели, никогда не может кончиться.

Не разрывай этого письма. Через десять лет ты, может быть, будешь со странным чувством читать его и в свей срок спокойно уснешь с ним в могиле.

Тысячу раз желаю тебе здоровья. Мое сердце слишком размягчено. Через несколько дней напишу снова. Будь здоров.

Шиллер.

41. ХРИСТОФИНЕ ШИЛЛЕР

Дрезден, 28 сентября 1785 г.

Поскольку твое решение касательно Рейнвальда было мне сообщено чисто исторически, после того как ваша помолвка уже состоялась, мне остается только предположить, что мое одобрение не слишком тебя интересовало. Но ни слова упрека, милая моя сестра; может быть, мои прежние колебания, мое кажущееся неудовольствие подорвали твое доверие, а подозрение, что я не беспристрастно тебе советую, не позволило тебе быть со мной откровенной.

Хотя доводы, которые я тебе приводил, и были более основательными, чем те, которые, предположительно, могла бы привести ты, но возможно, что ты умалчивала о главном, не желая довериться мне, а тогда как же могла ты рассеять мои сомнения? Боюсь даже, что единокрушная мое и г-жи фон Кальб ты приняла за некий комплот против этого брака, и мы оба утратили твое доверие. Как бы там ни было, теперь это дело решенное,

а мне до сих пор так редко приходилось уличать тебя в необдуманных поступках, что я и теперь нимало не сомневаюсь в благоразумии и продуманности твоего решения. К тому же *постоянство* моего друга, в *этом случае* ставшее столь очевидным, и его улучшившееся материальное положение меняют все дело, а заодно, естественно, и мое мнение. Ты его знаешь, следовательно, ты готова ко всему, что неизбежно настанет, и, конечно, сумеешь справиться с тем, что не будет для тебя неожиданностью. Он оценит жертву, которую ты ему принесла, и не допустит тебя до обстоятельств, в которых тебе потом пришлось бы каяться. Я уповаю на твое благоразумие и на его честность. И так же правдиво и откровенно, как я готов держать ответ за все свои возражения против твоего будущего мужа, я даю тебе теперь свое братское благословение. Подари же ему столько счастья, моя дорогая, сколько он должен подарить тебе.

Убедительно прошу тебя показать ему письма, мои и г-жи Кальб, касающиеся этого дела. Они напомнят ему о его обязанностях в отношении тебя, и он постарается рассеять все наши опасения. Я никогда не переставал быть ему другом, скажи это и ему и нашему отцу. Недоразумения между нами всегда были только следствием его ипохондрии и моей чувствительности. Оттого, что он стал мне зятем, я не могу любить его больше, чем любил, когда он был мне только другом. Я теперь по обязанности делаю то, что тогда делал добровольно.

Милая моя сестра, некогда мое сердце баюкали блистательные надежды на счастье твое и твоих сестер. Мои замыслы стали смиреннее, но ни от одного из них я еще не отказался. Покуда многообразные прихоти судьбы не заставили меня потерять ощущение моего «я», я продолжаю надеяться. Мне еще до сих пор не удается убедить отца, что, потеряв родину, я все приобрел. Конечно, моя милая, я тогда с дерзкой самонадеянностью вышел из предназначенного мне круга, тесного и душного, как гроб. Я уповал на внутреннюю силу, что казалось моему отцу чем-то неслыханным и химерическим, и теперь должен, краснея, признаться, что я по сей день в долгу перед ним, ибо мои гордые притязания пока еще не осуществились. Он был бы счастливее, если б я согласно его

первоначальным планам, не порывая с незаметной, по спокойной посредственностью, ел хлеб моей родины,— но тогда ему не следовало признавать, что во мне пробудилась злополучная неукротимость духа, что честолюбие мое возросло; тогда ему надо было меня держать в вечном неведении самого себя. То же, что он еще и сейчас называет необдуманном поступком, прославило его имя больше, чем он мог надеяться. Громкого имени многие домогались ценою всей своей жизни и совести — мне оно стоило всего-навсего трех юношеских лет, и последующие годы, быть может, с лихвой воздадут мне за них. Оглядываясь на свою жизнь, милая сестра, я доволен и на будущие времена полон мужества. Все мои злоключения ничто по сравнению с тем, что я приобрел. Уже для одного того, чтобы завоевать нескольких (а почему бы мне не сказать — многих?) благородных, прекрасных людей, стоило поставить на карту свою жизнь. Моему отцу 60 лет, но у него список таких друзей короче, чем у меня, а ведь ими я обязан лишь этим пресловутым химерам.

Будь здорова, дорогая сестра. Родителям скажи, что отныне им нечего тревожиться обо мне. Все их желания и замыслы относительно меня оставляют далеко позади мою теперешнюю счастливую участь. Передай привет Луизе и поцелуй мою Нанетту. Напиши мне поскорее и совсем откровенно. С неизменной любовью остаюсь твоим нежным братом

Фрид. Шиллером.

42. ФЕРДИНАНДУ ГУБЕРУ

Дрезден, 5 октября 1785 г.

Твое письмо, мой милый, пришло, как раз когда я вернулся с прогулки по японскому саду, во время которой мои мысли были устремлены к тебе. Да будет твоя душа всегда так близка мне, как я на то надеюсь. Сначала я думал, что в первые дрезденские недели разлука с тобой не будет мне столь тяжела, но вышло по-иному. Почему? Толком я не умею сказать тебе. Винаваты, скорей всего, мы оба. И хорошо, если так. У меня

многого есть что сказать тебе, но я не уверен, что скажу: на душе у меня тяжело; впрочем, не старайся сыскать смысл в моих словах, и если ты по приезде стапешь спрашивать, а я уклонюсь от ответа, то брось допытываться.

Когда ты уже осядешь здесь, много радостей будут ждать тебя; среди них и радость возвращения к другу, которому ты так необходим.

[Три с половиной строчки оригинала не разобраны, повидимому зачеркнуты Терезой Губер.]

Думается мне, что отрочество нашего духа окончилось, так же как медовый месяц нашей дружбы. Пусть же теперь соединятся наши уже зрелые сердца для того, чтобы меньше мечтать и больше чувствовать, меньше прожектерствовать и тем плодотворнее *действовать*. Энтузиазм и идеалы, дорогой мой, страшно низко пали в моих глазах. Обычная наша ошибка — расценивать будущее, исходя из мгновенного мощного прилива сил, и все вокруг рассматривать в свете наших идиллических часов. Я возношу хвалы восторгу и люблю прекрасную высокую силу, способную воплотиться в большие решения. Она — достояние избранного человека, но не она завершает его характер. Энтузиазм — это смелый, сильный толчок, подбрасывающий в воздух ядро, но дурак тот, кто подумает, что ядро будет вечно сохранять то же направление и ту же скорость. Оно описывает дугу, ибо сила его иссякает в воздухе. Но в сладостный момент зарождения идеала нам свойственно принимать в расчет только движущую силу, а не силы притяжения и сопротивляемость материи. Не пренебрегай этой аллегорией, мой милый, она не только поэтическая иллюстрация. Если ты над ней призадумаешься, то увидишь, что судьба всех человеческих замыслов символически представлена в ней. Все устремляются и метят в зенит, как ракета, и все описывают дугу и вновь падают на родимую землю. Но ведь и эта дуга так прекрасна!!!

Вот видишь, любимый, дорогой мой друг, так утешаю я себя в *человеческой* участи моих *сверхчеловеческих* ожиданий. Мне приходит на ум одна сентенция из «Вертера», с детских лет запечатлевшаяся в моем воображении (может быть, в силу какого-то тайного предчув-

ствия? не знаю). Мне кажется, это оракул всей моей жизни: «Даль — словно будущее. Нечто великое и сумеречное простирается перед нашим внутренним взором, наши чувства расплываются в нем, но когда там превращается в *здесь*, то оказывается, что все осталось попрежнему, и наше сердце томится по ускользнувшему счастью». — Итак, подъезжая к Дрездену — Новому городу, брось за борт все идеалы, забудь о перпендикулярном полете твоих намерений и приготовься описать дугу.

О, мысленно я прижимаю тебя к сердцу (мой Родриго! хотелось бы мне воскликнуть). Ну что ж, по крайней мере мы рука в руку дойдем до тех ворот на границе между людьми и духами. Пусть энтузиазм навсегда останется для нас движущей силой, а наша рука с такой силой вскинет ядро вверх, что дуга скроется в облаках, и трудно уже будет поверить, что оно упадет назад. Хорошо, если бы ты так же искренне, как я, радовался нашему новому воссоединению!

Дело со шлоссеровыми фрагментами Кернеру и мне пришлось по душе. Твой перевод таким образом становится более свежим и внутренне ценным. Поскольку это твоя первая прогулка на ту сторону Рейна, которую тебе еще не раз удастся повторить, то меня радует твое мужество и твоя удовлетворенность этим занятием. Вопрос в том, удержишь ли ты свое слово касательно обещанного материала для «Талии». Попытайся и сделай мне сюрприз. Даю тебе слово, что не жду этого от тебя.

И мудрых разум
Бессилен совершить такое чудо;
Так, посрамляя их, ты воплоти
Мечту; какая людям и не снилась.

Трудная, может быть труднейшая, в «Карлосе» сцена с принцессой на три четверти закончена, и я надеюсь, что буду доволен ею. Я теперь усиленно читаю Уотсона, и моим Филиппу и Альбе грозят существенные реформы. На хаотическую массу остального в «Карлосе» я все еще смотрю малодушно и боязливо. Милый друг, почему у меня все еще так кружится голова, когда я подымаю взор на *Enceladus Shakespeare!*¹

¹ Гиганта Шекспира (лат.).

[Десять строчек оригинала, касающихся Доры Шток, зачеркнуты и остались неразобранными.]

В библиотеке меня уже знают. Наша квартира освободится на следующей неделе, так как согласно дрезденским правилам прежние жильцы раньше чем через две недели после срока (он истек в день св. Михаила) не могут быть выселены из своих квартир.

Я грустно начал это письмо, но прогулка с тобой облегчила мне сердце. Кернеры шлют тебе сердечный привет. Я изрядно наседаю на Кернера, чтобы заставить его понемножку работать. Сегодня я читал несколько его сочинений о культуре; в них есть мысли.

Тысячу раз желаю тебе здоровья. Напиши мне опять, если сможешь, на этих днях. Кунцам и всем их присным передай самые дружеские поклоны. Будь здоров и весел.

Фридрих Шиллер.

43. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Дрезден, 15 апреля 1786 г.

Я так бы хотел побольше написать тебе сегодня, мои мысли устремлены к тебе, и все же, боюсь, со мной произойдет то, о чем ты намерен читать:

Тяжко нашей мысли
Распадаться в слове,
А душе — скелетом
Другу предстоять.

Погода стояла чудесная, я отправился гулять и, чтобы расшевелить свой мозг, взял у тебя сочинение Абта «О заслугах». Ты, кажется, остался неудовлетворенным этой книгой, но я думаю, что ты поспешил с суждением и тебя оттолкнула известная хаотичность выразительных средств, неопределенность некоторых положений. Для меня же в ней рассыпано чистое золото гениальности; более того, я считаю, что тот, кто понастоящему вник в идеи ее автора и пожелал усвоить отдельные, ненароком высказанные мысли, сумеет пролить свет на весьма обширную область спекулятивно-практической психологии. Особенно заставили меня призаду-

маться наши с тобой любимые материи — источники поступка, оценка человека и моральных явлений. Мне бы очень хотелось вместе с тобой почитать эту книгу. Для *нашего* совместного чтения в ней есть еще и то достоинство, что содержание здесь преобладает над формой. Это неотшлифованный алмаз, и нам предстоял бы приятный труд его отшлифовать. Если я знаю себя самого и могу судить о себе, то среди всех умов обширного писательского мира, с которыми мне довелось ознакомиться, ум Абта в известной степени сродни мне. Такое же смешение, ну, скажем, рассудочности и огня, фантазии и простоты, холода и тепла, я иной раз подмечаю и в себе. К тому же и эта туманность, эта анархия идей, которая, я почти уверен, вызывается тем, что идеи сливаются с чувствами, а мысли наскакивают одна на другую; ты сам замечал во мне то же, что я нахожу у Абта, с тою лишь разницей, что он скорее пронизательный философ, я же, напротив, поэт, чувственный мечтатель.

В такого рода философии бесконечно много привлекательного. Будь у нас с тобой досуг все это обдумать и, так сказать, разложить наши идеи на составные части, эта материя явилась бы для нас наилучшим совместным времяпрепровождением. Попытка классификации людей, сравнительное измерение величин и добродетелей — какой прекрасный предмет для нас обоих!

Мне нужно совсем по-другому наладить свое чтение. Я до боли чувствую, как страшно много мне еще надо учиться, сеять для того, чтобы снять жатву. На самой благодатной земле терновнику не принести персиков, но персиковому дереву не взрасти на пустынной почве. Наши души только сосуды для дистилляции, наполнять их содержанием должны стихии — тогда соком набухнут наши страницы.

С каждым днем мне все дороже становится *история*. На этой неделе я читал книгу по истории тридцатилетней войны, и голова моя все еще не остыла от этого чтения. Подумать только, что эпоха величайших национальных бедствий была одновременно блистательнейшей эпохой человеческой силы! Сколько великих людей породил этот мрак! Мне бы хотелось лет десять кряду не изучать ничего, кроме истории. Кажется, я стал бы сов-

сем другим человеком. Как ты думаешь, удастся ли мне наверстать упущенное?

В последующих наших философских письмах мы затронем тему — какая деятельность предпочтительнее при равных силах: *политическая* или *идеальная*, гражданственная или научная? Я не знаю другого материала, в котором история, философия и риторика сочетались бы лучше и тесней.

44. ФРИДРИХУ ШРЕДЕРУ

Дрезден, 12 октября 1786 г.

Из письма, полученного сегодня от моего друга Века, я узнал, что он предупредительно исполнил одно мое давнишнее желание. Должен вам признаться, что я уже давно питал самые радужные надежды на некоего человека, единственного во всей Германии, кто в состоянии воплотить мои идеалы искусства.

Но что вам в уважении и восхищении отдельной личности, только повторяющей решение, давно вынесенное голосом всего немецкого народа. Зато мне важно признаться вам в этих чувствах и позаимствовать кое-что для моих незначительных работ у вашего духа, вашего пыла и вашего величия. Хотя я и ни разу не имел счастья наслаждаться вашим искусством из зрительного зала, но мне все же доводилось восхищаться мастером по его ученикам, оригиналом по копиям, и пусть я никогда не увижу вас, для меня вы живы в ваших творениях. Как соратник ваш на драматическом поприще, я, думается, завоевал какое-то право судить о трудностях и оценивать заслуги.

Однако желание мое познакомиться с вами очень своекорыстно. Доныне я предъявлял к сцене требования, которых не мог удовлетворить ни один из известных мне театров. В Мангейме, по причинам, требующим более пространного изложения, я чуть было вовсе не утратил любви к драме. Теперь она вновь начинает оживать во мне, но я содрогаюсь при мысли, как страшно обходятся с драмой наши театры. Со страстным нетерпением мечтал я до сих пор о сцене, где я мог бы позволить своей фаптазии некоторые вольности, где свободному полету

моих чувств не чинились бы такие нелепые препятствия. Мне теперь хорошо известны границы, предписываемые поэту дощатыми стенами и прочими необходимыми атрибутами театра; но существуют границы еще более тесные — их ставит себе мелкий ум, жалкий художник, но их же ломает гений большого актера и мыслителя. Я бы хотел освободиться от этих границ, потому-то меня так и увлекает мысль посредством более тесного общения с вами воплотить идеал, на котором без вас мне пришлось бы навеки поставить крест. Если я смею тешить себя лестной надеждой, что вы протянете мне руку, то все мои пьесы будут отныне предназначаться для вашего театра, и эта мысль заставит меня с тем бóльшим воодушевлением работать над ними. Мой «Дон Карлос» — он будет готов к концу этого года — вполне приспособлен для театра, да я и сейчас уже стараюсь придать ему этот вид. Бек пишет мне, что фрагменты в известной степени заинтересовали вас, — я беру на себя смелость сделать отсюда вывод, что, может быть (с точки зрения постановки и интересов театра), вам тем желательнее будет получить продолжение. Ежели вы полагаете, что «Карлос» подойдет вашему театру, то прошу вас сообщить мне об этом несколько подробнее. Я почитал бы себя бесконечно счастливым, если бы мне таким образом удалось осуществить свой смелый замысел.

Другая пьеса, которую я уже годами вынашиваю в своем воображении, будет закончена в начале следующего года. Называется она «Человеконенавистник», но, за исключением названия, не имеет никаких точек соприкосновения с Шекспировым «Тимоном». В ней выведен новый характер, и воплотить его может только художник, который создал для Германии Лира и Гамлета. В этих речах вы слышите самодовольный голос отца, похваляющегося своим детищем; лишь бы только не перехвалить его. Если вы пожелаете составить себе представление об этом произведении, то я могу прислать вам первое действие; оно уже приведено в порядок.

Сейчас я обнаружил, что исписал несколько страниц, не зная даже, охота ли вам пускаться в эти переговоры. Но я с такой нежностью вынашиваю эту надежду, что она мне кажется уже сбывшейся.

Ежели вы будете так добры сообщить мне о вашем решении, то я попрошу вас еще ознакомить меня, в самых кратких словах, с основными членами вашей труппы, ибо в некоторых существенных сценах я должен буду считаться с ними.

Итак, честь имею напомнить вам о себе и с совершеннейшим уважением остаюсь преданным вам

Ф. Шиллером.

Мой адрес — Дрезден, Новый город, Угольный рынок, Флейшманов дом.

Так как Бек не указал мне никакого адреса, то я беру на себя смелость адресовать это письмо непосредственно вам.

45. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Дрезден, 29 декабря 1786 г.

Итак, прошло уже две недели со времени вашего отъезда, и вскоре, надеюсь, можно уже будет говорить о вашем возвращении. С одной стороны, меня удручает, что всю радость своей жизни я поставил в зависимость от вас и сам по себе даже в течение одного месяца не умею чувствовать себя счастливым. Господи боже мой, что же это будет дальше! Однообразие нашей недавней жизни начинает делаться мне необходимым, и я чувствую, что напрасно тосковал по развлечениям. Впрочем, вы позволите мне отчасти взвалить вину и на тот жалкий суррогат, который вы мне оставили в Дрездене. Надеюсь, что мои желанья — относительно Кальбсригта — так быстро не сбудутся.

Для жизни и работы вы стали мне необходимы. Я мало что или ничего собой не представляю. Для Губера я ничего не значу, а он для меня — весьма немного. Праздники совсем выбили меня из колеи. Уж так повелось, что на рождество все должны гулять и веселиться. Развлечения в такие дни своего рода труд и обязательство. Это тяжелое чувство преследовало меня во время работы, так что я вставал и уходил и всякий раз возвращался неудовлетворенный, с пустым сердцем. Разве вы на нашем месте так же бы тосковали по нас? Разве

мой образ не померк бы в ваших душах раньше, чем ваши образы померкнули во мне? Я страшусь ответа, ибо до сих пор все распределялось очень неравномерно. Я мог полностью наслаждаться вашим обществом, насквозь видеть и до конца понимать вас, мою же душу от вас скрывало мое мрачное настроение. Вы так много значили для меня, а я для вас еще так мало — даже меньше того, что мог бы значить.

Мне сегодня очень грустно вспоминать вас, вспоминать большую вину перед вами, которую, знаю, я еще не искупил. Черный ангел моей ипохондрии, вероятно, преследовал вас и в Лейпциге. Простите же меня за это. О, мои мысли так часто уносятся к вам. Правда, я тогда вижу вас не в вашем лейпцигском кругу, где столь многое еще чуждо моему сердцу, — я вижу вас здесь и радуюсь, что вот все опять начнется сначала.

От Шарлотты еще не имел вестей. Жду ее со дня на день. Тогда же выяснится, можно ли мне будет посетить ее, и если можно, то когда?

Хочешь узнать, как далеко я продвинулся в моей работе? Сцена маркиза и королевы уже в разгаре, впрочем, ты ее знаешь. Теперь все становится очень интересным, но я боюсь, как бы результат моих трудов не оказался ниже, намного ниже моего замысла и значительности ситуации. Я все еще не слышу пульса чувств, которыми, собственно, должен был бы проникнуться во время этой работы. И у меня нет времени дожидаться, пока это придет. Спешу я умышленно. Пусть твое сердце пребудет холодным там, где ты надеялся растрогаться до слез. В золе нет-нет, да и мелькнет искорка, вот и все.

Я от души порадовался, что здоровье Минны так быстро восстановилось. Сколь счастливым это сделает тебя, как радостно будет нам вновь увидеть вас бодрыми и здоровыми. Передай самый сердечный привет обеим. Я бы охотно написал вам больше, но, право же, не о чем, все очень однообразно, да и мое дурное настроение может оказаться для вас заразительным. Будь здоров. Мой поклон Кунцам, Шнейдерам и Гартвигам.

Сегодня вечером мы у Нейманов. Вообще же мало где бывали.

Постарайся отговорить Гешена от устройства подписки на «Карлоса». Это какая-то нелепость — подписка на одну-единственную пьесу; кроме того, все такие затеи у него оборачиваются на редкость неудачно. Так у него в конце концов что-нибудь получится, а если он начнет поносить тех, кто потом перепечатает, — то какой ему от этого будет толк? «Талии» у меня еще нет. Экземпляры для Бека и Шарлотты ты, надо думать, уже раздобыл.

Беккер вам кланяется. Он говорит, что Аделунга прочат в старшие библиотекари, по его же настояниям. Беккер хочет ввести нас в общество Ришей.

Прощай.

Шиллер.

46. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Тарандт, 22 апреля 1787 г.

Завтра утром в 4 часа одна женщина уезжает отсюда в город, хочу воспользоваться этой оказией и передать вам привет.

Сегодня был первый сносный день из шести, которые я здесь провел. Я бродил по горам в направлении Дрездена, ибо там наверху уже сухо. Моцион был крайне необходим мне, так как эти дни, проведенные в комнате, да еще питье пива, которому я предался с горя, вызвали у меня какую-то дурацкую историю с животом, пикогда прежде не бывалую.

При столь скверной погоде, в городе я мог бы двигаться больше, там уж нашлись бы места для прогулок, здесь же кругом — болото, а когда я, моциона ради, прыгаю у себя в комнате, дом дрожит и хозяин в испуге осведомляется, что я изволю приказать. Если не считать этого нездоровья, то я все же неплохо справился с влиянием дурной погоды. Впрочем, для нынешних моих работ я не нуждался в каком-либо особом настроении. Занимался я главным образом приведением в порядок отдельных кусков и переложением своей прозы в ямбы. Теперь еще одна хорошая весенняя неделя, и все будет готово. Вот видишь, мне приходится отка-

зываются от многих удачных идей, от многих требований моего вкуса из-за этой невероятной спешки — но хорошо, что это так. «Карлос» и без того уже перегружен, и эти побегии могли бы чудовищно разрастись в период завершения и созревания.

«Liaisons dangereuses» очаровательно написаны. Непрерывная увлекательность, тонкое, живое остроумие, легкость, образцовая для эпистолярного стиля, и притом меткие, правдивые наблюдения над людьми и чувствами. Признаюсь, я мало что читал с таким удовольствием. И, право, жалко, что большая часть прелести здесь такова, что ее нельзя со спокойной совестью сделать всеобщим достоянием, — зато все остальное истине имеет образовательное значение. Письма маленькой Фоланж, например, — превосходное воссоздание первой невинной любви. Ты сочтешь это парадоксальным, но я серьезно говорю, что эта книга пробудила во мне истинное и благородное волнение. Мне не было бы стыдно за женщину, признавшуюся в том, что она читала ее и ею восхищалась, — даже, если б у этой женщины хватило ума до конца понять ее. Вообще же мне хотелось бы перенять у этой и других подобных книг небрежно совершенную и остроумную манеру письма, на нашем языке почти недостижимую.

За «Карла XII» я еще не принялся. До сих пор я стремился только к удовольствию, а он бы всецело завладел мною.

«Вертером» я еще не воспользовался, если не считать, что я, как и он, потерял шляпу на вершине скалы.

Твоим Минне и Дорхен шлю сердечный привет. Госпоже Вольф передай мой поклон заодно с изъявлением глубокой благодарности за ее усердие. Английское пиво, если оно еще не заказано, я не возьму по указанной цене, оно хуже людвиговского. Письма к Арнимам, вероятно, уже дошли по назначению. Если нет, то будь добр, озаботься их отсылкой. Теперь до свидания. Я устал, и меня клонит ко сну. На этой неделе надеюсь угостить вас кофеем у Гагерейтера, хотя бы тебя и Губера, если для наших подруг это будет слишком рано. Вам надо будет прийти туда часам к семи, так как я теперь всегда встаю в пять — сам не знаю почему, я

говсе не задаюсь этой целью, и никакой шум меня не будит. Точно дня еще не назначаю. Прощай. Прилагаемое немедленно передай Губеру.

Шиллер.

47. ФРИДРИХУ ШРЕДЕРУ

Дрезден, 13 июня 1787 г.

Итак, в июне вы получаете то, что было обещано в январе. Этот первый экзамен моему слову, милейший Шредер, конечно, даст вам повод немало поупражнять свое остроумие, но будьте ко мне снисходительны. То, что теперь задержало «Карлоса», случается, слава богу, не всегда или уж по крайней мере не сразу. Одну задержку, и к тому же наибольшую, я мог бы вам объяснить — она, по-человечески, очень понятна, но сейчас бумага нужна мне для более важных целей.

Двадцать восемь печатных листов свести к тому, что вы сейчас получаете, было не так-то легко. Тем более, что некоторые роли, например Филиппа, мне не хотелось очень сокращать. В других театральных изданиях, частично уже разосланных, я бог весть до чего неловко выпутывался из положения, но то, что делалось для вас, должно было быть зрелым и продуманным, а посему я и отодвигал «Карлоса» напоследок. Не подумайте, что это торгашеская уловка для восхваления своего товара. Я говорю вполне серьезно и не хочу уверять вас ни в чем, кроме моего действительно лестного о вас мнения.

Вашего суждения о самой пьесе я предварять не хочу. Тут вы обойдетесь без меня. Но о главнейшем я должен вас предупредить. Я не знаю, насколько терпима гамбургская публика. Допустима ли, например, сцена короля и великого инквизитора. Когда вы ее прочтете, вам станет ясно, как много потеряет вся пьеса без нее. Но, не желая рисковать, я тем не менее так скомпоновал эту сцену, что она может быть изъята без ущерба для связности. Итак, все, что заключено в звездочки, в крайнем случае может быть выпущено. Если затруднение встретят только *костюм* и *имя*, то меняйте их по собственному усмотрению. Я охотно принесу в жертву *слабости* эти второстепенные детали, если тем

самым мне будет облегчена контрабанда. Относительно сцены Филиппа с маркизом, надо думать, в республиканском городе тревожиться нечего. На тот случай, если пьеса и в нынешнем ее виде все же окажется слишком длинной, красным мелком обозначены места, которыми я пожертвую охотнее, чем другими, и которые, по моему, не столь необходимы в пьесе. Это места главным образом декламационные, нередко затрудняющие актеров и испытывающие терпение публики. Я хотел бы еще попросить и напомнить о следующем:

В тех ролях, где повествование необходимо для понимания, где от повествования зависит ясность и действительность многих последующих сцен, я прошу вас обращать больше внимания на хорошую дикцию, нежели на одаренность и опытность актера. Пренебрежение этой максимой, в чем я не раз имел случай убедиться, губило хорошие пьесы. Если роли маркиза и Карлоса естественно и сами собой не разойдутся среди вашей труппы, то я бы хотел, чтобы маркиза вы дали вашему первому любовнику, если, конечно, он выглядит старше, а Карлоса тому, у кого больше таланта, чем культуры, больше страсти, чем светскости. Вы меня понимаете. В самом крайнем случае вам придется пожертвовать Филиппом и самому сыграть маркиза. В многочисленных сценах, где король появляется в сопровождении своих грандов, я попрошу вас с заоблачных высот вдохновения спуститься до режиссерского педантизма, вдохнуть жизнь в эти стоящие на сцене фигуры и заставить их участвовать в том, что вокруг них происходит. Посему мне бы хотелось, чтобы переписчик ролей точно разметил, что делать каждому. Прочитав пьесу, вы поймете, сколь это существенно для ее лучших сцен. Хорошо, если бы в этих сценах вы вывели на подмостки столько испанских грандов, сколько у вас имеется подходящих костюмов. Люди же, я думаю, найдутся, как то бывает и в жизни. К вам как к королю Филиппу покорная просьба: обратить внимание на соблюдение испанского этикета вашими вассалами. Но, собственно, я пишу то, что предпочел бы услышать от вас. Простите сию нескромность нежному отцу. В общем, я серьезно прошу вас, милейший Шредер, вдохните

в труппу свой гений — будьте вездесущи со своими по-
печениями и указаниями. Для пользы ваших актеров и
моей сообщите им *esprit de corps*¹ для исчерпываю-
щего воплощения Карлоса. Добивайтесь этого (как го-
ворит Фиеско) с монаршей властью.

Следует ли мне еще что-либо добавить? Думаю, что
нет. Я все сказал.

Хоть бы мне поскорей пожать плоды своих усилий
и насладиться зрелищем «Карлоса» в вашем театре.
Эта чудесная перспектива скрашивает мне многие часы.
Я увижу вас, и почти заглохшая любовь к сценическому
искусству вновь оживет во мне. От вас жду я примире-
ния моей музыки с театром; ведь большинство театров,
не исключая и тех, которые я посещал в последнее вре-
мя, скорей этому препятствовали, чем содействовали.
К концу лета вы, по всей вероятности, увидите меня в
Гамбурге. Через 2 или 3 недели я пущусь в странствие,
которое должно завершиться Гамбургом. Новую пьесу
привезу с собой.

Теперь дела прозаические. Если бы вы могли до
моего отъезда прислать мне денег, я был бы весьма
вам признателен. Мне они надобны для путешествия,
и я думаю, что смешно было бы таить это от вас. К кон-
цу текущего месяца надеюсь выехать из Дрездена.

«Открытую вражду» вы получили, как я понял по
письму Дальберга из Мангейма. Автор этого перевода
ждет вашего ответа, а если пьесу уже играют, то не-
скольких слов относительно ее участи.

О женщинах вашей труппы и о моих требованиях к
исполнительницам обеих женских ролей в «Карлосе» я
умолчал, так как еще слишком мало знаю ваших актрис.
Посему этот вопрос полностью предоставляется на ваше
усмотрение, так же как и все прочее.

Подайте же поскорее весть о себе, милейший Шре-
дер, и прежде всего напишите со всей откровенностью,
которую и я всегда буду соблюдать по отношению к вам,
какое впечатление произвел на вас «Карлос». Ваше суж-
дение станет одной из тех наград, которые мне хотелось
бы заслужить этой работой. Будьте здоровы.

Шиллер.

¹ Сословный, кастовый дух (фр.).

48. ФРИДРИХУ ШРЕДЕРУ

Дрезден, 4 июля 1787 г.

Ваше последнее письмо со вложением 21 луидора я получил и покорнейше благодарю за сей знак одобрения моей пьесы и за дружелюбную поспешность, которая дает мне возможность безотлагательно отправиться в путешествие. Приношу вам благодарность также и от имени г-на Губера, он считает себя вполне вознагражденным за свой перевод — труд двух недель. Единственное, чего я теперь желаю, милейший Шредер, чтобы и у вас в качестве коммерсанта не нашлось основания раскаяться в жертве, которую вы принесли своим чувствам.

Мне очень жаль, что вы хотите выбросить великого инквизитора. На вашем месте (если, конечно, вы проведете его через цензуру) я бы решился отдать эту роль даже просто сносному актеру. Основания к этому: великий инквизитор не требует почти никакой мимики, его дело декламация, отчетливая, сильная подача текста. Вы сумеете воодушевить даже самый средний талант. Натаскайте его. Если он будет даже только отчетливо говорить, вы и то спасете для себя интересную сцену. Выберите из своей труппы актера, до сих пор еще никем не замеченного, игнорируемого публикой. Принесите мне, себе и удовольствию публики жертву, потратив на него несколько часов. Не может быть, чтобы важность задачи не помогла ему подняться до известного уровня. Поразмыслите над моей просьбой и (если она не вовсе невыполнима) приложите руку к ее осуществлению.

Беседу с призраком я не считаю столь уж предосудительной. Романтическая испанская отвага, дух любовных интриг и, еще того больше, очевидная и крайняя в нем необходимость оправдывают это и делают понятным. Возможно, правда, что напряженное ожидание не позволит зрителю заметить некоторые детали, и мы можем устроить встречу Карлоса с королевой, не давая зрителю осознать употребленные к тому средства. Тогда, конечно, от всей затеи с призраком можно было бы отказаться. Лерма появился бы тотчас по окончании яростной сцены с королем — или же вы опустили бы

занавес на последних словах Альбы: «я мир даю Мадриду» — и вновь подняли бы на возвращении его с Ферриа. Жаль только последней сцены с Карлосом. Она будет очень трогательной, если у вас найдется хороший Лерма. Я заканчиваю еще одним наблюдением, оно основано на законах нашей душевной жизни и подтверждено опытом. Пьесы, где разыгрываются большие, могучие страсти, лучше заканчивать спокойно и тихо, нежели быстро, одним рывком.

Отсюда я отправлюсь прямо в Веймар, думаю прожить там несколько месяцев. К Михайловой ярмарке, а может быть и еще раньше, я приеду в Гамбург. Когда мы увидимся и я огляжусь в вашем театре, все может пойти по-другому.

Одно ваше письмо ко мне, видимо, пропало, так как вы не подтвердили получения «Открытой вражды». Меня это очень удивляет, мне не приходилось сталкиваться с подобными случаями. Объясняю его только тем, что вы позабыли проставить в адресе: Дрезден — Новый город, ибо для Нового и Старого существуют разные почтовые конторы. Следующее письмо прошу вас адресовать в Веймар. Еще одна просьба, милый Шредер, — отпечатанный «Карлос» скоро будет в Гамбурге, приложите руку к скорейшему его распространению. Не сомневаюсь, что чтение пьесы заставит людей нетерпеливее ожидать спектакля.

Весь ваш
Шиллер.

49. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 23 июля 1787 г.

Третьего дня вечером прибыл сюда. О том, что произошло с нами по пути в Лейпциг, вам уже писала Шнейдерша. В Наумбурге на почтовой станции я имел несчастье на какой-нибудь час разъехаться с герцогом Веймарским, он едва не забрал наших лошадей. Чего бы я не отдал за такой счастливый случай! Теперь он в Потсдаме, и никто не знает, когда он возвратится.

В тот же вечер я встретился с Шарлоттой. Наше первое свидание после разлуки было таким волнующим, так

ошеломило нас, что мне кажется немислимым вам его описать. Шарлотта ничуть не изменилась, если не считать небольших следов болезни, на тот вечер стертых пароксизмом ожидания и встречи и лишь сегодня мною замеченных. Странно мне было, что в первый же час нашего свидания я чувствовал себя так, словно только вчера расстался с нею. Таким родным все мне было в ней, так быстро связались вновь все разорванные нити общения.

Прежде чем несколько больше сказать вам о ней, а также о себе, мне надо опомниться. Ожидание того, что может стать мне здесь поперек дороги, поглотило все мои душевные силы. Вы же знаете, как я легко опьяняюсь тем, что меня окружает и близко затрагивает. Теперь же к этому имеется больше причин, и они важнее, чем когда-либо. Речь идет не о мелочах, и множество всевозможных знакомств, — на которые я должен размениваться и, несмотря на это, каждому из них отдаваться целиком, — лишает меня мужества и дает мне почувствовать ограниченность моего существа.

Вчера, в воскресенье, я не делал никаких визитов, ибо весь день провел с Шарлоттой. Сегодня утром послал приветственное письмо Виланду и сейчас получил ответ, что вечером он будет ждать меня. Им, видимо, тоже владеет какое-то беспокойство, ибо он просит меня в письме не возлагать на эту встречу чрезмерных надежд. Ему не терпится познакомиться со мною, я же сгораю от нетерпеливого желания заглянуть ему в душу.

Кое с кем я уже познакомился у Шарлотты — с неким графом фон Зольмс и некоей г-жой фон Имгоф, сестрою г-жи фон Штейн, известной Кернерам по моим описаниям. Знакомство с графом завершилось весьма оживленной беседой, на г-жу Имгоф же я, думается, произвел довольно сносное впечатление. Это мне приятно, ибо она еще сегодня вечером на большом рауте начнет трезвонить обо мне. Прочих веймарских богов и идолопоклонников я опишу вам на этой же неделе. Виланд предрекает мне кое-какие политические мероприятия в этой области. Гете еще в Италии, Боден в Париже, Бертух тоже отсутствует, Рейнгольд уже в Иене. С м-ле Шретер я, вероятно, встречаюсь у Шар-

лотты. М-лле Шмидт, по-моему, болтливое, аффектированное и холодное существо; итак, из этой партии ничего не выйдет. Подыщите-ка мне получше.

Я еще до сих пор живу в гостинице «Наследный принц». Г-жа фон Имгоф хочет озаботиться подысканием мне квартиры. Покуда я не водворюсь в свои четыре стены, не ждите от меня ничего путного. Осмотреть здешние места у меня еще не было времени. Однако премилая рощица, предназначенная для прогулок, уже при въезде покорила мое сердце. В ней, мои дорогие, я частенько буду бродить вместе с вашими тенями.

Шарлотта — большая своеобразная женская душа, понять и разгадать которую не так-то легко; дух более значительный она могла бы подвигнуть на творчество. Общаясь с Шарлоттой, я всякий раз открываю в ней новые качества, которые поражают и восхищают меня, словно прекрасные уголки обширного ландшафта. Мне теперь любопытнее, чем когда-либо, узнать, какое впечатление она на вас произведет. Господин фон Кальб и его брат прибудут в сентябре, и Шарлотта твердо надеется, что в октябре мы съедемся. Поэтому она не без лукавства отказывается от каких бы то ни было хлопот по устройству дома в Веймаре, дабы такое убогое существование прогнало мужа обратно в Дрезден. Когда мы приедем, вы позаботитесь об остальном. Положение г-на фон Кальб при цвейбрюкенском дворе, где он может сделать карьеру в случае смерти курфюрста Пфальцского, дает ей возможность в течение 10—15 лет свободно выбирать себе местожительство.

Я еще ничего не сказал вам о маленьком Фрице. Он превратился в прелестного ребенка и доставляет мне много радости. Воспитывают его очень хорошо, и он уже выказывает доброту и послушание. Шарлотта мало бывает в обществе, но отныне собирается изменить свое поведение. В конце недели или в начале следующей я, вероятно, буду представляться герцогине.

А теперь до свидания, мои дорогие. Прерываю письмо, чтобы тотчас отправить его на почту. Душою я с вами — ведь дружба не такой жалкий огонек, чтобы потухнуть в разлуке. Никто на свете не может отнять от

вас любви, или даже самой малой части любви, которая навеки привязывает меня к вам. Прощайте. Сердечный поклон Кунцам.

Фрид. Шиллер.

[Веймар, 24 июля.]

Письмо без толку провалялось бы на здешней почте, так как я опоздал с ним, и теперь почта уйдет только в четверг. Распечатываю его, чтобы рассказать вам, что произошло со мною вчера.

Итак, я посетил Виланда, к которому пробрался через целую толпу прелестных ребятишек мал мала меньше. Наша первая встреча походила на возобновившееся знакомство. Одно мгновение решило все. Мы начнем не спеша, сказал Виланд, надо иметь время, чтобы стать чем-то друг для друга. В эту первую встречу он предназначал весь ход наших будущих отношений, и меня порадовало, что он трактовал их не как случайное знакомство, но как связь, которая будет длиться и зреть в будущем. Он считает удачей, что мы только теперь нашли друг друга. Мы придем к тому, сказал он мне, что будем друг с другом обращаться так же правдиво и достоверно, как со своими музами.

Наша беседа касалась различных предметов, причем он выказал много ума и мне дал возможность сделать то же. Некоторые материи, прежде всего разговор о религии, он отложил на будущие времена; он, видимо, очень хорошо в этом разбирается, и я чувствую, что такая тема будет интересна нам обоим. Мы много философствовали на политические темы, коснулись литературы, Гете, берлинцев и Вены. О Клингере он говорил очень остроумно, Штольберг ему несносен, не менее чем нам; он теперь весь погружен в Лукиана, которого собирается переводить и комментировать, как ранее Горация.

Его внешность меня удивила. Мне не пришло бы в голову искать в этом лице того, что он собой представляет, но оно очень скрашивается в мгновения, когда проглядывает его душа, когда он говорит с одушевлением. А он очень скоро одушевился, стал оживленным и пылким. Я чувствовал, что ему хочется понравиться мне, и

знал, что сам ему не неприятен еще до того, как мне это было сообщено. Он с удовольствием сам к себе прислушивается, говорит пространно, иногда до педаптичности обстоятельно, так же как пишет, речь у него не плавная, но выражения определенные. Он наговорил в общем много заурядного, и, слушая его, можно было бы часенъко соскучиться, если бы меня не интересовала так его личность, и все же он занимал меня весьма приятно. Что же касается наших отношений, то я не могу не быть довольным ими. Мне потом сказали, что он не привык подделываться под собеседника, а между тем в его тоне слышались несомненное участие, благожелательность и уважение. Со временем он станет мне еще ближе. Он очень тепло говорил о моем возрасте и задержался на мысли о том, какой простор для деятельности еще открыт передо мной. Мы будем влиять друг на друга, заметил он и добавил, что хоть уж и слишком стар для того, чтобы перемениться, но отнюдь не неисправим.

Касательно моих надежд и намерений я, по вполне понятным причинам, в этой первой беседе не проронил ни слова. Поскольку герцог вернется еще не скоро, я, собственно, могу подождать, покуда Виланд сам об этом не заговорит. Я бы удивился, узнав, что он еще ничего в этом смысле не наметил. Я у него пробыл два часа, по истечении которых ему надо было ехать в клуб. Он хотел тотчас же ввести туда и меня, но я обещал Шарлотте отправиться с ней на прогулку. По дороге он пытался выведать у меня что-нибудь насчет Швана, но я был холоден, как лед, и весьма немногословен. Меня очень забавляло, как он себя при этом вел.

Виланд здесь довольно одинок, что он и сам сказал мне. Он живет почти исключительно своими писаньями и семьей. Семью я еще не видел, в следующий раз он представит меня. В Иену я, вероятно, тоже поеду с ним.

Не знаю, что я вам рассказал о нем и что позабыл. Если что-нибудь важное, то вспомню в другой раз. Завтра посету Гердера. О том, что я увижу и услышу, вы узнаете еще из этого письма.

Здесь, видимо, уже поговаривают и обо мне и о нас с Шарлоттой. Мы решили не делать тайны из наших

отношений. Несколько раз я уже подмечал деликатное желание — не мешать нам; предполагается, что мы ищем уединения. Виланд и Гердер очень высоко ставят Шарлотту. С первым я даже говорил о ней.

Она до резвости весела, ее живость уже заразила и меня, что не осталось незамеченным. Сегодня камергер Эйнзидель, которого я не посещал и в глаза не видел, присылает ко мне человека с извинениями за то, что я не застал его дома. Теперь он, мол, к моим услугам; я поначалу не понял, что это значит, Шарлотта же считает, что это трюк, имеющий целью заманить меня, ибо ему придется представлять меня герцогине. Она живет за городом в полчаса езды отсюда. Теперь я волей-неволей должен в ближайший день ей представиться.

Квартиру мне нашли в доме г-жи фон Имгоф. Но я еще не знаю, понравится ли она мне и во сколько обойдется. Сегодня посмотрю. Дом этот находится на Эспланаде, перед ним аллея, которая частенько будет напоминать мне флейшмановский и японский сады.

Сейчас вернулся от Гердера. Ежели вы видели у Граффа его портрет, то вам нетрудно его себе представить — только что на картине он не в меру приветлив — в его лице больше серьезности. Он мне пришелся очень по душе. Речь его исполнена ума, огня и силы, но чувства его — это либо ненависть, либо любовь. Гете он любит страстно. Это своего рода обожествление. Мы страшно много о нем говорили, но об этом я расскажу в другой раз. Обсудили также кое-какие политические и философские материи, Веймар и его обитателей, Шубарта и герцога Вюртембергского и мою с ним историю. Обо мне он, видимо, ровно ничего не знает, так как осведомился, женат ли я. Да и вообще он обходился со мной как с человеком, о котором знает только, что его как-то ценят. Думается, что сам он ничего моего не читал.

Гердер необыкновенно учтив, и в его присутствии чувствуешь себя хорошо. Кажется, я ему понравился, так как он много раз повторял, что хотел бы почаще со мною встречаться.

Гердер не очень-то доволен своим портретом работы Граффа. Он принес его, чтобы я сличил портрет с оригиналом.

налом, и уверял, что похож на нем на итальянского аббата.

Он признает, что Гете оказал сильное влияние на весь его духовный склад.

Живет он крайне замкнуто, как и его жена; последнюю я еще не видел. В клуб не ходит, ибо там только и делают, что играют в карты, курят табак, едят. До этого он, мол, не охотник. К Виланду он, кажется, не слишком расположен, Музеуса же прославлял всячески. Он жалуется на множество дел и на то, что для литературных работ у него остается мало времени. Среди всех веймарских учёных Виланд, по его словам, единственный, кто может жить доходами от своего пера и по своему вкусу.

Здесь мне попало в руки одно сочинение Гердера; называется оно «Бог». Начало, трактующее о Спинозе, мне понравилось. Остальное для меня недостаточно ясно. Гердер ненавидит Канта, как ты, вероятно, знаешь.

Только что прервал письмо из-за очень смешного происшествия, настолько краткого, что воспроизведу его целиком.

Стук в дверь.

«Войдите».

И вот входит маленький тщедушный человечек в белом фраке и зелено-желтой жилетке, сутулый и изрядно сгорбленный.

«Кажется, я имею счастье,— произносит человечек,— видеть перед собой г-на советника Шиллера?»

«Да. Это я».

«Я услышал, что вы находитесь здесь, и не мог побороть в себе желания увидеть человека, пьесу которого «Дон Карлос» я только что смотрел».

«Ваш покорный слуга. С кем имею честь?»

«Я не имею счастья быть вам знакомым. Мое имя Вульпиус».

«Весьма признателен за внимание, сожалею лишь, что я зван в один дом, и как раз (к счастью, я был одет) собирался уходить».

«Прошу покорно извинить меня. Весьма рад был повидать вас».

С этими словами человек откланялся, и я продолжаю письмо.

Мне нужно обзавестись слугой, так как у меня нет человека, который отказывал бы посетителям, а нечто подобное случается каждый день. Шарлотта подыскала мне такового, и я жду его через час. Ежели он мне понравится и удовлетворится пятью талерами в месяц, то я привезу его с собою в Дрезден.

Без черного комзола я бы вполне обошелся. К герцогу и герцогине можно отправиться во фраке. Сегодня я представляюсь. Я посетил камергера Эйнзиделя, это добродушнейший малый; мы добрый час беседовали с ним о союзе немецких государей. В этом доме я буду слушать музыку, некий Шлик бывает там чуть не каждый день.

Однако пора уж и кончать. Одному богу известно, когда вы получите это письмо. Шарлотта уже написала вам. Тысячу раз желаю вам здоровья, продолжайте любить меня.

Вечно ваш
Шиллер.

50. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 28 июля 1787 г.

Наша переписка, дорогой мой, наслаждением станет только в будущем. Дух мой еще рассеян, и я не властен над своим временем. Мои письма должны были ознакомить тебя с моими впечатлениями и чувствами, а я до сих пор еще не успел подумать о себе. В свою квартиру я перееду лишь через несколько дней, до тех пор не взыщи за газетный тон.

Вчера у меня выдался приятный день. Я получил приглашение от герцогини, и Виланд должен был поехать со мною в Тифурт. Так оно и случилось. По дороге мне удалось выведать у него многое из того, что меня интересует. Тебе радостно будет услышать, что между нами устанавливается взаимопонимание, давно для меня желанное. Тон, который он быстро взял в обращении со мной, свидетельствует о доверии, любви и уважении.

Ясно, что он предпочитает меня большинству немецкой пишущей братии и многого ждет от меня. Прежними моими произведениями («Дон Карлоса» он еще только собирается читать) он не вполне удовлетворен, в чем откровенно мне признался, тут же упомянув о своей уверенности в том, что я могу стать и стану большим писателем. Его мнение обо мне приблизительно совпадает с нашим. Он говорит, что у меня четкий рисунок, сложная, глубокая композиция, живой колорит, но отсутствуют чистота отделки, вкус. В моих произведениях он не находит также изящества и тонкости. Мне интересно, докажет ли ему «Карлос», что я несколько изжил эти недостатки. В тот же вечер, по возвращении домой, мне пришлось послать ему экземпляр, так как Рейнгольд увез его экземпляр в Иену. Он хочет прочитать «Карлоса» вместе со мной и детально изложить мне свое мнение. Он много раз повторил, что никогда бы не позволил себе со мной всех этих вольностей, если б я так сильно его не интересовал.

По дороге он подготовил меня к встрече с герцогиней и старался внушить мне терпимое к ней отношение, так как знал, что она будет смущена. Все вышло самым желательным образом. Она сидела в зимнем саду с камергером фон Эйнзиделем и придворной дамой.

Через какие-нибудь четверть часа знакомство можно было считать состоявшимся. Мы провели там два часа и за чаем болтали всякую ерунду. Потом я отправился с герцогиней гулять по саду и превосходно занимал ее, хотя почти с таким же трудом, как *м-лле Шарпентье*. Она показывала мне все достопримечательности, бюст Виланда, там водруженный, памятник ее брату герцогу Леопольду Брауншвейгскому и прочее. Посетили мы и ее дом, обставленный очень просто, в хорошем сельском вкусе. Здесь мне показали несколько отличных ландшафтов Кобелля. Вечером мы с Виландом откланялись и поехали домой на герцогских лошадях. Виланд, никогда не упускающий случая сообщить мне что-нибудь приятное, сказал, что я очень понравился ей. Я и сам так думал по тому, как она со мной обращалась, а ее придворная дама, перезрелое желчное существо, в награду за внимание, которое я ей

оказал, украсила меня розой, сорванной в саду. Сегодня утром я снова получил приглашение на чай, концерт и ужин у герцогини. Сама она меня отнюдь не покорила. Мне не нравится ее лицо. Она чрезвычайно ограничена, ее интересует одно лишь чувственное, и этим объясняется вкус к музыке и живописи, которым она обладает или думает, что обладает. Она сама компонирует и положила на музыку «Эрвина и Эльмиру» Гете. Она мало разговорчива, и хорошо в ней то, что она не настаивает на строгом соблюдении этикета, чем я весьма широко и пользовался. Я сам не знаю, откуда взялись у меня самоуверенность, чинность, которые я здесь выказал. Шарлотта уверяет, что мне вообще нечего опасаться за свои манеры. До сих пор, где бы я ни был, я ни разу не терялся. Мнение Шарлотты придало мне уверенности, а близкое знакомство с этими веймарскими титанами — не могу не признаться — подняло меня в моих собственных глазах.

Много приятного я жду от молодой герцогини, о которой со всех сторон слышу только хорошее. Старую мне еще пришлось сначала завоевывать, ибо она не любит моих произведений и сам я был чужд ей. Молодая же — рьяная моя почитательница и самого высокого мнения о моих трудах. Шарлотта, не раз говорившая с ней обо мне, уверяет, что я могу быть с ней самим собой и что она очень восприимчива ко всему прекрасному и благородному. Через две недели она будет здесь. Герцог воротится лишь в сентябре. Эта новость для меня неприятна. Мои отношения с Шарлоттой получают все большую огласку, о них много говорят и всегда с уважением. Даже герцогиня была так любезна, что пригласила нас сегодня вместе, а что это произошло именно вследствие того, что говорится о нас, я узнал от Виланда. Здесь очень внимательны к таким мелочам, и даже сами герцогини не скупятся на подобные знаки благоволения.

Я въехал в квартиру, в которой прежде жила Шарлотта. Вместе с мебелью она стоит 17½ талеров за четверть года. Дороговато за две комнаты и чулан. Слугу, который на худой конец может быть и писцом, нанял за 6 талеров.

Вчерашний вечер с 4-х до половины десятого провел с Виландом. Мы сговорились, что в 6 часов он повезет меня в клуб. День был знойный, и я застал его почти обессиленным от жары. Виланд так ипохондрически озабочен своим здоровьем, что даже и летом после десяти вечера не выходит без шипели. Но сегодня он страдал от жары, и физическая апатия сквозила во всем, что бы он ни говорил.

Мы говорили о труде, и мне думается, что сегодняшнюю его философию внушило чувство расслабленности, ибо любой вид деятельности он объявлял крайне неблагоприятным. Что касается деятельности политической, так он изрек, что ни один порядочный человек не станет ни помогать какому-либо видному политическому посту, ни занимать его, подтверждая это примером Тюрго, к которому он относится с величайшим уважением. Я принялся горячо отстаивать труд писателя и, наконец, вынудил у него признание, что он все же смотрит на него как на нечто позитивное. Но и здесь он не мог не побрюзжать. Рассказал, что получает много писем от молодых людей, из которых явствует, что его считают только профессором, издающим журнал. Если о нем забывают еще при жизни, то после смерти его уж и вовсе никто не вспомнит. Я возразил, что эти же молодые люди, став десятью годами старше, будут иначе писать ему. Но он никак не хотел успокоиться. Видно, как тяжело ему отступать в тень. Он перевел разговор, напомнив, что я хотел рассказать ему свою историю. Я и рассказал ее до того момента, когда во мне созрела идея «Разбойников». Тут нас прервали, он велел причесывать себя для клуба и на это время впустил меня в свою библиотеку. Мою историю он слушал с большим вниманием и нашел в ней кое-какое сходство со своей собственной.

Его библиотека (которую я, правда, только начал было просматривать) битком набита французскими сказками, романами и тому подобным, а также английскими романами и итальянскими поэтами, на которых

строилось его образование и творчество. Я натолкнулся на стихи Готтера, мне неизвестные, и в тот день в другие шкафы уже не заглядывал. Мы отправились в клуб и застали там всего несколько человек. Так как погода была превосходная, то он предложил прогуляться к Звезде. По пути он за мою историю заплатил мне своей, но я расскажу ее тебе в другой раз. Не успел он рассказать мне и трети, как мы воротились в клуб ужинать. В этот день он засвидетельствовал мне свое доверие, ведь и я был очень откровенен с ним. Виланд поведал мне о возникновении некоторых стихов, «Комических рассказов» и «Мусариона», пообещав когда-нибудь прислать книгу, которая дала ему первый толчок к «Мусариону». Я настоятельно просил его не откладывать этого. Собственно, непорядок, сказал он мне в ответ, чтобы он платил мне за откровенность той же монетой, ибо я человек молодой, а он стар. Но он готов допустить, что я по духу на десять лет старше, а он настолько же моложе, и таким образом мы будем уравнены и книгу я все-таки получу. Поскольку я его уже знаю и слышан о нем от других, меня удивило, что он без стеснения выдает мне свои слабые стороны. За ужином я был его гостем. Застольная беседа была на этот раз весьма прозаичной, собралось всего девять человек, несколько здешних пустоголовых дворян и советник Краус, с которым я познакомился еще вчера,— в общем, человек неплохой и со мной весьма предупредительный и учтивый. На визит, который я ему нанес в его отсутствие, он ответил мне тремя столь же безрезультатными, куда мы, наконец, не встретились у него в доме. Он обещал мне всяческую поддержку.

Приглашение в клуб заставило меня отказаться от раута, куда мы были званы вместе с Готтерами. Он состоялся в Бельведере; среди гостей были Шретер, Эйнзидель и Шлик. Во время прогулки с Виландом по Звезде я рассмотрел на многих веймарских жителей, прохаживавшихся мимо нас. И вот какая со мной случилась штука. Мы встретились с тремя женщинами, средняя из которых, самая высокая, была очень хороша собой. Две другие, одна молодая и одна старая, весьма

доверительно разговаривали с Виландом. Я спокойно стоял поодаль, но не спускал глаз с красавицы. Когда они ушли, я поспешил спросить Виланда, кто эта красавица. «Фрейлен фон... имя я уже запомнил...» — А другие? «Моя жена и дочь». Я покраснел до ушей, так как об этих последних осведомлялся с полнейшим безразличием. Виланд все еще не представил меня своему семейству, и, следовательно, я не знал их. Он вывел меня из замешательства и сам начал распространяться о красоте их спутницы. Но г-жа советница Виланд и ее дочь верно сочли меня грубияном. Можете себе представить мое огорчение, — Шарлотта говорит, что, я, будучи веймарским советником и собираясь бывать при дворе, сейчас находящемся в городе, должен нанести официальные визиты здешнему дворянству и видным бюргерским семьям. Хотя здесь в обычае просто завозить карточки и у меня на это есть слуга, мне все же грозит опасность кое-где быть принятым, но даже если нет, то все равно дня три будут растрчены самым нелепым образом. Пренебречь же этим обычаем я не могу, не совершив большой погрешности против здешних правил поведения.

Будьте здоровы, шлю вам тысячу и тысячу поклонов. Твое письмо, милый Кернер, я получил и благодарю тебя за то, что ты не стал дожидаться моего. Рад твоим надеждам. О, если бы и ты вскоре мог порадоваться моим! — В первом письме я забыл упомянуть, что Гешен сразу заплатил мне 30 талеров. С переплетенным «Карлосом» вы поступили правильно, за другим, в английском переплете, который Минна заказала тому же мастеру и который, наверное, уже готов, пошли и, кстати, заплати за него. Постарайся как можно скорее переслать его мне. Заканчиваю это письмо в новой квартире, где я уже обосновался.

Еще раз прощай. Писать вам всем по отдельности я до сих пор не мог, но вскоре это сделаю. Продолжайте любить меня. Я же навеки остаюсь

вашим

Шиллером.

Веймар, 8 августа 1787 г.

По характеру моих писем ты поймешь теперешнее состояние моего ума и сердца, так что мне не стоит пускаться в подробнейший самоанализ. Покуда они остаются чисто историческими, написанными во вкусе мемуаров, можешь смело заключить, что я еще не разобрался в самом себе, что здесь я еще не чувствую себя дома. Как только я обрету себя, я снова буду полностью принадлежать и тебе.

Твое письмо от 2 августа я получил. Оно целиком перенесло меня к вам, и это было самое благотворное ощущение, испытанное мною за длительный срок. Нет для меня более определенного, более высокого счастья в мире, нежели *полное* наслаждение нашей дружбой, неразъемлемое единство нашего существования, наших радостей и страданий. Мы еще не достигли этой цели, но, думается мне, достигнем. Путь, по которому я хочу идти к ней, будет предметом моих последующих писем. Мне он ясен, но я должен еще растолковать его тебе и другим, прежде чем посвятить вас в мои намерения.

Началом и основой нашей связи была экзальтация, да так оно и должно было быть; но, верь мне, экзальтация могла бы стать для нее и могилой. Отныне серьезное раздумье и медленная самопроверка будут придавать ей постоянство и надежность. Каждый из нас, в интересах остальных, должен поступиться некоторыми мелкими страстями, и искренняя любовь к каждому из нашего кружка должна быть первым и важнейшим чувством для всех нас. Согласны ли вы со мною? Да? Ну, так я заверяю вас, что это ляжет в основу всего, что я предпринимаю для устройства своей будущей жизни, и на сегодня об этом хватит.

Поверишь ли, милый Кернер, что мне трудно, более того, почти невозможно писать вам о Шарлотте. И я даже не умею сказать почему. Наши отношения — если тебе будет понятен такой оборот — это религиозное откровение, опирающееся на веру. Результаты долгих исканий, медленного развития человеческого духа здесь достигнуты досрочно, мистическим образом, ибо

разум слишком долго бы до них добирался. То же самое происходит с Шарлоттой и со мной. Мы пачали с чаяния результата и теперь должны разумом проверить и укрепить нашу религию. Здесь, как и там, неизбежно наступают эпохи фанатизма, скептицизма, суеверия и неверия, и в конце концов, видимо, возникнет чистая и справедливая вера, основанная на разуме,— единственно дарующая блаженство. Сдается мне, что есть в нас обоих росток нерушимой дружбы, но он еще ждет своего развития. В душе Шарлотты больше единства, чем в моей, хотя настроение и состояние духа у нее сменяются чаще, чем у меня. Долгое одиночество и странное влечение ее сердца глубже и крепче врезали в ее душу мой образ, чем ее образ врезался в мою.

Я не писал тебе, какие странные последствия возымело для нее мое появление. О многом из того, что произошло, я и сейчас еще не могу писать. Она ждала меня со страстным и робким нетерпением. Мое последнее письмо, в котором я уже окончательно извещал ее о своем приезде, повергло ее в смятение, отразившееся на здоровье. Ее душа была прикована к одной этой мысли,— и когда она встретилась со мной, ее восприимчивость к радости уже притупилась. Долгое ожидание истощило ее силы, а радость вовсе подорвала их. В первые пять или шесть дней моего здешнего пребывания все ее чувства как бы отмерли, осталось только ощущение бессилия, и оно делало ее несчастной. Ее существование поддерживалось лишь конвульсивным напряжением момента. Суди сам, каково было у меня на душе в ту пору. Ее болезнь, ее душевное состояние и тревога, внесенная мной, как это подстегивало меня! Теперь она начинает отходить, здоровье ее восстанавливается и дух освобождается от оков! Только теперь можем мы значить что-то друг для друга. Но мы еще никак не подчинимся разумному житейскому порядку, который я себе предначертал. Все это только подготовка к будущему. Теперь я с нетерпением жду ответа от ее мужа на серьезное письмо, которое я ему послал.

Но буду продолжать свой рассказ. Всю эту неделю я не видел Виланда, сначала потому, что хотел дать ему

время прочитать «Карлоса» и составить себе мнение о нем, а потом по весьма простой причине, а именно: ждал, чтобы он сделал первый шаг, но он его не сделал. В гостинице он, правда, нанес мне ответный визит, но у меня на дому еще не побывал, что было бы вовсе и не нужно, если б не «Карлос». Но возможно, что сегодня вечером я все-таки к нему отправлюсь; не то он, не зная о причинах, еще усмотрит небрежение в моем поступке. Готтер читал пьесу (в ямбической театральной редакции) вдовствующей герцогине в Тифурте; на чтении присутствовал и Виланд. Я там не был, ибо пьесу он захватил с собой просто так, на всякий случай. На следующий день я узнал, что впечатление произвела как раз первая половина истории с маркизом, вторая же либо никакого, либо неблагоприятное. Готтер пылко заверяет, что эта вторая половина и вся история самопожертвования маркиза совершенно пропадает из-за неясности экспозиции, неправдоподобного поведения короля, снижения интереса к Карлосу и т. д. По этой маленькой пробе ты можешь судить, что ждет меня у прочей публики. Никто не подумал о том, что искусно сыгранная роль маркиза в известной степени оправдывает нарушение границ правдоподобия. Иные нашли, что отвага маркиза не вытекает из его натуры, а потому и все последствия этой мнимой ошибки заклеямили как ошибочные. Правда, надо принять во внимание, что Готтер вот уже четыре года меня ненавидит и, возможно, потому и предложил себя в чтецы «Карлоса»; это была его собственная идея,— а он из тех людей, кто противится всякому воздействию искусства, не пригодного для его критической кухни, и все воспринимает только через правила. Впоследствии выяснилось, что он даже толком не понял «Карлоса»,— но я не охотник всякий раз снабжать свой текст комментарием. Готтер и Виланд, я это вижу по всему, сошлись здесь в некоторых взглядах и суждениях, и я жду самого пошлого отзыва от последнего. Ты понимаешь, что при такой точке зрения я не очень-то жажду выслушивать их суждения о «Карлосе» или возражать им. Мое мнение о пьесе вполне сложилось, и так как я чувствую свою правоту,

то опасаясь, что Виланд упадет в моих глазах. Возможно, что и я в его, но на сей раз это не одно и то же. С меня довольно и того, что «Карлос» даже не вызвал у него желания поскорее побеседовать со мною. Чтобы подать ему повод к встрече, я шесть дней назад послал ему записку с просьбой дать мне том Дидро. Он прислал книгу, не выразив желания говорить со мною. Правда, всеми, кто его знает, я подготовлен к его поразительной непоследовательности; но эта-то непоследовательность, пожалуй, и не допустит дружбы между нами. Впрочем, увидим. Не хочу забегать вперед.

С неделю назад я в одиночестве отправился гулять в рощицу под городом и по пути встретил Гердера с детьми. Я присоединился к ним и неожиданно провел весьма приятный вечер. Гердер ни во что не ставит пишущую братию, а тем более поэтов и драматических писателей. Из нелюбви, как он сам признался, к этого рода умственной деятельности он ничего *моего* не читал; и все же Гердер, пожалуй, всех справедливее оценит меня. Он поинтересовался, как я работаю, и когда я сказал ему, что имел несчастье сильно измениться за время работы над большой поэтической вещью, так как я еще расту, и потому в конце этого произведения думал и чувствовал иначе, чем в начале, то он посоветовал мне наскоро набрасывать черновики и затем уже приниматься за медленную их обработку. Мысль светлая и правильная. Я признался в своем желании, чтобы он прочитал «Карлоса» и высказал мне свое суждение. Он обещал, и третьего дня я послал ему пьесу. В ближайшее время навещу его. Я говорил о его сочинениях и так как был еще полон его «Немезидой», то и перевел разговор на нее. Кажется, его удивило и обрадовало, что я так проникся его идеей; он многое растолковал мне и сказал, что в будущем хочет превратить эту Немезиду или Адрастею в большое произведение, введя в нее и физический мир — главный и всеобщий закон природы, *Закон Моисея*. По поводу его статьи *Любовь и Индивидуальность* я заметил ему, что здесь у нас имеются точки соприкосновения. Я познакомил его с несколькими мыслями из

Юлия, которые он подхватил и счел вполне правильными. Он намерен прочитать переписку Юлий — Рафаэль, также заинтересовался и другими статьями «Талии». Я упомянул о «Духовидце» и о том, почему прославилось это произведение. Он слушал с удовольствием, и мы продолжали об этой материи. У него и здесь имеются собственные плодотворные идеи, и он очень склонен допустить взаимовлияние душ, подчиняющееся неведомым законам. То же самое он наблюдает и у животных. И животные, говорит он, часто пробуждают в нас мысли. Моя живая мысль может пробудить схожую и в другом, близком мне, и т. д. Существуют люди, в общих чертах предвидящие свою судьбу; к ним принадлежит и он, Гердер. Этим объясняются предсказания таких событий, которые возникают извне и не принадлежат к миру идей. Пророк, сказал он, возвестил, что дева понесет во чреве и родит сына. Я завел речь о его последней книге «Бог». Сказал кое-что из того, что думал об этом, и еще, что к идее бога я бы возвел всю философию. Он нашел некоторое своеобразие в ходе моих мыслей и пожелал, чтобы я прочел эту вещь. Она, мол, придется мне по душе; в ней содержится его абсолютно убедительная идея бога. Ежели я ее усвою, то многое для меня прояснится. Прочти-ка ее и напиши мне свое мнение. Для меня она слишком метафизична. Начало со Спинозой весьма интересно. Гердер сказал, что он должен быть очень собранным во время работы; когда он, например, пишет свои «Идеи», то никакие другие мысли для него уже не существуют. Третий том его «Разрозненных листков» уже послан в печать. Там, между прочим, имеется и статья о руинах Персеполиса. Но я рукописи не видел. Говорили мы и о его проповедях. Для того чтобы проповедь была удачной, надо, чтобы он всю неделю не думал о ней и вспомнил не раньше пятницы или субботы. Он очень завидует состоянию духа и положению Цолликофера. Я осведомлялся относительно приглашения его в Берлин. Он уверил меня, что такового не получал, но дыму без огня не бывает. Тут даже прусский король выказал себя достаточно своеобразно. Однажды, кажется после проповеди, он обратился к Шпальдингу:

он, король, понимает, что тот становится стар и стремится на покой. Шпальдинг это решительно опроверг — пет. «Нет,— сказал и король,— вам может понадобиться помощь, я это отлично понимаю». — «Но моя служба,— отвечал Шпальдинг,— не нуждается в помощниках». — «Не беспокойтесь,— гласил ответ,— содержание ваше от этого не уменьшится. Я только хочу облегчить ваш труд». — Но ему этого вовсе не хочется, заверяет Шпальдинг. — «Я вам сыскал дельного человека,— продолжал король,— Гердера». Шпальдинг обегал со своими сетованиями весь Берлин, короля отговорили, и этот план был отложен. Гердер сказал, что он не подошел бы для этой должности. Я мог бы рассказать еще немало интересного об этой прогулке, но сейчас ничего больше не приходит в голову. Мы еще успеем наговориться.

На следующий день я, желая немного развлечься, поехал в Эрфурт, так как должен был передать кое-что от Арнимов в тамошнюю обитель и пообещал сделать это лично. Я еще никогда не видывал женского монастыря и хотел воспользоваться случаем. Сестра старой Арнимши там настоятельница, а младшая барышня — пансионерка. Сначала я вел переговоры, стоя за воротами, потом меня впустили и стали водить по всему монастырю, кроме келий. Я просил рассказать мне о монастырском уставе и распорядке жизни и убедился, что правду говорят о монахинях: все их уверения о том, что они довольны своей жизнью, — ханжество. Вокруг были сплошь веселые лица, и как же они стреляли глазками! Так как после долгого перерыва я был первым молодым мужчиной в этих стенах, то на меня немало глазели — одни монахини сменялись другими. Барышня Арним прехорошенькая блондинка и через несколько лет обещает стать красавицей. Интересное личико и необычайно красивые волосы.

На постоялом дворе, куда я заехал, слуга разболтал, кто я, и посмотреть на меня собралась куча людей из тамошнего театра. Никто, однако, не решился заговорить со мной, и я узнал, что это было, лишь сядя в карету. Ни на одном постоялом дворе мне так

весело не служили и так по-божески не обходились со мной.

Только что получил письмо от Губера, а через полтора часа уходит лейпцигская почта. Я собирался написать тебе длинное письмо, но вынужден отложить его недописанным до следующего понедельника. Еще раз наскоро пробегаю твое письмо, чтобы ответить на вопросы.

Говоря о герцогине, я имел в виду вдовствующую. Молодая приедет только завтра или послезавтра. Человек, делающий карьеру при Цвейбрюкском дворе, — муж Шарлотты. Состояние, из-за которого идет тяжба, поделено между тремя сестрами и, следовательно, сильно уменьшится. Относительно «Клио» я напишу Губеру. Твоя договоренность с Гешеном, вероятно, вполне правильна. Меня это несколько удивило.

Шарлотта кланяется вам. Своей жене и Дорхен рассказывай обо мне только хорошее. Они поверят на слово, что я еще не мог написать им, а когда засяду за письмо, то всеми помыслами буду у них. Прощайте, мои милые. Прощай, Кернер.

Шиллер.

52. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 12 августа 1787 г.

Не могу точно припомнить, на чем я остановился в своем предыдущем письме, но тем не менее продолжаю.

В прошлое воскресенье впервые слышал проповедь Гердера на евангельский текст о неправедном домоправителе, разъясненный им очень умно и тонко; ты же знаешь двусмысленность этой притчи. Вся проповедь походила на разговор с самим собой, плавный, общепринятый, естественный, — не столько речь, сколько разумная беседа. Выдержка из практической философии, примененная к тому или иному случаю из гражданской жизни, — поучения, в равной мере уместные и в мечети и в христианском храме. Манера говорить так же проста, как и содержание; никакой жестикюляции,

никакой игры голосовыми средствами, — во всем серьезность, выразительность. Он несомненно исполнен сознания своего достоинства. Уверенность, что таково и всеобщее мнение, придает ему бодрости, непринужденности; это вполне очевидно. Он чувствует себя сильнейшим умом, окруженным лишь подчиненными существами. Гердерова проповедь понравилась мне больше всех, которые мне доводилось слышать, — но должен тебе откровенно признаться — мне вообще никакая проповедь не нравится. Публика, к которой обращается проповедник, слишком пестра и разнородна для того, чтобы манера проповедника могла всем прийтись по вкусу, а он не может, наподобие писателя, игнорировать менее подготовленную ее часть. Итак, что же получается? Либо он твердит в уши разумному человеку прописные истины и мистические идеи, так как принужден жертвовать им для неразумного, либо ему остается скандализировать и сбивать с толку второго, для того чтобы заинтересовать первого. Проповедь существует для простолюдина. Если развитой человек высказывается за проповедь, значит он глупец, фантаст или ханжа. Впрочем, при чтении моего письма это место можешь пропустить. Церковь была битком набита, и у проповеди имелось одно большое преимущество — она длилась недолго.

На этих днях мне довелось познакомиться с m-lle Шретер. Я встретил ее случайно у камергера фон Эйнзиделя. Ее фигура и то, что осталось от красоты ее лица, вполне оправдывают твою влюбленность. Она, видимо, действительно была прекрасна, ибо 40 лет еще не совсем разрушили ее. Но вообще она показалась мне в высшей степени заурядной духовной организации. Чрезмерное восхищение ею больших людей навязало ей лучшее мнение о себе, чем то, которое она вынесла бы, руководствуясь лишь собственным своим мнением. Подлинным ее назначением, по-моему, было бы домоводство, об искусстве у нее, на мой взгляд, имеются весьма умеренные и благомыслящие представления. Она весьма приятна и мила в обхождении, но расстаешься с ней спокойно и с пустым сердцем. M-lle Шмидт я мог бы третьего дня видеть у Шарлотты, если

б у меня достало любопытства из-за нее отказаться от чего-то другого.

На этих днях побывал я и в саду Гете, у майора фон Кнебеля, его близкого друга. Дух Гете преобразил всех людей, принадлежащих к его кругу. Высокомерное философическое презрение ко всякого рода умозрению и исследованию, доведенная уже до аффектации приверженность к природе и благоговению перед своими пятью чувствами, короче говоря, некоторая ребячливая наивность разума отличают и его и его здешнюю секту. Они предпочитают собирать травы и заниматься минералогией, нежели путаться в пустопорожних мыслях. Идея сама по себе, может быть, вполне здравая и полезная, но ведь и ее можно довести до крайности.

Из этого Кнебеля здесь бог весть что делают, впрочем он, бесспорно, человек умный и с характером. Он обладает большими знаниями и ровным светлым умом,— как я уже сказал, он, может быть, и прав, но в этом благоразумии столько эпикурейски-сытого и брюзгливо-ипохондрического, что оно скорее подстрекает тебя искать выхода в противоположном направлении. Мне посоветовали непременно свести с ним знакомство отчасти потому, что он слышет здесь за одного из самых умных людей, впрочем, по праву, отчасти же и потому, что после Гете он имеет наибольшее влияние на герцога. Принимая во внимание оба эти обстоятельства, нелепо было бы его игнорировать. Что мы друг другу не подходим, ты уже понял из моего описания, но я старался к нему приспособиться. Он соблазнил меня на поездку в Тифурт, где у него было какое-то дело к герцогине. Так как после того концерта я не был к ней зван, то очевидно, что она мало мною заинтересовалась. Посему я чувствовал себя неловко, идя с ним к ее дворцу. Но так как он заверял меня, что все это пустяки, то я остался ждать у подъезда, пока он доложит обо мне. Он вернулся и пригласил меня. Здесь со мною (на придворный манер) обошлись весьма милостиво, заставили выпить кофе и съесть два куска вишневого торта (кстати, превосходного на вкус и без косточек); моей предполагавшейся посзд-

кой в Эрфурт попытались воспользоваться как объяснением, почему я не был зван целую неделю. Герцогиня сказала, что в субботу я приглашен смотреть оперетту, которую будут давать у нее в узком кругу. Нас хотели оставить обедать, но Кнебелию надо было в город, и я решил сопровождать его. Оперетту давали в субботу, но так как я, собственно, настоящего приглашения так и не получил, то, по совету Шарлотты, не поехал. Правда, она получила приглашение, в котором ей предлагалось самой избрать себе спутника и под спутником подразумевался я. Но поскольку меня явно рассматривали лишь как дополнение к ней, то мы оба сделали вид, что ничего не поняли.

Когда она появилась без меня, Виланд спросил, где я. Герцогиня тоже удивилась, что я не приехал. Шарлотта, как мы и договорились, с наивной миной осведомилась, был ли я зван? И вот сегодня утром ко мне явился Готтер (он правил оперетту и писал к ней пролог) и пытался мне доказать, как ужасно я был неправ, не приехав. Ты видишь, что и здесь все делается окольными путями. Но так, собственно, дело обстоит только у старой герцогини. Я уже сыт ею по горло и с удовольствием ей это показываю. Ко вторнику прибудет герцогиня Луиза. Готтер сегодня опять уехал.

Бертух, наконец, вернулся, и как раз сегодня утром я встретил его у Шарлотты. Можете себе представить, что о вас было говорено не мало: «Кернер милейший, отличнейший человек; madame Кернер живая, прелестная особа, очень умная, с выразительными глазами, грациозная, отзывчивая, очаровательный овал лица, превосходная фигура. Дорхен девица весьма остроумная, к которой он питает совсем исключительное уважение». Но для того чтобы вы не слишком возгордились, я продолжаю: «Советник — достойный, почтенный человек, его сестра, правда, несколько перезрела, но зато какая душа и чувства. Нейманы прекрасные люди». Короче, Бертух в восторге и упоении от своего пребывания в Дрездене.

На днях мне пришлось совершить в высшей степени скучную прогулку в большой и знатной компании. Это неизбежное зло, в которое меня ввергли мои отпоше-

ния с Шарлоттой. Сколько же здесь встречается пусто-головых людей! Лучшей из всех была г-жа фон Штейн, действительно своеобразная и интересная женщина, и я понимаю, что Гете так безоглядно привязался к ней. Красива она, видимо, никогда не была, но лицо у нее какое-то мягко-серьезное и необычайно открытое. Все ее существо проникнуто здравым смыслом, чувством и правдивостью. У этой женщины имеется, пожалуй, свыше тысячи писем Гете, и даже из Италии он еще писал ей всякую неделю. Говорят, что ее поведение чисто и безупречно. Имя Гете (ведь я же посулил тебе отзыв Гердера) множеством людей (и помимо Гердера) произносится со своего рода молитвенным благоговением; как человек он вызывает еще больше любви и восторга, чем как писатель. Гердер признает за ним *ясный*, универсальный ум, правдивость, искренность чувства, величайшую чистоту сердца! Чему бы он ни предавался, он предается целиком и может, как Юлий Цезарь, многое делать одновременно. По утверждению Гердера, в нем нет никакой склонности к интригам, сознательно он никого еще не преследовал, никогда не посягал на чье-либо счастье. Во всем он любит свет и ясность, даже в своих мелочных занятиях политическими делами; и столь же рьяно ненавидит мистику, выверты, путаницу. Гердеру хотелось бы, чтобы Гете восхищались как деловым человеком еще больше, чем как поэтом. Для него он всеобъемлющий дух.

Путешествие в Италию Гете с детства вынашивал в сердце. Его отец побывал там. Теперь его расстроенное здоровье сделало эту поездку необходимой. Он там будто бы очень преуспел в рисовании. Говорят, что хотя он уже и восстановил свое здоровье, но вряд ли вернется раньше конца года.

Вчера меня посетил Фойгт. Думаю, что ты его знаешь, хотя бы по имени. Это отличнейший человек, и, можешь порадоваться, я думаю, что все мы станем друзьями. Так как я был у него и не застал, то он пришел отдать мне визит, намереваясь просидеть не более четверти часа. Они, однако, превратились в два, и расстались мы очень довольные друг другом. Все время, что я здесь, мною владеет неодолимая потребность в

доверенном и друге. Фойгт может стать мне таким другом. Кроме того, он один из виднейших деловых людей, и его одинаково ценят все от мала до велика. Связанный с лучшими из здешних людей, он слывет оракулом герцога. Сегодня опять навещу его и тогда смогу тебе больше о нем написать.

Виланда я еще не видел. Намедни был у него, но не застал,— следовательно, теперь он должен мне визит; я слышал, что он не то сегодня, не то завтра уезжает в Эйзенах. Итак, может случиться, что мы больше не увидимся,— но он услышит обо мне через Фойгта, Рейнгольда, Гердера и других, и даю тебе слово, что я еще заставлю его покраснеть.

Гердер публично высказал свои симпатии ко мне и за столом у герцогини принял мою сторону. В прошлую субботу он уверял Шарлотту, что я его очень интересую; он признался ей, что в свое время высказывался против меня, но он-де судил обо мне только по слухам. Спросил у нее мои сочинения. Доброе мнение обо мне в нем утвердило то, что он успел прочесть из «Карлоса». Сказал, что я говорил с ним о ней. Рассказывая это, он пожал ей руку. Этот последний штрих очень заинтересовал и ее и меня.

На этой неделе отправлюсь в Иену проведать Шютца и Рейнгольда.

Теперь прощай. Надо спешить отнести письмо на почту. Губеру и Дорхен напишу в скором времени. Кланяйся от меня Кунцам. Прощай.

III.

53. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 29 августа 1787 г.

Итак, за мною рассказ о Иене. Я отправился туда с Рейнгольдшей и Шарлоттой. Иена расположена в трех милях от Веймара, дорога туда ведет шоссейная, но ландшафт вокруг пустынный и печальный. Вблизи города местность оживляется и обещает путнику красивые виды, которые и открываются ему в большом количестве. Иена выглядит, или кажется, солиднее Веймара; более длинные улицы и высокие дома свидетельствуют,

что ты как-никак находишься в городе. Рейнгольды живут неподалеку от ворот в просторном, изящно обставленном доме. Рейнгольд встретил нас у подъезда; мы откинули все церемонии и почувствовали себя добрыми знакомыми, даже не успев еще подняться по лестнице. У Рейнгольда умное лицо, но бледное и болезненное, его взгляд словно ищет сочувствия. Он еще недостаточно разбирается в свете, потому в нем приметны застенчивость, робость, а в отношении вышестоящих — искательство. По-моему, он очень зависит от сторонних мнений, которые, как известно, более всего владеют людьми, находящимися в чуждых непривычных условиях и еще недостаточно утвердившихся в чувстве собственного достоинства. Поэтому он и не нравился мне ни в одной компании. Их домашний быт показался мне несколько комическим, ибо они оба еще не успели с ним свыкнуться и не умеют скрывать закулисной стороны жизни. Оба они живут умеренно и весьма скромно ведут свое хозяйство. Рейнгольд в настоящее время располагает приблизительно 600—700 талерами, включая сюда его доходы от «Меркурия», которые идут ему пополам с Виландом, и от «Литературной газеты», где он сотрудничает. Лекции его, посвященные Кантовой философии и эстетике, начнутся только в октябре. По сравнению с Рейнгольдом ты прямо-таки хулитель Канта, ибо он утверждает, что через 100 лет слава Канта сравняется со славой Иисуса Христа. Надо, однако, признаться, что он говорил об этом вразумительно и разохотил меня прочесть Кантовы статейки в «Берлинском ежемесячнике». Мне очень по душе пришлась Кантова идея всеобщей истории. То, что я буду еще читать, а может быть, и изучать Канта, дело почти решенное. В недалеком будущем, как мне сказал Рейнгольд, Кант выпустит в свет критику практического разума или воли, а также критику вкуса. Порадуйся этому.

Рейнгольд, если это тебе еще неизвестно, католик, он был новичиадом ордена иезуитов, и роспуск этого ордена определил его теперешнюю судьбу. Девушка, на которой он хотел жениться, исхитила его из духовного сословия, впрочем эту часть своей истории он еще не

досказал мне, теперь он отрекся от своей веры и ненавидит католицизм со всем пылом философа. Блумауер свел его с Виландом, которому он сначала понравился, а потом стал необходим, преимущественно благодаря своим писаньям. Софи (старшая дочь Виланда, ныне жена Рейнгольда), в то время в высшей степени подвижное и нервное создание, влюбилась в него, и страсть превратила эту столь энергичную девушку в весьма милую и добродушную женщину. Софи унаследовала от отца весь внешний облик и значительную долю его характера и темперамента. Но к чести его — а может быть, тут дело в материнской заботливости природы — надо сказать, что в ней сохранилась вся живая природная сила и все цветение чувств в сочетании с чистейшей грацией невинности. Право же, это совершенно неиспорченное существо, и если отбросить некоторые мелочи, как бы навязанные ей славою отца, то и вовсе неприкрашенная натура. Короче, должен признаться, что я душевно и хорошо к ней отношусь, к чему сначала даже не стремился. Вообще же она очень проста и отнюдь не напичкана идеалами. Нашим женщинам она должна прийти по душе, и я уже уговорился познакомить ее с вами. Из моего описания ты уже, вероятно, заключил, что и она не питает ко мне антипатии, — но смею тебя заверить; это не повлияло на мой отзыв о ней. Она вскоре напишет мне, и тогда ты ближе узнаешь ее, по письму.

Шарлотта тем же вечером возвратилась в Веймар. Я же остался на шесть дней в Иене, пока она не приехала за мной. Эти шесть дней я очень приятно провел у Рейнгольдов, и, надо сказать, никогда еще мне не было так привольно в чужом доме. Совсем счастливым я не могу быть нигде, ты это знаешь, ибо настоящее нигде не позволяет мне позабыть о будущем. Шесть дней в Иене я пробездельничал. Уже это одно должно было отравить мне чистую радость.

Впрочем, не делай отсюда вывода, что я и Рейнгольды должны стать или уже стали друзьями. Рейнгольд никогда не будет мне другом, так же как я ему, хотя он и считает это возможным. Мы прямо противоположные натуры. У него холодный, ясный и глу-

бокий ум, которого у меня нет и который я не умею ценить, но фантазия у него убогая, бедная, а дух ограниченнее моего. Живость, с которой он так щедро и расточительно откликается на все явления эстетического и нравственного порядка, противоестественным образом выжата из почти иссохшего и опустошенного ума и сердца. Он утомляет собеседника чувствами, которые он выискивает и сгребает в кучу. Царство фантазии для него чуждая область, в которой он по настоящему не умеет ориентироваться. Его мораль бо-язливее моей, а его мягкость нередко смахивает на слюнтяйство, на трусость. Ему никогда не подняться до смелых добродетелей или преступлений ни в идеальном мире, ни в действительности. И это плохо. Я не могу быть другом человека, неспособного на то или другое или на то и другое вместе. Рейнгольд открыл мне глаза на Виланда. Как ни мало я полагаюсь на его суждения (ибо с его способностью разбираться в людях дело обстоит еще хуже, чем с моей), все же из фактов, которые он мало-помалу мне выкладывал, я составил себе кое-какое представление о последнем. Хоть он его и не в меру боготворит, ему все же пришлось признаться, что неровный характер Виланда уже не раз наносил ему жесточайшие обиды. Ведь, собственно, Виланд, хотя Рейнгольд как будто и самый близкий ему человек, своими злобными выходками и, попеременно, то приближением его к себе, то отталкиванием выжил его из Веймара. Сегодня он провозглашал его великим мудрецом, завтра объявлял, что он осел. Никто, кроме жены Виланда, умеющей пережить все грозы, долго не выдерживает в такой атмосфере. Из этого ты поймешь, что никакого чуда и никаких подстрекательств не понадобилось для того, чтобы и мы с ним разошлись. Никто не знает людей хуже, чем Виланд, сказал мне Рейнгольд, и то же подтверждают все, кто с ним общается. Блумауер — его страсть. После того как он побывал здесь, Виланд объявил, что жизнь мила ему только потому, что Блумауер в следующем году придет снова. Гешену тоже удалось сразу пленить его. Я же на собственном опыте убедился, как дешево можно его купить. Это непосто-

яństwo, эту переменчивость настроений он признает сам и, по словам Рейнгольда, в следующую же минуту может просить прощения и расстраивается, как ребенок. Но я не хотел бы жить с таким человеком. У Виланда необыкновенная страсть жить вблизи государей. Рейнгольд и его жена уверяют меня, что ее прежде всего следует отнести за счет роскошной мебелировки их комнат. Это его неодолимая слабость. В какой-то мере сюда, конечно, примешивается и самолюбие. К старой герцогине, например, он привержен из-за свободы, которую может себе позволить с пей,— спать на софе в ее присутствии. Говорят, что он уже не раз яростно прекословил ей и однажды швырнул ей в голову книгой. За достоверность последнего не ручаюсь, шишки уже не видать.

Да и вообще о здешних великих умах слышишь все больше вздора. Гердер и его жена живут в себялюбивом уединении, образуя нечто вроде святой двоицы, из которой они исключают всех смертных. Но так как оба горды и запальчивы, то сие божество временами само с собой дерется. Итак, когда начинаются нелады, они живут врозь, каждый на своем этаже, и письма так и летают вверх и вниз по лестнице, покуда жена не решается, наконец, собственной персоной нагряться в покои своего супруга, где она цитирует что-нибудь из его произведений, добавляя: «Тот, кто написал это,— бог, а на бога не сердятся». Тут побежденный Гердер падает в ее объятия, и распря кончается. Хуже обстоит дело с этими божествами тогда, когда они соприкасаются со смертными. Так, например, всем известно, что мяснику и портному они должны немало сотен, и это уже в течение восьми или десяти лет. Служанке, которой они отказали от должности, когда она потребовала свое уже давно не выплачиваемое жалование, госпожа генерал-суперинтендентша соизволила вручить счет за разбитую кухонную посуду, так что ей в результате причиталось уже не больше двух или трех талеров. Возблагодарите господу за то, что вы не бессмертны.

Бертух и Гердер ненавидят друг друга, как змий и сын человеческий. Гердер дошел уже до того, что,

когда при нем называют имя Бертуха, все его лицо перекашивается. Но даже уступчивый Бертух в этом единственном пункте становится смертным и испытывает нечто для себя необычайное — страсть. В общем, я все-таки рад вновь посетить Гердера. Он своеобразный человек, и для меня истинное наслаждение наблюдать за ним.

Но вернемся к Иене, где я на столь долгий срок оставил тебя. Что студенты здесь в почете, видно уже с первого взгляда. Впрочем, даже закрыв глаза, можно узнать, что находишься среди студентов, ибо все они шествуют победоносной походкой. По началу, когда Рейнгольд только приехал сюда, его возмутила грубость этих господ, они жили напротив него и, высунувшись в шляпах из окна, смотрели ему прямо в лицо. Тогда и он спешно нахлобучил шляпу. До студентов это, видимо, дошло, они отодвинулись от окна и сняли с головы сей драгоценный убор. Вечером, когда стемнеет, едва ли не через каждые пять минут по всей длинной улице разносится крик: «Голову прочь! Голову, голову прочь!» Сей человеколюбивый возглас упреждает торопливого путника о бальзамическом дожде, который вот-вот прольется на его темя. Но в общем нравы здешних студентов сильно исправились. Меньше слышно о поединках, хотя не проходит и недели без какой-нибудь истории. Число студентов колеблется от 700 до 800 человек и теперь возрастает вместе с растущей славой университета.

Первое мое здешнее знакомство были Шютц и его жсна. Он только что оправился от тяжелой болезни, но я застал его уже бодрым и жизнерадостным. Внешность у него мало привлекательная, но вдохновенная. Глаза так и пылают. Он весьма разумно обо всем толкует. Здесь его бог весть как превозносят, впрочем в Веймаре тоже. Мы стали добрыми друзьями, чего я никак не мог бы предположить в Дрездене. Шютцу очень понравился «Карлос», для меня это не бесполезно, так как он человек толковый. Большую часть «Литературной газеты» вместе с ним составляет д-р Гуфеланд, отличный малый, в котором, вероятно, дремлет большой человек. Это в тиши размышляющий

ум, ядовитый и истинно пытливый,— а он ведь моложе нас обоих. С ним я тоже вступил в дружеские отношения. В газете работают около 120 писателей, наиболее видных в Германии, как это утверждают. Шютц и Бертух благодаря ей зарабатывают каждый по 2500 талеров, сотрудники же получают 15 талеров за лист. Здание, в котором они помещаются в Иене, называют попросту «Литература». Оно очень красиво и удобно. Меня провели по всем помещениям, где огромное количество изданных книг, рассортированных по именам книготорговцев, ждет своего приговора. Собственно говоря, такое рецензирующее объелинение — брутальная и комическая затея, и надо признаться, я склонен примкнуть к комплоту против него. Но сначала они должны ввести меня в свою святая святых. Профессорша Шютц — тривиальная, но очень бойкая дама, страшно желающая нравиться; она производит весьма комическое впечатление своими вычурными и плохо сшитыми нарядами. Но в общем ее суетность идет во благо приезжим, особенно тем, кто имеет имя,— она просто осаждаёт их своим вниманием. У Шютцев я познакомился с Дедерлейном; тонкая, хитрая физиономия в сочетании с головой священнослужителя; с ним приятно поговорить. Этот вечер я провел в обществе четырех умных людей, что редко со мной случалось.

За Дедерлейном следует Грисбах, тайный церковный советник, разделяющий с ним его славу. Мы с Шарлоттой весьма приятно провели у него последний вечер в Иене. Летом он живет в большом новоотстроенном доме под городом, откуда открывается великолепный вид. Гостей, считая нас и Рейнгольдов, было десять человек, и тон, там установившийся, мне страшно нравился. Его жена очень здравомыслящая, простая и естественная особа весьма живого нрава. Сам он на первый взгляд кажется очень замкнутым и чопорным, но вскоре как-то согревается, и ты обнаруживаешь в нем весьма общительного и разумного человека. Мы долго беседовали, главным образом об Иене и ее университете. Так как власть над ним поделена между четырьмя саксонскими герцогами, то

это превращает его в довольно свободную и независимую республику, в которую нелегко просочиться угнетательству. Это преимущество выхваляли все профессора, с которыми мне довелось разговаривать, с особой настойчивостью Грисбах. Профессора в Иене люди почти что независимые, ни с какими высочествами им считаться не приходится. Это преимущество значительно отличает Иену перед другими университетами.

Из остальной профессуры я никого не видел, ибо предпочел им окрестности, которые и осматривал вместе с Рейнгольдом. Побывали мы и в деревне Лопета, расположенной в часе езды от Иены, где приято посещать в качестве местной достопримечательности весьма почтенную поэтессу, супругу бургомистра Болина. Это женщина лет под пятьдесят с еще довольно ясным взором. Несмотря па восторги, которые ей пришлось претерпеть в Веймаре, она чужда всякой аффектации. Большое хозяйство поглощает ее время, и ее поэтический талант проявляется лишь в свободные минуты. Ее перу принадлежит превосходное стихотворение «Ветер и мужчины» (в противовес английскому «Облака и женщины»), помещенное в «Немецком Меркурии». Она наизусть прочитала мне «Радость» и многие места из «Дон Карлоса». В Веймаре ее водили в беседку, где Шютца, Виланда и Бертуха осенила идея создать «Литературную газету».

Дорога в Лопету и все тамошние места необыкновенно красивы и привлекательны. Уединенный приют в этих краях имел бы для меня немало прелести. У г-жи бургомистерши я видел бюст г-жи фон Реке, меня заинтересовавший. Весьма незаурядная физиономия, и ничего нет удивительного, что она пробудила надежды Калиостро.

Я уехал из Иены в отличном расположении духа и поклялся себе, что видел ее не в последний раз. Рейнгольд уверяет, что если бы у меня возник план переселиться в Иену, то никаких затруднений мне чинить не станут. Он говорит, что я, не вымолвив со своей стороны ни единого слова, еще до весны получу туда приглашение. Но я и сам не знаю, дорогой мой. Эта

идея породила разлад в моей душе. Независимость и совместная жизнь с вами должны остаться моим предначертанием, с оговоркой, если писательство обеспечит мне безбедное существование. Все это можно будет решить по истечении года; к тому времени я уже буду знать, плодovито или скудно мое перо, благоволит или не благоволит ко мне счастье. На склоне лет у меня, конечно, должно быть прибежище в какой-нибудь академической науке.

28 августа я присутствовал на дне рождения Гете, которое г-н фон Кнебель праздновал в его саду,— в отсутствие Гете он там живет. Общество составляли несколько здешних дам, Фойгты, Шарлотта и я. Оба сына Гердера тоже были с нами. Мы наелись доотвалу, и я пил рейнвейн за здоровье Гете. Вряд ли он в Италии мог предположить, что я нахожусь среди гостей в его доме, но судьба причудливо плетет свою нить. После ужина мы увидели что сад иллюминирован, а завершением явился довольно сносный фейерверк. В этот же день я видел молодую герцогиню. Она встретилаcь мне подле Звезды, когда я сопровождал Шарлотту к Кнебелям, но на этот раз мы так и разошлись. Это красивая и благородная женщина, впрочем походка у нее горделивая и царственная.

Вашей m-Ne Шмидт я был представлен десять или двенадцать дней назад на концерте. Прежеманная демазель, к которой я никогда не испытаю никаких чувств. Красоту ее составляют необычайно белый, прелестный цвет лица и на редкость прекрасные, белокурые волосы. Она напоминает мне пастель, которую Дорхен сделала для Губера, но черты ее лица незначительны, и не будь этого цвета лица и волос, на нее вряд ли кто-нибудь обратил бы внимание. Со мной она была очень мила и приветлива. Здесь ее считают за хорошую партию, но ее чувство подчиняется железным велениям разума. Говорят ей уже под тридцать.

Здешние дамы необыкновенно чувствительны; едва ли найдется хоть одна, у которой не было бы какой-нибудь истории, все они хотят нравиться и покорять. К примеру, г-жа фон Шардт, которую ты в любом другом обществе принял бы за просвещенную куртизанку,—

тонкое недурное личико, живые, но слишком уж похотливые глаза. Она хотела увязаться за нами в Иену, но мы от нее отделались. Я ни разу не был на здешних чаепитиях, и это приписали деспотии Шарлотты надомной. Здесь легко можно оставить сердце, но оно вскоре захочет изменить свое местопребывание.

На прошлом клубном собрании мне пришлось быть гостем Бертуха. Я не отказал себе в удовольствии раззадорить его и начал удивительно пространно и даже не без вдохновения рассуждать о коммерческих сделках. Он умилился и поверил мне множество тайн, между прочим сообщил об идее немецкой книготорговли в Париже, Амстердаме и Англии, очень его увлекающей. Я с таким почтением отзывался о торговле, что совсем покорило его, и под конец он осведомился, нет ли у меня охоты — ты только подумай, у меня! — попробовать свои силы на этом поприще. При прощании он пожал мне руку и сказал, как он рад, что мы наконец-то узнали друг друга! Сей муж вообразил, что у нас имеются точки соприкосновения и что он узнал меня с новой стороны. Вообще же, признаюсь тебе, я никогда не раззнакомлюсь с Бертухом. Кто знает, может и ты когда-нибудь, при случае, извлечешь пользу из его деятельности, его коммерческой смекалки и удачливости. А может быть, и я сам.

Боду приехал сюда третьего дня, но я еще не был у него; говорят, он не совсем здоров. Навещу его в ближайшие дни. Моя поездка в Мейнинген отложена, так что в будущем можешь снова адресовать письма в Веймар. Если какое-нибудь письмо уже ушло в Мейнинген, я получу его оттуда.

Пора, думается мне, наконец закончить письмо. Твое терпение, верно, уже истощилось. И все-таки я боюсь, что позабыл о чем-нибудь, что тебе было бы любопытно узнать. Если к этому письму не присоединяется другое, то длина его послужит мне оправданием. Будьте здоровы, дружны и оставайтесь моими, так же как я навеки пребываю вашим.

Шиллер.

Веймар, 14 октября 1787 г.

Вчера у меня выдался приятный вечер. Шретер читала Шарлотте и мне «Ифигению» по первоначальной рукописи Гете, в том виде, в каком ее здесь играли. Она, собственно, тоже написана в ямбах, но со вставкой прозаических мест, так что может считаться поэтической прозой. Мне было любопытно послушать, потому что это первенец, напечатанная же «Ифигения» — обработка. В общем, последняя все же совершеннее. Иногда, ради размера, ему приходилось жертвовать существенной грамматической частицей. В то же время стихи местами привели к более красивым оборотам, иногда и более красивым образам; а трохей или спондеев всегда плохо действует на долгий ряд ямбов; смотри Шиллерова «Карлоса» у Бондини. Шретер читает хорошо, очень хорошо, куда менее принужденно, чем Готтер, с одушевлением, и дикция у нее правильная. Когда я видел и слышал, как она читает, во мне ожило воспоминание о том времени, когда она то же самое читала в пору своего расцвета. Благодаря этому она больше заинтересовала меня; ты легко это себе представишь. Мы теперь видимся часто, пожалуй раза три-четыре на неделе; ведь она, собственно, составляет одно из приятнейших наших знакомств и очень привержена к нам.

М-не Шмидт и я теперь тоже знакомы ближе. Знаменитый вист состоялся в прошлый вторник, и мы были очень веселы. Я весь вечер не мог разобрать, где лево, где право. Боде подошел и огласил это на весь зал. Как бы мне хотелось видеть и вас в этом обществе! Ведь среди стольких умных людей чувствуешь себя совсем привольно. За столом я сидел между Шретер и Шмидт и чувствовал, что на малый срок это весьма приятное соседство. На долгий — вряд ли. Обе пропели за столом несколько английских песен (среди гостей были англичане) необычайной красоты. Я попрошу их у Шмидт и пошлю вам.

С Виландом я примирился. Простейшие правила приличия и учтивости требовали, чтобы я сказал ему

несколько слов после его объявления о «Карлосе» в «Меркурии»; он отвечал очень просто, не пускаясь в объяснения, и мы еще больше сблизились. Он наговорил мне много умного и лестного обо мне. Между прочим, советовал не быть столь расточительным в своих вещах, чтобы не растратить себя. Он сказал, что из «Карлоса» можно сделать три значительные пьесы. Теперь он убежден, что подлинное мое призвание — драма. Я же еще не уверен. Все это происходило в клубе. Несколько дней назад я снова посетил Виланда; он был нездоров, но мы так втянулись в разговор, что я просидел три часа. Это была замечательная беседа. Мы очень сердечно отнеслись друг к другу, а наша обоюдная заинтересованность придала вес самым фривольным вещам. Он посвятил меня во все детали своего хозяйства и часто очень меня смешил. Примечательно то, что в его старом теле живет столь юный дух. На этот раз я много говорил ему о вас; сказал о своем желании видеть вас в Веймаре: ибо я убежден, что если бы вы или мы пробыли здесь подольше, мы могли и должны были бы изменить тон веймарского общества. Виланд и его добрейшая жена, уродливая как смертный грех, но с золотым сердцем и до ребячливости простая и веселая; Гердер с супругой — оба умнейшие и даровитейшие; Бертух и его жена (весьма приятные в обхождении); Боде, Фойгт, Гуфеланд, Ридель, Шмидт и его дочь (ни в чем не уступающие лучшим дрезденцам), Шретер, г-жа фон Штейн и ее сестра Имгоф, Кнебель и прочие — общество, которого никогда не встретишь в другом месте — составили бы прекрасный фон для нашей дружбы. Вместе с нами набралось бы двадцать два человека — довольно, чтобы жить в этом кругу! Даже будучи бедным и при небольших тратах, здесь можно жить приятно. Описав вас всех подряд, я сказал Виланду, что хотел бы видеть тебя здесь надворным советником с приличным содержанием. Герцог и все веймарцы оказались бы не в накладе, а я, раз уж я не в силах расстаться с вами, тоже мог бы здесь существовать. Виланду моя мысль страшно понравилась, и он стал подстрекать меня замолвить об этом словечко тайному советнику Шмидту.

Пойти мне на это или не надо? Второй результат этого вечера: я объединяюсь с Виландом для совместного издания «Меркурия». На следующий год журнал пере-страивается, дается новое объявление, и он начинает выходить в новом обличье. Случилось это так. Я ска-зал, что поскольку я осознаю необходимость много чи-тать, а это трудно объединить с большой работой, то мне хотелось бы пайти канал, по которому я мог бы спускать первоначальные результаты моего чтения. «Талия» могла бы сослужить мне эту службу, но, во-первых, она еще недостаточно популярна, а во-вторых, я один с нею не справлюсь, ибо для успеха журнала необходимо, чтобы он выходил часто, по меньшей мере каждый месяц. С другой стороны, его «Меркурий» не-достаточно многогранен, не соответствует своему назва-нию, часто слишком сух, а на самого Виланда здесь рассчитывать не приходится. Он тотчас же поймал меня на слове и признался, что я угадал давнишнее его же-лание. Ему-де будет в высшей степени приятно реали-зовать эту идею: мы хотели расширить план «Мерку-рия», сделать объявление об этой перемене, а также о том, что «Талия» слилась с «Меркурием». «Меркурий», поскольку его уже так много читают, должен сделаться основным национальным журналом. В будущем году он, Виланд, еще не сможет им много заниматься, но, закончив своего Лукиана, возьмется за него со све-жими силами. У него-де в голове столько идей и пла-нов, от которых приходится отказываться, так как он слишком стар и растерян; я перейму их у него и сде-лаю своими собственными. Он торопит меня с состав-лением плана «Меркурия». На этой неделе приез-жает Рейнгольд, мы с ним это обсудим. Виланд пола-гает, что «Меркурий» даст мне возможность покрыть необходимые издержки. Что ты скажешь об этой мысли? Мне кажется, что это дело может пойти. Во всяком случае, я вероятный наследник «Меркурия». У Виланда есть свобода от почтовой пошлыны и дру-гие мелкие преимущества, которые ставят его журнал в выгодное положение по сравнению с другими.

У Гердера я тоже побывал на прошлой неделе и потом отправился гулять с ним и с его женой. Он на-

говорил мне множество прекрасных и умных слов о «Карлосе»; «Карлос» произвел на него весьма сильное впечатление, но первые три акта кажутся ему лучше согласованными и разработанными, чем последние. Он хочет снова перечитать его и тогда скажет мне еще больше. Во время прогулки к нам присоединились еще и другие, так что я больше не мог говорить с ним с глазу на глаз. Сегодня здесь дает концерт человек, побывавший и в Дрездене, по имени Вальперти. Я пойду, так как там будет весь веймарский свет. Настроение у меня с некоторых пор весьма ровное, спокойное и умиротворенное. Не стану отрицать, что я всем очень доволен, но при этом считаю, что источник уныния и радости в нас самих. С тех пор как я пришел в известное согласие с самим собой, я нахожу больше радости и вовне. Будь здоров, мой милый. Напиши поскорее, но не так афористично, и не только исторически. Ты должен сказать мне несколько слов и о своей душевной жизни. Губера и наших милых женщин поцелуй от меня. Губеру напишу в следующий четверг. Прощай. Шарлотта, насколько мне известно, напишет вам сегодня сама.

III.

55. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 8 декабря 1787 г.

Мое упорное молчание, верно, показалось тебе весьма странным, тем более, что у меня недостало ни времени, ни деликатности предупредить тебя о нем. Между последним моим письмом и сегодняшним я не был в Веймаре. В то время как г-жа фон Кальб находилась в Кальбсрите, я получил столь настоятельные приглашения от моей сестры и от дамы, в имении которой я жил в свое время, посетить Мейнинген, что мне пришлось, наконец, поступиться моим положением соломенного вдовца в Веймаре. Ты поймешь, мой дорогой, так как несомненно мне в этом посочувствуешь, что человеку, не совсем еще окаменевшему, становится, наконец, невозможным все отклонять. Дама эта имеет

большие права на мою благодарность; более чем в двадцати письмах, непрерывно с тех пор как я нахожусь в Веймаре, она просит меня об этом посещении (в известном смысле оно было ей нужно, ибо ее дочь выходит замуж и там как раз находится жених, с которым мне предстояло познакомиться; имей в виду, что здесь я кое-что значу, и ко мне нередко обращаются в важных вопросах). Последний призыв я получил в хорошую минуту и — правда, против своего желания — из одного чувства долга решился на эту поездку. Через несколько часов я был уже в пути, так что у меня действительно не нашлось минуты поставить тебя обо всем в известность. Четыре дня я провел в дороге туда и обратно и двенадцать пробыл у них. Там меня возили из одного дворянского поместья в другое, так что я и подавно не имел ни времени, ни возможности отправить на почту письмо к тебе. Не считая уже того, что нет ничего труднее на свете, как во время путешествия, толкаясь среди чужих людей, сколько-нибудь сосредоточиться для письма. Надеюсь, что вы полностью оправдаете меня, ибо моя совесть и вправду меня не корит, а она мой строжайший судья.

Итак, я снова был в тех краях, где прожил затворником с 82-го по 83-й год. Тогда я еще не знал жизни; я, замирая, стоял у ее порога, и моя фантазия работала неудержимо. Теперь, через пять лет, я приехал не без некоторого опыта касательно людей, житейских обстоятельств и себя самого. Те чары словно ветром сдуло. Я ничего не чувствовал. Ни один из тех уголков, что некогда скрашивали мое одиночество, ничего не говорил моему сердцу. Все это утратило общий со мною язык.

По этому я понял, как сильно изменился сам. Да разве и могло быть иначе? Сколько новых чувств, судеб и ситуаций отделяют меня от той поры. Ваше появление, наша дружба, весь Мангейм с его радостями и страданиями, Шарлотта, Веймар — совсем новая эпоха для моего мышления.

Мне встретилось в тех краях несколько интересных семейств: например, в деревне Гохгейм проживает дворянская семья, в которой пять дочерей, всего их десять

человек; в ней как бы воскресают патриархальные и рыцарские времена. Никто там не носит ничего, что не было бы сделано дома. Башмаки, сукно, шелк, вся мебель, все житейски необходимое и едва ли не все предметы роскоши производятся и фабрикуются в поместье, многое руками женщин, как то делали библейские царевны и дамы рыцарских времен. Необыкновенная опрятность, порядок (не лишенные щегольства и красоты) радуют глаз; несколько барышень очень красивы, и все просто и естественны, как сама природа, среди которой они живут. Отец — честный brave юнкер, отличный охотник, радушный хозяин и заправский курильщик. В двух часах езды оттуда, в другой деревне — нечто совершенно противоположное. Здесь широко, по-княжески, живет камергер фон Штейн, которого вы видели в Дрездене, с супругой и девятью детьми. У него не дом — а дворец, не общество — а царедворцы, не обеды — а банкеты. Супруга — фальшивая интриганка, уродливая как смертный грех и вдобавок еще насквозь пропитанная французским хорошим тоном. Одна из барышень очень недурна, но черт дернул мамашу не отпустить ее с нами в путешествие. Г-н фон Штейн — импозантный мужчина, наделенный многими хорошими и блестящими качествами, весьма занимательный и достойный, притом в высшей степени *libertin*¹. Он приходится дядюшкой Шарлотте и очень высоко ее ценит.

В Мейнингене я свел знакомство с герцогом, но не мог его продолжить: этот человек — полное ничтожество. С Рейнгардом видался часто, он все тот же славный малый. Теперь все его мечты и помыслы устремлены к Италии. Он нарисовал меня, и довольно похоже. Мы здесь сошлись еще ближе, он мне очень по душе. С герцогом он живет как *bon ami*, без церемоний, да иначе это и нельзя было бы выдержать. Он сейчас пишет маслом большой ландшафт *et ego in Arcadia*². Мне он обещал подарить его в уменьшенном размере.

В Рудольштадте я тоже задержался на денек и по-

¹ Здесь: вольнодумец (*фр.*).

² И я жил в Аркадии (*лат.*).

знакомился с одной весьма почтенной семьей. Там живет некая г-жа фон Ленгефельд с одной замужней дочерью и другой, еще девицей. Оба эти создания (не будучи красивыми) очень привлекательны и чрезвычайно нравятся мне. Они удивили меня осведомленностью в новейшей литературе, тонкостью суждений, чувств и ума. Обе хорошо играют на клавесине, что доставило мне весьма приятный вечер. Окрестности Рудольштадта необычайно красивы. Я об этом никогда не слышал и был поражен. Едешь туда два с половиной часа по очень красивой местности, и вдруг твой взор приятно поражает большой белый дворец на горе.

Здесь, в Веймаре, я опять застал Шарлотту и ее мужа. Он все такой же, каким представился мне с первого взгляда; ведь говорил я с ним только однажды. Она здорова и очень оживлена (не знаю, позволит ли мне присутствие мужа остаться таким, как я есть). Я уже ощущаю в себе некоторую перемену. Что же будет дальше? Прилежнее всего я посещаю дом Виланда, думаю, так оно будет и впредь. Это место не давай читать нашим дамам.

Относительно Виландов ты, как я вижу, сделал слишком решительные выводы. Это была лишь мимолетная мысль, я тебе ее ни за что другое и не выдавал. Возможно, что мне суждена более интересная девушка, но боюсь, судьба сведет меня с ней лишь лет через 6—8. А после тридцати лет я уже не женюсь. Меня и сейчас к этому не тянет; говорил же я о женитьбе, соображаясь с необходимостью. Жена, если она поистине хорошее существо, не сделает меня счастливым, или же я никогда не знал себя. Но об этом мы еще много будем писать друг другу.

Твоя новость касательно Гете ни на чем не основана. Губеру скажи, что его «Тайный суд» я завтра или послезавтра передам Виланду. Отлучка да послужит мне извинением в том, что я не сделал этого раньше. Относительно этой пьесы я сам напишу ему в следующий почтовый день.

Твои упреки мне за мои письма не безосновательны, хоть я и не чувствую себя очень виноватым. Разве знал я себя здесь до конца? Разве я себя не утратил? Как

же мог я в письмах быть тем, чем не был в действительности!

Меня вынуждают прервать письмо. Продолжим этот разговор в следующий раз. Прощай. Всем сотни тысяч поклонов.

Вечно твой *Ш.*

56. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 19 декабря 1787 г.

Те редкие свободные минуты, когда я, согбенный под тяжестью фолиантов и пропыленных авторов, могу перевести дыхание, обычно принадлежат вам, мои дорогие, ибо даже здешние знакомства приобретают для меня ценность лишь при мысли о вас. Нигде на свете не понимают меня так, как у вас, нет людей, которые были бы мне ближе,— даже моя семья, и никакому року не разобщить меня с вами. Какую радость я испытываю, когда в часы досуга мысленно переносусь к вам и ясно представляю себе, что значим мы друг для друга. Жизнь моя течет теперь очень спокойно, но и очень деятельно. Я работаю напряженнее, чем когда-либо, и каждый мой день — это двенадцать трудовых часов, а иногда и больше. У меня меньше времени, нежели добрых друзей, и такое соотношение исполнено неизъяснимой прелести. Под вечер, часов в шесть, я частенько начинаю помышлять об отдыхе и обретаю его либо у Шарлотты, либо у Виланда, а не то среди знакомых второго ранга, в клубе, в театре. С Шарлоттой я вижу теперь всего три, самое большее четыре раза в неделю; иначе, выходя только по вечерам, мне пришлось бы забросить всех остальных людей. К тому же Кальбы едва ли не через день при дворе или еще где-нибудь. Я слышал, что она написала тебе.

Губера жду с нетерпением. Его рукопись я все же помещу в «Талии» и надеюсь, что он мне позволит то тут, то там скромным штрихом несколько разрядить чашу.

Моя «Нидерландская революция» может стать хорошей книгой и, надо думать, произведет впечатление. В январском «Меркурии» появится кое-что из нее, что поможет вам составить себе о ней представление. Все здесь поздравляют меня с тем, что я углубился в исто-

рию, и сам я такой дурак, что считаю это разумным. Так или иначе, но уверяю тебя, что я за работой испытываю величайшее наслаждение и что сама мысль о чем-то *солидном* (то есть таком, что и заурядный ум считает солидным) очень меня при этом поддерживает; ведь до сих пор надо мной всегда тяготело проклятие, которым мнение света заклеямило своеволие духа — поэзию.

Твое суждение о моем земляке меня порадовало, при этой okazji ты высказывал много верных и остроумных мыслей. Я хочу показать Виланду кое-какие твои письма. Гердера я всех дольше не видел, но он добряк и не поставит мне это в вину. Сегодня я зван к Боде, может быть услышу что-нибудь, что будет тебе интересно.

Раз уже ты мне намедни писал про оперу «Медею», то я сознаюсь, что мне пришлось пообещать Виланду еще обработать и «Оберона». Я действительно считаю его превосходным музыкальным сюжетом. Сюда должен вот-вот возвратиться из путешествия некий музыкант Кранц, на которого возлагают большие надежды. Ему я, верно, и отдам «Оберона». Из «Нины» слышал здесь удивительно красивую арию: «*Mon bien-aimé ne revient pas*»¹. Если у тебя ее нет, я пришлю. Относительно статей обо мне в «*Journal de Paris*» и т. д. я тебе, кажется, уже писал. Шубарт положил на музыку мою «Радость»; если тебе хочется ее иметь, я отдам ее переписать. Я вообще собираюсь в ближайшее время прислать тебе несколько веймарских достопримечательностей.

Из Виландова «Лукиана» я прочитал уже много и могу тебе поручиться, что эта книга оправдывает самые смелые ожидания. Никогда не думал, что в «Лукиане» заключена столь великолепная правда. Невозможно найти более прекрасного и меткого изображения нынешнего Парижа и наших больших городов, чем, сам того не ведая, сделал Виланд. *C'est tout comme chez nous*². И все это трактуется с сократовской простотой и язвительнейшим остроумием. Эта книга дает возмож-

¹ Мой любимый не возвращается (*фр.*).

² Всё как у нас (*фр.*).

ность превосходно изучить Грецию и Рим. Здесь поговаривают, что герцогиня-мать отправится летом в Италию. Бедный Веймар! Когда вернется Гете — еще неизвестно, но многие уже говорят, как о чем-то решенном, что он навсегда оставит государственные дела. Покуда он там занимается живописью, разные Фойгты и Шмидты работают на него, как подъяремный скот. За ничегонеделанье он получает в Италии содержание в тысячу восемьсот талеров, а они за половину этих денег несут двойное бремя.

От герцога, с тех пор как он в Голландии, еще никто, не исключая и герцогинь, не получил ни единой строчки. Никто не знает, где он находится. Ежели он вам повстречается, занесите его в список «найденных вещей». Я теперь *glebae adstrictus*¹, и всякая мысль, выходящая за городские стены, для меня под запретом. О твоей поездке в Берлин мы еще побеседуем. Ты хотел знать, что говорят о г-же Брюле? Не очень много лестного. Все ее принимают за чудачку из круга фон Реке. Виланд мало интересуется ею. Впрочем, никто не сомневается в ее уме. Это неверно, что Гердерша исполнена дворянской спеси, она ведь из бюргерской семьи. Правда лишь то, что она, общаясь почти исключительно со знатью, оскорбляет этим бюргеров. Но у нас так мало хороших бюргерских семей, что это служит ей оправданием.

Будь здоров и сердечно кланяйся всем. Вскоре опять напишу тебе.

Твой III.

57. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 18 января 1788 г.

Ответить тебе на твое письмо я не могу, так как получил его только что, а мое через полчаса должно быть отослано, но я все-таки пишу тебе о моих первых впечатлениях после его прочтения.

Доля истины, может быть, и есть в твоем упреке, что я стал прозаичнее, хотя, пожалуй, и не в том смысле, как тебе кажется. Я, может быть, прошлый раз слишком запутанно изложил свои идеи, сделав это с

¹ Здесь: крепостной (лат.).

чрезмерной обстоятельностью; вот они в более кратком и, может быть, более вразумительном виде.

Во-первых. Я должен *жить* писательством, а это значит — заботиться о том, что *доходно*.

Во-вторых. Поэтические работы возможны для меня только при *настроении*: если я их форсирую, они мне не удаются. То и другое тебе известно. Но *настроение* не идет в ногу с *временем*, а мои потребности идут. Значит, чтобы действовать уверенно, я не могу делать свое *настроение* *вершителем* моих потребностей.

В-третьих. Ты не сочтешь за гордое смирение, если я тебе скажу, что могу *исчерпаться*. Знаний у меня немного. Если я что-нибудь собой представляю, то лишь благодаря почти сверхъестественному напряжению моих сил. С каждым днем мне работать труднее, так как я чересчур много пишу. То, что я отдаю, не стоит ни в какой пропорции с тем, что я получаю. На таком пути мне грозит опасность исписаться.

В-четвертых. Мне не хватает *времени* должным образом сочетать ученье с писанием. Стало быть, нужно, чтобы и *ученье*, как ученье, было для меня рентабельно!

В-пятых. Бывают *работы*, в которых приобретаемые знания выполняют одну половину дела, а *мышление* — вторую. Для драмы мне не нужно книг, но требуется напряжение всей моей души и все мое время. Для исторической работы половину необходимого дают мне книги. Время, затрачиваемое мною на то и другое, приблизительно равно. Но к концу исторической книги я расширил свои идеи, воспринял новые; к концу создания драмы я скорее растерял их.

В-шестых. При незаурядном уме каждый предмет занятий может стать великим. Если я такой ум, я вложу величие в свою историческую специальность.

В-седьмых. Поскольку люди высшей инстанцией делают *полезное*, я выбираю предмет, который и люди считают полезным. Моим силам это безразлично или должно быть безразличным, — значит, решает выгода.

В-восьмых. Правильно или нет, но разве я не должен подумать о том, чем я буду *жить*, когда моя поэтическая весна отцветет? Не находишь ли ты, что будет лучше, если я заранее стану готовить себе прибе-

жище на более поздние годы? А как я могу достигнуть этого, если не таким путем? И разве история не самое плодотворное и благодарное для *меня*?

В-девярых. Насчет второго раздела моего *предыдущего письма и твоего ответа* о женитьбе я могу сказать только одно, но весьма важное: важное для тебя, так как ты меня любишь. Я в моем нынешнем положении несчастлив: уже много лет я не испытывал полного счастья — и не столько потому, что мне не доставало для этого возможностей, как потому, что я скорее лакомился радостями, чем наслаждался ими; у меня не было той внутренней ровной и мягкой восприимчивости, которую дают только покой семейной жизни, упражнение чувства во многих и непрерывных, хотя бы малых и слабых дружеских переживаниях. Впрочем, я, право, не могу описать тебе и тени того, что я чувствую. Я не такой странный, как ты по этим высказываниям, может быть, заключаешь. Легче всего ты мог бы уяснить себе это, исходя из общечеловеческих чувств. Здесь я внешне почти что счастлив. Я любим многими людьми, они относятся ко мне с большим участием. У меня здесь тихое, приятное существование. Но тем яснее я вижу, что источник моей неудовлетворенности лежит в том существе, которое я вечно ношу в самом себе.

Adieu! Посмотрю, не успею ли я еще отправить это письмо. Вскоре напишу еще. Тысячу поклонов Губеру и женщинам. Не давай им полностью читать эти мои письма. Напиши мне скорее снова.

Твой III.

58 ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 12 февраля 1788 г.

Только что, дорогой мой, я отложил книгу, доставившую мне необычайное удовольствие: «Жизнь Дидро», написанную его дочерью, и притом еще в рукописи. Гердер добыл ее через принца Августа Готского, и я не знаю, какая из работ Дидро, как бы они ни были превосходны, могла бы дать мне такое прекрасное представление о сущности этого человека. Какая жажда деятельности была в нем! Пламя, никогда не

угасавшее! И насколько больше он был занят другими людьми, чем самим собой! Это был добрейшей души человек. Каждая черта этой картины выявляет именно *этот* дух и не подошла бы ни к какому другому. Все носит печать высшего совершенства, на которое не способно и наибольшее напряжение душевных сил других, заурядных обитателей земли. Собственно, лишь немногое сохранила о нем эта биография, но это немногое для меня — великое сокровище правды и простого величия, и мне оно дороже того, что мы знаем о Руссо. Дидро приходилось часто и подолгу бороться с нуждой: многие из его писаний обязаны своим возникновением безденежью, еще большее число — его сердечным делам с некоей мадам де Русье, которая обложила его основательной контрибуцией. Мадам понадобились в страстную пятницу пятьдесят луи. Он написал «*Pensées philosophiques*» и принес ей на пасху пятьдесят луи. То же самое было с пятью или шестью другими произведениями. Авдокатские речи, миссионерские проповеди, *addresses au Roi*¹, посвящения, оповещения, просительные письма и объявления о новых помадах потоком лились с его пера. А вот черточка, характерная для философского склада его мышления. Молодой человек приносит ему для прочтения рукопись сатиры. Сатира направлена против самого Дидро. Тот вызывает автора и спрашивает его, как ему взбрело в голову отнимать у него время на чтение какой-то сатиры. Молодой человек ответил, что ему нужны деньги, и он надеялся, что Дидро купит у него рукопись, чтобы воспрепятствовать ее напечатанию. Дидро заметил, что если все дело в этом, то он советует ему нечто гораздо более выгодное. Пусть он пойдет к брату герцога Орлеанского и посвятит книгу ему: тот — враг Дидро и оплатит сатиру на вес золота. Молодой человек не имел доступа к принцу. Дидро усадил его и продиктовал ему *Épître dédicatoire à son Altesse*². С этим прощелыга отправился к принцу и выудил у него двадцать пять луидоров.

¹ Обращения к королю (фр.).

² Посвящение его светлости (фр.).

В другой раз с ним познакомился молодой человек, показавшийся ему умным и сердечным. Он сильно нуждался, и когда Дидро заставил его рассказать о своих семейных обстоятельствах, то узнал, что у него есть брат, который мог бы его поддержать, но с этим братом о нем лучше и не говорить, так как молодой человек однажды помешал его счастью. Дидро пошел к брату замолвить слово за молодого Ривьера, но узнал там о таком множестве его позорных поступков и неслыханных низостей, что был потрясен. Кончив свой рассказ, брат спросил Дидро, будет ли тот все же заступаться за такого злодея. Дидро успел овладеть собой и ответил, что все это он уже знал и даже еще больше, чем тот ему рассказал. «Еще больше?» — спросил брат. «Да,— сказал Дидро,— я, например, знаю, что он подстерегал вас с кинжалом в руке, чтобы коварно вас прикончить, но вы обошли это в своем рассказе». «Потому что это неправда», — отозвался брат. «А допустим, что это было бы так? — возразил Дидро.— Даже и это едва ли оправдало бы вас в том, что вы покидаете брата в беде!» — Тот был так поражен и восхищен, что назначил негодяю пенсию. У этой истории есть еще продолжение, но она слишком длинна для моего письма. Я очень хотел бы иметь возможность предоставить эту рукопись тебе.

Уход твоего президента с поста будет, кажется, полезен тебе, и я этого очень желаю. Шарлотта описывает мне нового сановника как изрядного ханжу. Повидимому, он изменился или же на время уступил обстоятельствам. Однако если от этого вот нового председателя тебе и не будет другой пользы, все же он даст тебе на известный период материал, который может пригодиться тебе в твоей скучноватой профессии.

Мне здесь, в общем, очень хорошо. Долго двигаться, как машина солидного предприятия, я не могу, это я уже вижу. Но перерывы не длительны, и я каждый раз снова нахожу нить. Собственно говоря, друг мой, я с каждым днем убеждаюсь, что для того дела, которым я теперь занимаюсь, я более или менее гожусь. Может быть, есть и лучшие дела, но назови-ка мне их! История под моим пером то тут, то там становится не тем,

чем она была. В конце концов ты и сам это увидишь, когда прочитаешь мою книгу. В январском номере «Меркурия» напечатано начало моего введения к «Восстанию»; однако дать тебе представление о моем призвании историка оно отнюдь не может; подожди же, пока я смогу послать тебе отпечатанной хоть первую книгу. И тогда, мой милый, доставь себе удовольствие и прочти ту же самую историю в любой другой книге, где она изложена! Правда, дело не очень-то у меня спорится; но беда здесь *больше* в том, что я в истории новичок, а это уладится, когда мы с нею лучше познакомимся. Как далеко заведет меня *этот* род умственной деятельности, сказать трудно; если моя страсть будет возрастать в *той* же пропорции, как до сих пор, то под конец я, вероятно, окажусь ближе к публицисту, чем к поэту, по крайней мере — ближе к Монтескье, чем к Софоклу. И при всем том я на каждом шагу благодарю небо за каждую поэтическую строчку, которую мне удалось написать!

Все остальное здесь чудесно. Отношения с Виландом у меня прежние: часто я сам дивлюсь, что между нами не вышло никаких ссор. Недавно я совсем вывел его из себя: я был, как это со мной случается, настроен *противоречить*, и когда зашел разговор о французском вкусе, я объявил ему, что берусь любую *отдельную* сцену любого французского трагика сделать *правдивее* и, стало быть, лучше. Тебе, конечно, более или менее ясно, что я имел в виду, но его это задело за живое. В качестве возражения он привел мне моего «Карлоса», где у меня как раз те недостатки, которые я порицаю у французов. Я сказал ему, что в тридцати листах «Карлоса» несомненно можно отыскать семь, где налицо *чистая* человеческая природа (и разве я не прав?); пусть он попробует проделать то же самое с какой-нибудь французской пьесой! Пусть он заставит маркиза Позу высказаться в *одной* сцене перед таким персонажем, как король Филипп, не следуя *моему* пути, или пусть он предложит кому-нибудь написать во французском вкусе занимающую двадцать шесть страниц сцену между Карлосом и Эболи и посмотрит, кто ее сможет вынести!

Он ничего не мог мне ответить, и, я думаю, не ответил бы и никто другой.

Жены у меня еще нет; но моли бога, чтобы я в самом деле не женился как попало. Adieu, мои милые! Сегодня я жду писем от вас. Когда же придет Губер? Тысяча приветов всем вам от

вашего Ш.

59. ЛОТТЕ ФОН ЛЕНГЕФЕЛЬД

[Веймар, конец февраля или начало марта 1788 г.]

Право же, дорогая фрейлейн, очень жестоко вы отнеслись к театру, выставляя его как раз в таком свете, в каком он имеет особенно плачевный вид, а именно как альтернативу с *вами!* Меня огорчает, что он не лучше или что нет какой-либо другой радости, которая позволила бы мне показать вам, как охотно я отказался бы от нее ради еще большего удовольствия вас видеть. Правда, тут вы могли бы мне напомнить, как давно вы уже здесь и как редко я пользовался вашим обществом; однако, поверьте мне сейчас, это последнее так мало опровергает первое, что я, по совести спрашивая себя об этом, вынужден одно объяснять другим. Пусть мое будущее пребывание в Рудольштадте (которому я радуюсь, как редко радовался чему-нибудь другому) вознаградит меня за упущенное, если только упущение *этого* рода можно наверстать. И тогда, дорогая фрейлейн, я надеюсь убедить вас, что немногочисленность моих посещений отнюдь не следует приписывать *неспособности* осознать *ценность* вашего общества. Я чувствую, что моя записка будет вам не совсем понятна. Но это имеет и свою хорошую сторону. Это заставит вас перечитать ее, и тогда тем менее ускользнет от вас то, в чем я особенно хотел бы вас убедить: мое почтительнейшее уважение к вам.

Только что промчавшиеся сани привлекли меня к окну; смотрю — это едете вы! Я видел вас, и это уже кое-что на сегодня! Но так как вы теперь едва ли будете одна, я не стану отсылать вам эту записку до завтрашнего утра.

Шиллер.

Веймар, 5 апреля 1788 г.

Вы уедете, моя милая фрейлейн, и я чувствую, что вы увезете с собой лучшую часть моих теперешних радостей. О том, что вы не могли остаться, я знаю; я повторяю это так часто, что ваш отъезд уже не должен был бы поражать меня, но ничто не помогает. Как ни мало было тех мгновений вашего пребывания, которые принадлежали или могли принадлежать мне, само ваше присутствие здесь уже было для меня удовольствием, а возможность каждый день вас видеть — подарком. Ваш отъезд лишает меня всего этого. Но и вы уезжаете с неохотой, и я готов этому радоваться. Не думаете же вы серьезно, что я не терплю слова «дружба». После того что я иной раз говорил вам о злоупотреблении этим словом, быть может, самонадеянно претендовать мне на нее с вашей стороны, но само слово меня не смущает. Дайте только маленькому семени взойти, и мы посмотрим, какой из него вырастет цветок. Здесь мое общение с вами делала особенно ценным для меня ваша доброта; я сам хорошо сознаю, каким принужденным и изломанным я иногда был. Я не очень-то изменился, а все же теперь я чуть-чуть лучше, чем мог показаться вам за короткий срок нашего знакомства, и при той обстановке, которая нас окружала. Более яркое солнце, я надеюсь, поможет мне стать лучше, а желание быть чем-то для вас сыграет при этом очень большую роль. Когда-нибудь я буду читать и в вашей душе и заранее радуюсь, милая фрейлейн, тем прекрасным открытиям, которые я сделаю. Может быть, я найду, что мы кое в чем сходимся, и это будет для меня безгранично ценным открытием.

Итак, вы хотите, чтобы я о вас думал; так было бы даже в том случае, если б вы мне это запретили. Моя фантазия будет так же неутомима, воспроизводя передо мной ваш образ, как если бы за те восемь лет, что она предана музам, она упражнялась на одном этом образе. Каждый погожий день я буду мысленно видеть вас гуляющей под открытым небом, а в каждый пасмурный — я увижу вас воображением в вашей комнате, и, может

быть, тогда и вы подумаете обо мне! Но для того чтобы мне быть уверенным в этом, вы должны, милая фрейлейн, позволить мне иной раз сказать вам, когда именно я о вас думаю. Не обоюдная переписка, боже упаси! Это звучит так похоже на обязанность; я даже от ответа вас освобождаю, если вам покажется, что за вами долг передо мной. Но как-нибудь вы все же должны известить меня, могу ли я надеяться найти квартиру. Да, сегодня я мог повидать вас у Шардтов, если бы мой добрый ангел напомнил мне об этом. Но я, право, чувствовал себя недостаточно хорошо для того, чтобы идти в совсем незнакомое общество. Я больше не хочу видеть вас до вашего отъезда: расставания, хотя бы и на короткое время, для меня всегда так печальны. Может быть, я еще увижу вас, когда вы будете проезжать мимо; впрочем, я думаю, что вы теперь всегда будете окружены людьми и заняты.

Госпожа фон Кальб будет огорчена, не застав вас здесь, тем более, когда услышит, что это было так возможно.

Итак, желаю вам всего лучшего, моя милая фрейлейн; вспоминайте иногда, что здесь есть человек, причисляющий к прекраснейшим случайностям своей жизни знакомство с вами. Еще раз всего наилучшего!

Посылаю вам еще три тома «Джонса»; остальные, в переводе Боде, еще не вышли. Но если вы захотите, я пошлю их вам в Рудольштадт в другом переводе. Прошу вас передать мой привет вашим родным, и постарайтесь, чтобы они мне были хоть немного рады. Adieu! Всего вам хорошего!

Шиллер.

61. ЛОТТЕ ФОН ЛЕНГЕФЕЛЬД

Веймар, 11 апреля 1788 г.

Вы, наверно, уже снова обжились в Рудольштадте, моя дорогая фрейлейн, а так как погода стоит прекрасная, то вы радуетесь своему сельскому уединению. Удовольствия от общения с людьми, какие можно найти в Веймаре и тому подобных местах, очень часто

бплачиваются скукой и принужденностью, неизбежным злом жалких «ассамблей». По счастью, вы теперь избавлены от последних. Но я боюсь, что ваш семейный круг заставит вас позабыть все то, чему в Веймаре вы, может быть, придавали какую-нибудь цену. Как я завидую вашей семье и всему, что имеет счастье вас окружать! Но и вам я завидую в том, что у вас такая семья. Одного дня мне было достаточно, чтобы убедиться, что я нахожусь среди благороднейших людей. Почему нельзя удержать таких счастливых мгновений? Лучше никогда не встречаться, или — уже больше не разлучаться.

С тех пор как вы покинули Веймар, воспоминание о вас стало моим лучшим обществом. Одиночество доставляет мне теперь блаженство, так как соединяет меня с вами и позволяет мне без помех предаваться мыслям о минувших радостях и надеждам на еще предстоящие. Какие прекрасные мечты я лелею на это лето, которые вы поможете мне осуществить! Но только захотите ли вы? Меня часто тревожит, моя дорогая фрейлейн, мысль о том, что причина моего нынешнего высшего блаженства могла для вас быть лишь преходящим развлечением. И все-таки мне так важно знать, не раскаиваетесь ли вы в том, чему вы сами виной, и не хотите ли вы лучше взять назад то, чем вы в короткое время стали для меня, и приятно ли оно вам или безразлично. Если бы я мог надеяться, что в счастье вашей жизни какая-то малая доля могла бы быть отнесена на мой счет, как охотно я отказался бы от некоторых видов на будущее ради удовольствия быть ближе к вам! Как мало стоило бы мне окрúгу, где вы живете, признать своим миром!

Вы сами однажды сказали мне, что сельское уединение при наслаждении дружбой и прекрасной природой способно исчерпать все ваши желания. В этом как будто уже весьма важное совпадение между нами. Я не знаю высшего счастья. Мой идеал наслаждения жизнью не допускает ничего иного. Но то, что во мне — неизгладимая черта характера, у вас могло быть лишь юной фантазией, преходящим периодом. Может быть, вы мыслите иначе, а если даже этого нет,

может быть, вам просто *нельзя* больше так мыслить. Того и другого я боюсь, и я вижу, как много у меня причин, пока не поздно, отучить себя от удовольствия, с которым, может быть, мне еще надо будет расстаться. Я не хочу давать волю этой печальной мысли.

Как вам теперь живется в Р.? Как вы нашли там все после короткого отсутствия? Я легко могу себе представить, с каким нетерпением вас ожидали. В таком тесном кругу подобный пробел весьма ощутим, и поистине велика была жертва, принесенная вам семьей, так долго остававшейся без вас. Преимущество было на вашей стороне: *развлечения, новизна, множество* людей; у ваших близких ничего этого не было. Каждая из вас, вероятно, оказывает другой особое доверие в чем-либо одном, но не во всем. Некоторые переживания, о которых вы сообщаете сестре, вы скрываете перед матерью, и наоборот. Все это на время вашего отсутствия, конечно, должно было оставаться под замком. Разве я не прав? И чем меньше людей, с которыми мы живем, тем больше мы нуждаемся в этих немногих.

С тех пор как вас нет, я не видел никого из ваших здешних знакомых и поэтому ничего не могу сообщить вам о них. Один из моих близких друзей, на днях посетивший меня, предложил мне сопровождать его в *Готу*. Когда я прибыл туда, там как раз находилась госпожа фон Кальб, но я ее не видел. Она не располагала временем; мне пришлось бы ждать до следующего дня, а этого я не мог. Завтра, я слышал, она возвращается.

Жаль, что вас уже нет здесь. Вы часто ходили бы гулять, и я мог бы чаще хотя бы *видеть* вас. Очень приятно и красиво теперь в «Звезде» и в саду; заливаются соловьи. Вашей любимой *«улиткой»* сегодня при мне восхищались; сам герцог взял ее под свою защиту и оказал ей *милость*. Успели ли вы подумать о квартире для меня? Я не посмел бы затруднять вас таким поручением; но вы были так любезны, и неужели вы не извините меня, если я так поспешно ухватился за этот повод напомнить вам о себе? Квартира должна

быть с самой необходимой мебелью, если только это можно устроить. А затем желательно и питание. Но последнее, в случае затруднительности, не меняет того, что решено, так как пищу можно будет получать из города. Еще раз, дорогая фрейлейн, простите мне, что я так злоупотребляю вашей добротой. Наверное, это будет последнее поручение подобного рода. Вашим пожелайте от меня много хорошего. Будьте здоровы и вспоминайте иногда обо мне!

Шиллер.

62. ЛОТТЕ ФОН ЛЕНГЕФЕЛЬД

Веймар, 2 мая 1788 г.

То дело, заботу о котором вы так любезно взяли на себя, моя дорогая фрейлейн, вы уладили точь-в-точь, как я того желал, и даже настолько превзошли все мои ожидания, что я вам за все это бесконечно обязан. Окружающая местность, а также расположение и внутреннее устройство дома — все превосходно. Вы выбрали все мне по душе. Княжеское соседство испортило бы мне все мое существование. Я причинил вам много хлопот; но я знаю, что удовольствие, которое вы мне этим доставили, заменяет вам всякую благодарность.

Итак, моему заветному желанию ничто больше не стоит поперек дороги, кроме временной ненадежности погоды, — через несколько дней это отпадет, — и необходимости привести в порядок некоторые мелочи, что также едва ли задержит меня здесь более недели или десяти дней. Десять дней, стало быть, мой крайний срок. И тогда — прощай, Веймар! В вашем прекрасном краю, среди сельской тишины я вновь обрету мои душевные силы, а ваше общество и общество ваших близких щедро вознаградят меня за все, что я здесь покидаю.

Господин фон Кальб в среду уезжает с женой в Кальбсрит провести с отцом оставшиеся ему от его полугодового отпуска недели. После этого его жена еще несколько месяцев потерпит там, а затем возвратится в

Веймар. Между прочим, Фриц подвергся прививке оспы и с полнейшим успехом; но госпожа фон Кальб несколько дней чувствовала себя скверно. Теперь она уже вполне оправилась. О том, что госпожа фон Имгоф дала привить оспу всем своим детям, вы, вероятно, уже знаете от нее самой. Бедняге Эрнсту пришлось очень плохо, зато у вашей Кетхен все обошлось легко. Эрнст теперь вне опасности, но не пострадала ли немного его красота, сказать еще нельзя.

Теперь любезная *природа* — единственное, что нас может радовать; театр, ее жалкий зимний заместитель, покинул нас. Но уже пришла весна со всем тем хорошим, что она несет с собой. Меня изрядно злит, что эти прелестные дни я вынужден так бессмысленно терять здесь в городе и на унылых прогулках в его окрестностях. Насколько приятнее для меня они протекали бы в вашем соседстве!

Вы предостерегаете меня, дорогая фрейлейн, что от моего пребывания у вас (или, может быть, вы хотите сказать — под сенью вашей дружбы!) я не должен ожидать слишком многого. Действительно, я ничего так не боюсь, как того, что при всем стремлении и желании я не буду располагать ничем, решительно ничем, что могло бы стать наряду с тем удовольствием, которое мне дарит ваше общество, даже помимо вашей воли. Однако ваше предостережение, дорогая фрейлейн, напоминает мне о том, что я, быть может, предполагаю у вас самой слишком хорошее мнение обо мне, лучшее, чем я до сих пор имел случай заслужить. Я в самом деле нахожу, что до сих пор больше, чем следовало, думал при этом о себе самом и что столь приятные мысли о вашей дружбе могли привести меня к неверному представлению о ней как о чем-то завоеванном и решенном. Этого, дорогая фрейлейн, а не моей фантазии я должен бояться, ибо моя фантазия, поверьте мне, не играет никакой роли в моем представлении о вас. Таким образом, я прошу для себя самого той снисходительности, которой вы из скромности потребовали у меня; и я прошу об этом серьезно. Будьте также моей заступницей перед вашими близкими; лучше наговорите им обо мне по-

больше худого, для того чтобы то небольшое хорошее, что мне присуще, поразило их и было оценено выше. Но прежде всего скажите им, как горячо я стремлюсь поближе познакомиться со всей вашей семьей.

Вольцоген еще не ответил мне. Его мать (как вы о том, может быть, уже слышали) весьма стойко и счастливо перенесла болезненную операцию.

Желаю вам всего доброго. Adieu!

Шиллер.

63. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Фолькштедт, близ Рудольштадта, 26 мая 1788 г.

Вот уже неделя, как я здесь, в очень приятной местности, менее чем в получасе ходьбы от города и в весьма удобной, веселой и опрятной квартире. Счастье определило мне найти новый дом, построенный лучше, чем это обычно делается в деревне. Он принадлежит зажиточному человеку, местному учителю пения. Деревня лежит в узкой, но прелестной долине, по которой между полого спускающимися горами протекает Заале. С этих высот восхитительный вид на город, обвивающий подножье одной из гор и очень эффектно уже издали возвещаемый княжеским замком, вросшим в верхушку скалы. В город меня приводит очень приятная тропинка вдоль реки, мимо садов и нив. В самой деревне находится фарфоровый завод, о котором ты, может быть, знаешь. От меня меньше двух часов до Заальфельда, столько же до замка Шварцбург и разных разрушенных замков, которые я мало-помалу хочу посетить все подряд. В самом городе семья Ленгефельдов-Бейльвицов — весьма приятное для меня знакомство, пока единственное, каким оно, может быть, и останется. Однако *очень тесной* душевной связи с этим домом или *исключительной* с каким-либо отдельным лицом я всячески постараюсь избежать. Нечто в *этом* роде могло бы со мной случиться, если бы я хотел дать себе полную волю. Но теперь самый неподходящий момент для того, чтобы мне отвлекаться таким образом и нарушать тот скромный поря-

док, который мне с таким трудом удалось навести в моих мыслях, в моем сердце и в моих делах.

Я взял с собой сюда много всякого материала для чтения. Все дело в том, что из этого получится к концу моего пребывания здесь. Я все еще ежедневно страдаю от своей недостаточной начитанности и уже боюсь, что мне никогда не удастся возместить упущенное за последние десять лет. Этому, как всегда, мешает печальная необходимость писать *много* и еще то несчастное обстоятельство, что я работаю *медленно*. По самому добросовестному расчету, насколько он вообще возможен в таких произвольных случаях, мне остается на чтение не больше трех часов в день, а как это мало при том числе необходимейших работ, которые я должен прочитать, наверстывая упущенное!

Работы, с которыми я хотел бы справиться за лето, это «*Духовидец*»,— он легко может разрастись до двадцати пяти или тридцати листов,— затем *вторая часть моего «Нидерландского восстания»* и остаток первой, одна пьеса (пока еще неизвестно, будет ли это «Человеконенавистник» или другая, которая, как говорят швабы, «у меня на мази») и от времени до времени статья в «*Меркурий*». Судя по тому, как я писал до сих пор, такая программа, пожалуй, чрезмерна. Впрочем, посмотрим! Если я выполню ее и не целиком, все же выиграшем будет то, что действительно будет исполнено. Я здесь еще не совсем дома; да и работы мои еще не очень спорятся. Но если уж я войду в колею, то по опыту знаю, что дело пойдет быстро. А раз упадут перебои в работе и отвлечения, тормозившие мое прилежание в городе, то мне, быть может, удастся поработать здесь и упорнее и основательнее, чем там.

Меня радует, что ты снова здоров. Твое самочувствие, кажется, связано с желчью? Неужели тебя что-нибудь сильно огорчило? Твое последнее письмо, в котором ты мне об этом пишешь, я получил очень поздно, так как оно уже не застало меня в Веймаре. В будущем направляй свои письма по обыкновенному адресу, прямо в Рудольштадт. Сердечно поклонись от меня обоим женщинам. Будь здоров!

Шиллер.

Фолькштедт, 27 июля 1788 г.

Карлсбад скоро проявит на тебе свои чудодейственные силы, если — не воды, то всего нового и приятного, что обильно прольется на тебя. Но мне думается, что вы все не можете очень долго выносить пребывание вдали от дома, мучительно не стремясь обратно в свою лилово-голубую комнату. Особенно любопытно мне, как скажется курорт на женщинах, ибо твоя натура не так своенравна и взбалмошна, как несуразное «устройство» женщины, и поэтому на тебя курорт подействует лишь поверхностно, и твоя природа в конце концов лучше всего поможет себе сама. Меня интересует, каких людей ты там найдешь. Ты не писал мне, поехала ли с вами в Карлсбад и Софи и как долго, вообще, она думает оставаться у вас. Ты возбудил во мне нетерпение лично узнать ее, и я хотел бы, чтобы ты больше написал мне специально о ней. Сделай же это в ближайшем письме и скажи, думаешь ли ты, что она из тех созданий, какие мне нравятся.

Мне здесь попрежнему замечательно хорошо. Но только в здешнем притягательном обществе у меня пропадает немало времени, которое мне, откровенно говоря, следовало бы проводить за письменным столом. Мы здесь стали необходимы друг другу, и ни одна радость не вкушается больше порознь. Разлука с этим домом будет мне очень тяжела и, пожалуй, тем тяжелее, что меня удерживает близ него не какой-либо страстный порыв, а спокойная привязанность, сложившаяся мало-помалу. Мать и дочери стали мне равно милы и дороги, как и я им. Очень хорошо, что я сразу же поставил себя в разумные рамки и счастливо избежал каких-либо исключительных отношений. Ведь это лишило бы меня наибольшей прелести этого общения. Я был бы удивлен, если бы эти люди мало заинтересовали вас. Обеим сестрам свойственна некоторая мечтательность, чего нет у твоих женщин, но она подчинена у них разуму и умеряется духовной культурой. Младшая не вполне свободная от известной

coquetterie d'esprit¹, которое, однако, благодаря её скромности и постоянной живости скорее доставляет удовольствие, нежели угнетает. Я охотно беседую о значительных предметах, о серьезных произведениях, о чувствах, — здесь я могу предаваться этому вволю и так же легко перескакивать снова на шутки.

Я не мог избежать здесь знакомства и с другими людьми, но пока это еще терпимо. Среди них — оригинал, которого, впрочем, нелегко описать: некий господин фон Кеттельгодт, министр и, собственно, правитель страны. Представитель гротескной породы, чудовищная комбинация чиновника, ученого, юнкера-землевладельца, светского человека и «обломка прошлого». Чиновник он, говорят, превосходный и тащит груз, как осел; но главное, на что он претендует, это научный вес. Он собрал библиотеку, которая для частного лица удивительно обширна, но не пригодна ни для какой цели. Она содержит прекрасные и даже редкие произведения по всем отраслям, но почти все случайного подбора. Поскольку он больше заботился о количестве, которое бросалось бы в глаза, чем о разумном употреблении, он покупал что попало. По истории я нашел там превосходные сочинения, а что касается старинного средневекового романа, то там, вероятно, можно найти все главнейшее.

Наружный вид этого учреждения приятен для глаза, зал и вестибюль княжеские. Библиотеку я, конечно, прилежно посещал бы, хотя бы ради того, чтобы в старом мусоре романов и мемуаров, отыскивать золотое зернышко, — если бы только можно было избежать встреч с хозяином. К несчастью, он крайне тщеславен в отношении знакомств с учеными, особенно со знаменитостями, и от него никак не отвязаться. После того как до его сведения дошло, что я похвалил его библиотеку, мне пришлось провести у него за ужином весь вечер, и он велел поймать на улице моего слугу, чтобы обеспечить меня в Фолькштедте вином.

Гердер теперь скоро покинет Веймар; на днях он

¹ Кокетничанье умом (фр.).

прощался с кафедры. Не знаю, писал ли я тебе уже о том, что несколько времени назад *неизвестная* рука поднесла ему в подарок две тысячи крон,— при его сильно распатанных материальных средствах это было ему чрезвычайно полезно. Не правда ли, какой замечательный поступок? Я восхищаюсь неизвестным добрым человеком, избравшим для *прекрасного* поступка такой удачный объект. В своей прощальной речи с кафедры Гердер поблагодарил незнакомца, и я нахожу, что это было хорошо. Это возвышенная благодарность, способная доставить удовлетворение дарителю, и она к лицу Гердеру, воспользовавшемуся кафедрой для такой цели. Он обращается к *источнику* добра, раз ему не дано знать *орудие*.

Из Веймара у меня уже несколько недель нет известий, однако на днях сюда приедет госпожа фон Штейн, которая расскажет мне про Гете. Госпожа фон Кальб в Мейнингене. Губер тоже писал мне. Меня сердит, что я так обижался на его молчание. Как несправедливы мы можем быть к другим, когда нам столько приходится прощать самим себе. Adieu! Напиши мне поскорей! Сегодня я жду письма. Пусть бы небо внушило его тебе! Привет остальным.

III.

Еще раз вскрываю свое письмо; твое из Карлсбада я получил. Итак, из написанного тобой явствует, что тебе не особенно нравится в Карлсбаде. Тем лучше, что ты хорошо себя чувствуешь. Дай же мне знать, когда вы думаете двинуться оттуда в обратный путь.

В Веймар я, видно, попаду не так скоро. Туда почти день езды, а я наобещал моим здешним знакомым участие в стольких прогулках в разные места, что мне не остается времени для таких больших экскурсий. Мне очень хочется узнать о Веймаре и о Гете; в основном я к Гете расположен, и мало таких людей, чей ум я ставил бы так высоко. Может быть, и он приедет сюда, по крайней мере в Кохберг — это меньше миль отсюда, там у госпожи фон Штейн имение.

«История Нидерландов» по тому плану, по которому она начата, составит шесть томов. Первый содер-

жит тридцать два листа. Теперь посуди сам! Буду ли я впредь работать в этой отрасли, всецело зависит от того, как будет принят первый том. Но если я и не сделаюсь историком, достоверно одно — что История будет тем складом, из которого я стану черпать, иначе говоря, она будет давать мне темы, на которых я смогу упражнять свое *перо*, а иногда и свой *ум*. История Гуттена еще не продумана, но первоначальный план претерпел важные изменения. Об этом в другой раз. В июльском номере «Меркурия» помещены мои письма о «Карлосе». Напиши мне твое мнение по этому вопросу. Не забудь написать мне о Беккер. Кланяйся всем. Adieu!

III.

65. ЛОТТЕ ФОН ЛЕНГЕФЕЛЬД

[Рудольштадт, 20 августа 1788 г.]

Итак, вы избавили меня от бала! Я очень доволен тем, что он уже позади. Как ни люблю я, чтобы мои друзья получали удовольствие, мне все же хотелось бы, чтобы вы возможно реже бывали на балах. Не знаю почему, но мой личный опыт подсказывает мне, что удовольствие, которое так беспорядочно горячит кровь и приводит *лучших* людей в близкое общение с *ничтожными*, заставляя смешиваться с ними, легко уносит тонкие чувства и благородные наслаждения духа. К вам это, наверно, не относится, но такое наблюдение так мне привычно, что я не могу отделаться от тайного страха, когда те, *кто мне мил*, на моих глазах проносятся сквозь ряды тех, кто мне *не мил*. Так или иначе, я поостерегусь на это смотреть.

Вчера я писал; потом я читал жизнеописание Помпея у Плутарха, что наполнило меня высокими чувствами и укрепило во мне решение в будущем больше питать душу великими образами древности. Сегодня утром моей первой мыслью было, что... вы уже не на балу. Если бы я мог, то, видите, я был бы так несправедлив, что не соглашался бы делить вас ни с кем. Я хорошо знаю, что не имею на это права, но ведь так приятно воображать своей собственностью то, что мило

человеку, а от того, что я воображаю, вам нет никакой беды. Оставьте мне по крайней мере это утешение!

Зачем вы напоминаете мне о том, что вы уезжаете? Я не хочу, чтобы мне напоминали об этом, да и о моем собственном отъезде тоже. Меня утешает, что я не знаю дня моего отъезда, что я не завишу ни от какого срока, что от меня зависит, сколько будет длиться это лето. От *меня* вы отвыкнете скорее, чем мне хочется, и если мудро — своевременно об этом подумать, то именно *мне*, а не *вам* нужно рекомендовать эту мудрость. Adieu! Не могу дать вам никаких поручений, кроме многих поклонов госпоже Кальб и Вольцогенам; напишу им в другой раз. Будьте здоровы! Если вы мне не откажете, то я после двух часов повидаюсь с вами. Всего, всего лучшего!

Ш.

66. ЛОТТЕ ФОН ЛЕНГЕФЕЛЬД

Рудольштадт, конец августа 1788 г.

Как же вы спали сегодня в вашей *изящной* постели? И смежил ли *сладкий* сон ваши *прелестные, милые* веки? Скажите мне об этом в двух-трех крылатых словечках, но, я прошу вас, возвестите мне правду! Вы не станете кривить душой, ибо вы слишком разумны.

Сегодня опять выдался славный денек, и он был бы вдвое прекраснее, если бы вы встали бодрой и веселой и порадовались ему вместе с нами. Но если вы чувствуете себя еще не совсем хорошо и голова у вас недостаточно свежа, чтобы вы могли заняться собой, или если вас, может быть, рассеет общество, дайте мне знать, и мы проживем этот день тихонько вместе — болтая, читая и радуясь, что мы вместе в этом мире. Что подделывает ваша сестра? Постукивают ли уже туфли на ее изящных ножках, или она еще покоится в мягкой, прекрасно разглаженной постели? Adieu! Если вы еще не поднялись, велите устно передать мне, как вы провели эту ночь. Прикажите также отпереть сад, меня соблазняет мысль немного побродить там. Желаю вам всего лучшего.

Ш.

67. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Рудольштадт, 12 сентября 1788 г.

Наконец-то я могу рассказать тебе про Гете, чего, как я знаю, ты с нетерпением ожидаешь! Я провел в его обществе почти все прошлое воскресенье, когда он посетил нас вместе с женой Гердера, г-жой фон Штейн и г-жой фон Шардт, той, которую ты видел на курорте. Первое впечатление сильно изменило внутреннее мне высокое мнение об этой якобы привлекательной и красивой фигуре. Он среднего роста, держится натянуто и так же ходит. Выражение лица у него замкнутое, но глаза очень выразительные, живые, и взгляд его встречаешь с удовольствием. При большой серьезности в его лице много благожелательности и доброты. Он брюнет и показался мне старше, чем по моим расчетам должен бы быть. Голос у него чрезвычайно приятный, его рассказ течет плавно, полон остроумия и жизни. Слушать его большое удовольствие, а когда он в хорошем настроении, как на сей раз и было, он разговаривает охотно и с интересом. Наше знакомство свершилось быстро и без малейшего принуждения. Однако общество было слишком большое, и все слишком ревниво стремились привлечь к себе его внимание, чтобы я мог долго оставаться с ним наедине или говорить о чем-либо, кроме самых обыкновенных вещей. Охотно и с увлечением вспоминает он об Италии. И то, что он рассказал о ней, дало мне самое четкое и живое представление об этой стране и тамошних людях. Он умеет замечательно наглядно показать, что эта нация, более всех других европейских, живет наслаждениями дня, ибо мягкость климата и плодородие почвы упрощают потребности и облегчают их удовлетворение. Все пороки и добродетели там — естественные следствия пылкой чувственности. Он горячо восстает против утверждения, будто в Неаполе так много праздных людей. Ребенок там уже с пяти лет должен что-то зарабатывать. Но у них нет ни необходимости, ни возможности посвящать труду целые дни,

как это делаем мы. В Риме вовсе не процветает разврат с незамужними женщинами, но тем сильнее он — с замужними. Обратное отношение — в Неаполе. Вообще в обращении с другим полом там очень сильно ощущается близость Востока. Рим, по его мнению, может понравиться иностранцу лишь после продолжительного пребывания. В Италии можно прожить недорого и едва ли не дешевле, чем в Швейцарии. Неопрятность почти невыносима для приезжего.

Он очень хвалит Анжелику Кауфман как за ее искусство, так и за ее душевные качества. Она живет в самых благоприятных условиях; но он с восторгом говорит о том, как великодушно распоряжается она своим состоянием. При всем ее богатстве ни ее любовь к искусству, ни ее прилежание не ослабевают. Он, видимо, очень ярко жил в этом доме и грустит от разлуки.

Я хотел передать тебе еще много из его рассказов, но подожду, пока что-нибудь напомнит мне ту или иную подробность. В общем, мое исключительно высокое мнение о нем после этого личного знакомства не изменилось, но я сомневаюсь в том, чтобы мы с ним когда-либо очень сблизились. Многое, что мне еще интересно, чего я еще желаю и на что надеюсь, для него пройденный этап. Он так опередил меня (не столько годами, сколько жизненным опытом и работой над собой), что нам никогда больше не встретиться в пути. И вся его натура с самого начала была наделена иными задатками, чем моя, его мир — не мой мир, наши представления кажутся существенно различными. Все же на одной такой встрече нельзя строить надежные и глубокие выводы. Время покажет, что из этого выйдет.

На днях он отправляется в Готу, но в конце осени опять вернется, чтобы зиму провести в Веймаре. Он говорит, что даст всякого рода материал в «Меркурий». Однако он сомневается, будут ли его рукописи закончены к пасхальной ярмарке. Сейчас он работает над отделкой своих стихов.

Письмо ты получишь через Беккера. Известие о

твоей болезни испугало меня; но, вдумавшись, я нахожу, что этот кризис может оказаться целебным. Непременно соблюдай тот распорядок жизни, который ты себе предписал: разрешающие мыльные средства, растительную диету, умственные занятия и движение. Если ты в чем-нибудь хочешь со мной считаться, считайся в *этом*. Твое состояние заставило меня опасаться, что какую-то роль в нем играло душевное волнение. Неужели ты, в самом деле, страдал и скрыл это от меня? Прошу тебя мне ответить.

Уважь, если ты можешь настроить себя, мою просьбу написать музыку на два стихотворения, о которых я писал в последнем письме. (Кстати, раскрой августовский номер «Немецкого музеума», ты найдешь там статью Штольберга против моих «Богов Греции»). Сердечно приветствуй от меня женщин. Скоро я напишу тебе снова и побольше. Всего хорошего!

Шиллер.

68. ЛОТТЕ ФОН ЛЕНГЕФЕЛЬД и КАРОЛИНЕ
ФОН БЕЙЛЬВИЦ

Рудольштадт, конец сентября 1788 г.

Вчера вы принесли мне и оставили после себя много радости. Благодарю вас. Надеюсь, что вы не попали под дождь, когда шли домой.

Вот пока первая часть «Драматургии» и другие принадлежащие вам книги, попавшиеся мне под руку. Будьте добры, пришлите мне снова что-нибудь почитать.

Мы могли бы помочь друг другу весьма приятно проводить короткие минутки жизни,— в этом я убеждаюсь с каждым днем,— но это достижимо не всегда, когда захочешь, и для этого нам подходят немногие люди. Как счастлив я общением с вами и как все больше оно значит для меня с каждым днем! В нашем кружке также много разнообразия, которое затем снова растворяется в *едином* согласии,— пять умов и сердец, которые в конце концов всегда влекутся к единению. Я никак не могу примириться с мыслью, что

когда-нибудь мне придется покинуть вас, и каждое утро и каждый вечер я придумываю наедине с собой, как я мог бы избежать этой необходимости. Я уже давно ненавижу свое одинокое существование; необходимое условие моего душевного благополучия чувствовать себя частью целого. Всякая горечь, когда-либо примешивавшаяся к моей жизни, не имела иного источника, как моя отчужденность от общей жизни людей; а все мои неудавшиеся попытки уйти от одиночества делали его еще более гнетущим и нестерпимым. Я был бы рад, если бы мог доверить вам всю свою душу. Так мало можно сказать, а написать — еще *меньше!* Может быть, вы когда-нибудь доставите мне случай полнее раскрыть свое сердце.

III.

69. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Рудольштадт, 20 октября 1788 г.

Вот теперь ты преисполнился настоящей решимостью, раз приготовления к усердному труду уже коснулись твоего дома! Я был рад узнать об этом и давно этого желал. Ты, видимо, находишься на распутье и толкуешь о старой альтернативе между «человеком для публики» и слугою государства. Я нахожу, что в этом тебе очень трудно советовать. Наш брат, правда, быстро пришел бы к решению, но женатому человеку приходится многое принимать во внимание. Впрочем, сколько бы я ни размышлял об этом, я все-таки нахожу чудовищное несоответствие между тем, чего тебе *стоит* твое звание консistorского советника и советника коммерции, и тем, что оно тебе *дает* или *сулит*. Все твои двести талеров до последнего гроша уходят на расходы, которых у тебя в Дрездене *больше*, чем было бы в каком-либо месте, избранном тобой самим; преступная трата времени на возню с документами, *зависимость* и недостойные положения, в которые тебя постоянно ставят твои занятия, все это ты, конечно, терпишь *напрасно* или ради лучшего устройства, но оно дорого оплачивается теми тисками,

в которых оно тебя держит. Поразмысли над этим; а мне все это представляется весьма осязательно. Если ты в самом деле можешь рассчитывать на айреровское наследство, то твое будущее, а также твоей жены и детей обеспечено лучше, чем всякими коллегияльными доходами. И если ты примешь в расчет неопределимое счастье независимости, предоставляющее тебе полную свободу для твоей умственной деятельности, отдающей тебе во власть все твое время и вырывающей тебя из нелепых условий, то, думается, ты быстро придешь к решению. Сотню-другую талеров ты заработаешь ценою шутя, хотя бы ничего другого не делал, а только переводил не спеша или же писал заметки о прочитанном, сотрудничал в журналах и т. п. Этим ты можешь заниматься в свободные часы, а лучшие мгновения тратить планомерно на писание какого-либо излюбленного труда. *Sapientis sat!*¹ «*Histoire de mon temps*» я еще здесь вовсе не видел. Предисловие к ней я имел случай прочесть в одном сочинении, которое я рецензировал для «В. Л. Г.»: «Сообщение о последних годах жизни Фридриха II» Герцберга; к нему переводчик приложил два разных варианта предисловия, написанного рукой короля (один — из издания пятидесятых и другой — восьмидесятых годов). Для меня это сопоставление было интересно тем, что позволило по его поправкам оценить развитие его собственного ума, а также писательского вкуса и характера. Мне показалось, что в этой работе господствует благородный, мужественный и скромный тон. Остальное из того, что ты говоришь об «*Histoire de mon temps*», очень сходится с теми ожиданиями, которые я питаю. Мне тоже очень любопытно прочесть ее.

Твоя идея насчет эпического стихотворения заслуживает внимания, но только она явилась для меня слишком рано — лет на шесть, на восемь раньше, чем следовало бы. Вернемся к ней как-нибудь позже!

Все трудности, возникающие от столь близкого по времени сюжета, и кажущаяся несовместимость эпического тона с современной темой меня не так бы уж

¹ Разумному — достаточно! (лат.)

пугали, напротив, было бы достойной задачей выдержать и преодолеть эти условия. Если несколько более совершенных поэтических произведений и несколько хороших исторических очерков достаточно повысят интерес и улучшат отношение *всей* немецкой публики ко мне и позволят мне надеяться, а это имеет некоторую долю вероятия, на нечто крупное с ее стороны для поощрения такого национального дела — вот тогда можно будет подумать и подробнее поговорить об этом!

Сейчас я работаю над переводом «Ифигении в Авлиде» Еврипида. Я делаю его в ямбах; и если это не вполне точное воспроизведение оригинала, то все-таки, может быть, не так уж намного ниже его. Эта работа упражняет мое перо драматурга, вводит меня в духовный мир греков, сообщает мне, я надеюсь — незаметно, их манеру и одновременно доставляет мне интересные ингредиенты для «Меркурия» и «Талии» — последняя иначе напрасно носила бы свое имя. Я располагаю греческим текстом, итальянским переводом и «Théâtre Grecs» П. Брюмуа.

«Историю Нидерландов» я теперь жду с каждой почтой, чтобы послать ее тебе. В сентябрьском номере «Меркурия» еще нет ничего моего, октябрьского я еще не получил. Моя рецензия на «Эгмонта» наделала много шума в Иене и Веймаре, а после этого из секретариата «В. Л. Г.» ко мне поступили очень милые предложения. Гете высказал мне свое полное уважение и удовлетворение. В «Пандоре» за восемьдесят девятый год, которая теперь вышла, ты найдешь мое стихотворение, очень подходящее для этого журнала. Можешь прочесть его. В ближайшем выпуске «Талии» тоже появится стихотворение, которое я давно был должен редакции. Думаю, что оно очень заинтересует тебя.

Мое здешнее пребывание теперь клонится к концу; оно доставило мне много приятных часов и, что самое лучшее, снова вернуло мне самого себя и оказало благотворное влияние на мою внутреннюю жизнь. День моего рождения я проведу еще здесь, а потом — в Веймар! Госпоже фон Кальб я оставил то, что ты ей

предназначал. Этим летом я совсем мало писал ей, между нами размолвка, о которой я когда-нибудь расскажу тебе подробнее при встрече. Я не беру назад ничего из моих суждений о ней: это одухотворенное, благородное создание, но ее влияние на меня не было благотворным.

Наша герцогиня теперь прибыла в Рим, там же находится и Гердер. Он нанял квартиру для себя одного, без Дальберга, что мне очень понравилось. (Напиши же мне как-нибудь, что ты думаешь о дальберговских музыкальных опытах и не попадались ли тебе его последние работы — переложения на музыку нескольких стихотворений Гердера. Он автор небольшой статьи: «О музыке духов».)

На мою просьбу о присылке некоторых произведений ты не ответил, или же твое молчание и есть ответ? Нет ли среди твоих вещей моей немецкой диссертации, которую я писал в Штутгарте? Если есть, пожалуйста, пришли мне ее!

Уплатить сейчас что-нибудь Бейту я никак не могу. Напротив, мне скорее нужно раздобывать для себя деньги, чем отдавать их; ведь даже для удовлетворения моих неотложных нужд я должен получить задатки от Виланда или Гешена. Я столько начал в это лето и так мало окончил! В этом году я могу сдать еще три выпуска «Талии», но — лишь в декабре, так как все готово, кроме «Духовидца», который ведь должен пойти во всех трех.

Миллер подождет еще до пасхальной ярмарки. Что же касается Бейта, я постараюсь внести кое-что к Новому году. Я жестоко ограничиваю себя и буду ограничивать еще сильнее. Я страстно мечтаю увидеть свои дела в мало-мальском порядке. Может быть, Гешен даст мне все деньги вперед.

Я не припоминаю, чтобы когда-нибудь говорил тебе о господине фон Лабесе. Если я его и знал, то, очевидно, совсем забыл.

Всего хорошего! Кланяйся женщинам и поскорее напиши мне.

Шиллер.

70. ЛОТТЕ ФОН ЛЕНГЕФЕЛЬД

Рудольштадт, ноябрь 1788 г.

Да нет же! Мы не станем жалеть об этом лете и этой весне, хотя они и прошли; они обогатили наши сердца прекрасными переживаниями, они скрасили нашу жизнь и умножили достояние наших душ. Меня они сделали счастливее, чем большинство им предшествовавших, и они еще будут благодетельны для меня в воспоминании, а *благая милая необходимость*, я думаю, часто будет воскрешать их в облике еще более прекрасном. Благодарю вас за радости, которые доставили мне ваш ум и сердце и ваше ласковое участие к моей внутренней жизни! Будем же радоваться прекрасной надежде, что мы кое-что создали для вечности. Такое представление о нашей дружбе я составил себе очень рано, и каждый новый день придает ему в моих глазах больше лучезарности и уверенности.

Я чувствую себя сегодня вполне хорошо, хотя мне, по правде говоря, совсем не работалось. После обеда мы увидимся. Письма К[ернера] позвольте мне разыскать при случае.

71. ЛОТТЕ ФОН ЛЕНГЕФЕЛЬД

Рудольштадт, ноябрь 1788 г.

Если бы я знал что-либо такое, что могло бы так же напоминать вам обо мне, как ваш прекрасный рисунок напоминает о вас, сохраняя ваш образ предомной живым. Правда, последнее не требует никакой внешней помощи, но все доброе и прекрасное, как вы знаете хотя бы из старого евангелия, имеет, как и таинства, *незримое действие и зримый знак*.

Рисунок будет стоять напротив меня на письменном столе; часто в тихий вечер я буду созерцать его, и он будет возвращать мне образы тех, кто промелькнул мимо меня, успев оказать мне столько дружбы и добра. Еще раз приношу вам большую благодарность

за него! У меня приятное сознание того, что вы занимались чем-то, что должно было доставить мне удовольствие.

Теперь, когда дело подходит к концу, я упрекаю себя в том, что не распорядился лучше теми мгновениями, которые я мог провести у вас. Часто мне кажется, что я много, очень много сказал вам, а в другое время я нахожу, что мог сказать и хотел сказать гораздо больше. Однако если заложенное основание *прочно и массивно*, тогда само благодетельное время еще приведет все к созреванию. Я знаю и чувствую, что память обо мне будет жить среди вас, и эта мысль радует меня. Всего вам хорошего!

Вечером, после обеда, я еще надеюсь увидеть вас.

Шиллер.

72. ЛОТТЕ ФОН ЛЕНГЕФЕЛЬД

[27 ноября 1788 г.]

Только что я пришел домой и нахожу милый рудольштадтский пакетик; и как бы для того, чтобы все приятное сошлось вместе, — письмо от моего Кернера!

Как меня радует, что в свой день рождения вы помнили о нашей дружбе! Позвольте мне надеяться, что и дальше в такие дни вы будете с удовольствием о ней вспоминать.

Желаю вам удачи на вашем пути картежницы. В том, как вы смотрите на это неизбежное зло, вы совершенно правы. Но мне кажется, что вы заходите слишком далеко, если считаете это средство подходящим только для общества, которому недоступны более благородные, тонкие и серьезные развлечения. В самом лучшем обществе иногда настают минуты вялости или болезненной напряженности, от которых игра нередко освобождает. Как ни легко мне обходиться без нее, все же иной раз, при угнетенном настроении, она приносит мне облегчение, и было бы очень печально, если бы только пустые люди могли оказать человеку эту услугу. Во время игры тоже бывает очень приятно чувствовать, с кем ты играешь.

Серьезность вашей природы заставляет вас презирать столь легкомысленное развлечение, и это превосходно. Ваша серьезность и отличает вас от сотен тысяч других, и упаси боже, чтобы я пожелал вам быть другой! Именно это ваше качество приблизило вас ко мне (правда, для вас это значит мало, зато для меня — источник наслаждения!). Но остерегайтесь, чтобы эта склонность к серьезному не отвратила вас от бедных славных человечков, с которыми приходится жить вам, в *вашей* сфере, больше, чем таким, как я. Нетерпимость к другим — утес, о который особенно легко разбиваются люди с характером и нежными чувствами. Итак, в этом отношении я желаю вам капельку легкомыслия, хотя не могу поставить вам в вину, что вы слишком замкнуты для ваших ближних.

Вообще мне представляется, — впрочем, может быть, это просто эгоистическое желание моего пола, — мне представляется, что женщины созданы быть веселым, ласковым солнцем в нашем мире людском и мягким, солнечным взором озарять свою и нашу жизнь. Мы бушуем, и льемся дождем, и сыплемся снегом, и мчимся ветром, а вы — женщины — должны рассеивать тучи, которые мы нагоняем на божью землю, растоплять снег и вашим блеском возвращать миру молодость. Вы знаете, как высоко я чту *солнце*; поэтому мое сравнение — самое прекрасное, что я могу сказать о женщинах, и я сделал это за счет мужчин.

Вы поступаете хорошо, что свою *маленькую* комнату (ибо, несмотря на то, что печь из нее убрали, я не могу сравнить ее с собором св. Петра) вы делаете большой и просторной, читая описания путешествий. Мне всегда доставляет несказанное удовольствие, находясь в возможно меньшем телесном пространстве, носиться по всей великой земле. Однако в настоящие путешествия вы лучше не пускайтесь и оставайтесь как можно ближе к нам!

Вы изрядно и очень приятно поразили меня вычислением, что двенадцатая часть нашей разлуки прошла. Но какой долгой успела для меня стать эта двенадцатая часть, и как медленно будут тянуться осталь-

ные одиннадцать! Впрочем, благодарение господу, пока я пишу, время идет быстрее. Считайте, что я появлюсь с земляникой или еще раньше.

Благодарю вас за тщательную заботу о пакете. Всегда хорошо, когда находишься под воздействием мудрости. Сбереженные деньги я хочу истратить на перья и почтовую бумагу и буду преследовать вас множеством писем.

Chère mère я поздравляю с вытасненным зубом. Опухоль на лице, я полагаю, пройдет, скорее всего это еще остаток предыдущего флюса, который увеличился от раздражения, вызванного операцией. От всего сердца желаю ей навсегда от этого избавиться, и я надеюсь на лучшее, раз она освободилась от скверного зуба. Засвидетельствуйте ей мое глубокое почтение. Как часто уже я вспоминал те вечера, когда мы собирались за чаем вокруг хитроумного Одиссея. У меня теперь тоже есть кофейник, которым, однако (должен сказать это в свою похвалу), я пользуюсь очень умеренно.

Живите счастливо, дорогой друг, и продолжайте жить счастливо, не забывая обо мне!

Шиллер.

73. КАРОЛИНЕ ФОН БЕЙЛЬВИЦ

27 ноября 1788 г.

Благодарю вас, дорогой друг, за то, что вы простили мне мою злосчастную мнительность. Чем больше мой грех, тем больше я буду радоваться; и вы ничем не можете сильнее потрясти мою совесть, как показав мне частыми и большими письмами отвратительность моего поступка. Но, откровенно говоря, я и мое сердце не окончательно поддались сомнению, как подозрительны ни были обстоятельства.

Наконец-то хоть один звук от Вольцогена, и пока достаточно, чтобы быть спокойнее за него! Итак, он, наконец, добрался до места, и мы видим, что только от него самого будет зависеть выполнение его жизненного плана. Но если теперь, при самом скудном обще-

стве, он так мало урезывает свои сообщения, то какой оборот это примет для вас, когда его знакомства расширятся! Я боюсь, что большое письмо достигнет гигантских размеров. Надеюсь, вы еще не ответите ему до следующей пятницы, для того чтобы я тоже мог написать несколько строк, которые я перешлю вам в ближайший же почтовый день.

Суждение Вольцогена о Париже при таких обстоятельствах, пожалуй, и не могло быть иным. Объект для него, в самом деле, слишком велик; в Вольцогене еще должно развиваться соответствующее настроение. Он привез с собой аршин, чтобы измерить колосса. Я могу допустить, что к концу продолжительного знакомства с Парижем он может более или менее вернуться к тому же суждению, но оно будет исходить из других мотивов и другой точки зрения. У кого есть склонность и охота общаться с огромным миром людей, тот должен чувствовать себя хорошо в этой широкой стихии; как мелки и жалки по сравнению с этим *наши* общественные и политические отношения. Впрочем, нужно иметь глаз, не оскорбляющийся видом неизбежных, сопутствующих этому *больших зол*. Человек, когда он действует в единении с другими, всегда существо значительное, какими бы мелкими ни казались индивидуумы и детали. Но, мне кажется, все дело именно в том, чтобы при таком обзоре целого относить к нему каждую деталь и каждое отдельное явление как его часть, или, что то же самое, видеть философским умом. Какой ухабистой и бугристой должна казаться наша земля с высоты Сен-Готарда, но жителям луны она, конечно, представляется гладким, красивым шаром. Кто не наделен таким глазом или не упражнял его, того будут отталкивать мелкие пороки, и прекрасное великое целое пропадет для него.

Париж, впрочем, может, пожалуй, и на философского наблюдателя произвести скверное впечатление; но только не слабое, ибо и в заблуждениях такого тонко образованного государства есть величие. Какое великолепное явление в истории — Римское государство даже в своем падении!

Моей маленькой, скромной особе большое политическое общество, на которое я смотрю из своей ореховой скорлупы, представляется примерно так, как может представляться человек гусенице, ползающей по нем. Я питаю бесконечное почтение к этому огромному, стремительному человеческому океану, но мне хорошо и в моей скорлупке. Мой вкус и способности к общественной жизни, если они у меня есть, не проявлялись, не развиты, и пока не иссякнет ручеек радости в моем тесном кругу, я останусь независимым и спокойным наблюдателем этого великого океана.

А потом (раз уж ударяться в философию), потом я считаю, что каждая отдельная развивающая свою силу человеческая душа больше, чем самое большое человеческое общество, если рассматривать его как целое. Величайшее государство — *творение рук человеческих*, человек же — творение неподражаемой великой природы. Государство — создание случая, а человек — необходимое существо, да и чем вообще велико и почтенно государство, как не силами своих индивидуумов? *Государство* только *действие* человеческой силы, только *творение мысли*, человек же сам источник силы и творец мысли.

Но куда я забрался? Я дал волю своему перу и забыл, что пишу письмо, а не *Discours philosophique*¹. Простите меня на этот раз!

Пусть мое здоровье вас не беспокоит. Я лечусь свежим воздухом и движением, для чего неприглядные горы вокруг Веймара все-таки достаточно хороши. Свежим и окрепшим возвращаюсь я снова домой и с большей легкостью продолжаю работу. Бертух напускает на себя вид какой-то участливой заботливости обо мне. Я даже думаю, что он хочет женить меня. Да простит ему небо, если дружба завела его так далеко! Недавно он довольно неуклюже это выпалил. Он имел на меня какие-то серьезные виды, и тем, что я до сих пор еще не показался в известном клубе, я спутал все его расчеты. У меня с ним вышло, как у Гамлета с Гильденстерном, когда тот старался что-нибудь

¹ Философское рассуждение (*фр.*).

выпытать у него; к сожалению, мне не хватало остроумной находчивости и флейты, чтобы примерно так же расправиться с ним. Если он, в самом деле, желает мне добра, то пусть простит мне небо за то, что я этого от него не жду!

С тех пор как я здесь, я и вправду совсем здоров и, что очень важно, даже избавился от насморка.

Не прочел я со времени нашей разлуки еще ничего такого, о чем вам доставило бы удовольствие узнать. У меня действительно не было для этого времени. Shaftesbury я надеюсь насладиться позже, может быть это будет моим летним занятием.

Сейчас я перевожу «Финикиянок» Еврипида. Прекрасная сцена, где Иокаста слушает рассказ Полиника о бедствиях изгнания, особенно соблазнила меня заняться переводом. Я только жалею, что в этих работах я очень стеснен временем и не мог достаточно освоиться с духом оригинала, прежде чем взяться за перо. Но мой труд доставляет мне удовольствие и в конце концов может оказать только благотворное влияние на мой собственный ум.

В настоящее время я усиленно принялся за «Духовидца»; но мне все еще не удалось сделать его достаточно интересным. Мои работы тоже заставляют меня мечтать о лете, так как тогда я надеюсь заниматься только приятным.

С Гете я еще не говорил. Но это будет на днях. Госпожу фон Кальб я сегодня посетил, и ее разговор был полон остроумия. Как желаю я для ее ума той обстановки, для которой он, по-настоящему, создан! Ее воображение бесконечно своеобразно, а взгляды так же метки, как и глубоки.

Будьте же здоровы, не хворайте насморком и прочими болезнями тела и души. Да, чтобы не забыть: последнее письмо Кернера пришлите мне, пожалуйста, обратно! Мне надо еще ответить ему на некоторые места. Adieu, дорогой друг! Думайте обо мне хорошо. Много поклонов вашему мужу и принцу! Вечно ваш

Шиллер.

Веймар, 1 декабря 1788 г.

Описание твоего гермафродитного — полуписательского, полудилетантского — состояния забавно-трогательно, и поскольку я не вижу, чтобы ты был от этого несчастлив, у меня больше охоты смеяться над этим, чем огорчаться. Твоя неудовлетворенность этим так называемым бездельничаньем делает тебе честь и показывает, как сильно ты занят совершенствованием своего ума. Всякий другой — и не обязательно более ленивый — человек в твоём положении не был бы так уж недоволен. Ибо ты никогда не убедишь меня, что простое созерцание чужих произведений, если оно критическое, не есть в такой же мере деятельность, какой было созидание; правда, с меньшим напряжением и, пожалуй, с более скромной наградой, зато и с меньшим ограничением наслаждений и с меньшим недовольством по поводу ограниченности своих сил или материала, что часто примешивает горечь к радости художника. Свое преимущество перед простым созерцателем в интенсивности деятельности и в степени наслаждения последний уравнивает многосторонностью и широтой своих вкусов.

А в общем, я нахожу, что ты очень правильно судишь о себе. Причина твоих жалоб, мне кажется, лежит в том принуждении, которое твой разум наложил на твоё воображение. Здесь я должен высказать одну мысль и пояснить её сравнением. Нехорошо, видимо, и вредно для творческой работы души, если притесняющие идеи разум слишком строго проверяет, так сказать, уже у ворот. Одна идея, рассматриваемая изолированно, может быть весьма незначительной и весьма случайной, но она может стать важной благодаря другой, которая придет после нее; может быть, она в известной связи с другими, кажущимися такими же заурядными, даст очень ценное звено. Обо всем этом разум не может судить, если он не удерживает идею до тех пор, пока не взглянет на нее в связи с этими другими. У творческой природы, напротив, мне кажется, разум отзывает стражу от ворот,

идеи устремляются в него *rêle-mêle*¹, и лишь тогда он обзрывает их и разбирается в их нагромождении. Вы, господа критики, или как вы еще зоветесь, стыдитесь или боитесь минутного, преходящего сумасбродства, которое свойственно всем настоящим творцам и бóльшая или меньшая длительность которого отличает мыслящего художника от мечтателя! Оттого и ваши жалобы на бесплодие, что вы слишком рано отбрасываете и слишком строго отбираете!

А в общем, мне кажется, ты мог бы утешиться насчет отсутствия именно этого наслаждения, так как твоя сфера от того становится только шире. Ведь мы, художники, работаем только для вас. Понимая свои выгоды, ни один из нас не может и не смеет желать вас переделать. Но и помимо своекорыстия, как часто я завидовал тебе, и сколь многие делали бы то же! Вы порхаєте от одной красотики к другой, ни на одной не женясь, а меж тем женитьба в вопросах ума чуть ли не еще хуже обычной женитьбы: по крайней мере она, пожалуй, еще скорее приводит к *прозаической бесцеремонности*, чем женитьба в прямом смысле. Сохрани же вообще живое и критическое чувство прекрасного, тогда источники твоей радости никогда не иссякнут; или, говоря грубее, сохрани хороший аппетит и хорошее пищеварение, а стол для тебя всегда будет накрыт, и каждый из нас может доставить тебе, роскошествующему как султан, лишь одно блюдо, на приготовление которого он затратил годы. Если речь идет о писательстве, которое должно быть доходно для тебя, зачем тебе плодовитость? Для этого дела тебе нужны только те дары, которые ты в себе признаешь. Выбирай целесообразно из того, что дали другие, остроумно располагай это, и у тебя всегда будет довольно работы, и даже благодарной, полезной работы. Упомяну здесь хотя бы об одной категории: у тебя несправедливое отвращение к специальности, в которой ты мог бы стать очень ценным. Это — критика. Редко, очень редко случается, чтобы в одном уме сошлись *критическая строгость* и

¹ Как попало. (фр.)

известная смелая терпимость, уважение и справедливое отношение к таланту и т. д., а у тебя все это есть. Что, если бы ты в приятном оформлении критически перебрал важные произведения из разных отраслей литературы, как это сделано в литературных письмах Лессинга, в «Философе для всего мира» и т. д.? Если критикуемые тобою работы будут интересны, такие статьи подойдут любому издателю журнала. И «Меркурий» открыт для тебя.

Относительно твоего проекта с фрондой я, правда, не хочу обескураживать тебя, боже упаси, но хочу сказать тебе, что на этот раз мы попадем в маленькую коллизию... Собственно, это даже не коллизия. Дело вот в чем: уже больше года назад я взял на примету для какого-нибудь журнала характеры Реца, герцога Орлеанского, Анны и Мазарини, так как все они представляют большой исторический и психологический интерес, а с другой стороны — дают столько любопытных, свойственных эпохе мелочей и дополнительных черт, что легкое изложение сулит верную удачу. Твоя цель совсем расходится с моей: ты хочешь рассматривать фронду как политическую революцию в целом. Однако это открытие впоследствии могло бы привести тебя в недоумение; поэтому я говорю тебе об этом наперед. Впрочем, твой план от этого несколько не страдает.

Твое суждение о моей «Истории» мало отличается от моего. Но почему ты судишь плоды моего прилежания как плоды творчества? Когда я, именно я, был в состоянии охватить историческое целое взглядом зрелого ученого? Но прочти историю этого периода у какого-нибудь другого писателя, и ты, наверное, признаешь некоторые заслуги и за мной.

С «Меркурием» будет приблизительно так, как ты думаешь. В приближающемся восемьдесят девятом году постараются улучшить его содержание; а потом без шума начнут новый журнал. Виланд уже прислал мне статьи для проверки их качества, а я тоже приберег большое стихотворение. В декабрьском номере, который уже вышел, помещено окончание моих писем. Стихотворение я в ближайшее время пришлю тебе в рукописи. Ты можешь теперь смело подписаться на

«Меркурия», так как он безусловно становится одним из лучших журналов.

Что касается Губера, то ты потряс мою совесть. Постарайся тронуть его сердце, чтобы он простил мне долгое молчание. Если я буду уверен, что он согласен помириться, и смогу предать прошлое забвению, я сразу же напишу ему.

III.

75. ЛОТТЕ ФОН ЛЕНГЕФЕЛЬД И КАРОЛИНЕ ФОН БЕЙЛЬВИЦ

Веймар, 4 декабря 1788 г.

Ваши письма теперь заменяют мне весь род людской, от которого я эту неделю был совершенно оторван.

Со времени моего последнего письма к вам я, частью из-за своих дел, а частью по лености, не покидаю комнаты. Таким образом, я не могу сообщить вам никаких, решительно никаких новостей, за исключением той единственной, что вчера или сегодня прибыл Мориц и проведет здесь несколько дней. Я уже знаю его по одной встрече в Лейпциге; я ценю его дарование, души его я не знаю; а в общем, мы не друзья. Если я еще что-нибудь узнаю о нем, то сообщу вам; мне известно, что вы им интересуетесь. Госпожи де ла Рош еще нет; хорошо, если бы для этой грозовой тучи нашелся громоотвод.

Мне весьма отраднo слышать, что мой милый Кернер покори л вас. Я хотел бы, чтобы он был здесь. Мое сердце и ум согревались бы возле него, да и он, видимо, сейчас нуждается в благодетельном духовном общении. Вы вполне правы, когда говорите, что нет высшего удовольствия, чем знать, что на свете есть человек, на которого вполне можно положиться. А таков Кернер для меня. Редко бывает, чтобы известная свобода в нравственных правилах и суждении о чужих поступках или людях сочеталась с тончайшим моральным чувством и подобной инстинкту сердечной добротой. У него смелая и философски просвещенная совесть в отношении достоинств и недостатков других и

боязливая — в отношении самого себя. Как раз противоположность того, что мы видим каждый день, когда люди себе прощают все, а ближним своим — ничего!

Нет человека более свободного, чем он, от самомнения; но он нуждается в друге, который открыл бы ему его собственную ценность и придал ему столь необходимую уверенность в себе, то есть основу для того, чтобы радоваться жизни и иметь силу действовать. Там он в пустыне призраков; саксонцы не принадлежат к самым приятным из наших земляков, а дрезденцы совершенно плоский, съезжившийся, несносный народец, возле которого никому не может быть хорошо. Они влачатся в атмосфере корыстных побуждений, и свободного, благородного человека совсем не видно за голодным гражданином, если этот последний когда-либо и был иным. Иногда еще можно встретить стершийся отпечаток или, вернее, руину, когда-то одухотворенную умом и сердцем. Но фатальные обстоятельства растоптали и опустошили то и другое, так что, — чтобы продолжить сравнение, — только по оставшейся колонне можно распознать дух мастера и ордер, в каком было возведено здание. Уже не раз я пытался побудить Кернера на героический шаг и заставить его сбросить эти пагубные оковы, однако он выставлял доводы, на которые я ничего не мог возразить, но которые с течением времени отпадут. Я много, пожалуй слишком много, пишу вам о моем друге, но разве стал бы я это делать, если бы не объединял охотно возлюбленных моего сердца и не сводил их охотно вместе, когда думаю о них и когда пишу, раз это невозможно в действительности.

Время между приездом и отъездом рудольштадтского гонца так кратко и неудобно (только ночь и раннее утро до кофе), что я, чтобы лучше насладиться вашими письмами и лучше ответить на них, предпочитаю писать в день следующей okazji, и так я собираюсь поступать всю зиму. Так будет и с посылкой вам желаемых частей «Théâtre des Grecs». Виланда нет дома, так что я не могу послать за ними.

На днях я случайно натолкнулся на «Размышления о причинах величия и падения римлян» Монтескье, чтение, которое я мог бы предложить вам, так как

после Гиббона оно представит для вас интерес; предметы, о которых трактует Монтескье, знакомы вам по Гиббону, Плутарху и т. д. Всегда любопытно видеть, как разные умы оформляют один и тот же материал. Манера Монтескье состоит в том, чтобы результаты обильного чтения и философской мысли сжимать в краткие остроумные *réflexions*¹, полные содержания, но всегда с оглядкой на известные общие принципы, которые он для себя установил и которые служат ему опорными столбами его системы. Поэтому он весьма подходит для изучения. Поскольку его темы самые важные и наиболее достойные мыслящего человека (ибо что людям важнее наилучшего устройства общества, при котором достигали бы развития все наши силы?), он по праву принадлежит к драгоценнейшим сокровищам литературы. Я с радостью отдаю свой досуг тому, чтобы как следует запечатлеть в уме его «*Esprit des lois*».

Мой Еврипид все еще доставляет мне много удовольствия, значительная доля которого относится к его древности. Находить человека так вечно неизменным: те же страсти, те же коллизии страстей, тот же язык страстей! При бесконечном разнообразии всегда сходство, единство той же человеческой формы! Выполнение часто таково, что никакой другой поэт не сделал бы лучше; но иногда он чрезмерной скукой вносит горечь в мое наслаждение и труд. В чтении это бы еще куда ни шло, но быть вынужденным переводить эти места и притом добросовестно! То, что у него хуже, часто дается мне всего труднее. В следующем месяце вы, вероятно, получите для прочтения плоды моего нынешнего прилежания. Виланду я дам для «Меркурия» перевод «Агамемнона» Эсхила; но это будет уже только к марту. В перевод «Агамемнона» я вношу все старание, так как это — одно из прекраснейших произведений, вышедших когда-либо из-под пера поэта.

Будьте счастливы и продолжайте, как и до сих пор, прилежно вспоминать меня и писать мне такие же прекрасные и большие письма. Итак, остается, как услов-

¹ Мысли (*фр.*).

лено: при первой же оказии отвечу вам на сегодняшнее письмо подробнее. Сейчас уже одиннадцать часов. Вероятно, теперь, когда я это пишу, вами уже овладел тихий сон. Adieu! Много сердечных поклонов chère mère и Бейльвицу!

III.

76. КАРОЛИНЕ ФОН БЕЙЛЬВИЦ

Веймар, 10 декабря 1788 г.

То, что вы говорите об *Истории*, конечно, вполне верно, и преимущество *правды*, которым История обладает перед романом, уже одно могло бы возвысить ее над ним. Однако возникает вопрос, не имеет ли *внутренняя правда*, — которую я хотел бы назвать философской правдой или правдой искусства и которая во всей своей полноте должна господствовать в романе или ином поэтическом произведении, — такой же цены, как и историческая?

То, что человек в *таких-то* положениях чувствует, действует и выражается именно так, для него большой и важный факт; и автор драмы или романа должен это передать. Внутреннее соответствие или правда, чувствуется и признается без того, чтобы событие на самом деле должно было случиться. Польза этого очевидна. Таким путем мы узнаем *человека*, а не *данного* человека, род, а не легко теряющийся индивидуум. На этом широком поприще поэт — властелин и мастер. А историк часто оказывается в таких условиях, что вынужден предпочитать этому важному виду правды историческую правдивость или же довольно беспомощно приспособлять ее, что еще хуже. Он лишен свободы, позволяющей художнику двигаться с легкостью и грацией. А в конце концов он не удовлетворяет ни той, ни другой.

То, что Кернер из своих предпосылок относит к моему призванию историка, может быть и верно. Я — плохой источник для будущего ученого-историка, который, на свое несчастье, обратится ко мне. Но я, быть может, за счет исторической правды, буду находить читателей и слушателей, а там и сям сойду с этой первой, философской правдой. История вообще

только склад для моей фантазии, и предметы должны мириться с тем, во что они превращаются в моих руках.

На этой неделе меня посетил Мориц и доставил мне весьма приятное развлечение, так как мы коснулись моих излюбленных идей. Он весь проникнут Гете и в восторге от него. Гете наложил мощный отпечаток и на его ум, как он вообще обычно делает со всеми, кто приближается к нему. Я нахожу, что на Морица он повлиял хорошо. У Морица большая глубина ума и чувства. Он напряженно работает над собой, как это доказывает уже его «Антон Рейзер», написать которого мог лишь человек, хорошо умеющий познавать самого себя. Свои идеи он доводит до наглядной ясности. То, что его интересует, серьезно и содержательно. Он, видимо, сам очень совершенствуется.

Я боюсь только, что он выбирает себе образцы, к которым затем приближает себя, и как бы ни был прекрасен его выбор, подражание все-таки низкая степень совершенства. О Гете он, по-моему, говорит слишком панегирически. Это не вредит Гете, но вредит ему.

В общем, он нравится мне теперь больше, чем до его путешествия в Италию. Тогда мне казалось, что он слишком пытается выдать себя за вольнодумца. Теперь же он придерживается умеренной и благотворной философии. Я получил бы много удовольствия от общения с ним, если бы он жил здесь.

В Риме он нашел мою «Талию», и некоторые оттенки восприятия, рассеянные в Зонненвирте (в моем «Преступнике по бесчестью») и совпадающие с его Рейзером, поразили его. Он напечатал маленькую работу, которую сам объявляет своим наивысшим достижением. Тема ее — изобразительные искусства. Он даст мне прочесть ее в рукописи, и тогда я напишу вам о ней подробнее.

Простите, что сегодня я еще не посылаю вам письма к Вольцогену, а для того, чтобы вы не написали без меня, я, да простит меня господь, попридержу до следующей почты его письмо к вам, содержащее его адрес.

Будьте здоровы! Сегодня вечером я получу ваши письма.

Ш.

Не могу не пожелать вам счастливого Нового года, на этот раз лишь в прозе! Да продлит вам небо все то хорошее, что вы имели, и упасет вас от плохого! С 1788 годом пришел конец моему космополитическому образу жизни, и в этом году я предстану как бесполезный *слуга государства*.

Только что от меня ушел Бертух; он поднял мой дух весьма утешительной услугой. Он берется доставить мне издателя для выпуска «Мемуаров», платежеспособного и притом такого, которым он вполне может распоряжаться; он обещает, что мне заплатят по каролину за лист. Однако с тем условием, что я поставлю под этим произведением свое имя и каждый том снабжу оригинальным историческим очерком. Эта затея достаточно обеспечивает, при моей новой карьере, мое существование и притом — не отнимая у меня много времени. За три часа в день я управлюсь со всем тем, на что я буду жить. А остальных девяти, я надеюсь, хватит на изучение истории и подготовку к лекциям. Кстати, перевод «Мемуаров» не уводит меня от моих планов, и я тем самым буду еще больше жить Историей. Так вот, если у тебя будет охота время от времени что-нибудь присылать мне, ты всегда можешь иметь это в виду! Но только ты окажешь мне большую услугу, если избереешь *английские* мемуары, ибо это то, что входит в мой план, но мне самому пока еще не по плечу. Главный закон при этом — сокращение оригинала в переводе по крайней мере до трех пятых, плавный язык и местами небольшие поправки, если текст становится вялым.

Эту неделю я почти ничем не занимался, кроме «Истории немцев» Шмидта и «Очерка немецкого государственного устройства» Пюттера; последний в особенности пользуется моим полным одобрением. Вся их ценность должна особенно сказаться тогда, когда какая-нибудь солидная и подробная история немецкого государства уже подготовила тебя к тому, чтобы самому извлекать результаты, а по пюттеровской книге

только мысленно повторять их. В целом это очень ясно разработанная картина тех постепенных успехов, которые та или иная политическая и духовная власть достигала в Германии в ходе истории. Шмидт бесконечно ценен обилием источников, которыми он пользуется, и его сопоставления свидетельствуют о критическом подходе; но, с другой стороны, он много теряет от несвободного, пристрастного изложения. А в общем, меня радует это бесконечное поле, которое я должен пройти; в особенности немецкую историю я в дальнейшем намерен изучать целиком по ее источникам.

5 января.

На днях мне помешали продолжить это письмо, а сегодня я получаю твое. Что касается твоих цитат из истории Гиббона, то Виланда я все еще не видал: отчасти — потому, что я не выходил, отчасти же потому, что я боялся пойти к нему в дом, где лежала при смерти его мать, теперь уже похороненная. Если до отправки этого письма я получу от него письменное объяснение, я его приложу. Во всяком случае, ты можешь продолжать, твои статьи будут желанны в любом журнале.

Твое прилежание восхищает меня; охота, с которой ты теперь трудишься, окажет благотворное влияние на ход самой работы. Не придется долго раздумывать, чтобы пригласить тебя в «Меркурий». Одна короткая, исчерпывающая статья для дебюта у Виланда решила бы это. Позволь рекомендовать тебе осуществить это возможно скорей! Твой трактат в «Талии» я дам ему прочесть сейчас же, как только он выйдет в свет. Писать против него ты можешь не стесняясь, так как станешь, конечно, делать это тактично. Но для большей уверенности хорошо было бы, если бы ты, поскольку я лучше знаю некоторые оттенки в его характере, дал статье сперва пройти через мои руки. Стихотворение еще не отослано; ты получишь его в рукописи.

Относительно моего превращения в профессора, я надеюсь, мы с тобой еще сговоримся. Объяснение, ко-

торого ты от меня хочешь, собственно говоря, уже дано и будет дано еще более отчетливо. Реальная сторона этого дела та, что я на один-два года втягиваюсь в изучение истории, немедленно перерабатывая изучаемое для академического изложения. Для меня чрезвычайно важно в течение двух лет добиться такого вознаграждения, которое вполне обеспечило бы мое существование и дало бы солидный фонд для погашения долгов. Последние отравляют мне жизнь, а при таком душевном состоянии — прощай моя писательская деятельность! Я жажду покоя, свободы, и только мой нынешний шаг может привести меня к этому. Ты не знаешь, как теперь ищут профессоров с *именем* и часто на весьма хорошие условия. Так непременно будет через несколько лет и со мной, и только тогда начнется для меня настоящая жизнь! А моя теперешняя нужда пожирала все мое существо, и я дольше не вынес бы этого.

Будь здоров! В ближайшее время я напишу еще. Всем сердечный привет!

Твой Ш..

78. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 12 января 1789 г.

На днях я уладил твое дело с Виландом. Он уже давно знает о тебе с известной стороны через Гешена и Бертуха и питает к тебе полное уважение. Обычно статьи, присланные без комментариев и прошедшие с оценкой «хорошо», хотя сами по себе и не расширяющие круга подписчиков «Меркурия», оплачиваются одним каролином за лист; когда «Меркурий» еще не пал так низко, он давал три дуката. Ты можешь рассчитывать на эти три дуката как на самое меньшее, а так как теперь вообще все дело будет в *выборе* тобою *тем* и в том, явятся ли твои статьи лакомыми кусочками для Виланда, то в ближайшие годы, когда «Меркурий» оправится, ты сможешь договориться с ним о еще лучших условиях оплаты. За переводы я получаю также не больше одного каролина, и в суц-

ности за это нельзя больше и требовать. Пока что тебе надо заботиться только о двух вещах: о ходких и имеющих общий интерес темах (то есть таких, которые интересуют не *только* мыслящий ум) и о том, чтобы дробить их на *небольшие* статьи, а не растягивать в длинные трактаты, которые пришлось бы разрывать. Ты не поверишь, как отпугивает большинство читателей журналов задача взяться за основательную статью с продолжением. Если она кратка, они еще кое-как на это решаются!

Я советую тебе, хотя бы при посредстве лишь одного письма, познакомиться с Виландом и иметь дело именно с ним. Так будет во всяком случае приличнее для тебя, да и я хотел бы, чтобы вы стали знакомыми. Только аккуратного корреспондента я не могу обещать тебе в нем. Это недостаток, который все согласились прощать ему. Гиббона, по его мнению, следовало бы снабдить примечаниями; он сделал бы их сам, если бы не был сейчас завален другими делами. Кроме того, он полагает, что Гиббон уже переведен. Насколько я знаю — еще не весь, и было бы хорошо, если бы то, что выберешь ты, принадлежало к непереуведенному.

Пришли мне как можно скорее то, что у тебя готово. Посылаю тебе мое стихотворение. В нем не хватает только третьей строфы, так как между второй и четвертой я вычеркнул полных две страницы, ибо стихотворение слишком уж разбухло. Содержание этой отсутствующей строфы следующее: «Искусство образует связующее звено между *чувственной* и *духовной* сторонами человека и уравнивает мощное тяготение человека к его планете; оно облагораживает чувственный мир духовной иллюзией, приглашает дух вернуться к миру чувств и т. п.»

Я очень хотел бы, чтобы ты нашел время и охоту сказать мне побольше, в общем и в подробностях, об этом стихотворении. Это вдохновит меня на то, чтобы в последний раз обратиться к нему и поработать над ним; и вообще для своего внутреннего существования я теперь очень нуждаюсь в таком воздействии извне.

Я доволен, что ты так деятелен и что эта деятельность тебя радостно настраивает. Она сулит тебе и

мне радостные дни. Будем надеяться, что и мои станут светлее, насколько это зависит от внешних обстоятельств.

В. Мое стихотворение через неделю опять должно быть в моих руках, сообразуйся с этим! Будь здоров. Сердечно приветствую женщин!

Шиллер.

79. КАРОЛИНЕ ФОН БЕЙЛЬВИЦ

Веймар, 5 февраля 1789 г.

Мое письмо, которое я сдал на почту в прошлый вторник, вы, вероятно, уже получили. Сообщите мне при ближайшей okazji день его получения, для того чтобы впредь я мог с этим сообразоваться.

О, почему я не знал дня вашего рождения! Я отметил бы его в тиши веселой беседой с самим собой о нашей дружбе, о приятных воспоминаниях, надеждах и замыслах. Я чувствовал бы себя ближе к вам и помог бы, хотя бы в мыслях, умножить ваш радостный круг. Меж тем случайная взаимная связь вещей все-таки сделала его для меня приятным днем. В этот день я окончил «Художников», и так, что доволен ими. Должен сам похвалить себя. Я еще не сделал ничего столь совершенного, но и не затратил ни на что столько времени. Впрочем, увидите сами!

Ваше письмо написано в очень веселом настроении, вы живете в мире с собой и со всем миром. Как мне хотелось бы сейчас быть с вами и настроиться на этот тон! Все мои наслаждения я должен извлекать из глубины моей души; природа ничего не дает мне, а людей я не ищу. Для того чтобы я был счастлив, мне нужен замкнутый круг, уже существующий без моего участия, в который я мог бы просто войти и который я находил бы радушно настроенным. Вот почему мне всегда было так хорошо у вас, а чувства дружбы только возвышали и умножали это счастье, но не создавали его. Даже если бы мы не были такими друзьями, общение с вами осталось бы для меня желанным. Здесь я не нашел бы ничего подобного, даже если бы искал. Либо люди поглощены своим «я» и всем, что имеет к

нему отношение, и тогда *одержимы* и неменяемы, либо их портит для меня их *façon*. Подле них, конечно, можно развлекаться, но не наслаждаться! Правда, бывают исключения, к ним я отношу г-жу фон Штейн и кое-кого еще, но их обществом я не всегда могу пользоваться, когда того хочу.

О Гете мне хотелось бы как-нибудь доверительно высказать перед вами свое суждение, но я легко мог бы допустить опрометчивость, так как вижу его чрезвычайно редко и могу исходить только из того, что особенно впечатляет меня в его образе действий. Гете, насколько я знаю и слышал, не излил своей души ни перед одним человеком. Своим умом и тысячей любезностей он приобрел друзей, почитателей и обожателей, но себя он всегда сохранял, себя никогда не отдавал. Я боюсь, что он из высшего наслаждения себя-любием создал себе идеал счастья, при котором он вовсе не счастлив. Такой характер не нравится мне, себе я бы его не желал, и близ такого человека мне не было бы хорошо. (Отложим это суждение в сторону! Может быть, будущее разовьет его, а еще лучше, если оно его опровергнет.)

Статьи Дидро о морали, которые вам обоим доставили столько удовольствия, я еще должен прочесть, как и вообще мне еще надо прочесть многое. Как счастливы вы, что можете так всем наслаждаться, счастливы, как невинные дети, о которых заботятся, не позволяя им даже думать о том, откуда все берется! Вы проходите через литературную жизнь, как по саду, срываете и нюхаете, что вам нравится, тогда как садовник и его подручные за бесконечной работой не находят времени порадоваться своим насаждениям и всему окружающему.

Будьте здоровы! Мой портрет я вам еще раздобуду. Загляните в прилагаемую книгу, она принадлежит молодому начинающему писателю, из которого, наверно, еще выйдет толк. Уже большая культура в языке, плавный диалог, мягкость чувства, особенно в «Клемене», правда — при большой примеси плака. Adieu!

III.

Веймар, 25 февраля 1789 г.

На этот раз ты изрядно потрудился: три письма в двух пакетах и рукопись. Я не нахожу для тебя хвалебных слов! Рукопись я прочту; итак — о письмах.

На тему *искусства*, которую мы случайно подняли, мы могли бы вести чудесную переписку, но еще лучше могли бы *говорить*, ибо, — я не знаю почему, — но эти идеи совсем иначе развиваются в беседе. Меня злит, что я тотчас же не набросал того, что было сказано об этом в моей беседе с Виландом, а теперь я уже не могу восстановить связь. Когда он ушел, мне нужно было сделать что-то спешное, и я не мог взяться за письма. Он оставил мне «Художников», для того чтобы я внес в них несколько изменений, о которых мы договорились. В связи с этим и с предшествовавшим разговором мне захотелось еще раз просмотреть стихотворение, и тут мне удалось заметить в нескольких местах искажения и полуправду, удивительно портившие тот лучший аспект, в котором нужно рассматривать целое. Я почти все переиначил, и ты будешь поражен тем Страшным судом, который тут был совершен. Теперь включена целая цепь строф, имеющих своим содержанием доказательство того, что в прежней редакции было брошено на бумагу без всяких аргументов. Я рискнул высказать несколько своих идей о происхождении и дальнейшем ходе искусства, а затем двумя-тремя мазками кисти обозначил, *каким образом* из искусства развилась остальная научная и нравственная культура. Целое теперь лучше держится вместе, а так как то, с чего я начинаю, в ходе стихотворения доказывается и на него же в заключении дается ссылка как на результат, стихотворение стало теперь замкнутым кругом. Правда, оно сделалось объемистее, ибо в нем теперь втрое больше строк, чем ты прочел, но многое из читанного тобой отпало, так что ты найдешь свыше двухсот новых стихов. Мне очень хочется знать, каким оно теперь покажется. Начало вышло прямо превосходно! Я должен сам себя похвалить. Виланд споткнулся на самом пороге. Он не хотел признать это

стихотворением, а объявил философской поэзией, наподобие «Ночей» Юнга и т. д. Аллегория, которая не *выдерживается* и каждый миг либо теряется в новой аллегории, либо даже переходит в *философскую истину*, беспорядочное перемешивание *поэтически верных и буквально верных* мест — все это смущает его. Он не находит единства формы, дающего целостность. Красочный язык и расточительные переходы от образа к образу ослепляют его, так что он из-за света ничего не видит, и т. п. Он говорит, что это поэзия в английском вкусе, и признается, что не любит ее, хотя критически и не может прямо отвергнуть. Я нахожу, что эта манера должна сама себе вредить, если она ошибочна. Если не понять и не схватить, чего хочет поэт, если перегрузка деталями уводит от идеи целого, то такая поэзия, само собой разумеется, ошибочна. Но если во всех этих новых формах находить все ту же самую мысль и если они в естественной последовательности примыкают одна к другой, то, думается мне, это изобилие должно быть только лишним достоинством. Самая главная забота художника — это чтобы основная мысль, вокруг которой все движется, получила невысшую степень наглядности. Виланд ставит мне в упрек, что я не обладаю легкостью; он также не допускает, чтобы я мог приобрести ее в такой мере, как он. У Гете ее, якобы, тоже не было, но он приобрел ее. В процессе работы я слишком хорошо ощущаю, что он прав, но я чувствую также, от чего это зависит; а это дает мне надежду, что я в этом могу весьма исправиться. Идеи притекают ко мне недостаточно обильно, как бы ни были содержательны мои работы, и затем мои идеи не ясны, пока я не начинаю писать. Избранная тема, заполняющая ум и сердце, идеи, светло брезжущие перед тем, как сядешь набросать их на бумагу, и легкий юмор — все это необходимый реквизит для такого свойства; и если когда-нибудь я сумею сладить с собой настолько, чтобы выполнить эти три условия, то и легкость придет сама собой.

Лирическую область, которую ты мне отводишь, я рассматриваю скорее как *место ссылки*, чем как *завоеванную провинцию*. Это самая мелкая и неблагодар-

ная из всех областей поэзии. Написать иной раз стихотворение — на это я согласен, хотя время и труд, затраченные мною на «Художников», отпугивают меня от этого на долгие годы. В области драматургии я намерен сделать еще несколько попыток. Но с Гете я мериться не стану, если он захочет пустить в дело всю свою силу. Ему дано гораздо больше творческой мощи, нежели мне, притом он гораздо богаче знаниями, у него верное понимание чувств, а кроме всего этого — художественный вкус, очищенный и утонченный знакомством с самыми разнообразными искусствами, чего мне не хватает настолько, что это прямо-таки доходит до невежества. Не будь у меня некоторых других талантов и не умудрись я перетащить эти таланты и навыки в область драмы, я и на этом поприще совсем не был бы замечен рядом с ним. Но я, можно сказать, выработал себе свой особый вид драмы по моему таланту, дающий мне известное преимущество именно в том, что он мой собственный. Когда мне хочется свернуть в сторону реалистической драмы, я очень остро ощущаю превосходство надо мной его и многих авторов прежних времен. Но это не отпугивает меня. Чем больше я ощущаю, *скольких* и *каких* талантов или необходимых условий мне не хватает, тем живее я убеждаюсь в реальности и силе *того* таланта, который, несмотря на эти недостатки, довел меня до того, чем я уже стал. Ибо без большого таланта в одном отношении я не мог бы настолько восполнить такой большой недостаток в другом отношении, как это случилось, и вообще не мог бы достигнуть влияния на *умы*. Виланд сам неоднократно признавался мне, что я во многом превосхожу его. Обладая таким искусством, должен же я сделать что-либо, чтобы я мог поставить какое-либо свое художественное произведение рядом с его произведениями!

То, что ты говоришь мне о будущих пересмотрах моих нынешних вещей, пожалуй, верно. Братся за это *теперь* было бы мне мало приятно, да и удалось бы это плохо. Мое очередное произведение, которое едва ли появится в ближайшие два года, должно решить вопрос о моем драматургическом направлении.

В драме я все же больше всего верю в себя, и я знаю, на чем основана эта уверенность. До сих пор планы, которые я выбирал по воле слепого случая, крайне смущали меня, так как композиция получалась слишком громоздкой и в то же время слишком смелой. Дай мне разок заняться простым планом и сосредоточиться на нем. Такой план у меня на примете, и с ним я и буду дебютировать. «Человеконенавистник» для меня слишком сложен и труден, чтобы на нем я мог впервые испробовать новую манеру. Но может случиться, что «Человеконенавистник» когда-нибудь заложит основу моего признания.

Постановка «Карлоса», может быть, заинтересовала вас. Из нас пятерых я единственный, кто еще не видел его в исполнении, да так скоро и не увидит. Тем лучше! Если я через три или четыре года в первый раз увижу его, этот спектакль, наверное, будет иметь для пьесы важные последствия.

Твой перевод поступил слишком поздно для мартовского «Меркурия». Поэтому, если ты хочешь дебютировать у Виланда оригинальной работой, я могу пока оставить его у себя, так как у него рукопись все равно пролежала бы втуне от двух до трех недель.

Мой договор с Мауке в Иене насчет «Мемуаров» составлен в письменном виде, и благодаря посредничеству Бертуха он очень выгоден для меня. Если он выпустит этот труд и вторым изданием, то я получу еще по два талера с листа. Если же я просмотрю всю вещь заново, с тем чтобы он мог поставить на титульном листе *«улучшенное издание»*, мне будет причитаться полный гонорар в один каролин. Обусловлено, что при сдаче всей рукописи для одного тома он немедленно выплатит мне шестнадцать каролинов наличными, остаток — по выходе из печати.

Во «Всеобщей литературной газете» напечатана весьма одобрительная рецензия на мою «Историю Нидерландов». Я прилагаю ее, так как у меня два экземпляра. Эта рецензия, при нынешних обстоятельствах, в самом деле не лишена для меня значения.

Будь здоров и напиши мне поскорей столь же щедро. Ты доставил мне большую радость. Привет

Минне и Доре. *Воп mot*¹ Минны насчет климата очень удачно. Шарлотта всем кланяется. Хотя я вижу ее редко, но чаще все-таки, чем кого-либо из здешних. Скоро она опять напишет тебе. Приветствуй от меня вторую Минну, благодарю ее за добрую память.

Adieu!

Ш.

81. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 9 марта 1789 г.

Только что я получил два твоих письма и не могу придумать ничего лучшего, чем сразу же ответить на них. Спор о «Художниках», поскольку он касается тебя и меня, близок к своему разрешению, так как либо я получу номер «Меркурия» и успею вложить его в это письмо, либо это произойдет в следующую пятницу. Я не боюсь проиграть свой процесс.

Это *стихотворение*, а не философия в стихах; и оно именно *тем* неплохо, что это нечто большее, нежели простое стихотворение. Я хотел бы, чтобы мы с тобой могли со всех сторон обсудить его. А в общем стихотворение слишком выдающееся, чтобы не вызывать суждений публики. Подождем же их!

Меня удивляет, что ты больше ничего не написал о своих сомнениях по поводу философского разговора в «Духовидце». Если бы «Духовидец» до сих пор продолжал интересоваться меня, или, вернее, если бы мне не пришлось отправлять его по частям раньше, чем успел созреть во мне этот интерес к целому, разговор, конечно, был бы дольше подчинен этому целому. Но так как этого не случилось, то что же я мог еще сделать, как не сосредоточить силы своего сердца и ума на подробностях, и чего еще при таких обстоятельствах может требовать от меня читатель, кроме того, чтобы я занял его интересной темой, изложенной не без мыслей? Но, по-моему, ты не прав, утверждая, будто образ действий принца должен объясняться его

¹ Острое словцо (*фр.*).

философией. Он должен вытекать не из его философии, а из его *неуверенного* положения между этой философией и культивированными им прежде чувствами, из недостаточности этого рассудочного здания и из происходящей отсюда беспомощности его существа. Твое заблуждение состоит в том, что ты думаешь, будто эта самая философия должна задавать тон его образу жизни. Напротив, его неудовлетворенность своей философией задает этот тон! Его философия, как ты сам нашел, не имеет цельности, ей не хватает последовательности, и это делает его несчастным, и от этого несчастья он пытается бежать, приблизившись к *обыкновенным* людям. А в остальном меня радует, что в оценке известных мест твой вкус совпадает с моим, но замысел, осуществленный в произведении и воплотившийся в новой манере изложения, повидимому, произвел на тебя меньшее впечатление, чем я ожидал. Это могло быть от того, что все это тебе уже не ново, но я, никогда не читающий и не читавший ничего в этом роде, должен был извлекать все из самого себя. Так например, тот факт, что нравственное поведение определяется только большей или меньшей энергией, освещено, как мне кажется, с разных сторон и доказано довольно основательно. Вообще, я на этой работе учился, а это значит больше, чем получать по десять талеров за лист. Противопоставь эту философию (само собой разумеется, за вычетом той, которую я должен был придать принцу как поэтическому персонажу) философии Юлия, и ты, наверное, найдешь ее более зрелой и обоснованной.

Под твоим отзывом об «Ифигении» я, в основном, вполне подписываюсь, и мотивы, которыми ты оправдываешь мою работу над нею, это и мои мотивы: научиться на этой работе большей простоте в плане и стиле. Добавь еще, что, при более близком знакомстве с греческими произведениями, я в конце концов абстрагирую из них правдивое, прекрасное и впечатляющее и, опуская малоценное, строю себе из этого некий идеал, чем мой нынешний исправляется и полностью обосновывается,— и ты не станешь меня порицать, если иной раз мне хочется этим заняться. Времени и труда это

мне, конечно, стоило немало, особенно те места в Еврипиде, которые плохи. Хоры у меня выиграли, я хочу сказать — в том, в чем у многих других переводчиков они не выиграли бы, ибо в оригинале они, может быть, хороши благодаря интонации. Так вот, если ты имеешь два последних акта полностью (твоя же идея — стараться глубже вникнуть в оригинал и, может быть, добиться еще большего улучшения перевода), то шутки ради пробеги мой перевод вместе с латинским — Джошуа Барнса; ибо этот латинский перевод как наиболее верный и был, собственно, моим оригиналом. Тогда ты, может быть, признаешь, что я должен был иметь много собственного вдохновения и много вложить от себя, чтобы так сносно выполнить эту работу. Я вызываю многих из наших поэтов, которые так широко пользуются своими знаниями греческого и латыни, дать при таком мало волнующем тексте столько, сколько дал я. Я не мог разбираться, как они, в тонкостях греческого языка, я вынужден был *разгадывать* свой оригинал, или, лучше сказать, я вынужден был его себе создавать.

Мне смешно, когда я вспоминаю, чего только я не написал тебе про Гете. Ты, наверное, ясно увидел меня во всей моей слабости и от души надо мной посмеялся. Но это не беда! Я хочу, чтобы ты знал меня таким, каков я есть. Ничего не поделаешь, этот человек, этот Гете, стоит мне поперек дороги, и он часто напоминает мне, как круто судьба обошлась со мной! Как легко был вознесен *его* гений судьбой, а я до этой самой минуты все еще должен бороться! Всего упущенного мне уже не наверстать: после тридцати лет себя уже не переделаешь, да и в ближайшие три или четыре года я не мог бы приняться за это, так как должен пожертвовать самое меньшее еще четыре года на устройство своей судьбы. Но я еще не потерял мужества и от будущего жду счастливого переворота. Если бы ты мог в течение года найти мне жену с приданым в двенадцать тысяч талеров, с которой я мог бы жить и к которой я мог бы привязаться, я дал бы тебе в ближайшие пять лет одну фридрициаду, одну классическую трагедию и — раз уж ты так по-

мешался на этом — полдюжины хороших од, а тогда академия в Иене может лизать мне...

Ты хочешь знать, как я здесь живу. Ты угадал: я мало бываю в обществе. После того как я вернулся из Р., люди вначале дивились, что меня совсем не видно, но в конце концов они к этому привыкли и теперь больше не дивятся. Так всегда и бывает! Я отклонил несколько *dîners* и *soupers*¹, и тогда приглашения прекратились. Бертух, гофрат Фойгт и кое-кто еще иногда навещают меня, а я — их. К Виланду я не захожу целыми месяцами и, когда у нас бывают общие дела, поддерживаю в виде обмена записками это знакомство, которое я, по своему желанию, в любую минуту могу делать то более, то менее близким. А Шарлотту я все-таки посещаю чаще, чем других. В эту зиму она здоровее и в общем веселее, чем в прошлую. Мы очень хорошо ладим, однако, с тех пор как я снова здесь, во мне развились принципы свободы и независимости, которым мое отношение к ней, как и ко всем прочим людям, должно слепо подчиняться. Все романтические воздушные замки рушатся, и остается лишь то, что правдиво и естественно. С каждым днем все дороже становится мне наша с тобой дружба, сколь благотворна она уже была для меня! Подобной дружбы я ни с кем больше не мог бы завязать, ибо ты не поверишь, какая мизантропия проникла в мое мышление. Страдания, ошибочные суждения о людях, обманутые ожидания сделали меня робким и недоверчивым в общении с людьми. Я утратил легкомысленную, радостную веру в них; поэтому нужно очень мало, чтобы пошатнуть мое доверие к человеку; в особенности, если у меня есть причина думать, что и его собственный строй мыслей, его склонности еще не тверды.

Почему мы вынуждены жить вдали друг от друга? Если бы до того, как от вас уехать, я не чувствовал так глубоко «деградацию» моего ума, я никогда не покинул бы вас или же скоро к вам вернулся. Но как печально, что счастье, которое доставляла мне наша тихая совместная жизнь, было несовместимо с тем

¹ Обедов и ужинов (фр.).

единственным делом, которым я не могу жертвовать даже для дружбы, — с внутренней жизнью моего духа. Об этом шаге я никогда не буду жалеть, так как он был хорош и необходим, но это все-таки жестокое лишение, тяжелая жертва ради неопределенного блага!

Ты подумашь, что я сегодня настроен ипохондрически или чем-либо недоволен, но это не так. Я спокоен и не грущу. Эти чувства вызвали во мне раздумье над моим положением.

В Иене меня ожидает сносное, в смысле общества, существование, из чего я думаю извлечь больше выгод, чем извлекал до сих пор. Мое одинокое бытие и не могло бы там продолжаться, так как там я — то, чем никогда не был: член целого, которое держится более или менее вместе. В Иене я, собственно, впервые гражданин, обязанный блюсти какие-то отношения, лежащие вне его. А так как последние не так уж обременительны, раз надо мной там никто не стоит, я надеюсь к этому приспособиться. Когда я обживусь на новом месте, у меня найдется многое, о чем тебе писать. Некоторые уже заранее рады мне: дом Шютцев предан мне. Я не поручусь, что скоро не свяжу себя где-нибудь, если обстоятельства будут очень благоприятны. У меня нет на свете более важного дела, как успокоение моего духа, откуда вытекают все мои высшие радости. Могу ли я оказаться слишком торопливым в стремлении способствовать этому высшему интересу? Я должен быть всецело художником или вовсе перестать жить.

Поскорей напиши мне, если у тебя будет время. Ты забыл сообщить мне, в *какой* день ты получил мое письмо. Сделай это на сей раз! Я пользуюсь теперь новым почтовым днем, и мне надо знать. Твое письмо от 3 марта я получил лишь 9-го. Итак, лучше оставайся при старом почтовом дне. Минне и Дорхен привет!

Твой Шиллер.

Твой перевод из Гиббона я сегодня отослал Виланду.

Веймар, 10 марта 1789 г.

Я только что возвратился из воображаемого путешествия. Насморк помешал мне писать, и тогда я отпустил удила своей фантазии. Твоя идея о том, чтобы я претворил какой-нибудь замечательный поступок Фридриха Второго в эпическое стихотворение, начинает проясняться для меня и иногда заполняет радостные часы моего досуга. Мне кажется, что это еще когда-нибудь осуществится. Не думаю, чтобы я был лишен особых талантов, нужных для эпического стихотворения. Глубокое изучение нашего времени (ибо в том, что это и есть пункт, вокруг которого все там должно вертеться, ты, наверно, убежден, как и я) и такое же глубокое изучение Гомера подготовят меня к этому.

Эпическое стихотворение в восемнадцатом веке должно быть чем-то совсем иным, чем в эпоху младенчества мира. Именно это и притягивает меня к твоей идее: наши обычаи, тончайший аромат нашей философии, наше государственное устройство, домашний быт, искусства — короче, все должно быть там *изложено* непринужденным образом и жить в прекрасном гармоническом единстве, как в «Илиаде» наглядно живут все отрасли греческой культуры и т. д. Ты меня поймешь! Я также ничего не имею против того, чтобы изобрести нужный мне для этого механизм. Ибо я хотел бы и должен строжайшим образом выполнить все требования, которые предъявляют эпическому поэту в отношении формы. Люди уж так своенравны (и, может быть, они не так уж неправы), что отрицают за художественным произведением всякую классичность, если его *категория* не определена самым точным образом. Механизм же этот, который, при столь современном материале и в такой *прозаический* век, по видимому, встречает величайшие трудности, может в большой мере повысить интерес, именно если он будет приспособлен к этому современному духу. В моем уме смутно роятся всевозможные идеи на этот счет: все это еще как-нибудь прояснится. Но какой размер я бы выбрал, и выбрал весьма решительно, ты едва

ли угадаешь: не иной, как *ottave rime*!¹ Все другие, за исключением ямбического, мне смертельно претят. И как приятно серьезное, возвышенное должно играть в таких легких узах. Как должно выигрывать эпическое содержание от мягкой, нежной формы хороших стихов! Надо, чтобы их можно было *петь*, как греческие поселяне поют «Илиаду», как гондольеры в Венеции поют стансы из «Освобожденного Иерусалима». Я считаю себя в силах писать прекрасные стихи, и некоторые строфы в «Художниках» не оставят у тебя сомнения в этом. Думал я и о том, какую эпоху из жизни Фридриха мне выбрать. Я охотно взял бы какую-нибудь бедственную ситуацию, которая позволила бы несравненно поэтичнее обрисовать его дух. Например, битву при Коллине и предшествовавшую победу под Прагой или печальное стечение обстоятельств перед смертью императрицы Елизаветы, которое затем так счастливо и так романтично разрешается с ее смертью. Главное действие должно быть, по возможности, очень простым и незапутанным, для того чтобы целое все время оставалось легко обозримым; здесь нет лучшего образца, чем «Илиада». Гомер, например, дает характерное перечисление объединившихся греков и народов троянского союза. Как интересно было бы наглядно изобразить главнейшие европейские нации, их характерные черты, их образ правления и в шести — восьми стихах их историю! Какой интерес для нынешнего времени! Статистика, торговля, земледелие, религия, законодательство — все это часто можно было бы живо представить в трех словах. Немецкий рейхстаг, парламент в Англии, конклав в Риме и т. д. Прекрасный памятник поставил бы там и Вольтеру. Чего бы мне это ни стоило, я прежде всего выставил бы там в полной славе *свободного мыслителя*, и все стихотворение должно носить этот отпечаток.

Давай будем иной раз беседовать между собой об этой «Фридрициаде»!

На этой неделе я, без сомнения, получу формальное назначение в Иену. Рескрипты все там, и вчера

¹ Октавы — стихотворный размер (*ит.*).

мне пришлось уже послать туда объявление о моих лекциях на это лето. Я сумел устроиться с этим оповещением довольно удачно. Так как этим летом я хотел быть возможно менее загруженным и все-таки хотел овладеть всеобщей историей (которую иначе мог бы перехватить, как *res derelicta*¹, мой коллега Гейнрих), я объявил и только для формы введение в мировую историю как *publicum* — и мое нидерландское восстание как *privatum*, чего я, однако, не собираюсь соблюсти! Мне сказали, что я потом могу сделать; как захочу. Мне довольно будет заявить, что у меня еще не набралось достаточного числа слушателей или что-нибудь в этом роде. В октябре я это переверну наизнанку: сделаю из последнего *publicum*, а из всемирной истории *privatum*. Это даст ту выгоду, что из тех, кто начнет летом слушать ее как *publicum*, бесплатно, многие, может быть, станут слушать и дальше, если их будет привлекать моя манера чтения. Также и Шютц пишет мне, что лучше не объявлять на лето этот *privatum* о нидерландской революции, так как для такого специального предмета было бы совершенно невозможно собрать приличное число слушателей, а он не хотел бы, чтобы мой первый *privatum* так зачах. Никто не посмотрит косо, если я стану читать только *publicum* и лишь с осени начну по-настоящему. О пробной лекции или диспуте нет и речи, поскольку меня приглашают как профессора. Шютцы подыскали мне и квартиру, которая будто бы очень хороша, мебель и аудитория к ней за сорок талеров. Как только я явлюсь к герцогу и получу назначение на должность, я на день съезжу в Иену и налажу все необходимое.

83 ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 30 марта 1789 г.

Твое письмо я получил в тот миг, когда ушло мое. Ты им очень обрадовал меня. Твой отзыв о «Художниках» совпадает с моими ожиданиями; мы знаем друг друга! Боюсь, что твое замечание насчет некоторой

¹ Вещь без хозяина (*лат.*).

туманности выражений справедливо, отзывы некоторых читателей подтверждают его. Да и Виланд кое-чего не понял. Эта туманность тем более огорчает меня, что она касается некоторых отличных мыслей, которые я хотел представить в особенно ярком свете. Разберем те, которые ты отобрал.

1) *Дитя красоты... приняла.* Я хочу сказать: каждое произведение искусства, каждое творение красоты есть некое целое, и пока оно занимает художника, оно — его особая, единственная цель; например, отдельная колонна, отдельная статуя, поэтическое описание. Оно само дает удовлетворение. Оно может существовать само по себе, оно закончено в себе. Но теперь я говорю, что искусство, идя дальше, превращает эти отдельные «целые» в части нового, большего целого, то есть его конечная цель уже не в них, а вне их, почему я и говорю: «она потеряла *венец*». Статуя, которая как бы властвовала, отдает это преимущество храму, который она украшает; характер какого-нибудь Гектора, сам по себе уже совершенный, является лишь второстепенным звеном в «Илиаде»; отдельная колонна служит симметрии. Чем богаче, чем совершеннее становится искусство, тем больше отдельных целых оно предлагает нам, для того чтобы мы наслаждались ими как частями большого целого, или тем сложнее и пышнее *разнообразие*, в котором оно предоставляет нам находить *единство*. Если я дальше говорю, что Зевс Фидия «склоняется» в своем храме в Олимпии, то я этим не сказал ничего иного, как следующее: эта статуя, которая сама по себе была бы предметом всеобщего восхищения, перестает оказывать одна свое воздействие, находясь в храме, и *только вносит свою долю в суммарное впечатление* величественности и т. д., вызываемое ансамблем всего храма. Однако подлинная красота этого места лежит в намеке на согбенное положение олимпийского Юпитера, который в этом храме был изображен *сидящим и так*, что должен был бы поднять крышу, если бы выпрямился. Кто это знает, в том мое выражение «склоняется» пробудит приятную ассоциацию. Лично мне это согбенное положение олимпийского Юпитера всегда очень нравилось, потому что оно

как бы говорит, что бог снизошел и приспособился к ограниченному бытию человека и что все рухнуло бы под ним, если бы он *выпрямился*, то есть явил себя богом.

2) *Которых его вожделение не вбирает в себя.* В основе чувственного желания лежит известное стремление включить предмет этого желания в себя, вобрать его в себя, и это — начиная с вожделений неба до чувственной любви. Чувственное желание разрушает свой предмет, чтобы сделать его частью вожделеющего существа.

3) *Дикий напор страстей... в ход миров.* Моральные явления, страсти, поступки, судьбы, взаимоотношения которых человек не всегда может проследить и обозреть в великом ходе природы, поэт располагает *искусственно*, то есть придает им *искусственную* связь и разрешение. Такой-то поступок он сопровождает чувством счастья, такую-то страсть он заставляет приводить к тем или этим поступкам, эту судьбу он выводит из таких-то поступков или таких-то характеров и т. д. И человек мало-помалу научается переносить эти искусственные соотношения в ход природных явлений, и тогда, заметив отдельную страсть или поступок в себе или около себя, он придает им — по известной реминисценции из своих поэтов — тот или иной мотив, ту или иную цель, то есть он мыслит их как часть или звено некоего целого, ибо его изошренное художественными произведениями чувство соразмерности больше не терпит *фрагментов*. Везде ищет он симметрии, с которой познакомил его искусство. Но...

4) ...этот закон соразмерности он прилагает к действительному миру слишком рано, так как многие части этого огромного здания еще скрыты от него тьмою. Поэтому, для того чтобы удовлетворить свое чувство соразмерности, он вынужден оказывать природе искусственную помощь, он вынужден как бы давать ей займы. Например, ему не хватает света, чтобы обозреть жизнь человека и распознать в ней прекрасные соотношения морали и счастья. Он находит в своем ребяческом воображении диспропорции. Но поскольку его ум уже освоился с соразмерностью, он из своего поэтического самовластия дарит жизни вторую сораз-

мерность, чтобы в этой второй растворить диспропорции современных ему явлений. Так возникла поэзия о некоем бессмертии. Бессмертие — продукт чувства соразмерности, по которому человек хотел судить о моральном мире до того, как он мог достаточно обозреть его.

5) Сравнение: тень на лице месяца и т. д. в моих глазах необычайно ценно. Человеческая жизнь, говорю я в предшествующих стихах, представляется человеку в виде дуги, то есть незаконченной части круга, которую он продолжает сквозь мрак могилы, чтобы завершить цикл (дать управлять собою красоте или художественному чувству — это ведь не что иное, как иметь склонность все делать до конца, все доводить до завершения). Так вот, молодой месяц представляет собой такую дугу, остальная же часть, — которой еще не хватает, чтобы сделать круг полным, — не освещена. Итак, я ставлю рядом двух юношей, один из которых освещен, а другой нет (с перевернутым светильником); первого я сравниваю с освещенной половиной месяца, а второго — с темной. Иначе говоря, древние, изображая гения смерти, представляли его таким же прекрасным юношей, как и его брата — гения жизни, но придавали ему опрокинутый факел, чтобы отметить, что его не видно, точно так же, как мы верим в полный диск месяца, хотя бы последний являлся нам сейчас лишь как дуга или рог. В этом месте я думал об одном сравнении Оссиана, которое я пытался облагородить. Оссиан говорит о ком-то, близком к смерти: «Смерть стояла за ним, как черная половина месяца за его серебряным рогом». Вообще всю эту строфу нужно читать, живо ощущая основную мысль: что человек, в котором однажды зародилось и стало господствующим чувство красоты, благозвучия и соразмерности, не может успокоиться, пока он не растворит всего вокруг себя в единстве, не соберет всех обломков в целое, не завершит всего неполного или, что то же самое, пока он не приблизит всех форм вокруг себя к наиболее совершенной.

Я нахожу, что трудно комментировать самого себя, по крайней мере письменно. В разговоре ты быстро уяснил бы себе мои представления. Все же они, быть может, содержатся в этом немногом.

Теперь наспех еще о делах. Чтобы погасить долг Бейту (что было бы невозможно из денег, следуемых мне от Гешена, так как одни только профессорские и магистерские пошлины, вместе с самым необходимым по прочему моему устройству, уже отнимают у меня свыше ста пятидесяти талеров), я нашел средство, которое кажется мне вполне осуществимым. Если я дам переписать все мои мелкие прозаические статьи, самостоятельные работы и переводы, плохие и хорошие, получится в сумме от 25 до 30 листов. Если я соберу свои стихи, выбросив только совсем плохие, это составит еще 10—12 листов. Если мне заплатят по одному каролину за лист, я мог бы заработать на этом до 40 каролинов. Произведя такой расчет, я написал Крузиусу. Я хочу-де собрать отдельные мои статьи и стихотворения и выпустить их в трех томиках. Я требую 1 каролин за лист, но с тем условием (*sine qua non*¹): 1) чтобы мне было уплачено, как только я сдам ему в руки полную рукопись, и 2) чтобы это было напечатано лишь к будущей пасхе, а за месяц до нее чтобы все было прислано мне для просмотра. Зато я обязуюсь учесть ему по этим деньгам проценты за год и перевести ему всю сумму задатка, как только я снова потребую рукопись от него для просмотра. Таким образом, книготорговец будет обеспечен от всех случайностей, буду ли я жить или умру, а что касается самого этого собрания, то за год мне нужно будет написать всего лишь одну единственную историческую статью, чтобы можно было заменить ею все посредственные.

На свое письмо Крузиусу я еще не получил ответа, но статьи я на всякий случай уже дал переписывать. Заключить договор я могу когда угодно и найду издателя безусловно. А когда я его найду и рукопись будет готова вся, то я или, может быть, еще лучше ты могли бы без риска брать деньги под этот товар. Напиши мне в ближайшем письме об этом!

Первые три номера «Меркурия» пришли мне обратно. В дальнейшем я обеспечу тебе получение журнала. Все дело в том, смогу ли я высылать его тебе из Иены скорее, чем Гешен — из Лейпцига.

¹ Необходимым (*лат.*).

Твою статью я жду с большим нетерпением. Я думаю, что могу угадать твои намерения и что твои старые идеи о *вдохновении* нашли себе хорошее место в этой статье. Постарайся доставить ее мне поскорей. Высылай!

Мишне и Дорхен от меня сердечный привет. Будь здоров!

Шиллер.

Кое-что на придачу! Некому лицу из здешних, якобы имеющему много вкуса и претендующему на большое чутье, довелось прочесть «Художников». Через некоторое время мне случилось беседовать с ним. В «Художниках», начал он, *кое-что* (он подчеркнул это, как я пишу) ему весьма понравилось. Но кое-что и не понравилось, и особенно — места, где предполагается разница между душой и телом. (Этот некто изрядный материалист, надо тебе сказать!) Стихи, как ему кажется, тоже хороши и плавны. Начало стихотворения ему не понравилось. Когда я его спросил, почему? — ответ был: причина лежит в выражении «О человек!» Это слово содержит некрасивый второй смысл и т. д. Я хочу, чтобы ты *написал* мне по поводу этого *отзыва*, исходя именно из того, что я тебе здесь привел. Зачем это мне, ты когда-нибудь узнаешь.

В. Этот человек хотел (в известной мере должен был) сказать — и думал, что сказал мне, — приятное. Он даже заметил мне в другой раз, что у него такое живое чувство красоты в поэзии, что он с трудом удерживается, чтобы не поцеловать книгу, которая ему нравится. Не забудь написать мне об этом «некто», которого ты не знаешь, твое *сокровенное* мпение, но сделай это на отдельном листке!

84. ЛОТТЕ ФОН ЛЕНГЕФЕЛЬД И КАРОЛИНЕ ФОН БЕЙЛЬВИЦ

Реймар, 23 апреля 1789 г.

На этот раз лишь несколько слов. На сегодняшний вечер я пригласил к себе небольшое общество, а завтра с утра рассыльная двинется в путь.

Меня радует известие, что вам теперь лучше. Когда погода по-настоящему улучшится и настанет прекрасный май, оживете и вы с его приходом. Надо сказать, что прошлого лета я ждал с большей радостью, чем нынешнего, и я воображаю иной раз, что и вам будет не хватать кое-каких радостей, но вы несравненно счастливее меня. Вы без помехи располагаете собой; ничто не препятствует вам следовать влечениям своего сердца и наслаждаться своими впечатлениями.

Зачем разлучила нас судьба? Я более чем уверен, что мы могли бы сделать друг другу жизнь светлой и веселой, а нашу радость не нарушило бы ничто из того, что так часто нарушает радость человеческого общения. Подумать только, как чудесно завершался бы для меня каждый день, если бы по окончании обычного труда я мог бежать к вам и в вашем кругу раскрывать лучшую часть своего существа, находя в этом наслаждение. Все новые идеи, которые мы приобретаем, все новые взгляды на окружающее и на самих себя были бы для нас вдвое значительнее, — мало того, они лишь тогда получили бы свою истинную ценность, когда мы питали бы надежду отдать их нашей дружбе как новые сокровища, как новые наслаждения. Мы старались бы обогащать свой ум новыми понятиями, наше сердце — новыми чувствами, подобно тому, как благородный человек радуется своему богатству, если может наслаждаться им вместе с друзьями. И почему это желание неосуществимо?

Эту неделю я все еще был не совсем здоров и потому заметно отстаю в своей работе. К этому присоединились отвращения извне, которые вывели меня из колеи и ничем за это не вознаградили.

В переводе, который вы мне сегодня прислали, опять есть очень удачные места, насчет которых я только боюсь, так ли было сказано в оригинале! Но я возьму латинский оригинал и посмотрю, не приблизились ли вы к нему, сами того не зная.

Пожалуйста, пришлите мне в ближайший почтовый день антологию. Она нужна мне, а я не могу припомнить, у кого моя. Только не забудьте об этом!

Да пронесет небо мимо грозу, надвигающуюся на вас из Тюрингии!

Будьте здоровы и вспоминайте меня на своих прекрасных прогулках.

Ваш *Ш.*

О рукописи, лежащей у Боде, я позабочусь. Приветствуйте вашу матушку и Бейльвица.

85. ЛОТТЕ ФОН ЛЕНГЕФЕЛЬД И КАРОЛИНЕ
ФОН БЕЙЛЬВИЦ

Веймар, 30 апреля 1789 г.

Мое последнее письмо из Веймара я пишу в грозу; и даже гроза должна напоминать мне о вас, ибо последняя, которую я слышал, застала меня еще у вас. Как часто в эти прекрасные дни я переносился мыслью к вам и сопровождал вас по плотине или вдоль Заале! Также и ваш первый прием гостей в беседке, за чаем,— как ясно я представлял его себе и сколько чудесных воспоминаний он во мне пробуждал! Это лето будет совсем иным, но свою наивысшую прелесть оно все же сохранит для меня в надежде увидеть вас, и в воспоминании о вашей милой и столь благодетельной для меня дружбе.

На следующей неделе я уезжаю, и мне мерещится, будто я приближаюсь к вам. Ближе это, правда, не будет, но большая душевная пустота, которая теперь образуется в моем знакомом кругу, превращает для меня воспоминание о вас в настоящую потребность. Вы становитесь мне ближе, потому что становитесь необходимее.

Вы ожидаете *Гекинга*, а я тем временем познакомился с *Бюргером*. Несколько дней назад Бюргер был здесь, и то недолгое время, что он здесь оставался, я провел в его обществе. По внешности и обхождению он ничем не замечателен, но производит впечатление приятного, хорошего человека. Характер простонародности, господствующий в его стихах, не остается скрытым и в его личной манере, и он то тут, то там иной раз сбивается на диалект. Пламя вдохновения, кажется, опустилось в нем до спокойного огонька рабочей

лампы. Весна его духа миновала, а, к сожалению, достаточно хорошо известно, что поэты отцветают раньше всех. Мы с ним затеяли небольшое соревнование во имя искусства. Оно должно состоять в том, что мы оба переведем один и тот же отрывок из «Энеиды» Вергилия, каждый — в другом размере. Я выбрал для себя стансы.

Бюргер сказал мне, что читал в рукописи еще несколько статей, которые берут под защиту «Богов Греции» против Штольберга и еще будут напечатаны. Он от души издевается над слабоумием Штольберга и борется за его доброе сердце, увы, единственное, что еще можно спасти!

Еще один приезжий здесь, но несносный, на которого, быть может, уже жаловался Кнебель: капельмейстер Рейхарт из Берлина. Он пишет музыку на «Клодину из Виллабелла» Гете и остановился у него. Более нахального человека трудно найти. Небеса пожелали столкнуть меня с ним, и я вынужден терпеть это знакомство. Когда он в комнате, нельзя поручиться за неприкосновенность ни одного исписанного листка бумаги. Он вмешивается во все, и, как я слышал, в его присутствии надо очень взвешивать свои слова.

Уверены ли вы, что Бейльвица не затруднит такое толстое письмо? Я очень хотел бы, чтобы он повидал моих близких, это доставит им большую радость. Передайте ему на прощанье сердечный привет от меня; я надеюсь получать через вас частые известия о нем. Очень попросите его, чтобы он почтительнейше поклонился от меня Лафатеру и привез мне лоскуток от его сюртука!

Посылаю вам книги, которые я заставил Боду вернуть мне, и прилагаю статью, которую снèге мège дала мне с собой в Рудольштадте. За антологию горячо вас благодарю! Я дал списать оттуда несколько стихотворений. Ваше упоминание о «Семеле» изрядно напугало меня. Да простят мне Аполлон и его девять муз, что я так грубо провинился перед ними!

Прилагаю также экземпляр моего диплома доктора философии, для того чтобы вы могли немного посмеяться, видя меня в таком латинском одеянии. А в

общем; это дорогая шутка, так как она стоила мне пятьдесят талеров!

Будьте здоровы, и да пошлет вам небо в эти прекрасные весенние дни хорошее, бодрое настроение!

Не пишите мне больше в Веймар, я скоро напишу вам из Иены. Adieu, adieu!

Шиллер.

86. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Иена, 28 мая 1789 г.

Позавчера, то есть 26-го, я, наконец, храбро и с честью совершил восхождение на кафедру и вчера повторил его. Я читаю всего лишь два дня в неделю и притом подряд, так что пять дней остаются у меня совершенно свободными. Для своего дебюта я выбрал аудиторию Рейнгольда. Она умеренной величины и может вместить около восьмидесяти сидящих слушателей, а всего — немногим более ста. Правда, было более чем вероятно, что моя первая лекция привлечет, из любопытства, гораздо большее число студентов, но ты знаешь мою скромность. Я не пожелал рассчитывать на большой наплыв и дебютировать сразу в самой большой аудитории. Эта скромность была вознаграждена самым блестящим образом. Мои часы вечерние — от шести до семи. В половине шестого аудитория была полна. Я видел из окна Рейнгольда, как через улицу переходила одна кучка за другой, и этому не было конца. Хотя я был не вполне свободен от страха, тем не менее эта все увеличивавшаяся толпа доставляла мне удовольствие, и мое мужество скорее даже возросло. Кроме того, я запасся известной твердостью, чему немало способствовала мысль, что моя лекция не должна бояться сравнения ни с какой другой, читаемой в Иене, и вообще желание, чтобы все, кто будут меня слушать, признали мое превосходство. Между тем толпа мало-помалу выросла настолько, что забила переднюю, площадку и лестницу, и целые группы уходили. Тогда кому-то из находившихся со мной пришло в голову, не взять ли мне все-таки для

этой лекции другую аудиторию. Среди студентов был как раз зять Грисбаха; я внес через него предложение читать у Грисбаха, и оно было радостно принято. Тут произошла самая веселая сцена. Все бросились наружу пестрой толпой — по Иоганнисштрассе! Эта улица, одна из самых длинных в Иене, была вся усеяна студентами. Пока они мчались что было мочи, чтобы занять в грисбаховской аудитории хорошее место, вся улица всполошилась, и люди высыпали к окнам. Сначала все вообразили, что пожар, и у дворца пришла в движение стража. «Что это? Что случилось?» — раздавалось со всех сторон. Тогда начали кричать, что это будет читать новый профессор. Ты видишь, что даже случай способствовал блестящему для меня началу. Я вышел через короткое время в сопровождении Рейнгольда, и пока я проходил почти через весь город, у меня было такое ощущение, будто меня гонят сквозь строй.

Аудитория Грисбаха — самая большая и, когда набьется до отказа, может вместить от трехсот до четырехсот человек. Она была полна и на этот раз, да настолько, что заполнились также передняя и вестибюль до входных дверей, а в самой аудитории многие встали на скамьи. Итак, я прошел по аллее из зрителей и слушателей и едва мог найти кафедру. Под громкий мерный стук, который здесь означает одобрение, поднялся я на нее и увидел себя перед амфитеатром, полным людей. При всей духоте в зале, на кафедре было сносно, так как открыты были все окна и до меня доходил свежий воздух. У меня хватило мужества твердо произнести с десятков слов, а затем я вполне овладел собой и читал таким сильным и уверенным голосом, что сам был поражен. Даже у дверей меня было хорошо слышно. Моя лекция произвела впечатление, в городе весь вечер говорили о ней, а студенты оказали мне такое внимание, которого новый профессор удостаивался впервые: была исполнена серенада, и мне три раза кричали «виват». На другой день аудитория была так же полна, а я успел настолько привыкнуть к своей новой роли, что даже сел. Но оба раза свою лекцию я читал с записи и

лишь во второй немного импровизировал. Все же, если быть откровенным, в чтении лекций я еще не нахожу вкуса. Если бы можно было быть уверенным в восприимчивости и известной подготовке студентов, тогда я, наверно, мог бы найти большой интерес и целесообразность в деятельности этого рода. А так мною весьма настойчиво овладела мысль, что между кафедрой и слушателями высится барьер, через который едва ли можно перешагнуть. Бросаешь слова и мысли, не зная и почти не надеясь, что их где-либо подхватят, и даже с убеждением, что четыреста пар ушей четыреста раз поймут их превратно и часто — самым причудливым образом. Ни малейшей возможности приспособиться, как в беседе, к уровню понимания другого. Но мне это относится тем более, что мне трудно и непривычно спускаться до плоской ясности. Время, может быть, исправит это, но надежды мои все же не велики. Я утешаюсь тем, что при всякой общественной деятельности выполняется лишь сотая доля намерений!

Моя первая лекция касалась главным образом разницы между ученым хлеба ради и философом. Кроме частных причин, побудивших меня задержать внимание моих ближних на этих двух понятиях, у меня были еще и общие, на которые тебе довольно будет намекнуть. На своей второй лекции я дал представление о всемирной истории. Здесь живет такой дух зависти, что маленький шум, наделанный моим первым выступлением, едва ли умножит число моих друзей. Все же о моем здешнем существовании я не могу написать ничего, кроме хорошего. Едва ли где-нибудь мне было так хорошо, как здесь, и это потому, что здесь я *дома*. Мои друзья носят меня на руках, я настроен весело, стал общительнее, и все мое бытие окрасилось более радужно. Знакомств я завел пока не очень много, но все-таки, оставив карточки, связал себя, по крайней мере отношениями вежливости, примерно с тридцатью домами. О здешних женщинах я пока ровно ничего не могу написать. Правда, их довольно большой выбор, но среди них — ничего замечательного. Побывал я на балу, где наблюдал большую

их часть в сборе, но я держался у карточных столов и проскучал с Грисбахом и Зукковым за tagos-hombge. Здесь живет некий тайный надворный советник Эккардт, юрист, имеющий состояние и пользующийся большим влиянием в академических кругах. У него есть дочка на выданье, с которой кое-кто как будто подумывает меня свести, но мне несносны и она и ее семья.

За то, что ты как-то написал мне про Шмидт, да простит тебе небо! Не могу сказать, чтобы сама девушка, и помимо ее денег, мне не нравилась. В Веймаре она нравилась мне больше всех других, да и не мне одному. Но помышлять о ней нет никакой возможности, так как и отец, и мать, и дочь смотрят главным образом на деньги. Правда, дочь, которая тщеславна, не имела бы ничего против, если бы с деньгами сочеталось еще что-нибудь другое; я думаю, что она от души желала бы мне иметь состояние и солидное положение, чтобы я мог притязать на нее, но в ее характере нет гибкости, и она не может сообразоваться со своим вкусом. А затем еще вопрос, став женой, осталась ли бы она для меня тем, чем она кажется мне еще теперь! Кроме того, она как будто уже просватана за богатого франкфуртца. А вообще, если б я хотел, я мог бы еще в Веймаре найти партию, и притом тоже в лице дочери тайного советника, но без состояния, — только здесь я узнал, что некоторые лелеяли такой план! Но там препятствие было во мне самом и моем вкусе. Итак, здесь для меня пока пустыня, как ни охотно я видел бы около себя существо, которое могло бы влиять на меня. Во всяком случае, если ты знаешь о какой-нибудь богатой партии, напиши-ка мне; либо очень много денег, либо вовсе никаких и тем больше удовольствия в общении! Есть здесь одна-единственная девушка, которая мне нравится и которую я знал уже раньше. Это младшая сестра Рейхарт и Эттингер из Готы, некая Зейдлер. Не наделенная большим умом, она все же очень приятна, и в ее характере много доброты. Ее не назовешь в прямом смысле хорошенькой, но она и внешнею нравится мне. Живет она здесь с матерью и братом, шталмейстером университета. Она полу-

чила хорошее воспитание и обладает известной тонкостью обхождения, что здесь находишь редко.

Да ниспошлет небо, чтобы мои курсы лекций в будущем полугодии удались. Тогда, с улучшением моих обстоятельств, мне не страшно будет лелеять высокие планы. Если бы я сохранил хотя бы четвертую часть моих нынешних слушателей, я большего и не требовал бы.

Только что я узнал, что на моей первой лекции было четыреста восемьдесят человек и около пятидесяти осталось без места. Читать опять мне придется лишь через десять дней, так как на промежуток выпадают каникулы — троица.

В «Литературной газете» я тебя устроил. Тебе лишь надо в нескольких словах обратиться к Шютцу или Гуфеланду и указать отрасль своих интересов. Но и от этого я могу тебя избавить и сказать, если ты хочешь, чтобы тебе сразу же выслали договор. Но теперь напиши поскорей также и Виланду!

Я мало чему так радовался, как надежде на нашу встречу. Напиши же мне пока, сколько времени, по твоим расчетам, мы можем пробыть вместе в Лейпциге.

Привет Минне и Дорхен. Будь здоров!

Шиллер.

Р. С. Этот Густав Шиллинг — саксонский лейтенант в Фрейберге. Своим письмом он так расположил меня, что мне пришлось принять стихи.

Вчера я получил из Винтертура брошюру, в которой какой-то пастор и притом *фанатический христианин*, горячо защищает «Богов Греции» против Штольберга. Он приводит оттуда целые отрывки и доказывает, что все найденное поэтом в греческой мифологии прекрасным и достойным подражания широко осуществлено в учении Христа. Он объявляет, что готов оправдать и подписать все стихотворение, кроме «священного варвара». Он находит, что все отмеченное мною в греческих богах составляет потребность благородной и чувствительной души... но что в чистейшем христианском учении я найду еще более прекрасное воплощение всего этого. Меня он превоз-

носит так, что можно испугаться, а «Карлоса» называет гордостью Германии. В книжке выражено настойчивое пожелание, чтобы я, наконец, высказался по этому вопросу, и, может быть, я так и сделаю в связи с этой брошюрой.

Роллена мне не нужно.

87. ЛОТТЕ ФОН ЛЕНГЕФЕЛЬД

3 августа 1789 г.

Правда ли это, бесценная Лотта? Могу ли я надеяться, что Каролина прочла в *вашей* душе и ответила мне так, как ответило бы ваше сердце на то, в чем я не осмеливался признаться! О, как тягостна стала мне эта тайна, которую я должен был хранить с тех пор, как мы узнали друг друга! Часто, когда мы еще жили вместе, я собирал все свое мужество и приходил к вам с намерением открыть ее, но мужество всегда покидало меня. В моем желании мне мерещилось себялюбие, мне казалось, что я имею в виду только *мое* счастье, и эта мысль отпугивала меня. Если бы я не мог стать для *вас* тем, чем вы были для меня, мое страдание опечалило бы вас, и я своим признанием разрушил бы прекрасную гармонию нашей дружбы, я потерял бы и то, что имел, вашу чистую дружбу сестры. Но были и такие мгновения, когда моя надежда вновь оживала, когда счастье, которое мы могли дать друг другу, казалось мне превыше всех, всех соображений, когда я даже считал благородным все прочее принести ему в жертву. Вы могли быть счастливы без меня, но из-за меня никогда не стали бы несчастливы. Это я живо чувствовал в себе и на этом строил свои надежды. Вы могли подарить себя другому, но никто не мог бы любить вас чище и нежнее меня. Никому ваше счастье не могло быть таким священным, каким оно было и всегда останется мне. Все мое существование, все, что живет во мне, все, моя дорогая, я посвящаю вам, и если я стремлюсь стать лучше, то это для того, чтобы становиться все более достойным вас, чтобы делать вас все более сча-

стливой. Превосходные качества душ — залог прекрасной и неразрывной связи в дружбе и в любви. Наша дружба и любовь будут неразрывны и вечны, как и те чувства, на которых мы их основываем.

Забудьте теперь все, что могло бы угнетать ваше сердце, и предоставьте говорить только вашим чувствам. Подтвердите сами то, на что позволила мне надеяться Каролина. Скажите мне, что вы хотите быть *моей* и что вы не приносите жертвы ради моего блаженства. О, уверьте меня в этом, и притом единственным словом! Близки наши сердца были уже давно. Дайте отпасть единственному чуждому, что до сих пор становилось между нами, и пусть ничто не нарушает свободного общения наших душ.

Желаю вам всего доброго, драгоценная Лотта! Я жажду спокойного мгновения, когда я мог бы описать вам все чувства моего сердца, которые за долгий промежуток времени, когда это единственное томление жило в моей душе, делали меня и счастливым и одновременно несчастным. Сколько мне еще надо вам сказать!

Не медлите отогнать навсегда и навеки мою тревогу. Я отдаю все радости моей жизни в ваши руки. Ах, уже давно я не представляю себе их иначе, как в вашем образе.

До свидания, моя бесценная!

88. ЛОТТЕ ФОН ЛЕНГЕФЕЛЬД И КАРОЛИНЕ ФОН БЕЙЛЬВИЦ

[Лейпциг, 3 августа 1789 г.]

Нынешний день — первый, когда я чувствую себя вполне, вполне счастливым. Нет, до сегодня я не знал, что значит быть счастливым! Один и тот же день сулит мне выполнение двух желаний, которые одни только и могут осчастливить меня. Милые, дорогие подруги, я только что расстался с моим Кернером — моим и, конечно, также вашим, — и в первой радости нашего свидания я не в силах был умолчать о том, что заполняет *всю* мою душу. Я сказал ему, что

падаюсь, надеюсь до уверенности, что навеки соединюсь с вами. И я почувствовал, что он разделяет мою радость и радуется моему счастью. О, я не знаю, что со мной! Моя кровь кипит. Это первый раз, что я могу излить перед другом так долго сдерживаемые чувства. Это нынешнее утро у них, этот вечер у моего самого дорогого друга, для которого я остался всем, чем был, который остался для меня всем, чем он когда-либо был,— столько радости мне не дарил еще ни один день моей жизни! Кернер сообщил мне еще, что он готов покинуть Дрезден и местом своего пребывания избрать Иену. Я могу надеяться, что в течение года соединюсь и с ним.

Какие райские блага сулит мне будущее. Какие божественные дни мы будет дарить друг другу! Как радостно будет раскрываться моя душа в этом кругу! О, я сознаю в этот миг, что не утратил ни одного из тех чувств, которые смутно угадывал в себе! Я чувствую, что во мне живет душа, способная на все прекрасное и доброе. Я снова обрел себя, и я возвышаю значение своей жизни желанием посвятить ее вам.

Да, вам должны принадлежать все мои чувства и помышления, для вас должны цвести все силы моей души! В вас я хочу жить, радуясь моему бытию. Ваша душа — моя, а моя — ваша. Позвольте мне говорить и за моих друзей. *Они* тоже ваши, а *вас* я дарю моим друзьям. Как богаты мы будем взаимной дружбой!

Но подтвердите мне обе, что моя надежда не завела меня слишком далеко, скажите мне, что я вас вполне понял, что Лотта хочет быть моею, что я могу сделать ее счастливой. Еще я не доверяю надежде, не доверяю радости, к которой я еще не привык. Дайте моей радости поскорее очиститься до конца и от *этого* страха. Вы не можете действовать как обыкновенные люди, значит вам и со мной не нужно ничего, кроме правды, мы можем перескочить через все эти сложные правила и раскрывать наши души друг перед другом свободно и чисто.

Я больше не могу писать. Сегодня больше не могу, ибо душа моя теперь неспособна представлять

себе спокойные картины. Мне больно, что я совсем не могу передать вам, что я чувствую. Отвечайте мне без задержки, и если сейчас нет почты — через нарочного. У вас для этого еще одно основание, так как я должен знать, достаточно ли здоровы вы и Дахредены для путешествия в Лейпциг. В пятницу днем Кернеры свободны, и этот день, стало быть, вы могли бы избрать. Вы *должны* видеть моих друзей, а я должен поскорей снова увидеть *вас*.

Это сегодняшнее письмо вы получите в среду утром. Пошлите нарочного, и тогда в среду вечером я получу ваш ответ. Лишь несколько строк, лишь столько, сколько мне нужно, чтобы быть вполне уверенным в своей радости.

Я здесь ни с кем об этом не говорил, кроме Кернеров. Его жена и свояченица сегодня в гостях, откуда им не вырваться. Я этому почти что рад, так я совсем наедине со своим счастьем. Adieu!

Шиллер.

Мой адрес: проф. Шиллеру, проживающему в Иоахимстале.

89. ЛОТТЕ ФОН ЛЕНГЕФЕЛЬД

25 августа 1789 г.

Как чудесно было сегодня мое пробуждение! Первое, на что упал мой взгляд, были письма от вас. Я и уснул с мыслью, что получу их сегодня. По этим повторяющимся радостям я буду впредь исчислять все мое время, пока, наконец, это скудное средство общения не перестанет быть нужным.

Но как ненасытны наши желания! Чего бы месяц назад я не дал за одну лишь надежду на то, что теперь уже нашло свое осуществление! За то, чтобы один только раз заглянуть в твою душу! А теперь, когда я читаю в ней все, чего так долго ждало мое сердце, мои желания опережают будущее, и я ужасаюсь долгому промежутку времени, который нас еще разделяет. Как кратка весна жизни, время цветения духа, и от этой короткой весны я должен потерять

еще, быть может, годы, прежде чем буду *обладать* тем, что уже мое! Неисчерпаема любовь, и коротки дни весны.

В более прекрасном мире витает моя душа, с тех пор, как я знаю, что вы мои. Дорогая, любимая Лотта, ты отдала мне свою душу, но как долго заставляла ты меня бороться с сомнениями; знаешь, мне чудилась в тебе какая-то странная холодность, которая удерживала в сердце мои пылкие признания! Благодарным ангелом была мне Каролина, которая так чудесно поняла мои тайные, робкие надежды. Я был несправедлив к тебе, дорогая Лотта. Я не понял тихого спокойствия твоих чувств и сдержанному поведению приписывал то, что должно было удалить от тебя мои желания. О, ты должна еще рассказать мне, историю зарождения нашей любви! Я хочу услышать ее из твоих уст.

Это был быстрый и все же такой мягкий переход. Тем, в чем мы признались, мы *были* друг для друга уже давно. Но только теперь я как следует наслаждаюсь нашими минувшими часами. Я их еще раз переживаю, и все представляется мне в более прекрасном свете.

Как кстати мне теперь блаженное безумие, которое так часто вырывало меня из действительности! Настоящее вокруг меня пусто и печально, и в недосягаемых далях цветут мои радости. Я не могу внушить себе покорность, невзыскательность, — в них сила женской души. Моя же нетерпеливо стремится свершить все, что еще не совершено. Ты спокойно смотришь в будущее, а я этого не могу.

Каролина бросает мне упрек: как я мог сомневаться в том, что вы поймете меня, что вы ответите мне на мои надежды. Но именно этой *невзыскательности*, этой уступчивости перед кажущейся необходимостью я и боялся у вас. Я боялся, что вы можете замкнуть свои желания перед властью обстоятельств и — как бы мне выразиться яснее? — я боялся, что вы можете продолжать нашу дружбу без любви и внутреннюю жизнь дружбы примирять с разлукой. Убедившись, что наше непрерывное единение состав-

ляет и для вас необходимое условие счастья, я больше не сомневался бы в ваших силах добиться этого условия.

Но об этом подробнее устно. Как много нам предстоит еще поверить друг другу в эту осень. Я сделаю все, чтобы ее ускорить.

Посылаю обратно письмо Вольцогена. Оно доставило мне много радости. Его привязанность так искренна, и к его натуре не примешалось еще ничего чуждого. Он очень хороший человек, я хотел бы, чтобы он мог жить подле нас.

Будь здорова, дорогая, любимая Лотта, и знай, что для меня нет радости, пока я не увижу снова писем от вас. Adieu, мои милые!

III.

90. КАРОЛИНЕ ФОН БЕЙЛЬВИЦ

Иена, 25 августа 1789 г.

Твое письмо, дорогая, любимая Каролина, глубоко затронуло и взволновало мою душу, и я не знаю, могу ли я сейчас что-либо ответить тебе. Но моя душа видит ясно и просветленно, какой рай ждет меня в твоей душе. О, какие восхитительно-прекрасные дни открываются нам, — мне даже трудно представить себе их во всей их полноте так, чтобы при этом мой внутренний мир не стал совсем непригодным для действительности! Мы нашли друг друга, так как друг для друга мы и созданы. У меня нет стремления, каким бы оно ни было беспредельным, которое мои Каролина и Лотта не могли бы утолить. И благо мне, бесценные мои, если вы находите во мне то, что вас может сделать счастливыми. Благо мне, Каролина, что ты видишь истоки моей души и свои требования, свои ожидания предъявляешь к моей подлинной натуре, а не к преходящим явлениям во мне. Ибо я чувствую, что в иные часы во мне не остается ничего, кроме сил, стремящихся к чему-то лучшему. Сохрани эту веру, это милое доверие ко мне, хотя бы над моей душой иногда проходили тучи, окутывая все. Только тогда я могу свободно и легко общаться и жить

с вами, когда я полностью избавлен от заботы быть неузнанным или непонятым.

О, как страстно желал бы я, чтобы вы могли проникнуть в сущность моей натуры, увидели все, все мои слабости и все-таки избрали меня! Пока я должен бояться, что вас могут поразить недостатки во мне, к которым вы не были подготовлены, до тех пор вы еще не мои навек. Но ваши сердца я познал, и мое чувство к вам больше не подвержено переменам.

Судьба жестоко терзала мою душу. Через печальную, мрачную юность вступил я в жизнь, и бессердечное, бессмысленное воспитание тормозило во мне легкое, прекрасное движение первых нарождавшихся чувств. Ущерб, причиненный моей натуре этим злополучным началом жизни, я ощущаю по сей день. Ах, я чувствую его даже в этот миг! Ибо без него меня не мучила бы и эта недоверчивость.

Приготовься, благородное создание, к тому, что ты не найдешь во мне ничего, кроме жажды прекрасного и вдохновенной воли творить его. Твою чудесную душу я постигну. Твои прекрасные чувства пойму и отвечу на них, но неверный тон моих не должен ни омрачать, ни отдалять тебя. Твердо знай в таких случаях, что эти чуждые призраки моего настроения в меня вошли извне. Тех призраков, которые с давних лет окружали меня и окружают до сих пор, лучшая часть моего существа не могла полностью изгнать.

Но ты веришь в мою душу, и на эту веру я буду опираться. При всех моих недостатках, — а вы в конце концов узнаете все — ты всегда найдешь то, что ты однажды любила во мне. Мою любовь будешь ты любить во мне!

*

О нашей Каролине я мог только догадываться. Ее одухотворенность поразила меня, в ней есть что-то благородное и тонкое, что хотелось бы назвать идеальным; как верно и как глубоко она чувствует, могло бы показать мне лишь длительное общение. Что я заранее в это верю, разумеется само собой, но видение было слишком мимолетным, а все ее существо имеет какой-то блеск, ослепляющий меня. Она, несомненно, создание

необыкновенное, и да ниспошлет небо, чтобы это была правда и она была нашей навек!

Adieu, моя дорогая Каролина. Повыше, где я сделал звездочку, я вчера прервал письмо, чтобы прочесть лекцию. Теперь эта лекция позади, и мои мысли снова с моими любимыми.

Будь здорова, и когда подумаешь обо мне, когда прекрасные грезы расцветут в тебе, пришли мне ветвь от них -- ваши письма; это теперь все, чем я жив!

Шиллер.

91. ЛОТТЕ ФОН ЛЕНГЕФЕЛЬД И КАРОЛИНЕ
ФОН БЕЙЛЬВИЦ

12 сентября, ошибочно вместо десятого, 1789 г.

Вот я сумел прожить еще один день, приблизивший меня к вам! Как медленно ползет *теперь* время и как неумолимо быстро оно будет проноситься для меня у вас! Настала бы, наконец, пора, когда нам оставалось бы сетовать только на мимолетность *жизни!*

О моя дорогая Каролина, моя дорогая Лотта! Как понемногу стало все вокруг меня, с тех пор как на каждом шагу моей жизни я встречаю только ваш образ! Вокруг меня сияет ваша любовь, она как прекрасный аромат проекает всю природу. Я возвращаюсь с прогулки; среди огромной свободной природы, как и в моей одинокой комнате, все тот же эфир, в котором я движусь, и прекраснейший ландшафт -- только более красивое зеркало для одного не покидающего меня образа. Никогда еще я не чувствовал с такой ясностью, как свободно наша душа распоряжается всем мирозданием, как мало оно способно само давать и все, все получает от души. Только заимствованным у нас же волнует и восхищает нас природа. Привлекательные виды, в которые она облачается, -- только отсвет внутренней привлекательности в душе ее созерцателя, и мы великодушно целуем зеркало, поразившее нас нашим собственным изображением. Иначе кто вынес бы вечное равнодушие ее явлений, вечное подражание ее самой себе? Только че-

рез человека она становится многообразной, только потому что обновляемся *мы*, становится новой она. Как часто заходило для меня солнце, и как часто моя фантазия наделяла его речью и душой, но никогда, никогда я не читал в нем, как теперь, своей любви! Удивительной казалась мне всегда возвышенная простота, а в то же время и богатая полнота природы. Один — и всегда тот же самый — огненный шар висит над нами, и на миллионы ладов видят его миллионы существ, а каждое существо — опять на тысячи ладов. Солнце может пребывать в покое, потому что наш дух движется вместо него, и так в мертвом покое лежит все вокруг нас, и ничто не живет, кроме нашей души!

А как благодетельно для нас опять же это однообразное постоянство природы! Когда страсть, когда внутренняя и внешняя суета долго кидали нас туда и сюда, когда мы потеряли самих себя, мы находим *ее* всегда той же самой и *себя в ней*. При нашей быстротечной жизни мы отдаем каждое испытанное наслаждение, каждый лик нашей переменчивой натуры в ее верные руки, и в полной сохранности возвращает она нам доверенные ей блага, когда мы приходим и вновь требуем их. Как несчастливы были бы мы, которым так необходимо радости прошлого тоже по-хозяйски причислить к своему достоянию, не будь у нас возможности надежно хранить у этой неизменной подруги наши ускользающие сокровища. Всем нашим существом мы обязаны ей, ибо, если бы завтра она предстала нам преображенной, тщетно искали бы мы свое вчерашнее я.

Но я позволяю моим грезам отрывать меня, когда я мог бы сказать вам много лучшего! Воспоминание о вас неразлучно со мной, — все напоминает мне о вас. И никогда так свободно и смело не блуждал я мечтою в мире идей, как теперь, когда моя душа имеет нечто свое собственное и больше не подвергается опасности потерять себя. Я знаю, где я снова найду себя!

Моя душа очень часто занята теперь картинами будущего. Наша совместная жизнь началась; пусть я сейчас пишу, но я чувствую *вас* в своей комнате: ты, Ка-ролина, за роялем, а Лютхен работает возле тебя, и в зеркале, висящем напротив меня, я вижу вас обеих.

Я откладываю перо, чтобы по живому биению ваших сердец удостовериться, что вы мои и что уже ничто не может отнять вас у меня. Я пробуждаюсь с сознанием, что найду вас, и засыпаю с сознанием, что завтра найду вас снова. Наслаждение прерывается только надеждой, а сладостная надежда только свершением, и так, несомая этой небесной четой, пролетает наша золотая жизнь.

Шиллер.

92. ЛОТТЕ ФОН ЛЕНГЕФЕЛЬД

29 октября 1789 г.

Раз и навсегда, милая Лотта, покончим со всеми *красными* записками! От меня тебе больше не придется ожидать их, и я надеюсь, что не навлеку на себя подобного с твоей стороны. Ты не могла быть со мной иною, чем ты была, а если я не был тем, чем я хотел и должен был быть, это оттого, что я в равном положении с тобой; у меня нет такого самомнения, чтобы я сразу мог уверовать в возможность исполнения того, чего я желаю. Если бы не Каролина, я мог бы долго общаться с тобой, без ясной надежды стать для тебя чем-либо бóльшим, чем другом. Признаться ли тебе? Я считал тебя уже не совсем свободной. Какая-либо раньше возникшая склонность, боялся я, могла связать тебя, и мне казалось, воспоминание о ней нельзя совсем изгладить. Если бы предо мной не вставало этой мысли, я, может быть, скорее прочел бы чувство в твоей душе.

Однако все это больше не должно занимать нас. Ведь мы поняли и нашли друг друга и принадлежим друг другу навсегда. Будем смотреть только вперед, любимая, дорогая!

Да, прекрасной гармонией должна быть наша жизнь, и все новыми радостями должны неожиданно дарить друг друга наши сердца! Неисчерпаема в своих образах любовь, а наша пылает вечным, прекрасным огнем все более облагораживающейся души.

О, единственное счастье моей жизни теперь в том, чтобы вы носили меня в сердце, полном любви! Моя душа больше не может привязываться ни к чему иному,

по и это сделала наша любовь. Через вас меня будут вновь интересовать и мои прежние радости, без вас я их больше не обрету.

Ты должна много писать мне, моя любимая! Теперь еще твой черед давать мне немного больше, чем могу давать тебе я, но все, что ты напишешь мне сверх того, что напишу я, я сохраню в себе как некий капитал и когда-нибудь, когда я буду свободнее, отдам тебе обратно с высокими процентами. Да, ты наверное, сделаешь это, ибо ты знаешь, что трудишься для моей радости! Твоя душа должна сиять мне во всех ликах, а о том, что я тебе близок, что ты думаешь обо мне, этого ты не можешь повторять мне достаточно часто. Ах, все снова и снова пронизывает меня чувство, что ты моя, что мы принадлежим друг другу, что мы с тобою одно!

Еще месяц, и я вновь увижу вас, может быть даже и раньше. Тогда вы будете в моей комнате, я увижу вас в том месте, где я веду свою одинокую жизнь, где ваш образ уже давно витает. Кстати, мне надо показать тебе кое-что полученное вчера и доставившее мне много удовольствия. Моя мейнингенская сестра нарисовала мою семью, а теперь сделала для меня копию. Мой отец и мать схвачены довольно удачно, о сестрах я не могу судить, так как они успели вырасти. Мне очень хочется знать, найдешь ли ты *сходство* между моим отцом и мной.

Adieu, adieu, дорогая Лотта! О здоровье Каролины ты позаботишься и, надо надеяться, соответственно наладишь хозяйство. Всего хорошего, моя любимая!

Ш.

Если Штейн и Имгоф еще у вас, передай им от меня наилучший привет.

«Лавровый венок» я сегодня снова видел. Он был со мной весьма мил. Так как я читаю два часа подряд, он хотел во время короткой перемены угостить меня чаем, для того чтобы у меня не было слишком раздражено горло. Разве это не галантно со стороны такой негалантной особы?

Обнимаю тебя и Каролину. Вечно ваш

Ш.

Иена, 3 ноября 1789 г.

Как меня радует то, что ты пишешь о своем здоровье, моя Каролина! И как я благодарен небу за этот подарок, который оно мне послало. О, я мог бы быть бесчеловечным к другим и брать от них жизнь и здоровье, чтобы дать тебе! Разве не делает того же природа? Сколько растений умирает для человека — почему же не умирать неблагородным для того, чтобы наиболее благороднейшее жило и цвело?

Я пережил несколько счастливых дней, Каролина, и наблюдал при этом за своим собственным сердцем. Работа, вначале ничего не сулившая мне, внезапно, при счастливом умонастроении, облагородилась под моим пером и приобрела такое совершенство, что изумила меня самого. Я не создал еще ничего равного по достоинству, — если только меня не вводит в заблуждение чрезмерная горячность моего ума, способная повлиять на мое суждение. Никогда я не объединял столько содержательных мыслей в такой счастливой форме и никогда так успешно не помогал уму силой фантазии. Ты можешь высмеять меня за мое самохвальство, но я говорю о себе будто посторонний человек, ибо, на самом деле, в этой работе я стал для самого себя чуждым и новым явлением. Мне жаль, что ты не можешь насладиться подобной красотой, так как это требует некоторых точных исторических и политических знаний, которых у тебя нет и которым неоткуда и быть. Но я никогда так живо не сознавал, что сейчас в немецком мире нет никого, кто мог бы написать именно *это*, кроме меня. Еще раз ты высмеешь меня, — и, пожалуйста, смейся, только бы мне быть так близко, чтобы это видеть!

Ах, как и это сокровенное наслаждение духа тоже слилось с тем, что мне всего милее, с тем, что для меня все, — и еще прекраснее и слаще вернулось от вас ко мне! Я больше не принадлежу себе самому. Только то, что я становлюсь более достойным вас, что я ближе подхожу к тому образу, который ваша любовь придает мне,

только это восхищает меня, когда я застаю себя за чем-то крупным, когда я внушаю самому себе уважение. Каждый прилив уверенности в себе становится более яркой верой в вашу любовь, и поэтому я прощаю его себе.

Ах, какие часы райского блаженства предстоят нам, когда мы будем жить вместе, дорогие, любимые мои! Когда моя душа, воспламененная и взволнованная удавшейся работой, придаст творческое пламя и моей любви, а ваша любовь наполнит мой ум огнем и жизнью! Сколько таких мгновений высокого чувства пришлось мне загубить вчера и сегодня в мертвом одиночестве, без пользы для моего и вашего сердца! Сколько я мог бы дать вам в эти часы и сколько получить от вас! Даже в разлуке с вами мое высшее вдохновение превращалось в любовь, и даже само мое творчество так полно вами, что без мысли о вас не радуется меня.

Chère mère я напишу в ближайшую пятницу. Это не обойдется без тревоги для меня, ибо как-никак этим и во мне и в ней невольно затрагивается очень нежная струна. Это внесет изменение не только в мои, но и в ваши отношения с ней.

Кoadьютору я тоже напишу в ближайшие дни и без обиняков ознакомлю его с моим желанием переехать туда, где мой дух мог бы проявлять себя, отбросив жалкие соображения о заработке.

Прилагаемое письмо мне написала Кальб. Все-таки она на редкость изменчивое существо! Не обладая талантом быть счастливой, как может она дать то, чего у нее нет? Отзыв, который тебе высказали о ней, я нахожу довольно правильным. Надо остерегаться ее *любопытства* и ее *непоследовательности*, часто побуждающей ее не щадить даже себя, а также — *ее преклонения перед великими умами*, которое легко могло бы заставить ее не слишком считаться с лучшей стороной других людей.

Всего хорошего, дорогая Каролина! Живи счастливо и заботься о своем здоровье. Охраняй мой покой. Всего наилучшего, драгоценная моя!

III.

15 ноября 1789 г.

На этот раз я вознаграждаю себя письмом, которое я пишу вам, мои милые. Это одиннадцатое письмо за сегодня. Я был как раз в ударе и продолжал, пока хватало сил. У меня на сердце гораздо легче, оттого что погашены некоторые наиболее крупные долги. Но до господ Буттервека, Густава Шиллинга с их товарищами дело не дошло даже в мой лучший час. В числе других я написал несколько писем на родину. Там живут несколько славных людей, которые были моими учителями и до сих пор сохранили большое ко мне доверие. Некий профессор греческой литературы Наст, у которого я учился греческому (или, вернее, должен был учиться), предложил мне, не хочу ли я в компании с ним предпринять немецкое издание греческих трагиков. Видимо, моя «Ифигения» внушила ему высокое представление о греческой учености его бывшего ученика. Я догадываюсь, что этот проект очень дорог его сердцу, и меня радует, что могу исполнить его желание. К несчастью, его письмо ко мне семь месяцев пролежало у забывчивого человека, профессора Шютца, и всего лишь пять дней назад попало в мои руки. Что этот бедняга в Штутгарте должен думать обо мне!

Я два раза подряд писал вам хмурые и тревожные письма. Они были отражением моего тогдашнего настроения, но я все-таки нахожу, что не должен был отсылать их. Они заставляют вас тревожиться из-за меня, и вы страдаете, быть может, в тот самый миг, когда мне стало легче. Это вообще большое неудобство переписки. Состояние духа часто меняется быстрее, чем письмо доходит до места назначения, и ты знаешь, что другой находится в заблуждении; ты сам привел его к этому, а сразу исправить дело не можешь. Запомните это раз и навсегда, мои милые, когда будете получать мои письма. Не верьте им, кроме тех, которые написаны весело! Если я пишу печально, я давно уже не печален, когда вы читаете мои строки.

Ах, только воспоминание о вас, о блаженстве у вашего сердца делает меня таким нетерпеливым, а иной раз, может быть, и несправедливым ко всем явлениям вокруг меня! Я не могу простить людям и вещам того, что они стоят настолько ниже небесного идеала моей любви. И то, что они все-таки вторгаются в наш круг и мешают нам предаваться тому счастью, которого они неспособны заменить, делает меня резким и часто ожесточает против людей и судьбы.

Все эти мрачные призраки исчезнут, как только я увижу вас. Видя вас перед глазами, сознавая, что вы мои, я примирюсь со всем, что меня окружает, и тусклые явления вокруг нас наделю светом и жизнью от творческого пыла моей души.

Я не поверил бы, что то счастье, которое мне даже в отдаленных предчувствиях дарит ваша любовь, может еще возрасти в моей душе. Но с каждым днем оно становится богаче и неисчерпаемее. Ах, любовь единственное в природе, где даже сила воображения не находит дна и не видит предела! Жить только в вас — и вам во мне — о, вот бытие, которое вознесет нас над всеми людьми! Наша небесно-прекрасная жизнь останется тайной для них, хотя бы они были ее свидетелями.

Ты, может быть, боишься, милая Лотта, что могла бы перестать быть для меня тем, что ты есть. Для этого ты должна была бы перестать меня любить. Твоя любовь — это все, что тебе нужно, и моя любовь облегчит ее для тебя. В этом-то и состоит высшее счастье нашего союза, что оно опирается только на себя и в простом круге вечно движется вокруг себя, и мне никогда не приходит в голову опасение когда-либо стать для вас чем-то меньшим или меньше получать от вас. В нашей любви нет ни боязни, ни настороженности — как мог бы я между вами обеими радоваться моему существованию, как мог бы я сохранять силу своей души, если бы мои чувства к вам обоим, к каждой из вас, не были исполнены сладостной уверенности, что я не лишаю одной того, что я оставляю для другой! Свободно и уверенно движется моя душа между вами, и все любвеобильней возвращается она от одной к другой: тем же лучом, — простите мне это гордо звучащее сравнение, — той же

звездой, которая лишь раз но отражается от разных зеркал.

Каролина мне ближе по возрасту и поэтому более схожа со мной по образу наших чувств и мыслей. Она затронула во мне больше чувств и мыслей, чем ты, моя Лотта, но я ни за что не хотел бы, чтобы это было иначе, чтобы ты была иной, чем ты есть. То, в чем Каролина опережает тебя, ты должна принять от меня; твоя душа должна распусться в моей любви, ты должна стать *моим* творением, твой расцвет должен пасть на весну моей любви. Если бы мы нашли друг друга позже, ты лишила бы меня этой прелестной радости — видеть, как ты расцветаешь для меня.

Как прекрасно устроила нашу связь судьба. Словами не описать этих нежных отношений. Но тонко и остро ощущает их душа.

Только *твоя* судьба, моя Каролина, внушает мне беспокойство. Я еще не могу внести свет в это мрачное положение, и оно становится еще запутаннее, когда я думаю о *своих* обстоятельствах. Если я останусь в Иене, я готов на год или на год с небольшим примириться с неизбежностью, что ты будешь жить одна с Б. Половину этого года ты можешь провести у нас, и краткость промежутков разлуки даст силы это перенести. Но мое дальнейшее пребывание в Иене плохо вяжется со всем положением вещей, и даже не в моей власти будет остаться, если мне откроются более выгодные возможности. В Иене я в ближайший год еще не мог бы начать жизнь с Лотхен. Я знаю, что при наибольшей удаче я могу получить от герцога, а этого было бы мало, ибо, к сожалению, далеко не все, что я зарабатываю, мое. То, чего не хватает, я не могу надеяться возместить в ближайший год усиленным чтением лекций. Это возможно лишь через два года. Значит, я должен непременно добиться значительного твердого оклада, вот почему я теперь так серьезно хлопочу по этому делу. Ужасно было бы, если бы и следующий год прошел, как этот!

Вот это-то и плохо. Я, с *своей* стороны, должен хлопотать о возможности уехать отсюда, чтобы ускорить наш союз; и если бы твое дело подвигалось такими же шагами, мы расстались бы на целый год. А это тоже не

годится. Я не знаю, как выбраться из этой путаницы. Если бы определилось хотя бы место, где мне жить, ты могла бы, может быть, ускорить развязку и *своего* дела.

Мне было приятно узнать, что *chège mège* уже думала о твоём разводе с Б. Кое-что облегчит ей это тяжелое испытание; ее угроз нечего бояться. Добрая *chège mège* сделает для тебя что угодно, раз уж все складывается так, а не иначе. Нельзя ли воспользоваться деловой поддержкой Штейн, раз мать уже выказывала ей доверие?

Фатальная история с М-лем и Каролиной огорчила, но не удивила меня. С самого начала, когда я об этом услышал, их отношения не понравились мне. Твое замечание насчет Каролины, конечно, верно. Относительно нее можно ошибаться. Без вас, просто как посторонний человек, я, может быть, тоже неверно судил бы о ней. Свои самые невинные чувства она проявляет неосторожно, а сколько беспристрастия и скромности требуется от мужчины, чтобы не придать им истолкования, льстящего его самолюбию! Я знаю, как мужчины обычно судят о женщинах, — тем злее, чем больше человек имел случая изучать женский пол. Ее припадки, кое-какие открытия и разоблачения из ее жизни, некоторая неосторожность по отношению к нему — из всего этого он мог что-то вообразить на свой счет, не будучи плохим человеком. Меня сердит только его пошлая болтливость. От меня он через третьи дружественные руки получил бы пару оплеух. Это, наверно, заткнуло бы ему рот. Потом он сообразил бы, чем он их заслужил. Ларош давно уже следовало бы истратить на это луидор, ибо в некоторых случаях нельзя разделаться иным образом, а этот условный язык понимает всякий.

Будем надеяться, что сама Каролина никогда не узнает об этом больше того, что в силу тех или иных причин найдут нужным рассказать ей.

Раз уж речь здесь зашла о скверных вещах, — вы, вероятно, слышали также о фрейлейн Коппенфельс, что ее свадьба с В., наконец, состоится и действительно должна состояться. Вот до какой беды довели обоих — только потому, что хотели, чтобы они сообразовали

свою любовь с обстоятельствами. Я, право, думаю, что это было делом не столько слабости, сколько отчаяния.

Пришлите же мне обратно Г. фон Бока и, при случае, также Томсона, который еще остался у вас. Томсона я очень хотел бы дочитать, он меня увлек. Несколько дней назад мне прислали из Лейпцига «Анахарсиса», а я охотно отказался бы от него. Это семь толстых томов, пугающих меня, пока я их не одолел, но при них — особый том с картами и планами, которые мне нравятся. С такими картами в руках можно приятнее и с большей пользой читать всех греческих поэтов и историков. Я сейчас заставляю моих студентов переводить кое-что из «Анахарсиса»; посмотрю, не удастся ли поместить что-либо в один из журналов.

Прощайте же, мои любимые! Я оказался многословнее, чем намеревался, но ведь и незначительные вещи интересуют меня, когда я рассказываю их вам. Это письмо вы получите ко вторнику. Я пошлю привет еще и почтой. Дорогие мои, adieu! Прижимаю вас к моему сердцу, и пусть донесет до вас ласку ангел любви. Adieu, adieu!

III.

95. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Иена, 23 ноября 1789 г.

Ты пишешь о моем положении в Иене, что я тут совсем не на месте. О, я, к сожалению, достаточно ясно чувствую это и сам.

Что я здесь не останусь, я тоже знаю. Только, боюсь, мне придется потерпеть еще год: отчасти для того, чтобы сейчас попутно, то есть *docendo*¹, немного лучше освоиться с историей, отчасти же из-за моей женьитьбы.

Из письма коадьютора, которое я прилагаю, ты видишь, что я предпринял кое-какие шаги. Скажи мне свое мнение, следует ли ограничиться этим или то, что он говорит насчет Майнца, принять как намек. От него я

¹ Уча (*лат.*).

могу ожидать всего, когда появится возможность. Тогда — да благословит небо эту надежду! — тогда, мне кажется, я буду устроен. То, что ты пишешь о Берлине, мне запало в сердце; но пока трудности для меня, повидимому, непреодолимы. Необходимость заработка, при лучшем внешнем положении и досуге, не так бы меня пугала, если бы, к несчастью, для создания этих условий я не должен был бы уже находиться в таком положении, в которое меня мог бы поставить только заработок. На весну я потребую от Веймара вспомоществования. Жалованьем я, пожалуй, этого назвать не смогу и должен буду считать счастьем, если получу двести талеров; больше ста мне, собственно, нечего и ждать.

Немыслимо, чтобы это неопределенное положение тянулось долее двух лет. Я знаю, что у меня есть на свете несколько друзей, которые будут хлопотать обо мне, если представится возможность. Но только я должен еще каким-либо *основательным* изделием — прости мне бог это поношение искусства! — подкрепить их ходатайства за меня. Тем временем, я надеюсь, должны хорошо пойти «Мемуары», которые стоят мне не так уж много труда. Я слышу везде, слышал и от Гешена, недавно бывшего здесь, что на них очень большой спрос. Мауке готов печатать по восьми томов в год, если только я их ему доставлю. И если я найду больше помощников, которые удовлетворятся половиной гонорара, я легко наберу шестьсот талеров. От основного предмета моего изучения эта работа меня не отвлечет.

То, что у меня мало слушателей, получилось, в общем, весьма естественно; я объявил о своих лекциях позже других, когда у студентов все дукаты, которыми они располагали в зимнем полугодии, уже были распределены. Большой ущерб наносит мне Лодер, читающий курс, который слушают не только медики. Всякая наука должна уступать место «науке для заработка». На моих обязательных лекциях более или менее полно. Все же я должен признаться, что меня покинуло всякое рвение; и я до последнего волоска на голове полон раскаяния в том, что не сохранил на этот и на следующий год свою независимость, чтобы, располагая досугом и свободой, осуществить какой-либо важный план. Пришпоривания

извне, ради постоянства прилежания, мне больше не требовалось. Впрочем, небо еще повернет все к лучшему. Будь здоров! Минну и Дорхен я сердечно приветствую. Письмо коадьютора пришли мне обратно вместе с твоим ответом. Если ты за то, чтобы я обратился к курфюрсту Майнцскому, выпиши мне его титул. Здесь мне никого спрашивать нельзя.

Твой Ш.

96. ЛОТТЕ ФОН ЛЕНГЕФЕЛЬД И КАРОЛИНЕ
ФОН БЕЙЛЬВИЦ

[30 ноября] 1789 г.

Благодарю вас, о, благодарю вас со всей любовью, драгоценные мои, за то, что я увижу вас, за то, что вы больше сделали для меня, чем я надеялся! О, я увижу вас, и пусть это будут лишь минуты, я проживу их у вашего сердца! С вами!.. О, как необходима мне эта сладостная действительность, небесная радость вашего присутствия, ангелы моей жизни, мое единственное блаженство! То, что и вы делите это страстное желание, обращающее к вам все, все мои мысли, заставляющее меня во всем искать и узнавать только вас, — о сколько радости дает мне эта уверенность, как она пробудила все мои способности к жизни! Ах, будь судьба людей в руках одного подобного людям существа, перед которым я мог бы пасть ниц, чтобы вас, вас вымолить у него!

Были б вы уже моими! Было б это нынешнее ожидание ожиданием нашего вечного соединения! Моя душа изнемогает от этой мечты. Даже в напряженной мысли о вас я чувствую, как моя душа становится богаче, божественнее и чище, я чувствую, как все противоречивое во мне примиряется в сладостной гармонии и все чувства моей души развиваются в высшем, прекраснейшем созвучии. Что будет, когда вы вправду будете даны мне, вы, ангелы мои, когда я смогу вдыхать любовь и жизнь с ваших уст!

Разве не могли бы мы так легко замкнуться в нашей любви, если ее довольно для нашего блаженства

навсегда и навеки? Почему этого нельзя? Почему смеет мир лишать нас этого блага, которого он со всем, что в нем есть дорогого, не может умножить?

О вашем предложении — ничего, пока мы не увидимся, да и то я не хотел бы украсть у этого краткого, торопливого свидания ни одного мгновения. В одном поцелуе, в одном объятии, в одном взгляде на вас, мои любимые, хотел бы я им насладиться.

Охотно поехал бы я вам навстречу в Калу, но то, что вы пишете мне о вашей горничной, испугало меня, и я не знаю, не встревожит ли это вас. Только бы вы скорей прибыли сюда! Не беда, если вы уедете отсюда попозднее. Плоха только первая треть дороги, особенно «улитка», но там вам лучше всего сойти, и я провожу вас наверх. От пяти до шести мне придется читать лекцию. В это время вы могли бы посетить госпожу Грисбах, а незадолго до шести — уехать. Как только моя лекция окончится, я отправлюсь верхом вам вслед, с тем, чтобы догнать вас сейчас же за городом. Вашим людям это несколько не покажется странным, так как дорога близ Иены действительно плоха, а к тому же будет ночь. Это сойдет за обыкновенную любезность.

Тем временем подумайте над содержанием моего предыдущего письма. Боюсь, мы должны будем вернуться к нему, и благо мне, если все так и исполнится! Все прочее будет тогда больше в нашей власти, лишь бы было улажено то.

Однако все эти проекты показывают мне мое блаженство лишь вдали, и в какой дали! Как долго еще даже до среды, и как вытерплю я *многие месяцы* с этим желанием! Но я теперь не стану роптать. Разве я не увижу вас через сорок часов? Ах, только в этой мысли жизнь для меня!

Мои любимейшие, моя единственная радость, будьте здоровы. Вас обнимает моя пылающая душа. О, вы мне так близки! Вы — одно со мной! Вы неотделимы от меня, как любовь от моего бытия, как желание от блаженства. Ангелы моего сердца, о, как найти мне слова, выражающие такую любовь, какой я вас люблю? Всего доброго! Всего доброго!

Кальб теперь лучше. Ее болезнь была опасна.

Иена, 18 декабря 1789 г.

Как долго и как часто в течение уже более года я спорил с самим собою, должен ли я осмелиться признаться вам в том, чего я теперь уже больше не в силах тайть. Я должен просить вас, досточтимейший друг, вспомнить сейчас все то, что в вашем добром сердце говорило в мою пользу. Я сам должен вызывать в памяти каждое ваше слово, в котором я усматривал благосклонность ко мне, чтобы в этот миг почерпать мужество и надежду. Бывали минуты, — незабываемы они моему сердцу! — когда вы заставляли меня забыть, что я чужой в вашем доме, когда казалось даже, что вы и меня причисляли к своим детям. То, что вы тогда говорили, не придавая этому значения, что вам внушало лишь мимолетное движение вашего сердца, — как глубоко захватывало оно мое сердце, где давно уже не было иного желанья, как называться вашим сыном. В вашей власти превратить для меня эти тогдашние изъявления в полную блаженную истину.

Я отдаю все счастье моей жизни в ваши руки. Я люблю Лотхен, — ах, как часто это признание было у меня на устах, — не может быть, чтобы это укрылось от вас! С первого дня, как я вошел в ваш дом, милый образ Лотхен больше не покидал меня. Я угадал в ней прекрасное благородное сердце. В столь многие радостно прожитые часы ее нежная, чуткая душа во всех обликах являлась мне. В тихом и близком общении, чему вы сами часто бывали свидетельницей, ткалась неразрывнейшая связь моей жизни. С каждым днем росла уверенность во мне, что только с Лотхен я могу стать счастливым. Быть может, я должен был побороть это чувство, когда я еще не предвидел, станет ли Лотхен моей? Я пытался, я принуждал себя это сделать, и это стоило мне многих страданий. Но невозможно бежать от своего высшего блаженства, спорить с громким голосом сердца. Все, что могло убить мои надежды, проверял и взвешивал я за этот долгий

год, когда я боролся со своей страстью, но сердце все это опровергло. Если Лотхен может найти счастье в моей искренней, вечной любви и если я вас, глубоко чтимая, могу ясно в этом убедить, то нет больше ничего, что могло бы говорить против высшего счастья моей жизни. Мне нечего бояться, кроме нежного опасения матери за счастье своей дочери, счастье же я ей дам, если только любовь может сделать ее счастливой. А что это так, я прочел в сердце Лотхен!

Согласны ли вы, дражайшая матушка, — о, позвольте мне называть вас этим именем, выражающим чувства моего сердца и мои надежды на вас! — согласны ли вы самое дорогое, что у вас есть, доверить моей любви? Мои желанья — своим одобрением превратить в действительность, если они совпадают с желаньями вашей дочери, если мы оба объединимся в этой просьбе? Я буду вам обязан большим, чем могу быть обязан кому-либо в жизни. Вы будете счастливы блаженством своих детей. Наша благодарность будет стараться украсить вашу жизнь и дар любви возмещать вам любовью.

Я не позволю себе никаких дальнейших объяснений, пока вы не решите судьбу желаний моего сердца. Если только в вашей душе нет возражений против моего счастья, никакие внешние препятствия не станут на его пути. С какой тревогой, с каким нетерпеливым волнением буду я ожидать вашего слова, решающего все мое счастье! Но вас направит одна лишь любовь, и на этом я строю радостные надежды. Вечно ваш с искреннейшим уважением и любовью.

[Подпись вырезана.]

98. ГОСПОЖЕ ЛУИЗЕ ФОН ЛЕНГЕФЕЛЬД

Иена, 22 декабря 1789 г.

Моя искреннейшая, невыразимейшая благодарность, достопочтеннейшая, дражайшая матушка, за блаженство всей моей жизни, которым вы меня дарите, вверяя мне Лотхен! Как я могу отблагодарить за это словами! Моя душа глубоко взволнована, слыш-

ком взволнована, чтобы я мог сейчас с полным самообладанием писать вам. Но я не могу молчать в эту минуту радости, и я должен был излить на вас всю полноту моего сердца. О, насколько дороже становится еще ваш дар от того, как вы его мне приносите! Это великодушное доверие, с которым вы вверяете мне счастье Лотхен, насколько оно приумножает мой безграничный долг перед вами! Поверьте мне, я чувствую, что вы мне доверяете, и понимаю, как трудно вам ограничить все ваши надежды на счастье Лотхен одной моей любовью. Но я чувствую не менее живо, что никогда, никогда у вас не будет причин раскаиваться в этом доверии!

Блестящего внешнего счастья я не могу предложить Лотхен ни теперь, ни в будущем, хотя у меня есть основания надеяться, что года через четыре или лет через пять я буду в состоянии создать для нее приятные условия жизни. Вы знаете, на чем основываются все мои виды,— только на моем собственном трудолюбии. У меня нет таких средств, о которых вы уже давно не знали бы, но и моего прилежания *достаточно*, чтобы обеспечить нам с внешней стороны беззаботное существование.

На восемьсот талеров мы в Иене можем неплохо прожить. Мы могли бы обойтись и меньшей суммой, если бы в первые же годы умели со всем справляться. Триста талеров составляют верный доход от моих лекций, и он с каждым годом будет повышаться, по мере того как я смогу посвящать им больше часов. В ста пятидесяти или двухстах талерах мне не откажет герцог, так как год я прослужил даром. Поскольку эти деньги ему надо выдать из *своей* шкатулки, он, пожалуй, не так легко пойдет на это, но все-таки он, наверно, принесет эту маленькую жертву для моего и Лотхен счастья. Помимо этих четырехсот или пятисот талеров, мне остается весь доход от литературных работ, который до сих пор был моим единственным ресурсом и который с каждым годом повышается, так как мне и писать становится все легче и платят мне за мою работу все лучше. Прежде, чем приехать в Иену, я довольно легко зарабатывал каждые два года

от восьмисот до девятисот талеров. То же самое возможно и теперь, без особого напряжения. И это; если не считать никаких счастливых случайностей, которые могут удвоить мой доход. Такой удачей могло бы стать мое предприятие с «Мемуарами», которые обеспечили бы мне ежегодный текущий доход в 400 талеров, почти без моего личного труда. Но я сейчас не принимаю в расчет ничего такого, что зависит от удачи. Из сказанного выше вы видите, что мои отношения со здешним университетом принесут мне (в случае, если герцог сделает для меня мало) четыреста талеров и мои писательские труды — столько же. А на восемьсот талеров мы можем жить.

Я не отрицаю, что 1790 год будет для меня заметно труднее всех следующих, так как в этом году мне предстоит наново разрабатывать все то, что потом всегда будет служить мне как уже готовое. Если бы я следовал только голосу разума, я в этом году еще не стал бы помышлять о соединении с Лотхен. Но как же я могу потерять целый год моего счастья? Я не смею и не хочу описывать вам, моя дражайшая матушка, как трудно был прожит мной уже прошлый год из-за моей разлуки со всем, что я любил. Даже для моего прилежания существенное условие — чтобы сердце мое наслаждалось; в союзе с Лотхен все мои занятия станут для меня легче. Вы сами чувствуете это. Мне не надо ничего добавлять.

То, что я здесь изложил вам, относится только к первым годам. Но у меня есть кое-какие виды; приглашение в другую академию повысит мое содержание в Иене. Если сначала я сам больше усовершенствуюсь в новой специальности, которую я себе избрал, то и без того такое улучшение, наверное, произойдет. Только мне не хочется слишком далеко увозить от вас Лотхен, и я сам слишком привязан ко всему вашему дому, иначе я бы не стал искать счастья в Иене. Я прилагаю письмо от коадьютора, который сделает для меня все, как только получит возможность, а это может случиться в любой день.

Завтра я напишу герцогу Веймарскому и самое большее через неделю смогу с определенностью напи-

сать вам, *сделает* ли он и *что* именно для меня. Если он обнадежит меня на 1791 год, я представлю вам — только на 1790 год — новый план, который вам, быть может, понравится и который герцог также, наверное, охотно одобрит.

Сколько еще, дражайшая, досточтимейшая, могло бы сказать вам мое благодарное сердце, но еще придут прекрасные часы, когда оно совсем откроется перед вами!

С искреннейшей благодарностью, почтением и любовью вечно ваш

Шиллер.

99. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Иена, 24 декабря 1789 г.

Я теперь полон ожидания, милый Кернер. Позавчера я получил согласие матери, превосходной женщины! Вчера я написал герцогу о вспомоществовании. Мне сказали, что я, наверное, добьюсь у герцога желаемого, и поэтому не советовали делать тот шаг, о котором я писал тебе в последнем письме. В Веймаре с некоторого времени все говорят обо мне и Лотхен, и сам герцог зондировал по этому поводу Штейн. Она подтвердила его предположение, и так как он одобрил наш брак, она обронила словечко насчет пенсии, и он не отнесся к этому совершенно отрицательно. Он любит делать такие одолжения, а к Ленгефельдам он весьма расположен. Я питаю большую надежду, что для меня будет что-нибудь сделано. В течение нескольких лет, я уже вижу, мне придется тянуть академическую лямку, хотя бы для того, чтобы успокоить мать Лотты и моего отца. Тем временем либо умрет некто, о ком ты знаешь, либо для меня откроется какая-нибудь иная выгодная возможность.

На восемьсот талеров я здесь могу жить очень недурно. Если герцог даст мне двести и если, читая четыре курса в год, я заработаю еще хотя бы двести, — самое меньшее, на что я могу рассчитывать, — это составит уже шестьсот с теми двумястами, кото-

рые мне может ежегодно добавлять мать. Писательством я буду зарабатывать не меньше, чем до сих пор, так как у меня остаются два свободных дня в неделю и, в общем, два месяца каникул в год. Когда лекции будут уже разработаны, каждый день станет полностью моим. Итак, я надеюсь уже в первый год начать выплату долгов. Если удастся предприятие с «Мемуарами» и если издатель, соответственно плану, сможет выпускать по восьми томов в год, это принесет мне сто луидоров, от меня же не потребует лишнего труда, кроме восемнадцати, двадцати листов собственных исторических исследований и корректуры. Я смотрю на будущее довольно спокойно. Я стану прилежнее, чем в моем прежнем положении, так как буду внутренне более спокоен и счастлив. Что касается денег за лекции, то мне теперь уплатили всего восемь дукатов, а главную сумму уплатят лишь к Новому году. Таким образом, как ни плохо сложился мой первый необязательный курс, он все же не прошел совсем впустую и позволяет надеяться на лучшие времена. Но больше нескольких лет такого существования я, наверно, не вынесу. Впрочем, даже если я не выгадаю ничего, кроме того, что история в целом станет для меня чем-то более знакомым, я и то не буду считать эти годы совсем потерянными.

Я нахожусь, как ты мне охотно поверишь, в сильном волнении. Быстрое и столь благородное согласие матери очень тронуло меня. Ей приходится пожертвовать многими планами и надеждами, и все это — основываясь на доверии ко мне и моей любви. Бейльвиц недавно писал мне из Женевы; с этой стороны тоже сложатся хорошие отношения. Только бы я мог создать для Лотхен здесь, в Иене, приятное существование! Я должен ограничиться почти исключительно обществом Паулюса и его жены: к счастью, она и Лотхен очень любят друг друга. Если я сохраню для себя свободу от всех прочих связей со здешним обществом, я этим по крайней мере избегну пошлости.

Я оставляю за собой свою нынешнюю квартиру и сниму остальные комнаты в том же этаже. Здешние хозяйки соглашаются давать нам стол, и это станет

мне дешевле, чем вести свое хозяйство. А тогда мне для нашего обслуживания не надо будет никого, кроме горничной для Лотхен; я же обойдусь моими прежними людьми. Так как всю мебель я могу получить в доме, мне незачем и обставляться. Это и вообще было бы неразумно, пока я не знаю, долго ли я здесь останусь. Итак, самое трудное — начало — дается мне сравнительно легко, и главное — это вещи, нужные для моей собственной экипировки. Гешен даст мне четыреста талеров за статью о Тридцатилетней войне в историческом календаре. Работа легкая, так как материала очень много, а при обработке нужно рассчитывать только на любителей. Эти четыреста талеров придутся мне сейчас весьма кстати. Несколько томов «Мемуаров», которые я сразу же хочу дать перевести, пособие от матери и кое-что постоянное от герцога, да деньги, которые мне должен будет ссудить Бертух, — все это вместе даст мне как-никак около тысячи талеров наличными, а с этим я вполне могу начать.

Напиши мне скорей и скажи, радует ли и удовлетворяет ли тебя мое теперешнее положение. В другой раз мы поговорим о *наших* проектах. Привет Минне и Дорхен. Будь здоров!

Твой Шиллер.

100. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Вена, 6 января 1790 г.

Прошлый раз я писал тебе, что хочу письменно просить герцога о пенсии. Я немедленно сделал это, и решение последовало через несколько дней. Двести талеров, как я и предполагал. Чего я не предполагал, это — что сам герцог почувствует, как это мало. Через день после того, как я ему написал, я отправился в Веймар, но совсем потихоньку, и виделся там только с Ленгефельдами. Он все-таки об этом узнал, велел позвать меня и сказал, что был бы рад что-нибудь для меня сделать, чтобы выказать мне свое уважение, и добавил, понизив голос и со смущенным

видом, что двести талеров — это все, что он может дать. Я ответил, что это все, чего я хотел от него. Тогда он стал расспрашивать меня о моей женитьбе, и с тех пор как он об этом узнал от меня, держит себя очень любезно с Лотхен. На следующий день, когда мы обедали у Штейн, он явился сам и сказал ей, что он дает самое лучшее для нашей свадьбы — деньги. Он говорит об этом очень часто, и видно, что относится к этому доброжелательно. Штейн он сказал еще, что его очень радует, когда он может что-нибудь для меня сделать, но он предвидит, что я плохо отблагодарю его: я, несомненно, уеду при первой возможности. В этом он, пожалуй, не ошибся, но возможность должна быть по крайней мере настолько выгодной, чтобы он сам оправдал меня. Кoadъютор тоже недавно сказал Штейн, что когда-нибудь, наверное, залучит меня в Майнц.

Так обстоят дела. Что касается моей пенсии, то мне не нужно будет брать ее авансом. Столько денег, сколько мне нужно, я смогу выжать из своих «Мемуаров». От Бертуха я в денежном отношении не завишу; напротив, он еще должен заплатить мне за «Знаменитую женщину». Сейчас я жду, удастся ли мне добиться у матери разрешения обвенчаться еще этой зимой. Внешние препятствия устранены, а мои виды к пасхе не будут лучше, чем теперь.

Почта сейчас уходит. В следующий раз напишу больше. Привет Минне и Дорхен. Всего хорошего!

Твой III.

101. ОТЦУ, КАСПАРУ ШИЛЛЕРУ

Иена, 7 января 1790 г.

Как я рад был, дорогой отец, вашему последнему письму, и как оно было мне нужно! За день до того я получил от Христофины печальное известие о том, что состояние бедной дорогой матери резко ухудшилось. И какой благословенный оборот приняла теперь эта затянувшаяся болезнь! Если в дальнейшем *regimen vitae*¹ дорогой матери будет соблюдаться осторож-

¹ Режим жизни (лат.).

ность, все ее долгие страдания будут уничтожены с корнем. Возблагодарим доброе провидение, сохранившее нам дорогую возлюбленную мать нашей юности. Моя душа растрогана и исполнена благодарности. Я быдо считал ее навеки потерянной для нас, и вот она вновь нам подарена!

Я был в Веймаре на рождественских каникулах, когда пришли оба письма — из Мейнингена и из Solitude и только первое было послано мне вслед. Как разрывала мне сердце мысль, что моя возлюбленная мать не доживет до счастья своего сына! Надеюсь, дорогой отец, что письмо, которое я послал вам недели три или четыре назад и где я извещал вас о моем союзе с Лотхен Ленгефельд, находится теперь в ваших руках и немного способствовало вашему успокоению. Герцог очень интересуется моей женитьбой. Недавно я был у него и получил ежегодную пенсию в двести талеров; та любезность, с которой он их мне дал, должна повысить для меня их ценность. Лотхен, которая вместе с сестрой проводит эту зиму в Веймаре и часто там разговаривает с ним при дворе, он встречает с большим участием и почтительностью.

Что я уже теперь стараюсь все время улучшать свои обстоятельства, вы не станете порицать. Я обязан перед самим собой достигнуть всего, чего я могу, а сюда относится и внешнее положение. Довольство моими теперешними обстоятельствами не должно препятствовать мне стремиться к дальнейшему улучшению. Я смотрю на мое нынешнее обеспечение как на ступень к еще более важному кругу деятельности, а за прилежанием дело не станет.

Возможно, что уже через месяц я смогу сообщить вам о моей свадьбе. Внешних препятствий больше нет; если моя теща к тому времени справится с нужными для дочери вещами, наш брак сможет совершиться. А не то, самый крайний срок — пасха. Надеюсь, вы пойдете навстречу моему желанию и пришлете мне сюда Нанетту. Теперь, когда дорогой матери лучше, это будет вам не так трудно.

Прилагаю письмо моей будущей жены, которая, хотя и незнакома с вами, просит любить ее. Она

теперь ваша дочь и, несомненно, хорошая дочь, которая доставит вам радость.

Пусть небо ниспошлет вам тысячу благ, любезный отец, и подарит моей дорогой матери веселую, безболезненную жизнь. Об этом молит всем сердцем
ваш

послушный и вечно благодарный сын

Фриц.

Милым сестрам тысячу поклонов!

102. ЛОТТЕ ФОН ЛЕНГЕФЕЛЬД

[8 января 1790 г.]

Твои сомнения, моя любимая, действительно ли ты для меня то, чем ты хочешь быть, содержат безмолвный упрек мне, хотя я знаю, что ты не желаешь его делать. Этих сомнений не возникало бы у тебя, если бы моя любовь к тебе имела более живое выражение, если бы я находил больше слов, чтобы высказать, что ты значишь для моего сердца. Однако эти сомнения покинут тебя, когда ты узнаешь меня вполне, когда ты настолько освоишься с моим внутренним миром, чтобы знать, каким языком говорят мои чувства. Моя любовь так же тиха, как и вся моя натура: не по отдельным порывам, но по всей гармонии моей жизни узнаешь ты ее. Нам обоим предстоит еще долго и радостно изучать друг друга, пока мы не постигнем, какая струна в нас отзывается особенно легко и благозвучно, пока каждый из нас не узнает, что — самое чувствительное в душе или настроении другого, чего мы нежнее всего можем касаться, меньше всего при этом ошибаясь. Я предвижу, любовь моя, мы еще сделаем друг в друге всяческие открытия, и это сулит нам прекрасные часы. Уже искусство связывать свои желания с тем, чем богат другой, — искусство не такое легкое, но оно вознаграждает мгновенно и невыразимо. Я мог бы подготовить тебя ко многим моим особенностям, но мне приятнее, чтобы ты сама открыла их. То, что ты увидишь в моей душе, должно

быть твоим собственным; тем, что ты откроешь сама, ты воспользуешься особенно удачно и тонко. Не смущайся своеобразными ликами моей души, часто и быстро меняющимися. Нашей любви они не касаются вовсе. Эта быстрая возбудимость моей души — моя особенность, к которой ты мало-помалу привыкнешь. Как я радуюсь будущему, которое мягким светом незаметно озарит нам все это!

Сегодня ушло твое письмо к моей матери. Она переживет счастливый миг, когда его получит. Завтра я напишу *chère mère* и буду ее торопить. Но и вы должны мне помочь, особенно Каролина!

Каролине я сегодня написать не успею. Это письмо сию минуту должно уйти, иначе закроется почта и вы завтра совсем ничего не получите.

Я прижимаю вас к моему сердцу. Ах, вы всегда со мною! Прощай, любовь моя! Завтра я получу письма от вас. Я жду их со страстным желанием. Обнимаю тебя тысячекратно. *Adieu!*

Ш.

103. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Иена, 1 марта 1790 г.

Уже по моему долгому молчанию ты, вероятно, заключаешь, что за это время должно было произойти многое, и заключаешь правильно. Я — шестидневный супруг; в прошлый понедельник, двадцать второго, мы обвенчались, и после недели развлечений это первый спокойный миг, который я могу посвятить тебе. Не то, чтобы мы это время беспрестанно пировали; все было очень тихо и по-домашнему, но моя теща на эту неделю приезжала сюда, а тут еще несколько гостей из Веймара и первые дни по устройству, мешавшие мне как следует сесть и написать.

Не требуй пока никаких подробностей о внутренних и внешних переменах во мне. Я еще в упоении, и мне от этого так хорошо. Вот все, что я могу пока сказать о себе.

Переход совершился так спокойно и незаметно, что я сам этому удивился, так как в женитьбе меня всегда пугала свадьба. Не знаю, писал ли я тебе, что поеду в Эрфурт, чтобы привезти оттуда свою жену и посетить коадьютора. Это путешествие началось две недели назад, и я провел в Эрфурте приятных три дня в обществе моей жены и свояченицы, что мало-помалу приучало меня быть с ними неразлучно. Везде, где бы мы с Лотхен ни появлялись, на нас смотрели как на супружескую пару; коадьютор особенно искренне сочувствовал нам, и это весьма украшало мое пребывание в Эрфурте. В позапрошлом воскресенье мы отправились в Иену, а в понедельник — навстречу моей теще, выехавшей из Рудольштадта. Еще в пути, в сельской церкви под Иеной, при закрытых дверях богослов-кантианец (адъюнкт Шмидт) совершил обряд венчания — очень забавная сцена для меня!

Сохранение тайны удалось сверх моих ожиданий, и все старания студентов и профессоров заставить меня врасплох были этим пресечены. С моей тещей мы прожили лишь несколько приятных дней, а так как наше устройство сразу же было успешно закончено, то уже первые дни создали чудесную картину домашней жизни. Я чувствую себя счастливым, и все убеждает меня в том, что и моя жена счастлива мной и будет счастлива впредь. Моя свояченица остается у нас, но мне пришлось нанять ей другую квартиру, так как мне пока не хватает комнат. Устроились мы хорошо, и новый уклад жизни мне очень нравится. У моей жены горничная, а у меня слуга, и содержать их обоих стоит мне не дороже, чем тебе — одного слугу в Дрездене. Со столом и прочим все останется так, как я тебе писал.

Какую чудесную жизнь я теперь веду. Я осматриваюсь вокруг себя с радостной душой, и мое сердце все время находит тихое удовлетворение, мой ум — прекрасную пищу и отдых! Мое бытие достигло гармонического равновесия; без страстного напряжения, но спокойно и светло текли для меня эти дни. Я занимался своими делами, как раньше, и был более доволен самим собой.

Теперь может последовать только одна перемена, и тогда мне нечего больше ждать извне. От коадьютора я могу надеяться на самое лучшее. Он по своему почину разговорился по известному пункту и сказал в ясных выражениях, что рассчитывает иметь меня возле себя в Майнце и создать мне там достойное меня существование. Он не знает, добавил он, какая польза была бы князьям от их средств, если бы они не тратили их на то, чтобы собирать вокруг себя выдающихся людей.

Однако, без всяких особых соображений, коадьютор чрезвычайно интересный для общения человек, с которым возможен великолепный обмен идеями. Мало людей я встречал, с которыми вообще мне так хотелось бы часто видеться, как с ним. Он воспламенил мой ум, а я, как мне показалось, — его. Правда, я подозреваю в нем что-то непостоянное и колеблющееся, и поэтому он, может быть, неспособен основательно исчерпать какой-нибудь вопрос, но его взгляды светлы, быстры и широки, и тем приятнее беседа с ним.

К моей жене и свояченице он очень расположен, и они прямо покорили его. Он прекрасно рисует и позволил им обеим присутствовать при его работе. Он начал картину, имеющую отношение к нашей свадьбе. Это Гименей, пишущий на дереве наши имена, вблизи — Ишпокрена и атрибуты Трагедии и Истории. Картина предназначена Лотхен, и мы получим ее через две недели. Он написал мадонну, которая, в самом деле, превосходна.

Губер тоже ответил мне сегодня, и меня искренне радует, что у меня возобновились с ним добрые отношения. Но могло ли и быть иначе, если в них в свое время было что-то настоящее? Я верю почти во всякую дружбу, основанную на характере; ибо люди всегда остаются нужны друг другу.

Губер, видимо, придает большое значение «Тайному суду», и это мне не нравится. То, что я успел прочесть, меня не удовлетворяет. Публика обманет его ожидания, и ради него самого я хотел бы, чтобы у него был более строгий идеал.

Моя жена и свояченица сердечно приветствуют тебя

и кланяются Минне и Дорхен. Поклонись М. и Д. от меня. Если бы Дорхен прислала мне копию моего портрета, она очень обязала бы меня. Моя теща хочет его иметь, и я был бы рад исполнить ее желание. Будь здоров! Скоро я напишу тебе опять. Не будешь ли ты так добр переслать прилагаемое письмо Мюллерам?

Твой III.

104. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Иена, 16 мая 1790 г.

Каникулы позади, и я снова запрягся, но больше — в лямку Гешена, нежели академии, и не порчу себе из-за дел прекрасных майских дней. Совсем иначе мне живется подле любимой жены, чем заброшенному и одинокому, — даже летом. Лишь теперь я полностью наслаждаюсь красотой природы, и среди нее я принадлежу себе. Все вокруг вновь облекается в поэтические образы, и часто что-то опять шевелится в моей груди. Сколько бы я ни вез академическую тачку, это *меня* никогда не изменит! Образцовым профессором я никогда не стану; но провидение и не предназначало меня к этому. Итак, не жди от меня, чтобы я написал много учебников, зато тем вернее — кое-что иное!

Для собственного удовольствия, а также для того, чтобы все-таки что-то делать за получаемые двести талеров, я, наряду с курсом *privatum* по всемирной истории, читаю еще курс *publicum* по тому разделу эстетики, который трактует о трагедии. Не воображай, что я при этом опираюсь на какую-либо книгу! Я составляю эту эстетику сам и думаю, что она от этого получается ничуть не хуже. Мне доставляют большое удовольствие, — сверх некоторых наблюдений по этому вопросу, которые я имел случай сделать, — попытки найти общие философские правила и, быть может, установить научный принцип. До сих пор все развертывается у меня удивительно хорошо и попутно возникает много ярких идей. Старая охота к философствованию пробуждается вновь, и в конце концов дело дойдет опять до Юлиуса и Рафаэля!

Одновременно эта работа дает мне не лишенный интереса материал для «Талии», а то, что она интересует студентов, ты легко можешь себе представить.

Вчера мы с женой были в Веймаре, где посетили, в числе других, и Гердеров. Он недавно перенес тяжелое геморoidalное заболевание и еще не совсем оправился. Мы нашли его в хорошем настроении и приятно провели время. Он совсем иначе восхищается моим обзором всемирной истории в «Мемуарах», чем ты. Ты все еще не признаешь во мне историка-философа. Мой обзор вызвал большую сенсацию, а я оцениваю его, как и раньше. Обратись же в истинную веру!

Меня очень обрадовали известия о тебе. Как подвигается апелляция? Ты опять в «вертограде», и благо тебе! Напиши мне в следующем письме, каким надежным адресом ты пользовался для Губера. Я хотел бы расспросить их о разных вещах, о которых не должен знать кто-либо третий, а Форстера, которому я мог бы написать, сейчас нет в Майнце.

Спроси господина фон Функа, решится ли он перевести новое издание мемуаров Сюлли в семи томах октаво. Я заплачу ему за это сто луидоров, а готово все должно быть через год.

Сердечный привет Минне и Дорхен от меня и моей жены. Будь здоров!

Твой III.

105. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Иена, 1 ноября 1790 г.

Через юного Вурмба, поступившего в Дрездене в кадеты, я послал тебе из Рудольштадта письмо, которое ты, надеюсь, уже получил. Каникулы миновали, и я уже неделю снова читаю лекции. Двенадцать дней провел я в Рудольштадте за едой, питьем, игрой в шахматы и жмурки. Я хотел праздновать всюю, и этот отдых принес мне пользу, хотя под конец и стал мне невыносим. Я не могу долго предаваться безделью, особенно такому, когда ум не имеет пищи в

общении с другими. Даже лекции теперь доставляют мне больше удовольствия. Я приобретаю новые понятия, составляю новые комбинации и всегда откладываю в запас те или иные материалы для будущего духовного здания. Видишь, как человек начинает любить свою службу! Так будет и у тебя, только на иной лад, с твоей юриспруденцией.

Гете много рассказывал мне о тебе и чрезвычайно доволен личным знакомством с тобой. Он сам заговорил об этом, тепло вспоминал о своем приятном пребывании у вас и вообще в Дрездене. У меня получилось с ним так же, как и у тебя. Вчера он был у нас, и вскоре зашла речь о Канте. Любопытно, как он все своеобразно воспринимает, накладывая свой отпечаток и передавая в неожиданном свете то, что прочел. Но мне все-таки неприятно спорить с ним о предметах, очень близко меня интересующих. Он совсем лишен способности от всего сердца с чем-либо *соглашаться*. Для него вся философия субъективна, и тут прекращаются всякие споры и доказательства. Его философии я тоже не приемлю целиком: она слишком много черпает из чувственного мира там, где я черпаю из души. Вообще, строй его представлений, по-моему, слишком чувственный и слишком эмпиричный. Но его ум действует и ищет во всех направлениях и стремится создать некое целое, что и делает для меня великим этого человека.

А в общем получается довольно нелепо. Он начинает стареть, и женская любовь, так часто им оскорбляемая, видимо хочет отомстить ему. Боюсь, что он сделает глупость и испытает обычную судьбу старого холостяка. Его любовница, некая мамзель Вульпиус, имеет от него ребенка и теперь более или менее обосновалась в его доме. Весьма вероятно, что он через несколько лет женится на ней. Ребенка он будто бы очень любит, и он уговорит себя, что жёнится на девушке ради ребенка и что этим будет по крайней мере смягчена щекотливость положения.

Все-таки мне было бы досадно, если бы он кончил такой *причудой гения*, ибо на это не преминут так посмотреть.

Насчет моего альманаха герцог Веймарский, которому я его послал, написал мне очень любезное письмо, и мне пришлось уже выслушать много лестного. Я и сам не знаю, как я так легко удостоился подобной чести. Я думаю, этот альманах не залежится у Гешена. Мне со всех сторон говорят, что другие исторические альманахи внешне многим уступают ему, а по содержанию, я надеюсь, ему не грозит никакая конкуренция. Гете очень понравились гравюры. Говорят, что на моих «Художников» появилась рецензия в одном из номеров журнала Бюргера «Академия изящной словесности». Я еще не читал ее, может быть, она попадется тебе на глаза. Итак, исполнилось как будто мое желание, чтобы эту вещь не замолчали совсем!

Посылаю бутылочку капвейна, чтобы напомнить тебе о том, который мы с тобой пивали в Дрездене. Вино привез в подарок прямо из Капской колонии добрый знакомый моему отцу, а он прислал несколько бутылок мне. Этот знакомый женился в колонии на богатой голландке; теперь он в Швабии и намерен обосноваться в Дессау.

Пока всего лучшего. Сердечно кланяйся Минне и Дорхен от нас обоих! Мы оба здоровы и вспоминаем о вас с любовью. Жена много рисует и усердно занимается пением. В эту зиму здесь много будут танцевать, и некоторые люди ждут этого с радостью. Только я не знаю, куда мне деваться, пока молодежь танцует! *Шульц*, как ты, должно быть, уже знаешь, получил от герцогини Курляндской назначение профессором истории в Митаву. Она, говорят, очень высокого мнения о нем. Не обижайся, но твоя герцогиня не проявила тут особенно хорошего вкуса.

Ш.

106. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Вена, 26 ноября 1790 г.

Одиннадцатый номер «Талии», наверное, уже у тебя в руках, равно как и листы «Человеконенавистника». Если бы я думал еще поработать над ним, он никогда не был бы помещен в «Талии»; но от такой мысли я после зрелого критического размышления и

повторных неудачных попыток вынужден был отказаться. Для трагической обработки такой вид человеконенавистничества представляется слишком общим и философичным. Я должен был бы вести тяжелую, бесплодную борьбу с темой и, несмотря на все старания, потерпел бы поражение. Если я когда-нибудь снова попаду в трагическую колею, я не позволю себе стать опять жертвой неудачного выбора и расточать свои лучшие силы в тщетном и неблагодарном споре с непреодолимыми трудностями.

Если вообще у меня когда-нибудь будет случай померяться с каким-либо древним или современным трагиком, условия должны быть *равны*, и ничто не должно противодействовать трагическому искусству, как это всегда бывало со мной до сих пор.

Работу в области драматургии вообще, вероятно, придется отложить на довольно долгий срок. Пока я не овладею вполне греческой трагедией и свои смутные догадки о правилах и мастерстве не превращу в ясные понятия, я не стану братья за какую-либо драматическую разработку. Кроме того, я должен развивать, сколько могу, свою деятельность в области истории, чтобы, по возможности, улучшить свое существование. Я не вижу, почему бы мне, если я серьезно захочу, не стать первым писателем-историком в Германии, а первому уж во всяком случае должны открыться какие-либо виды!

Гешен через неделю или полторы будет здесь, и тогда я хочу поговорить с ним об одном плане, который очень тесно будет связан со всеми моими намерениями. Я уже полтора года ношусь с мыслью о *немецком Плутархе*. В этом произведении соединится почти все, что может обеспечить книге удачу и что соответствует моим личным возможностям: небольшие, легко обозримые, законченные вещицы, а также разнообразие, художественное изложение, философская и моральная трактовка. Все мои способности, особо присущие мне и развитые упражнением, найдут себе применение; влияние на эпоху несомненно. Ты можешь сам добавить все то, что мне хочется сказать по этому поводу.

Эту работу я хотел бы делать с достойной неторопливостью, так, чтобы от меня не требовали больше двух томиков в год, вроде того, как напечатан «Духовидец». А столько я надеюсь сделать охотно и основательно. Гешен может питать полную надежду на необычайный спрос, так как это произведение будет важно и для ученых и для читающей публики, для женщин и для молодежи. Я потребую от него три луидора, с тем, чтобы извлечь из этого около семисот талеров. Если он продаст всего две тысячи экземпляров, и то ему останется восемьсот талеров прибыли. За более дешевую цену я работать не стану или возьму другого книготорговца. Обо всем этом я сговорюсь с ним при ближайшей встрече, и тогда моя писательская деятельность приобретет известную солидную цель, равномерность и порядок. Я больше не буду зависеть от случая и смогу внести систему в свои изыскания и в план всего моего чтения. Лекции тогда тоже не будут чем-то побочным для меня, и на них больше не придется смотреть как на бесполезное отвлечение. Напиши мне свое мнение об этом, и поскорее. Жена шлет сердечный привет.

Твой Ш.

P. S. То, что ты пишешь о Функе, я вполне разделяю. Я буду платить ему от ярмарки до ярмарки, как будут платить и мне.

107. ЛОТТЕ

15 января 1791 г.

Я был бы очень рад, душа моя, если бы, получив это письмо, ты сразу же взяла экипаж и приехала сюда. Я снова захворал. Рассчитывая увидеть тебя сегодня, я ничего не писал об этом. Но мне было бы больно дольше оставаться без тебя. Опасности уже нет. Штарк распорядился сделать мне изрядное кровопускание, и после этого лихорадка немного сдала. Поклон Штейн, будь здорова и постарайся, чтобы я еще сегодня увидел тебя.

Ш.

Иена, 22 февраля 1791 г.

Наконец-то после долгого перерыва я опять могу побеседовать с тобой. Моя грудь, которая все еще не совсем здорова, не позволяет мне писать много, иначе ты уже давно получил бы от меня письмо. Эта все еще длящаяся боль в определенном месте груди, появляющаяся при сильном вдыхании, кашле или зевках и сопровождающаяся ощущением напряжения, беспокоит меня в иные часы, так как она упорно держится, заставляя меня сомневаться в том, устранена ли полным кризисом моя болезнь. Все прочее хорошо — аппетит, сон, телесные и душевные силы, а впрочем, силы восстанавливаются медленно. Опасность моей болезни увеличивалась тем, что это был рецидив. Уже в Эрфурте я перенес приступ, но тамошний довольно знающий врач проявил недостаточное внимание и не столько вылечил, сколько заглушил болезнь. Около недели после этого первого приступа я чувствовал себя хорошо, а в Веймаре, где я провел около трех дней, я совсем ничего не ощущал, но уже на другой день по возвращении домой, когда я возобновил чтение лекций, начался жар, который стал усиливаться. Только это был скорее плеврит, чем воспаление легких, так как если и было воспалено правое легкое, то только с поверхности. На третий день я уже харкал кровью и ощущал стеснение, но последнее в течение всей болезни не особенно мучило меня. Боль в боку и кашель при таком сильном жаре были все же весьма умеренными. Сильное кровопускание, пиявки, дважды испанские мушки на грудь — все это облегчило мне дыхание. Кровяные выделения скоро окрасились и содержали доброкачественный гной. Только скверные явления со стороны живота осложнили лихорадочное состояние. Пришлось дать мне слабительного и рвотного. Мой ослабленный желудок в течение трех дней извергал все лекарства. В первые шесть дней я не мог принимать никакой пищи, и это при столь сильном очищении верхних и нижних путей и при высокой степени жара так

ужасно ослабило меня, что даже маленькое движение, когда меня переносили с постели на судно, вызывало обморок, и врач вынужден был с седьмого дня до глубокой ночи одиннадцатого дня давать мне вино. После седьмого дня мое состояние стало весьма серьезным, так что я совсем упал духом. Но на девятый и на одиннадцатый день последовали кризисы. Пароксизмы все время сопровождались сильным бредом, но жар в промежутках стал слабее, и я начал успокаиваться. Обильный пот, рвота и стул привели к кризису, но я сомневаюсь, был ли он полным. Прошла неделя, прежде чем я мог проводить несколько часов вне постели, и очень не скоро я начал ковылять, опираясь на палку. Уход за мной был отличный, и немало помогали мне переносить неприятности болезни внимание и забота многих из моих слушателей и здешних друзей. Они спорили о том, кому из них дежурить при мне, и некоторые дежурили три раза в неделю. То участие, которое проявляли ко мне здесь и в Веймаре, очень трогало меня. Через полторы или две недели после начала болезни приехала из Рудольштадта моя свояченица, и это была весьма необходимая подмога моей милой Лотте, которая страдала больше, чем я сам. Теща тоже погостила неделю у меня, и этой жизни в тесном кругу семьи, этой любовной заботе обо мне и стараниями дорогих моих друзей развлечь меня я главным образом обязан своим выздоровлением. Герцог для подкрепления моих сил прислал мне полдюжины мадеры, и она наряду с венгерским была мне очень полезна.

Кстати, еще до прибытия твоего последнего письма у меня уже созрело решение подчинить свое академическое прилежание требованиям здоровья. Помимо того, что продолжающееся мучительное давление в груди заставляет меня сомневаться в том, избавились ли уже мои легкие от тяжелых последствий перенесенной болезни, сила этого приступа налагает на меня обязательство величайшей осторожности. Что этой зимой я больше не буду читать лекций, разумеется само собой, но и лето я решил еще отдыхать. И даже, если бы я не был обязан поступить так ради здоровья, скоп-

ление писательских дел, среди которых главное — это работа над «Альманахом», не оставляет мне иного выбора. Я надеюсь без затруднений получить освобождение от занятий, за которым я для формы должен обратиться к герцогу, но я хочу воспользоваться особой благосклонностью ко мне веймарского двора для просьбы о том, чтобы мне и на будущее время была предоставлена полная свобода читать или не читать лекции. Герцог, наверное, всячески пойдет мне навстречу. Если после этого я опять стану читать, это будут только *privatissima*¹, один курс за целое полугодие. Я могу вести его в своем кабинете, где более высокая плата, во всяком случае, возместит то, что я потеряю от уменьшения числа слушателей, и где, вообще, я могу смотреть на всю работу скорее как на непринужденную беседу. Таким образом, будущей зимой я основательно примусь за изучение эстетики и буду читать ее. Свободные часы я отдам тем работам, которые подходят для «Талии», как, например, теория трагедии, и если я захочу устроить себе настоящий праздник, то углублюсь в план своей трагедии, который с некоторого времени сильно занимает меня. На сей раз довольно! Сердечно приветствуй Минну и Дорхен от меня и моей Лотты и будь здоров.

Твой Шиллер.

109. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Иена, 3 марта 1791 г.

Ты, наверно, уже получил мое письмо, в котором я рассказал тебе о всей моей болезни. Если не считать болезненных ощущений в груди, я попрежнему чувствую себя хорошо. Герцогу я вчера написал насчет летних каникул, чтобы соблюсти форму, ибо надобности в этом, собственно, не было, и я просто хотел сохранить с ним хорошие отношения. В Веймаре рецензия на стихотворения Бюргера заставила много говорить обо мне. В самых различных кругах ее читали вслух,

¹ Лекции для узкого круга слушателей (лат.).

и хорошим тоном считалось находить ее превосходной, после того как Гете открыто заявил, что хотел бы быть ее автором. Во всем этом смешно то, что из стольких мудрецов ни один не отгадал, кому она принадлежит!

Благодарю тебя за то, что ты обратил мое внимание на «Путешествия» господина *Беньовского*. Ничего столь интересного, как их первая часть, я уже давно не читал. Этот Беньовский доставил мне несравненно больше удовольствия, чем путешествия *Тюммеля* по югу Франции, о которых столько трубили. Эти последние отличаются легкостью слога, но они плоски, часто поверхностны и не свидетельствуют о богатом уме. Я ожидал чего-то лучшего.

О рецензии *Губера* во «В. Л. Г.» на произведения *Клингера* ты, может быть, уже знаешь. В ней много хорошего, и она заставила меня пожелать, чтобы он чаще мог высказываться о подобных работах.

Едва ли ты угадаешь, что я сейчас читаю и изучаю. Не что иное, как *Канта!* Его «Критика способности суждения», которую я себе приобрел, захватила меня своим ярким и богатым содержанием и вселила в меня огромное желание мало-помалу глубоко проникнуть в его философию. При моем слабом знакомстве с философскими системами «Критика разума» и даже некоторые работы Рейнгольда пока еще были бы для меня слишком трудны и стоили бы слишком много времени. Но поскольку я сам уже много размышлял над эстетикой, а эмпирически тем более сведущ в ней, в «Критике способности суждения» я подвигаюсь вперед гораздо успешнее и попутно знакомлюсь с разными кантовскими взглядами, так как он пользуется в этом произведении многими идеями из «Критики разума», на которую часто ссылается. Короче говоря, я чувствую, что *Кант* для меня не такая уж неприступная гора, и я без сомнения еще ближе займусь им. А так как будущей зимой я собираюсь читать эстетику, это дает мне повод вообще затратить несколько времени на философию.

С моим портретом вы можете поступить как хотите, лишь бы мне не иметь никакого дела с господином *Диком*. Правда, я хотел бы, чтобы не получилась рожа,

а это, я думаю, ты мог бы предотвратить, взглянув на работу до того, как ее будут печатать. Из рисунка большего размера, который господин *Шульце* хочет дать гравировать по портрету *Граффа*, вероятно, ничего не выйдет. *Липс*, который в настоящее время работает над большой гравюрой по портрету Гете, а затем хочет таким же образом взяться за Виланда и Гердера, непрочь гравировать и мой портрет, и тут естественно ожидать большего, чем от портрета, который *Шульце* хочет *дать* гравировать.

Будь здоров и кланяйся Минне и Дорхен. Моя Лотта и свояченица шлют вам привет. Напиши мне опять поскорей!

Твой *Ш.*

110. МАРТИНУ ВИЛАНДУ

Иена, 3 октября 1791 г.

С нетерпением ждал я, мой уважаемый и дорогой друг, того времени, когда восстановление моих сил позволит мне подать признаки жизни и высказать вам самую сердечную благодарность за ваше теплое участие. В печальные периоды, пережитые мною в этом году, память о вашей любви была моей отрадой и, как утешительный гений, стояла рядом со мной. Да снизойдет на вас за эту прекрасную человечность все счастье, какое небо может излить на смертного, и да сохранят все добрые духи вашу неоценимую жизнь, ваше столь благодетельное для мира и ваших друзей здоровье!

После пользования карлсбадской и эгербруннской водой мне стало гораздо лучше, мое сердце вновь раскрывается для житейских впечатлений и радостей, и силы моего духа начинают возвращаться. Все же спазмы в животе не прекращаются, дыхание все еще остается затрудненным, и наблюдаются еще другие явления, видимо предвещающие длительный недуг. Я вооружился терпением и покорностью и готов принять то, что мне пошлет судьба.

Вы, без сомнения, знаете, что веймарская труппа поставила в Эрфурте «Дон Карлоса» и что эту пьесу

собираются дать в Веймаре. Однако при исполнении пьесы я заметил в ней кое-какие недостатки, ввиду чего мне хотелось бы еще раз отшлифовать ее, прежде чем снова выпустить на подмостки. И пьеса и публика только выиграют от этой отсрочки. Смее ли я просить вас, мой дражайший друг, сказать это от моего имени тайному советнику Гете и попросить его, чтобы он предоставил мне отсрочку от четырех до шести недель.

Жена шлет вам и всем вашим сердечный привет, и мы оба надеемся вскоре увидеть вас либо в Веймаре, либо здесь.

Неизменно ваш

Фр. Шиллер.

111. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Иена, 13 декабря 1791 г.

Я должен тебе немедленно написать, я должен сообщить тебе о моей радости, милый Кернер! То, к чему я с тех пор, как живу на свете, пламенно стремился, теперь сбывается. Я надолго, может быть навсегда, освобождаюсь от всяких забот, я обрел столь давно желанную независимость духа! Сегодня я получил письма из Копенгагена от принца Августенбургского и графа фон Шиммельмана, которые предлагают мне в течение трех лет ежегодный подарок в тысячу талеров при полной свободе оставаться, где я пожелаю, — только для того, чтобы я мог окончательно оправиться от своей болезни. Свое предложение принц делает с такой деликатностью и так тонко, что это трогает меня еще больше, чем само предложение. Через неделю или полторы я пришлю тебе эти письма. Правда, оба они хотели бы, чтобы я поселился в Копенгагене, а принц пишет, что если бы я потом захотел взять должность, это можно было бы устроить. Но это так скоро не выйдет, так как мои обязательства перед веймарским герцогом возникли слишком недавно, и еще по многим причинам. Но я все-таки поеду туда, хотя бы это было через год или два.

Каково сейчас у меня на душе, ты можешь себе представить! Передо мной близкая возможность хо-рошенько устроиться, выплатить долги и в полной не-зависимости от забот о пище жить всецело замыслами своего ума. Наконец-то я обладаю досугом, чтобы учиться и копить знания и работать для вечности! В течение трех лет я либо получу место в Дании, либо что-нибудь случится в Майнце, и тогда я буду обеспечен до конца своих дней.

Но зачем я расписываю тебе все это? Скажи себе сам, как счастлива моя судьба! Сегодня я ничего боль-ше не могу тебе сообщить. На твое письмо, получен-ное сегодня, я отвечу в следующий раз. Тысячу покло-пов Минне и Дорхен от меня и моей Лотты!

Навеки твой

Ш.

112. ГЕРЦОГУ ФРИДРИХУ ХРИСТИАНУ
АВГУСТЕНБУРГСКОМУ И ГРАФУ ЭРНСТУ
ФОН ШИММЕЛЬМАНУ

Иена, 19 декабря 1791 г.

Разрешите мне, досточтимые, объединить два бла-городных имени в одном, в том, под которым вы сами объединились! Повод для такой моей смелости сам по себе уже является столь поразительным исключе-нием из всего обыкновенного, что мне следовало бояться всякими соображениями о случайных разли-чиях снизить то возвышенное и чисто идеальное отно-шение, в которое вы стали ко мне.

В такое время, когда остатки изнурительной бо-лезни окутывали туманом мою душу, пугая меня мрач-ным, печальным будущим, вы, как два добрых гения, протягиваете мне руку из облаков. Ваше великодуш-ное предложение исполняет и даже превосходит са-мые смелые мои желания. Тот способ, который вы для этого избрали, избавляет меня от боязни оказаться недостойным вашей доброты, приняв это доказатель-ство ее. Я вынужден был бы краснеть, если бы при подобном предложении мог думать о чем-либо ином, кроме той прекрасной человечности, из которой оно

возникло, той моральной цели, которой оно должно служить. Чисто и благородно, как вы *даете*, я, мне кажется, могу *принять*. Ваша цель при этом — способствовать добру; если бы мне было чего стыдиться, то лишь того, что вы могли ошибиться в орудии. Но та побудительная причина, которая позволяет мне принять предложенное, оправдывает меня перед собой и дает мне возможность, даже в узах величайшей признательности, предстать перед вами с полной свободой чувства. Не вам, а человечеству должен я уплатить свой долг. Оно тот общий алтарь, на который вы возлагаете ваш дар, а я — свою благодарность. Я знаю, высокочтимые мои: только убеждение в том, что вы будете поняты мною, может завершить ваше удовлетворение; поэтому, и лишь поэтому я позволяю себе это говорить.

Однако та большая роль, которую крайне пристрастная благожелательность ко мне играет в вашем великодушном решении, то предпочтение, которое вы оказываете *мне* перед столькими другими, когда мыслите меня орудием вашего прекрасного замысла, та доброта, с которой вы нисходите к мелким нуждам столь мало знакомого вам гражданина мира, возлагают на меня личную обязанность перед вами и к моей почтительности и восхищению. примешивают чувства искреннейшей любви. Какую гордость вселили вы в меня тем, что подумали обо *мне* в союзе, освященном благороднейшей из всех целей, рожденном энтузиазмом к доброму, великому и прекрасному! Но насколько воодушевление, проявляющее себя в делах, выше того, которое должно ограничиваться тем, что побуждает к делам! Правду и добродетель вооружать побеждающей силой для покорения сердец — вот все, что доступно философу и художнику, и как разнится от этого возможность в прекрасной жизни воплощать идеалы обоих! Я должен ответить вам здесь словами Фисеско, которыми он разделявается со спесью художника: «Вы совершили то, что я мог только *нарисовать!*»

Но если бы я и мог забыть о том, что я сам предмет вашей доброты, что вам я обязан прекрасной надеждой на завершение своих замыслов, то и тогда во

мне оставался бы весьма высокий долг перед вами. То, что *вы* явили мне, вновь восстанавливает веру в чистую и благородную человечность, попорченную столькими примерами противоположного в действительном мире. Незъяснимое блаженство для изобразителя человечества — встретить в настоящей жизни черты той картины, которая должна сиять в его душе и лежать в основе того, что он пишет. Но я чувствую, сколько я теряю, принимая то большое обязательство, которое вы на меня возлагаете. Через него я теряю сладостную свободу давать выражение своему восторгу и столь прекрасный в своем бескорыстии образ действительный восхвалять со столь же бескорыстным чувством!

Возможность в действительности представить вам того, кого вы так глубоко обязали, будет плодом вашей великодушной поддержки. Она позволит мне постепенно восстановить свое здоровье и перенести тяготы путешествия, перемену образа жизни и климата. Пока я еще подвержен возвратным приступам болезни, сужающей для меня наслаждение чистейшими радостями жизни: ее можно будет устранить лишь так же медленно, как она пришла. Среди многих лишений, на которые она меня обрекает, не из меньших то, что она оттягивает счастливое время, когда живое созерцание и общение тысячами неразрывных нитей свяжет меня с двумя сердцами, которые теперь еще из незримой дали, подобно божеству, благодетельствуют мне и, подобно ему, недостижимы для моей благодарности. Жить этим прекрасным будущим и в своих желаниях и мечтах торопить это время будет до тех пор излюбленным делом вашего глубоко обязанного и вечно благодарного

Фридр. Шиллера.

113. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Иена, 25 мая 1792 г.

Вот уже несколько дней как я работаю над продолжением «Тридцатилетней войны», и работа эта, кажется, пойдет успешно и легко, без особого напряжения. Я отвожу для этого ежедневно самое большее че-

тыре часа на писание и два на пересмотр написанного, причем эти шесть часов работаю не подряд. Таким образом, я не спеша смогу каждый день писать по четверти листа, и к концу августа завершить этот труд.

К эстетическим письмам, как ты сам понимаешь, я еще не успел приступить, однако перечитываю с этой целью кантовскую «Критику способности суждения» и потому хотел бы, чтобы и ты предварительно как следует ознакомился с нею. Тогда мы скорее сможем помогать друг другу и лучше работать во имя единой цели; и к тому же скорее выработается общий язык. Баумгартена я тоже хочу предварительно почитать. Ты должен знать, может ли на что-нибудь пригодиться Зульцер.

Я сейчас горю желанием опять взяться за поэзию; особенно рвется перо к Валленштейну. Ведь по-настоящему я чувствую свою силу только в творчестве, а в теории я вечно бьюсь над общими принципами. Тут я только дилетант, но именно ради того, чтобы творить, я усердно размышляю над теорией искусства, критика должна теперь возместить мне вред, которой она мне причинила; а повредила она мне основательно, потому что той смелости, того живого пыла, каким я обладал раньше, когда не знал еще никаких правил, я лишился уже много лет назад. Теперь я *вижу* самого себя в процессе *творчества* и *созидания*, я наблюдаю за игрой вдохновения, и моя фантазия уже менее свободна с тех пор, как она знает, что за ней следят. Но если я дойду до того, что *правила искусства* станут для меня *естественными*, как для благовоспитанного человека хорошие манеры, тогда и воображение мое обретет свою прежнюю свободу, и для него не будет существовать никаких пределов, кроме добровольно им установленных.

Часто стыжусь я того, как возникают мои произведения, даже наиболее удачные.

Принято говорить, что поэт, когда он творит, должен быть всецело поглощен своим предметом. Меня же часто может увлечь какая-нибудь одна, притом не всегда существенная сторона избранной мной темы, и только в самом процессе работы начинает вырисовы-

ваться и развиваться мысль за мыслью. То, что побудило меня создать «Художников», полностью отпало, когда я их завершил. То же было и с «Карлосом». С «Валленштейном», кажется, дело обстоит несколько лучше; тут главная идея в то же время и стимул к созданию всего произведения. Но как при столь непоэтическом методе все же возникает нечто прекрасное? Мне думается, вдохновенные творения не всегда порождаются живыми представлениями о их предмете, но часто лишь потребностью в последних, смутной жаждой излить рвущиеся наружу чувства. Когда я сажусь писать, в моей душе гораздо чаще возникает музыкальный образ стихотворения, нежели ясное представление о его содержании, которое мне порой еще неизвестно. Меня навел на это наблюдение мой «Гимн к Свету», который меня сейчас упорно занимает. У меня об этом гимне нет отчетливого представления, но есть лишь неясное предчувствие,— и все же я заранее могу сказать, что он мне удастся. На днях я слышал, что Рейнгольд пригласил одного здешнего магистра Igens перевести Homes «Essais» на немецкий язык. Значит, он тоже понимает необходимость такой работы; конкуренции тебе нечего бояться. Все дело будет приостановлено, как только ты объявишь, что собираешься взяться за этот перевод. Но ты все же не слишком откладывай эту работу, так как мысль о ней настолько естественна и так отвечает потребностям времени, что за нее может ухватиться кто-нибудь попроворнее тебя.

Наши встречи в Лейпциге сулят мне самые радостные надежды на будущее. Такие огромные перерывы в общении, как до сих пор, не должны повторяться. Состояние твоего здоровья меня искренне радует, но успокоюсь я в этом смысле только, когда услышу, что ты хотя бы несколько изменил свой образ жизни.

Желаю тебе большого успеха в чтении французских авторов, пусть оно оправдает твои ожидания. Будь здоров и передай Минне и Дорхен мой сердечный привет.

Твой

Ш.

Иена, 6 ноября 1792 г.

Я начал сейчас читать свой курс эстетики и работаю весьма усердно. Так как я не могу оставаться в рамках привычной рутины, то хочу приложить все свои силы, чтобы обеспечить себе достаточный материал для лекций, которые читаю четыре-пять часов еженедельно. И я вижу по первым же чтениям, какое большое влияние этот курс будет иметь на развитие моего вкуса. Материал накапливается по мере того, как я подвигаюсь вперед, и у меня уже возникли некоторые блестящие идеи. Количеством и качеством своих слушателей я очень доволен. Их у меня двадцать четыре, из которых восемнадцать платят мне каждый по луидору — то есть, уже сто здешних талеров. И эти деньги я получаю только за то, что, готовя себе богатый запас идей для своих сочинений, быть может, достигну и более высокой степени в своем искусстве.

Если тебя еще не уведомил Гешен, то могу сообщить тебе приятное известие: для твоих писаний и финансов в 1793 году намечается очень заманчивая перспектива. Гешен попрежнему находит, что Альманах оправдывает его расчеты, и настаивает на продолжении. Так как мне приходится начисто от этого отказаться, то он хочет просить тебя подготовить ему исторический материал листов на 18—20 и предлагает писать о революции Кромвеля. В твоем распоряжении целых восемь месяцев, и по существу тебе для этого, кроме Юма и Шпренгеля, придется читать мало. Ибо тут дело главным образом в том, чтобы создать яркую, запоминающуюся картину событий в целом. Очень существенно именно в наше время вынести здравое суждение о революции; и так как оно, безусловно, окажется благоприятным для врагов революции, то истины, которые при этом обязательно должны быть высказаны правительствам, не могут произвести дурного впечатления. Я твердо обещал Гешену дать свою подпись, и только оговариваю за собой право, чтобы твой труд предварительно прошел через мои руки и ты представил бы мне в нем место для двух-трех описаний и

портретов. Чтобы, следовательно, в этом произведении ощущался мой дух и проглядывали бы некоторые особенности моего стиля. Меньше 400 талеров Гешен тебе не даст, и у тебя останется еще время и материал для «Талии».

Напиши же мне скорее о своем решении. Сознаюсь, что я сейчас не могу придумать для тебя ничего лучшего. Гешен хочет выпускать также и большой журнал, и как только будет досуг, я приступлю к исполнению этого плана.

Минне и Дорхен сердечный привет от нас обоих.
Твой

Ш.

115. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Иена, 21 декабря 1792 г.

Наша переписка с некоторых пор захирела: ты был поглощен развлечениями, а я делами. Из-за частой бессонницы утро у меня обычно пропадает, и я теряю столько времени, что едва успеваю работать над эстетикой. Все же она понемногу подвигается и через несколько месяцев я смогу представить тебе результаты своих исследований.

Сама природа Прекрасного стала для меня во многом ясна, так что и тебя я надеюсь сделать сторонником моей теории. Мне кажется, что я нашел объективное понятие Прекрасного, которое отчаивался открыть Кант и которое *eo ipso*¹ становится и объективным критерием вкуса. Я хочу систематизировать свои мысли об этом в диалоге «Каллий, или О красоте» и издать это примерно к пасхе. Для этого предмета такая форма чрезвычайно подходит, и ее литературность повышает интерес к самому изложению. Так как в ней будут разбираться воззрения большинства тех, кто занимался эстетикой, и так как я, по мере возможности, буду свои положения пояснять наглядными примерами, то из этого вырастет книга, по объему равная «Духовидцу».

Что до стихов — мне эту зиму недостает не столько

¹ Тем самым (лат.).

вдохновения, сколько времени, хотя должен сознаться, что еще сомнительное состояние моего здоровья не то что угнетает мой дух, но и не дает ему достаточно свободы. Дай мне только благополучно пережить эту зиму, тогда и дух мой достигнет многого.

Дедерлейн умер две недели назад, что тебе, по всей вероятности, известно из газет. Жаль, что это место недостаточно доходно, а то следовало бы вызвать сюда вашего Рейнгарда. Думаю, что он был бы ценным приобретением.

Я ввел в свой круг еще одного моего земляка, который далеко превосходит всех остальных. Он много лет был домашним учителем принца Вюртембергского, но недавно у него были неприятности с его отцом, и, несмотря на все возможности, которые он из-за этого теряет, он не остался вопреки всем уговорам. Он прибыл сюда изучать право. Богословский курс он уже окончил.

Поведение Форстера, конечно, осуждают все, и я предвижу, что он выйдет из этого дела со стыдом и раскаянием. Сочувствовать майнцовецям я никак не могу. Все их поступки свидетельствуют скорее о смехотворной страсти обращать на себя внимание, нежели о здравых принципах, с которыми никак не вяжется их отношение к инакомыслящим. Мне все же хотелось бы знать, где в настоящее время находится Губер и не останется ли он еще в тех краях. Здесь я о нем больше ничего не слыхал.

Не порекомендуешь ли ты мне какого-нибудь хорошего переводчика на французский, в случае, если бы он мне когда-нибудь понадобился? Я с трудом удерживаюсь от искушения вмешаться в спор о короле и написать по этому поводу статью. Это предприятие кажется мне достаточно важным, чтобы занять им перо здравомыслящего человека; и немецкий писатель, который свободно и красноречиво выскажется по этому спорному вопросу, мог бы, вероятно, оказать некоторое влияние на эти безрассудные головы. Когда кто-нибудь один из целой нации выскажется публично, все склонны — по крайней мере по первому впечатлению — считать его выразителем мнения своего

круга, если не всего народа. И я думаю, что французы как раз в *таких* вещах не будут совсем уж нечувствительны к чужому мнению. К тому же именно *эта* тема чрезвычайно благоприятна для того, чтобы провести *такую* защиту правого дела, которая не даст повода для злоупотреблений. Писатель, который публично выступит на защиту короля, может при этом случае высказать ряд важных истин скорее, чем кто-либо другой, и ему, конечно, окажут несколько больше доверия. Может быть, ты и посоветуешь мне молчать, но я считаю, что в таких обстоятельствах нельзя оставаться бездейственным и равнодушным. Если бы все свободомыслящие умы молчали, то никогда не было бы сделано и шагу для нашего совершенствования. Бывают времена; когда необходимо говорить публично, потому что есть для этого восприимчивая среда, и нынешнее время кажется мне именно таким.

III.

116. ПРИНЦУ ФРИДРИХУ ХРИСТИАНУ ШЛЕЗВИГ-ГОЛЬШТЕЙН-АВГУСТЕНБУРГСКОМУ

Иена, 9 февраля 1793 г.

Светлейший принц!

Если я так долго не отвечал вам, то нанес этим обиду не вам, а себе, и потому я заслуживаю скорее вашего соболезнования, нежели немилости.

Все это время я — жертва ипохондрии, весьма неуверенный в своем здоровье и словно парализованный физически и духовно, — чувствовал себя совершенно неспособным возвыситься до той ясности духа, в которой желал бы обратиться к вам. Но в редкие минуты просветления, выпадавшие на мою долю, я по крайней мере работал над тем, чтобы не быть совсем недостойным вас, мой неизменно почитаемый принц. Представить вам и вашему благородному другу образец своей работы — вот что меня живейшим образом занимало все это время. Я твердо надеялся закончить свой труд этой зимой и тогда отдать его в руки тех, кому он по праву принадлежит; ибо кому же еще, кроме вас обоих, мои прекрасные друзья, обязан я дол-

гожданым и неоценимым счастьем — возможностью следовать призванию своего духа? Однако все повторявшиеся припадки так часто принуждали меня прерывать мои занятия, что теперь я едва надеюсь завершить эту работу к концу лета. Но мое здоровье как будто восстанавливается, и я бодрее смотрю на будущее.

Замысел, за который я отважился взяться, всемилоштивейший принц — раз я начал об этом говорить, так ничего уже не утаю, — несколько дерзок, сознаюсь, но непреодолимое влечение приводит меня на этот путь. То обстоятельство, что я сейчас не в состоянии творить сам, — для этого необходимо ясное и свободное состояние духа, — дает мне досуг, благоприятный для размышления над принципами творчества. Революция в мире философии потрясла основы, на которых зиждилась эстетика, и разбила вдребезги существовавшую до сих пор эстетическую доктрину, если вообще ее можно так назвать. Кант, о чем вам, мой принц, не приходится, конечно, напоминать, в своей «Критике способности суждения» попытался принципы критической философии применить к эстетике, и если не создал фундамента новой теории искусства, то во всяком случае подготовил его. Сейчас в мире философии положение таково, что эстетическими вопросами и возрождением эстетики, вероятно, будут заниматься в последнюю очередь. У самых выдающихся из наших мыслителей еще много хлопот с метафизикой, а теперь, вдобавок, как естественное право, так и политика, вероятно, потребуют к себе более пристального внимания. Итак, философии искусства, видно, не придется ждать от них особых откровений. И в то время как человеческий ум освещает и исследует все области знания, ей одной, видимо, суждено остаться в привычном ей мраке.

Я считаю, что она заслуживает лучшей участи, и возымел дерзкую мысль стать ее рыцарем. Пока что я могу только высказать по этому поводу лишь несколько беглых суждений, так как моя способность к философскому мышлению еще далеко не определилась, и я постараюсь развить ее в себе. Чтобы создать тео-

рию искусства, мне кажется, недостаточно быть только философом; нужно самому создавать произведения искусства, и это дает мне как будто некоторые преимущества перед теми, кто, несомненно, превосходит меня глубиной философского прозрения. Длительная работа в области искусства дала мне возможность исследовать его природу в тех ее проявлениях, которые нельзя изучить по книгам. Я больше чем кто-либо из своих собратьев по искусству в Германии учился на ошибках, а это, мне кажется, вернее, чем непогрешимый ход никогда не заблуждающегося ума, ведет к глубокому проникновению в святыню искусства. Вот приблизительно то, что я могу сказать в оправдание своего замысла; остальное решит успех.

Вам, всемилостивейший принц, мне не приходится пояснять, почему я стремлюсь возвыситься до уровня философского знания одну из наиболее действенных пружин человеческого ума — искусство, формирующее нашу душу. Когда я размышляю о связи чувства Прекрасного и Великого с благороднейшей сферой нашего существа, я никак не могу считать ее лишь субъективной игрой нашей восприимчивости, подвластной только чисто эмпирическим законам. Прекрасное, думается мне, так же, как Истина и Право, должно покоиться на незыблемом основании, а основные законы разума должны быть в то же время и законами эстетики. Правда, то обстоятельство, что Красоту мы *чувствуем*, а не познаем, как будто бы уничтожает всякую надежду найти для нее обязательный критерий. Ибо всякое суждение об этом предмете будет всегда лишь суждением; основанным на непосредственном опыте. Обычно определение Прекрасного потому только считается обоснованным, что оно в отдельных случаях совпадает с суждением, подсказанным чувством, тогда как если бы понятие Прекрасного покоилось на философских началах, мы доверяли бы суждению чувства только в тех случаях, когда оно совпадало бы с определением Прекрасного. Вместо того чтобы проверять свои чувства по эстетическим основам, проверяют эстетические основы по собственным чувствам.

Вот узел, который, к сожалению, не берется распутать даже сам Кант. Что же, всемилостивейший принц, скажете вы о дерзкой попытке новичка, который только еще вчера заглянул в святилище философии и после решительного утверждения такого великого человека все же отваживается искать разрешения этой проблемы? У меня никогда не хватило бы на это смелости, если бы философия Канта сама не дала мне к тому возможности. Эта плодотворная философия, которую так часто упрекают в том, что она всегда только разрушает и ничего не строит, дает — теперь я в этом убедился, — прочную основу для построения эстетики, и только неким предубеждением ее создателя я могу объяснить, что он не стяжал себе и эту заслугу. Отнюдь не считая себя призванным это осуществить, я по крайней мере хочу выяснить, как далеко поведет меня тропа, на которую я вступил. Если она сразу и не приведет меня к цели, все же нельзя считать тщетным странствие, предпринятое в поисках истины.

Все это понуждает меня, светлейший принц, к просьбе, которая, я надеюсь, будет принята вами благосклонно. Прежде чем представить свои идеи о философии Прекрасного широкой публике, я хотел бы изложить их вам в письмах, которые бы я присылал вам по мере их написания. Эта более непринужденная форма придаст моему изложению больше своеобразия и живости, и мысль, что я беседую с вами и подвергаюсь вашему суду, внушит мне самому больше рвения к моему предмету. Чистое и ясное стремление к истине, соединенное с живейшей восприимчивостью ко всему прекрасному, доброму и великому, присуще лишь немногим смертным; большинство наших ученых так боязливо ограждаются от мира броней своей системы, что всякое сколько-нибудь необычное представление о вещах не может проникнуть в их трижды закованную латами грудь. Весьма немногочисленны те, в ком страсть к абстракциям не задушила тончайшего чувства красоты. И еще меньшее число дает себе труд философствовать по поводу своих ощущений. Мне нужно совершенно забыть, что меня будут судить та-

кие люди, и только перед свободными и ясными умами, возвышающимися над архивной пылью обветшалых школ и хранящих в себе искру чистой и благородной человечности, могу я развивать свои идеи и чувства. Тем более, высокочтимый принц, отнесите вы ко мне благосклонно, что я стремлюсь закрепить за собой тот редкостный дар, которым грации осчастливили меня в вашем лице, и завладеть той благороднейшей нитью, коей философия и вкус, невзирая на различия положений, связывают друзей Мудрости и Красоты. Обе эти богини укажут мне также пределы, в которых я решусь пользоваться этими правами, и никогда не позволю себе простираť свои желанія дальше того, чтобы изредка занимать философски-поэтическими видениями несколько мгновений вашей, посвященной благу человечества, жизни. С глубочайшим уважением и любовью остаюсь

вашей светлости

преданнейшим слугой.

Ф. Шиллер.

147. ИОАННУ ГЕНРИХУ РАМБЕРГУ

Иена, 7 марта 1793 г.

Простите, друг мой и собрат по Аполлону и грациям, что я без долгих церемоний простым братским рукопожатием знакомясь с вами. В том немногом из ваших творений, что мне довелось видеть, я оценил ваше дарование и с первого же взгляда на ваши рисунки почувствовал родственную душу. Теперь все зависит только от того, захотите ли вы закрепить этот молчаливый договор.

Я бесконечно сожалею о том, что мы были от вас так близко и не познакомились с вами. А сейчас это особенно обидно, ибо, по словам Гешена, вы скоро уезжаете. Как много радости мне сулило близкое общение с художником, который столь мощно, щедро и прекрасно отразил себя в своих творениях! С какой готовностью последовал бы я за вашим гением в тайны творчества и свой вкус, искушенный только в вопро-

сах поэтики, попытался бы развить для постижения всей философии искусства! От этой прекрасной надежды я должен теперь отказаться, но я отнюдь не отрекаюсь от нее навсегда. Итак, сохраните меня в вашей памяти как искреннего почитателя вашего замечательного таланта и позвольте мне думать, что только случай не дал нам возможности ближе узнать друг друга.

Лишь нехотя решаюсь я своекорыстной просьбою умалить это признание, внушенное мне чистым и искренним уважением к вам. Но наш друг Гешен хочет, чтобы я не терял времени, и мне приходится так поступить. Не знаю, говорил ли он вам уже, что мы хотели бы получить от вас рисунок для моей статьи, которая будет закончена нынче летом. Статья эта по своему содержанию имеет все права притязать на ваше сотрудничество, ибо это не что иное, как диалог о Прекрасном. Я не мог устоять перед искушением вмешаться в общий спор, который поднялся в философии вокруг понятия Прекрасного, и теория Канта, изложенная в его «Критике способности эстетических суждений», послужила для меня непосредственным поводом, чтобы развить это понятие. Так как философия Прекрасного до некоторой степени — область, объединяющая философов, художников и поэтов, а Прекрасное не прощает, когда за него ратуют на чуждом для него поле, то я старался найти для своих теоретических изысканий художественное воплощение и избрал для этого форму беседы между различными живописцами, поэтами и философами. Если бы вы решились эту небольшую статью украсить творением вашего таланта, — судьи, перед которыми я должен защищать свою идею Прекрасного, скорее бы стали на мою сторону.

Я не могу и не хочу ничего предрекавать вашему вдохновению, дабы не лишиться себя радости от сюрприза, которым подарит меня свободная игра вашего воображения. Вы знаете, что предмет моей статьи — *Прекрасное*, и для вашей богатой фантазии этого довольно. Может быть, вы найдете в моем стихотворении «Художники», которое помещено в «Немецком

Меркурии» 1789 года, некоторые идеи, пригодные для живописца. Но больше всего выиграет моя статья, когда вы станете черпать ваши замыслы из собственного воображения. Вы отнюдь не должны считать себя связанным содержанием моей статьи. Ваш выбор совершенно свободен, и уместно будет все, что напоминает о могуществе Прекрасного. Наконец, я вас прошу, чтобы вы нашему другу Гешену поставили условие подарить мне оригинал вашего рисунка.

Еще раз заверяю вас в моем до конца дней моих неизменном уважении к вам.

Шиллер.

118. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Иена, 5 мая 1793 г.

Я заставил тебя долго ждать вестей, да и сегодня ты получишь лишь несколько строк. В неприветливом апреле меня жестоко схватил мой недуг и отравил всю радость мысли и творчества. Я бы охотно продолжил наш обмен эстетическими письмами, но более спешные работы должны быть закончены раньше. К ним в первую очередь относится пересмотр моих стихов, из которых я теперь иные готовлю к печати. Боюсь, что править их я буду весьма взыскательно, и это отнимет у меня очень много времени; потому что уже «Боги Греции», которые потребовали очень большой переделки, стоили мне невероятного труда, и то я в них доволен разве что пятнадцатью строфами. Еще больше работы потребуют у меня «Художники», ну, а о новых *in petto*¹ я пока и думать не хочу. Мой сборник включает в себя, вместе с тремя новыми стихотворениями, не более двадцати вещей. Подбери мне их, пожалуйста. Мне крайне интересно знать, совпадает ли наш выбор.

Я напечатаю их здесь — мне очень важно самому держать корректуру. Не считая типографской краски — ее, вероятно, тоже можно улучшить, — шрифт и

¹ В груди, в сердце (*итал.*).

оформление не уступят изданиям Дидо. Я не выношу, когда ломается стихотворная строка, какой бы длинной она ни была, и чтобы избежать этого, печатаю стихи на швейцарской бумаге самого большого размера *in octavo*¹. На одной странице не должно быть больше шестнадцати строк, и это уже придает изданию роскошный вид. Мне неограниченно доверено все, и так как весь сборник содержит не более 9 или 10 листов, то книга все же обойдется дешево, как бы ни были высоки цены на бумагу.

В своей теории Прекрасного я за это время пришел к очень важным выводам и нашел положительный объективный признак свободы в воплощениях. Одновременно я расширил круг своих изысканий и применил свои идеи также и к музыке, насколько я успел разобраться в Зульцере и Кирнбергере. В этом смысле я жду, что ты поможешь мне пролить свет на многие вопросы. Но и то немногое, что для меня теперь открылось, блестяще подтверждает мою теорию. Если ты знаешь какую-нибудь подходящую книгу о музыке, сообщи мне.

Я должен кончать; если герцогиня еще у вас, напиши ей обо мне. Несколько лет она была столь любезна, что пересылала мне приветы. Сердечный поклон М. и Д.

Твой Ш.

119. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Иена, 27 мая 1793 г.

Ты теперь должен быть ко мне снисходителен и великодушно не считаться письмами. Старый недуг оживает при этой переменчивой погоде так часто и держится так упорно, что из трех дней я обычно теряю два, а в короткие передышки, когда болезнь отпускает меня, я тороплюсь закончить свои самые неотложные работы. «Талию» нельзя задерживать, а мои сотрудники плохо мне помогают. Вот почему я эти дни был занят двумя статьями для журнала. Одна трактует о грации и достоинстве, другая — о патетическом изображении. Думаю, что обе заинтересуют тебя.

¹ В восьмую долю листа (*лат.*).

То, что ты пишешь мне по поводу пересмотра моих стихов, настолько верно и убедительно, что мне очень хотелось бы некоторые места из твоего письма упомянуть в моем предисловии к стихотворениям.

Перечитывая «Художников», я испытываю меньше всего беспокойства. Мои мысли об искусстве за это время заметно углубились, моя точка зрения изменилась, многие суждения начисто отмечены. И все же должен сознаться, что я нахожу в «Художниках» еще очень много философски верного и крайне удивлен этим. О развитии всего стихотворения в целом боюсь судить. Оно меня совсем не удовлетворяет.

Среди стихотворений, которым ты даруешь право на жизнь, не хватает лишь нескольких, кажущихся мне достойными сохранения. «Гектор и Андромаха» — одно из лучших. «Амалия в саду» также заслуживает помилования. Среди посвященных Лауре забыто «Восхищение» — одно из наиболее безупречных. «Лаурой за роялем» я бы охотно пожертвовал; радуется меня, что ты пощадил «Знаменитую женщину».

Как только «Боги Греции» будут готовы к отплытию, я их тебе представлю. Надеюсь, ты признаешь, что музы еще не покинули меня и критика не вспугнула вдохновения. Прилагаемая брошюра — своеобразное pendant¹ к твоей речи. Но я заинтересован больше, чем ты, в том, чтобы переслать ее тебе. Она написана моим отцом, и зачем она напечатана, ты поймешь из ее содержания. Я настоятельно желал бы, чтобы ты три приложенных здесь экземпляра передал в такие руки, в которых они скорее всего вызвали бы интерес к автору. Ты сделаешь мне большое одолжение, если заставишь заговорить Дрезден о содержании этой брошюры.

Господин фон Глейхен теперь несомненно уже в Дрездене. Знакомство с ним, быть может, будет тебе и Минне довольно приятно. Он любит и понимает искусство, сносно пишет пейзажи маслом и о теории искусства тоже размышлял. Ума у него хватает, но знаний недостаточно. Он живет в Рудольштадте на доходы с изрядного состояния и порядком обленился там.

¹ Дополнение (фр.).

Вообще он очень славный человек, один из моих лучших друзей в здешних краях. Его жена — кроткое и добродушное создание, старинная знакомая моей Лотты. Ты вскоре увидишь, что с ними обоими можно не стесняться, более того, я надеюсь, это будет для тебя приятное общество. Может быть, они развлекут и Минну, если вы больше сблизитесь.

Будь здоров, сердечный привет тебе и Минне от нас обоих. Жаль, что ты не можешь сюда приехать, чтобы произвести прививку. Тут теперь ревностно занимаются прививками, и сюда присылают много детей из разных мест. Все протекает вполне благополучно.

Твой III.

120. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Людвигсбург, 15 сентября 1793 г.

Поздравь меня, милый Кернер, у меня родился сынок. Мать чувствует себя хорошо, мальчуган большой и крепкий, и все обошлось благополучно. Мы не прожили здесь и недели, как это случилось.

Я оставил Гейльбронн, где совершенно был лишен всякого домашнего уюта, но это ничем не искупалось. Здесь у меня превосходная квартира, и к тому же я гораздо ближе и к своей семье и к друзьям. Людвигсбург всего в трех часах езды и от Штутгарта и от Со-литюд. Город очень красив и приветлив, и хотя это резиденция герцога, но живут тут как в сельской местности. Герцог, видно, решил меня игнорировать, а мне это весьма на руку.

Твой III.

121. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Людвигсбург, 4 октября 1793 г.

Мое маленькое семейство пока все еще чувствует себя очень хорошо, и жена после родов совсем избавилась от прежних своих припадков. Меня еще терзает мой старый недуг, и воздух родных мест пока не оказал на него никакого действия. В остальном же я очень доволен здешним пребыванием, но дороговизна здесь во многом превосходит даже ваши высокие цены.

Вижу здесь многих своих старых знакомых, но мало кто из них меня интересует. Здесь, в Швабии, не так много людей с богатым внутренним содержанием, как ты думаешь, и притом они не умеют облечь его в надлежащую форму. Некоторые, когда я уезжал отсюда, отличались светлым, возвышенным умом, а теперь стали очень меркантильны и огрубели. У других я нашел еще кое-что из тех идей, которые некогда сам заронил в них; значит, они лишь меха, в которые можно влить любое вино. Среди достойнейших из них — М. Конц, которого ты, помнится, тоже знал; ум его очень развился. В новой его статье «Избранные произведения греческих поэтов» и т. д. ты найдешь отрывки весьма содержательные, правда среди множества посредственных. Один из моих ближайших друзей юности, Д. Ховен, стал очень неплохим врачом, но как писатель — к чему у него была большая склонность — он отстал. С ним прошел я все ступени духовных исканий с тринадцати лет до двадцати одного года. Вместе писали мы стихи, занимались медициной и философией. Обычно я направлял его вкусы. Теперь наши пути столь несхожи, что мы едва могли бы понять друг друга, не останься у меня в памяти кое-что из медицинских познаний. Тем не менее прежние опыты в поэзии и в стиле очень пригодились ему, так как именно оттуда перенес он в свои медицинские труды дар изложения, который очень облегчил ему его авторскую работу. Среди молодых художников в Штутгарте лучший — Даннекер, скульптор, далеко превосходящий Гетша. Он развил свой вкус в Риме, где провел многие годы, у него прекрасные идеи, и он проникновенно воплощает их. Очень вредит здешним молодым художникам зависимость от герцога, который всегда заваливает их работой. В Штутгарте я еще не был, сначала из-за родов жены, а потом по состоянию здоровья. Герцог почему-то считает нужным меня игнорировать; но он и не чинит мне препятствий. Моему отцу, по его просьбе, герцог разрешил отправиться на воды и оставаться там до тех пор, пока ему это будет необходимо, а воды эти недалеко отсюда, так что герцог мог подумать, будто отец просто хочет быть поближе ко мне.

Все было тут же разрешено, хотя он чрезвычайно нуждается в услугах моего отца.

Я пока что мало работаю, зачастую бывают дни, когда я не выношу даже вида пера и письменного стола. Этот упорный недуг со столь скупой отмеренными мне передышками часто очень угнетает меня. Никогда я не был так богат творческими замыслами, и никогда еще из-за наипрезреннейшей из всех помех — моей физической немощи — я не был так мало вынослив. О чем-нибудь большем не смею и думать и счастлив бываю, когда время от времени могу завершить хоть маленькое произведение. Я сейчас снова начал большую статью, нечто вроде моей статьи «О грации и достоинстве», что доставляет мне много радости. Она посвящена эстетическому общению. Насколько я знаю, об этом в философии ничего не написано, и я надеюсь, по тому, как мне удастся это изложить, ты поймешь, что эта тема чрезвычайно интересна. О «наивной поэзии» я тоже намерен написать небольшой трактат, но только для «Талии». Я не согласен ни с одним объяснением этого феномена в наших теориях и надеюсь сказать по этому поводу нечто более удовлетворительное.

Хотелось бы мне, чтобы ты прочел новую статью Рамдора «Харита, или О прекрасном в изобразительных искусствах». Она любопытна по двум причинам. С одной стороны, как жалкое сочинение о мире как философии Прекрасного, каким он ведь и должен быть, и, с другой стороны, как очень полезный и даже превосходный труд во всем, что касается эмпирических обобщений в эстетике изобразительных искусств. Сразу видно, что этот человек великолепно знаком с замечательными произведениями искусства и что он достаточно умен, чтобы создать из своих знаний систему правил. Но он беспомощен, когда хочет возвыситься до общих принципов. Прочти этот труд и скажи мне о нем свое мнение.

Мне любопытно, кого пришлют в Иену вместо Рейнгольда. Его я уже не застану, когда вернусь. Фихте был бы, конечно, прекрасным приобретением, во всяком случае по содержательности своих мыслей он может его с лихвой заменить.

До чего мне во всем мешает моя болезнь! Я, по всей вероятности, мог бы стать в Веймаре воспитателем юного принца. Видимо, план его воспитания будет расширен, ибо теперь ему всего 10 лет, и так как я — и у герцога и у герцогини — на очень хорошем счету, да к тому же и жалованье мне можно было бы назначить меньше, чем кому-нибудь другому, ибо я все равно получаю от них известную сумму, — то это несомненно вышло бы. И у меня были бы в Веймаре очень недурные условия жизни. Но мои припадки не дают мне возможности и помышлять о том, чтобы связать себя каким-либо обязательством. Получить службу у нашего принца было бы весьма неплохо и с точки зрения видов на будущее, что мне теперь, когда у меня ребенок, весьма безразлично.

Будь здоров и дай мне скорее знать о себе. Если я это время писал тебе несколько реже, ты должен мне это простить. Все скоро снова войдет в колею; когда я немного успокоюсь; и могу тебя уверить, ты теперь почти единственный, кому я пишу. Жена сердечно кланяется тебе; если успеет, она, быть может; припишет несколько строк. Минна, надеюсь, уже давно выздоровела? Тысячу приветов всем вам от нас и также от маленького Карла Фридриха Людвига.

III.

Это письмо пролежало целый почтовый день. Жена с каждым днем поправляется и уже несколько раз была на прогулке.

122. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Людвигсбург, 3 февраля 1794 г.

Я еще жив, и страшный январь позади. Видно — опять на некоторое время отсрочка. И чувствую я себя последние две недели немного лучше, чем прошедшие два месяца, когда упорство моего недуга почти совершенно лишило меня твердости духа. Писать я не мог никому на свете, даже тебе, как дорого я бы ни дал, чтобы хоть полчаса насладиться общением с тобой.

Если б я и дальше чувствовал себя так, как сейчас, и если бы погода мне благоприятствовала, то уже в марте я стал бы готовиться к возвращению домой. При первой возможности я поеду. Тогда и ты будешь ко мне ближе, и все войдет в привычную колею. Быть может, задуманная тобой в прошлом году поездка теперь осуществится, и на предстоящее лето я могу возлагать самые радужные надежды. Жена моя попрежнему чувствует себя довольно хорошо, а малыш — сама жизнь. Он уже сейчас дарит мне много радостей, и его живость заставляет надеяться, что месяцев через шесть — восемь он будет очень забавен. Вот так мы и живем, как видишь, куда лучше, чем ты мог предполагать, судя по столь долгому моему молчанию.

Через несколько недель я, быть может, смогу прислать тебе часть моих эстетических писем в копиях; так как я не видел возможности закончить к пасхальной ярмарке более одного тома, я еще ничего не отослал Гешену и продержу рукопись в письменном столе по крайней мере еще месяца четыре. И то я продвинулся еще очень мало в смысле развития темы, хотя уже готовые письма составляют около 14 печатных листов. Я еще не вдавался в разбор «Прекрасного» и вообще не скоро дойду до этого вопроса, ибо я предпослал ему общее рассуждение о связи эстетических восприятий со всей культурой и об эстетическом воспитании человека. Словом, в первых десяти листах писем философски воплощена тема моих «Художников». Мне важно было уточнить сбивчивые представления о красоте формы и о границах ее применения в мышлении и действии, исследовать и устранить причину создавшихся в этой области предрассудков и внести ясность в этот столь часто обсуждаемый и столь же односторонне защищаемый, как и оспариваемый предмет. Этого я, кажется, достиг и при той взыскательности, с коей я приступил к работе, мне, надеюсь, удастся уберечь самую сферу Прекрасного от притязаний, которые впредь могут быть к ней предъявлены. От влияния Прекрасного на человека я перехожу к влиянию теории на оценку и на самое определение и воплощение Прекрасного и прежде всего

выясняю, чего можно ждать от теории Прекрасного, в особенности имея в виду реальное творчество. Это, естественно, приводит меня к исследованию не зависящего ни от каких теорий непосредственного процесса создания Прекрасного силою гения. Именно сейчас я этим занимаюсь, и мне очень трудно найти ясное и приемлемое для меня определение гения. В кантовской «Критике способности суждения» даны в этом смысле очень существенные указания, но они еще далеко не удовлетворительны. Быть может, впоследствии у меня еще найдется время поделиться с тобой ходом моих мыслей.

Когда гений своими творениями устанавливает какие-то законы, наука может эти законы собрать, сравнить между собой и попытаться свести их к какому-то еще более общему и, наконец, единственному принципу. Но так как наука исходит из опыта, то она обладает лишь неограниченной авторитетностью эмпирических знаний. Она может привести лишь к осмысленному воспроизведению уже существующих случаев, но никогда не приведет к реальному расширению творческих возможностей. Всякое завоевание новых областей в искусстве должно исходить от гения; критика же только помогает избегать ошибок. Тут я пытаюсь делать выводы, вытекающие из самых основ вопроса, выясняю, чего можно ожидать от эмпирического знания, и, исходя из того, *как* возникает наука о Прекрасном, определить, *что* она в состоянии дать. Следовательно, прежде всего я определяю метод, согласно которому должно построить науку о Прекрасном, а затем устанавливаю ее область и границы.

После этой подготовительной части я приступаю к существу дела непосредственно и начинаю с того, что понятие Прекрасного в искусстве разлагаю на два составных его элемента, смешение коих уже привело к такой путанице в критике. Эти два составных элемента представляют собой 1) искусство вообще и 2) изящное искусство. Как искусство, изящное искусство подчинено *техническим* правилам, которые отнюдь нельзя путать с *эстетическими*. Дело в том, что всякое произведение изящных искусств всегда

является в то же время и реализацией объективной цели, а Прекрасное в нем — не что иное, как неотъемлемое свойство воплощения этой объективной цели. Но эта объективная цель подчиняет произведение искусства определенным правилам, установить которые столь же легко, как и правила в технических искусствах. Соблюдение *этих* правил, однако, может придать произведению изящных искусств лишь достоинство *правдоподобия* (если оно задумано как подражание природе), или (если оно должно соответствовать только какой-либо идее, а не естественному творению природы, как, например, архитектурные произведения) — достоинство *объективной целесообразности, полезности*. Но весьма часто случается, что, судя лишь о техническом совершенстве, воображают, будто выносят суждение эстетическое, и посему понятию Прекрасного приписывают черты, свойственные лишь правдивости и полезности. Когда же отличают техническое от эстетического и выделяют понятие *вида* (в изящных искусствах) из понятия *рода* (в искусствах вообще), тогда только и выходят на правильный путь открытия законов Прекрасного.

И когда я на этом пути найду чистое понятие Прекрасного (тоже, правда, имеющего лишь эмпирическую достоверность), то тем самым я определяю и главный принцип всех изящных искусств как таковых. Тогда я снова применяю этот принцип к реальному опыту и противопоставляю его различным способам изображения; а из этого общего принципа уже будут вытекать и особые принципы отдельных изящных искусств. А после уже видно будет, насколько мне удастся развить теорию каждого отдельного искусства.

Самые же искусства я в основном разделяю в соответствии с целями, которые они себе ставят, ибо эти цели определяют общие законы, а затем я произвожу разделение по их *материалу и форме*, ибо из этого вытекают особые правила каждого из них. Следовательно, основа заключается в делении на 1) искусства, служащие жизненным потребностям, и 2) свободные искусства. Искусствами, служащими жизненным по-

требностям, я называю все, которые обрабатывают предметы житейского обихода, причем эта потребность и определяет форму предмета. Однако всякая форма допускает некоторый элемент Прекрасного, ибо ни одна вещь так точно не определяется предназначенной ей целью, чтобы не оставалось еще чего-то на долю воображения. Без этого не обходится ни одно изделие человеческих рук. Поскольку во всех искусствах, служащих жизненным потребностям, эстетике хоть до некоторой степени предоставляется право суждения, они заслуживают упоминания и в обзоре всей сферы свободных искусств. Искусства, служащие жизненным потребностям, имеют дело либо с *вещами*, либо с *мыслями*, либо с *действиями*. Первыми занимается *архитектура* в самом широком значении — сюда включается и утварь, и одежда, и внутреннее убранство и т. д., — мыслями занимается *риторика*, а поступками — *эстетически облагороженный уклад жизни*. Исключений трудно избежать при любой классификации, их можно найти и здесь. Как архитектор, так и оратор и человек действия в известных случаях преследуют только эстетическую цель, и тогда их произведения относятся к разряду непосредственно изящных искусств. Такова, например, прекрасная архитектура храмов, триумфальных арок и т. п.; сюда же относятся вазы и прекрасное убранство жилищ; таковы, далее, искусства танца, лицедейства, беседы.

Свободными искусствами я называю такие, единственной целью которых является услаждать наши чувства в свободном созерцании (изящные искусства в широком смысле).

Но каждое произведение искусства преследует всегда двойную цель, — и по роду и по характеру взаимоотношения и взаимодействия этих двух различных целей определяется и подразделение изящных искусств. Таким образом, каждое произведение изящных искусств имеет объективную цель, о которой оно *возвещает* и которая, в свою очередь, как бы создает его основу. Ваятель хочет воспроизвести образ человека, музыкант стремится передать душевные движения в форме своего искусства, поэт добивается того же, со-

образуясь со своим материалом, и т. д. Но каждое произведение искусства в то же время имеет и субъективную цель (о которой оно умалчивает, хотя на самом деле чаще всего это и есть главная цель), заключающуюся в том, как оно достигает своей объективной цели приносить эстетическое наслаждение. Ваятель доставляет наслаждение моему разуму объективной целесообразностью (правдивостью изображения), а моему вкусу — субъективной целесообразностью (Прекрасным). И только последнее делает его настоящим художником.

Теперь встает вопрос, существует ли объективная цель только ради субъективной, или она (Прекрасное) привлекает художника и независимо от последней. Однако во втором случае эта цель должна быть не только реальной, но и эстетической, ибо иначе такое произведение надлежало бы причислить к свободным искусствам.

На этом зиждется деление искусства на изящные искусства (в самом строгом смысле этого слова), ибо здесь все преследует лишь цели Прекрасного, и на искусства, передающие движения души. Классификация, о которой я дам тебе отчет в другой раз.

Сейчас уходит почта. Надеюсь скоро написать тебе еще. Тысяча приветов всем твоим.

Твой III.

123. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Штутгарт, 17 марта 1794 г.

Я переменил свое местопребывание, и, в отношении общества, чрезвычайно удачно, так как здесь, в Штутгарте, собралось множество светлых умов во всех областях деятельности. Я простить себе не могу, что не решился на это раньше; ибо даже с точки зрения расходов я мало бы на этом потерял. Теперь я приятно проведу здесь несколько месяцев, так как до конца мая, повидимому, не уеду. Надеюсь, что смогу хоть до некоторой степени быть здесь полезным моему отцу, но для себя от тех связей, которые у меня есть,

не жду ничего. Военная академия здесь теперь упразднена, и об этом справедливо жалеют, хотя пора ее процветания прошла уже давно. Не считая весьма значительных доходов, которые она давала Штутгарту, она распространяла множество знаний, будила интерес к науке и искусству у местных жителей; среди них многие были преподавателями академии, к тому же низшие и средние городские должности в большинстве занимались воспитанниками Академии. Искусства процветают здесь так, как ни в одной другой области южной Германии; а множество художников, среди которых иные ничуть не уступают вашим, чрезвычайно облагородили вкус в области живописи, скульптуры и музыки. Есть здесь и общество любителей чтения, которое затрачивает в год тысячу триста флоринов, чтобы приобрести все новейшее в области литературы и политики. Есть также сносный театр с прекрасным оркестром и отменным балетом.

Среди художников — Даннекер — скульптор, пожалуй, самый лучший, настоящий гений в своем искусстве, который замечательно развился за время своего четырехлетнего пребывания в Риме. Его общество мне очень приятно, и я многому у него учусь. Теперь он лепит мой бюст, и получается отлично. Быть может, к пасхе Миллер закончит мою гравюру на меди.

Гетша ты уже знаешь. Однако по таланту его сравнить нельзя с Даннекером. Другой, очень способный скульптор, который был вместе с Даннекером в Риме, — Шеффауэр. Среди музыкантов самый одаренный Цумштейг, но у него больше таланта, чем музыкального образования. Среди ученых выделяется Веркмейстер, католический капеллан покойного герцога, и меня с ним особенно сближает интерес к философии Канта. А в общем, среди ученых больше посредственностей, чем выдающихся талантов, но чувствую я себя с ними от этого не хуже.

Мое усердие эти два месяца будет не очень велико, но после восьми месяцев жизни в пустыне пребывание среди людей мыслящих для меня весьма благотворно. Я тебе все еще ничего не послал, потому что у меня нет копий моей переписки; мне необходимо самому

предварительно просмотреть рукопись. Но вот уже два месяца как я в этой области ничего не делаю, разрабатывая подробнее план моего Валленштейна. План этот постепенно зреет и приближается к завершению, а как только будет готов — я уверен, что в три недели реализую его. С моим здоровьем до сих пор все шло сносно, и вообще все хорошо, а малыш с каждым днем доставляет нам все больше радости. Все сердечно приветствуют вас, и я тоскую по весточке о всем твоём семействе.

Твой III.

124. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Иена, 18 мая 1794 г.

В двух словах сообщаю тебе, что вот уже три дня, как я благополучно прибыл сюда. Мы великолепно выдержали девятидневное путешествие, и малыш чувствовал себя прекрасно, так что он доставлял мне куда больше радости, чем хлопот. Здесь, в Иене, я получил твое письмо, вложенное в гумбольдтовское, и от души желаю, чтобы прививка, сделанная твоим детям, прошла удачно. Теперь все самое страшное для тебя уже позади, и ты можешь наслаждаться семейным счастьем. Гумбольдт с истинным восторгом рассказывает о знакомстве с тобой, и у меня прямо душа радуется, когда он говорит о тебе. Он будет делиться со мной твоими письмами, так что впредь ты будешь иметь дело с нами обоими. Как это будет замечательно, когда ты сюда приедешь и мы образуем тройственный союз! Общество Гумбольдта мне бесконечно приятно и в равной мере полезно, ибо в беседе с ним все мои идеи и развиваются быстрее и обогащаются: Его натуре присуща та цельность, которую можно встретить крайне редко; кроме него я нашел ее только в тебе. Правда, он значительно превосходит тебя известной легкостью характера, которую при его обстоятельствах можно выработать в себе скорее, чем при наших; но то, в чем у него перед тобой преимущество, относится к внешним качествам. Ты зато очень выигрываешь в сравнении с ним по глубине.

В новом издании своего философского «Учения о религии» Кант высказывается по поводу моей статьи «О грации и достоинстве» и защищается от содержащихся в ней нападков. Он с большим уважением говорит о моей статье и называет ее мастерским творением. Не могу тебе передать, как меня радует, что эта статья попала в его руки и произвела на него такое впечатление. Скоро напишу подробнее. Тысяча поклонов от нас обоих всем вам.

Твой III.

125. ПРИНЦУ ФРИДРИХУ ХРИСТИАНУ
АВГУСТЕНБУРГСКОМУ

Иена, 10 июня 1794 г.

Светлейший принц!

Милостивейшее послание вашей светлости ко мне от 4 апреля сего года, которое вложено в письмо к советнику Рейнгольду, в связи с тем, что последний уехал из здешних мест, было отправлено назад в Киль и оттуда снова вернулось сюда, так что оно попало в мои руки всего несколько дней назад. Это, милостивейший принц, единственная причина того, что я могу ответить вам лишь сегодня.

Ваша светлость упоминает об одном письме ко мне, до сих пор оставшемся без ответа. Это сильно тревожит меня, ибо я не знаю ни о каком другом письме вашей светлости, адресованном мне, кроме того, которое в августе прошлого года было переслано мне в Швабию. Доказательством же того, что это письмо не осталось без ответа, служит копия сохранившегося у меня письма и копии шести других писем, которые я за прошлую зиму отправил вашей светлости из Людвигсбурга и которые содержат в себе продолжение моих мыслей о Прекрасном и Возвышенном. Повидимому, все дело в пропаже либо моих писем, либо послания вашей светлости ко мне. Первая из этих утрат не столь уж важна, тем более, что я все свои письма могу восстановить по копиям; но каждая потерянная строчка, написанная рукой вашей светлости,

для меня утрата, которую ничто не в состоянии возместить.

Известие о злополучном пожаре в Копенгагене, дотла уничтожившем королевский дворец, было для меня страшным потрясением, тем более, что я живо представил себе, как близко эта катастрофа должна была коснуться вашей светлости. Вы так мудро и великодушно распорядились своим достоянием, что каждая ваша личная утрата становится несчастьем для тысячи людей. Но то, что это физическое бедствие повлекло за собой столько моральных благих последствий, должно примирить каждого друга Дании и каждого друга человечества с волей провидения. Ибо любовь доброго народа к своим правителям, столь ярко при этом случае проявленная, несравненно большее сокровище, нежели то, что стало жертвой пламени. Доблестное поведение граждан Дании и суждения вашей светлости по этому поводу так сильно заинтересовали меня, что я хотел испросить у вас разрешения публично использовать этот материал, ибо он является весьма поучительным указанием для всех правительств, а датскому он воздвигает прекраснейший памятник в истории.

Желание вашей светлости снова получить мои пропавшие письма бесконечно лестно для меня, и я не замедлю его исполнить. Как охотно, если бы только положение мое мне это позволило, отказался бы я от всей своей писательской деятельности, чтобы всецело предаться любезному мне занятию делить с вами свои мысли и посвящать их вам одному безраздельно.

Все, что я исследую или создаю, облеклось бы в форму письма к вашей светлости, и я с радостью изливал бы каждое творение своего ума и каждое движение своего сердца в вашу, столь восприимчивую к истине и красоте, душу. Как часто и сильно завидовал я Баггесену, что ему выпало это счастье.

С изъявлениями чистейшего почитания и преданности остаюсь навеки

вашей светлости

всеподданнейший

Фр. Шиллер.

Иена, 12 июня 1794 г.

С тех пор, как я вернулся сюда, деятельность моя стала мало плодотворной, если говорить о законченных здесь работах, зато она чрезвычайно изобилует различными планами. Наиболее солидный и основательный из них ты найдешь в виде приложения к этому письму. Это план, с которым я ношусь уже третий год, и для осуществления его я, наконец, нашел предприимчивого книготорговца. Гумбольдт взялся тоже за это крайне горячо, и мы очень рассчитываем также и на тебя. Если нам удастся — а на это я возлагаю некоторые надежды — объединить вокруг нашего журнала лучших и образованнейших писателей, за успехом и удачей у публики дело не станет. Здесь in loco¹ четверо наших: Фихте, Гумбольдт, Вольтман и я. Гете, Канту, Гарве, Энгелю, Якоби, Готтеру, Гердеру, Клопштоку, Фоссу, Маймону, Баггесену, Рейнгольду, Бланкенбургу, Тюммелю, Лихтенбергу, Маттиссону, Салису и некоторым другим мы частью уже написали, частью еще собираемся написать. Тебя мы включили в число постоянных рецензентов. Это, правда, хлопотно, но преимущество в том, что оригинальные работы лучше оплачиваются. Постоянный рецензент получает гонорар по шести луидоров за лист; в виде поощрения каждый седьмой лист оплачивается вдвойне. Мне как редактору издатель назначил, кроме гонорара, еще постоянный оклад.

Наш журнал должен стать событием, и все обладающие вкусом люди непременно будут его покупать и читать. Я уже сейчас великолепно обеспечен материалом по крайней мере на два года. Фихте очень плодovit, а Вольтман очень подходящий человек для раздела истории. К чему определим тебя — этот вопрос обсуждали мы с Гумбольдтом неоднократно, но к соглашению пока не пришли. Подождем же твоего приезда.

Теперь я тем более надеюсь, что вы решитесь на приезд сюда, так как Гумбольдтов вы еще застанете

¹ На месте (лат.).

здесь. Гумбольдт — чудесный третий член нашего кружка, что ты и сам знаешь по опыту, а тебя он любит и ценит безмерно. Фихте — крайне интересное знакомство, но больше по содержанию, чем по форме. От него философия может ждать еще очень многого.

Гетевский «Рейнеке Лис», несомненно, уже дошел до тебя. Мне он бесконечно нравится, особенно своим гомеровским духом, без всякой нарочитости проявляющимся в этой вещи. Из всего, что вышло в свет к этой ярмарке, кроме «Рейнеке», я не нашел ничего, заслуживающего внимания.

Все мои письма, посланные принцу Августенбургскому, погибли в огне во время большого пожара, уничтожившего королевский дворец в Копенгагене. Счастье еще, что у меня сохранились копии.

Здоровье мое после возвращения сюда сравнительно сносно, и вообще никогда я еще не был так надолго избавлен от жестоких припадков. Я теперь часто выхожу, так как одышка уже не мучает меня так нестерпимо, и вообще я стал крепче. И Лотхен большей частью здорова, а малыш, у которого прорезались уже четыре зуба, чувствует себя прекрасно. Он уже пытается болтать и стал так проворно двигаться, что, я уверен, не пройдет и двух месяцев, как он уже начнет делать первые шаги в своей плетенке; в его возрасте это не пустяк, ведь ему всего девять месяцев.

Миллеровская гравюра на меди, изображающая меня, готова, и со следующей почтой я пришлю тебе оттиск с нее. Правда, до полного сходства еще далеко, но многое в этом отношении достигнуто; и гравюра очень хороша.

Твой Ш.

Оттиск с гравюры прилагаю уже сегодня.

127. ИММАНУИЛУ КАНТУ

Иена, 13 июня 1794 г.

По просьбе общества, безгранично глубоко почитающего вас, я посылаю вашему высокоблагородию нижеследующий план нового журнала и приношу

наше общее ходатайство поддержать это начинание вашим хотя бы самым малым участием. Мы не позволили бы себе тревожить вас столь нескромной просьбой, если бы статьи, коими вы одарили «Немецкого Меркурия» и «Берлинскую ежемесячную газету», не навели нас на мысль, что вы не всегда пренебрегаете таким путем распространения ваших идей. Объявленный здесь журнал будет, по всей видимости, читаться совершенно иной публикой, нежели та, которая питается высоким духом ваших творений, и несомненно автор «Критики» найдет для этой публики многое, что ему хотелось бы высказать и что только он один сумеет сказать так удачно. Мы надеемся, что вам будет угодно вспомнить о нас в часы досуга и принять в этом новом литературном содружестве хоть небольшое участие, которое послужит для нас знаком вашего одобрения.

Не могу упустить случая, чтобы не поблагодарить вас — того, кто всех больше заслуживает преклонения, — за то внимание, коим вы удостоили мой скромный труд, и за ту снисходительность, с которой вы разрешили все мои сомнения. Только живейшая жажда сделать созданное вами учение о нравственности приемлемым для той части публики, которая до сих пор, кажется, чуждается его, и ревностное стремление примирить с суровостью вашей системы не слишком недостойную часть человечества могли на мгновение придать мне вид вашего противника, к чему у меня в действительности нет ни возможности, ни, тем более, желания. То, что намерение, с которым писалась эта статья, было правильно, я с бесконечной радостью усмотрел из ваших замечаний по этому поводу, чего достаточно, чтобы утешить меня в том ложном истолковании, которое моей статье дали другие.

Примите же, глубоко чтимый учитель, уверение в моей живейшей признательности за благотворный светоч, зажженный вами в моем сознании; признательности, непреходящей и безграничной, как и тот дар, коим она вызвана.

Ваш истинный почитатель

Фр. Шиллер.

Иена, 13 июня 1794 г.

Ваше высочородие,
 глубокоуважаемый господин
 тайный советник!

В прилагаемой записке общество, которое бескопечно высоко вас ценит, выражает желание, чтобы вы почтили своим сотрудничеством журнал, о котором ниже идет речь. Решение вашего высочородия поддержать своим участием это предприятие будет иметь решающее значение для его счастливого исхода, и мы с величайшей готовностью подчиняемся всем условиям, на которых вы дадите ваше согласие.

Здесь, в Иене, ко мне присоединились для издания этого журнала господа Фихте, Вольтман и фон Гумбольдт, и так как, в силу устава, решения о поступающих рукописях должны выноситься в более тесном кругу, то вы нас бесконечно обяжете позволением время от времени представлять вам для отзыва одну из присылаемых нам рукописей. Чем больше и теснее будет участие, которым вы удостоите наше предприятие, тем более возрастет ценность последнего в глазах тех лиц из публики, одобрение которых для нас важнее всего. Засим пребываю полным глубокого уважения

вашего высочородия
 покорнейшим слугой и ревностнейшим
 почитателем.

Фр. Шиллер.

О Р Ы

Под этим названием будет выходить с начала 1795 года ежемесячный журнал, для издания которого образовалось общество известных ученых. Он будет заниматься всем, о чем можно говорить с эстетической и философской точки зрения, и, следовательно, будет открыт как для философских исследований, так и для

исторических и поэтических произведений. Все то, что может заинтересовать лишь профессионального ученого или что может удовлетворить лишь малообразованного читателя, будет исключено; в особенности же и безусловно будет запрещено все, что относится к государственной религии и политическому устройству. Он будет посвящен области прекрасного для поучения и образования и области науки для свободного исследования истины и плодотворного обмена идей; старание обогащать науку глубоким внутренним содержанием будет сочетаться со стремлением благодаря форме изложения расширять круг читателей.

Среди великого множества журналов подобного содержания, быть может, нелегко привлечь к себе внимание, и после стольких неудачных попыток в этом роде, пожалуй, будет еще труднее вызвать к себе доверие. И более ли обоснованы надежды издателей настоящего журнала, это можно выяснить, лишь ознакомившись с теми средствами, которые предприняты ими для достижения цели.

Только внутренняя ценность литературного предприятия может обеспечить ему у публики продолжительный успех, но, с другой стороны, только этот успех, сообщающий инициаторам силу и мужество, может побудить их затрачивать значительные усилия на увеличение достоинств этого предприятия. Большая трудность состоит, следовательно, в том, что успех известным образом должен быть уже реализован для того, чтобы оправдать большие издержки, благодаря которым он только и может быть достигнут. Из этого порочного круга может быть лишь тот выход, что какой-нибудь предприимчивый человек настолько рискнет, рассчитывая на этот проблематический успех, насколько нужно, чтобы его добиться.

Для изданий подобного содержания всегда найдется достаточно многочисленная публика, но эту публику делят между собой чересчур много журналов. Если бы сосчитать всех покупателей этих журналов, то обнаружилось бы, что они составляют такое число, которое достаточно для того, чтобы поддержать даже самое дорогое предприятие. И все это количество чи-

тателей к услугам того журнала, который соединит в себе все преимущества каждого из этих произведений печати в отдельности, не превышая при этом значительно цену любого из них.

Каждый заслуженный писатель имеет свой круг в мире читателей, и даже наиболее читаемый имеет в нем только наибольший круг. Немецкая культура далеко еще не достигла того, чтобы то, что нравится лучшему из читателей, попадало в руки каждого. Если же выдающиеся писатели данной нации вступают в ассоциацию, то они тем самым объединяют публику, разъединенную до того, и журнал, в котором все они принимают участие, будет иметь к своим услугам весь читающий мир. Но благодаря этому становится возможным предложить каждому в отдельности все преимущества, которые может предоставить автору лишь самый широкий круг читателей и покупателей.

Издатель, во всех отношениях подходящий для этого предприятия, нашелся в лице книготорговца Котта из Тюбингена, и он готов взяться за дело, как только наберется требуемое число сотрудников. Каждый писатель, которому посылается настоящее извещение, тем самым приглашается вступить в это товарищество, и, надо надеяться, нами приняты все меры к тому, что при этом он не вступает в общество людей, недостойных его. Так как все предприятие возможно лишь при условии, что соберется достаточное количество участников, то нельзя допускать, чтобы кто-нибудь из приглашаемых откладывал свое участие до выхода журнала, потому что надо заранее знать, на кого можно рассчитывать, чтобы мыслимо было привести это дело в исполнение. Но как только найдется требуемое количество, каждый из участников журнала будет немедленно поставлен об этом в известность.

По общему соглашению решено каждый месяц выпускать номер в девять листов среднего формата, за печатный лист будет уплачиваться шесть луидоров золотом. За это сочинитель обязуется в течение трех лет после напечатания в журнале его вещей не помещать их в другом месте, разве лишь в том случае, если в них будут произведены значительные изменения.

Хотя со стороны тех авторов, которые приглашаются в сотрудники, нечего бояться чего-либо, что не достойно их самих или журнала, все же, по вполне понятным соображениям, вынесено постановление, что ни одна рукопись не может быть сдана в печать прежде, чем она будет представлена на отзыв известному числу сотрудников. Господа участники с тем большей готовностью подчинятся этому условию, что они могут быть уверены, что обсуждаться будет лишь то, насколько соответствуют предлагаемые ими произведения интересам и плану журнала. Самочинных изменений не позволят себе ни редактор, ни коллегия. Если же они понадобятся, то, само собой разумеется, самого автора попросят их произвести. Печатаение рукописей будет происходить в порядке их поступления, поскольку это будет согласованно с необходимым разнообразием в пределах каждого номера. Именно это разнообразие вызывает надобность в постановлении, по которому каждое произведение не может быть растянуто больше, чем на три номера, и в каждом отдельном номере оно не должно занимать более шестидесяти страниц.

Письма и рукописи надлежит посылать редактору ежемесячника, который отвечает перед авторами за присылаемые произведения и готов каждому, если понадобится, дать отчет.

Едва ли стоит напоминать о том, что эта записка не подлежит оглашению.

Фридрих Шиллер,
палатный советник и
профессор Йенского университета.

129. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Йена, 23 августа 1794 г.

Мне сообщили вчера приятную новость, что вы опять возвратились из путешествий. Таким образом, можно снова надеяться в недалеком будущем повидаться с вами у нас, чего я со своей стороны сердечно

желаю. Недавние беседы с вами привели в движение всю грудку моих идей, так как вы коснулись одного вопроса, который уже несколько лет живо занимает меня. Постигание вашего духа (именно так я должен называть свое слитное впечатление от ваших идей) пролило неожиданный свет на многое, относительно чего я сам не мог прийти к внутреннему единству. Многим из моих спекулятивных идей недоставало объекта, тела, и вы навели меня на настоящий след. Ваш наблюдательный взгляд, так безмятежно и ясно покоящийся на вещах, не подвергает вас опасности сбиться с пути, тогда как спекулятивное мышление, так же как и произвольная и только себе самой подчиненная сила фантазии легко могут заблудиться.

В верности вашей интуиции заключено — и притом гораздо полнее — все, чего с такими усилиями ищет аналитик, и только потому, что оно заключено в вас как целое, вы не замечаете вашего же собственного богатства: ведь, к сожалению, мы знаем лишь то, что мы расчлняем. Умы, подобные вашему, редко сознают, как далеко они проникли и как мало у них причин заимствовать у философии, которая только у них и может научиться чему-либо. Она в состоянии лишь расчленять то, что ей дано; давать — это не дело аналитика, а дело гения, который под несознаваемым, но верным влиянием чистого разума все связывает с объективными законами.

Уже давно, хотя и на некотором расстоянии, я присматриваюсь к движению вашего духа и со все возрастающим восхищением слежу за путем, который вы себе предназначтали. Вы ищете законов природы, но вы ищете их на труднейшем пути, на который поостерегся бы ступить человек с более слабыми силами. Вы берете всю природу в целом, чтобы этим пониманием осветить единичное явление; во всеобщности различных ее проявлений вы ищете причины для объяснения того, что такое индивидуум. Вы подымаетесь, шаг за шагом, от простейшей организации к более сложной с тем, чтобы в конце концов самую сложную из всех, человека, вывести генетически из материалов всего

мироздания. И оттого, что вы создаете его по образу природы, вы стремитесь к проникновению в ее скрытую механику. Великая и подлинно героическая идея, которая сама по себе достаточно показывает, в какой высокой степени ваш дух концентрирует все богатство своих представлений в прекрасном единстве. Вы, разумеется, не могли рассчитывать, что вашей жизни хватит для достижения подобной цели, но даже только вступить на подобный путь ценнее, чем заканчивать любой другой,— и вы выбрали его, как Ахилл в «Илиаде» между Фтией и бессмертием. Если б вы родились греком или даже только итальянцем и еще с колыбели были окружены избранной природой и идеализирующим искусством, то ваш путь был бы бесконечно короче, а быть может, он стал бы и вовсе излишним. Уже при первичном созерцании вещей вы восприняли бы форму их необходимости, и с первыми вашими опытами в вас развился бы великий стиль. Но раз вы родились немцем, раз ваш греческий дух заброшен в этот мир северного творчества, то вам не остается другого выбора, как или самому стать северным художником, или силою мышления возместить вашему воображению то, чего не дала вам действительность, и таким образом рациональным путем изнутри создать Элладу. Еще в ту эпоху жизни, когда душа, будучи окружена несовершенными образами, из внешнего мира творит свой внутренний, уже тогда вы приняли в себя дикую северную природу, но ваш победный, господствующий над своим материалом гений открыл изнутри этот недостаток, а извне удостоверился в нем благодаря знакомству с греческой природой. А теперь вы должны старую, худшую природу, уже пропитавшую ваше воображение, исправить по лучшему образцу, который создал себе ваш творческий дух, и это может произойти лишь силою ведущих понятий. Но это логическое направление, которое дух вынужден принимать при размышлении, несовместимо с эстетическим, благодаря которому он только и творит. У вас, следовательно, было одной работой больше, потому что как только вы переходили от интуиции к абстракции, так вы снова должны были обратно замещать понятия интуицией и

превращать мысли в чувства, ибо гений может творить только посредством чувств.

Приблизительно так сужу я о движении вашего духа, и прав ли я — вам лучше знать. Но что вы едва ли сознаете (потому что гений всегда является для самого себя величайшей тайной), так это прекрасную гармонию вашего философского инстинкта с чистейшими результатами спекулятивного разума. Правда, с первого взгляда кажется, будто не может быть большей противоположности, чем между спекулятивным духом, который исходит из единства, и интуитивным, который исходит из множественности. Но если первый целомудренно и непоколебимо ищет опоры в опыте, а последний самодеятельной и свободной силой мышления ищет опоры в законе, то не исключено, что оба встретятся на половине пути. Правда, дух интуиции имеет дело только с индивидуумами, а спекулятивный только с типами. Но если интуитивный дух гениален и если он стремится открыть в эмпирическом характере необходимости, то хотя он всегда будет порождать индивидов, но они будут обладать характером типа, а если спекулятивный дух гениален и если он, не отрываясь от опыта, возвышается над ним, то хотя он всегда будет порождать только типы, но они будут обладать жизнеспособностью и обоснованным отношением к действительным объектам.

Но я вижу, что вместо письма у меня получается трактат, — простите мне это ради того живого интереса, который вызывает во мне этот предмет; и если вы не узнаете своего отражения в этом зеркале, то, очень вас прошу, все же не бегите от него.

Маленькое произведение Морица, которое господин фон Гумбольдт просит оставить ему еще на несколько дней, я прочитал с большим интересом, и я обязан ему несколькими очень важными поучениями. Право, это настоящая радость дать себе ясный отчет в инстинктивном образе действий, который легко мог привести на ложный путь, и, таким образом, проверить чувства законами. Когда следишь за идеями Морица, то малопомалу видишь, как сквозь анархию языка все отчетливее проглядывает прекрасный порядок, и хотя в этом

случае сильно сказывается несовершенство и ограниченность нашего языка, зато познаешь и его силу и понимаешь, как и для чего употреблять его.

Произведение Дидро, особенно первая часть, очень интересно, и для подобного предмета оно написано с весьма поучительной благопристойностью.

Я прошу разрешения оставить на несколько дней и это произведение.

Было бы все же хорошо скорее сдвинуть с мертвой точки новый журнал, и если вы соблаговолите, чтобы первый номер начинался с вас, то я возьму на себя смелость спросить, не согласитесь ли вы на то, чтобы ваш роман постепенно печатался в нем. Я считал бы проявлением большого благоволения с вашей стороны, если бы вы сообщили мне, дадите ли вы это произведение для нашего журнала и как скоро. Мои друзья и моя жена просят не забывать их, а я пребываю вашим полным глубочайшего уважения к вам

покорнейшим слугой.

Ф. Шиллер.

130. ВОЛЬФАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 31 августа 1794 г.

Вернувшись из Вейсенфельда, где у меня было свидание с моим дрезденским другом Кернером, я получил ваше предпоследнее письмо, содержание которого было для меня вдвойне радостным. Потому что я усмотрел из него, что во взгляде на сущность вашей природы я шел навстречу вашему собственному чувству и что откровенность, с которой я дал высказаться своему сердцу, не была дурно принята. Наше позднее, но пробудившее во мне прекрасные ожидания знакомство снова служит мне доказательством, насколько лучше иногда бывает предоставлять дело случаю, а не предвосхищать его излишней хлопотливостью. Как ни горячо я всегда стремился вступить с вами в более тесные отношения, поскольку это возможно между писателем и внимательнейшим из его читателей, все же

я лишь теперь вполне понимаю, что столь различные пути, которыми шли вы и я, только сейчас, а никак не ранее, могли с пользой свести нас вместе. И я надеюсь, что мы сообща пройдем остаток пути и с тем большим выигрышем, что последние товарищи долгого путешествия могут больше всего рассказать друг другу.

Не ждите от меня изобилия реальных идей; это именно я найду у вас. Мои потребности и мои стремления состоят в том, чтобы из малого сделать многое, и когда вы поближе узнаете мою бедность в том, что принято называть благоприобретенными познаниями, то вы, быть может, найдете, что в некоторых работах мне это удалось. Так как круг моих идей уже, то я скорей и чаще пробегаю его, и как раз по этой причине я лучше могу использовать мои незначительные наличные средства и достигать в области формы разнообразия, которого недостает содержанию. Вы стремитесь к тому, чтобы упростить свой огромный мир идей, а я стараюсь придать больше разнообразия своему небольшому достоянию. Вы должны управлять целым царством, а я лишь относительно многочисленной семьей понятий, которые я искренне хотел бы расширить до размеров небольшого мира.

Ваш дух действует в высокой степени интуитивно, и все ваши умственные силы связаны с воображением как их всеобщим представителем. В сущности это наивысшее из того, что может сделать из себя человек, поскольку ему удастся привести к единству свои воззрения и придать своему восприятию общеобязательность. Вы к этому стремитесь и в какой высокой степени вы уже достигли этого! Моему уму свойственно в гораздо большей мере стремление к символизации, и я как промежуточный тип колеблюсь между логикой и интуицией, между правилом и чувством, между техническим подходом к искусству и гением. Вот это-то и придавало мне, особенно в прежние годы, довольно неловкий, неуклюжий вид как в сфере спекулятивной философии, так и в сфере поэзии: ведь обычно там, где я хотел философствовать, меня обгонял поэт, а там, где я хотел быть поэтом,— философ. И еще теперь

часто случается, что сила воображения вредит моим абстракциям, а холодный рассудок — моему поэтическому творчеству. Если я смогу настолько овладеть этими двумя силами, что каждой я, по своему желанию, буду ставить границы, то меня еще ожидает лучшая участь; но к сожалению, после того как я по-настоящему стал познавать и употреблять свои душевные силы, болезнь угрожает поглотить силы физические. Едва ли у меня достанет времени на то, чтобы завершить в себе великую и всестороннюю духовную революцию, но я сделаю все, что смогу, а если в конце концов возводимое здание рухнет, то, быть может, я все же спасу от пожара то, что достойно сохранения.

Вы хотите, чтобы я говорил о себе, я пользуюсь этим позволением. Полный доверия, я делаю эти признания и смею надеяться, вы сочувственно примете их.

Я воздержусь сегодня от подробностей относительно вашего произведения, которое послужит хорошим введением к нашим беседам. Мои собственные изыскания, шедшие путем, отличным от вашего, привели меня к результатам, довольно схожим с теми, какие получились у вас, и в прилагаемых к этому письму бумагах вы найдете, быть может, идеи, которые согласуются с вашими. Они набросаны года полтора назад, и обстоятельство это, а также их частное назначение (они были написаны для одного снисходительного друга) могут служить извинением за необработанность их формы. Впрочем, с тех пор они получили во мне самом более крепкий фундамент и большую определенность, несравненно ближе подойдя к вашим идеям.

Мне бесконечно жаль, что «Вильгельм Мейстер» потерян для нашего журнала. Но я ожидаю, что ваш плодотворный дух и дружеское усердие дадут нашему журналу компенсацию, и от этого друга вашего гения выиграют вдвойне. В прилагаемом номере «Талии» вы найдете некоторые мысли Кернера о декламации, они вам понравятся. Все наши шлют вам дружеский привет. Полный сердечного уважения,

ваш Шиллер.

131. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Иена, 4 сентября 1794 г.

Вот злополучная опера, которую я забыл тебе переслать, и рецензия на Маттиссона, содержащая некоторые весьма значительные эстетические рассуждения, о которых я жажду услышать твой отзыв. В сущности говоря, я должен был бы эти мысли еще долго вынашивать, пока законченное целое не придало бы им устойчивость. Но все, что говорится в газете или с кафедры, становится общим достоянием, и если не ищешь известных вещей, их и не находишь. Я теперь пишу статью о «наивной поэзии» и в то же время обдумываю план Валленштейна. Этой работы я попросту очень страшусь, ибо с каждым днем все больше убеждаюсь в том, что я меньше всего являюсь поэтом, и если уж поэтический дух нисходит на меня, то лишь тогда, когда я собираюсь философствовать. Что же мне делать? Я решаюсь пожертвовать на этот замысел семь или восемь месяцев жизни,— а у меня есть основания крайне бережливо относиться к своему времени,— и подвергаю себя опасности создать нечто весьма неудачное. Все, что я создал в области драмы, недостаточно хорошо, чтобы придать мне мужество, а изделия, подобные «Карлосу», сейчас вызывают во мне просто отвращение, как ни старался я быть снисходительным к той давнишней поре моей духовной жизни. В самом точном смысле слова вступаю я сейчас на неведомый мне или во всяком случае не испытанный мною путь, ибо в сфере поэзии я уже года три-четыре пытаюсь стать совершенно другим человеком. Я хотел бы, чтобы ты взял на себя задачу критиковать меня и вынести мне приговор. Будь ко мне столь же взыскателен, как к своему врагу, как к самому себе, когда ты берешься за перо. Я готов беспрекословно повиноваться тебе.

Твой III.

Иена, 7 сентября 1794 г.

С радостью принимаю я ваше любезное приглашение приехать в Веймар, но только настоятельно прошу, чтобы вы ни в чем не считались со мной в вашем домашнем распорядке. Ибо, к сожалению, мои спазмы, не дающие мне ночью покоя, обычно вынуждают меня утром спать долго, и вообще я никогда не чувствую себя настолько здоровым, чтобы точно по часам расписать предстоящий день. Надеюсь, вы позволите мне смотреть на себя в вашем доме как на совсем постороннего человека, на которого не обращают внимания, и тем, что я отгорожу себя от всего, — избежать возможности сделать кого-либо зависимым от моего самочувствия. Порядок, который для каждого человека благодетелен, для меня — опаснейший враг; стоит мне в назначенное время начать что-либо, намеченное заранее, как я уверен, что из этого ничего не выйдет.

Простите мне все эти предварительные объяснения, которые я считал себя обязанным изложить вам, чтобы свою жизнь у вас сделать хоть в какой-то степени возможной. Я испрашиваю позволения лишь на печальное право быть в вашем доме больным.

Я готов был уже предложить вам погостить у меня, как пришло ваше приглашение. Жена с сыном уехали на три недели в Рудольштадт, из боязни заразиться оспой, которую г-н фон Гумбольдт привил своему ребенку. Я теперь совершенно один и мог бы вам предоставить удобное жилище. Кроме Гумбольдта, я почти никого не вижу, и давно уже метафизика не переступала моего порога.

С «Харитой» Рамдора у меня получилось как-то странно. При первом беглом чтении его дурацкий тон и чудовищная философия привели меня в ужас, и я спешно отослал это изделие обратно книготорговцу. Когда же я впоследствии в одном ученом журнале нашел некоторые выдержки из его работы о нидерландской школе, я почувствовал к нему больше доверия и снова взялся за его «Хариту», которая оказа-

лась для меня отнюдь не бесполезной. Правда, то, что он говорит об ощущениях, вкусе и Прекрасном вообще, крайне неудовлетворительно и, чтобы не сказать хуже,— просто истинно баронская философия. Эмпирический раздел книги, где он говорит о характерном для каждого искусства и определяет его область и границы, я нахожу весьма приемлемым. Чувствуется, что здесь он в своей сфере, и продолжительное изучение произведений искусства выработало в нем далеко незаурядную изощренность вкуса. В этом разделе книги сказывается человек очень сведущий, голос которого является если не решающим, то все же весьма авторитетным. Очень возможно, что та ценность, которую эта книга, естественно, имеет для меня, для вас совершенно пропадает, ибо тот реальный опыт, на который она опирается, вам уже давно известен и вы не сможете найти здесь решительно ничего нового. Как раз то, что вы, собственно, и искали, ему на редкость не удалось, то же, что ему удалось,— вам не нужно. Меня бы удивило, если бы кантианцы оставили его в покое, а противники этой философии не постарались укрепить им свои ряды.

Так как вы однажды уже читали отрывок моей работы о Возвышенном, посылаю вам начало ее, где вы, быть может, найдете некоторые мысли, способные в какой-то степени пролить свет на вопрос об эстетическом выражении страсти. Некоторые прежние мои статьи на эстетические темы недостаточно удовлетворяют меня сейчас, чтобы представить их вам, а некоторые позднейшие, еще не напечатанные, я с собой привезу. Быть может, вас заинтересует одна моя рецензия на стихи Маттиссона, которая будет напечатана в веймарской «Литературной газете» на этой неделе? При той анархии, которая до сих пор царит в поэтической критике, и полном отсутствии объективных законов эстетики, критик находится всегда в очень затруднительном положении, если хочет свои оценки подкрепить реальными доводами, ибо нет никакого кодекса, на которой бы он мог опереться. Если он хочет быть честным, то должен или совсем молчать, или (что тоже не очень приятно) быть одновременно и законодате-

лем и судьей. Я в этой рецензии решился на последнее, но с каким правом или успехом — об этом я всего более желал бы услышать от вас.

Рецензию я только что получил и прилагаю ее.

Фр. Шиллер.

133. ШАРЛОТТЕ ШИЛЛЕР

Веймар, 20 сентября 1794 г.

Письмо мое из Веймара, дорогая, ты вряд ли получила. Это время я чувствовал себя совсем сносно, пока вдруг утром не началась резкая боль в пояснице — по-видимому, следствие простуды, — столь сильная, что я не мог пошевелинуться в постели. Но в тот же день она утихла настолько, что я уже могу немного двигаться.

Большую часть дня я провожу с Гете, и если принять во внимание, как поздно я встаю, у меня еле остается время для самых неотложных писем. Несколько дней мы с половины двенадцатого, когда я встаю, до одиннадцати вечера были непрерывно вместе. Он читал мне свои «Элегии», которые хоть и двусмысленны и не слишком пристойны, но принадлежат к лучшим его вещам. Еще мы много говорили о его и моих произведениях, задуманных и начатых трагедиях и т. п. Я рассказал ему свой план «Мальтийцев», и теперь он не дает мне покоя и требует, чтобы я к рождению герцогини закончил их, а он поставит это на сцене. Может статься, я так и сделаю, ибо он возбуждал во мне к этому большую охоту, а потрудиться над ними придется столько же, сколько и над «Валленштейном». Он просил меня переделать его «Эгмонта» для веймарского театра, ибо сам он на это не решается, и я согласился. Моего «Фиеско» и «Коварство и любовь» он советует тоже немного подправить, чтобы они могли удержаться на сцене. Что до его участия в «Орах», то рвения у него много, а готовых трудов мало. Свои «Элегии» он, правда, дает нам для первых же номеров. Затем он предложил мне

начать переписку на темы, нас обоих интересующие, и напечатать ее в «Орах».

С Гердером я вчера впервые говорил при Реберге и его сестре, которые теперь здесь. У Реберга противное лицо, и вообще он неприятен, по крайней мере с первого взгляда. Сестра его — милое создание. Гердер очень постарел, но был крайне приветлив. Я вскоре собираюсь его посетить. До сих пор я еще нигде не бывал.

Гумбольдт тем временем снова приходил ко мне. Он сомневается, чтобы у малыша могла начаться оспа, а в таком случае ты через неделю можешь спокойно вернуться в Иену. Правда, Гуфеланд сделал своему ребенку прививку, но это никак не отразится на нашем Карле. Я еще не знаю, когда вернусь в Иену. Сегодня ровно неделя, как я здесь, и так как я совершенно не могу здесь работать, то слишком долго задерживаться не хочу. Через неделю буду готовиться к отъезду. Как счастлив я буду вернуться к своим дорогим. Передай chère mère и нашим рудольштадтским друзьям мой самый горячий привет. Нашему сыночку тысяча поцелуев. Не забудь привезти мне мадам де Севинье, Элоизу и Роллена. Прощай, моя дорогая.

III.

134. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Иена, 9 октября 1794 г.

Мой бюст благополучно прибыл из Штутгарта; теперь это настоящий шедевр. Все, кто видит его, поражаются сходством и великим искусством исполнения. Даннекер хочет его выполнить в мраморе и уже выписал из Италии каррарский мрамор. Тем самым несколько затрудняется вопрос с отливкой, но я надеюсь, что еще один экземпляр нам все же удастся получить. Я уже писал ему, чтобы он выслал этот бюст прямо тебе.

Мои письма в Данию отнимают у меня невероятно много времени, а это не единственная моя работа. Поэтому я не успел еще тебе подробно написать и

прошу тебя потерпеть еще немного. Пока что посылаю тебе статью Гете, которую он, правда, лишь бегло набросал, и не для печати. Ты должен быть знаком со всем, что он пишет и посылает.

Мы начали с ним переписку о разных вопросах, которая послужит источником статей для «Ор». Таким образом, считает Гете, наше писательское рвение направлено будет по определенному руслу, и, работая почти неприметно для себя, мы вместе накопим нужный нам материал; так как в важнейших вопросах мы единомысленны, а наши индивидуальности столь несхожи, то эта переписка может стать действительно интересной.

Свой роман он хочет присылать мне по томам; и я каждый раз буду писать ему, что должно произойти в следующем томе и как все должно развиваться и развязываться. Он тогда сможет воспользоваться этой предварительной критикой до того, как отдаст печатать следующий том. Эта идея возникла у него под влиянием наших бесед о композиции, и если ее по-настоящему хорошо и тщательно выполнить, это бы действительно пролило свет на законы поэтического построения.

Исследования Гете по естественной истории, о которых я тебе как-нибудь расскажу подробнее, заинтересовали меня не меньше, чем его поэтические творения, и я убежден, что и здесь он на верном пути. То, что он противопоставляет ньютоновской теории цветов, кажется мне тоже весьма убедительным.

Фихте к этой ярмарке напечатал пять своих публичных лекций, которые я тебе очень рекомендую прочесть.

Как обстоит дело с *писательством* и музыкой? Через две недели к первым номерам «Ор» уже начнут собирать материал. Сделай так, чтобы я мог напечатать тебя во втором номере.

Будь здоров. М. и Д. сердечный привет от меня и жены, которая хотела приложить письмо к Д., но не смогла.

Твой Ш.

Цена, 28 октября 1794 г.

Что вы согласны с моими идеями и довольны их изложением — весьма радует меня и служит мне необходимым поощрением в пути, на который я вступил. Правда, предметы, составляющие сферу чистого разума или выдаваемые за таковые, должны достаточно прочно покоиться на глубоких и объективных основах и заключать в себе самих критерий Истины. Но такой философии пока еще не существует, и моя собственная тоже от этого еще далека. Наконец, сущность основывается на свидетельстве ощущений и потому нуждается в субъективной санкции, которая может быть дана ей только с соизволения непредвзятых умов.

Суждение Мейера для меня крайне значительно и ценно, и оно примиряет меня с возражениями Гердера, который, как видно, не может простить мне моих кантовских убеждений. Я не жду и от противников новой философии терпимости, которую следовало бы выказывать по отношению ко всякой другой системе, еще не ставшей для нас вполне убедительной, ибо кантовская философия сама не отличается терпимостью и слишком ригористична для того, чтобы в какой бы то ни было мере приспособливаться к другим. Но это, с моей точки зрения, делает ей честь, ибо доказывает, что она не терпит произвола. От такой философии не отмахнешься презрительным жестом. В открытой, ясной и доступной области исследования строит она свою систему, никогда не гонится за призраками и ничего не оставляет личному чувству, но хочет, чтобы и другие обходились с ней так, как она обходится со своими соседями, и можно простить ей, что она признает только обоснованные доводы. Меня ничуть не страшит мысль, что законы изменения, не щадящие ни одно человеческое или божеское создание, разрушат также форму этой философии, как и всякой другой, но сущность ее может не бояться этой участи, ибо с тех пор как живет человеческий род и существует разум, ее молча признавали и во всем следовали ей.

С философией же нашего друга Фихте дело обстоит совсем иначе. Уже появляются сильные противники в его собственном лагере, которые скоро будут утверждать во всеуслышание, что все вытекает из субъективного спинозизма. Он уговорил одного из своих старых университетских друзей, некоего Вейсхуна, перебраться сюда, вероятно, в надежде с его помощью расширить сферу своего господства; однако Вейсхун — судя по всему, что я слышал о нем, отменный философский ум — уже успел пробить брешь в системе Фихте и будет писать против него. По личным высказываниям Фихте, — ибо в его книге об этом еще не было речи, — «я» в своих представлениях является творящим началом, и вся реальность заключается только в этом «я». Мир для него лишь мяч, который бросило «я» и, с помощью размышления, снова ловит!! Итак, он действительно провозгласил свою божественность, как мы недавно и предвещали.

За элегии все мы вам чрезвычайно признательны. В них столько жара, столько нежности и подлинно могучего поэтического духа, что, читая, испытываешь настоящее наслаждение: так непохожи они на изделия нынешних стихотворцев. Это истинное воплощение благодатного поэтического гения. Я очень неохотно вычеркнул в них несколько мелочей, понимая, что ими необходимо было пожертвовать. Некоторые места вызывают у меня сомнение, и я отмечу их, когда пошлю вам рукопись обратно.

Если вы понуждаете меня сказать вам, что бы мне хотелось еще видеть из ваших творений в первом номере журнала, то позволю себе напомнить вам о вашей идее обработать новеллу Боккаччо о честном прокураторе. Так как я всегда предпочитаю поэтическое изображение исследованию, то здесь я тем более на этом настаиваю, так как в трех первых номерах «Ор» слишком уж много философии, а поэтических произведений мало. Если бы не это обстоятельство, я напомнил бы вам о статье, посвященной пейзажной живописи. По установленному у нас порядку, третий номер «Ор» должен быть разослан в начале января. Я надеюсь, что в первом номере пойдут ваши элегии и первое письмо,

во втором — второе письмо и то, что вы пришлете еще на этой неделе, а в третьем — опять письмо и новелла Боккаччо в вашей обработке; тогда ценность каждого из этих номеров уже обеспечена.

Ваше благосклонное предложение, касающееся эпиграмм для альманаха, — весьма выигрышно. Как это осуществить, чтобы их не разрознить, надо будет еще подумать. Быть может, стоило бы сделать из этого несколько выпусков, так, чтобы каждый из них был совершенно самостоятелен.

Рад был узнать, что профессор Мейер снова в Веймаре, и прошу вас как можно скорее познакомить меня с ним. Быть может, он решится на маленькое путешествие сюда, и чтобы это было бесполезно и для художника, я хочу показать ему бюст работы одного немецкого скульптора, который, как мне кажется, может не бояться взгляда истинного ценителя. Быть может, Мейер надумает еще этой зимой написать что-нибудь для «Ор».

За «Мальтийцев» я несомненно возьмусь, когда закончу свои письма, из которых вы читали только треть, и еще один маленький опыт о «наивной поэзии». Это, правда, займет остаток нынешнего года. Так что к рождению герцогини я не могу обещать это произведение, но к концу зимы все же думаю с ним справиться.

Я говорю сейчас, как здоровый, полный сил человек, свободно распоряжающийся своим временем; однако при выполнении всех этих замыслов «Не — Я» еще напомнит мне о себе.

Храните нас в своей памяти. А в нашей вы живете всегда.

Шиллер.

136. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Иена, 10 ноября 1794 г.

Твой отзыв о моих письмах меня очень радует, тем более что именно на такое впечатление я и рассчитывал. Мне пришлось воспользоваться многими идеями Канта, не прибегая к их формальному доказательству,

и это неизбежно, когда так сжато касаешься вопросов, которые, собственно говоря, затрагивают всю сущность человека. Читатель обязан думать, при занятиях философией без этого не обойтись; а если он не сумеет найти в самом содержании книги ключа к трудным местам, то тут ему ничем не поможешь. Мне кажется, что все мои положения обоснованы, ибо статья как бы вырублена из одного куска. Частности связаны с целым и целое с частностями. К тому же все следующие письма целиком посвящены примерам и более широкому истолкованию установленных ранее положений.

Если тебе кажется, что, излагая свои мысли относительно писательства, я тем самым отнимаю у тебя эту тему, то ты поистине неправильно меня понимаешь. Думается мне, что по этому вопросу еще ничего не сказано, и единодушия в принципах скорее надо желать, нежели опасаться. Если мы будем работать над одним и тем же,— тем лучше; я убежден, что при этом мы будем исходить из различных предпосылок, чему порукою служит различие наших индивидуальностей. Устанавливая идеал писательства, я буду заниматься преимущественно отношениями между объективным и субъективным, которые, повидимому, являются определяющими. При живом взаимодействии, в котором принимает участие вся индивидуальность, влияющая на другую индивидуальность, происходит субъективизация объективного. Писательская манера должна воздействовать на человечество и через человечество, но в то же время она должна воздействовать на отдельную индивидуальность как таковую и через индивидуальность. Таково требование: *обобщенная индивидуальность*. Вот круг идей, в котором я преимущественно буду вращаться, если возьмусь за этот вопрос; но ты сам увидишь, сколько в нем еще скрыто богатств.

Ты уже, должно быть, получил мое последнее письмо. Будь здоров и передай всем сердечный привет от меня и жены.

Твой III.

Иена, 21 ноября 1794 г.

Вот уже месяц, дорогие родители, как мы с каждой почтой ждем вестей от вас, ибо до сих пор вы не ответили на два наших последних письма. Это молчание, надо надеяться, не означает, что вы больны, иначе одна из сестер все же написала бы нам.

В последнем письме я сообщил вам, что книгу отца берет книготорговец Михаэлис. Мы сошлись на 24 каролинах. В книге будет 20—21 лист *in octavo* малого формата, и первый лист уже отпечатан.

Наши дела идут неплохо. Здоровье мое, правда, все еще в прежнем состоянии, но приступы не настолько тяжелы, чтобы мешать работе, а ее у меня сейчас очень много. Благодарение богу, я бодр духом и полон мужества и работу люблю не меньше, чем самые здоровые люди.

Наш сыночек становится прелестным. Пять недель назад он начал ходить и теперь носится по всей комнате так, словно занимается этим уже целый год. Кроме того, он уже лепечет и многое понимает. Сердце у него, видно, будет мягкое и уступчивое, ибо если он сделает что-нибудь запрещенное, то стоит мне строго посмотреть на него, как он уже бежит ко мне и начинает целовать, чтобы задобрить. Я часто показываю ему ваши портреты, и он умеет их отыскивать и показывает на них, когда я спрашиваю, где дедушка и где бабушка. Он является ко мне, как только я встаю с постели, во время обеда сидит с нами за столом, и по вечерам тоже радуется наши сердца. Не могу сказать, как дорог мне этот ребенок!

Вы теперь уже знаете, что Вольцоген стал моим свояком. Я раньше не хотел писать вам об этом браке, частью потому, что все еще надеялся расстроить его, а частью потому, что по многим причинам он мне очень неприятен. Теперь дело сделано, и я по возможности стараюсь не думать о нем. Они такие разные люди, что не смогут составить счастье друг друга. Но нельзя помочь тому, кто не слушает советов. Я уже больше об

этом не печалюсь. Из-за этой истории мы со свояченицей изрядно друг к другу охладели, и вы не должны удивляться, если она будет с вами не очень приветлива.

Дайте же нам поскорее знать, как ваше самочувствие и где вы сейчас находитесь. Жена от всего сердца шлет поклоны вам и моим сестрам, которых я тоже по-братски приветствую. Дорогие родители, желаю вам здоровья, продолжайте любить вашего покорного сына.

Фр. Шиллер.

138 ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 9 декабря 1794 г.

С чувством искренней сердечной радости прочитал я от начала до конца или, вернее, проглотил первую книгу «Вильгельма Мейстера»; я обязан ей наслаждением, какого я давно не испытывал, а если и испытывал когда-либо, то только благодаря вам. И мне было бы очень досадно, если бы то недоверие, с которым вы отзываетесь об этом замечательном творении вашего гения, следовало бы приписать не величию задач, которые ваш дух всегда ставит перед собой, а какой-либо другой причине. Потому что я ничего не нахожу в нем такого, что не находилось бы в прекраснейшей гармонии с изяществом всего целого. Не ждите от меня сегодня более подробного отзыва: «Оры», объявление о них и почтовый день чересчур рассеивают меня, чтобы я мог для этого собраться с силами. Если можно удержать еще на известный срок корректурные листы, то у меня найдется время попытаться, не смогу ли я угадать что-либо, касающееся дальнейшего развертывания повествования и развития характеров. Господин фон Гумбольдт тоже наслаждался этим чтением, и он считает, так же как и я, что ваш молодой дух находится сейчас в состоянии совершенной возмужалости, спокойной силы и творческой полноты. Без сомнения, это впечатление окажется всеобщим. Все в этом произведении находится в такой простой и прекрасной взаимной связи и в немногом так много сказано. Признаюсь, я боялся

сначала, что из-за долгого промежутка времени, прошедшего от первого наброска до окончательной отделки, даст себя знать, хотя бы незначительная, неровность, пусть даже из-за возраста. Но тут ее нет и малейшего следа. Смелые поэтические места, которые, как молнии, сверкают из тихих струй целого, производят прекрасное впечатление, возвышают и наполняют душу. О красотах характеристики я сегодня ничего не скажу, так же как и о живой до иллюзии природе, царствующей повсюду в описаниях, которые вообще во всех произведениях удаются вам. О верности картин закулисной жизни и любовных походов я могу судить с большой компетенцией, так как и с тем и другим я знаком больше, чем хотелось бы. Апология торговли великолепна и глубока по идее, но то, что вы смогли наряду с нею с известной славой утвердить наклонность главного героя, это, разумеется, не пустячная победа, которую форма одержала над материей. Но я не стану вдаваться в более глубокие подробности, так как в данную минуту я не в состоянии это сделать...

На ваше и все наши имена я наложил у Котта запрет, и ему пришлось, побрюзжав, подчиниться. «Предупреждение» я, к моему великому облегчению, сегодня окончил, и оно выйдет в свет приложением к «Листку объявлений» при «Литературной газете». Ваше обещание после рождества приехать сюда на некоторое время очень утешает меня и заставляет бодрее ожидать прихода тоскливой зимы, которая никогда не была мне другом.

Об истории, касающейся мадмуазель Клерон, мне не удалось узнать ничего. Жду, однако, дополнительных сведений. Моя жена вспоминает, что слышала когда-то, будто в Байрейте, когда ломали одно старое здание, показывались старые маркграфы и что-то пророчили. Гуффеланд, юрист, который, как тот добрый приятель, умеет порассказать *de rebus omnibus et de quibusdam aliis*,¹ не смог сказать мне об этом ничего.

Все наши сердечно кланяются вам и очень радуются вашему обещанию приехать.

Шиллер.

¹ О всякой всячине и еще кое о чем (лат.).

Иена, 19 декабря 1794 г.

Посылаю тебе часть уведомлений. Пристрой их по-выгоднее. Пусть одним из твоих комиссионеров будет Гесслер, чтобы мы могли воспользоваться его связями. Послать тебе еще в рукописи продолжение моих «Эстетических писем» никак невозможно. Они у меня будут готовы только через неделю, а через три недели их уже должен получить Котта. Второй частью я — увы! — еще больше заслужу твой упрек в кантианстве; но если речь зашла об определении первопричин, то ничего иного я сделать не мог. Вместе с тем надеюсь, что написана она будет с большей простотой, чем до сих пор было принято.

За хлопоты по поводу «Данте» Шлегеля я тебе очень признателен. Эта статья — прекрасный вклад в наши «Оры». Сочинение его брата я передал Бистеру, ибо предложить столько, сколько тот, я не мог, и, кроме того, в «Талии» для этой статьи совсем уже не осталось места.

Теперь поскорее покажи нам плоды твоего трудолюбия. Я был бы очень рад, если бы ты принялся за обработку «Биографий», тем более что с этой работой ты прекрасно бы справился. Но чувствую, что ты не приведешь в исполнение свой замысел. По собственному опыту я знаю, что нет ничего страшнее *подготовки* к историческому труду и что никакое другое произведение не отнимает столько времени. Ты сам скоро убедишься, что мог бы найти занятие получше, и тебя отпугнет пустыня, которую надо преодолеть, чтобы достичь чего-нибудь порядочного. Быть может, характеристика какого-нибудь великого гения — в особенности поэта — больше заинтересовала бы тебя. Эта тема тесно связана с величием и значительностью, неизменно присущими всему духовному, то есть с вопросом, к которому всегда с любовью обращаются твои мысли. Такие темы, как «О поэтическом гении», «О различиях в духовном облике», о «Творчестве и наслаждении» и т. п., также будто созданы для тебя.

Бюст мой, ты, разумеется, получишь и, быть может, меньше чем через месяц. Судя по письму Даннекера, он уже отлит, и теперь остается только отделка. Мейер и Гете весьма им довольны.

На днях Гете передал мне пробные листы первой книги своего романа, который поистине превзошел все мои ожидания. Гете в нем остался верен себе; правда, он куда спокойнее и холоднее, чем в «Вертере», но так же правдив, ни на кого не похож, и в нем столько же естественности и необычайной простоты. Порою читателя обжигают отдельные искры юного и огненного поэтического духа. Та часть романа, которую я уже прочел, проникнута глубоким, чистым и спокойным чувством, ясным разумом и — искренностью, по которой можно судить, сколь полно вложил себя Гете в это произведение. Тебе оно доставит большую радость.

Еще хочу попросить тебя послать несколько экземпляров уведомления Функу, адреса которого я не знаю. Пусть простит он меня за то, что я, не спросясь, записал его в число сотрудников. Я полагал, что могу твердо на него рассчитывать. Тебя я пропустил, ибо не хотел давать тебе никакого вымышленного имени. Будь здоров и передай всем твоим сердечный привет от нас.

Твой III.

140. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 7 января 1795 г.

Примите мою горячую благодарность за присланный экземпляр романа. Ощущения, которые во все возрастающей степени проникают и охватывают меня по мере того как я углубляюсь в это произведение, я не могу лучше выразить, как сославшись на вызываемое им особое чувство внутреннего уюта, на ощущение духовного и телесного здоровья, и я готов поручиться, что то же самое должны испытывать все вообще читатели.

Я объясняю это состояние благоденствия тем, что этот роман насквозь проникнут спокойной ясностью,

что все в нем ровно и прозрачно; устраняя малейшую частицу того, что оставляет душу неудовлетворенной и беспокойной, он волнует ее лишь настолько, насколько необходимо, чтобы зажечь в человеке и поддержать в нем чувство радостного существования. О частностях же я молчу до третьей книги, которую ожидаю со страстным нетерпением.

Не могу выразить, как мучительно бывает порой чувство, когда от подобного произведения переходишь к философии. Все в нем так радостно, так живо, все так гармонически разрешено и человечески истинно. а в ней все так сурово, так непреклонно и абстрактно и так неестественно, потому что вся природа — это лишь тезис, а вся философия — это антитезис. Впрочем, я осмелюсь сказать, что в моих спекулятивных построениях я оставался верен природе, поскольку это совместимо с понятием анализа; и я, быть может, был ей верен более, чем считается допустимым и возможным у наших кантианцев. Но от этого я все же не менее живо чувствую, какое бесконечное расстояние отделяет жизнь от умничанья об ней, и в печальные минуты я не в силах удержаться от того, чтобы не упрекнуть себя в некоторых недостатках, свойственных моей природе, тогда как в веселые часы я рассматриваю их лишь как естественное свойство вещей. Но одно несомненно, что только поэт является по-настоящему человеком, и по сравнению с ним наилучший философ — это карикатура.

Нет нужды уверять вас в том, как нетерпеливо я ожидаю, что вы скажете о моей метафизике Прекрасного. Подобно тому как само прекрасное извлечено из сущности всего человека, так этот мой анализ извлечен из всего моего человеческого существа, и мне очень важно знать, как это согласуется с вашим существом.

Ваше пребывание здесь послужит источником пищи для моего ума и сердца. Я стремлюсь особенно к тому, чтобы совместно с вами насладиться некоторыми поэтическими произведениями.

Вы обещали мне при случае прочесть свои эпиграммы. Если б это произошло в ваш теперешний

приезд в Иену, то это было бы для меня тем большей радостью, что проблематично, смогу ли я в скором времени попасть в Веймар.

Прошу передать дружеский привет Мейеру. Все мы сердечно радуемся тому, что вы оба приедете к нам, а больше всего ваш друг и ревностнейший почитатель

Шиллер.

Когда я заканчивал письмо, мне принесли столь желанное продолжение «Мейстера». Тысячу раз спасибо!

141. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 19 февраля 1795 г.

Отвратительная погода опять лишила меня всякой бодрости, и порог моего дома снова ограничил мои желания и странствия. С какой радостью приму я ваше приглашение, как только смогу хоть немного довериться своему здоровью — даже если удастся встретиться с вами всего лишь на несколько часов. Я всей душой хочу этого, а моя жена, которую весьма радует наша предстоящая поездка к вам, не даст мне ни минуты покоя, пока мы ее не осуществим.

На днях я правдиво рассказал вам о впечатлении, произведенном на меня «Вильгельмом Мейстером», и рад, что мой отзыв согревает вас огнем, вдохновленным детищем вашего сердца. Кернер недавно прислал мне восторженное письмо об этой книге, а на его суждение можно полагаться. Никогда я еще не встречал критика, которого столь мало отвлекали бы архитектурные детали в художественном произведении от самого здания. Он находит, что «Вильгельм Мейстер» обладает всей силой «Страданий Вертера», но обузданной духом мужественности и проясненной до безмятежной прелести совершенного произведения искусства.

Я вспоминаю, что при чтении маленькой статьи Канта у меня было такое же чувство, как у вас. В ней проводится чисто антропологическая точка зрения, о

первоосновах же прекрасного мы так ничего и не узнаем. Но в качестве физики и естественной истории возвышенного и прекрасного она содержит немало ценного материала. Слог для столь глубокомысленного вопроса кажется мне слишком игривым и цветистым; странный промах со стороны человека, подобного Канту, а, впрочем, вполне понятный. Гердер порадовал нас необычайно удачным по теме и выполнению сочинением, где трактуется животрепещущее понятие *собственной судьбы*. Вопросы такого рода нам вполне подходят, ибо в них заложено что-то мистическое, что у него, однако, связывается с некоей общей истиной.

Раз уж зашла речь о судьбе, то должен сказать, что недавно я кое-что решил касательно *своей* судьбы. Мои земляки оказали мне честь и пригласили меня в Тюбинген, где все как будто сейчас очень увлечены реформами. Но если я непригоден для того, чтобы читать лекции в университете, то сидеть без дела лучше всего именно в Иене, где мне хорошо и где я хотел бы, если это будет возможным, и жить и умереть. Так что я отклонил это предложение и не ставлю себе этого в заслугу, ибо поступил согласно своим склонностям, и мне даже не пришлось вспоминать об обязательствах по отношению к нашему милому герцогу, которому мне приятнее быть обязанным, чем кому бы то ни было другому. Думаю, что до тех пор, пока у меня хватит сил держать перо, я могу не тревожиться за свое существование и предаюсь на волю небес, которые до сего времени меня не покидали.

Господин фон Гумбольдт, тот, что из Байрейта, еще не возвращался и о своем приезде ничего определенного не сообщал.

Посылаю листки Вейсхуна, о которых недавно говорил вам. Сделайте милость, сразу же верните их мне.

Мы все искренне просим не забывать нас.

III.

Иена, 22 февраля 1795 г.

По вашему желанию посылаю вместе с этим письмом 4-ю книгу «Вильгельма Мейстера». Места, почему-либо останавливавшие мое внимание, я отметил на полях чертой, — а в чем дело, вы легко поймете, если же нет, то беда невелика.

Более существенное замечание я должен сделать по поводу денежного подарка, который Вильгельм Мейстер, при содействии барона, получает и соглашается принять от графини. Мне думается, — и того же мнения придерживается Гумбольдт, — что при деликатных отношениях между графиней и Вильгельмом она не должна была бы преподносить, а он принимать, да еще из третьих рук, подобный подарок. Я искал в книге чего-нибудь, что могло бы спасти щепетильность их обоих, и пришел к заключению, что ее можно было бы оберечь, если представить, что деньги эти были предложены и приняты в качестве *remboursement*¹ за понесенные расходы. Теперь решайте сами. Это место, в его теперешнем виде, будет приводить читателя в смущение и заставит его ломать голову над тем, как бы ему спасти достоинство героя.

А в общем, при втором чтении я сызнова наслаждался бесконечной правдивостью описаний и прекрасным разбором «Гамлета». Что до последнего, то мне бы хотелось, исключительно ради большей связности целого и для разнообразия, — которые, впрочем, соблюдены в весьма высокой степени, — чтобы этот разбор производился не подряд, а по возможности прерывался какими-нибудь побочными, но немаловажными происшествиями. При первой же встрече с Зерло разговор слишком быстро сворачивает опять на эту тему; в комнате Аврелии он снова повторяется. Однако все это мелочи, которые прошли бы незамеченными для читателя, если бы вы сами предыдущим изложением не приучили его к ожиданию какого-то необычайного разнообразия.

¹ Возмещения (*фр.*).

Во вчерашнем письме Кернер прямо приказывает мне передать вам его признательность за высокое наслаждение, которое доставил ему «Вильгельм Мейстер». Он не мог отказать себе в удовольствии переложить кое-что на музыку, которую и преподносит вам через меня. Одна вещь предназначена для мандолины, другая для клавира. Мандолину, вероятно, можно раздобыть где-нибудь в Веймаре.

Я должен также серьезно просить вас подумать о третьем номере «Ор». Котта настаивает, чтобы я пораньше послал ему рукописи, и считает, что крайний срок для получения всего материала это 10-е число. Стало быть, посылать рукописи отсюда нужно 3-го. Считаете ли вы возможным для себя закончить к этому времени «Прокуратора»? Разумеется, мое напоминание ни в какой степени не должно стеснить вас, ибо только от вас зависит, пойдет ли он в третьем, или четвертом номере; ведь один из этих номеров вы все равно пропустите.

Мы все свидетельствуем вам наше искреннее почтение. Передайте от меня Мейеру сердечный привет.

Шиллер.

143. ИММАНУИЛУ КАНТУ

Иена, 1 марта 1795 г.

Глубокоуважаемый господин профессор!

Прошлым летом я предложил вашему вниманию план журнала с просьбой принять в нем хотя бы небольшое участие. Теперь задуманное дело осуществилось, и я посылаю вам два первых номера ежемесячника, горячо надеясь, что эти первоначальные опыты склонят вас к исполнению единодушного желания нашего общества и побудят одарить журнал небольшой статьей.

Особенно желал бы я, чтобы вы сочли достойными своего внимания помещенные в журнале письма об эстетическом воспитании человека, ибо вам я сознаюсь, что автором являюсь я сам. Таковы плоды,

принесенные изучением ваших трудов! Сколько бодрости влила бы в меня надежда, что вы признаете присутствие духа вашей философии в этом ее практическом применении.

С безграничным уважением остаюсь
вашим

искреннейшим почитателем,

Фр. Шиллером.

144. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 15 мая 1795 г.

Я только третьего дня узнал, что вы нездоровы, и от души пожалел вас. Тому, кто так непривычен к болезни, как вы, она должна казаться совершенно невыносимой. О том, что нынешняя погода скверно действует на меня, можно и не упоминать — настолько это в порядке вещей.

От второй элегии я, разумеется, отказываюсь очень неохотно. Мне казалось, что даже явная ее незавершенность не может ей повредить в глазах читателей, ибо совсем нетрудно догадаться о преднамеренности некоторых умолчаний. Вообще на такую жертву, ради стыдливости требуемой от журнала, вполне можно пойти, ибо через несколько лет, издавая элегии отдельной книгой, вы сможете восстановить в них все места, выпущенные теперь. Мне бы очень хотелось получить в понедельник утром либо все элегии, либо хоть один лист, чтобы можно было их отослать. Надеюсь, наконец, закончить свою статью, если только не приключится какой-либо особенной беды.

Новых рукописей не поступало, и седьмой номер попрежнему в руках всемогущего бога.

Котта вполне доволен ярмаркой. Правда, немало экземпляров, переданных на комиссию, вернулось обратно, но немало поступило и новых заказов, так что его расчеты в общем оправдались. Он только очень просит, чтобы статьи были поразнообразнее. Многие читатели жалуются на абстрактность тем, немало и

таких, которых сбивают с толку ваши «Беседы», ибо, как они выражаются, им непонятно, куда вы клоните. Как видите, наши немецкие гости верны себе: еда только тогда кажется им вкусной, когда они знают, что едят. Они должны иметь о ней *понятие*.

Я недавно говорил об этом с Гумбольдтом: никакое произведение, будь оно очень хорошим или очень плохим, не может иметь сейчас в Германии *всеобщего* успеха. Публика уже не обладает ребяческим единством вкуса, но совершенное единство культуры присутствует ей в еще меньшей степени. Она стоит как раз на половине пути между тем и другим, и для плохих писателей сейчас превосходная пора; тем хуже, однако, для тех, кого интересуют не одни лишь деньги. С большим любопытством жду, что скажут о вашем «Вильгельме Мейстере», то есть, что именно будут говорить о нем в печати, ибо мнения читателей должныделиться, это само собою разумеется.

Из здешних новостей я ничего не могу вам сообщить, ибо вместе с нашим приятелем Фихте иссяк и богатейший источник всевозможных нелепиц. У нашего приятеля Вольтмана опять были весьма неудачные роды, он снова высказался о себе в более чем самонадеянном тоне. Я говорю о печатном плане его лекций по истории: устрашающее меню, которое должно испугать самого голодного посетителя.

Вы несомненно знаете, что Шютц снова был очень болен и снова стал поправляться.

С величайшим нетерпением жду ваших стихов в «Альманах муз». Гердер тоже даст туда что-нибудь.

Рейгардт через Гуффеланда предлагает свое сотрудничество в «Орах».

Читали ли вы уже вышедшую сейчас «Луизу» Фосса? Могу послать ее вам. Статью из немецкого «Меркурия» раздобуду.

Пожелайте Мейеру успеха в его работе. Искренний привет ему от меня. Все сердечно кланяются вам.

III.

Котта прислал мне только два экземпляра «Ор». Мне помнится, что я должен был отправить вам три.

Иена, 15 июня 1795 г.

Эту пятую книгу «Мейстера» я прочел с истинным упоением и каким-то единым, нераздельным чувством. Даже в «Мейстере» ничто раньше столь сильно не потрясло меня и, подобно вихрю, не увлекало против моей воли. Лишь к концу обрел я некоторое спокойствие. Когда же я размышляю, какими простыми средствами вы добиваетесь столь захватывающего впечатления, то удивляюсь еще более. Обращаясь к частностям, я также нахожу превосходные места. Переход Мейстера в театр, оправдания его перед Вернером по этому поводу, Зерло, суфлер, Филина, безумная ночь в театре и т. д. разработаны необычайно удачно. Из появления неведомого призрака вам удалось извлечь так много мелодий, что у меня нет слов для выражения восторга. Весь замысел принадлежит, на мой взгляд, к счастливейшим из всех, какие я знаю, и вы сумели до последней капли исчерпать заложенные в нем возможности. Разумеется, все ждут, что в конце встретят духа за столом, но так как вы сами напоминаете об этом, то становится очевидным, что его отсутствие несомненно вызвано вескими причинами. О том, кто такой этот призрак, будет сделано столько предположений, сколько подходящих действующих лиц в романе. Большинство из нас положительно считают, что это Марианна или кто-нибудь с нею связанный. Кроме того, мы склонны думать, что дух и фея, попавшая в объятия Мейстера в его спальне,— одно и то же лицо. Но это последнее происшествие заставило меня подозревать Миньону, ибо в тот вечер она, повидимому, сделала множество открытий касательно своего пола. По этому небольшому герменевтическому опыту вы можете судить, насколько хорошо вы сумели соблюсти свою тайну.

Единственное возражение против пятой книги, приходившее порою мне в голову, заключается в том, что той части романа, которая относится исключительно к театру, посвящено, пожалуй, больше места, чем позволяет широкий и свободный замысел целого.

Иной раз кажется, что вы пишете *для актера*, тогда как собирались-то вы писать *о нем*. Вы так старательно описываете ничтожные подробности, касающиеся театра, столько внимания уделяете всяким незначительным приемам в театральном искусстве, которые хотя и представляют интерес для актера и директора, но совершенно несущественны для публики, что создается ложное впечатление об особой цели книги; тот же, кто не заподозрит вас в этом, может зато вас обвинить в личном пристрастии к теме. Если бы вам удалось должным образом внести эту часть в более тесные рамки, то роман в целом от этого лишь выиграл бы.

Теперь несколько слов о ваших письмах к редактору «Ор». Я не раз подумывал уже о том, что неплохо было бы нам отвести в «Орах» место для критических боев. Статьи подобного содержания сообщают журналу облик живой современности и вызывают в публике несомненный интерес. Только, думается мне, нам не следует выпускать поводья из рук, а это случится, если, обратившись к публике и авторам с прямым предложением, мы дадим им известные права. От читателей, разумеется, можно ждать лишь достойных презрения откликов, авторы же, — и этому есть немало примеров, — стеснили бы нас чрезвычайно. Я считаю, что нападение должно исходить от нас самих: тогда, если авторы пожелают защищаться на страницах «Ор», им придется подчиниться нашим условиям. Поэтому мой совет — начать не с предложения, а прямо с действия. Не беда, если нас сочтут неистовыми и дурно воспитанными.

Что вы скажете, если я от имени некоего господина фон Икс пожалуюсь на сочинителя «Вильгельма Мейстера» за то, что он так охотно водится с театральной братией и сторонится «приличного общества»? (Несомненно, это явится главной препоной на пути между высшим светом и «Мейстером», и было бы нелишним и небезынтересным предотвратить ложные заключения читателей на сей счет.) Если вы согласны ответить, то я берусь такое письмо смастерить.

Надеюсь, что вы уже оправились от недомогания. Да благословит небо ваши труды и да ниспошлет вам еще много столь же прекрасных часов, как те, в которые вы писали «Мейстера».

С великим нетерпением жду обещанных стихов для Альманаха, а также и ваших «Бесед». Дома у меня все налаживается. Все вам кланяются.

III.

146. ГОТЛИБУ ФИХТЕ

(Четвертый набросок)

Иена, 24 июня 1795 г.

Как ни обрадовался я вашей рукописи, любезный друг, и как ни трудно мне расстаться со статьей, на которую я уже твердо рассчитывал для следующих выпусков «Ор», все же я чувствую себя вынужденным отправить ее вам назад. Я должен был бы сделать это уже из-за ее непомерной длины, которая угадывается по взятому вами разбегу; тем более я должен поступить так, что содержание статьи столь же мало радует меня, как и ее изложение.

О духе и букве в философии — так озаглаживаете вы ваши письма, между тем как первых три листа трактуют только о духовном элементе в изящных искусствах, который, насколько мне известно, никак не является противоположностью буквы. Дух как противоположность буквы и дух как эстетическое свойство представляются мне столь бесконечно различными понятиями, что если философская работа совсем не коснется последнего, она тем не менее ничего не потеряет от этого и может служить образцом четкого описания *духа*. И я действительно не представляю себе, как вы сможете перейти от одного к другому, не сделав при этом *salto mortale*¹, и еще менее я представляю себе, как вы сможете найти дорогу от духа произведений Гете, упоминание о которых, если исходить из заглавия ваших статей,

¹ Головокружительного прыжка (итал.).

несколько неожиданно, к духу философии Канта или Лейбница. Из второй части вашей рукописи я между тем вижу, что вы не подозреваете, каким кружным путем вы идете, сперва противопоставляя эстетическому духу отсутствие духовности, а потом — при помощи какого-то мне непонятого действия — противопоставляя ему *букву* и называя буквоедами тех, у кого на это не хватает способности.

Насколько нецелесообразным я считаю это введение с точки зрения трактуемого в нем предмета, настолько же — и даже более — оно нецелесообразно с точки зрения нынешних нужд «Ор». Большая часть моих писем ведь трактовала тот же предмет, но несмотря на все усилия оживить абстрактное содержание образностью слога, все же единодушно было признано, что неловко помещать в журнал столь абстрактные исследования. Вашей статьей о духе и букве я надеялся обогатить философскую часть журнала, а избранная вами тема позволяла мне рассчитывать на изложение, всем доступное и для всех интересное. Что же я получил от вас и что должен предложить сейчас публике? Старую, еще не совсем законченную мною тему, к тому же в старой, мною уже использованной эпистолярной форме, и все это сделано по такому эксцентричному плану, что отдельные части ваших статей будет немислимо связать в единое целое. Мне тяжело говорить это, но как бы то ни было, меня не удовлетворяет ни содержание, ни способ изложения, и я не вижу в этой работе определенности и ясности, которые в обычное время вам свойственны. Ваше подразделение побуждений кажется мне шатким, произвольным и нечетким. Вы не обосновываете его; непонятно, какую область оно исчерпывает. У вас не нашлось места для побуждения к существованию, к земному (чувственное побуждение). Кроме того, невозможно отнести к одному разряду побуждение к многообразию и побуждение к единству. Вывести его из практических, как вы обозначаете их, побуждений можно лишь с помощью каких-то насильственных действий. Поскольку два первых побуждения нечетко разграничены, то и третье, выводимое из них, эстетическое побуждение не-

избежно спотыкается и хромает. Короче говоря, в определении этого эстетического побуждения еще царит неустранимая путаница, хотя отдельные определения меня всецело удовлетворяют, — но я не рассчитываю, что сумею в коротком письме сказать все нужное по этому вопросу. Вы услышите суд других: он, а также время, докажут мою правоту.

Еще одно слово о вашем способе изложения. Вы пишете, что в нем заложена определенная цель. Но у нас, должно быть, совершенно различные понятия о целесообразности изложения, ибо сознаюсь, что ваше в этих письмах совсем меня не удовлетворяет. От хорошего изложения я прежде всего требую ровного тона, а если оно должно еще иметь и эстетическую ценность, то — *взаимодействия* между образом и понятием, а не *чередования* их, как это нередко случается в ваших письмах. Отсюда и тот неприемлемый факт, что читатель после непонятнейших абстракций непосредственно наталкивается на тирады — недостаток, присущий вашим ранним произведениям, а здесь он еще более заметен. Наконец, мне совершенно непонятно, почему хорошее изложение *требует шероховатостей*.

Вы запрещаете мне самовольно делать поправки в вашей рукописи, словно я привык вносить изменения без личного согласия авторов. Если я правил вашу первую статью, то потому лишь, что вы сами дали мне на это полномочия, к тому же это было крайне необходимо. То же случилось бы и сейчас, не коренись ошибка гораздо глубже.

Простите меня за прямоту, с которой я высказываю свое мнение. Чтобы не быть обвиненным в произволе, я должен был обосновать свое решение, которое, ввиду большой нужды «Ор» в материале, могло бы показаться непонятным. Если порою в выражениях моих была излишняя горячность, то оправданием может служить вполне естественное недовольство, вызванное обманутым ожиданием.

Впрочем, случившееся ничуть не меняет ваших расчетов с Котта. Он охотно напечатает ваше сочинение, если вы пожелаете этого, отдельным изданием. По сему я прилагаю письмо, которое вы прислали мне для

него. Но ежели Котта обратится ко мне за советом, то не посетуйте, если я дам ему дружеский совет, ибо Котта вполне этого заслуживает.

Ваш *Ш.*

Будьте здоровы и доставьте другу случай возместить вам за то, о чем не мог умолчать редактор.

147. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 6 июля 1795 г.

Я должен сегодня разослать очень много экземпляров «Ор», и у меня остается лишь несколько минут, чтобы поздравить вас с благополучным, надеюсь, приездом в Карлсбад. Рад, что из тридцати дней вашего отсутствия четыре я уже могу вычеркнуть.

Я получил письмо от Фихте, в котором он, правда, пылко доказывает, что я несправедливо с ним обошелся, однако очень старается со мной не рассориться. При всей своей обидчивости он ведет себя очень сдержанно и старается разыграть роль рассудительного человека. Меня он, конечно, обвиняет в том, что я совершенно не понял его статьи. Но вряд ли он сможет простить мне упрек в том, что у него путанные понятия по его же собственной теме. Он собирается, закончив статью, послать мне ее всю на прочтение и ждет, что тогда я откажусь от своего опрометчивого приговора. Так обстоят дела, и я должен признать, что в столь критическом положении он еще вел себя вполне пристойно. Когда вы вернетесь, я покажу вам его послание.

Из здешних новостей могу сообщить вам только, что дочь советника Шютца действительно умерла, он же сам чувствует себя сносно.

Вольтман, на днях навестивший меня, уверяет, что автор статьи в «Меркурии» о стиле в изобразительных искусствах не Фихте, а некий Фернов (молодой художник, который здесь учился; он пишет стихи и некоторое время путешествовал с Баггесеном). Баггесен сам рассказал об этом и добавил, что статья — лучшее

из всего написанного по данному предмету. Таким образом, я надеюсь, что в душе вы попросите прощения у великого «Я» из Османштедта и спишете хотя бы эту вину с его грешной головы.

Вольтман сказал мне, что начал писать роман, и это, право, никак не вяжется у меня с его прочими историческими занятиями.

От Гумбольдта пока никаких вестей. Я от души желаю, чтобы ваше пребывание в Карлсбаде благотворно подействовало и на ваше здоровье и на взятую вами с собой работу. Вы доставите мне большую радость, если найдете случай прислать мне конец V книги.

По вашему указанию я послал вам два экземпляра «Ор».

Жена моя свидетельствует вам свое уважение. Будьте здоровы и дружески вспоминайте нас.

III.

148. ВИЛЬГЕЛЬМУ ФОН АРХЕНГОЛЬЦУ

Иена, 10 июля 1795 г.

Вот уже много недель, мой превосходный друг, я с каждой почтой жду написанной вами статьи, твердо надеяться на которую дало мне право ваше последнее письмо; поэтому-то я все время откладываю свой ответ. Но я побаиваюсь, что вы забыли меня, и больше медлить не стану.

Ваше описание вывода войск из Тулона — прекрасная вещь, и кто представляет себе, чего это стоит — найти правильную точку зрения на столь беспорядочную и дикую толпу и верно соотнести части, — тот должен дивиться, как это все размещено и показано. Историк, подобно поэту и живописцу на исторические сюжеты, должен подходить к своему произведению генетически и драматически; он должен умело вовлекать в игру творческое воображение читателей и, соблюдая строжайшую истину, дарить ему наслаждения, доступные, казалось бы, лишь свободной поэзии. Здесь — и не только здесь — вам в высшей степени удалось достичь этого, и плох будет тот художник, который не сможет, прочитав ваше описание, набросать выразительную картину этого страшного события.

Я слишком мало начитан в истории, чтобы судить об исторической *правде*, а если бы я и сделал это, то вряд ли мои суждения имели бы для вас какую-нибудь цену; но я готов и жажду публично или с глазу на глаз свидетельствовать, что искусство исторического описания подвластно вам более, чем кому-либо другому.

Очень любопытно также, что вы расскажете о Польше. Я нередко завидовал вам по поводу выбора материала, но, быть может, столь плодотворен не сам материал, а дух, которым вы его оживляете.

Не приходила ли вам еще в голову мысль кратко и сжато нарисовать картину американской борьбы за независимость? Я не знаю ничего из новой истории, что могло бы столь же сильно привлечь достойного мастера, ибо французская революция, по крайней мере пока, еще не созрела для исторического искусства.

Весь ваш

Шиллер.

149. ГОТЛИБУ ФИХТЕ

(Отрывок из третьего черновика)

Иена, 4 августа 1795 г.

Мне очень жаль, дорогой друг, что я дал повод для спора о том, как оба мы пишем, ибо спор этот разрешить нельзя и я не должен был его начинать. Меня побудило к этому неправильно понятое стремление к справедливости. Отказавшись печатать вашу статью в «Орах», я не хотел, чтобы меня упрекали в своеволии и причудах, и поэтому дал объяснение своему поступку; я забыл, что именно то, из-за чего статью нельзя было напечатать в «Орах», закроет доступ к вам всем моим доводам. Мне, попросту, следовало бы сказать самому себе, что раз уж вы так пишете и думаете об этом способе изложения, раз вы такая индивидуальность, то никакие доводы, исходящие от моей индивидуальности, до вас не дойдут, ибо эстетическое в человеке это следствие всей его природы в целом, а доводами можно изменить отдельные понятия, но нельзя переделать природу. Разделяя нас один принцип, я, полагаясь на нашу обоюдную любовь к истине и на наши

способности, все же надеялся бы, что в конце концов кто-нибудь из нас склонит другого на свою сторону; но мы различно чувствуем, у нас совершенно различные натуры, и тут уж я ничем не могу помочь. Объединиться в этом вопросе мы можем, лишь приняв утверждение здравого смысла, что если две вещи нельзя сравнивать, то их не следует и противопоставлять.

Разумеется, можно составить некое представление о природе человека и об эстетическом в его сознании, но только если исходить, по крайней мере сейчас, из ваших основных положений, а не из принципов. Вы сами утверждали это однажды в своей статье, а ваши повторные призывы к *другим* рассудить нас в теперешнем нашем разногласии говорят о том, что в этой области вы ждете решения не от разума, а от чувств и всей индивидуальности человека. Я согласен с вами, но позвольте уж мне именно поэтому в выборе подобного посредника руководствоваться лишь собственным эстетическим чутьем.

Я должен был бы придерживаться совсем иного, чем сейчас, мнения о немецкой публике, чтобы с уважением отнестись к ее взглядам в вопросе, где мне, наконец, путем трудной и упорной борьбы удалось достичь внутреннего согласия. Всеобщее и поистине возмутительное преуспевание посредственности в настоящее время, невообразимая непоследовательность, с которой на том же месте, где недавно восхищались достойнейшим, теперь столь же радостно приветствуют презреннейшего, грубость с одной и бессилие с другой стороны, признаюсь, вызывают во мне такое глубокое отвращение ко всему, носящему название общественного мнения, что меня возможно было бы простить, если бы в недобрый час я согласился вступить в борьбу с этим неисправимым вкусом, но поистине я не заслуживал бы прощения, если бы сам стал ему следовать и взял его себе за образец. К счастью, оба эти безрассудства одинаково мне чужды. Не обращая внимания на болтовню и рассыпаемые любезности, я подчиняюсь принуждению либо собственной натуры, либо собственного разума, и так как во мне нет призвания создать школу или привлечь к себе учеников, то такой образ дейст-

вия (который я, скажу мимоходом, считаю единственным приличествующим философу) не стоит мне никаких усилий. Разумеется, при таких взглядах, естественно, должно показаться странным, что мне говорят о воздействии, какое мои сочинения производят или не производят на широкую публику. Если бы вы их читали со вниманием, которого можно ждать от беспристрастного искателя истины, то вы и без моего напоминания знали бы, что они проникнуты духом прямого противоборства характеру времени и что другое отношение к ним оказалось бы опасной уликой против их содержания. Почти каждая строка, вышедшая в последние годы из-под моего пера, несет на себе эту печать, и если я по причинам чисто *внешним*, которые есть и у многих писателей, не могу оставаться равнодушным к тому, большее или меньшее число читателей покупает мои книги, то по крайней мере я добился этого на том единственном пути, который отвечает моей индивидуальности и моему характеру, — завоевал публику, не приноравливаясь к духу времени, но удивил, потряс и взволновал ее, живо и смело преподнося ей *свой* образ мыслей. Что писатель, идущий подобным путем, не может стать любимцем публики — заложено в самой природе вещей, ибо люди любят лишь то, что они свободно берут, а не то, что им навязывают; но он испытывает удовлетворение от того, что его ненавидит скудоумие, что ему завидует суетность, что его с воодушевлением поддерживают умы, способные к полету, что со страхом и трепетом ему поклоняются рабские души. Я не стремился получить вести о дурном или хорошем воздействии моих сочинений, но эти вести без всяких моих стараний добивались до меня, и это продолжается по сей день.

Мне невольно вспомнилось то место в вашем письме, где вы призываете публику через десять лет рассудить нас. Я, правда, не знаю, что случится через 10 лет, однако нисколько не сомневаюсь, что если вы, как я надеюсь, будете тогда еще жить, учить и писать, то вы приложите старания к тому, чтобы ваша философия и ваша индивидуальность удержались в памяти слушателей и читателей; между тем если я, как

надо думать, не смогу тогда ни учить, ни писать, мою философию публика будет также мало замечать, как сейчас. Но то, что через 100 или 200 лет, когда в философской мысли произойдут новые революции, ваши писания будут, правда, цитировать и по достоинству оценивать, но читать не будут — это заложено в природе вещей, точно так же как в ней заложено и то, что мои (из тех, разумеется, которые случайно попадутся в руки, ибо здесь решает мода и удача) будут тогда *читаться не больше*, но во всяком случае и не *меньше*, чем сейчас. А почему это произойдет? Потому что, как бы ни были превосходны произведения, чья ценность вытекает лишь из следствий, которые они могут нести за собой для разума, они становятся все же совершенно бесцельными, стоит разуму к ним охладеть или найти более легкий путь к тем же выводам; напротив того, произведения, оказывающие воздействие независимо от своего логического содержания и носящие живую печать индивидуальности, бесцельными стать не могут и всегда будут заключать в себе неистребимый жизненный принцип именно потому, что каждая индивидуальность единственна, а стало быть незаменима.

Поэтому до тех пор, пока вы, дорогой друг, будете давать в своих произведениях лишь то, что способен усвоить всякий мыслящий человек, вы можете быть уверены, что после...

150. ВИЛЬГЕЛЬМУ ФОН ГУМБОЛЬДТУ

Иена, 9 августа 1795 г.

Когда вы, дорогой друг, получите мое письмо — отстраните от себя все мирское и в торжественной тишине прочтите это стихотворение. Потом запрячьтесь вместе с Ли и прочтите ей его вслух. Жаль, что я сам не могу этого сделать: будь вы сейчас здесь, я бы вам этого не уступил. Признаюсь, я испытываю немалое удовлетворение, и если доброе ваше мнение обо мне, еще раз высказанное вами в последнем письме, заслужено, то именно этим произведением. Тем строже, однако,

должна быть ваша критика. Много замечаний можно было бы сделать по поводу отдельных выражений, и действительно, некоторые места самому мне казались сомнительными; вполне вероятно также, что кто-нибудь третий, не вы и не я, захотел бы увидеть в нем больше ясности. Но лишь то, что кажется непонятным *вам*, согласен я изменить: со скудоумием я в своей работе считаться не могу. Сейчас мне пришло в голову, что мне придется отослать Котта стихотворение еще до того, как получу ваши замечания, ибо, за исключением фрагмента из сочинения Мейера, нет никакого материала для 9-го номера «Ор» и мне придется отправить рукопись с первой же почтой.

Отошлите мне стихотворение с ближайшей обратной почтой. Михаэлис его не получит, а для Альманаха оно слишком велико. Но для Альманаха, раз уж я в настроении, я еще что-нибудь дам. И вообще я твердо решил в ближайшие 10 месяцев ни за что, кроме стихов, не братьяся.

Совершенно очевидно, что ясность идей благоприятствует поэтическому творчеству. Если бы я не проделал весь тернистый путь сквозь свою эстетику, никогда это стихотворение, трактующее столь трудный предмет, не достигло бы той простоты и ясности, какими оно сейчас обладает.

Нужно надеяться, что вы получили оба моих последних письма, и я снова вас прошу — действуйте в отношении Михаэлиса совершенно свободно, словно это ваше, а не мое дело. Он опять недавно был в Брауншвейге и там говорил Шлегелю, что если тот захочет послать свою статью в Альманах, то у него еще есть время. Между тем я не вижу никакой возможности выцусить Альманах хотя бы к ярмарке.

Гете еще не вернулся. На днях я получил от него еще одно письмо, где он назначает свой отъезд из Карлсбада на четвертое, — срок, давно уже истекший.

От Кернера я уже добрых три недели не получал ни строчки. Поэтому рассчитываю в первом же письме найти какое-нибудь его сочинение.

Прилагаемые стихи Шлегеля вставьте, не разрознивая их, по порядку в недавно присланный сборник и,

сделайте милость, перенумеруйте страницы. Через неделю последует новый пакет. Тысяча сердечных приветов от нас обоих вам и Ли. Гете также шлет привет.

С сердечной любовью ваш

Шиллер.

151. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

17 августа 1795 г.

Я истолковал ваше недавнее обещание буквально и считал ваш приезд сюда завтра, во вторник, несомненным; поэтому я так задержал «Мейстера» и ничего не писал вам о нем. Очень бы хотелось побеседовать с вами лично об этой VI книге, ибо в письме всего не припомнишь, и диалог в таких случаях необходим. Мне думается, что нельзя было найти более удачного подхода к теме, чем тот, который избрали вы, когда показывали медленное приобщение вашей героини к священному началу, таившемуся в ней. Эта внутренняя связь изящна и тонка, а ход событий, как вы его изображаете, в высшей степени соответствует природе.

Переход от религии вообще к религии христианской через испытание грехом задуман мастерски. Вообще, все ведущие идеи книги прекрасны, только, боюсь, слишком бегло очерчены. И еще я опасаясь, что некоторым читателям покажется, будто действие совсем не развивается. Если бы кое-что сдвинуть потеснее, кое-что укоротить, а некоторым ведущим идеям, напротив, дать больше простора, то вреда от этого, пожалуй, не было бы. Не ускользнуло от меня и ваше стремление обойти тривиальную терминологию благочестия и тем самым очистить и как бы заново облагородить его предмет. Все же я подчеркнул некоторые места, которые, опасаясь, могут подвергнуться порицанию христиански настроенных лиц за «легкомысленное» толкование вопроса.

Эти немногочисленные замечания касаются того, что вами было сказано или о чем было вскользь упомянуто. Но ваш предмет таков, что появляется искушение говорить и о том, что сказано не было. Правда, книга не закончена, и мне поэтому неизвестно, что еще может в ней произойти, но появление дядюшки с его здравым смыс-

лом указывает на приближение кризиса. Если это верно, то тема по-моему, исчерпывается слишком быстро, ибо, думается мне, что тут еще мало сказано о сущности христианской религии и христианского пиетизма и недостаточно обрисовано, чем может быть христианская религия для прекрасной души, вернее, что может сделать из нее прекрасная душа. Я нахожу в христианской религии *virtualiter*¹ задатки самых высоких и благородных идеалов, и всякие внешние проявления ее кажутся мне столь неприятными и пошлыми именно потому, что они суть ложные отражения этого высшего. Если говорить о своеобразной характерной особенности христианской религии, отличающей ее от всех других монотеистических религий, то она заключается как раз в *отмене закона или кантовского императива*, на месте которых христианство желает видеть лишь свободное влечение. В своей чистой форме христианство, стало быть, является образом *прекрасной* нравственности или воплощением священного и в этом смысле — единственной *эстетической* религией: постигнув это, я смог понять, почему христианство имело такой успех у женственных натур и лишь у женщин встречается сейчас в сколько-нибудь сносной форме. Но я не могу больше распространяться в письме на столь щекотливую тему: замечу лишь, что хотелось бы еще послушать звучание этой струны.

Ваши пожелания касательно эпиграмм будут исполнены в точности. Опечатки в «Элегиях» были очень неприятны и мне, и я сразу же велел указать грубейшие из них в листке объявлений при «Лит. газете», но это ошибки не наборщика, а переписчика, поэтому в будущем их можно будет своевременно предотвратить.

Вы меня очень порадуете, если сделаете то, что обещали для «Ор» на остающиеся месяцы, и я снова повторю просьбу о «Фаусте». Пусть это будет хотя бы одна сцена в 2—3 страницы. Сказка душевно обрадует меня и будет прекрасным завершением для «Бесед» этого года.

Хотя на этой неделе здоровье мое не улучшилось, все же у меня родилось желание и настроение написать стихи, которые пополнят мой сборник.

¹ Потенциально (*лат.*).

Жена моя просит узнать, являются ли булавки, с помощью которых вы недавно упаковали шестую книгу, символами угрызения совести?

Будьте здоровы. Жажду поскорее увидеть вас и нашего друга Мейера.

Шиллер.

152. ВИЛЬГЕЛЬМУ ФОН ГУМБОЛЬДТУ

Иена, 5 октября 1795 г.

Когда в прошлую пятницу я собрался писать вам, мой милый друг, по дороге в Италию к нам заехал Мейер и провел у нас целый день, чем помешал мне осуществить мое намерение. Судя по его словам, ни он, ни Гете не намерены надолго или навсегда поселиться в Италии, а напротив, предполагают закончить все не более, чем за два года. Он поговаривает уже о том, что сделает слепки с некоторых античных статуй, а впоследствии, доставив их за счет герцога в Веймар, будет не спеша срисовывать.

Сегодня Гете прискакал ко мне верхом и только что уехал обратно. В следующий четверг он отправляется по поручению герцога во Франкфурт, где думает пробыть несколько недель. Он шлет вам дружеский привет и скоро напишет сам. Последние недели он был настолько занят, что почти не выходил из комнаты, так как Унгеру нужна рукопись, а он из-за своих итальянских вещей не дописал шестую книгу «Мейстера». Он хочет до или во время путешествия перевести для меня небольшое сочинение г-жи Сталь «О вымысле» (всего несколько страниц), чтобы мы потом поместили его в «Орах», сопроводив краткими примечаниями. Навряд ли в этом году можно будет ждать от него чего-нибудь еще. Он очень жалуется на ваше долгое отсутствие. По поводу своей «Анатомии» он обрадовался тому, что вы будете здесь зимою. Решитесь ли вы согласиться, чтобы он воспользовался вашей квартирой в качестве постоянного двора, если зимою ему доведется пробыть здесь некоторое время? Что касается ваших вещей, то в случае, если их придется убрать, об этом позаботится Лоло.

На сегодня только несколько коротких сообщений и вопросов, ибо это день, отведенный для «Ор», когда я просматриваю почту. Ходом печатания Альманаха я вполне доволен, если не считать того, что в первом листе все еще остается слишком много свободного места, которое, по моему мнению, можно было бы заполнить небольшими стихотворениями, занимающими теперь (как «Неизменное» и др.) по отдельной свободной странице каждое. Прямо-таки счастье, что вам снова удалось подметить опечатки на следующих листах, да и вообще пребывание ваше в Берлине очень полезно для Альманаха. Как успокаивает меня, дорогой друг, сознание, что это дело в ваших руках!

Должно быть, корректор просто тупой болван! Вы очень обяжете меня, если, получив это письмо, вышлете мне все, что будет у вас готового. Мы дадим указатель имен по образцу геттингенского Альманаха, а стихи расположим по авторам. Это произведет хорошее впечатление, если только не получится слишком убористо.

От Михаэлиса попрежнему нет ни письма, ни денег, хотя он уже 2 недели тому назад говорил вам, что *отослал* их. Нитгаммер теряет терпение, и так как Михаэлис явно *солгал* и на этот раз, то я не знаю, что и думать о нем. Книжки для моего отца, которые, по всей видимости, должны были пройти через мои руки, тоже еще не прибыли. Как видите, человек этот никуда не годится в деловом отношении. О том, что Альманах не упомянут в каталоге для ярмарки, вы уже знаете.

Меня очень ободрило сообщение, что ваша и моя статья в «Естественно-историческом вестнике» имели успех. Не сомневайтесь, дорогой друг, что ваши идеи о взаимоотношении полов в науке распространятся в конце концов, как ходячая монета, только не поленитесь написать еще хоть одно подробное изложение вопроса. Сделать это, без сомнения, необходимо и вполне стоит того. Я жду теперь лишь появления нескольких одобрительных отзывов в печати о «Достоинстве женщин» и удобного случая, чтобы открыто заявить, чего стоят эти статьи. Гете разыщет во Франкфурте Земмеринга и напишет мне о «влажной душе». Какие только диковины не рождаются из страсти к новому и необычному!

Прилагаю «Элегию». Сегодня я прочел ее Гете, и она произвела на него сильное впечатление. Что до версификации, то я, следуя вашему указанию, был строже к себе, и не думаю, чтобы теперь вы нашли какие-нибудь важные погрешности. С нетерпением жду, что вы об этом скажете. Кернеровский приговор я уже получил. Тем временем закончил я еще около восьми маленьких стихотворений, которые вы сможете прочесть в десятом номере «Ор», вперемежку с гердеровскими стихами. В этом номере тоже набралось 16 названий, а в XI, надеюсь, их количество дойдет до 25, потому что гердеровских у меня осталось больше, чем напечатано, и сам я рассчитываю, что меня тоже осенит еще что-нибудь. Выходящий девятый номер должен принести нам порядочный кредит.

Еще хотелось мне поддаться давнишнему искушению и испробовать свои силы в новом для меня роде — написать романтическую повесть в стихах, материал для которой у меня уже заготовлен. Хотя и чувствую я, что сумел бы с ней справиться, но боюсь, что тут не обойтись без большой затраты времени, а такая жертва, ради чистой прихоти, в конце концов, пожалуй, чрезмерно велика. Напишите, дорогой друг, что вы об этом думаете, и притом не забудьте принять в расчет мое маленькое тщеславие. Я пробовал свои силы в столь различных областях и формах, что встает вопрос, не должен ли я завершить весь круг. Публика также как будто заметила эту мою разносторонность, которая кажется неотделимой составной частью представления, создавшегося обо мне у большинства читателей. Быть может, именно на этом пути и ждет меня венец, которого надлежит мне добиваться! Но не придавайте этому общему мнению большего значения, чем оно заслуживает, а тщеславие мое принимайте в расчет лишь настолько, насколько оно может явиться источником чего-нибудь достойного.

С другой стороны, побуждаемый нетерпением, я *тогда* с радостью взялся бы за своих «Мальтийцев». Так как я надеюсь, что с декабря (включительно) по апрель я уже не буду так нужен «Орам», то в течение 4 месяцев я мог бы почти, если не совсем, закончить эту

трагедию. Впрочем, быть может, мне не следует и думать об этом! Порою я верю в свои силы, особенно потому, что *такой* сюжет должен мне удалиться лучше других. Так как в нём есть хоры, то он прекрасно подходит к теперешнему моему лирическому настроению. Он содержит несложное героическое действие, только мужские характеры, и потому является таким воплощением возвышенной идеи, какое сердцу моему особенно мило.

Подумайте, дорогой друг, обо мне беспристрастно и строго еще раз и напишите потом свое мнение. В любом случае делом моей жизни остается поэзия; вопрос только в том — *эпическая* (в широком смысле слова) или *драматическая*.

Adieu, мой милый друг. Передайте сердечный привет славной Ли. Лоло тоже, наверно, напишет и расскажет вам все здешние новости. Обнимаю вас от всего сердца.

Ваш III.

153. АНДРЕАСУ ШТРЕЙХЕРУ

Иена, 9 октября 1795 г.

Мой дорогой и высокоуважаемый друг!

Ваше письмо, которое я получил вчера через господина фон Бюлера, было для меня очень приятной неожиданностью. Меня искренне трогает, мой милый друг, что после десятилетней разлуки и на таком далеком расстоянии вы все еще не забыли меня, с любовью вспоминаете и почитаете равным себе. Я же от всей души могу заверить вас, что время, проведенное нами вместе, дружеское ваше участие ко мне, ваша ласковая снисходительность и непоколебимая при любых обстоятельствах верность навсегда останутся для меня драгоценным воспоминанием.

Как радует меня, мой милый друг, известие, что жизнь ваша хорошо сложилась, что вы довольны своей судьбой и вкушаете теперь радости семейной жизни. Я наслаждаюсь ими уже в течение шести лет и, обладая любящей женой, подающим надежды сыном, а также независимым положением в обществе, мог бы быть счастливейшим человеком, если бы буря, которая

так долго кружила меня, пощадила мое здоровье. Но хорошее расположение духа и приятное разнообразие занятий несколько отвлекают меня от тревог о нем, и я живу в мире со своей судьбой.

Именно состояние здоровья не позволяет мне даже думать о путешествии и лишает меня радости принять ваше дружеское приглашение. Но то, что немыслимо для меня, быть может, сумеете осуществить вы, тем более что музыкант-виртуоз везде дома и, даже путешествуя, не теряет времени. Мне не нужно уверять вас в том, что ваше появление в Иене невыразимо обрадует меня. И, мне кажется, я могу спокойно сказать, что и вам это не будет неприятно. Я могу вам поручиться по крайней мере за то, что в Веймаре, где так умеют ценить музыку, вы будете очень желанным гостем.

Будьте здоровы, мой дорогой друг, и любите меня, как любили до сих пор.

Ваш искренне преданный *Шиллер*.

[Адрес: Вена, Господину Андреасу Штрейхеру, музыканту.]

154. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

16 октября 1795 г.

Если бы мог я предположить, что вы задержитесь в Эйзенахе, то не стал бы так мешкать с письмом к вам. Право, мне приятно знать, что вы еще далеко от майнских распрей. Тень великана невзначай могла бы потревожить и вас. Мне часто кажется удивительным, что мы с вами — вы, захваченный водоворотом света, и я, сидящий между своими окнами, затянутыми бумагой, и окруженный тоже лишь бумагами, — что мы могли сблизиться и понять друг друга.

Много радости принесло мне ваше веймарское письмо. На каждый час бодрости и веры в себя приходится десять таких, когда я падаю духом и не знаю, что о себе думать. Тогда мнение окружающих, подобное вашему, является для меня истинным утешением. Также и Гердер недавно написал мне много отрадного по поводу моих стихов.

Из немалого опыта я с достоверностью знаю, что легкость достигается лишь строгой четкостью мыслей. Некогда я держался противного взгляда и страшился жестокости и принужденности. Теперь же я от души рад, что не убоюся трудного пути, порой казавшегося мне гибельным для поэтического воображения. Но, безусловно, это дело требует больших усилий, ибо если воображение у философа, равно как и способность к абстракции у поэта должны бездействовать, то для творческой деятельности в избранном мною роде необходимо, чтобы эти способности всегда находились в одинаковом напряжении, и лишь постоянным внутренним возбуждением удастся мне удержать оба гетерогенных элемента в состоянии своеобразного раствора.

Я с нетерпением жду статью г-жи Сталь. Вполне согласен с тем, что если только позволит место, ее надо целиком напечатать в одном номере. Тогда мои примечания пойдут в следующем. Читатель тем временем составит себе собственное мнение и с большим интересом выслушает мое. К тому же, даже если я получу ваш перевод в следующий понедельник, вряд ли я успею написать статью за то короткое время, которое еще остается до выпуска 11 номера. Гердер тоже прислал для одиннадцатого номера статью о грациях, в которой пытается восстановить сии поруганные существа в их старинных правах. Обещает он статью также и в двенадцатый номер. Свое короткое — всего в несколько листов — и, как мне кажется, очень доступно написанное сочинение «О наивной поэзии» я надеюсь подготовить еще к одиннадцатому номеру. Нет недостатка и в мелких поэтических произведениях. Посылаю вам несколько моих шуток. «Раздел земли» вам, по справедливости, следовало бы прочесть во Франкфурте из окна на улице Цейль, где сама почва к этому предназначена. Если вам покажется забавным это произведение — прочтите его герцогу.

В другом я потешаюсь над законом противоречия: философия, которая стремится своими средствами обогатить познание и установить законы вселенной, не признавая своей зависимости от опыта, всегда смехотворна.

Я очень рад, что вы собираетесь вскоре снова взяться

за «Мейстера». Я не замедлю тогда познакомиться с произведением в целом и попытаюсь, если только это будет в моих силах, применить новый метод критики — генетический, хотя пока не могу еще с определенностью сказать, что такой метод возможен.

Жена и теща, которая сейчас гостит у нас, сердечно кланяются вам. У меня тут справлялись, где вы теперь, но я не счел нужным сообщить. Если получите вести от нашего итальянского странника, прошу вас, поделитесь со мной.

Будьте счастливы.

III.

155. ВИЛЬГЕЛЬМУ ФОН ГУМБОЛЬДТУ

Иена, 26 октября 1795 г.

Благодарю вас, милый друг, за интерес, проявленный вами к запросам моей эстетической совести. Для меня ваше последнее письмо интересно во всех отношениях, и когда я буду располагать бóльшим досугом, чем сегодня (я жду днем Гердера, и нужно еще приготовить письма), мы побеседуем подробнее. В моем сочинении «О наивной поэзии» вы, вероятно, найдете такое же толкование некоторых, более общих проблем, какое я пытался придать вопросу: «Могу ли я при такой оторванности от духа греческой поэзии все же быть поэтом и, возможно, даже лучшим поэтом, чем, казалось бы, эта оторванность дозволяет?» Мне кажется, что в этой статье я высказал не лишние значения мысли.

Не станем, однако, в этом вопросе забираться слишком далеко. Предположите, например, что природа действительно предназначила мне быть поэтом; тогда негреческую форму моего творчества при неоспоримом поэтическом строе моего ума объяснит вам то совершенно случайное обстоятельство, что в решающем возрасте, от 14 до 24 лет, когда, быть может, на всю жизнь складываются формы души, я питался только современными источниками, литературу же греческую (если не считать Нового завета по-гречески) упустил вовсе и даже из римской черпал весьма мало. Все остальное объясняется влиянием философских занятий на устройство

моего мышления. Убедительным доказательством моего толкования является то, что именно сейчас, когда болезнь, образ жизни, многолетние размышления о способе поэтического выражения и даже возраст должны были особенно далеко увести меня от греческого духа, — я тем не менее подошел к нему ближе, чем раньше (в подтверждение приведу только свою «Элегию»). Чем это возможно объяснить? Тем, что сейчас я, хоть и косвенно, все же черпаю из греческих источников. Такое быстрое усвоение чуждых свойств при обстоятельствах столь неблагоприятствующих доказывает, по моему мнению, что не какое-то коренное различие, а один лишь случай может стать преградой между мной и греками. Да, в известные минуты я понимаю, что у меня должно быть больше, чем у многих других, сродства с греками, если, не имея к ним непосредственного доступа, я все же сумел вовлечь их в свой круг и охватить своими щупальцами. Дайте мне только досуг и сохраните здоровье, каким я еще обладаю, и вы убедитесь, что я могу создать произведения, более проникнутые духом греков, нежели произведения тех, кто изучает Гомера в подлиннике. Возможно, что язык *мой* будет более искусственным, чем это совместимо со стихом в духе Гомера и проч., но критический взгляд без труда отличит формы языка от форм мышления; к тому же напрасной тратой сил и времени было бы необдуманное разрушение столь тщательно разработанной системы речи, которая и сама по себе не лишена ценности.

Позвольте мне сделать еще одно замечание. Есть у всех современных поэтов (включая сюда и римлян) нечто лишь им одним свойственное, нечто совершенно чуждое греческим образцам и в чем современные поэты сумели достичь многого (я подробно осветил это в моем сочинении). Это нечто есть реализм и *отсутствие* ограничений, и тут новые поэты имеют преимущество *перед* греками. Этот современный реализм у некоторых писателей, например у Гете, сочетается в большей или меньшей степени с греческим духом (не считая таких, как Фосс, которые и вовсе привились к гомеровскому стволу), но полного слияния с последним все же никогда не происходит. Я заметил, что такое *приближение*, ни-

когда, однако, не превращающееся в *достижение*, всегда происходит в ущерб упомянутому «современному реализму», иными словами — произведение тем беднее *духом*, чем ближе оно к *природе*.

И встает вопрос: не прав ли тот современный поэт, который предпочитает углубляться и совершенствоваться в области, ему одному принадлежащей, чем быть побитым греками в области чуждой, где все будет ему сопротивляться — люди, их язык и самая их культура? Говоря короче, не лучше ли сделают современные поэты, если материалом для своей работы возьмут *идеальное*, а не *реальное*?

Пораздумайте, милый друг, над этими соображениями. Тогда вы с бóльшим интересом прочтете мою статью.

Ваши размышления о подлинной цели путешествий по Италии я нашел вполне убедительными.

Здесь я должен прервать письмо, но сперва несколько слов о Гердере. В справочном листке «Лит. газеты» (от 24 октября) вы найдете очень грубые нападки Вольфа на Гердера по поводу статьи последнего о Гомере. Если бы вы даже поверили, — чего, разумеется, не случится, — что Гердер заслужил все эти резкости, которые по сути дела просто бесстыдны, вы не могли бы не возмутиться их филистерским тоном. Гердеру и в голову не приходило стать Вольфу поперек дороги, и толкование его не имеет ничего общего с «Пролегоменами» Вольфа. Просто смехотворно, что этот неотесанный грубиян вообразил, будто лишь он один может плавать в этих водах и его дорога единственная. Но чтобы вы могли судить сами, я только сообщу еще, что тупой болван тут же приписал Гердеру мою эпиграмму, касающуюся «Илиады», и на ней в основном построил свое обвинение против гердеровской статьи.

Так как Гердер ни под каким видом не желает вступать в объяснения, не расположен к этому и я, то в качестве редактора «Ор» я сделаю лишь несколько замечаний по поводу формы этой атаки и ссылок на «Оры». Мне бы очень хотелось, чтобы и вы от своего имени высказали в лицо невежественному субъекту свое мнение о нем. Впрочем, не тревожьтесь тем, что я навяжу

себе на шю чернильную войну. Я отлично знаю, что мне не сравниться в грубости с подобным господином, да и не стану употреблять оружие, в котором он сильнее меня. Но мне надо кончить это письмо, ведь нужно еще отнести его на почту. Допишу в следующий раз. Гете со дня на день ждет разрешения от бремени своей подружки; он шлет вам привет. Видели ли вы оба «Альманаха муз»? Трудно себе представить, до чего они плохи. Фоссовский — наихудший. Там 29 его стихотворений, ни одного целиком хорошего, очень немного сносных и несколько отвратительных. Adieu.

III.

156 ГОТФРИДУ ГЕРДЕРУ

Иена, 4 ноября 1795 г.

Вы затронули в вашей «Беседе» очень интересный вопрос, но вам следует быть готовым к серьезным возражениям. Мне лично тоже хотелось бы сказать несколько слов о том, как разрешаю этот вопрос я. Если согласиться с вашим предположением, что поэзия порождается жизнью, временем, действительностью, что она должна и может (в наших условиях) быть с ними заодно и к ним возвращаться, — то победа окажется за вами, ибо тогда не к чему здесь оспаривать, что самая близость нашему германскому духу этих северных образов уже говорит в их пользу. Но как раз это предположение я и хочу оспаривать. По-моему, ясно, что наши помыслы и побуждения, наша гражданская, политическая, религиозная и научная деятельность, являясь прозой, противостоят поэзии. Это преобладание прозы над поэзией во всем нашем бытии столь, кажется мне, велико и решительно, что дух поэзии, вместо того чтобы стать властителем прозы, неизбежно ею заражается и, стало быть, гибнет. Поэтому не вижу я для гения поэзии иного спасения, как покинуть область действительности и направить свои усилия не на опасный союз, а на полный разрыв с ней. Я думаю, оттого, что дух поэзии создаст свой собственный мир и через греческие мифы сохранит родство с далеким, чужим и идеальным веком, он только выиграет, тогда как действительность может

лишь залить его грязью. Быть может, в статье «О сентиментальных поэтах», которую я сейчас пишу, я сумею сделать эту точку зрения более ясной и приемлемой для вас. Ибо в этом сочинении я как раз пытаюсь разрешить вопрос: «Какой путь должно избрать поэтическое искусство в наш век и в наших условиях?»

Еще, в качестве возражения вам, следовало бы привести опыты Клопштока и некоторых других, которые пытались уже — с очень малой пользой для поэзии — воспользоваться северными мифами; что касается Клопштока, то эту неудачу нельзя все-таки приписать его неспособности.

Я хотел бы, впрочем, чтобы рассеянные в ваших статьях мысли дали повод людям, занимающимся искусством, пораздумать и еще более углубить эти мысли. Предмет так интересен, и спор по этому вопросу мог бы выяснять так много важного!

Десятый номер «Ор» будет, надеюсь, передан вам в понедельник. Очень любопытно, что вы скажете по поводу его содержания. Прилагаю к письму еще один экземпляр. Прошу прощения за его неказистую внешность, остальные экземпляры на почтовой бумаге выглядят еще хуже; Котта в своем письме объяснил мне это тем, что война в тех областях помешала доставке бумаги. Я веду с ним сейчас переговоры о возрождении и внешнего вида «Ор».

Прилагаю вашу переписанную статью, чтобы вы, если явится у вас охота прочесть ее еще раз, обратили внимание на ошибки, которые могли случиться из-за обилия в статье иностранных имен. Верните мне ее, прошу вас, к понедельнику, когда ее нужно будет отправить. Мои домашние шлют вам лучшие пожелания.

III.

157. ВИЛЬГЕЛЬМУ ФОН ГУМБОЛЬДТУ

9 ноября 1795 г.

Мне не удалось, мой милый друг, в прошлый почтовый день написать вам и отослать оглавление Альманаха. Сегодня отсылать оглавление уже поздно, да у

меня и нет никаких замечаний, кроме того, что как в нем, так и раньше, в тексте, стоит «Лебединая песня» Эльвиина вместо «Лебединая песня» Эльвина. Но сама по себе ошибка эта слишком незначительна, чтобы броситься в глаза.

Пятого приехал сюда Гете и пробудет здесь еще несколько дней, чтобы провести с нами день моего рождения. Мы просиживаем за беседой все вечера с пяти до двенадцати, а то и до часу ночи. Много интересного я мог усвоить из его рассказов о зодчестве, которым он занимается, готовясь к путешествию по Италии. Вам знакома его привычка сперва досконально постигнуть основной закон предмета, а потом, исходя из самой природы последнего, вывести его правила. Так пытается он поступить и здесь, извлекая из трех главных понятий — основания, колонны (стены, ограды и пр.) и крыши — все входящие в них определения. Нелепости в зодчестве для него — просто несоответствия частей этим основным определениям. Он полагает, что архитектура как искусство представляет собой чистую идею, с которой каждое из архитектурных произведений находится в большем или меньшем противоречии. Архитектор, точно так же как поэт, работает для идеального человека, не занимающего определенного, а следовательно стесняющего положения, стало быть все архитектурные произведения лишь приближаются к этой цели; в действительной жизни лишь общественные здания подходят к ней, более или менее близко, ибо в этом случае отпадают всякие ограничивающие условия и из множественных потребностей абстрагируется нечто единое. Можете быть уверены, что я решительно поддержал его в этой столь близкой нашим эстетическим воззрениям мысли и попытался развить ее дальше. Мне думается, что вполне возможно цель зодчества-искусства определить как объективное стремление помочь *родовому понятию* здания вообще одержать победу в каждом *отдельном* здании над *видовым понятием* и тем самым субъективно перевести человека из положения ограниченного в положение неограниченное (хотя также целиком основанное на законе), следовательно, эстетически взволновать его.

Гете требует, чтобы прекрасное здание воздейство-

вало не только на зрение, но чтоб оно могло произвести впечатление и понравиться даже человеку, которого проведут по этому зданию с завязанными глазами.

Можете себе представить, что и об его «Оптике» и об естественно-исторических работах также было немало разговоров. Я посоветовал ему, для того чтобы он мог разделаться с последними еще до своей поездки в Италию (он собирается предпринять ее в августе 1796 г.), передать их в «Оры» в виде отдельных статей, написанных в свойственной *ему* образной манере. Вряд ли можно надеяться, что он, кроме них, много даст в будущем году.

Немало говорили мы на этих днях и о греческой литературе и искусстве, и это утвердило меня в одном решении, давно уже созревшем в моем уме, а именно в решении заняться греческим. И поскольку вы, мой дорогой, сами так хорошо его знаете и знакомы с моей особой, никто не сможет мне дать лучший совет, чем вы. С тем немногим, что я еще помню из этого языка, вам не следует особенно считаться, ибо познания мои касаются слов, а не правил, которые я почти все перезабыл. Кроме хорошей грамматики и хорошего словаря, я бы весьма желал еще иметь под рукой сочинение, где излагался бы метод таких занятий и особенности греческого языка. Что до изучаемых авторов, то я сразу взялся бы за Гомера и присоединил бы к нему что-нибудь из Ксенофонта. Разумеется, дело это будет долгим, потому что уделить ему много времени я не могу, но я буду стараться избегать перерывов и буду терпеливо все доводить до конца. Может быть, по сравнению с моей трагедией, оно не покажется мне трудным, к тому же поможет забыть о современности. Разумеется, к последней (к трагедии) я еще и не приступал, ибо все время работал над статьей «О наивной поэзии» и в pendant¹ к ней — над статьей «О сентиментальных поэтах». И не возьмусь я за нее, пока, *во-первых*, хотя бы не набросаю несколько статей, чтобы в случае необходимости иметь запас для «Ор», и *во-вторых*, не буду иметь какой-то уверенности в том, что в течение полугода мне будет оказана поддержка. Заполнить

¹ Дополнение (фр.).

42 листа — это не малость, ведь несмотря на обилие сотрудников, чего-нибудь значительного в смысле содержания и объема можно ждать только от Шлегеля. Помимо него, рассчитываю я лишь на «Проперциевы элегии» Кнебеля и, возможно, на какие-нибудь сочинения Гердера. Но даже если эти трое все выполнят, они не дадут и половины того, что нужно. Гете, Кернер, вы, я сам, Энгель и проч. частью ненадежны, а частью, если и внесут что-нибудь, то далеко не достаточно. Приrost философских и эстетических (теоретических) сочинений меня не выручит, ибо отдел этот уже более чем достаточно заполнен.

Что до впечатлений от десятого номера, то пока ничего утешительного я не слышал. Шютц, с которым я позавчера снова говорил, с похвалой упоминает о статье Энгеля, об остальном же вовсе нет никаких упоминаний. Видно, и «Элегия» слишком возвышенна для этих господ, ибо слишком плоской для них она быть не может. С Вольтманом я с тех пор больше не говорил, а с Шрейфогелем давно уже не встречаюсь.

Вот письмо Кернера, которое заденет вас за живое по поводу Фихте. О последнем я ничего не знаю, ибо почти не вижу никого, кто вел бы с ним знакомство. Все же студенческие распри затихли сейчас, и он, видимо, ограничивается своим законным делом. С некоторых пор меня снова иногда посещает Ильген, который жалуется, что на его курс о Гомере записалось всего шесть человек. Он грозился дать в «Оры» статью о Гомере и рапсодах. Я хотел бы привлечь его к журналу в его же интересах, поэтому не отказал наотрез.

Ваше письмо к Гельфельду я пока не передал. Гете желает поразмыслить, потому что у него новый слуга, который еще не научился за ним ухаживать, и он все время живет в замке, где ему прислуживает Трапициус, смотритель замка. Ильген, которую он недавно увидел, кажется весьма ему понравилась, и я заметил, что после этого у него снова появилось больше охоты переселиться в вашу квартиру. Но когда он услышал, что она влюблена в вашу славу и свою добродетель, то разговоры о квартире прекратились.

Один раз за это время из Мюнхена написал Мейер.

Он нашел в Нюрнберге много интересных документов о немецком искусстве и собирается на обратном пути задержаться там. В Мюнхене хочет он, правда, купить несколько хороших картин, особенно Джулио Романо, но находит, что люди там на удивление безвкусны. Жителей Нюрнберга, напротив того, он хвалит.

Ходят толки, что курфюрст Майнцкий очень страдает от головокружений. Вы уже, наверно, слышали, что большая часть эмигрантов должна покинуть Эрфурт и что герцог Веймарский частично берет их к себе в провинциальные городки, за что на него очень злы.

Adieu, милый друг, Гете дружески кланяется. Передайте Ли наш сердечный привет. Ваш

Ш.

158. ВИЛЬГЕЛЬМУ ФОН ГУМБОЛЬДТУ

Вена, 7 декабря 1795 г.

Я надеялся, дорогой друг, что смогу послать вам сегодня одиннадцатый номер «Ор», но почта все еще не привезла мне большого пакета, хотя номер уже был отпечатан 24-го числа прошлого месяца. Однако многое из него вы уже получили, и ваше любопытство не должно быть так велико.

Я полностью одобряю ваше решение взяться за работу, только добавлю, что прежде всего вам следует подумать, как сказать не о многом немного, а о немногом много. Чем больше общее будет само вытекать у вас из частного, тем лучше, и вам нечего бояться повторения общих идей — лишь бы применение их было новым. Для таких не слишком тонких ценителей нужно быть особенно ясным в столь тонких материях и при столь нетонких судьях. Ваше намерение начать не с Гомера я также одобряю, но мне думается, что вы, при вашем способе рассмотрения вопроса, вообще можете обойтись без строгого плана. Вы можете начать с конца или с середины, с того места, которое, по вашему мнению, скорее всего возбудит интерес читателя, поэтому, даже если у вас и есть обстоятельный план, при разработке сочинения вам совсем не обязательно ему следовать.

Быть может, было бы совсем не плохо, если бы вы *выделили* главные черты греческого характера и рассмотрели бы каждую из них в отдельной статье, делая тут же обзор всей литературы. При этом легче будет уразуметь *единство*, многообразие же более поразит воображение. Если, напротив, вы возьмете писателя как нечто единое и для многообразия проведете его через все поэтические категории, то единство станет менее интересным, а многообразие менее легким. Вообще, *понятие* более соответствует единству, а *пример*—многообразию, ибо первое всегда труднее второго. Если единством посчитать индивида, факт, словом, отдельный случай, то никогда нельзя быть уверенным, что это окажется интересным, и тогда приходится многообразию определять абстрактными понятиями, а это требует от читателя большого напряжения. Не знаю, достаточно ли ясно я выражаюсь, но я убежден в своей правоте. Путь, который я предлагаю, имеет еще то преимущество, что благодаря разнообразным применениям понятие непременно становится ясным, и таким образом можно с уверенностью сказать, что даже самый тупой читатель все же что-нибудь да усвоит.

Быть может, чтобы обзреть сперва все поле вашей деятельности, вы набрасаете для собственного употребления нечто вроде указателя вопросов, о которых вы хотели бы говорить. Тогда, может быть, я сумею сделать свои мысли ясными и приемлемыми для вас.

Возможно также, что стоило бы изменить характер изложения, иногда пользуясь для этого и внешним поводом,— хотя бы полемикой. В конце концов не обязательно подписываться своим именем. Кое-что можно облечь в форму критики отдельных произведений, старых и новых, теоретических и поэтических. Фосс, Штольберг, Клопшток, Рамлер, Гедике, Шлоссер и другие дадут вам, быть может, основания для проверки и опровержения.

Я действительно очень рассчитываю, милый друг, что в будущем году вы будете сотрудничать в «Орах». Вас не должна пугать судьба ваших первых статей, ибо в них разбирался на редкость сухой и трудный вопрос; и сегодня уже совершенно ясно, что при тупоумии читате-

лей, тема была слишком тонко и остро разработана. Стоит вам выбрать вопрос полегче, да еще самому постараться сделать его понятным, как к вам сразу отнесутся совершенно иначе. Мне бы хотелось дожидаться от вас чего-нибудь более близкого к *истории*. Такая тема ограничила бы ваше стремление к остроте и интеллектуальности (не могу подобрать сейчас другого слова), с другой стороны — в толкование ее вы могли бы вложить больше конкретных рассуждений. Мы поговорим об этом, как только снова будем вместе.

Вы сожалеете о том, что я хочу уйти из «Ор», и прищипываете мое желание отказаться от философских сочинений. Но вы несправедливы ко мне, когда полагаете, что к такому решению я пришел всецело — или хотя бы отчасти — из-за публики. Нет, дорогой друг, к нему меня толкнуло, во-первых, непреодолимое желание не подчиняться в своих работах ничьим указаниям и отдаваться главным образом поэтической деятельности, а во-вторых отсутствие помощи со стороны сотрудников «Ор». Неусыпными трудами удалось мне не дать журналу развалиться, и я не достиг бы этого, если бы мне не помогал случай, но такой случай, на который я не могу больше твердо рассчитывать. «Элегии» Гете, «Данте» Шлегеля, мои письма — все это были уже более или менее законченные вещи, и запас истощился. Удача послала мне статьи Вейсхуна, Энгеля, Мейера. Архенгольц отказывается взять на себя что-нибудь в дальнейшем. Когда я подсчитал все, на что могу рассчитывать в будущем году, то оказалось, что я едва сумею заполнить три номера, если не считать моей доли; к тому же среди всех вещей нет ни одной, представляющей общий интерес. Конечно, Шлегель — прекрасное приобретение, но не для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в журнал или хотя бы поддержать его существование, а для того только, чтобы придать ему весомость, которой мог бы порадоваться знаток. Гете, по его собственному признанию, надо еще много поработать над романом, а подготовка к путешествию, в которое он отправится в августе, очень отвлекает его, поэтому и от него я не жду почти ничего. Не утешает и Гердер. Вы знаете другие источники и как мало на них можно рассчитывать. Если

я не уйду из «Ор», то ради них придется мне, мне одному, целиком собою пожертвовать, не имея при этом твердой надежды достичь цели. Беда усугубляется тем, что и судьба Альманаха в будущем году будет целиком зависеть от меня, так как Гете, давший в этом году четвертую часть всего материала, отпадает, а Гердер тоже исчерпал весь свой запас. Я же свою поэтическую плодovitость в этом году все-таки отчасти приписываю долгому перерыву в поэтических работах, который позволил мне собраться с силами. В будущем году пойдет медленнее и у меня, особенно потому, что передо мной встанут более трудные задачи, да и к себе я буду строже. Если принять все это во внимание, то что же мне остается, как не охладеть вовсе в будущем году к успеху «Ор», чтобы не зависеть от него в собственной моей деятельности? Но стоит мне охладеть к журналу, как он eo ipso¹ окажется морально мертвым, а следовательно и физически должен будет умереть. Захочет Котта поставить его с расчетом на доход — он найдет и подходящего редактора. Я же надеюсь с честью выбраться из этого дела, объявив, что свободно и добровольно покидаю журнал. С точки зрения собственных моих денежных дел, «Оры» не так уже мне необходимы, если только я смогу обеспечить успех Альманаху. Если мне удастся его хорошо поставить, то удастся и в дальнейшем хорошо вести, помещая при этом в нем очень мало своего, ибо в материале стихотворный сборник не будет нуждаться до Страшного суда.

Впрочем, все, что я говорил об «Орах», будет иметь место лишь в том случае, если уменьшится число подписчиков. Если же оно, останется сносным, то это будет значить, что публике нравится, как мы ее угощаем, и тогда можно будет надеяться на увеличение средств, которыми мы сейчас располагаем. В таком случае, я взял бы на приличное жалованье нескольких авторов и, вдобавок, помощника по редакции.

Но поговорим об этом подробнее, когда детальнее будем все знать. Уже целый месяц я не получаю ни единой строчки от Кернера.

¹ Тем самым (лат.).

Михаэлис еще не послал ни одного Альманаха. Это дело, судя по всему, затянется до будущего года.

Изменится ли к лучшему внешний вид «Ор» — знает один бог. Но длинные острые буквы исчезнут, и бумага тоже станет белее. Кроме того, обложка будет красной.

Прощайте, милый друг, сердечный привет Ли. Ваш

Ш.

159. ВИЛЬГЕЛЬМУ ШЛЕГЕЛЮ

Иена, 10 декабря 1795 г.

Прилагаю к этому письму, мой превосходный друг, одиннадцатый номер, в котором напечатано начало ваших писем. Продолжение пойдет в первом новогоднем номере, потому что я не мог оборвать в двенадцатом столь объемистую историческую статью. Меня весьма заинтересовало продолжение, и с еще большим нетерпением я жду всей статьи в целом. Разумная ссылка на природу и то, что вы склонны считать источником ритма скорее физическую необходимость, чем свободное и обдуманное действие, вызывает большое доверие к вашим положениям, которые могут быть подтверждены рядом универсальных и решающих аналогий. Однако должен признаться, что нахожу ваши толкования несколько излишне физиологичными, ибо, хотя я твердо уверен, что все поведение человека на той ступени духовного развития, особенно его поведение, проявлявшееся в столь различных ситуациях совершенно одинаковым образом, должно быть отчасти обосновано физическими причинами, я не менее твердо уверен, что следует также принять отчасти в расчет и влияние собственной деятельности человека. Мне думается, что как только начала проявляться его личность и возникла рефлексия, сразу же появились и неизбежные требования к его самостоятельной и нравственной природе, и одним из них, полагаю я, было требование ритма в движениях; это постоянство в чередовании, и именно таков характер человеческой индивидуальности, каким он обнаруживает себя в этом явлении. Моя мысль, что при объяснении столь раннего, всеобщего и неизменного феномена следует принять во внимание *всего* человека в целом, как

морального, так и физического, подкрепляется аналогией, которая учит, что там, где непосредственно воздействует природа, — там *побуждения* чувств совпадают с *требованиями* разумности. Но я стою на том, что рассудок, как источник определенных понятий, не принимает в этом никакого участия. Эта двойная необходимость физической и нравственной природы, но не свободное действие, не преднамеренный поступок. И здесь и когда дело касается Прекрасного, рассудок не присутствует, а разум проявляется как бы инстинктивно и, как при поэтическом творчестве, действует в непосредственном союзе с чувствами.

От Шютца вы уже, конечно, получили ответ. Он решил сам рецензировать «Оры», хотя это идет как раз вразрез с моими желаниями; при теперешнем состоянии его тела и духа он вряд ли сможет справиться с таким делом. Но так как я — заинтересованное лицо, то не могу и не хочу перечить ему.

Ваша мысль перевести для «Ор» Проперциевы «Элегии» давно уже осуществлена. Некий господин фон Кнебель из Веймара много лет тому назад попытался сделать это, и хотя он только дилетант, ему удалось достичь незаурядного успеха. Гете и Гердер, с которыми он постоянно общается, нянчили и лелеяли его музу, а так как он и сам обладает достаточно тонким вкусом, чтобы изучить чужую манеру, то вполне справился с римлянином. Больше двадцати элегий уже переведены, Гете их исправил, мы все подвергли их критике, и печатание начнется в первом номере «Ор» за 1796 год.

Я весьма приветствую то, что вы собираетесь писать о сочинении Кондорсе. Он представляется мне таким автором, который может принести славу, даже если написать только о мыслях, которые должны были бы прийти ему в голову, и о словах, которые он мог бы сказать, но не сказал. Такие господа несколько легковесны, но ведь нетрудно мчаться во весь опор, когда не обременен тяжелой ношей. Впрочем, сочинение это привлекает сейчас большое внимание, а кое у кого пользуется огромным успехом, так что статью о нем будут читать с жадным интересом.

Почему вы живете не здесь, в Иене, возле нас? Мне бы это доставило много радости. В разговоре бы оживило столь многое, остающееся незатронутым при письменном общении.

Как только у вас будет возможность, порадуйте меня новым плодом ваших мыслей. Весь ваш

Шиллер.

160. ВИЛЬГЕЛЬМУ ФОН ГУМБОЛЬДТУ

Иена, 17 декабря 1795 г.

Меня глубоко огорчает, что у вас опять болят глаза, мой милый друг, и я боюсь, что эта зима, обещающая быть не столько холодной, сколько сырой, только ухудшит ваш недуг. Поэтому в точности следуйте советам врача. Жаль, что из-за ваших глаз вы проведете зиму не в городе, где, могло статься, дружеские беседы рассеяли бы вас и дали бы отдых и глазам и голове.

Очень опечалило меня ваше недавнее сообщение, что мы сможем увидеться в конце мая, да и то на недолгое время. Хорошо, что вы будете здесь именно тогда, когда Гете уедет в Италию, хорошо и то, что Гете, если только он не пробудет там значительно больше года, — вернется через полгода после вашего отъезда, так что в полном одиночестве я пробуду только лето и осень, когда одиночество более сносно. Faxit deus¹.

Сейчас я снова очень тоскую по поэтическому творчеству, ибо заключительная часть «Сентиментальных поэтов», над которой я еще работаю, уже перестает меня тяготить. Я всегда теряю к концу терпение, если меня отрывают и вспугивают неотложные дела, а мне необходимо работать. Но обойтись без этой статьи было невозможно. За что я возьмусь сразу, как кончу ее, — пока не знаю, но во всяком случае это будет что-нибудь для «Ор», ибо счастливые дни вольности еще далеко. С большим удовольствием прочел сейчас первую тетрадь «Проперциевых элегий». Не могу сказать, достаточно ли хорошо они подобраны, потому что я читал не всего Проперция. Но переводы в общем вполне удачны, а частности, надеюсь, будут исправлены, ибо я просил обра-

¹ Да будет воля божья (лат.).

тить на них внимание. Справедливость требовала, чтобы я поделился с другим тем, чему самого меня за это время научили ваши замечания по поводу моих работ.

Шлегелевские статьи о греческих женщинах, полученные мною сегодня, я пока только бегло просмотрел. Судя по этой работе, он стал заметно лучше писать, но все же я боюсь, что ему никогда не удастся избавиться от некоторой тяжеловесности, жесткости и даже запутанности. Статья с двух сторон очень близко затрагивает вас и ваши любимые занятия, именно вам ее и следовало поручить.

По существу вопроса Шлегель меня не переубедил. Греческие женщины и взаимоотношения между полами у греков, как они представлены у поэтов, всегда весьма мало поэтичны и в общем лишены духовности (естественно, что были исключения, хотя их и мало). У Гомера я не нахожу ни одного прекрасного воплощения женственности, ибо одной наивности изображения еще недостаточно. Его Навсикая всего-навсего деревенская простушка, его Пенелопа верная и разумная хозяйка, его Елена просто легкомысленная женщина, которая, не зная сердечной нежности, от Менелая перешла к Парису и, если не считать страха перед наказанием, с полной легкостью снова переменила Париса на Менелая. И потом Цирцея, Калипсо! Гомеровские жительницы Олимпа, кажется мне, еще менее женственно-привлекательны. Если изобразительное искусство и создало прекрасных женщин, то это отнюдь не доказывает, что прекрасные телом и душой женщины существовали в действительности. Тут творило само искусство, и нет у меня сомнений, что если бы греческий скульптор с его творческой одаренностью жил в Черкессии, то и там бы он создал не меньше идеальных женских образов. Также и у трагиков не нашел я ни прекрасных женщин, ни прекрасной любви. Я нахожу у них сколько угодно матерей, дочерей, жен, словом женщин, и вообще, просто представительниц данного пола, но нигде, по моему мнению, самодовлеющая человеческая личность не сочетается с женским своеобразием. Где есть самодовлеющая личность, там нет женственности, во всяком случае прекрасной: Из Сафо мне известно лишь одно стихотворе-

ние, но и оно очень чувственно. Женщины пифагорейского периода как будто более содержательны, тут, кажется мне, на сцену выступает чувство, и уже можно от этих женщин ждать какой-то духовности, тогда как у предшественниц их либо перевешивало материальное, либо нравственное не носило на себе печати женственности, например гражданственность и любовь к отчизне у спартанок. Справедливы или несправедливы мои замечания, но все же согласитесь со мной, что вся греческая древность не знает такого поэтического воплощения прекрасного женского образа или прекрасной любви, которое хотя бы отдаленно напоминало *Sacuntala* или некоторые современные произведения в таком же роде. Гетевская Ифигения и его Елизавета из «Геца» приближаются к греческим образцам, — впрочем, мне не милей и его более возвышенные женские фигуры, даже «Прекрасная душа». Шекспирова Джульетта и Фильдингова Софи Уестерн и др. далеко превосходят прекрасных женщин древности.

Но довольно об этом. Я хотел бы, чтобы Шлегель (Фридрих) взялся за вопросы, которые сделали бы его полезным для «Ор», ибо сейчас он занят тем, что уже превосходно разработано вами, и мы не можем уделить ему слишком много места. Интересно, что пришлет его брат.

«Альманаха муз» я еще не видел. В письме от 25 ноября Михаэлис сообщает мне, что Альманах еще разглаживают в типографии. Выходит, таким образом, что несколько дюжин экземпляров надо лощить 2 недели. Что до имперских земель, то столь подходящий момент, как Новый год, упущен, и пусть Михаэлис сам теперь увидит, как он ведет дело.

Adieu, милый друг, множество поклонов от нас обоих Ли.

Ш.

161. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Иена, 21 декабря 1795 г.

Меня иной раз забавляет, до чего проникательно угадываешь ты авторов в «Орах», и тебе почти никогда не изменяет чутье. «Грации», «Оры», «Святое безумие»

принадлежат Гердеру, все остальное, за исключением Шлегелевых писем,— мне, в том числе и два шуточных стихотворения. Статья «О нравственной пользе эстетических правил» старая, и напечатана она в том самом виде, в каком была 2 года назад написана в Швабии. Другая, «О наивной поэзии», затрагивает весьма существенный вопрос о поэзии «наивной» и о поэзии «сентиментальной», который будет изложен пространнее в следующих двух номерах. То, что я говорю там о поэтическом духе и двух его единственно возможных проявлениях, ты найдешь достойным внимания; по моему мнению, статья эта открывает теории поэтического искусства новый и многообещающий путь, не может она остаться без последствий и для поэтической критики. Впрочем, суди сам. Быть может, я смогу прислать тебе первую половину в рукописи, еще до того, как она выйдет в свет. Мало друзей приобрету я этим сочинением, потому что либо я не прав, либо же людям надлежит совершенно пересмотреть свои суждения о многих вещах. Последнее дается нелегко, особенно тем, кто сам является заинтересованной стороной, но возможно, что опровергнуть мои основные положения будет тоже не просто. По поводу немецких поэтов мнение свое я изложил хоть и с надлежащим уважением, но без всяких поблажек: со мной ведь тоже были весьма откровенны.

Небольшое сочинение Канта я еще не читал (обязательно пришли мне твои замечания о нем). Оно еще у переплетчика. Вообще читаю я очень мало и к сожалению, ибо должен сказать, что именно сейчас из-за отсутствия знакомых и живого обмена мыслями чтение было бы мне особенно необходимо. Но ты не можешь себе представить, в каком непрерывном напряжении принужден я жить, отчасти для того, чтобы осуществлять некогда зародившиеся во мне замыслы, отчасти из-за необходимости ежемесячно насыщать «Оры», сотрудники которых поставили меня в жалчайшее положение. Нежданым даром небес считаю я то, что выдерживаю подобное напряжение физических сил и, невзирая на дрящущийся и зачастую ухудшающийся старинный мой ведуг, не утратил вовсе веселого расположения духа и

решимости, хотя лишен всяких внешних поощрений, которые могли бы поддержать во мне желание работать. Если бы я пользовался своим здоровьем хоть наполовину так разумно, как сейчас пользуюсь болезнью, то мог бы достичь гораздо большего.

Посоветуй Функу, если он еще в Дрездене, сразу же навестить меня. Я уже стал твердо считать его сотрудником «Ор» и весьма радуюсь, что он освобожден от ближайшей военной кампании. Надеюсь, что смогу достать все книги, какие ему понадобятся. Если он попрежнему будет заниматься историческими работами, которые всегда объемистей других, а мне для «Ор» особенно желательны, то он без труда сможет написать 15 — 20 листов в год и заработать сотню, а то и больше луидоров.

Тебя торопить я не стану, потому что, надеюсь, ты и сам не забываешь, да и (по крайней мере на ближайшие 2 месяца) нет особой спешки. Однако, ради собственного твоего удовлетворения и поднятия духа, хотел бы я, чтобы ты себе ясно представлял, что именно у тебя должно быть непременно сделано.

Уже много недель обещают мне со следующей почтой прислать Альманах, но я даже не рассчитываю на него в этом году, ибо я попал в руки негоднейшего простофили-книготорговца. Все же посылаю тебе с этим письмом пробный экземпляр; отправь мне его назад, как только сможешь. Тысяча сердечных приветов всем от нас.

III.

162. ВИЛЬГЕЛЬМУ ФОН ГУМБОЛЬДУ

Иена, 25 декабря 1795 г.

Как приятно мне, милый друг, что вы довольны моей работой и что мы и здесь придерживаемся одного взгляда не только на весь вопрос в целом, но и на отдельные его стороны. Мне этот мой труд ближе многих других; он кажется мне больше моим как по своему замыслу, так и применительно ко мне самому. И есть еще в нем нечто благотворное для духа, ибо абстрактные мысли подтверждены в нем результатами опыта, так что субъективно он представляет собой некую целостность.

Вы хотели бы, чтобы я дал более подробное описание «наивной» поэзии. Так оно и было бы, разумеется, зная заранее, что описание «сентиментальной» поэзии заведет меня так далеко. Но я отправил первую статью еще до того, как точно определил, сколько материала даст мне тема второй. Обе они оказались связанными скорее инстинктивным ощущением, чем заранее предначертанным планом, на который у меня решительно не было времени. Вы безусловно заметили, что вторая статья наверстывает многое, пропущенное в «наивной поэзии», третья же, быть может, пополнит ее в еще большей степени.

На ваши сомнения я могу ответить следующим. Мне кажется, из ваших замечаний явствует, что вы в видовые понятия поэзии вкладываете содержание ее родового понятия, которое безусловно требует объединения индивидуального с идеальным. И видовые понятия мыслю себе в качестве границ для родового понятия, вы же представляете их скорее как различные его осуществления. Однако известно, что «наивная» поэзия более ограничена по содержанию, а «сентиментальная» менее совершенна по форме. Разумеется, каждая оказывается в преимущественном положении перед другой в той мере, в какой она приближается к абсолютной идее поэзии, освобождаясь при этом от своего видового характера. Но так как я хотел подчеркнуть именно *видовые* различия, то мне пришлось сделать ударение как раз на негативной части, пришлось абстрагировать из них все, что принадлежит роду, для того чтобы обратить внимание на то, что роду противостоит. «Наивная» поэзия относится к «сентиментальной» (это уже было сказано), как «наивное» человечество к «сентиментальному». Но вы, конечно, согласитесь, что «наивное» человечество не обладает тем духовным содержанием, какое охватывает культура «сентиментального» человечества, однако, форма последнего не достигает изобразительности первого. Поэтому «сентиментальная» поэзия, когда она достигает *совершенства*, столь превосходит «наивную». Но, достигнув совершенства, она превращается из сентиментальной в идеальную, вы же, по моей вине, быть может, слишком сближаете оба эти по-

нятия. «Сентиментальная» поэзия представлена мной лишь как *стремящаяся* к идеалу (особенно определенно это показано в третьей части), поэтому *in effectu*¹ я считаю ее менее поэтической, чем «наивную». Она идет к более высокой поэтической идее, но «наивная» поэзия, не достигшая в *действительности* таких высот, тем не менее на деле оказывается более поэтической.

Мы должны также тщательно отделять здесь действительность от абсолютной идеи. По идее, «сентиментальная» поэзия является, конечно, вершиной, и «наивную» равнять с ней нельзя. Но достичь своей идеи она не может, а если бы достигла, *то тем самым перестала бы быть поэтическим видом*. В действительности же, столь же бесспорно, что «сентиментальная» поэзия, *qua* поэзия, не достигает высот поэзии наивной.

Я должен напомнить вам здесь ваши собственные мысли о полах и об их отношении к бесполому человечеству. По сравнению с женщиной мужчина — человек, просто более способный к действию, но он — человек в более высоком смысле; противопоставленная мужчине, женщина просто более близкий к действительности человек, но она — человек менее содержательный. Поскольку, однако, оба *in concreto*² суть люди, то они и являются, взятые каждый в своем совершенном развитии как формально, так и материально равными друг другу. Если же говорить об их специфических особенностях, как я пытался сделать это, разбирая оба поэтических рода, то *мужчина* будет отличаться более высоким содержанием и менее совершенной формой, *женщина* — менее высоким содержанием, но более совершенной формой.

Вы сами говорите в одной из ваших статей: «Истинным человеком женщина может быть только в пределах своего пола, а мужчина, только отказавшись от него». Тоже говорю и я в отношении обоих поэтических родов. «Сентиментальная» поэзия, правда, *conditio sine qua non*³ для поэтического *идеала*, но в

¹ В действительности (лат.).

² По существу (лат.).

³ Необходимое условие (лат.).

то же время и вечная *преграда* к его достижению. «Наивная» поэзия, напротив, представляет род более чисто, но на более низкой ступени.

Если же, наконец, обратиться к опыту, то признайтесь, что по *содержанию* ни одна греческая трагедия не сравнится с тем, что *могут* создать в этой области новые. Ее всегда можно упрекнуть в какой-то бедности и в пустоте, по крайней мере меня это ощущение никогда не покидает. Произведения Гомера, правда, обладают более высоким *субъективным* содержанием (они дают богатую пищу уму), но отнюдь не столь высоким *объективным* (они несколько не расширяют ума, но лишь приводят в движение его существующие в действительности силы). Поэмы Гомера бесконечно широки, но в них совсем нет такой глубины, а то что в них есть глубокого,— это результат воздействия не отдельных их частей, а всего произведения в целом; природа в целом бесконечна и бездонна. Не знаю, следует ли нам здесь говорить об изобразительном искусстве древних, разумеется, являющемся идеалом, но идеалом чувственным, весьма отличным для меня от идеала абсолютного, который не может быть дан ни в каком опыте и к которому стремится «сентиментальный» поэт. Поэзия требует содержания куда более богатого, чем изобразительное искусство. Я вполне мог бы, сравнивая идеалы поэзии с идеалами изобразительного искусства, назвать последние скорее *формальными*, нежели *материальными*. Его содержание — это бесконечное в *форме*; таким образом пластические искусства еще целиком принадлежат к области «наивного», ибо искусство «сентиментальное» полностью лежит за пределами чувственного мира.

Но если в опыте «наивной» поэзии я почти не нахожу бесконечности в содержании, то в «сентиментальной» я так же редко нахожу бесконечность в *форме*, и вообще могут ли они существовать без противоречия? Может ли чувственное представление быть бесконечным, может ли бесконечное быть представленным? Только отделяя мысль от ощущения, разум может превратить ее в абсолют, разум обнаруживает себя как таковой только освобождаясь от всего эмпирического. Логически идеал

образуется лишь путем абстрагирования от всякого опыта, что и уничтожает характер «наивного» искусства. Но если рождение идеала действительно возможно лишь путем абстрагирования от всякого опыта, то что будет тогда с опытом? Греческий пластический идеал также возник путем абстрагирования, но не от опыта вообще, а лишь от *определенного опыта*, и в этом и заключено коренное различие. Гомер в своих поэмах также пользуется абстракцией, но абстракцией не первого, а второго рода. Его идеал — идеал рассудка, не разума.

163. ВОЛЬФАНГУ ФОН ГЕТЕ

29 декабря 1795 г.

Мысль насчет «Ксений» великолепна, и ее надо осуществить. Нас очень позабавили те, которые вы прислали мне сегодня, особенно «Боги и богини». Такие заглавия всегда благоприятствуют удачной выдумке. Но, думается мне, если мы хотим набрать целую сотню, то придется нападать и на отдельные произведения, а какой тут скрыт богатый материал! Если только мы не поцадим и себя, то можно будет посягать и на чистых и на нечистых. Какой материал дает штольберговская клика, Ракениц, приятель Николаи — наш заклятый враг, и Рамдор, метафизики с их «Я» и «не Я», лейпцигское эстетическое подворье, Тюммель, Гешен в качестве его конюшего и все проч!

Вчера получил я отпечатанные листы «Сентиментальных поэтов», которые могут еще, таким образом, попасть в большую рецензию «Лит. газеты». Я уже говорил с Шютцем после того, как он прочел их, и хотя он ровно ничего в них не понимает, однако напуган меньше, чем я предполагал. Я дал ему понять, что отнюдь не намерен оказывать давление на его точку зрения, но что явное противоречие с моими оценками неизбежно принудит меня к реплике, а так как мне придется подкрепить ее примерами, то авторы, которых он пожелает защищать, могут попасть в неприятное положение. По-сему он коснется их весьма осторожно.

Рецензия будет очень большой, так как одна только поэтическая часть ее должна занять больше целого газетного листа. Кое-что делаю там и я: так, например, мне поручен отзыв о статье Архенгольца из последнего номера, потому что иначе Шютц не справится к сроку. Рецензия, как видите, поистине уподобится куртке Арлекина. Но до шестого числа ничего не появится.

Вольтмановская трагедия бездарна и во всех отношениях никуда не годится. В ней нет ни своеобразия, ни правдоподобия, ни одной человеческой черты. Более сносна оперетта, да и то лишь по сравнению с трагедией.

Читали ли вы изданную неким надворным советником Брандисом «Зономию»? Там с большим почтением упоминаются ваши «Метаморфозы». Забавно только, что так как на книге стоит ваше имя, а вы, кроме того, писали романы и трагедии, то считается обязательным еще раз упомянуть об этом. «Лишнее доказательство, — сообщает по этому поводу наш приятель, — что поэтический дар благоприятствует научной истине».

Весьма радует меня ваш скорый приезд сюда. Мы еще раз с вами обо всем как следует потолкуем. Вы, конечно, захватите с собой и ваше нынешнее «вязанье» — ваш роман? И нашим правилом да будет: *nulla dies sine Epigrammate*¹.

Вы говорите о большой скудости в театральном мире. Не приходила ли вам уже в голову мысль выбрать для новой постановки что-нибудь из Теренция? Тридцать лет тому назад «Братьев» хорошо — если только по крайней мере верить свидетельству Лессинга — обработал некто Романус. Правда, стоит попробовать. С некоторых пор я снова стал больше читать древних латинян, и первым под руку мне попался Теренций. Я прямо с листа перевожу жене «Братьев», и живой интерес, который они в нас вызывают, заставляет меня полагать, что и на всех они также произведут благоприятное впечатление. Эта пьеса особенно отличается мастерской правдивостью и естественностью, стремительной

¹ Ни одного дня без эпиграмм (лат.).

живостью, с самой завязки определенными и резко очерченными характерами и безусловно приятным юмором.

В «Театральном календаре» множество имен и ничтожно мало стоящих произведений. Я-то еще благополучно отделался: но в какое общество там попадаешь! Зато вам великодушно приписали «Юлия Цезаря», и теперь публика будет считать вас своим должником.

Где только не пишет приятель Бёттигер!

Будьте здоровы. Жена сердечно вам кланяется.

III.

164. ВИЛЬГЕЛЬМУ ФОН ГУМБОЛЬДУ

Иена, 4 января 1796 г.

В последних письмах вы дали мне, милый друг, так много пищи для размышлений, что навряд ли в своих ответах я сумею с вами сравниться. Особенно важен вопрос, «в какой степени совместима индивидуальная форма духа с идеальной», точно так же как принцип: «Развитие индивида состоит не столько в неясном стремлении к абсолютному и всеобъемлющему идеалу, сколько в возможно полном раскрытии и проявлении своей индивидуальности». Я обдумаю все это и напишу вам о том, что самому мне станет ясным. По поводу первого вопроса для меня очевидно, что «каждая» индивидуальность идеальна *постольку*, поскольку она самостоятельна, то есть поскольку в пределах своей орбиты обладает бесконечными возможностями и по своему *содержанию* в полной мере может совершить то, что вообще доступно человеку. Но больше об этом я пока ничего не могу сказать, ибо Гете, который сейчас у нас в гостях, поднимает страшный шум, и, кроме того, от сделанного мне сегодня кровопускания у меня кружится голова.

Вы не написали мне в этом письме, который из Шлегелей прислал вам статью «К познанию греков». Не дрезденский ли?

От Михаэлиса я пока Альманаха не получил и по-сему вдвойне благодарен вам за так своевременно присланные мне три экземпляра.

Сегодня я закончил и отправил для январского номера статью «Сентиментальные поэты». Сделал бы для вас копию с нее, но по случаю рождественских каникул нет моего переписчика.

На сегодня все. Для забавы посылаю вам несколько произведений, автор которых не я. Adieu, мой дорогой друг. Напишу со следующей почтой. Сердечные приветы Ли. Ваш

Ш.

Поздно вечером.

P. S. То, что вы написали мне об Альманахе, весьма меня порадовало, ибо раз он идет нарасхват, то мне и желать больше нечего. Такое настроение публики обеспечивает существование подобным изданиям. Что же касается самой их *сути*, то тут, надеюсь, приговор большинства на меня не повлияет. Я твердо решил отдать Альманаху все свои силы, и, повидимому, даже то, над чем я начинаю на этих днях работать, также будет предназначено для него. В этом году, кроме беглых заметок к сочинению г-жи Сталь, которое не могу я пустить в журнал совсем уж голеньким, и рецензии на «Мейстера», над которой собираюсь потрудиться, я хочу писать только стихи.

С тех пор как здесь Гете, мы начали писать эпиграммы — двустипшия в духе марциаловских «Ксений». Каждая будет метить в какое-нибудь немецкое произведение. За несколько дней их написано уже более двадцати, а когда наберется несколько сотен, то мы их разберем и с сотню оставим для Альманаха. Для разбора привлеку вас с Кернером. Ругаться все будут страшно, но и расхватывать их будут с жадностью, и естественно, что среди сотни эпиграмм будет немало удачных. Сомневаюсь, чтобы кому-нибудь еще удалось несколькими исписанными страницами так взбудоражить столько людей, как нам — нашими «Ксениями».

Иена, 9 января 1796 г.

Вчера, наконец, мой превосходный друг, я прочел вашу рецензию, и мне не нужно говорить вам, до чего обрадовала она меня, *заинтересованного* в ней и в качестве автора и в качестве редактора журнала. Но и независимо от этих личных чувств я радуюсь тому, что в ней прекрасно сочетаются поэтическая теплота с критической трезвостью — причем преобладает последняя, без которой для меня немыслим критик. Было бы слишком трудно — и к тому же у меня слишком много работы сегодня — вдаваться во все подробности. Я вынужден сегодня не касаться даже двух затронутых вами и связанных со мной вопросов:

1. Можно ли вообще защищать поэтическое произведение, подобное «Царству теней»?

2. Может ли и должно ли поэтическое творчество пройти весь трудный путь научного познания?

Быть может, на второй вопрос ответит вам прилагаемое к письму сочинение о «сентиментальных» поэтах. Если же говорить о моем личном опыте, то хотя мне очень мешает, что я не прошел пути науки до конца, но часть его, которую я все же проделал, не увела меня в сторону, а скорее продвинула на поэтическом пути; по крайней мере я написал во время и после той эпохи умозрительных занятий даже и в поэтическом отношении куда лучше написанного ранее. Впрочем, все мои поэтические произведения, которые вы читаете в Альманахе и в «Орах», принадлежат ко времени более позднему и все относятся к периоду между июнем и сентябрем прошлого года.

Ваши замечания о моей и гетевской метрике нахожу я большей частью вполне правильными, лишь в мелочах придерживаемся мы различных мнений. Так, полупентаметр

Die zwischen mir und dir,

разумеется, стих неудачный, но «die» как *relativum*¹

¹ Относительное (лат.).

несомненно должно иметь долгое звучание. Глагол в полупентаметре

Dir gilt es nicht

будет несомненно коротким, потому что на «dir» падает двойное ударение. Совершенно невозможно при правильном произнесении не укоротить заметным образом это «gilt». Я вполне согласен с мнением Морица, что в нашем языке смысл содержания определяется долготой и краткостью.

Впрочем, я отнюдь не намерен защищать от вашей критики свои гекзаметры, ибо сам с давних времен поддерживал эту критику с ригористической пристрастностью, и если теперь возражаю против нее, то не с тем, чтобы облегчить игру поэту, а с тем, чтобы затруднить ее критику: ясно ведь, что в наших просодических законах еще слишком много произвольного. К сожалению, у меня не было времени показать на собственной практике, каким я хотел бы видеть немецкий гекзаметр, ибо все мои стихи в этом размере, которые вы до сих пор читали, — это лишь первый черновик, по недостатку времени мной не отделанный. Например, с тех пор как вышла «Элегия», я по одному только ее стихосложению сделал более сорока исправлений. В оправдание свое должен, однако, сказать, что это — первые сочиненные мной гекзаметры, если не считать юношеских опытов, сделанных в шестнадцатилетнем возрасте.

Гете, который только что прибыл сюда, был весьма доволен вашей рецензией и вашими оценками вообще, хотя и у него есть еще кое-какие возражения как против вашей, так и против фоссовской просодии. Он находит — и такое мнение неизбежно при его натуре, — что в стихосложении следует больше считаться в каждом отдельном случае с требованиями момента и условий, чем с каким-либо общим законом.

Приятнейшей частью вашего письма была для меня та, где вы обнадеживаете меня, что не только приедете летом, но и останетесь здесь жить. Я очень радуюсь этому, и так как я на более или менее длительный срок отказался от умозрительной философии, чтобы с головой погрузиться в поэзию, то наши занятия помогут нам ближе сойтись друг с другом.

С некоторых пор философский факультет стал чинить препятствия ординарным доцентам, но вам бояться возражений не приходится. Я рассчитываю также, что вам можно будет обеспечить здесь еще более почетное положение, ибо на выздоровление Шютца уже никто не надеется. Стоит вам только приехать сюда — и все будет улажено.

Могу ли я ждать от вас в скором времени новой статьи? Если вы хотите поместить ее во втором номере, то она нужна мне не позднее чем через две недели. В первом номере совсем не осталось места, поэтому я ничего не ответил на ваш запрос. Будьте здоровы.

Ваш искренний друг

Шиллер.

От Михаэлиса я dato¹ не получил ни одного экземпляра Альманаха.

166. ВИЛЬГЕЛЬМУ ФОН ГУМБОЛЬДТУ

Иена, 9 января 1796 г.

Последние две недели были недобрым временем для нашей переписки, мой милый друг, и это могло бы длиться еще целую неделю. Сперва надо мной висела последняя часть статьи, которую во что бы то ни стало нужно было кончить, но так, чтобы она все же не выглядела скомканной. Потом приехал из Копенгагена и пробыл здесь несколько дней граф Пургшталь, снабженный столь могущественными рекомендациями, что мне пришлось быть к нему особенно внимательным. Потом появился Гете, отнимающий у меня все вечерние часы, а последние несколько дней здесь находится г-н фон Функ, от которого я не могу, да и не хочу избавиться, ибо с удовольствием вижу с ним. Вот уже десять дней как я не работаю и не желаю работать, а небольшое количество остающегося у меня времени поглощает рассылка «Ор» и Альманаха (который я вынужден был изъять из книжной лавки) и множество часто обременительных, но необходимых писем к Энге-

¹ До сего времени (лат.).

лю, Бюрде, в Эрфурт, Данию, Штутгарт, Тюбинген, к Архенгольцу, Шлегелю, Лангбейну и др. Судите теперь сами, оставалось ли у меня время для нашей переписки, в которую я так охотно вкладываю всю душу. Здоровье мое, однако, вполне сносно, и этой зимой я чувствую себя несравненно лучше, нежели летом.

Первую часть рецензии на «Оры» вы, надо полагать, уже читали. В ней много достойного и продуманного, и вопрос о подыскании нового критика, конечно, уже больше перед нами не стоит, но все же я удовлетворен ею не целиком, как, можно думать, не будете удовлетворены ею и вы. Однако Шлегеля очень торопили, и меня поразило, как много он успел за то короткое время, которое у него еще оставалось. С его критикой, касающейся стихосложения, вы также будете не совсем согласны. Хотя у Гете тоже много возражений, особенно против тех мест, где Шлегель порицает его стихи, однако в общем он очень удовлетворен рецензией, и у него сложилось хорошее мнение о Шлегеле.

Шютц с некоторого времени как будто снова возымел глубочайшее уважение к «Орам»; возможно, он впервые из рецензии Шлегеля узнал, что это за штука — стихи. Он снова говорит о моих философских статьях, хотя статью «О наивной поэзии» приписал не мне, другую статью, может быть, тоже; поэтому он изрядно напуган, ибо все время наталкивается на мое имя в указателе.

Только что получил ваше письмо от 5-го. Меня очень печалит недомогание милой Ли и то, что вы также еще не совсем здоровы. При таких обстоятельствах лучше всего вам оставаться в Берлине, и я советую вам никуда не уезжать в ближайшее время. Меня утешает только то, что мы оба одновременно ведем рассеянный образ жизни, в противном случае тот, кто остался одиноким, мог бы почувствовать себя покинутым.

Судя по тому, что вы пишете мне о работе Шлегеля, я склонен заключить, что скорее должен ждать простого подтверждения моих мыслей по этому вопросу, нежели развития их или опровержения. Повидимому, Шлегель больше останавливается на грубом, бросающемся в глаза феномене, не проникая вглубь. Это под-

тверждается его мнением о Шекспире, ибо первое — а для многих единственное, — что бросается в глаза, это *особенность изложения* у Шекспира. Мне, памятуя-щему о следующих статьях, отнюдь не неприятно слышать, что статья «О наивной поэзии», кажется, пользуется успехом. Для меня будет уже выигрышем, если читатель возьмется за «Сентиментальных поэтов» с доверием. Заинтересует тогда и третья статья. Определив оба пути — путь «наивной» и путь «сентиментальной» поэзии — и указав, что они исходят из единой идеи, затем рассмотрев два основных принципа и обрисовав их, один как принцип плоскости, спокойной, ясной простоты, другой как принцип форсирования перенапряжения (один из них является тем, чем поэзия по отношению к *отдыху*, другой тем, чем она является по отношению к *облагораживанию*), я извлекаю из обоих поэтических характеров все, что в них есть *от поэзии*, и получаю таким образом два совершенно противоположных друг другу *человеческих характера*, которым даю название *реализма* и *идеализма*; они полностью соответствуют вышеупомянутым поэтическим видам и представляют собой их прозаические подобию. Я обстоятельно прослеживаю их антагонизм как в теории, так и на практике, показываю в обоих и то, что в них есть действительного, и то, что в них есть несовершенного. После этого я перехожу к карикатурным проявлениям в обоих видах, то есть к грубому эмпиризму и к фантазерству, и на этом заканчиваю статью. Таким образом в ней для каждого характера установлено три ступени и показано, что расхождение между обоими тем больше, чем на более низкой ступени они стоят.

Дух «наивной» поэзии. Дух «сентиментальной поэзии». Оба они сходятся в том, что создают из человека нечто цельное, хотя и совсем несхожими путями.

Реализм.

Идеализм.

Оба сходны в том, что придерживаются целого и действуют, исходя из абсолютной необходимости; поэтому результаты их действий могут оказаться совершенно одинаковыми.

Эмпиризм.

Фантазерство.

Оба сходятся лишь в беззаконности, которая у эм-

призма выражается в следовании за *слепой необходимостью природы*, у фантазерства — в *слепом произволе*.

Я надеюсь, что эти грубо намеченные здесь мысли вы найдете потом тщательно обработанными. Так как сам я идеалист, то мне пришлось быть особенно объективным, но я убежден, что в этом вопросе мне не свойственны никакие человеческие слабости. Гете, закоренелый реалист, следил за ходом моих рассуждений и также понял меня.

Теперь, за исключением, быть может, примечаний к г-же Сталь, я на время прекращаю все свои труды в философской и теоретической области и с легким сердцем спешу навстречу своей Музе моим путем.

От Михаэлиса я ничего не получил также и с сегодняшней почтой, хотя Альманах продается здесь во всех книжных лавках. Я изымаю экземпляры и вычитаю их стоимость из книжного счета, который я, по счастью, еще не оплатил ему. Ничего другого я придумать не могу, ибо нельзя же объяснить публике, как пренебрегает мной этот жалкий человек.

Сделайте милость, дорогой друг, упакуйте прилагаемое письмо вместе с хорошим экземпляром календаря и по указанному адресу перешлите его оплаченным Козегартену. Если берлинский Мейер не получил еще Альманаха от Михаэлиса, то будьте добры дать ему хороший экземпляр за мой счет.

Вместе с письмом посылаю вам карманный календарь — записную книжку, которую Зейдлер только сейчас удосужился прислать мне. Тысяча сердечных приветов от нас вам и славной Ли, которой я от души желаю полного выздоровления. Ваш

Ш.

11 января.

Если вы можете, не причиняя себе затруднений, в течение 6—8 недель обойтись без 24 луддоров, то прошу вас, мой милый друг, передайте эту сумму Фридендеру для Энгеля, которому как будто они нужны. Если же такая выплата вас стеснит, то сообщите мне об этом в двух словах с ближайшей же почтой.

22 января 1796 г.

Вот вам маленькая порция эпиграмм. Что не поправится — не отдавайте в переписку вовсе. Эти коротенькие шутки даются, однако, отнюдь не так легко, как можно было бы думать, ибо, в отличие от вещей более длинных, в них невозможна никакая *suite*¹ мыслей и чувств. У них не отнять их первоначального права на звание *удачных острог*. Поэтому я сомневаюсь, чтобы при моем досуге мне удалось так опередить вас, как вы полагаете, ибо тянуть это все же невозможно, — мне следует приняться за произведения более крупные, а эпиграммы предоставить мгновенному вдохновению. И все-таки пусть каждая почта что-нибудь да приносит, тогда за 4—5 месяцев мы далеко продвинемся.

До меня все время доходят вести, что ваши эпиграммы в Альманахе пользуются большим успехом, и при этом у людей, чьего одобрения стыдиться не приходится. Мне весьма отрадно слышать, что Альманах пользуется в Веймаре не меньшим успехом, чем эмигранты и «Собачья почта».

Могу ли я обременить вас маленьким поручением? Мне нужно было бы 63 локтя обоев красивого зеленого цвета и 62 локтя бордюра, в выборе которого я целиком полагаюсь на ваш вкус и вашу теорию цветов. Не будете ли вы так добры поручить это г-ну Гернингу и распорядиться, чтоб я мог получить их дней через 6—8?

Будьте здоровы. Жена моя кланяется.

III.

31 января 1796 г.

Поздравляю вас с желанным исходом празднества, которое, надо думать, было очень мило и приятно. Особенно понравились мне блуждающие огоньки.

Разумеется, вы привезете с собой сюда письма Мейера. С нетерпением жду времени, когда все это посте-

¹ Последовательность (фр.).

пенно станет ему ясным и отстоитя в нем. Так как об аллегориях на темы Канта упоминается только в письме к герцогине, я полагаю, что это шутка: не мог он не сообщить вам чего-нибудь более определенного о такой великолепной новости.

Можете не сомневаться как в том, что Рейгардт редактирует журнал «Германия», так и в том, что он (или рецензент, а для нас это здесь все едино) слишком много позволяет себе по отношению к «Беседам», хотя по другим поводам он в той же рецензии рассыпается перед вами в похвалах. Безмерно ничтожная статейка! Судя по рецензии, которую я прочел там же, книгу Гейнзе сильно бранят, что весьма раздосадовало меня, ибо не стоило тратить такого заряда на эту глупую стряпню.

Что до наших «Ксений», то у меня за это время возникли новые мысли, не совсем, однако, еще созревшие. Думаю все же, что если вы приедете сюда примерно к концу недели, то у меня будет готово для вас больше ста. Нам следует высмеивать наших приятелей во всех мыслимых формах и во имя самой поэзии сохранять разнообразие, придерживаясь, однако, строго установленных нами для себя рамок двустипшия. На этих днях я взялся за Гомера и в рассказе о суде, творимом над женихами, обнаружил превосходный источник для пародий, которые частью уже написал, равно как и в некромантии — повод для того, чтобы терзать мертвых, а подчас и живых. Представьте себе появление Ньютона в преисподней! Мы и здесь должны сблизить наши работы.

В качестве заключения, я полагаю, мы дадим еще комедию в эпиграммах. Что вы об этом скажете?

Жена сердечно вам кланяется. Только приезжайте поскорей.

Ш.

169. ВИЛЬГЕЛЬМУ ШЛЕГЕЛЮ

Иена, 11 марта 1796 г.

Ваша статья о Шекспире и прекрасный перевод этого поэта приятно поразили меня. Я не буду сейчас больше писать об этом, ибо сегодня день рассылки

«Ор» и мысли мои заняты огромным количеством писем, которые нужно отправить. Я несколько превысил свои права на ваш перевод и послал печатать в «Оры» среднюю сцену (пойдут и две другие, если для них хватит места). Так как я заключил из вашего письма, что вы не печатаете ваш перевод в «Орах» только из-за существовавшего у вас ранее намерения распорядиться им иначе, то я без колебаний решил обогатить третий номер «Ор» этим интересным произведением. И поскольку это лишь ничтожная часть трагедии, то, как только захотите, вы сможете напечатать ее целиком. Предпосланный в «Орах» опыт нового лучшего перевода Шекспира будет полезен и для вашей статьи, ибо всегда кстати, когда дело предшествует рассуждению, и читатель с тем большим нетерпением возьмется за статью, что опыт этот еще свеж в его памяти.

О том, чтобы предпринять перевод всех произведений Шекспира, нам лучше всего было бы переговорить лично. Мысль превосходна, и само небо послало ее вам, чтобы вы избавили нас от ничтожного Эшенбурга. К последнему отнеслись вы снисходительней, чем он того заслужил, присвоив себе, всем на смех, звание критика и знатока эстетики. Следовало бы еще не так угостить этих сверхфилистеров, воображающих себя людьми. Если бы это зависело от них и от их пустых голов, они до основания разрушили бы и уничтожили все гениальное.

Слишком великодушно, по-моему, обошлись вы и с бюргеровским «Макбетом» и его переводом песен ведьм! Я считаю последний истинно бюргеровской дрянью, такой же гнусной, как всякая прочая бюргеровская дрянь, и это не только мое личное мнение. Гете, например, с которым я еще недавно говорил по этому поводу, находит его отвратительным, и так как он очень хотел поставить когда-нибудь «Макбета» в Веймаре, то уже ломал себе голову, как ему раздобыть другой перевод. Если вы не согласитесь изменить в вашей статье место, где идет речь о бюргеровском переводе песен ведьм, — а на это у вас есть еще две недели, — то я хочу исключить его из статьи. Мне это нужно потому только, что рано или поздно в этом же журнале может быть изло-

жена совершенно противоположная точка зрения, и это вызвало бы недоумение у читателей.

Сердечно радуюсь тому, что через два месяца увижу вас здесь, и тогда мы сможем совместно все обсудить вдоль и поперек. Будьте здоровы.

Весь ваш

Шиллер.

170. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Иена, 21 марта 1796 г.

Послезавтра я еду на 2 недели в Веймар, из чего ты можешь заключить, что я все-таки полагаюсь на свои силы. Разумеется, это рискованная затея, ибо если не считать того, что, воспользовавшись этими ясными днями, я дважды выезжал на прогулку, — то с самой осени я ни разу не высовывал носа на улицу. Но Гете, у которого я остановлюсь, так все устроит, что я буду чувствовать себя как дома, и так как в Веймаре мне нет нужды никуда ходить, то поездка туда и обратно лишь внесет разнообразие в мою обыденную жизнь. Потом он вернется со мной назад в Иену и будет там работать над «Мейстером» до самого вашего приезда.

Иффланд приедет в Веймар к страстной пятнице и будет играть там несколько недель. Какая жалость, что вы не можете на месяц ускорить ваш приезд, чтобы посмотреть его. Впрочем, меня лично Веймар привлекает не этим, и я навряд ли увижу игру Иффланда, ибо выходить из дому в такое время ночью я не могу.

Не знаешь ли ты, нет ли у Функа желания приехать сюда, пока здесь будете находиться и вы?

Что до моих работ, то, после длившихся с самого Нового года колебаний, я теперь, наконец, твердо решил взяться за «Валленштейна». Вот уже несколько дней как передо мной разложены мои бумаги, ибо я уже сделал немало заметок о его плане и с великой радостью и почти такой же отвагой приучаюсь к этому новому роду жизни. Старые мои навыки и искусство мало чем могут помочь мне, но я надеюсь быстро освоиться и с новыми, чтобы потом смело пуститься в путь. Насколько могу судить, я на правильной дороге, и если

мне не так скоро удастся достигнуть того, чего я от себя требую, то во всяком случае я достигну большего, чем это мне когда-либо удавалось. Огромной радостью будет для меня возможность поговорить об этом с тобой, ибо я надеюсь, что ко времени твоего приезда план мой уже значительно продвинется.

«Альманах муз» в этом году выходить не будет, но когда число наших эпиграмм достигнет тысячи, мы совместно издадим их особым томом. Подробности об этом при свидании.

Твой Ш.

171. ВИЛЬГЕЛЬМУ ФОН ГУМБОЛЬДТУ

Иена, 21 марта 1796 г.

Мое последнее письмо уже известило вас, мой милый друг, что не о стансах или о чем-либо эпическом следует мне сейчас думать. Таким образом, я никак не могу использовать для себя ваши замечания о подлинно правильном употреблении рифмованных размеров, хотя в целом согласен с вашими мыслями. Только думается мне, что вы слишком часто выводите из внутренней сущности то, что является лишь случайностью. Так, я полагаю, что рифма обязана своим происхождением языку, в котором много слов с одинаковыми окончаниями, и что породило ее частью это обстоятельство, а частью удобство для запоминания. О происхождении ее говорит как раз то, что она уживается с «наивной» поэзией; потому что, хотя итальянские поэты, миннезингеры, трубадуры и пр. по достоинству не могут сравниться с древними, они все же больше примыкают к «наивной», чем к «сентиментальной» поэзии. Далее, нельзя отрицать, что в легком и шутливом роде поэзии рифма сочетается с большим простодушием поэтического чувства. Приведу здесь лишь басни Лафонтена. Я думаю, что старые размеры, например гекзаметр, потому так подходят к «наивной» поэзии, что поступь у них *серьезна* и положительна и что они не забавляются своей темой. Но серьезность эта придает изложению, например в «Лисе», видимость большего правдоподобия, а это и есть первое требование наивного тона,

ибо рассказчик там не разыгрывает из себя шутника и всяческие остроты исключаются. К тому же, по моему мнению, гекзаметр еще потому кажется нам столь соответствующим подобным стихам, что он напоминает нам Гомера и древних.

Впрочем, вполне согласен с вами, что рифма больше связывается с искусством и что нерифмованные размеры гораздо ближе к действительности; но я полагаю, что эта связь с искусством — если только она не следствие *искусственности* или, хуже того, *педантичности* — заключает в себе Красоту и легко сочетается с высшими ступенями поэтического Прекрасного (к которым относятся и «наивная» и «сентиментальная» поэзия). Подтверждением этого моего положения могут служить те места в новых (рифмованных) стихах, которые считаются особенно прекрасными: в этих местах мы наслаждаемся искусством как высшей действительностью, а действительностью — как плодом высшего искусства: ибо наше наслаждение лишь тогда достигает высшего предела, когда мы ощущаем присутствие обоих.

Такова шаловливость рифм, что они всегда напоминают о поэте, точно так же как математически строгий порядок в свободной природе, аллея, например, напоминает о руке человека. Но мне думается, что даже это — если только все остальное есть чисто объективная действительность — не противоречит высшему эстетическому воздействию.

Но дайте мне и здесь расстаться с рифмами, как простился я с ними — во всяком случае временно — на деле, разве что решусь по примеру Шекспира подмешать рифмованные сцены в свою трагедию, хотя пока на это не похоже. Я сейчас действительно и серьезно взялся за «Валленштейна» и последние пять дней употребил на то, что пересмотрел мысли, набросанные по этому поводу в различные периоды. Находка, разумеется, невелика, но и не так уж незначительна, и я все-таки вижу в том, что было мной прежде продумано, ростки более высокой и подлинной драматичности, чем все, что я до сих пор мог создать. Вообще, по моему мнению, я на очень правильном пути, и мне только надо следовать ему, чтобы создать нечто достой-

ное; это уже много, и во всяком случае куда больше того, чем я до сих пор мог похвалиться в этой области.

Прежде вся тяжесть ложилась у меня на многообразие единичного, теперь все будет решать целостность, и как некогда прилагал я много искусства, чтобы показать и выдвинуть единичное, так теперь постараюсь приложить его, чтобы скрыть это богатство. И если бы я даже захотел поступить иначе, то мне не позволила бы сделать это природа самой вещи, ибо Валленштейн — это такой характер, который как истинно реалистический может быть интересным лишь в целом, а не в частностях.

По этому поводу я набрел на поразительное доказательство своих идей о реализме и идеализме, которое одновременно сможет успешно помочь мне в моей поэтической композиции. Все, что я говорил в последней статье о реализме, в высшей степени верно для Валленштейна. В нем нет никакого благородства, ни в одном житейском поступке он не проявляет величия; в нем мало достоинства, и все же я надеюсь, следуя по чисто реалистическому пути, создать характер драматически сильный и заключающий в себе подлинно жизненный принцип. Прежде я старался, например в Позе и Карлосе, заменить недостающую правду прекрасным идеалом, теперь в Валленштейне я хочу за отсутствующий идеал (сентиментальный) вознаградить голой правдой.

Задача будет тем труднее и, следовательно, тем интереснее, что подлинному реализму нужен успех, в котором идеалистический характер не нуждается. Но успех, к несчастью, против Валленштейна, и требуется искусство, чтобы поддержать последнего на должной высоте. Дело его морально низко, а физически оно терпит крушение. Он не велик в частностях, в целом же идет к своей цели. Он всего ждет от действия, а оно ему не удастся. Он не может, как сделал бы идеалист, замкнуться в себе и вознестись над материей, напротив, он желает подчинить себе материю и не достигает этого. Видите, какие тонкие и запутанные задачи нужно мне разрешить, но меня это не пугает. Я ухватился за дело с такой стороны, с какой можно им овладеть.

Я не сомневаюсь, что вы с некоторой опаской будете

смотреть, как я иду по этому новому и, сравнительно с накопленным мною опытом, неведомому мне пути. Но не слишком бойтесь за меня. Поразительно, как много реалистического приходит с годами, как много развилось во мне от постоянного общения с Гете и от работы над древними, за которых я смог взяться впервые после «Дон Карлоса». Нет сомнений, конечно, что этот путь, на который я теперь вступил, приведет меня в области, завоеванные Гете, и что мне придется выдержать сравнение с ним, ясно также, что сравнение это будет не в мою пользу. Но так как все же у меня остается нечто мое собственное, для него недостижимое, то его преимущества не нанесут ущерба ни мне, ни моему произведению, и я надеюсь, счет наш хотя бы отчасти сравняется. В мои самые бодрые минуты я говорю себе, что нас по-разному оценят, но творчество наше не подчинят одно другому, а лишь сопоставят с точки зрения высшего родового понятия.

Но довольно этих рассуждений. Вы скажете, что решить тут может лишь само произведение, и это будет теперь важнейшим моим делом. До вашего приезда в Иену, который, надеюсь, состоится в августе, ничего настоящего сделанного у меня еще не будет, но план, я рассчитываю, будет уже почти закончен, а тогда начнется и собственно *поэтическая* работа.

Если здоровье мое позволит, то послезавтра я поеду, дорогой друг, на полторы-две недели в Веймар. Я обещал Гете на время пребывания там Иффланда, который приезжает в страстную пятницу, составить ему компанию, чтобы он мог подобрать общество для Иффланда. Гете отнюдь не желает много возиться с Иффландом, но вы сами знаете, какие усилия надо приложить, чтобы создать в Веймаре круг знакомых. Теперь часть хлопот по созданию такого круга будет опираться на мое имя, а когда мы с Гете окажемся вместе, эта вся история превратится для нас в комедию. Окажите милость, дорогой друг, и следующее ваше письмо адресуйте в Веймар.

Сердечные поклоны от нас Ли. Пусть, наконец, ее здоровье снова улучшится. Ваш

Ш.

172. ХРИСТОФИНЕ РЕЙНВАЛЬД

Иена, 25 апреля 1796 г.

Ты, должно быть, уже знаешь, милая сестра, что Луиза тяжело больна и что наша бедная дорогая мать лишена всякой опоры. Если станет хуже Луизе или еще тяжелее расхворается дорогой отец, то бедная мама будет совсем одинока. Нет слов для выражения скорби. Если для тебя это возможно, если хватит у тебя сил, то съезди все же к ним. Я с радостью оплачу тебе это путешествие. Пусть Рейнвальд сопровождает тебя, а если он не пожелает — пусть приезжает ко мне, и я буду по-братски заботиться о нем.

Подумай, милая сестра, ведь родители в такой крайности имеют все законные права на помощь детей. Боже, если бы я был сейчас здоров, хотя бы настолько здоров, как три года тому назад во время поездки к ним, я безотлагательно поспешил бы туда. Но я почти целый год не выходил из дому и так ослабел, что либо не выдержу путешествия, либо приеду к дорогим родителям совсем больным. Увы, я могу помочь им только деньгами, и один бог знает, с какой радостью я это делаю.

Вспомни, что милая мама, которая до сих пор держалась с такой достойной удивления стойкостью, может, наконец, не выдержать бремени стольких несчастий. Я знаю твое любящее дочернее сердце, я знаю справедливость и честность моего зятя. Оба вы лучше меня поймете, что необходимо при таких обстоятельствах.

Твой верный брат

Шиллер.

173. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Иена, 23 мая 1796 г.

Позволь мне еще раз от всего сердца поблагодарить тебя за чудесное время, проведенное нами вместе. Оно прошло для меня как сон, но счастливые его следствия неизгладимы для меня. Я имел сейчас случай сопоставить не только нас с тобой, но и все вообще, что к нам относится, и спокойная гармония, царящая между нами, наполняет меня счастливыми упованиями и бод-

рой верой в осуществление наших будущих планов. Мы с женой были душевно близки с вами, и этого с меня довольно, чтобы наметить себе, как должен я устраивать будущее, в той мере, в какой это от меня зависит.

Здоровье мое со времени вашего отъезда не ухудшилось, более того, воспользовавшись хорошей погодой, я совершил вчера прогулку и чувствовал себя после этого хорошо. Жена моя, правда, не больна, но беременность все же изнуряет ее. Только бы все хорошо кончилось. С некоторого времени я очень несчастлив из-за своих родных, и мне нелегко бывало скрыть это от вас. Моя младшая сестра, девушка, подававшая большие надежды, одаренная, к тому же прекрасная собой, скончалась два месяца тому назад на 21 году жизни, моя вторая сестра при смерти, отца приковала к постели подагра, а мать — самая слабая из семьи, семь-восемь лет тому назад перенесшая жестокую и продолжительную болезнь и оставшаяся в живых лишь благодаря удивительному перелому в ходе этой болезни, — одна несет в эти последние месяцы бремя семейных несчастий. Мои родители живут в двух часах езды от Штутгарта, и никто, кроме врачей, не соглашается поехать туда из боязни заразиться, ибо в «Солитюд» — главная императорская больница. Я дал возможность сестре, живущей с мужем в Мейнингене, поехать туда, чтобы присмотреть за нашими. Но если бы из этого ничего не вышло, ибо сестра и сама не совсем здорова, то было уже решено, что в середине мая я сам поеду туда вызволять семью из «Солитюд» и устроить ее. Мейнингенская сестра пишет мне сейчас, что мать чувствует себя хорошо, что есть надежда на выздоровление сестры и что отец вне всякой опасности.

После вашего отъезда я довольно редко встречался с Гете. Он один раз ездил в Веймар, а когда он здесь, то совершает большие прогулки по окрестностям. За «Геро и Леандра» он еще не брался, но недавно прочел нам нечто иное, весьма забавное; я пришлю вам эту вещь, как только ее для меня перепишут. Я прочел в рукописи седьмую книгу «Мейстера» и теперь уразумел, как может и должен Гете кончить восьмую. Что касается внутреннего существа и самого духа романа, то

все уже становится ясным в этой книге, не менее прекрасной, чем предыдущие. Я ничего не пишу тебе о ней, чтобы не нарушить неожиданности впечатления.

Гете, как и мы все, сердечно кланяется вам. Вот Фоссиус; если сможешь, отошли мне его через несколько недель обратно. Другие книги надеюсь прислать в скором времени, подсчет еще не сделан.

Твой Ш.

174. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 18 июня 1796 г.

Фосс еще не приехал, по крайней мере я его еще не видел. Так как я очень сомневаюсь в вашем приезде, то пользуюсь удобным случаем, чтобы переслать вам это письмо.

«Идиллия» при втором чтении взволновала меня еще сильнее, чем при первом. В ней столько простоты при неизмеримой глубине чувств, что она несомненно принадлежит к прекраснейшим вашим творениям. Торопливость, которую вносят в развитие событий горящие нетерпением моряки, так ограничивает отведенное для влюбленных время и сообщает всему положению такую страстность и значительность, что действительно в этом мгновении сосредоточена целая жизнь. Трудно найти еще хотя бы один пример, когда поэту удалось бы столь изящно и счастливо сорвать со своей темы цветок поэзии. Чувства мои еще не могут оправдать того, что вы так тесно переплели все с ревностью и позволили боязни так быстро поглотить счастье, хотя привести против этого достаточно веские возражения я пока не могу. Только чувствую я, что счастливое опьянение, в котором Алексис покидает девушку и вступает на корабль, я охотно сохранил бы навсегда.

Гердеровская книга произвела на меня почти такое же впечатление, как и на вас, с той разницей, что при чтении ее, как впрочем при чтении и других его книг, я больше утратил из того, что считал своим, чем приобрел нового и реального. Там, где другие разделяют, он связывает и соединяет, при этом, не столько упорядочи-

вая, сколько разлагая сложившиеся у меня представления. Непримируемая его вражда к рифме тоже, на мой взгляд, слишком далеко заходит, а доводы, выставляемые им против нее, не кажутся мне достаточно убедительными. Пусть происхождение рифмы обыденно и непоэтично, все же всегда следует помнить о производимом ею впечатлении, а его нельзя отнять у нее никакой хулой.

В его суждениях о немецкой литературе раздосадовала меня не только холодность к достойному, но и странная терпимость к ничтожному. Ему ничего не стоит отозваться о Николаи, Эшенбурге и пр. с таким же уважением, как и о писателе значительнейшем, и он удивительным образом сваливает в одну кучу всяких Штольбергов и меня, Козегартена и скольких других!

Преклонение его перед Клейстом, Герстенбергом и Гесснером — и вообще перед всем мертвым и устаревшим — идет у него об руку с равнодушием к живому.

Вы уже познакомились с Рихтером. Очень любопытно, какое он произвел на вас впечатление. Сюда приехала Шарлотта Кальб ухаживать за г-жой фон Штейн, она рассказала, что с Иффландом почти все кончено, и вообще холодно отзывалась об этом новом *acquisition*¹ Веймарского театра. Восторги перед Иффландом остыли, кажется, еще на несколько месяцев раньше, чем мы думали.

Гумбольдт, наверно, уже сам написал вам. Он необыкновенно доволен «Идиллией». Он пишет также, что и «Челлини» нравится необычайно.

К понедельнику вы получите «Ксении». Для объединения разнородных эпиграмм нужно еще несколько новых, и в этом отношении надежды свои я возлагаю на вашего доброго гения. Гомеровские пародии пришлось мне выбросить, ибо они никак не связываются со всем остальным, и я еще плохо себе представляю, как удастся мне разместить тени умерших. Любезные и кроткие «Ксении» я охотнее всего поместил бы в конце, ибо за бурей должна следовать безоблачная погода. Я тоже довольно удачно написал несколько эпиграмм в

¹ Приобретения (фр.).

этом роде, и если каждый из нас наберет хотя бы по дюжине их, то «Ксении» закончатся весьма приятно.

Будьте счастливы. Жена сердечно кланяется вам. Здоровье ее все попрежнему.

III.

175. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 28 июня 1796 г.

Не ждите от меня сегодня никаких определенных высказываний о впечатлении, произведенном на меня восьмой книгой. Я охвачен тревогой, я охвачен радостью, томление и покой причудливо переплелись в моей душе. Из множества вынесенных мною впечатлений отчетливей других выступает в это мгновение образ Миньоны. Я не могу еще сказать, заслуживает ли то, что в этот образ вложено, вызываемого им сочувствия. Быть может, это случайность, ибо, развернув рукопись, я сразу же натолкнулся на песню, и она потрясла меня так глубоко, что освободиться от этого впечатления я уже не смог.

Примечательнее всего в общем впечатлении кажется мне то, что глубокомыслие и печаль расплываются подобно китайским тням и победу над ними одерживает легкий юмор. Отчасти я объясняю это себе мягкой и легкой манерой повествования, но думается мне также, что основание для этого можно найти в театральном и романтическом сочетании и расположении событий. Патетика напоминает о том, что это — роман, а все остальное — что это правда жизни. Жесточайшие удары, наносимые сердцу, как бы больно они в нем ни отзывались, скоро забываются, ибо их причиняет нечто необычное, а оно скорее всего другого напоминает, что все это лишь искусство. Как бы там ни было, несомненно, что глубокое в романе — это только игра, а игра — это единственное истинно глубокое, что страдание — это видимость, а покой — настоящая реальность.

Столь мудро оставленный про запас Фридрих, чьей неукротимости удастся все же к концу сбить зрелый плод с дерева и соединить то, что было друг другу предназначено, — Фридрих этот во время развязки напоми-

нает мне человека, который смехом своим пробуждает нас от тяжкого сна. Сон отлетает к другим теням, но воспоминание о нем остается, одухотворяя все окружающее, сообщая покою и веселью поэтичность и безмерную глубину. Глубина эта при безмятежной поверхности, столь вообще вам свойственная, и есть самая характерная особенность этого романа.

Но как ни сильно мое желание, все же я не позволю себе больше говорить об этом сегодня, ибо мысли мои еще незрелы. Если бы вы смогли прислать мне черновик седьмой книги, с которого сделана копия для Унгера, то для меня это было бы очень полезно, ибо тогда я мог бы охватить целое во всей его сложности. Хотя книга еще совсем свежа в моей памяти, но могло стать, какое-то мелкое звено в цепи ускользнуло из нее.

Я теперь отчетливо вижу, как прекрасно связывается восьмая книга с шестой и как много дает то, что эта последняя предвосхищает события! Я не могу представить себе теперь никакой иной последовательности в изложении. Читатель знакомится со всей семьей задолго до того, как она, собственно, появляется в романе, он словно встречает старинных знакомцев, — такой род оптического обмана производит превосходное впечатление.

Вы сумели великолепно использовать дедовскую коллекцию: она становится поистине действующим лицом и сама входит в круг живых.

Но довольно на сегодня. Надеюсь, что к субботе смогу сказать вам больше.

Вот конец «Ксений». Как видите, то, что я посылаю сегодня, еще не связано должным образом, и все мои попытки соединить разнородные эпиграммы оказались безуспешными. Быть может, вы сумеете меня выручить. Было бы очень хорошо, если бы нам удалось побогаче приукрасить эту последнюю часть.

Если вы пришлете мне новую часть «Челлини» через 3 недели, она придет как раз вовремя.

Будьте счастливы. Сердечный привет от моей жены, которая в эту минуту как раз погружена в ваш роман.

Я еще не писал вам о Гесперусе. Он оказался именно таким, каким я ожидал его найти: чуждым, словно свалившимся с луны, исполненным доброй воли и ис-

крenne желающим видеть вещи вокруг себя, но только не тем органом, которым видим мы все. Но я разговаривал с ним лишь один раз и поэтому мало что могу про него сказать.

III.

176. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 2 июля 1796 г.

Я снова, правда поверхностно, пробежал все восемь книг романа, и уже самый объем его так велик, что я едва справился за два дня. Поэтому сегодня мне, собственно, еще не следовало бы писать, ибо изумительное и неслыханное разнообразие, *скрытое* в самом точном смысле этого слова в этом произведении, подавляет меня. Признаюсь, пока еще я уловил только *связность* действия, но не *единство* этого романа, однако я ни на мгновение не сомневаюсь, что и последнее станет мне ясным, если в произведениях этого рода связность не составляет уже более половины единства!

Поскольку при таких обстоятельствах вы не можете ожидать от меня чего-либо удовлетворительного, а все же хотите что-нибудь услышать, прошу вас удовольствоваться отдельными замечаниями, которые тоже не совсем будут лишены ценности, так как отразят непосредственное впечатление. Зато я обещаю вам, что весь месяц наши беседы об этом романе не иссякнут. Достойная и истинно эстетическая оценка всего художественного произведения — большая работа. Я целиком и с радостью посвящу ей ближайшие четыре месяца. И, помимо того, я считаю замечательным счастьем для себя, что я дожил до завершения этого произведения, что это событие пришлось на период, когда я еще сохраняю свои стремления и силы, что я еще могу черпать из этого чистого источника; а те прекрасные отношения, которые существуют между нами, создают для меня своего рода религиозный долг порадовать здесь о вашем деле, как о своем, все, что есть во мне положительного, развить так, чтобы оно стало чистейшим зеркалом духа, живущего в сей оболочке, и тем самым, в высшем смысле этого слова, заслужить название вашего друга. Как живо ощутил я при этом случае, что духовное совершенство есть сила,

что и на эгоистичные души оно может воздействовать только как сила, что духовному превосходству нельзя противопоставить иной свободы, кроме свободы любви!

Не могу описать, как захватили меня красота, величие жизни, простая полнота этой вещи! В моей взволнованности пока еще больше тревоги, чем будет потом, когда я совсем совладаю с нею, а тогда она приведет к важному кризису моего духа; но эта взволнованность — отражение красоты, только красоты, тревога же лишь оттого, что рассудок не может поспеть за впечатлением. Теперь я вполне понял ваши слова о том, что именно прекрасное, истинное может растрогать вас до слез. Спокойно и глубоко, ясно и все же непостижимо, как природа, воздействует оно, таково оно перед нами, и все, даже мельчайшая деталь, являет ту прекрасную ясность, ту безмятежность, из которых все проистекло.

Но я еще не могу выразить эти впечатления и пока хочу остановиться только на восьмой книге. Как вам удалось снова так тесно сдвинуть столь широко раскинутый круг, место действий, лиц и событий? Он предстает нам как прекрасная планетная система; одно не может быть без другого, и только итальянские фигуры, как призрачные кометы, и такие же жуткие, связывают эту систему с системой отдаленной и большей. Впрочем, все эти фигуры, так же как и Марианна и Аврелия, вновь совсем уходят из системы и отделяются от нее как чуждые создания, послужив лишь для того, чтобы вызвать в ней некое поэтическое движение. Какой прекрасный замысел в том, что вы реально чудовищное, бесконечно патетическое в судьбе Миньоны и арфиста выводите из теоретической чудовищности, из ублюдочных порождений рассудка, благодаря чему все это не взваливается на чистую и здоровую природу! Только в лоне тупых суеверий могут созреть такие чудовищные судьбы, которые преследуют Миньону и арфиста. Даже Аврелию губит только ее противоестественность, смесь в ней мужского и женского начал. Лишь в том, что касается Марианны, я хотел вас упрекнуть в поэтическом своекорыстии. Я почти что готов утверждать, что она стала жертвой романа, что по своей природе она могла бы быть спасена. От этого по ней еще будут проливаться горькие

слезы хотя от остальных трех, как индивидуумов, с легкостью можно обратиться к идее целого.

Ошибочное увлечение Вильгельма Терезой превосходно задумано, мотивировано, обработано и еще лучше использовано. Многих читателей оно вначале изрядно пугает, ибо Терезе я обещаю мало доброжелателей; тем эффектнее вы вырываете Вильгельма из его смятения! Я не знаю, как еще эта фальшивая связь могла бы быть прекращена деликатнее, тоньше, благороднее. С какой охотой Ричардсоны и прочие состряпали бы из этого сцену и, выволакивая наружу деликатные чувства, сами были бы отнюдь не деликатны. Только одно небольшое сомнение возникло у меня: отважное и решительное сопротивление Терезы той партии, которая стремится отнять у нее жениха, даже при возобновившейся возможности обладать Лотарио, превосходно и вполне соответствует ее натуре; также и то, что Вильгельм глубоко негодует и в известной мере удручен глумлением людей и судьбы, я нахожу весьма обоснованным. Но только, думается, он должен был бы меньше оплакивать утрату счастья, которое уже переставало быть для него таковым. Вблизи Наталии, мне кажется, его вновь обретенная свобода должна была явиться ему более высоким благом, нежели он это высказывает. Я хорошо чувствую сложность его душевного состояния и чего требовала от автора деликатность, но, с другой стороны, насколько нарушена деликатность в отношении Наталии тем, что он еще способен сетовать перед ней на утрату такой женщины, как Тереза!

Что особенно восхищает меня в сплетении событий — это та польза, которую вы сумели извлечь из этих ложных отношений между Вильгельмом и Терезой, чтобы ускорить достижение истинной и желанной цели — соединения Наталии и Вильгельма. Никаким другим путем это не могло бы совершиться так прекрасно и естественно, как именно избранным, который грозил от этого отдалить. Теперь только можно сказать с высшей невинностью и чистотой, что Вильгельм и Наталия предназначены друг для друга, а письма Терезы к Наталии составляют прекрасное к этому вступление. Такие находки отличаются высокой красотой, ибо

объединяют все, чего только можно желать, даже то, что кажется необъединимым; они уже включают и содержат в себе разрешение, они волнуют и снова дают покой, они подводят к цели, с виду насильственно отдаляя от нее.

Смерть Миньоны, как ни подготовлена она, действует сильно и глубоко, так глубоко, что некоторым может показаться, будто вы слишком скоро уходите от этого события. При первом чтении я это очень ярко ощутил; при втором, когда больше не было неожиданности, я чувствовал это меньше, но все же боюсь, что вы здесь зашли чуть дальше, чем следовало. Миньона как раз перед этой катастрофой начала казаться женственнее, мягче и благодаря этому больше заинтересовывать сама по себе. То чуждое, что отталкивало в этой натуре, ослабло, а вместе с ослаблением силы несколько сгладилась та необузданность, которая отпугивала от нее. В особенности последняя песня способна глубоко растрогать сердце. Поэтому кажется странным то, что сразу же после потрясающей сцены, ее смерти врач строит расчеты на ее труп и может так скоро забыть живое существо, личность, рассматривая это тело лишь как орудие для тонкого эксперимента. Останавливает на себе внимание и то, что Вильгельм, который является причиной ее смерти и знает это, в такой миг способен заметить сумку с инструментами и погрузиться в воспоминания о сценах прошлого, когда он должен был бы находиться весь во власти настоящего.

Если вы и в этом случае не погрешили против природы, то я все же сомневаюсь, удержите ли вы свою позицию против «сентиментальных» требований читателей, и поэтому мне хотелось посоветовать вам, — для того чтобы ничем не умалять успеха у читателя так великолепно подготовленной и проведенной сцены, — немного уступить ему в этом!

В остальном же все, что вы делаете с Миньоной, живой и мертвой, я нахожу исключительно прекрасным. Особенно хорошо подходит это чистое и прекрасное существо к таким поэтичным похоронам. Своей особняком стоящей фигурой, своим таинственным существованием, своей чистотой и невинностью она чудесно воплощает ту возрастную ступень, к которой принадлежит, и она мо-

жет вызвать в душе чистейшую скорбь, истинно человеческую печаль, ибо она была преисполнена человечности. То, что в ком-либо другом было бы неуместным и даже возмущающим, здесь возвышенно и благородно.

Мне хотелось бы, чтобы появление маркиза в семье было мотивировано еще чем-нибудь, кроме его пристрастия к искусству. Он совершенно необходим для развития событий, и сюжетная необходимость его вмешательства могла бы больше броситься в глаза, чем внутренняя. Искусным построением всего остального вы сами избаловали читателя и дали ему право на более строгие требования, чем те, какие обычно можно предъявлять к романам. Разве нельзя было сделать из этого маркиза старого знакомого Лотарио или дяди и его приезд основательнее вплести в общую ткань?

Катастрофа, равно как и вся история арфиста, возбуждает величайший интерес. О том, как восхищает меня то, что эти чудовищные судьбы берут у вас свое начало в благочестивом ханжестве, я уже выше упоминал. Внезапная выдумка духовника, раздувшего ничтожную вину в нечто огромное, чтобы тем заставить замалчивать тяжкое преступление, о котором он из человеческих чувств умалчивает, восхитительна в своем роде и служит достойным образчиком всего этого способа мышления. Может быть, вы захотите чуточку сократить историю Сперата, так как она приходится на окончание романа, когда читатель более нетерпелив, торопясь к развязке.

То, что арфист — отец Миньоны и что вы сами прямо этого не говорите, не навязываете этого читателю, приводит к тем большему эффекту. Читатель сам додумывается до этого, вспоминает, в какой близости жили эти два таинственных существа, и заглядывает в зияющую бездну рока.

Однако на сегодня довольно. Жена прилагает еще письмо и высказывает вам, какие чувства пробудила в ней восьмая книга.

Будьте здоровы, мой любимый, мой почитаемый друг! Какое волнение охватывает меня, когда я подумаю о том, как мы обычно ищем в седой дали взысканной судьбою древности — и с трудом там находим — то, что

в вас я имею так близко! Не удивляйтесь больше, если вы встречаете столь мало людей, способных и достойных понять вас. Изумительная естественность, правдивость и легкость ваших повествований отгоняют от толпы обычных ценителей всякую мысль о трудности, о величии искусства, а тех, кто в состоянии следовать за художником, кто присматривается к средствам его воздействия, сила гения, которую они здесь видят в ее размахе, подавляет и уничтожает, она так стесняет их слабенькое «я», что они всячески отталкивают от себя впечатление, но в душе, хотя и de mauvaise grâse¹ наверное, превозносят вас больше, чем все другие!

Ш.

177. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 3 июля 1796 г.

Теперь я основательно взвесил, во всей связи с остальным текстом, поведение Вильгельма при утрате Терезы и беру обратно все свои прежние сомнения. Как написано, так и должно быть. Вы проявили в этом высшую деликатность, нимало не погрешив против правдивости чувства.

Нужно удивляться, как прекрасно и верно нюансированы три характера: *канониссы*, *Наталии* и *Терезы*. Первые две — святые, вторая и третья — правдиво изображенные и человеческие натуры; но Наталия, именно в силу того, что она одновременно святая и человеческая, представляется нам ангелом, тогда как канонисса только святая, а Тереза вполне земная. Наталия и Тереза — обе реалистки; но в Терезе сказывается и ограниченность реализма, а в Наталии — только его содержание. Я хотел бы, чтобы канонисса не отнимала у нее эпитета «прекрасной души», ибо, собственно, только Наталия чисто эстетическая натура. Как чудесно, что она совсем не знает любви как аффекта, как чего-то исключительного и особенного, ибо любовь — ее натура, ее постоянный характер. Канонисса тоже, можно сказать, не знает любви, но — по бесконечно отличной причине.

¹ Неохотно (фр.).

Если я вас правильно понял, вы преднамеренно заставляете Наталию перейти в зал Прошлого непосредственно после разговора о любви и о незнакомстве ее с этой страстью. Как раз то настроение, которое вызывает этот зал, возносит человека над всякой страстью, спокойствие красоты овладевает душой, и это дает нам наилучшее представление о свободной от любви и все же столь любвеобильной натуре Наталии.

Этот зал Прошлого великолепным образом сочетает эстетический мир, царство теней в идеальном смысле, с живым и подлинным миром, и вообще вы так использовали произведения искусства, что они превосходно связаны с целым. Это такой радостный, свободный шаг наружу из связанной, тесной современности, и все же он всегда так хорошо приводит обратно к ней! Также и переход от среднего саркофага к Миньоне и к подлинной истории производит величайшее впечатление. Надпись: «Помни о том, чтобы жить!» — превосходна и становится еще лучше оттого, что напоминает проклятое *emento mori*¹ и тем самым великолепно торжествует над ним.

Дядя с его странными идиосинкразиями к известным явлениям природы очень интересен. Именно подобные натуры отличаются так ярко выраженной индивидуальностью и такой сильной восприимчивостью, какими должен обладать этот человек, чтобы быть тем, что он есть. Его замечания о том, что язык музыки должен быть совершенно чистым, вполне справедливы. Нельзя не заметить, что в этот характер вы вложили больше всего от собственной натуры.

Лотарио среди всех главных персонажей выделяется меньше всего, но по вполне объективным причинам. Такой характер в той среде, через которую действует автор, никогда не может полностью проявить себя. Никакое отдельное действие или речь не показывают его; нужно его видеть, нужно его самого слышать, нужно жить с ним. Поэтому достаточно того, что все, кто живет с ним, так едины в доверии и уважении к нему, что его любят все женщины, которые ведь всегда судят по об-

¹ Помни о смерти (лат.).

щему впечатлению, и что автор обращает наше внимание на источники его образованности. В этом характере воображению читателя предоставляется гораздо больше, чем в других, и с полнейшим правом; ибо он эстетичен, значит он должен воссоздаваться самим читателем, но не произвольно, а по законам, которые вы и указали достаточно определенно. Лишь из-за его приближения к идеалу эта определенность черт не достигнет резкости.

Ярно до конца остается верен себе, и выбор им Лидии увенчивает его характер. Как искусно умели вы пристроить своих женщин! Такие характеры, как Вильгельм, как Лотарио, могут быть счастливы только в соединении с гармонирующим с ними существом; такому же человеку, как Ярно, нужна контрастирующая с ним натура; ему всегда нужно что-то делать, о чем-то думать, что-то сравнивать!

Почтенной графине при сведении поэтических счетов приходится неважно; но и здесь вы действовали в полном соответствии с природой. Такой характер не может быть поставлен в зависимость от самого себя; для него не существует такого развития событий, которое могло бы обеспечить ему покой и хорошее самочувствие; он всегда остается во власти обстоятельств, и поэтому своего рода отрицательное состояние — единственное, что для него можно придумать. Наблюдателю от этого, правда, мало радости, но так оно есть, и художник высказывает здесь лишь закон природы. По поводу графини я должен заметить, что ее появление в восьмой книге мне кажется недостаточно мотивированным. Это появление вплетается в ход событий, но не подготовлено им.

Граф превосходно выдерживает свой характер, и я должен похвалить еще то, что по вашей воле он из-за своих столь целесообразных мероприятий в доме становится виновником несчастья с арфистом. При всей их любви к порядку такие педанты должны вносить только беспорядок.

Озорство маленького Феликса, пьющего из бутылки, озорство, вызывающее такие важные последствия, принадлежит к самым счастливым идеям плана. В романе много подобных деталей, которые все очень удачно при-

думаны. Таким простым и естественным способом вы сплетаете безразличное со значительным и обратно и тем самым сливаете необходимость со случайностью.

Весьма порадовался я печальному превращению Вернера. Такой филистер некоторое время еще мог держаться на высоте благодаря своей юности и общению с Вильгельмом; как только эти два ангела покидают его, он предается, как это и должно быть, материальному и в конце концов сам дивится тому, как далеко он отстал от своего друга. Эта фигура еще потому так полезна для целого, что она объясняет и облагораживает реализм, к которому вы возвращаете героя романа. Теперь он обретается в прекрасной человеческой среде, равно далек от *фантазирования* и *филистерства*, и в то время как после блуждания в мечтах вы столь удачно его излечиваете, так же настойчиво вы предостерегаете и от участи филистера.

Вернер напоминает мне о важной хронологической ошибке, которую я, кажется, заметил в романе. Несомненно вы не считали, что Миньона должна умереть двадцати одного года и что Феликсу в это время должно быть десять или одиннадцать лет. Также и белокурому Фридриху при его последнем появлении едва ли должно быть за двадцать лет и т. д. Тем не менее это на самом деле так, ибо от ангажемента Вильгельма у Серло до его возвращения в замок Лотарио протекло не меньше шести лет. У Вернера, который в пятой книге еще не был женат, в начале восьмой уже несколько детишек, которые пишут и считают, изображают купцов и старьевщиков, и каждому из них он уже устроил свое «дело». Поэтому первого ребенка я представляю себе в возрасте от пяти до шести лет, второго — в возрасте от четырех до пяти. А поскольку Вернер не мог венчаться сразу после смерти отца и дети тоже явились не сразу, выходит, что между пятой и восьмой книгами должно было пройти от шести до семи лет.

Возвращаю письмо Гумбольдта. Он высказывает много верного об идиллии; кое-что, мне кажется, он воспринимает не совсем так, как я. Так, превосходное место:

Вечно! — молвила тихо,—

дорого мне не своей *серьезностью*, которая подразумевается сама собой, а тем, что тайна сердца сразу и полностью, в одном-единственном слове, вырывается наружу со всем тем, что она ведет за собой. Это единственное слово в этом месте заменяет целое длинное любовное повествование, и теперь мы видим обоих влюбленных в такой ситуации, будто их связь существовала уже годы.

Мелочи, которые Гумбольдт порицает, теряются в прекрасном целом; все же следовало бы несколько считаться с его замечаниями, так как его доводы нельзя просто отбросить. Два хорея в переднем полупентаметре, в самом деле, слишком тягучи, и так же обстоит дело с другими местами. Противопоставление выражений «друг *для* друга» и «друг *за* друга» кажется немного игривым, если говорить строго; а к тому, что касается вас, всегда хочется отнестись строго.

Будьте здоровы! Я написал изрядное послание. Хотелось бы, чтобы вы прочли его с таким же удовольствием, с каким я его писал!

III.

178. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 5 июля 1796 г.

Теперь, когда мне лучше виден весь роман в целом, я не могу нахвалиться тем, как удачно выбран вами характер героя, если только подобное можно выбирать. Никакой другой не годился бы так в *носители* событий, и если даже отвлечься от того, что только на таком характере могла быть поставлена и разрешена подобная проблема, то и для одного лишь *изображения* целого никакой другой не подошел бы лучше. Не только *тема* требовала его, он был нужен и *читателю*. Его склонность к рефлексии останавливает читателя на самом быстром разбеге действия и принуждает его всматриваться вперед, назад и задумываться над тем, что происходит. Герой, так сказать, вбирает в себя дух, смысл, внутреннее содержание всего, что вокруг него совершается, превращает всякое смутное чувство в понятие и мысль, высказывает все единичное в виде более общей формулы, помогает нам понять значение всего, и, осуществляя тем

самым свой характер, он одновременно наиболее совершенно осуществляет и назначение целого.

Внешнее положение и среда, из которой вы его взяли, делают его особенно подходящим для этой цели. Мир представляется ему совершенно новым, он сильно поражен им, и в своем стремлении освоиться с этим миром он и нас вводит в его недра и показывает нам, что там содержится реального для человека. В герое живет чистый и моральный образ человечества, по этому образу он проверяет каждое внешнее проявление мира людей, и в то время как, с одной стороны, опыт помогает лучше определиться его колеблющимся идеям, сама идея, это внутреннее восприятие, в свою очередь проверяет опыт. Таким путем этот характер чудесно помогает вам во всех возникающих случаях и условиях находить и собирать воедино все чисто человеческое. Его дух — верное, но отнюдь не пассивное зеркало мира, и, хотя фантазия оказывает влияние на его зрение, все же это зрение только идеализирующее, но не фантазирующее, поэтическое, но не подменяющее действительность мечтой. В основе этого лежит не произвольная игра воображения, а прекрасная нравственная свобода.

Чрезвычайно правдиво и метко его очерчивает чувство недовольства собой, когда он преподносит Терезе историю своей жизни. Его значительность — в его душевном складе, но не в его проявлениях; в его стремлениях, но не в его действиях; поэтому его жизнь, когда он хочет дать о ней отчет кому-то другому, и должна показаться ему такой бессодержательной. Зато какая-нибудь Тереза и подобные ей характеры свое достоинство всегда могут доказать как бы наличной монетой, документировать внешним объектом. Но, когда вы даете Терезе понимание и справедливое отношение к высшей натуре героя, это опять прекрасная и тонкая черта ее характера. Надо, чтобы в ее чистой душе могло отражаться и то, чего она в себе не имеет, этим вы сразу возвышаете ее над всеми ограниченными натурами, которые даже в своих представлениях не могут выйти из своего убогого «я». Наконец то, что Тереза при своем душевном складе может верить в такой чуждый ей строй представлений и чувств, что она любит и уважает душу,

на это способную,— одновременно служит прекрасным доказательством объективной реальности ее душевного склада, что должно порадовать, в этом смысле, каждого читателя.

В восьмой книге меня весьма порадовало и то, что Вильгельм начинает более уверенно чувствовать себя перед такими внушительными авторитетами, как Ярно и аббат. Это тоже доказывает, что годы его ученья более или менее позади, и Ярно при этом случае отвечает ему словами, которые были и у меня на душе: «Вы говорите с горечью, это очень хорошо и похвально; когда вы, наконец, совсем разозлитесь, будет еще лучше!» Признаюсь, что без этого доказательства чувства собственного достоинства у героя мне было бы больно видеть его так тесно связанным с этим классом, как случилось впоследствии благодаря его соединению с Наталией. При таком ясном ощущении особых достоинств дворянства, а также честном недоверии к самому себе и своему сословию, проявляемом им в столь многочисленных случаях, он кажется мне не совсем подготовленным к тому, чтобы в этом союзе сохранить полную свободу, и даже теперь, когда вы показываете его более смелым и самостоятельным, нельзя избавиться от известных опасений за него. Сможет ли он когда-нибудь отрешиться от бюргера в себе, и нет ли в этом необходимости, для того чтобы его судьба могла сложиться неограниченно прекрасно? Боюсь, что он никогда от него не отрешится! Слишком много он для этого, по-моему, размышлял. То, что он раньше с такой определенностью видел вне себя, он никогда не сможет полностью принять в себя. Аристократическая манера Лотарио и высокое, в силу положения и душевных качеств, достоинство Наталии всегда будут несколько принижать его. Когда я еще представляю его себе зятем графа, который надменность своего сословия не смягчает ничем эстетическим, а даже еще подчеркивает ее своим педантизмом, мне иной раз становится боязно за него!

А вообще очень хорошо, что при всем должном уважении к известным внешним положительным формам вы, чуть только дело касается чисто человеческих от-

ношений, отбрасываете вопросы рождения и сословия как совершенно ничтожные и притом, что и правильно, не теряя на это ни слова. Но есть одно, что я считаю явным украшением романа, но что едва ли вызовет общее одобрение. Многих может удивить, что роман, не имеющий ничего «санкюлотского» и даже во многих местах как будто выступающий за аристократию, кончается тремя женитьбами, представляющими все три — мезальянсы. Поскольку в самом ходе событий я не желал бы видеть никаких изменений, а в то же время не хотелось бы, чтобы истинный дух произведения был неправильно понят, хотя бы даже только в мелочах и случайностях, я советую вам подумать, нельзя ли ошибочное суждение предупредить двумя-тремя словами из уст Лотарио. Я говорю «из уст Лотарио», ибо он-то и есть аристократический персонаж. У читателей его класса он встретит наибольшее доверие; его мезальянс также больше всего бросается в глаза. Попутно это дало бы повод, встречающийся не так часто, показать его вполне сложившийся характер. Я не хочу сказать, что это должно произойти при том случае, к которому читатель должен это приложить. Напротив, еще лучше, если это будет сказано независимо от всякого приложения и не как норма для отдельного случая, а просто в силу природы этого человека.

Что касается Лотарио, можно было бы, правда, сказать, что незаконное и бюргерское происхождение Терезы — семейная тайна; но тем хуже, скажут иные: так ему приходится обманывать свет, чтобы обеспечить своим детям преимущества своего сословия! Вам самому виднее, заслуживают ли должного внимания эти пустячные мелочи.

На сегодня довольно! Вы теперь выслушали от меня всякую всячину и, насколько я предвижу, услышите еще. Было бы только среди этого что-либо полезное для вас!

Будьте здоровы и веселы.

III.

Если вы можете обойтись неделю без «Вьейвиля», жена просит дать его ей, и я тоже хотел бы почитать его ночью.

Будьте также добры указать мне, во что обошлись вам мои обои, и заодно присчитать сюда же два лаубталера, которые я просил вас выдать г-ну Фацциусу за печать для «Ор». Икра, которую вам послал Гумбольдт и за которую я с ним рассчитаюсь, стоит восемь рейхсталеров, что, мне кажется, дороговато для *уже съеденного* блюда!

179. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 6 июля 1796 г.

Сегодня вторую часть дня я хотел заниматься вами и «Мейстером», но у меня не было свободной минуты: из моей комнаты не выходили посетители. И теперь, когда я вам пишу, здесь находятся семьи Кальб и Штейн. Без конца говорят об идиллии, находят, что «она содержит вещи, которых еще не высказывал ни один смертный». Но, несмотря на все восхищение, Кальбы шокированы пакетиком, который несут вдогонку герою, что они считают темным пятном на этом прекрасном произведении. Оно так *богато*, а герой ведет себя как бедняк!

Вы можете себе представить, что при такой критике я словно с облаков свалился! Это было для меня так неожиданно, что я подумал, не говорят ли они о каком-либо другом произведении. Но я заверил их, что бедность такого рода меня не смущает, лишь бы было другое богатство.

Будьте здоровы! В пятницу напишу больше.

III.

180. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 8 июля 1796 г.

Раз вы можете оставить мне восьмую книгу еще на неделю, то я пока ограничу свои замечания именно этой книгой, а там, когда целое уйдет из ваших рук и начнет гулять по белому свету, мы сможем подробно побеседовать о форме этого целого, и вы окажете мне встречную услугу, исправив мой отзыв.

Мне хочется обратить ваше внимание перед окончательным завершением книги особенно на два пункта.

Этот роман, в его теперешнем виде, приближается в некоторых частях к эпосе, между прочим и в том отношении, что в нем наличествует машинерия, которая в известном смысле заменяет богов или державный фатум. Этого требовал сюжет. Ученические годы Мейстера — это не только лишь слепое действие природы, они своего рода эксперимент. Скрыто действующий высший разум, силы, исходящие из башни, внимательно сопутствуют ему и, не нарушая свободного движения природы, следуют за Мейстером и направляют его издали к цели, о которой он и не подозревает, не смеет даже подозревать. И хотя это внешнее влияние еле заметно, еле ощутимо, но оно действительно существует, и для достижения художественной цели оно было необходимо. Ученические годы — это понятие относительное, они требуют их соотношения с понятием мастерства, и лишь идея мастерства их может разъяснить и обосновать. Но последняя идея, которая может быть только делом зрелого и законченного опыта, не в состоянии сама руководить героем романа; она не может, не должна стоять перед ним как цель, как конечное стремление, потому что как только он вообразил бы себе цель, так он ее и достиг бы, следовательно, она должна как водительница стоять за ним. Благодаря этому способу целое приобретает прекрасную целесообразность, хотя герой и не имеет цели; таким образом рассудок находит удовлетворение, в то время как воображение полностью утверждает свою свободу. А то, что в этом деле вы, поставив себе такую цель, единственную во всем романе, которая действительно высказана, то, что вы сами даже в этом таинственном руководстве Вильгельмом со стороны Ярно и аббата избегаете всего тяжелого и сурового и выводите это руководство скорее из причуды, из человеческой слабости, чем из моральных источников, — это одна из глубоко присущих именно вам красот. Понятие машинерии благодаря этому снова устраняется, и в то же время действие ее остается, и все вообще остается в том, что касается формы, в границах природы, и только результат значительнее того,

какого могла бы достичь одна, предоставленная себе самой, природа.

Но все же мне хотелось бы, чтобы вы несколько яснее раскрыли перед читателем значение этой машинерии, необходимость ее связи с внутренней сущностью произведения. Он должен всегда ясно разбираться в устройстве целого, хотя это устройство должно оставаться скрытым от действующих лиц. Боюсь, что многие читатели усмотрят в этом таинственном влиянии лишь театральные трюки и ловкий литературный прием для большего запутывания интриги, для достижения неожиданных эффектов. Хотя восьмая книга дает историческое разъяснение каждого в отдельности из событий, которые происходили в силу этой машинерии, но эстетического разъяснения внутренней сущности, поэтической, художественной необходимости этих приемов она в достаточной степени не дает, и даже я сам мог убедиться в наличии эстетического разъяснения лишь при втором и третьем чтении.

Если бы я вообще захотел отыскать в этом художественном целом еще некоторые недостатки, то я указал бы на следующий: при большой и глубокой серьезности, царящей во всем, взятом в отдельности, серьезности, благодаря которой достигается такое могущественное действие, создается все же впечатление, будто фантазия слишком свободно играет с целым. Мне кажется, что в непринужденной грации движения вы, пожалуй, зашли дальше, чем это совместимо с поэтической серьезностью, что из-за справедливого отвращения ко всему тяжеловесному, методическому и лишенному эластичности вы приблизились к другой крайности. Я думаю, что вами руководила известная снисходительность к слабостям публики, когда вы следовали здесь театральным целям, осуществляя их театральными средствами в большей степени, чем это можно признать необходимым и правильным в романе.

Если какое-либо поэтическое произведение и могло бы обойтись без помощи чудесного, поражающего, так это ваш роман; и подобному произведению очень легко может стать вредным то, что ему не приносит пользы. Может произойти то, что внимание читателя будет при-

ковано по преимуществу к случайному и будет поглощено тем, чтобы разрешить загадку, тогда как оно должно сосредоточиться на внутреннем духе произведения. Я говорю, может произойти, но разве мы оба не знаем, что это уже произошло?

Следовательно, вопрос заключается в том, нельзя ли еще в восьмой книге что-нибудь противопоставить этой ошибке, раз она уже сделана. Но она относится только к изображению идеи; что же касается самой идеи, то здесь ничего больше не остается пожелать. Требуется лишь представить читателю более важным то, к чему он до сих пор относился ффривольно, и те театральные происшествия, на которые он мог смотреть лишь как на игру воображения, узаконить также перед разумом путем более отчетливо выраженного указания на связь с высшим, серьезнейшим смыслом произведения, как это и дано, только *explicite*¹, но не *implicite*². Мне кажется, что аббат мог бы отлично справиться с подобным заданием, и благодаря этому он имел бы случай больше выявить себя самого. Быть может, не лишнее было бы еще в восьмой книге упомянуть про ближайший повод, благодаря которому Вильгельм стал объектом педагогических планов аббата. В силу сказанного эти планы получили бы особое значение и личность Вильгельма выступила бы перед обществом еще значительнее.

В восьмой книге вы делаете различные намеки по поводу того, что вы подразумеваете под ученическими годами и мастерством. Идейное содержание поэтического произведения — это главное, что по преимуществу привлекает внимание публики, особенно такой, как наша, и часто оно единственно является тем, о чем впоследствии вспоминают; следовательно, очень важно, чтобы вы были в этом отношении вполне поняты. Намеки эти очень красивы, но они мне кажутся недостаточными. Вы хотели, конечно, предоставить читателю больше возможности додумываться самому, чем прямо наставлять его. Но именно потому, что вы что-то выска-

¹ Открыто (лат.).

² Скрыто (лат.).

зываете, читатель полагает, что этим вы уже все сказали, и таким образом вы ограничили свою идею сильнее, чем это произошло бы в том случае, если бы вы целиком предоставили читателю задачу отыскать ее самому.

Если бы мне пришлось сухо обозначить цель, к которой, наконец, приходит Вильгельм после долгого ряда заблуждений, то я выразился бы так: «Он переходит от бессодержательного и неопределенного идеала к определенной и деятельной жизни, но так, что сила идеализации не потерпела в нем ущерба». В романе изображены два противоположных отклонения от этого счастливого состояния, притом изображены со всевозможными нюансами и ступенями. Начиная с той несчастной экспедиции, когда Вильгельм хочет поставить пьесу, не подумав о ее содержании, и до момента, когда он выбирает себе в жены Терезу, он односторонне как бы замыкает круг человеческой деятельности; эти две экстремы являются двумя высшими противоположностями, к каким только способен такой характер, как его, и отсюда-то и должна проистекать гармония. То, что он переходит под исполненным красоты и веселья руководством природы (благодаря Феликсу) от идеального к реальному, от смутного стремления — к действию и познанию действительности, не нанося при этом ущерба тому, что было реального в этом состоянии первичного стремления; то, что он достиг определенности, не теряя прекрасного дара к определмости; то, что он учится ограничивать себя, но в этом ограничении, благодаря форме, находит путь к бесконечному, — это я считаю кризисом его жизни, концом годов его учения, и все строение произведения, как мне кажется, превосходнейшим образом сосредоточивается на этом. Прекрасное и полное естественности отношение к своему ребенку и союз с благородно-женственной Наталией служат гарантией этому духовному здоровью, и мы видим его, мы расстаемся с ним на пути, который ведет к бесконечному совершенствованию.

То, как вы трактуете понятие «ученические годы» и «мастерство», как мне кажется, ставит им более узкие границы. Вы понимаете под первым только

ошибку, которая состоит в том, что ищут вне себя то, что мыслящий человек должен выявить в самом себе; под вторым — убеждение в необходимости выявления самого себя и т. д. Но можно ли, в самом деле, всю жизнь Вильгельма, как она проходит перед нами в романе, совершенно исчерпать и обнять, следуя этому понятию? Неужели эта формула все разъясняет? И может ли он освободиться только потому, что сердце отца заговорило в нем, как это происходит в конце седьмой книги? Я высказал бы здесь следующее пожелание: а именно, чтобы отношение всех отдельных частей романа к этому философскому понятию стало еще яснее. Я готов сказать, что фабула вполне верна. И мораль, вытекающая из этой фабулы, тоже вполне верна, но отношение одной к другой недостаточно ясно бросается в глаза.

Я не знаю, достаточно ли ясно я выражался, припоминая оба эти случая. Но тут достаточно даже одного намека.

Прежде чем вы отошлете мне экземпляр «Ксений», будьте добры вычеркнуть в нем все то, что вы хотели бы выбросить, и подчеркнуть, что вы хотели бы изменить. А тогда я скорее смогу их доделать.

Если б только вы нашли время и настроение для маленьких прелестных стихотворений, которые вы хотели дать в Альманах и для уже выношенного стихотворения о Миньоне. Весь блеск Альманаха зависит от вашей лепты. Я снова живу и ношусь в области критики, чтобы яснее представить себе Мейстера, и потому ничего более не могу сделать для Альманаха. Тем более что близятся роды жены, а это событие не будет способствовать поэтическому вдохновению.

Она передает вам сердечный привет.

Всего хорошего. В воскресенье вечером надеюсь опять сказать вам кое-что.

III.

Не будете ли вы добры достать для меня из веймарской библиотеки пятый том большого сборника Муратори?

И еще маленькая просьба:

Мне очень хочется поместить в начале нового «Альманаха муз» ваш портрет. Сегодня я написал в Берлин Больту, не возьмется ли он за эту работу. Но мне хотелось бы, чтобы портрет был дан по оригиналу, а не по гравюре с него Липса, и я задаю вопрос: не решитесь ли вы одолжить для этого ваш портрет работы Мейера? Но ежели вам нежелательно отдавать его, то не позволите ли вы заказать копию, если для этого найдется сносный художник в Веймаре?

181. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 9 июля 1796 г.

Мне очень приятно слышать, что я сумел ясно изложить вам свои мысли по тем двум пунктам и что вы хотите принять сказанное мною во внимание. То, что вы называете своим «реалистическим зудом», вы совсем не должны отвергать. Это также принадлежит к вашей поэтической индивидуальности, а в границах последней вы ведь должны оставаться: вся красота произведения должна быть *вашей* красотой. Все, значит, сводится к тому, чтобы из этого субъективного своеобразия извлечь объективную пользу для произведения, что несомненно удастся, если вы только захотите. С точки зрения содержания в произведении должно быть заложено *все* нужное для его объяснения, а с точки зрения формы оно неизбежно будет в нем заложено: этого потребует внутренняя связь. Но насколько тесной или свободной должна быть эта связь, должна решать ваша сокровенная природа. Правда, читателю могло бы показаться более удобным, если бы вы сами отсчитали ему чистоганом те моменты, которые всё решают, чтобы ему оставалось только принять их в свое распоряжение; но, конечно, он будет крепче прикован к книге и чаще будет к ней возвращаться, если должен будет сам себе помогать. Если, стало быть, вы позаботились лишь о том, чтобы читатель, начав искать с доброй волей и открытыми глазами, непременно находил, то ведь этим вы еще не избавите его от исканий! Результатом такого комплекса всегда дол-

жно быть собственное свободное, но только не произвольное творчество читателя; оно должно оставаться своего рода наградой, приходящей только к достойному и ускользающей от недостойного.

Чтобы не забыть, я хочу еще высказать несколько замечаний, которые относятся к пресловутым «тайным пружинам» и которые я прошу принять во внимание: 1) читатель захочет знать, для какой цели аббат или его приспешник является в виде духа старого Гамлета; 2) двукратное упоминание о покрывале с записочкой «Беги, беги!» — и т. д. заставляет ожидать, что эта выдумка служит какой-то немаловажной цели. Зачем, — могут спросить, — Вильгельма, с одной стороны, гонят от театра, а с другой — помогают ему поставить его любимую пьесу и дебютировать. На эти два вопроса будут ждать более обстоятельного ответа, чем тот, который пока дал Ярно; 3) наверно, захотят также узнать, были ли аббат и его друзья еще до появления Вернера в замке осведомлены о том, что при покупке имения им придется иметь дело с таким близким другом и родственником. По их поведению — это как будто так, но тогда вызывает недоумение, почему они делают из этого тайну для Вильгельма; 4) желательно было бы все-таки узнать источник, из которого аббат почерпнул сведения о происхождении Терезы, в особенности потому, что несколько удивляет, как такое важное обстоятельство могло остаться для лиц, столь в этом заинтересованных и в остальном столь хорошо обслуживаемых, тайной до того момента, какой нужен автору.

Видимо, это просто случайность, что не приведена вторая половина Назидания, но умелое использование случайности в искусстве, как и в жизни, часто приносит превосходные плоды. Мне кажется, что эта вторая половина могла бы быть дана дополнительно к восьмой книге в гораздо более важном месте и с совсем иными выгодами. События к тому времени успели продвинуться вперед; сам Вильгельм значительно развился. И он и читатель гораздо лучше подготовлены к восприятию опыта жизни вообще и образа жизни. Также и зал Прошлого и более близкое знакомство с Наталией могли бы создать более благоприятное к тому настрое-

ийе. Поэтому я настойчиво советовал бы отнюдь не выбрасывать эту половину Назидания и, по возможности, более явственно или более прикрито изложить в пей философское содержание произведения. С такой публикой, как наша немецкая, и без того нужно сделать все, что в силах, для оправдания авторского замысла, а здесь еще — и для оправдания заглавия, стоящего перед книгой и ясно раскрывающего этот замысел!

К своему немалому удовлетворению я нашел в восьмой книге также две-три строки, направленные против метафизики и касающиеся потребности человека в спекулятивной философии. Но только слишком уж узко и скупо отмерена эта милостыня, которую вы подаете нищей богине, и не знаю, можно ли отделаться от нее таким скудным даром. Вы, наверное, знаете, о каком месте я здесь говорю, ибо, мне кажется, я по этим строкам вижу, что вы немало подумали, прежде чем их ввели.

Признаюсь, я считаю довольно смелым в наш рассудочный век писать роман такого содержания и столь широкого охвата, где «единственное, что нужно», потихоньку обойдено; я считаю смелым заставить такую «сентиментальную» натуру, какой ведь навсегда останется Вильгельм, заканчивать годы ученья без помощи известной достойной руководительницы. Самое скверное то, что он их действительно заканчивает, и притом самым серьезным образом, а это как раз не возбуждает положительного мнения о важности такой руководительницы!

Однако, без шуток, как могло случиться, что вы воспитали и до конца сформировали человека, не натолкнувшись на те потребности, которые может удовлетворить только философия? Я убежден, что это нужно приписать только *эстетическому направлению*, принятому вами во всем романе. В пределах эстетического умонастроения не возникает потребности в тех утешительных доводах, которые можно черпать только из спекулятивного мышления. Ибо первое самостоятельно, безгранично; лишь тогда, когда в человеке враждебно спорят чувственные и моральные устремления, он вынужден прибегать к помощи чистого разума. Здоровая и прекрасная натура, как вы сами говорите, не нуж-

дается ни в какой морали, ни в каком естественном праве, ни в какой политической метафизике. Вы вполне могли бы еще добавить, что для своего утверждения и дальнейшего существования она не нуждается ни в каком божестве, ни в каком бессмертии. Эти три пункта, вокруг которых в конечном счете вертится всякое умозрение, хотя и дают душе, расположенной к чувственному, пищу для поэтической игры, но никогда не могут превратиться в серьезные проблемы и потребности.

Единственным против этого возражением могло бы, пожалуй, быть то, что наш друг еще не обладает до конца той эстетической свободой, которая вполне предохранила бы его от возможности встречи с известными затруднениями, от потребности прибегать к известным средствам (к умозрению). Он не лишен известной склонности к философствованию, свойственной всем «сентиментальным» натурам, и, попади он когда-нибудь в область умозрения, ему при таком недостатке философского фундамента могло бы прийти трудно. Ибо только философия может обезвредить философствование; без нее человек неизбежно впадает в мистицизм. (Доказательством может служить сама канонисса. Известный недостаток эстетического элемента вызвал в ней потребность в умозрении, и она сбилась в гернгутерство, оттого что на помощь ей не пришла философия. Будь она мужчиной, вероятно она прошла бы через весь лабиринт метафизики!)

Но теперь вам предъявляется требование (вам, всегда удовлетворявшему подобные притязания) та: поставить вашего воспитанника, наделив его полной самостоятельностью, уверенностью, свободой и как бы архитектурической устойчивостью, чтобы он мог стоять вечно, не нуждаясь во внешней поддержке; иначе говоря, желательно видеть его полностью избавленным даже от потребности в философском образовании, которого он не получил. Теперь спрашивается: достаточно ли он реалист, чтобы ему никогда не понадобилось опираться на чистый разум? Если же нет,— не следует ли немного больше позаботиться о потребностях идеалиста?

Быть может, вы подумаете, что я только избрал искусственный окольный путь, чтобы все-таки загнать вас

в философию; но если, на мой взгляд, в книге чего-нибудь еще не хватает, это безусловно может быть отлично улажено и в принятой вами форме. Все мое желание сводится к тому, чтобы вы сознательно не обходили вопросы, а решали их вполне на свой лад. Вам самому чужды умозрительное знание и всякая потребность в нем; того, чем оно в вас заменено, хватит и для Мейстера. Вы уже заставили дядю высказать очень многое, и сам Мейстер несколько раз весьма удачно касается этого пункта; таким образом, не так много оставалось бы сделать! Если бы я только умел выразить в духе вашего мышления то, что в «Царстве теней» и в эстетических письмах я высказал соответственно моему способу мышления, мы могли бы очень скоро прийти к согласию.

То, что вы вкладываете в уста Вернеру насчет внешности Вильгельма, оказывает самое лучшее влияние на целое. Мне пришло в голову, не можете ли вы воспользоваться и графом, появляющимся в конце восьмой книги, для того чтобы полностью воздать должное Вильгельму. Что, если бы граф, церемониймейстер романа, своим уважительным отношением и определенным способом обращения, который мне незачем описывать вам точнее, сразу вывел его из его сословного положения, поставив в более высокое, и тем самым как бы пожаловал ему еще недостающее дворянство? Несомненно, если бы его отличил сам граф, дело было бы сделано!

Насчет поведения Вильгельма в зале Прошлого, когда он впервые вступает туда с Наталией, я должен сделать еще одно замечание. Он все еще кажется мне тут слишком прежним Вильгельмом, который в доме деда охотнее всего проводил время с большим королевичем и которого незнакомец в первой книге застал на таком неверном пути. Он и теперь еще останавливается почти исключительно на *предмете* художественных произведений и, по-моему, слишком поэтизирует по этому поводу. Не уместно ли было бы показать здесь начало счастливого перелома в нем, представить его если не как знатока, ибо это невозможно, то как более объективного созерцателя, чтобы какой-нибудь друг, вроде нашего Мейера, мог возлагать на него какие-нибудь надежды?

Ярно вы так удачно заставляете уже в седьмой книге высказать, в его сухой и жесткой манере, неожиданную истину, означающую и для героя и для читателя большой шаг вперед: я имею в виду место, где он начисто отрицает за Вильгельмом актерский талант. Мне пришло в голову, не может ли он оказать ему в отношении Терезы и Наталии подобную же услугу и с такой же пользой для целого. Ярно кажется мне подходящим человеком, чтобы сказать Вильгельму, что Тереза не может дать ему счастья, и бросить намек на то, какой женский характер ему подходит. Такие скупые и сухие слова, произнесенные в надлежащий момент, сразу снимают с читателя тяжелый гнет и действуют подобно молнии, освещающей всю сцену.

182. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 23 июля 1796 г.

В последние дни я чувствовал себя недостаточно хорошо, чтобы беседовать о чем-либо интересующем нас; воздержусь я и сегодня, ибо голова у меня не в порядке от бессонной ночи.

Политические дела, которых я всегда так избегал, теперь прямо не дают вздохнуть. Французы — в Штутгарте, куда будто бы вначале бросились имперские войска, так что противнику якобы пришлось обстреливать город. Но я не могу этому поверить, так как Штутгарт не имеет настоящих стен, и ни один здравомыслящий человек не вообразит, что может там продержаться хотя бы три часа. От моих близких я уже несколько недель не имею известий; если я кое-что знаю о них, то лишь из письма маленькой Паулюс. Когда она писала, связь между Штутгартом и Шорндорфом была затруднена, и таким образом почта оттуда тоже отрезана.

Здесь, в моем доме, пока все вполне благополучно, но только из кормления у моей жены, видимо, ничего не выйдет, так как молоко иссякло.

Недавно я узнал, что Штольберг и какие-то его гости торжественно сожгли «Мейстера», кроме шестой книги, которую он спас, как и «Райский вертоград»

Ардта, и дал особо переплести. Он самым серьезным образом считает ее поощрением гернгутерства и извлек из нее много назидательного.

На мой «Альманах муз» ходит эпиграмма Баггесена, который считает, что разделался с нашими эпиграммами. Соль в том, что «сначала перед читателем проводят идеальные фигуры, а под конец на него опорожняют венецианский ночной горшок». Такое суждение, во всяком случае, вполне достойно облитой собаки. Рекомендую вам обе эти *avis*¹ для наилучшего употребления. Будьте добры прислать мне, что у вас еще есть из «Ксений», так как теперь нужно серьезно приступить к печатанию.

Мой последний «Альманах муз» в Вене запрещен; поэтому в новом мы должны быть еще более беспощадны!

Прилагаю эпиграмму, как вы увидите, последнюю новинку из Берлина!

Будьте здоровы! Переписанная восьмая книга, наверное, опять расшевелит меня. О естественно-исторических вопросах — устно. Гердер прислал разные вещи для альманаха; в том числе некоторые с надписью:

*Facit indignatio versum
qualem cunque potest*².

Жена сердечно кланяется.

III.

183. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Вена, 28 июля 1796 г.

Вот вам «Ксении», которые прошу возможно скорее вернуть мне обратно. То, что вычеркнуто, частью отпало, частью уже напечатано или списано как отправленное в печать. Таким образом изменять что-либо в вычеркнутом либо бесцельно, либо уже поздно. Имена под отдельными стихами ничего не значат, и потому их нет.

В пользу театра я буду вербовать голоса и начну сразу же с хозяина моего дома, который вообще отно-

¹ Птицы (лат.).

² Негодование создает стихи, какие может (лат.).

сится к этому благожелательно. Если представление состоится, я буду особенно рад за свою жену. Ее состояние удовлетворительно. Маленький очень страдает отрыжкой и судорогами, но, кажется, мало-помалу привыкает к новой пище. Трудно поверить, чтобы при стольких внутренних и внешних заботах можно было сохранить сносное настроение, а тем паче — писать стихи. Впрочем, стихи, может быть, этому под стать!

В романе я больше ни за что не боюсь. То малое, что еще можно сделать, зависит от двух-трех счастливых *araguis*¹, а при крайней спешке часто приходят самые удивительные откровения.

Голос Мейера из Флоренции очень ободрил и порадовал меня. Большое удовольствие слушать, с какой отзывчивостью он воспринимает прекрасное, а при таком мыслящем и анализирующем уме его способность умиляться и эта откровенная пылкость — бесконечно ценные качества.

Идея одной задуманной им картины представляется мне чрезвычайно удачной и живописной. Если будете ему писать, прошу сказать ему от моего имени много дружеских слов.

Идиллия отпечатана, и в ближайшее время я вышлю пробный оттиск. «Ксении», относящиеся к стихотворению «Каток» (кроме «Средних веков» и «Индивидуальности»), я сдвинул вместе в одно стихотворение, а отдельные заглавия отбросил. То же самое, в скромных пределах, можно сделать и с некоторыми другими, что увеличит разнообразие форм. Может быть, у вас будет охота расположить так же и Ньютониану?

За письмо вашей матери мы очень благодарим. Помимо его исторического содержания, нас заинтересовала непосредственность ее собственной манеры.

Одно небо знает, что с нами еще будет! При нынешних обстоятельствах вам едва ли удастся воспользоваться утешительными сообщениями Мейера о том, как он доехал до Италии.

Будьте здоровы! Жена сердечно вам кланяется.

III.

¹ Находок, наблюдений (*фр.*).

Цена, 31 июля 1796 г.

У вас не может быть большего нежелания расстаться с «Ксениями», чем у меня! Помимо новизны и занимательного своеобразия идеи, меня прельщает сама возможность создать нечто целое совместно с вами. Но будьте уверены в том, что я не пожертвовал идеей ради своих удобств. Для целого, в том виде, какого мог потребовать даже самый либеральный читатель, не хватало еще необозримо многого; кропотливое редактирование очень хорошо показало мне этот недостаток. Даже если бы мы могли посвятить исключительно этому ближайшие два месяца, ни сатирическая, ни остальная часть не приобрели бы должной полноты. Дать всей работе пролежать еще год не позволяли ни нужды Альманаха, ни риск, что многочисленные намеки на новинки литературы через год потеряли бы свой интерес. Целый ряд других соображений я приведу вам устно. А в общем, ни эта идея, ни форма для нее от нас не уйдут, ибо остается изумительное обилие материала, и то, что мы захотели бы взять из старого, потонет в нем.

Ваше имя я называю с оглядкой. Даже под теми политическими вещами, которые никого не задевают и под которыми читатель был бы рад его увидеть, я его опустил, так как можно заподозрить их связь с другими, направленными против Рейгардта. Штольберга щадить нельзя, этого вы не захотели бы и сами, а Шлоссер нигде не указан точнее, чем того требует общая сатира на святош. Кроме того, эти удары по штольберговской секте даны в такой связи, что всякий сразу должен угадать в авторе меня. Со Штольбергом я веду честную борьбу, и тут не нужно деликатности. Виланд отделяется красивой девицей в Веймаре и не может на это жаловаться. Вообще же эти одиозные места появляются лишь во второй части Альманаха, и, когда вы будете здесь, вы еще сможете выкинуть, что захотите. Чтобы не слишком задеть Иффланда, я в диалоге с Шекспиром укажу только пьесы Шредера и Коцебу. Вы не откажете в любезности дать Spiritus'y¹ выписать

¹ Духу (лат.), т. е. переписчику Geist'y.

перечни действующих лиц из пяти или шести пьес Коцебу или Шредера, для того чтобы я мог делать намеки на них.

С «Челлини» на сей раз не спешите, ибо, к сожалению, уже несколько почтовых дней я ничего не могу доставить Котта: почта не принимает отправлений в Штутгарт и Тюбинген. Последняя порция «Челлини» тоже еще лежит; она предназначена для восьмого номера, а Котта не получил рукописей для седьмого, ибо при занятии Штутгарта они были еще в пути.

Из Швабии уже неделю не приходило никаких известий. Я ничего не знаю о своих близких, и даже — где они сейчас.

Из Кобурга сегодня сообщают, что французы через несколько дней вступят туда, но что никто не испытывает страха. Это пишет своей жене находящийся здесь самый трусливый ипохондрик на свете господин Гесс, так что это, видимо, правда.

Хорошо, если иенцам дадут время преодолеть в себе страх перед французами, прежде чем показывать им комедию. Здесь есть совестливые люди, которые считают неуместными развлечения во время такого крупного общественного бедствия.

Поскольку я слышал, что Мангеймский театр на год закрывают, вы, вероятно, сможете снова заполучить Иффланда в Веймар. Было бы хорошо, если бы Веймарский театр при этом случае завербовал и актрису. Мадемуазель Витгёфт, или как там ее теперь зовут, была бы, кажется, очень ценным приобретением.

У меня все благополучно, и маленький понемногу привыкает. Жена сердечно кланяется.

Будьте здоровы! Когда вы снова приедете сюда, я буду рад поговорить с вами и об естественно-исторических вопросах.

III.

185. ВОЛЬФАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 1 августа 1796 г.

После долгих качаний в ту и другую сторону каждая вещь в конце концов приходит в состояние равновесия. Первой идеей «Ксений» была, собственно, весе-

лая шутка, шалость, подходящая к минуте и тем оправданная. Потом обозначился некоторый избыток брожения, и давление разорвало сосуд. Но теперь, еще раз отложив эту тему, я нашел самый естественный в мире выход, чтобы одновременно удовлетворить и ваши пожелания и нужды Альманаха.

Если что-нибудь требовало известной универсальности и при редактировании приводило меня в большое смущение, так это философские и чисто поэтические, одним словом — мирные «Ксении», то есть как раз те, которые вовсе не намечались по первому замыслу. Если такие мы поместим в первой и степенной части Альманаха, среди других стихотворений, веселые же — под названием «Ксений», объединив их в некое целое, как в прошлом году «Эпиграммы», — непосредственно за первой частью, это будет хорошо. В общей куче и без смешения с серьезным они теряют значительную долю своей язвительности, а господствующий во всех них юмор, как вы сами недавно заметили, оправдывает каждую в отдельности; затем они в самом деле составляют известное целое. Удары по Рейгардту мы тоже рассеем, а не сосредоточим в начале, как было сперва. Если бы мы его так отличили, то, с одной стороны, — честь, а с другой — оскорбление были бы слишком велики. Итак, «Ксении» (если вы одобряете мои мысли) возвращаются к своей первоначальной природе; кстати, у нас не будет и причин раскаиваться в отступлениях от таковой, так как она позволила нам найти немало полезного и прекрасного.

А раз по новому плану те из ваших политических «Ксений», которые содержат только поучения и никого не затрагивают, совершенно отделены от сатирических, то я поставил под ними ваше имя. Оно должно быть при них, так как эти высказывания примыкают к «Эпиграммам» прошлого года и даже к «Мейстеру», а по форме и содержанию носят отпечаток вашей личности.

Сегодня я тоже не получил известий из Швабии; по видимому, мы совсем отрезаны. Господин фон Функ — нынче я получил от него письмо — должен был продвигаться из Артера, где обычно стоит его часть, в район

Лангензальца. Но бояться там особенно нечего, так как он считает эту позицию ненужной.

Будьте здоровы!

III.

186. ЭЛИЗАБЕТ ШИЛЛЕР

Иена, 19 сентября (понедельник) 1796 г.

Дорогая мама!

Скорбя душой, я взялся за перо, чтобы вместе с вами и моими дорогими сестрами оплакать тяжкую потерю, постигшую всех нас. Хотя я с некоторого времени и утратил всякую надежду, но когда неизбежное наступает, оно всегда обрушивается как внезапный удар. Думать о том, что нечто столь дорогое для нас, к чему влеклись наши чувства в раннем детстве, с чем и в зрелом возрасте нас связывала любовь, что это нечто ушло из мира и что все наши усилия неспособны его вернуть, — думать об этом для меня ужасно. А вам, много-много лет делившей с ушедшим другом и мужем радость и горе, вам, дорогая, любимая мама, разлука еще мучительнее. Если бы даже я не думал о том, чем был для меня и для всех нас покойный отец, я бы не мог без грустного умиления представлять себе конец столь значительной и деятельной жизни, которую господь наделил таким долголетием и здоровьем и которую отец прожил так честно и почетно. Да, это совсем нелегко — пройти твердым шагом столь долгий и многотрудный путь и, как он, уйти из мира, сохранив на 73-м году жизни такую детски-чистую душу. Дал бы бог и мне, пусть даже ценою таких же страданий, расстаться с моей жизнью столь же безгрешным, как он! Жизнь — нелегкое испытание, и некоторые преимущества, которыми провидение наделило *меня* по сравнению с *ним*, сопряжены со многими опасностями для души и истинного мира.

Не хочу утешать ни вас, ни моих дорогих сестер. Все вы вместе со мною чувствуете, как много мы потеряли, но чувствуете также, что только смерть могла положить конец этим долгим мукам. Наш дорогой отец обрел благую участь, и все мы когда-нибудь неизбежно

последуем за ним. Образ его никогда не померкнет в наших сердцах, и горе наше должно еще теснее сблизить нас друг с другом.

Лет пять-шесть назад нельзя было и предположить, что вы, родные мои, после такой потери еще будете иметь друга в лице вашего брата, что я переживу нашего дорогого отца. Бог положил иначе, он еще дает мне радостную возможность быть для вас некоторой поддержкой. Мне не нужно говорить вам о том, как я готов все сделать для вас. Все мы достаточно знаем друг друга, все мы не недостойные дети нашего отца.

Вы, дорогая мама, должны теперь совсем самостоятельно определить свою судьбу и при выборе ни о чем не должны тревожиться. Подумайте сами, где бы вам более всего хотелось жить — здесь, у меня, у Христофины или на родине, у Луизы. Там, куда падет ваш выбор, мы создадим для вас все удобства. Однако пока что, в силу обстоятельств, вам следует пожить на родине, а за это время все будет устроено. Думаю, что легче всего вам будет перезимовать в Леонберге, а весной вы с Луизой могли бы поехать в Мейнинген, где я, однако, настоятельно советовал бы вам вести собственное хозяйство. Но об этом подробнее в другой раз. Я настаивал бы на том, чтобы вы переехали сюда ко мне, если бы не боялся, что здесь, у меня, многое покажется вам слишком чуждым и беспокойным. Если же вы будете в Мейнингене, мы найдем достаточно способов, чтобы видаться и чтобы привозить к вам ваших любимых внучат.

Рейнвальду я снова написал и объяснил ему, что Христофина не может сейчас же пуститься в обратную дорогу. К тому же путь через эту местность еще для всех закрыт. Когда неприятная часть дел будет завершена и когда вы, дорогая мама, немного успокоитесь, она сможет уступить желанию мужа. Для меня, дорогая мама, было бы немалым утешением знать, что по крайней мере в первые три-четыре недели после отъезда Христофины вы живете у знакомых, ибо общество нашей Луизы неизменно будет слишком напоминать вам о прошлом.

Если же герцог не даст пенсии, а продажа вещей не слишком задержит вас, вы, может быть, могли бы сразу поехать с сестрами в Мейнинген, а там, в новой обстановке, вы бы скорее успокоились.

Все, что необходимо вам для спокойной жизни, будет сделано, и я, милая мама, отныне вмещаю себе в обязанность следить за тем, чтобы вас не удручали больше никакие заботы. После стольких страданий вечер вашей жизни должен быть светлым и покойным, и я надеюсь, что в кругу детей и внуков вас еще ждет немало радостных дней.

Все письма и рукописи, которые остались после нашего дорогого отца, может мне привезти Христофина. Я постараюсь исполнить его последнюю волю, которая и вам, милая мама, должна принести пользу.

От души обнимаем вас и дорогих сестер. Моя Лотта написала бы сама, но у нас сегодня дом полон гостей, и в такой обстановке это невозможно. Она вместе со мной оплакивала отошедшего в вечность отца, которого всегда искренне любила, и глубокое участие ее в нашем горе сделало ее для меня еще дороже и ближе. Моя теща и Вольцогены, которые сейчас здесь, тоже очень удручены потерей и шлют вам тысячу приветов.

Ваш вечно благодарный сын

Ф. Ш.

В связи с предстоящими радостными событиями желаю счастья моей милой Луизе и славному молодому человеку, который предлагает ей свою руку и доказал благородство своих стремлений великодушным поведением своим у одра нашего отца. Пусть она его сердечно от меня приветствует как будущего моего зятя и заранее его уверит в моей дружбе и искренней преданности.

187. ВОЛЬФАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 19 октября 1796 г.

Сегодняшней посылкой вы доставили мне весьма неожиданную радость. Я сразу же набросился на восьмую книгу «Мейстера» и вновь принял полный ее заряд. Можно только изумляться, как переполнена она эпиче-

ским и философским содержанием. Все внутри формы составляет такое прекрасное целое, а вовне ее она кажется беспредельного — искусства и жизни. Поистине об этом романе можно сказать: он ничем не ограничен, кроме чисто эстетической формы, а где в нем кончается форма, там он связан с безграничным. Я сравнил бы его с прекрасным островом, лежащим меж двух морей.

Ваши изменения я нахожу достаточными и вполне в духе и смысле целого. Возможно, если бы новое возникло сразу же вместе со старым, вы там и сям достигли бы одним штрихом того, что теперь сделано несколькими. Но этого не может почувствовать никто из читающих произведение впервые в его нынешнем виде. Не считая моего каприза насчет несколько большей подчеркнутости главной идеи, я, право, не знаю, чего еще можно было бы желать. Впрочем, если бы на титульном листе не стояло «ученические годы», дидактическую часть восьмой книги я считал бы чуточку перегруженной. Многие философские мысли сейчас явно стали яснее и понятнее.

В сцене непосредственно после смерти Миньоны теперь есть все, чего может требовать душа в такой момент. Мне только хотелось бы, чтобы переход к новому кругу интересов был отмечен новой главой.

Маркиз теперь вводится вполне удовлетворительно. Граф превосходен, а Ярно и Лотарио от новых добавлений стали интереснее.

Примите же по поводу окончания этого важного «кризиса» мое поздравление, и давайте при этом случае прислушаемся, чтобы узнать, какой у нас читатель.

Благодарю за присланные счета. С деньгами я все устрою по вашему желанию. И без того вам уже причитается двадцать четыре луидора за участие в Альманахе и будет причитаться еще в случае второго издания. Сердечно благодарю также за «Челлини». Теперь корабль опять может сняться с мели. Сию минуту прибыл еще исторический очерк Функа.

Майора Реша я знаю, еще лучше знает его мой свояк. Если не считать его действительно обширных познаний в математике, тактике и архитектуре, он весьма ограничен и малообразован. В нем много пошлого и

педаптического, и будь он даже неплохим учителем, все же человека с его манерами и вкусом никак нельзя рекомендовать в такой круг, где требуют светских качеств. А в общем, он почтенный и кроткий человек, с которым можно ладить и который своими слабостями скорее забавляет, нежели угнетает.

III.

188. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 23 октября 1796 г.

Сердечно благодарю за «Мейстера», который еще часто будет радовать и оживлять меня. Четыре других экземпляра я роздал, но вы пишете о шести, а я получил только пять. Не хватает еще для Гумбольдта.

Последний немало был поражен нашим Альманахом и долго им наслаждался. Также и «Ксении» повеселили его, как мы того и желали. Для меня опять радостное открытие, что впечатление от целого приятно и занимательно для всякого широкого ума. В Берлине, пишет он, они парасхват, но он все-таки не слышал о них ничего интересного или забавного. Большинство берлинцев либо приходят начиненные моральными прописями, либо смеются над всем без разбора, как над литературной склокой.

Среди помещенных в начале стихотворений, которых он еще не знал, очень порадовали его ваши «Каток» и «Музы», из моих — «Два пола», «Посещение», а «Tabulae votivae»¹ внушили ему, как и Генцу, большое почтение. Однако он считает, что очень трудно разобраться в принадлежности тому или другому из нас отдельных вещей этого совместного творчества. О «Ксениях» он пишет, что их целиком приписывают вам, в чем берлинцев поддерживал еще Гуфеланд, утверждавший, что читал их все, написанные вашей рукой.

Кроме этого, я ничего об Альманахе не слышал и думаю, что мы очень скоро почувствуем, как мало сейчас можно рассчитывать на широкое понимание публики.

¹ «Памятки» (лат.).

Гумбольдт надеется через неделю быть здесь. Я буду рад опять пожить с ним. Он пишет, что не застал Штольберга в Эйтине, потому что тот был как раз в Копенгагене, а о Клаудиусе, который, по его мнению, полное ничтожество, он вообще ничего не мог сказать.

Ваши «Швейцарские письма» интересуют всех, кто их читает, и меня особенно радует, что я сумел выцарапать их у вас. Они и впрямь дают необычайно живую картину той действительности, из которой они проистекли, и, возникнув не по художественному замыслу, все же очень естественно и умело объединены в некое целое.

Окончание «Мейстера» очень тронуло мою свояченицу, и я вижу, как подтверждаются мои предположения относительно того, что создает главный эффект. Патетическое всегда раньше всего иного овладевает душой; лишь впоследствии чувство очищается для наслаждения спокойной красотой. При первом и даже при втором чтении Миньона, вероятно, оставит после себя наиболее глубокий след. Но я все-таки верю, что вам удалось, как вы к тому и стремились, растворить эту патетическую растроганность в чувстве прекрасного.

Как радостно мне, что вы скоро опять приедете на несколько дней! Теперь, когда с меня свалилась работа над Альманахом, я так нуждаюсь в новом, живом, интересном. Правда, я взялся за «Валленштейна», но все еще брожу вокруг да около и жду мощной руки, которая бросила бы меня в самую гущу. Время года давит на меня, как и на вас, и я часто думаю, что, когда проглянет веселый луч солнца, дело пойдет.

Желаю вам всего хорошего! Должен еще просить вас прислать мне особо счета гравера и переплетчика Альманаха. В среду я отошлю весь расчет Котта и поэтому хотел бы иметь все оправдательные документы. Что следует за статью Гирта, пусть он не откажет указать в отдельном счете и написать расписку; это относится и к переплетчику.

Будьте здоровы! Все кланяются.

III.

[Иена, 28 октября 1796 г.]

Твое последнее письмо об Альманахе очень обрадовало и глубоко удовлетворило меня; Гете, которому я его тотчас же переслал, был тоже очень доволен и поручил мне известить тебя об этом от его имени. Поэтому он с большим нетерпением ожидает твоего суждения о четвертом томе «Мейстера», и, если ты сможешь выкроить несколько часов, напиши мне подробно твои мысли по этому поводу.

Гете работает теперь над новым произведением, в основном уже законченным. Это род бюргерской идиллии; правда, задумана она независимо от Фоссовой «Луизы», но толчок Гете недавно получил от нее; впрочем, по всей своей манере она — полная противоположность Фоссу. Все произведение задумано удивительно умно и выполнено в подлинно эпическом духе. Я слышал две трети поэмы, то есть четыре песни, — они превосходны. Всего, видимо, будет листов двенадцать. Гете уже несколько лет вынашивал идею этого произведения, и создание его, которое тоже происходило у меня на глазах, шло с легкостью и быстротой непостижимой — девять дней подряд он писал по полтора ста строк гекзаметра в день.

Об успехе нашего Альманаха у публики до меня дошло еще мало сведений. На вкус нынешнего читателя в нем для комического жанра слишком мало юмора, а для серьезного — слишком мало глубины. Таким образом, нам следует опасаться, что необоримым нашим врагом окажется с одной стороны тяжеловесность, с другой — поверхностность. Я не очень об этом тревожусь, в отношении себя я окончательно махнул рукой на публику. К счастью, характер моей нынешней и будущей писательской работы, драматургия, позволяет мне совсем забыть о публике, какая она есть, и все же, до известной степени, я могу властвовать над ней и привлекать ее на свою сторону.

Я теперь занимаюсь «Валленштейном» и поглощен им полностью. Правда, конца я еще не предвижу, но самое позднее через три месяца я более или менее овла-

дею целым в достаточной мере, чтобы начать писать. Тогда останется работы на несколько месяцев. Это новое дело мне очень по душе, думаю, что смогу им заниматься долго.

Гумбольдт через три дня прибывает сюда. Его жена и дети уже здесь, сам он еще в Галле, у Вольфа, с детьми вполне благополучно, младший за последние десять дней очень поправился, он теперь здоровый и крепкий. Сердечный привет вам от нас обоих. Будь здоров, поскорее дай снова знать о себе.

Твой Ш.

190. ВОЛЬФАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 28 октября 1796

Вместе с этим письмом вы получите девятый номер «Ор»: шесть экземпляров для вас, один для герцога и один для Мейера. То, что я прилагаю для Гердера и Кнебея, не откажите распорядиться передать им.

Утром сюда прибыла госпожа фон Гумбольдт с детьми. Он сам еще в Галле, у Вольфа, и будет здесь через три дня.

Гумбольдты были несколько дней назад в Берлине, когда туда пришел наш Альманах. Он привлек там огромное внимание. Николаи называет его «альманахом фурий». Бистер и Цельтер от него в восторге (как видите, с первым дело нам удалось!). Бистер находит, что «Ксении» написаны еще слишком умеренно. Кто-то другой сказал, что теперь стало одним бедствием на свете больше, так как каждый год придется ждать со страхом нового альманаха. Поэт Мейер объявил, что мы оба в «Ксениях» развенчиваем друг друга и что двустипшием «Дешевое уважение», страница 221, я метил в вас.

Вчера у меня был Вольтман и утверждал, будто Виланд сказал о «Ксениях» так: он только жалеет, что в них похвалили Фосса, когда обижено столько честных людей. Вольтман непоколебимо уверен, что под некрологическим вороном, каркающим вслед Виланду, подразумевается не кто иной, как Бёттигер.

Наконец, последовал и первый печатный выпад против «Ксений», и, если все окажутся в таком роде,

нам не на что будет жаловаться. Выпад сделан в... «Имперском вестнике»! Мне сообщил о нем Шютц. Это — дистих, где, однако, пентаметр... идет перед гекзаметром. Вы не можете себе представить ничего более убогого! «Ксени» там злобно изруганы.

Кто такие «юные племянники», Шлегель все еще не отгадал. Сегодня он опять спрашивал о них.

Но что развеселит вас, это заметка в новом лейпцигском «Справочном листке», выходящем *in folio*¹. Здесь некий честный аноним становится на сторону «Ор» против Рейгардта. Правда, никто не назван, но совершенно ясно, кого он имеет в виду. Он очень резко возмущается тем, что этот издатель двух журналов бесстыдно расхваливает первый во втором и выказывает неприличную зависть к чужому журналу. Покамест аноним ограничивается этим намеком, но грозит по-настоящему обрушиться на виновного, если намек не принесет пользы.

На сегодня довольно новостей! У нас здесь все благополучно; я медленно подвигаюсь в своей работе.

Всего хорошего!

III.

Фоссовский альманах я видел; он довольно убог.

191. ФРИДРИХУ ГЕЛЬДЕРЛИНУ

Иена, 24 ноября 1796 г.

Я никогда не забывал про вас, дорогой друг, как это кажется вам; просто хлопоты да дела, наряду со свойственной мне нелюбовью к переписке, так надолго задержали ответ на ваши дружеские письма.

Ваши новые стихотворения на несколько недель опоздали, иначе я непременно воспользовался бы для Альманаха тем или другим из них. Зато, надеюсь, вы примете как можно большее участие в следующем номере. Так как сегодня мне недосуг прочитать присланные вами новые стихи, то я покамест оставляю их у себя, чтобы написать мои замечания о них.

¹ Форматом в лист (*лат.*).

Мне доставило бы немалую радость, если бы в следующем Альманахе я мог поместить несколько зрелых и долговечных плодов вашего таланта. Прошу вас, напрягите всю вашу силу, всю энергию, выберите удачную поэтическую тему, вынашивайте ее в сердце вашем любовно и бережно и дайте ей в прекраснейшие минуты бытия спокойно дозреть до совершенства; но по возможности избегайте философских тем — они самые неблагоприятные, и в бесплодном единоборстве с ними нередко терпели поражение самые могучие дарования; не удаляйтесь от чувственного мира, это сократит для вас опасность утратить трезвость во вдохновении или запутаться в изысканных особенностях формы.

Мне хотелось бы предостеречь вас и от наследственного порока немецких поэтов, именно — от многословия, которое часто в нагромождении бесчисленных подробностей и потоке строф топит самые лучшие мысли. Это нанесло немалый ущерб вашему стихотворению «К Диотиме». Немногие существенные элементы, будучи объединены в простое целое, сделали бы это стихотворение прекрасным. Поэтому я прежде всего рекомендую вам мудрую бережливость, тщательный отбор существенного и ясное, простое выражение его. Но разве я могу формулировать все то, что мне бы хотелось? У вас есть Моисей и пророки — придерживайтесь прекрасных образцов и сами создавайте себе все правила, в противном случае это будут одни лишь слова.

Извините за эти призывы к вам, за эти предостережения: они внушены участливой дружбой.

Всего вам хорошего, почаще давайте мне знать о себе.

Искренне преданный вам

Шиллер.

192. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 28 ноября 1796 г.

Вашим любезным приглашением я едва ли смогу воспользоваться, так как в это злосчастное время года я чувствую погоду всем своим существом и кое-как

держусь. Надеюсь, хотя бы на один день, вскоре увидеть вас, услышать о ваших последних открытиях и наблюдениях, а также рассказать вам о своем состоянии.

«Валленштейн» подвигается, правда, — очень медленно, так как мне все еще приходится иметь дело с сырым материалом, который еще и не весь собран, но я попрежнему считаю себя в силах справиться с ним, а в отношении формы я теперь значительно прозрел.

Что я *хочу* и что я *должен* сделать, а также чем я располагаю, мне более или менее ясно. Все теперь сводится к тому, как с тем, что я имею в себе и перед собой, осуществить то, чего я хочу, и то, что я должен. Что касается того, в каком *духе* я работаю, то вы, вероятно, будете довольны мною. Мне вполне удастся держать материал вне своего «я» и давать только тему. Я почти что готов утверждать, что сюжет меня совсем не интересует, и я никогда не сочетал такой холодности к своей теме с таким теплым влечением к самой работе. К главному характеру, а также к большинству второстепенных я до сих пор подходил с чистой любовью художника. Только к следующему, после главного, характеру, к молодому Пикколомини я питаю личную склонность и интерес, от чего целое должно скорее выиграть, чем проиграть.

Что касается драматического действия, как самого главного, то неблагоприятный и непоэтичный материал пока еще не вполне мне послушен. В ходе действия еще заметны пробелы, а многое и не желает укладываться в тесные рамки трагедийного построения. Не совсем преодолена еще и ложная предпосылка катастрофы, что делает последнюю очень неудобной для трагического развития. Рок, в собственном смысле слова, делает пока еще слишком мало, а сам герой — слишком много для своего крушения. Но меня тут до некоторой степени утешает пример Макбета, где судьба виновата также гораздо менее самого человека в его гибели.

Впрочем, об этом и других затруднениях — устно.

Замечания Гумбольдта по поводу кернеровского письма представляются мне не лишними значения,

хотя в том, что касается характера Мейстера, он, по видимому, слишком далеко уклоняется в противоположную сторону. Кернер слишком абсолютно считает это действующее лицо подлинным героем романа. Его ввели в заблуждение заглавие и старый обычай непременно иметь в каждом романе героя. Вильгельм Мейстер, правда, необходимейшее, но не важнейшее лицо. К особенностям вашего романа как раз принадлежит и то, что он не имеет такого «важнейшего» лица и не нуждается в нем. Все происходит с ним и *вокруг* него, но, собственно, не ради него. Именно потому, что вещи вокруг него представляют движущие силы, он же представляет и выражает восприимчивость, он должен стоять к прочим действующим лицам совсем в иных отношениях, чем герой в других романах.

Гумбольдт, я нахожу, слишком несправедлив к этому действующему лицу, и мне даже непонятно, как он может считать действительно сделанным дело, которое поставил перед собой автор в романе, если Мейстер такое безрассудное и бессодержательное существо, каким он его объявляет. Если человечность, во всем содержании этого слова, не пробуждена в Мейстере и не введена в игру, роман не готов, а если Мейстер к этому вообще не способен, вы не имели бы права избрать этот характер. Конечно, деликатное и щекотливое для романа обстоятельство то, что он оканчивается, не представляя в лице Мейстера ни решительного индивидуализма, ни последовательного идеализма, а нечто среднее между тем и другим. Характер индивидуален, но только по своим ограничениям, а не по содержанию, и он же идеален, но только по своим возможностям. Таким образом, он отказывает нам в удовлетворении нашего первейшего требования (определенности) и сулит нам высшее и наивысшее, чего, однако, мы должны ждать лишь в далеком будущем.

Довольно смешно, что по поводу такого произведения еще возможно столько противоречий в оценках!

Будьте здоровы и кланяйтесь от нас Гумбольдтам.

Иена, 28 ноября 1796 г.

Я все еще со всей серьезностью размышляю над «Валленштейном», и все еще это злополучное произведение представляется мне бесформенным и бесконечным. Не думай, однако, что драматическое дарование мое иссякло, — если я вообще когда-либо им обладал; нет, я не удовлетворен просто потому, что мои понятия об искусстве и требования к самому себе, стали теперь более определенными и ясными; требования эти стали строже. Ни одна из моих прежних драм так не богата содержанием и формой, как даже уже в настоящее время «Валленштейн», но теперь я слишком хорошо знаю, чего хочу и что мне нужно, чтобы мне не казалось легким делом справиться с этой задачей.

Материал, можно сказать, в высшей степени непригоден для такой цели; он обладает почти всем, что должно бы было заставить отказаться от него. В сущности это государственное действо, и с точки зрения поэтического использования оно имеет все недостатки, какие только может иметь политический сюжет, — неосязаемый отвлеченный объект, *мелкие и многочисленные* детали, разбросанность действия, нерешительность, чересчур (для поэта) холодную, сухую целесообразность, которая, однако, остается незавершенной и, стало быть, не достигает поэтического величия; ибо ведь в конце замысел терпит неудачу просто вследствие неосмотрительности. Основой, на которой Валленштейн строит свое предприятие, является армия, то есть для меня — безбрежная равнина, которую я не могу представить себе зрительно, а только необычайными искусственными усилиями могу создать в воображении; таким образом, я не могу показать ни тот объект, на котором он зиждется, ни тот, из-за которого он терпит неудачу, — настроение армии, двор, император. И даже страсти, которыми он движим, жажда мести и честолюбие самого холодного свойства. Наконец, характер его отнюдь не благороден и не может быть таковым, его возможно представить только страшным, но ни в коем случае не истинно величественным. Что-

бы сокрушить его, я не могу противопоставить ему ничего великого; этим он неизбежно толкает меня к обыденному. Словом, я лишен всякой возможности подойти к этому материалу со свойственными мне призмами, от содержания мне ждать почти что нечего; все должно быть достигнуто искусной формой, и только умелым ведением действия я могу преобразовать все это в прекрасную трагедию.

После этой характеристики ты будешь бояться, что я утратил охоту к моему занятию или что я, если буду продолжать возиться с ним вопреки склонности, вступлю потерю время. Не тревожься, охота моя нимало не ослабла, как равно и вера в отличный успех. Таким пменно и должен быть материал, с которым я могу начать новую драматургическую жизнь. Здесь, где я хожу на острие ножа, где каждый шаг в сторону грозит погубить целое, словом, где я могу достигнуть моей цели одной только внутренней правдой, необходимостью, последовательностью и определенностью, здесь и должен произойти решающий перелом в моем поэтическом характере. И он уже очень сильно ощущается: ибо я к моей задаче подхожу совсем иначе, чем прежде. Материал настолько чужд мне, что я не могу питать к нему никакой склонности; он оставляет меня почти холодным и равнодушным, и все же работа меня вдохновляет. За исключением двух фигур, к которым я чувствую влечение, всех остальных, а в особенности главного героя, я создаю только с чистой любовью художника, и заверяю тебя, что от этого они получатся не хуже. Но для этого, чисто объективного, творчества мне было необходимо прежде, да и теперь нужно, углубленное безрадостное изучение источников, ибо я должен был вывести действие и характеры из их времени, их обстановки и всей совокупности событий, а это мне понадобилось бы в гораздо меньшей степени, если бы я мог на собственном опыте узнать людей и дела этого сорта. В исторических источниках я сознательно ищу *ограничения*, чтобы строго определить мои мысли окружающими обстоятельствами и затем воплотить их; я уверен, что исторический элемент не сузит моих возможностей и не парализует меня.

Я хочу этим только оживить мои персонажи; та сила, которую я во всяком случае уже сумел показать и без которой с самого начала нельзя было и думать об этой работе, должна их *одухотворить*.

На том пути, который я теперь избрал, может легко случиться, что «Валленштейн» будет сильно отличаться от моих прежних драм некоторой сухостью манеры. По крайней мере мне теперь приходится бояться только преувеличенной трезвости, а не избытка страсти, как некогда.

Из того, что я здесь набросал, ты, пожалуй, можешь увидеть, почему мои подготовительные работы к «Валленштейну» не имеют большого значения, хотя они одни заставили меня решиться не изменять моей теме. Однако в остальном всю работу пришлось делать как бы совсем заново, и ты понимаешь, почему я не могу идти вперед быстрыми шагами. Все же я думаю в три месяца настолько овладеть целым, чтобы ничто не мешало мне писать. Конечно, я не могу тешить себя надеждой, что испытаю счастье завершения раньше августа будущего года. Так что окончание «Валленштейна», как некогда «Дон Карлоса», я буду праздновать у вас, но пока до того дойдет, ты еще не раз окажешь мне моральную поддержку.

Только давай заключим с тобой такой договор: ты ни за что не станешь соглашаться, если я захочу познакомить тебя с моей драмой по частям. На меня легко может найти авторское нетерпение, и тогда я лишил бы себя самой важной части твоего суждения, каковое может быть основано только на ясном представлении о целом. Такое же условие я заключу с Гете и Гумбольдтом и таким образом сберегу для себя настоящий клад — три ваших отзыва.

Если тебе случайно известно какое-нибудь произведение, которое могло бы нагляднее представить мне военную и политическую обстановку того времени, например какие-нибудь мемуары, то, будь добр, сообщи мне о нем. Я усердно подбираю заметки такого рода, но ничего почти не нахожу.

Гумбольдт полагает, что «Валленштейна» следует писать прозой; в смысле объема работы мне почти без-

различно, писать ли ямбами или прозой. Ямбы придали бы ему больше поэтического достоинства, проза — больше непосредственности. Но так как я, строго говоря, предназначаю его для театрального представления, то, быть может, лучше последовать совету Гумбольдта.

Всего хорошего. У нас все здоровы и шлют всем вам сердечный привет.

Твой *Ш.*

Посылаю тебе новый помер «Ор», который, может быть, тебя удивит.

194. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 12 декабря 1796 г.

Вот и одиннадцатый номер «Ор»! Завтра с рассыльной доставлю остальное. Теперь попрошу вас дать распоряжение сделать возможно скорее полтораста оттисков с титульной гравюры Альманаха, для чего прилагаю бумагу. Очень хотелось бы в пятницу утром получить если не все, то хотя бы половину.

К сожалению, из-за бессонницы и очень скверного самочувствия я опять потерял для своих дел несколько прекрасных дней.

Зато вчера вечером я наткнулся на Дидро, который восхитил меня и привел в движение мои сокровенные мысли. Почти каждый афоризм — это вспышка, ярко освещающая тайны искусства, а его замечания исходят из таких высот и глубин искусства, что господствуют над всем, что с ним связано, и могут служить полезными намеками как для поэта, так и для живописца. Если эта книга не принадлежит вам лично и я не могу дольше подержать ее у себя и потом попросить снова, я выпишу ее себе в одном экземпляре.

Случайно наткнувшись на Дидро, я не читал более рукописи Сталь. Но оба произведения для меня теперь потребность души, оттого что моя собственная работа, которой я живу и всецело должен жить, слишком сужает мой круг.

По части новостей насчет «Ксений»: когда спор прекратится, я постараюсь побудить Котта отпечатать со-

брание всего, что будет написано против «Ксений», на газетной бумаге, и пусть это останется приложением ad acta¹ по истории немецкого вкуса.

На новое издание поступило столько заказов, что оно уже оправдалось. Даже в здешних местах, где разошлось столько экземпляров, продолжается продажа.

«Агнеса фон Лилиен» доставляет всем огромное удовольствие. Мой бывший свояк Бейльвиц и его жена с необычайным интересом и восхищением читали вместе эту вещь; можно себе представить их досаду, когда они узнают правду.

Будьте здоровы! Все друзья сердечно приветствуют и обнимают вас.

Ш.

Представьте себе, что Котта 4 декабря еще не имел и, может быть, не имеет до сих пор медного клише, которое вы послали ему через Франкфурт! Второе, посланное позже, он получил.

195 ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 17 января 1797 г.

Сейчас я заканчиваю работу, и прежде чем я отложу перо, мне еще хочется побеседовать с вами. Ваше последнее посещение, хотя оно и было очень коротким, вывело меня из состояния некоего оцепенения и придало мне бодрости. Вашими рассказами вы снова приобщили меня к миру, от которого я чувствовал себя совсем было отрешенным.

Но особенно меня радует ваше горячее пристрастие к продолжению поэтической работы. Благодаря этому перед вами раскроется новая, еще более прекрасная жизнь; она передается и мне, она утолит и меня,— не только через ваш труд, но и через вдохновение, которое она вызовет у вас. Теперь в особенности мне хотелось бы знать хронологию ваших произведений; я был бы удивлен, если бы по развитию вашей лично-

¹ К делу (лат.).

сти нельзя было бы проследить некую закономерность эволюции человеческой природы вообще. Вероятно, в вашей жизни была пора, и даже весьма длительная, которую я назвал бы вашим аналитическим периодом, когда вы искали целостного посредством деления и членения, когда ваше существо было как бы в разладе с самим собой и стремилось обрести самого себя через науку и искусство. Теперь думается мне, вы, сформировавшийся и созревший, возвращаетесь к вашей юности и соединяете плод с цветком. Эта вторая юность, юность богов, бессмертна, как они.

Об этом говорят ваши идиллии, большая и малая, и ваша недавняя элегия, и ваши старые элегии и эпиграммы. Но я хотел бы узнать от самого мастера историю более ранних произведений. Написать, что вы об этом знаете, — не напрасный труд. Без этого вас нельзя до конца понять. Так сделайте же это и оставьте у меня копию.

Если вам попадется что-либо из наследия Ленца, вспомните обо мне. Мы должны собрать для «Ор» все, что только сможем разыскать. Теперь, когда ваши планы на будущее изменились, вы, может быть, могли бы уделить для «Ор» и итальянские рукописи?

Прошу помнить и о «Челлини», с тем чтобы недели через три он был у меня.

Еще прошу не забыть, что надо разделаться с нашим другом Рейгардтом.

Всего хорошего.

III.

196. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 7 февраля 1797 г.

В последние почтовые дни вы прислали мне такое великое множество разных произведений, что я все еще никак не могу справиться с их просмотром, тем более, что, с одной стороны, — усадьба, которую я покупаю, с другой, — любовная сцена во втором действии заставляют мой мозг работать в совершенно разных направлениях.

Между тем я тотчас принялся за рукопись живописца Мюллера, которая, несмотря на тяжелый и гру-

богатый язык, во многом превосходна и после соответствующих стилистических изменений явится отличным материалом для «Ор».

Читая новый отрывок из «Челлини», я от души веселился над отливкой Персея. Осада Трои или Мантуи не могла бы быть событием более значительным, рассказ о ней более патетическим, нежели эта история.

Об эпической поэме, которую вы мне прислали, я выскажусь более обстоятельно, когда вы приедете. То, что я прочитал до сих пор, вполне подтверждает ваше о ней суждение. Она — плод живого и весьма подвижного воображения, однако эта подвижность нередко переходит в беспорядочность, так что в конце концов все расплывается и растекается и нет возможности ухватиться за что-либо устойчивое. Если бы эта вещь попала мне случайно, я, судя по безусловно господствующему в ней характеру сплошной развлекательной пестроты, многообразия и кокетливой игры, приписал бы авторство женщине. Она богата материалом, но кажется тем не менее крайне бедной по содержанию. Между тем я полагаю, что то, что я называю содержанием, единственно способно создать некую форму; то, что я здесь называю материалом, почти никогда или совсем никогда не способно сочетаться с таковой.

Вы, без сомнения, уже прочли теперь разглагольствования Виланда против «Ксений». Что вы об этом скажете? В них есть все для того, чтобы быть напечатанными в «Имперском вестнике».

О моей работе и о душевном состоянии моем в связи с ней я в настоящее время мало что могу сказать, ибо переживаю кризис и напрягаю все силы моего существа, чтобы суметь его преодолеть. Поэтому я доволен тем, что причина, препятствующая вашему приезду сюда, приходится как раз на этот месяц, когда я всего более нуждаюсь в уединении.

Следует ли мне отослать вашу элегию в печать, чтобы она в начале апреля увидела свет?

Для сказки желаю вам поскорее благоприятного расположения духа. Всего хорошего. Мы рады тому, что в воскресенье увидимся с вами.

III.

Иена, 4 апреля 1797 г.

После жизни в обществе, исполненной разнообразия, я внезапно оказался в полнейшем одиночестве, наедине с самим собой. Вслед за вами и Гумбольдтом меня покинуло еще и все женское общество, и воцарившуюся тишину я использую, чтобы размышлять о моих трагико-драматических обязанностях. В то же время строю подробный сценарий всего «Валленштейна», чтобы простой наглядностью облегчить себе общий взгляд на отдельные эпизоды и на их совокупность.

Чем больше я думаю о моей собственной работе и о характере построения греческой трагедии, тем яснее я вижу всю *carpo rei*¹ искусства в том, чтобы изобрести поэтическую фабулу. Современный драматург мучительно и боязливо сражается с вещами случайными и второстепенными и, стремясь как можно больше приблизиться к действительности, взваливает на себя груз бессодержательного и несущественного, причем он подвергается опасности утратить глубоко лежащую истину, в которой, собственно, и заключено все поэтическое. Ему очень хочется полностью воспроизвести тот или иной доподлинный случай, и он не думает о том, что поэтическое изображение никогда не может совпасть с действительностью именно потому, что оно абсолютно истинно.

В течение этих дней я читал «Филоктета» и «Трахинянок», последних с особенным удовольствием. Как точно схвачено все состояние, чувства, существо Деяниры. Как полно изображена она хозяйкой дома Геркулеса; как этот образ индивидуален, соответствует лишь этому единственному случаю, и, в то же время, как он глубоко человечен, вечно истинен и всеобщ. И в «Филоктете» из данного положения извлечено все, что только можно было извлечь, и при всем своеобразии этого случая здесь тоже все покоится на вечной основе человеческой природы.

Я обратил внимание на то, что характеры в греческих трагедиях в большей или меньшей степени

¹ Суть (лат.).

идеальные маски, а не конкретные индивидуальности, какие я вижу в шекспировских, а также и в ваших драмах. Так, например, Улисс в «Аяксе» и в «Филокете» явно лишь идеал хитрого, неразборчивого в средствах сухого ума; так, Креон в «Эдипе» и в «Антигоне» лишь холодное царское величие. С такими характерами в трагедии, разумеется, справиться много легче, их можно быстрее экспонировать, их черты постояннее и тверже. Истина вследствие этого нисколько не страдает, ибо они так же далеки от чисто логических существ, как и от единичных индивидуальностей.

Pour la bonne bouche¹ посылаю вам очаровательный отрывок из Аристофана, оставленный мне Гумбольдтом. Он восхитителен, мне хотелось бы почитать и остальное.

На днях мне неожиданно прислали из Стокгольма большой роскошный пергаментный лист. Когда я раскрывал диплом с большой восковой печатью, я думал, что из него по крайней мере выскочит пепсия; оказалось, однако, что это всего-навсего диплом Академии наук. И все-таки всегда радуется ощущение, что ты все дальше простираешь свои корни и что твое существование переплетается с другими.

Надеюсь вскоре получить от вас новую часть «Челлини».

Всего вам хорошего, мой дорогой, мой все более и более дорогой друг. Меня все еще окружают прекрасные дүхи, оставленные мне здесь вами, и я надеюсь все более сближаться с ними. Всего вам хорошего.

III.

198. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Вена, 7 апреля 1797 г.

Среди нескольких каббалистических и астрологических сочинений, которые я взял в здешней библиотеке, мне попался диалог о любви, переведенный с еврейского на латынь, который не только очень позабавил меня, но весьма расширил мои познания в астрологии. Смещение химических, мифологических и астрологиче-

¹ На десерт (фр.).

ских понятий здесь чрезвычайно сильно и поистине требует поэтической обработки. Я велел выписать для вас некоторые удивительно остроумные сравнения планет с членами человеческого тела. В этой диковинной системе представлений нельзя ничего понять, пока не познакомишься с ее авторами. Между тем я не теряю надежды придать этому астрологическому материалу поэтическое достоинство.

Что касается затронутой в последнем письме темы об изображении характеров, я буду рад при нашей следующей встрече внести с вашей помощью некоторую ясность в мои собственные понятия. Этот вопрос связан с глубочайшими основами искусства, и несомненно, что наблюдения, сделанные на основании изобразительного искусства, могут многое объяснить и в поэзии. Вот и сегодня, когда Шлегель читал мне «Юлия Цезаря», я был поражен, с каким необычайным величием Шекспир умеет живописать простой народ. Здесь при изображении народного характера самый материал вынуждал его скорее дать некую поэтическую абстракцию, нежели индивидуальности, — поэтому я и полагаю, что он здесь крайне близок грекам. Если подойти к созданию такой сцены с чрезмерно робким представлением о подражании реальности, то масса, толпа, с присущей ей неопределенностью, могла бы ввергнуть автора в небольшое смущение; а Шекспир смело выхватывает несколько фигур, я бы сказал, лишь несколько голосов из массы, чтобы они представляли весь народ, и они действительно представляют весь народ — так удачен его выбор.

Можно сослужить немалую службу поэтам и художникам, если, наконец, точно определить, что именно искусству следует заимствовать у действительности, а что отбрасывать. Почва стала бы свободней и чище, исчезло бы малое и незначительное и очистилось бы место для великого. Важнейшее значение имеет этот предмет и при изображении исторических событий; неопределенность понятия о нем причинила мне немало хлопот.

Жажду вскоре получить что-либо из «Челлини», по возможности еще для апрельского номера, для чего

нужно, чтобы я имел материал в руках не позднее как вечером в среду.

Всего хорошего. Жена шлет сердечный привет. Писал бы еще, но сегодня у меня большой почтовый день.
Ш.

199. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Вена, 25 апреля 1797 г.

То, что требование заторможенности является следствием более высокого эпического закона, который, впрочем, может проявиться и совсем иным образом, кажется мне несомненным. Мне думается также, что есть два разных способа запаздывать — один из них зависит от характера пути, другой — от характера движения; последний, по-моему, может быть осуществлен и при самом прямом пути, а стало быть, и при таком плане, как ваш.

Однако этот более высокий эпический закон я определил бы не совсем так, как вы. В формулировке — важно только «как», а не «что» и т. д. — он мне кажется слишком уж общим и применимым ко всем без исключения прагматическим видам поэзии. Если вкратце выразить мою мысль по этому поводу, вот она: оба поэта, эпический и драматический, представляют нам некое действие, но у последнего оно — цель, а у первого лишь средство к достижению абсолютной эстетической цели. Это основное положение объясняет мне полностью, почему трагический поэт должен двинуться вперед быстрее и прямее, а поэт эпический находит лучшее решение для своей задачи, двигаясь замедленно. Из этого, по-моему, следует и то, что эпический поэт поступает правильно, воздерживаясь от сюжетов, которые уже сами по себе возбуждают аффект, будь то любопытство или участие, причем, следовательно, действие как цель возбуждает слишком большой интерес, чтобы можно было удержаться в пределах только средства. Признаюсь, что именно этого я несколько опасюсь по отношению к вашей новой поэме, хотя и знаю, с какой поэтической силой вы подчиняете себе материал.

Способ, каким вы собираетесь тут развивать действие, кажется мне более подходящим для драмы, нежели для эпоса. Во всяком случае, вам придется много потрудиться, чтобы изъять из него все неожиданное, возбуждающее удивление, ибо все это не очень эпично.

С большим нетерпением ожидаю вашего плана. Меня несколько тревожит, что у Гумбольдта сложилось такое же впечатление, что и у меня, хотя мы до того с ним об этом не беседовали. Он полагает, что плану не хватает индивидуального эпического действия. Когда вы впервые мне об этом говорили, я все ждал настоящего действия: все, что вы мне рассказали, казалось мне лишь введением и подготовкой почвы для такого действия, которое должно было разыгаться между главными героями; а когда я подумал, что действие вот-вот начнется, вы, оказывается, уже подошли к концу. Я, конечно, понимаю, что по своему характеру ваш сюжет заставляет скорее пренебречь индивидуальностью и погрузиться в массу и целое, ибо ведь героем здесь является рассудок, который значительно более объемлет вокруг себя, чем в себе.

Впрочем, каково бы ни было эпическое качество вашей новой поэмы, она все же будет принадлежать к иному роду, нежели ваш «Герман», и если, стало быть, «Герман» — это чистое выражение эпического рода, а не просто одного эпического вида, то отсюда следует, что тем меньше оснований считать новую поэму эпической. Но ведь это-то вы и хотели знать — представляет ли «Герман» лишь один эпический вид, или весь род в целом, и мы, таким образом, снова подошли к тому же вопросу.

Я, пожалуй, назвал бы вашу новую поэму комико-эпической, если совсем отвлечься от ходячего ограниченного и эмпирического понятия комедии и прои-комической поэмы. Мне кажется, что ваша новая поэма приблизительно так относится к комедии, как «Герман» — к трагедии, с тем, однако, различием, что в «Германе» это больше зависит от сюжета, а в новой поэме от обработки.

Однако я дождусь вашего плана, чтобы поговорить об этом подробнее.

Что скажете насчет регенсбургского известия о мире? Если вы знаете что-либо определенное, сообщите нам.

Всего вам хорошего.

III.

То, что вы называете наилучшим драматическим сюжетом, таким, где экспозиция уже составляет часть развития, мы видим, например, в шекспировских «Близнецах». Подобный пример мне в трагедии неизвестен, хотя «Oedipus rex»¹ удивительно приближается к этому идеалу. Но я вполне могу представить себе такие драматические сюжеты, где экспозиция одновременно является и развитием действия. Сюда относятся «Макбет», могу назвать и «Разбойников».

Эпический поэт, по-моему, в экспозиции вовсе не нуждается, по крайней мере в том смысле, в каком она есть у поэта драматического. Так как первый не влечет нас столь стремительно к концу, как последний, то начало и конец в смысле их важности и значения гораздо больше сближаются, и экспозиция должна нас интересовать не потому, что она к чему-то ведет, а потому, что она сама представляет собою нечто. Думаю, что драматическому поэту в этом смысле следует оказывать гораздо большее снисхождение. Именно потому, что цель свою он полагает в продолжении и конце, ему можно дозволить дать начало скорее как средство. Он подчинен категории каузальности, а поэт эпический — категории субстанциальности; там нечто может и должно быть причиной чего-то иного, здесь все должно быть значимо само по себе.

Я очень благодарен вам за сообщение о дуисбургском предприятии; все это казалось мне весьма загадочным. Если бы это вообще было возможно, мне бы было очень интересно украсить комнату такими изображениями.

Завтра, наконец, думаю переселиться в мою усадьбу. Малыш совсем оправился, и, кажется, болезнь еще укрепила его здоровье.

Гумбольдт сегодня уехал; я несколько лет его не

¹ «Царь Эдип» (лат.).

увиджу, и вообще надо полагать, что мы никогда уже не встретимся такими, какими теперь расстаемся. Итак, вот еще одна дружба, которую можно считать завершенной и которая никогда не возродится; ибо два года, прожитые столь по-разному, изменяют слишком многое в нас, а значит, и между нами.

200. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Иена, 1 мая 1797 г.

Рад узнать, что гитара, наконец, прибыла. Поручение твое к Отто моя жена тотчас же исполнит.

Малыш теперь совсем оправился от ветрянки, перенес он ее довольно легко. Штарк вовсе не опасается так, как другие врачи, того, что во время действия прививки будут прорезаться зубы, он упорно настаивал на прививке для моего мальчика, хотя я и жена решительно возражали.

Я все еще не в усадьбе; дождь мешает просохнуть новым постройкам, но я очень стремлюсь на воздух, ибо здесь, в городе, я уже ничего не могу делать.

Гумбольдты покинули нас и, вероятно, очень надолго. Гете, видимо, тоже в конце лета уедет в Италию, так как теперь благодаря заключению мира это путешествие снова возможно. Великое благодарение господу за этот мир! Для всех нас он будет благотворен.

Поэма Гете «Герман и Доротея» выйдет к Михайловой ярмарке в форме календаря в Берлине у Фивега. Гете предпочел эту форму отчасти потому, что он таким образом может еще раз получить высокий гонорар, отчасти же для того, чтобы поэма таким путем получила широкое распространение.

Для моего Альманаха собрано пока немного. Но постепенно он составится.

Поло шлет сердечный привет. Обнимаю вас.

Твой III.

То, что ты написал недавно о Г. и В., вполне соответствует моим взглядам. В. — краснобай и острослов, но к поэтам его едва ли можно причислить в большей

степени, чем Вольтера и Попа. Он принадлежит к тому достохвальному времени, когда творения остроумия и поэтического гения считались синонимами.

То, что так часто многих вводит в заблуждение относительно его хороших и дурных сторон,— это его «немецкий дух» при этаком французском лоске. Этот немецкий дух подчас делает его истинным поэтом, а еще чаще — старой бабой и филистером. Он представляет собой удивительное смешение. Впрочем, его произведения не лишены восхитительных поэтических и гениальных моментов, и его природную сущность я все еще весьма почитаю, как она ни пострадала от его образования.

Гердер стал теперь совсем патологической натурой, и все, что он пишет, кажется мне продуктом недуга, извергаемым его организмом, отчего он, однако, не выздоравливает. Что мне в нем кажется отвратительным и действительно мерзким, это его трусливая дряблость при каком-то внутреннем упрямстве и резкости. Он испытывает ядовитую зависть ко всему доброму и энергичному и прикидывается, будто покровительствует всему среднему. Гете он говорил самые оскорбительные вещи о его «Мейстере». Против Канта и новых философов он скопил в душе много яда, но он не очень-то решается действовать открыто, так как боится неприятных истин, и только время от времени кусает кого-нибудь за икры. Следует возмущаться, что столь большая, необыкновенная сила совсем пропадает для доброго дела; порой и Шлоссер возбуждает у меня сходное чувство.

201. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 2 мая 1797 г.

Приветствую вас из моей усадьбы, в которую я сегодня перебрался. Меня окружает прекрасная местность, солнце заходит, дружелюбно прощаясь, и щелкают соловьи. Все вокруг веселит меня, и мой первый вечер в собственных владениях исполнен самых радостных предзнаменований.

Однако это и все, что я могу вам написать сегодня,

ибо из-за переезда голова совсем опустошена. Надеюсь завтра, наконец, с истинным удовольствием вновь прийтись за работу и уж не бросать ее.

Если бы вы прислали мне на несколько дней текст «Дон Жуана», вы бы оказали мне услугу. Я задумал сделать из этого балладу, и так как я знаю легенду только по рассказам, то мне хотелось бы видеть, как она обработана.

Всего хорошего. Сердечно рад тому, что вскоре снова некоторое время проведу с вами.

III.

202. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 5 мая 1797 г.

Я очень доволен Аристотелем, и не только им, но и самим собою; редко случается, чтобы по прочтении сочинений такого трезвого ума и холодного законодателя не был потерян внутренний мир. Аристотель — это настоящий адский судья для всех, кто либо рабски придерживается внешней формы, либо не считается ни с какой формой. Первых он постоянно наталкивает благодаря своему либерализму и уму на противоречия, потому что до очевидности ясно, насколько важнее для него сущность, чем любая внешняя форма, а вторым должна казаться ужасной строгость, с которой он из природы стихотворения и в особенности трагедии выводит свою непогрешимую форму. Теперь я понимаю то неприятное положение, в которое он поставил французских комментаторов, поэтов и прозаиков; и они всегда испытывали страх перед ним, как мальчишки перед розгой. Шекспир, хотя он на самом деле грешит против него, гораздо лучше мог бы согласоваться с ним, чем вся французская трагедия.

Однако я очень доволен, что не прочитал его раньше: я лишился бы большого удовольствия и многих выгод, которые он мне теперь приносит. Надо быть хорошо ориентированным в основных понятиях, чтобы читать его с пользой, а если предварительно не знать как следует предмета, о котором он трактует, то опасно прибегать к его совету.

Но он не может быть понят или оценен вполне. Вся его концепция трагедии покоится на эмпирическом основании: у него перед глазами была масса игранных трагедий, которых у нас перед глазами нет; и он выводит свои заключения из всего этого опыта, а нам недостает большей части базиса его суждений. Нигде не исходит он из понятия, а всегда из данного факта искусства, данного поэта и обстановки; и если его суждения по существу являются настоящими законами искусства, то мы этим обязаны счастливому случаю, а именно тому, что тогда были такие произведения искусства, которые фактом своего существования реализовали идею, или же, в индивидуальном случае, выражали на сцене свою родовую сущность.

А если искать у него философии поэзии, как этого можно требовать теперь от более нового ученого-эстета, то придется не только разочароваться, но и смеяться над его рапсодической манерой, над странным переплетением общих и самых частных правил, логических, просодических, риторических и поэтических положений, например, когда он доходит до гласных и согласных. Но если представить себе, что он имел перед собой какую-нибудь отдельную трагедию и задавал себе вопросы обо всех моментах, которые относились к ней, то все объясняется очень просто, и читатель остается доволен тем, что в этом случае подводится итог всем элементам, составляющим поэтическое произведение.

Я вовсе не удивляюсь тому, что он отдает предпочтение трагедии перед эпической поэмой; ведь по его пониманию, — хотя он и выражается очень двусмысленно, — этим не причиняется никакого ущерба оригинальной и поэтической ценности эпопеи. Его как критика и эстетика больше всего должен удовлетворять тот род искусства, который дан в устойчивой форме и который допускает возможность окончательного приговора. А такой случай, очевидно, представлен в трагедии, образцы которой находились перед ним; ведь более простая и более определенная задача драматурга доступнее пониманию и предписывает более совершенную технику по причине своей сравнительной краткости и меньшей широте. Кроме того, ясно видно,

что предпочтение, оказываемое им трагедии, основывается у него на более ясном понимании ее, что в эпопею он в сущности постиг только ее общепозитические законы, законы, общие для нее и для трагедии, а не законы специфические, противоположающие эпопею — трагедии. Поэтому-то он и мог сказать, что эпопея содержится в трагедии и что, кто способен разобраться в последней, тот может иметь суждение и о первой, ибо всеобщая действенно-поэтическая сущность эпопеи, конечно, содержится и в трагедии.

В этом трактате много кажущихся противоречий, которые, однако, в моих глазах придают ему более высокую ценность, потому что они подтверждают, что целое состоит лишь из частных *арегсис*¹ и что тут не участвовали никакие предвзятые теоретические понятия; кое-что, правда, можно отнести на счет переводчика.

Я был бы рад, когда вы будете здесь, побеседовать с вами о различных частях этого произведения.

То, что он в трагедии делает упор на связь событий, это очень метко.

А то, что он, сравнивая между собой поэзию и историю, приписывает первой большую ценность, чем второй, это меня в нем — человеку рассудка — очень порадовало.

И еще очень хорошо, когда он мимоходом, говоря о разных мнениях, делает замечание, что древние вкладывали в уста своих героев больше политики, новейшие же авторы — больше риторики.

Точно так же очень умно то, что он говорит в пользу настоящих исторических имен у драматических персонажей.

Я не заметил, чтобы он отдавал большое предпочтение Еврипиду, как его в этом обвиняют. Вообще же, прочитав эту поэтику, я нахожу, что его до ужаса неправильно поняли.

Прилагаю только что доставленное мне письмо Фосса. Он выслал мне также «Фаэтона» Овидия, переведенного гекзаметром для «Ор», что при моем *détresse*²

¹ Замечаний (*фр.*).

² Бедственном положении (*фр.*).

весьма кстати. Сам он, путешествуя, не заедет ни в Веймар, ни в Иену.

Что же касается карты к «Моисею», то не согласитесь ли вы отнести расходы на нее за счет статьи Ленца, которую я велю напечатать в пятом номере «Ор». Я ведь дал Котта обещание, что ни один лист не обойдется дороже четырех луидоров; иначе он не сможет продолжать издание «Ор»! А так все отлично устроится. Позаботьтесь только о том, чтобы мы поскорее могли отдать в печать «Моисея», а также и гравюру.

«Аристотель» принадлежит вам? Если нет, то я велю его выписать, мне не хотелось бы вскоре с ним расстаться.

Посылаю новый выпуск «Ор». С благодарностью возвращаю «Дон Жуана». Мне думается, этот сюжет годится для баллады.

Всего хорошего. Я уже совсем свыкся с новым образом жизни — даже в дурную погоду я целыми часами гуляю по саду и чувствую себя при этом прекрасно.

203. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 16 мая 1797 г.

Очень хорошо, что вы будете здесь заканчивать поэму, которую здесь же и начали. Иена может этим гордиться. Я уже заранее радуюсь и не только поэме, но и отличному расположению духа, которое вам принесет работа над поэмой и окончание ее.

Тем, что вы приедете неделей позже, вы избегнете вида грязи в моем доме; мне пришлось все же решиться на то, чтобы со стороны сада подвести под здание новые бревна, и к работе приступили сегодня. Собственно говоря, до сих пор жизнь в усадьбе могла иметь для меня некоторую прелесть только вследствие новизны обстановки, потому что либо погода была неблагоприятна, либо строительство лишало меня покоя. Но в остальном пребывание здесь мне на пользу, и к работе я уже тоже снова привыкаю.

Вы прочли Шлегелеву критику на Шлоссера? В основе своей она справедлива, однако в ней слишком ясно

видны недоброжелательство и тенденциозность. Этот господин Фридрих Шлегель вообще переходит все границы. Недавно он, например, рассказывал Александру Гумбольдту, что в журнале «Германия» он рецензировал «Агнесу» и отозвался о ней весьма резко. Но теперь, узнав, что автор ее не вы, он, дескать, сожалеет, что так сурово обошелся с ней. Видимо, этот глупец полагал, что ему следует заботиться о том, как бы не испортился ваш вкус. И подобная наглость соединяется у него с таким невежеством и поверхностностью, что он «Агнесу» и в самом деле принял за ваше произведение.

Болтовня о «Ксениях» еще продолжается; я нахожу все новые названия книг, в которых объявлена статья или что-нибудь в этом роде против «Ксений». Недавно я видел статью против «Ксений» в журнале, который носит такое название: «Летопись страждущего человечества».

Прошу не забывать об окончании «Челлини»; кроме того, может быть, когда вы будете рыться в ваших бумагах, вам попадется еще что-нибудь для «Ор» или для Альманаха.

Всего хорошего. Жена шлет вам искренний привет.

III.

204. ВИЛЬГЕЛЬМУ ШЛЕГЕЛЮ

[Иена, 1 июня (?) 1797 г.]

Прошу вас поверить, что я с большой неохотой решился на настоящий неприятный шаг, но обстоятельства давно требовали его. Вам я никакого упрека не бросаю и охотно верю, когда вы утверждаете, что по отношению ко мне вам упрекнуть себя не в чем; но это, к сожалению, ничего не меняет, ибо при серьезных поводах к неудовольствиям, которые мне дал и все еще продолжает давать ваш брат, взаимное доверие между вами и мной сохраняться не может. Отношения, ставшие невозможными вследствие естественной совокупности обстоятельств, при всем желании поддерживать нельзя. В узком кругу моих знакомств должна быть полная уверенность и неограниченное дове-

рие, а в наших отношениях, после того что произошло, этого быть не может. Нам поэтому лучше их прекратить; это печальная необходимость, которой мы оба, будучи, как я надеюсь, ни в чем не повинны, должны уступить; таков мой долг перед самим собой, потому что никто не сможет понять, как я могу быть в одно и то же время другом вашего дома и объектом оскорблений вашего брата.

Уверьте г-жу Шлегель, что я никогда не обращал внимания на смехотворный слух, будто бы она — автор той рецензии, и что я вообще считаю ее слишком рассудительной, чтобы вмешиваться в такого рода дела.

Шиллер.

205. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Йена, 23 июня 1797 г.

Ваше решение приступить к «Фаусту» в самом деле большая неожиданность для меня, особенно теперь, когда вы готовитесь к путешествию в Италию. Но я раз навсегда дал зарок не мерить вас по правилам обычной логики и, таким образом, заранее убежден, что ваш гений превосходно справится с этой задачей.

Ваше предложение сообщить вам о моих ожиданиях и пожеланиях не легко исполнить. Но, сколько это в моих силах, я постараюсь отыскать нить ваших мыслей и если даже из этого ничего не выйдет, то я воображу себе, что случайно нашел фрагменты «Фауста» и должен их обработать. Но здесь я позволю себе только заметить, что «Фауст» (я имею в виду произведение), при всех его поэтических особенностях, не может вполне отвести от себя требования в символической значимости, что соответствует, повидимому, вашей собственной идее. При этом мы не теряем из виду двойственности человеческой природы и неудачного стремления соединить в человеке божественное и физическое, и так как фабула переходит и должна перейти в нечто ослепительно яркое и бесформенное, то не хочется останавливаться на самом предмете, надо перейти от него к идеям. Словом, требования, которые можно предъ-

явить к «Фаусту», являются одновременно философскими и поэтическими требованиями и как бы вы ни изворачивались, все равно природа предмета возложит на вас задачу философски обработать его, и воображение должно будет приспособиться к служению разуму.

Но, говоря это, я вряд ли сообщаю вам что-либо новое, потому что в уже готовых частях вы начали в высокой степени удовлетворять этому требованию.

Если вы теперь действительно приметесь за «Фауста», то я не сомневаюсь в его полном завершении, и это меня очень радует.

Моя жена, доставившая мне ваше письмо и только что возвратившаяся из своего маленького путешествия с господином Карлом, мешает мне написать сегодня больше. Я рассчитываю послать вам завтра новую балладу. Теперь как раз подходящее время для воплощения идей. Будьте здоровы.

III.

206. ВОЛЬФАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 26 июня 1797 г.

Если только я в последний раз правильно вас понял, вы хотите облечь задуманную вами эпическую поэму «Охота» в форму рифмованных строф. Тогда я упустил случай поговорить об этом, но идея мне по душе; мне даже кажется, что она одна позволит новой поэме занять достойное место рядом с вашим «Германом». Не говоря уже о том, что самый замысел этой поэмы — совершенно в духе новой поэзии и, значит, требует для своего воплощения излюбленной в наше время строфической формы, — новая метрическая форма исключает конкуренцию и сравнение; она внушает читателю, да и самому поэту, совершенно другое настроение — это концерт на совсем ином инструменте. И в то же время у данного произведения возникают в этом случае какие-то права романтической поэмы, и хотя оно и не становится таковой, но обретает возможность прибегать если не к чудесному, то к редкому и поразительному; так что уже и вся история со львами и тиграми, которая все казалась мне необычайной, те-

перь уже вовсе не поражает меня. А от титулованной знати и охотников рукой подать до рыцарских фигур, да и вообще в мире знати, который должен быть представлен в этой поэме, есть нечто северногерманское и феодальное. Гекзаметр непременно напомнил бы об антично-греческом мире, далеком от этого сюжета, к которому вполне подходят средневековый и современный мир, и потому, пожалуй, современная поэзия вправе от него отказаться.

Я снова перечитал «Фауста», и у меня голова закружилась при мысли о развязке. И это вполне естественно, так как вещь эта покоится на наглядном представлении, и до тех пор, пока оно не приобретено, даже менее богатый предмет может смутить ум. Но во мне вызывает беспокойство то, что «Фауст» по своему существу, повидимому, требует целостности материи, раз в конце должна быть реализована идея, и для такой высоко поднимающейся массы я не нахожу никакого поэтического обруча, который бы ее удержал. Но вы выйдете из этого положения.

Например, следует, по моему мнению, ввести Фауста в активную жизнь, и что бы вы ни выбрали из этой массы, мне кажется, что в силу своей природы это потребует слишком большой обстоятельности и широты.

Что касается манеры трактовки, то я нахожу большое затруднение в том, чтобы счастливым образом балансировать между шуткой и серьезным. Ум и рассудок, как мне кажется, схватились в этом произведении не на жизнь, а на смерть. При теперешнем фрагментарном состоянии «Фауста» это очень чувствуется. Черта оправдывает перед разумом его реализм. Фауст же оправдан перед сердцем. Но иногда кажется, что они меняются ролями и что черт берет под свою защиту разум против Фауста.

Я вижу затруднение еще и в том, что черт благодаря своему характеру, который реалистичен, устраняет свое существование, которое идеалистично. Только рассудок может в него поверить, а разум может лишь его понять таким, каким он существует, и считаться с ним.

Вообще я полон ожидания того, насколько впору придется народная фабула философской части целого.

Посылаю одновременно мою балладу. Это в противовес к вашим «Журавлям». Напишите мне, как обстоит дело с барометром. Мне хочется знать, можем ли мы, наконец, надеяться на устойчивую погоду. Будьте здоровы.

Ш.

207. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Цена, 7 июля 1797 г.

Именно теперь, думается мне, подходящий момент для того, чтобы осветить и пересмотреть произведения греческого искусства с точки зрения характерного: повсюду еще продолжает господствовать взгляд Лессинга и Винкельмана, а наши самоновейшие эстетики, занимают ли они поэзией или пластическим искусством, выбиваются из сил, стараясь очистить греческое Прекрасное от всего характерного и сделать последнее отличительным признаком искусства современного. Думается мне, что новейшие теоретики, в результате их попыток выделить понятие прекрасного и рассматривать его в известной степени изолированно, почти что его обесмыслили и превратили в пустой звук; что они в противоположении прекрасного истинному и верному пошли слишком далеко и что слишком грубо принимают разграничение, которое проводит только философ и которое возможно только в одном определенном отношении.

Многие, по-моему, совершают иную ошибку, распространяя понятие прекрасного в большей мере на содержание произведений искусства, нежели на их форму, и они, разумеется, должны испытывать затруднение, когда им приходится подводить под одну идею прекрасного Аполлона ватиканского и подобные, по самому своему содержанию прекрасные, образы с Лаокооном, с каким-нибудь Фавном или иными неприятными либо гнусными изображениями.

Как вы знаете, с поэзией дело обстоит так же. Исконок веков немало мучились и мучаются еще до сих пор, чтобы совместить грубоватую, нередко низменную и уродливую природу у Гомера и трагиков с устапо-

вившимися понятиями о прекрасном у греков. Хотя бы кто-нибудь осмелился; наконец, вывести из обихода понятие, да и самое слово «Прекрасное», с которым неразрывно связаны все эти ложные понятия, и, что было бы совершенно справедливо, поставил бы на его место истину в ее совершеннейшем смысле.

Статью Гирта я охотно взял бы в «Оры». После того как путь был бы уже проложен, вам с Мейером было бы нетрудно продолжить эту линию, к тому же и публика была бы более подготовлена для вас. Да и я заинтересован в том, чтобы эта тема о характерном и страстном в произведениях греческого искусства стала предметом живого обсуждения, ибо я предвижу, что задуманное мною исследование греческой трагедии приведет меня к тому же вопросу. Вашей статьи ожидаю с большим нетерпением.

Я пришел к выводу, что музыкальная часть Альманаха должна быть готова в первую очередь, ибо иначе композиторам не справиться. Поэтому я приступил к моей песне об отливке колокола и со вчерашнего дня изучаю статьи в «Энциклопедии» Крюница, где нахожу много для себя полезного. Замысел этот мне очень по душе, но на его осуществление уйдут недели, потому что мне для него нужно множество различных настроений и необходимо обработать большой материал. Я бы не прочь, если вы меня одобрите, сделать еще четыре-пять надовесских песен, чтобы изобразить этот мир разносторонне, раз уже я вошел в него.

Из моей поездки в Веймар, предполагавшейся на этой неделе, ничего не получилось, надеюсь осуществить ее на будущей неделе. «Пролог» пока все еще в пути; как только он вернется, я пришлю его или привезу сам.

Всего вам хорошего. Жена шлет сердечный привет.

III.

208. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Иена, 10 июля 1797 г.

Я рад, что мой драматический дебют после перерыва в целых десять лет встречен тобой с одобрением. Если здоровье мое хоть сколько-нибудь не будет мне

мешать, я постараюсь в еще большей степени заслужить это одобрение всем, что сделаю после. Немалый успех уже в том, что я по большей части удачно выбрался из прежних моих ошибок и что, несмотря на мой внутренний кризис, я все же сберег то хорошее, что было в прежнюю пору.

Сюжет, на котором я попытал мси воскресшие драматургические силы, в самом деле отпугивающий, и я должен был каторжным трудом искупить легкомыслие, руководившее мною при выборе его. Ты не можешь себе представить, чего стоит бедному поэту, отрешенному, подобно мне, от всего мира, сдвинуть столь чуждую и дикую массу и преобразить столь сухое государственное действие в человеческую драму.

Прежде чем через год «Валленштейн» готов не будет. В этом году, весной и летом, я потерял несколько месяцев; Альманахом я тоже еще буду занят до сентября, а зимой дело движется медленно.

Между тем я хочу найти возможность приехать к вам до наступления зимы, хотя бы недели на три.

Вот тебе кое-что для развлечения. Если тебе этот род поэзии по духу, я могу сделать полдюжины таких вещей, ибо этому народу в самом деле присуще нечто поэтическое.

Дети здоровы. Сердечный привет от нас Минне и Доре. Гумбольдту тоже большой привет.

Твой III.

209. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 17 августа 1797 г.

Представление, которое вы даете мне о Франкфурте и о больших городах вообще, малоутешительно как для поэта, так и для философа, но истинность его очевидна. И так как истина, гласящая, что философствовать и творить стихи следует только для самого себя, окончательно установлена, против этого ничего и не скажешь; напротив, она лишь укрепляет решимость продолжать начатый благой путь и полностью избавляет нас от искушения использовать поэзию для какой-либо иной цели.

Я тоже, при всей незначительности моего жизненного опыта, убедился в том, что, посредством поэзии, как правило, не только нельзя ничего улучшить в жизни людей, но, напротив того, многое можно сильно испортить, и, по-моему, там, где недостижимо одно, надо стремиться к другому. Надо людям докучать, нарушать их тихий уют, повергать их в тревогу или изумление. Поэзия должна стоять пред ними либо как светлый гений, либо как привидение — одно из двух. Только это научит их верить в существование поэзии и преисполнит уважением к поэту. В самом деле, нигде я не видел большего уважения к поэту, как среди этой категории людей, хотя в то же время нигде оно не бывает и столь бесплодным и равнодушным. В каждом человеке есть нечто такое, что влечет его к поэту; вы можете быть самым неверующим реалистом, но вы все же должны признать, что это нечто, этот икс — зародыш идеализма, и только он один препятствует тому, чтобы действительность с ее плоской эмпирией не уничтожила всякую способность к восприятию поэзии. Разумеется, верно, что он далеко не способствует возникновению истинно прекрасного и эстетического восприятия, напротив — часто даже сковывает его, как свободу сковывают моральные тенденции; однако тот факт, что открыт некий выход из эмпирии, сам по себе уже значит немало.

Мой протеже, г-н Шмидт, судя по всему, пока не принес мне особой славы, но я хочу надеяться на лучшее, пока не почувствую, что изнемогаю. Такова уж моя безнадежная натура: для меня очень важно, годятся ли на что-нибудь другие люди и может ли из них что-нибудь выйти; поэтому я как можно позже брошу возиться с этими Гёльдерлином и Шмидтом.

Г-н Шмидт, такой, каков он сейчас, конечно, не что иное, как карикатура на эмпирический мир Франкфурта; так же, как этому миру некогда углубиться в себя, Шмидт и ему подобные никак не могут выбраться за пределы самих себя. Я бы сказал, что здесь мы видим достаточно много чувства, но не видим предмета, вызвавшего его, там же один только голый, пустой предмет без всякого чувства. И так повсюду: есть толь-

ко составные части для человека, такого, какой нужен поэту, но все они существуют врозь и не воссоединены.

Хотел бы я знать, всегда ли и при любых ли обстоятельствах эти Шмидты, Рихтеры и Гельдерлины остались бы столь же субъективными, экзальтированными, односторонними, нет ли в этом известной примитивности, а может быть, это вызвано только роковым недостатком в природе эстетических впечатлений и влиянием извне, а также оппозицией практического мира, в котором они живут, их идеалистическим склонностям.

В высшей степени справедливо ваше замечание о том, что у тех, кто приходит к поэзии от определенных занятий, наблюдается известная серьезность и искренность, но что у них нет свободы, спокойствия и ясности. Серьезность и искренность появляются как естественное следствие в тех случаях, когда вступают в противоречие склонность и практическая деятельность, когда человек пребывает в одиночестве и взор его обращен лишь на себя самого; купеческий сын, пишущий стихи, должен быть способен на большую искренность, ибо повсюду он сталкивается только с этим. И в такой же степени естественно, что он обращает больше внимания на моральную сторону, нежели на эстетическую, потому что он чувствует со страстной силой, потому что он вынужден уходить в себя и потому что предметы внешнего мира скорее отталкивают его, нежели привлекают, и он, таким образом, никогда не может подняться до ясного и спокойного их созерцания.

С другой стороны, я, в подтверждение вашего наблюдения, полагаю, что те, кто приходит в поэзию из свободных сословий, обнаруживают известную свободу, ясность и легкость, но недостаточную серьезность и искренность. У первых характерное выпячивается почти как карикатура, причем всегда с известной односторонностью и жестокостью; у последних следует опасаться суждений, лишенных характерности, плоских и едва ли не поверхностных. Я бы сказал, что последние ближе к эстетическому по форме, первые по содержанию... На это наблюдение я натолкнулся, сравнивая наших поэтов, иенскую и веймарскую. Наша приятельница Мери в самом деле обладает известной иск-

ренностью, а подчас даже значительностью чувства, нельзя ей отказать и в известной глубине. Просто она сформировалась в условиях одинокой жизни и противоречия с миром. Напротив того, Амалия Имгоф пришла в поэзию не столько благодаря сердцу, сколько воображению и до конца дней своих только и будет предаваться игре фантазии. Но так как согласно моему пониманию в искусстве есть одновременно и серьезное и игровое начало, причем серьезное зиждется на содержании, а игровое — на форме, то Мерио всегда будет недостаточно поэтична в отношении формы, а Имгоф — в отношении содержания. С моей свояченицей иное дело: у нее есть положительные черты обеих, но слишком богатая фантазия удаляет ее от того, что является самым важным.

Я уже сообщал вам как-то, что я в письме высказал Козергартену мое мнение и с нетерпением ждал его ответа. Теперь он мне написал и очень благодарит за откровенность. Впрочем, ему уже ничем не помочь, — это видно хотя бы по присланному им вместе с письмом указателю его стихотворений, какой мог бы написать только сумасшедший. Некоторым людям ничем не поможешь, а уж этому в особенности, господь бог одарил его медным лбом.

Посылаю вам, наконец, «Ивика». Надеюсь, что вы останетесь им довольны. Признаюсь, что при ближайшем знакомстве с материалом я столкнулся с большими трудностями, нежели ожидал вначале; но, моему, я их почти что преодолел. Мне казалось, что две главные задачи заключались в следующем: *во-первых*, сообщить повествованию последовательность, которой была лишена необработанная фабула, и, *во-вторых*, подготовить настроение, необходимое для эффектной развязки. Навести окончательный лоск я еще не успел, ибо только вчера вечером закончил работу, и мне крайне важно, чтобы вы поскорее прочли балладу, я, быть может, еще успею воспользоваться вашими замечаниями. Для меня самым отрадным было бы услышать, что в главных пунктах я схожусь с вами.

Посылаю вам и два образчика Альманаха. Следующее письмо к вам я пошлю прямо Котта, так как пола-

гаю, что в конце месяца вас во Франкфурте уже не будет.

Здоровье мое с прошлой недели улучшилось, дома тоже все хорошо. Жена шлет вам сердечный привет. О Гумбольдтах я с самого их отъезда в Дрезден ничего еще не слышал. Получил из наследия Готтера его оперу «Остров духов», это — переработка шекспировской «Бури»; я прочел первый акт, он чудосочен и жидковат. И все же, благодарение небу, у меня есть возможность заполнить несколько листов в «Орах», — а главное — трудами столь классического писателя, который перед смертью так горько сетовал на времена гениев и ксениев. Так-то мы заставляем дух того самого Готтера, который при жизни не желал знаясь с «Орами», после смерти являться на их страницах.

Желаю вам доброго здоровья, жду вестей.

Шиллер.

210. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 7 сентября 1797 г.

Наконец-то я начинаю себя лучше чувствовать и обретаю прежнее расположение духа. После того как я отослал вам мое последнее письмо, мне стало еще хуже, давно мне уже не было так скверно, пока, наконец, рвотное не восстановило меня. На это время я почти прервал все мои занятия, а скудные минуты, когда самочувствие мое было сносным, отнимал у меня Альманах. В занятии такого рода, именно вследствие его непрерывного и неумолимо ровного ритма, есть нечто благодетельное, ибо оно устраняет произвол и возобновляется со строгой точностью, подобной смене суток. Берешь себя в руки, потому что это необходимо, и если предъявляешь к себе известные требования, дело ладится несколько не хуже. Печатание Альманаха скоро закончится, и если приложения, обложка, титульная гравюра и ноты нас не задержат, книжка будет разослана еще до Михайлова дня.

В «Ивика» я, по вашему совету, внес существенные изменения; экспозиция теперь не такая скудная,

герой баллады вызывает большой интерес, журавли тоже больше занимают воображение и достаточно овладевают вниманием, чтобы при их заключительном появлении они не были забыты из-за всего предыдущего.

Что же касается ваших замечаний по поводу развития действия, я не мог в этом отношении полностью удовлетворить ваше желание. Если я представляю так, что возглас убийцы был якобы услышан лишь ближайшими к нему зрителями и что среди них поднялось движение, каковое, вместе с вызвавшим его поводом, должно затем передаться всем, то я навяжу себе деталь, которая здесь, когда господствует столь нетерпеливое ожидание, очень меня стеснит, ослабит целостность, разобьет впечатление и т. д. Однако изложение мое не должно переходить в область чудесного,— это я учитывал уже и при первоначальном замысле, но оставил все слишком неопределенным. Катастрофа должна объясняться простой, естественной случайностью. Случайно над театром пролетает стая журавлей, убийца находится среди зрителей, пьеса не то, чтобы тронула или потрясла его, этого я не думаю, она *напомнила* ему о преступлении, а значит и о том, что в то время происходило, мысль его этим занята, вот почему появление в такой момент журавлей должно его поразить,— он грубый и тупой парень, подверженный власти мгновенного впечатления. При подобных обстоятельствах громкий возглас естествен.

Так как я считаю, что он сидит *наверху*, там, где расположены места для простонародья, то, *во-первых*, он может увидеть журавлей прежде, чем они появятся над центром театра; это дает мне возможность сделать так, что возглас предшествует реальному появлению журавлей, от чего здесь многое зависит, и что вследствие этого реальное появление журавлей приобретает большую значительность. *Во-вторых*, я еще выигрываю в том смысле, что, поскольку он кричит сверху, его могут лучше услышать. А посему вполне правдоподобно, что его крик слышит весь театр, хотя и не все понимают его слова.

Самому впечатлению, произведенному его восклица-

нием, я посвятил еще одну строфу, но раскрытие преступления, происшедшее следствием этого восклицания, я не хотел изобразить обстоятельнее, ибо как только путь к обнаружению убийцы открыт (а это дает возглас и следующие за ним замешательство и страх), баллада кончена, все дальнейшее уже не представляет интереса для поэта.

Балладу, в измененном виде, я послал Бёттигеру, чтобы узнать от него, не противоречит ли в ней что-либо древнегреческим обычаям. Как только я получу ее обратно, я наведу окончательный лоск и спешно сдам в печать. В следующем письме я надеюсь прислать вам ее оттиск вместе с последней частью Альманаха. Шлегель тоже прислал еще одну балладу, в которой обработана история Ариона с дельфином. Замысел вполне удачен, но осуществление его кажется мне холодным, сухим и лишенным интереса. Он еще хотел обработать в виде баллады «Сакунталу»; странное предприятие для него, да уберезет его от этого его ангел-хранитель.

Ваше предпоследнее письмо от 16 августа я получил со значительным опозданием, ибо Бёттигера, который должен был его переслать, не было. «Сентиментальные» проявления у вас меня нимало не удивляют, и мне кажется; что вы сами исчерпывающе себе объяснили их. Потребностью поэтических натур, чтобы не сказать — человеческих душ вообще, является стремление терпеть вокруг себя как можно меньше пустоты и присвоить себе посредством ощущения как можно больше от окружающего мира, во всех явлениях искать их суть и всегда требовать полной человечности. Если предмет лишен индивидуальности и, стало быть, в поэтическом отношении бессодержателен, тогда человеческий разум старается осмыслить его как символ и, таким образом, выразить его на языке, доступном человечеству. А «сентиментальное» (в хорошем смысле) всегда является следствием поэтического стремления, которое не вполне реализовалось — либо по причинам, заключенным в самом предмете, либо по причинам, связанным с душой автора. Подобное поэтическое стремление, без чисто поэтической настроенности и без

поэтического предмета, — таков, по-моему, ваш случай, и то, что вы в связи с этим испытали, — не что иное, как общая история «сентиментального» мироощущения, и он подтверждает все, что мы с вами установили по этому поводу.

Хочу заметить еще вот что: вы высказываетесь в том смысле, будто бы здесь большую роль играет предмет, а с этим я согласиться не могу. Конечно, предмет должен что-то *значить*, равно как предмет должен чем-то *быть*; но в конечном счете все сводится к душе автора, к тому, означает ли тот или иной предмет для него что-нибудь или нет; по-моему, пустота или содержательность зависят в большей мере от субъекта, нежели от объекта. Границы указывает дух, а плоское или остроумное я здесь, как и везде, могу определить только в зависимости от характера обработки материала, но не от его выбора. Тем, чем явились для вас два упомянутых вами места, вероятно, при других обстоятельствах, при более сильной поэтической настроенности, могли бы быть для вас: любая *дорога*, *мост*, любое *судно*, *плуг* или какое-нибудь другое механическое орудие.

Только не отбрасывайте эти «сентиментальные» переживания и давайте им выражение всякий раз, как только это для вас возможно. Ничто, кроме поэзии, не очищает душу от пустого и пошлого так, как подобное созерцание предметов; целый мир включается в единичное явление, а плоские вещи приобретают бесконечную глубину. Если же это не нечто поэтическое, то, как вы сами выражаетесь, это нечто человеческое, а человеческое всегда есть начало поэзии, являющейся лишь высшим его проявлением.

Сегодня, то есть 8-го, я получил письмо от Котта, который сообщает, что вы с 30-го в Штутгарте. Я не могу представить себе вас в Штутгарте, чтобы тоже не впасть в сентиментальность. Как много дал бы я 16 лет назад, чтобы повстречать вас на этой земле, и какое удивительное ощущение возникает у меня, когда я сопоставляю обстоятельства и чувства, воскрешаемые во мне этими местами, с нашими нынешними взаимоотношениями.

Мне не терпится узнать, надолго ли вас задержали в тех краях удовольствия и дела. Надеюсь, письмо мое от 30-го еще застало вас там; но это, вероятно, достигнет вас уже в Цюрихе и у нашего друга, которому я шлю сердечный привет.

Прошу вас, напишите в ближайшем письме, как поступить с предназначенными для вас экземплярами Альманаха, куда их переслать и кому.

Искренне рад, что вы подумали и об «Орах» и обещаете мне что-либо для них в октябре. При всем, что сделано вами для того, чтобы овладеть всею массой окружающих вас впечатлений, к вам, вероятно, устремляется неисчерпаемый поток материала.

Мне было очень приятно, что Гёльдерлин успел вам представиться; он не писал мне о том, что собирается это сделать, так что решился на это, видимо, неожиданно. Здесь явился еще один поэтический гений шлегелевского типа и склада. Вы увидите его в Альманахе. Он создал подражание шлегелевскому «Пигмалиону» и, в таком же духе, — символического «Фаэтона». Произведения эти достаточно глупы, но некоторый интерес им сообщают хорошее качество стиха и отдельные хорошие мысли.

Желаю вам здоровья и прошу вас и впредь давать мне возможность следить за вашими мыслями. Сердечный привет от жены. Ваш малыш как будто совсем поправился?

Ш.

211. ВОЛЬФАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 22 сентября 1797 г.

Ваше письмо, вместе с приложением, снова доставило нам большую радость. Песня исполнена веселости и естественности. Мне кажется, что этот род поэзии уже потому весьма благоприятен для поэта, что он освобождает его от всех отягчающих дополнений, как то: вступления, переходы, описания и проч., и позволяет ему легко снимать прямо с поверхности предмета только острое и важное.

Можно, таким образом, считать, что здесь дан по-чин новому сборнику, положено начало новому «беско-нечному» ряду: ибо в этом стихотворении, как во вся-кой настоящей поэзии, заключен целый поэтический род — благодаря душевному состоянию, которое оно возбуждает, и форме, которую оно создает.

Я бы очень хотел понаблюдать впечатление, кото-рое ваш «Герман» произвел на моих штутгартских дру-зей. Уверен, что их реакция была достаточно сердечна, но ведь так мало людей могут, не смущаясь, созер-цать наготу человеческой природы. Однако я несколь-ко не сомневаюсь в том, что в конце концов ваш «Гер-ман» восторжествует над всеми этими субъективными восприятиями, восторжествует благодаря самому пре-красному свойству поэтического произведения — цель-ности, чистоте, ясности формы и тем, что в нем исчер-пывающе полно дан весь круг человеческих чувств.

В последнем письме я уже известил вас о том, что вынужден был отложить работу над «Колоколом». Со-знаюсь, что, раз уж так вышло, я не слишком этим огорчен. Благодаря тому, что я еще год буду вынаши-вать и согревать эту тему, стихотворение, которое представляет собой немалую задачу, по-настоящему со-зреет. Да к тому же этот год — год баллад, а будущий, по всей видимости, должен стать годом песен, к раз-ряду коих относится и «Колокол».

Между тем нельзя сказать, чтобы последняя неделя у меня пропала для Альманаха. Случай доставил мне еще одну изрядную тему для баллады; большая часть этой баллады уже закончена. Как мне кажется, ею можно достойно закончить Альманах. Состоит она из 24 восьмистиший и озаглавлена: «Хождение на желез-ный завод», из чего вы можете видеть, что я овладел стихией огня, после того как объездил воду и воздух. Со следующей почтой вы получите ее в напечатанном виде, вместе со всем Альманахом.

Мне бы очень хотелось, чтобы «Журавли» удовлет-ворили вас в том виде, в каком вы теперь их прочи-таете. Они несомненно выиграли благодаря идее, кото-рую вы мне подсказали для экспозиции. Кроме того, полагаю, что первоначально для полной характери-

стики фурий не хватало одной строфы, которую я теперь им посвятил.

Я тоже прочел маленький «Трактат» Канта и, несмотря на то, что содержание его не дает, собственно, ничего нового, порадовался его превосходным мыслям. В этом старике есть что-то удивительно юношеское, можно сказать эстетическое, если бы не смущала ужа-сающая форма, которую можно назвать философско-канцелярским слогом.

Со Шлоссером, может быть, все так и обстоит, как вы говорите, но его отношение к критическим филосо-фам настолько двусмысленно, что это едва ли можно не принимать во внимание. Кроме того, мне кажется, что во всех спорах, когда мыслящие люди защищают сверхъестественное от разума, можно сомневаться в их честности; опыт в этом отношении уже достаточно велик, к тому же это и вполне понятно.

Мы здесь наслаждаемся теперь прекрасными осен-ними днями; у вас еще, вероятно, чувствуется конец лета. В моей усадьбе идут серьезные приготовления, чтобы значительно улучшить ее для будущих лет. Мы сняли неплохой урожае овощей, причем нас немало позабавил Карл.

В связи с неясными видами на войну и мир мы продолжаем сомневаться в том, что вам удастся вскоре осуществить вашу итальянскую поездку, и надеемся увидеть вас в наших краях прежде, чем мы вас ожи-дали.

Будьте здоровы и передайте Мейеру от нас самые дружеские приветы. Сердечно поздравляем вас с ва-шей встречей. Жена шлет сердечный привет.

III.

212. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 20 октября 1797 г.

Несколько дней назад Бёттигер прислал нам два прекрасных экземпляра вашего «Германа», что нас очень обрадовало. Итак, он вышел в свет, и мы послу-шаем, как голос гомеровского рапсода раздастся в этом новом мире политики и риторики. Я опять перечитал

это произведение со старым, неослабевшим интересом и по-новому захвачен им; оно является совершенством в своем роде, оно исполнено могучего пафоса, и в то же время оно в высшей степени прелестно, короче говоря, оно невыразимо прекрасно.

Совсем недавно я перечитал и «Мейстера», — никогда я еще не представлял себе так разительно, что означает внешняя форма. Форма «Мейстера», подобно форме всякого вообще романа, просто непоэтична, она вся относится к области рассудка, подлежит всем его требованиям и ограничивается теми же пределами, что и он. Но так как этой формой пользовался истинный поэт, выражая в этой форме самые поэтические состояния, то отсюда возникает странное колебание между поэтическим и прозаическим настроением, колебание, которому я не могу подыскать настоящего названия. Я готов сказать: Мейстеру недостает (именно этому роману) некоторой поэтической смелости, так как он в качестве романа постоянно готов угождать рассудку, и, угождая ему, он все же лишен настоящей трезвости (а на это требование он до некоторой степени наталкивает сам), потому что он порождение истинно поэтического духа. Разберитесь в этом сами, как только сумеете, я сообщаю вам лишь свое впечатление.

Так как вы поднялись до той грани, где должны требовать от себя наивысшего, в котором объективное должно слиться с субъективным в абсолютное единство, то необходимо стремиться к тому, чтобы все, что ваш дух может вложить в произведение, обретало чистейшую форму, с тем, чтобы ничто не терялось благодаря нечистому медиуму. И сколько читателей ощущают в «Мейстере» неполноту того, что составляет очарование «Германа»! У того есть все; все сокровища вашего духа, он овладевает сердцем со всем могуществом поэзии, доставляя все новые и новые наслаждения, и все же Герман (благодаря лишь чистоте своей поэтической формы) уводит меня в божественный мир поэзии, тогда как Мейстер не дает мне оторваться от действительного мира.

Раз уж я пустился критиковать, то позволю себе

сделать еще одно замечание, которое у меня возникло при перечитывании. В «Мейстере» явным образом слишком много элементов трагедии; я понимаю под этим то, что исполнено каких-то предчувствий, чего-то непостижимого, субъективно чудесного, чему хотя и свойственны поэтическая глубина и затаенный смысл, но что несовместимо с ясностью, какая должна царить в романе и какая так великолепно проявилась и на этот раз. Неприятно, когда теряешь почву под ногами там, где ожидаешь, что всюду под тобой твердая земля, и когда наталкиваешься на загадки там, где все так прекрасно распутывается рассудком. Коротче говоря, мне кажется, что вы прибегли здесь к такому средству, на которое вас не уполномочивал дух вашего произведения.

А впрочем, я не в состоянии выразить, как это повторное чтение «Мейстера» снова обогатило меня, оживило, привело в восхищение,— я вижу там источник, из которого я буду черпать поддержку своим душевным силам и особенно тому, что является их средоточием.

III.

213. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 28 ноября 1797 г.

Слава богу, я снова имею известие от вас. Эти три недели, пока вы, отрезанный от нас, бродили по горам, казались мне томительно длинными. Тем более меня обрадовало ваше последнее милое письмо и все, что в нем было... Замысел «Вильгельма Телля» очень удачен, и если пораздумать, то после «Мейстера» и «Германа» вы, со свойственной вам оригинальностью мысли и свежестью чувства, можете приняться только за такой характерно местный сюжет. Интерес, внушаемый строго определенной характерной местностью и известной исторической связанностью,— таков, пожалуй, единственный вид интереса, который вы еще не исчерпали для самого себя в двух предшествующих произведениях. Обе эти вещи эстетически свободны и по сюжету, и хотя место в них обеих кажется опреде-

ленным, это все же почва чисто поэтическая, представляющая собою весь мир. В «Телле» будет совсем иное: здесь вся напряженная внутренняя жизнь будет вытекать из существенно важной ограниченности данного сюжета. Волею поэта читатель будет очень ограничен, а в этих тесных пределах он будет глубоко и интенсивно взволнован и увлечен. В то же время из этого прекрасного сюжета открывается весьма обширный вид на человеческий род, подобно тому как в просвет между высокими горами открываются свободные дали.

Как бы я хотел, в связи также и с этой поэмой, поскорее соединиться с вами. Быть может, теперь вы охотнее стали бы беседовать со мной о ней, ибо ведь единство и ясность вашего «Германа» нимало не пострадали от того, что вы делились со мною вашими мыслями по ходу работы. А я сознаюсь, ничто на свете не научило меня столь многому, как эти сообщения, вводившие меня в самую глубокую сущность искусства.

Песня о мельничном ручье тоже прелестна, она доставила нам большое удовольствие. Это необыкновенно приятная форма иносказания, вызывающая восхитительную игру воображения; стихотворный размер найден для нее тоже весьма удачно. Очень хороши и двустишия.

Гумбольдт прислал, наконец, письмо; он в Мюнхене. Теперь он отправляется в Базель, где решит, состоится ли поездка в Париж, или нет. Вас он, стало быть, едва ли застанет, разве только в том случае, если вы останетесь на зиму под Цюрихом, куда он направится, если не поедет в Париж. Он весьма подробно описывает большие соляные копи близ Берхтольдсгадена, где он побывал. Ему, кажется, очень пришелся по душе народ Баварии, и он очень восхиляется тамошнего военного министра, некоего Румдора, за его прекрасные человеколюбивые начинания.

Мы снова в городе и все здоровы. Я усердно тружусь над «Валленштейном», но он подвигается очень медленно, так как обильный и неподатливый материал доставляет немало хлопот.

Надеюсь, вы получили Альманах, а также мои письма от 2, 6 и 20 октября.

Всего хорошего вам и Мейеру, которому все мы кланяемся. Поскорее бы наш добрый гений вернул вас нам. Жена сама вам пишет несколько строк. Недавно я в один вечер прочел обществу моих друзей «Германа» от начала до конца. Он снова произвел на нас невыразимое впечатление, а мне он к тому же так живо напомнил те вечера, когда вы его нам читали, что я был взволнован вдвойне.

Еще раз всего хорошего.

Ш.

214. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 28 ноября 1797 г.

Вашей элегией вы снова доставили нам большое удовольствие. Она безусловно принадлежит к роду настоящей поэзии, ибо посредством столь простого приема, посредством легкого обыгрывания предмета она волнует нас до глубины души и приобретает самый возвышенный смысл.

Желаю вам, чтобы в эти мрачные гнетущие дни, которые, насколько я знаю, и для вас так тягостны, вас не раз посещали столь счастливые вдохновения. Мне необходима вся моя гибкость для того, чтобы дышать и двигаться под этим давящим небосводом.

В течение последних дней я читал драмы Шекспира, изображающие войну двух роз, и теперь, окончив чтение «Ричарда III», исполнен истинного изумления. Эта пьеса — одна из самых возвышенных трагедий, какие я знаю; в тот миг я сомневался, может ли соперничать с нею какое-либо иное произведение, даже самого Шекспира. Великие судьбы, истоки которых представлены в предшествующих драмах, здесь закончены истинно царственным образом, и возвышеннейшая идея располагает их рядом друг с другом. Этому высокому впечатлению весьма способствует то, что уже самый сюжет исключает все мягкотелое, неопределенное, слезливое; все здесь энергично и грандиозно,

ничто человечески обыденное не нарушает чисто эстетического волнения, и, читая, кажется, что наслаждаешься чистой формой трагически ужасного. Повсюду в драме, во всех образах ее, ощущается высокая Немезида, — от этого впечатления нельзя отделаться от начала до конца. Восхищения достойно, с каким искусством поэт всегда извлекал поэтическую добычу из неподатливого материала, как умело он представляет нам то, что не поддается изображению, — я имею в виду искусство пользоваться символами там, где невозможно изображать природу. Ни одна пьеса Шекспира не напомнила мне в такой степени греческую трагедию.

Право же, стоило бы потрудиться, чтобы со всей обдуманностью, на которую мы теперь способны, подготовить для сцены эту серию из восьми драм. Это могло бы быть началом целой эпохи. Об этом нам непременно следует посоветоваться.

Желаю всего хорошего вам и нашему другу Мейеру.

Мой «Валленштейн» день ото дня приобретает все более отчетливую форму, и я собою вполне доволен.

Ш.

215. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 1 декабря 1797 г.

Не браните меня за то, что сегодня вместе с этим письмом вы не получите комедию, которую просили; я начал искать ее лишь поздно вечером при свечах и безуспешно проискал добрых полчаса. В воскресенье я перешлю ее вам конной почтой.

Мой «Валленштейн» разбухает так, что меня это раздражает, — в особенности теперь, когда ямбы, хотя они своей выразительностью и сокращают объем произведения, поддерживают атмосферу поэтического благодушия, толкающую автора на длинноты. Вы сами увидите, надо ли и можно ли было писать короче. Мой первый акт настолько велик, что я мог бы уместить в нем три первых акта вашей «Ифигении», не совсем его заполнив; конечно, следующие акты будут много

короче. Экспозиция требует экстенсивности, тогда как развивающееся действие само собой влечет интенсивность. У меня такое ощущение, будто меня осенил некий эпический дух, который можно было бы объяснить мощью вашего непосредственного воздействия, но я не думаю, что он мешает драматическому, ибо он, быть может, единственное средство, при помощи которого этому прозаическому материалу можно придать поэтический характер.

Так как мой первый акт более или менее статистичен или статичен и изображает данное состояние, еще, собственно, не меняя его, то я воспользовался этим спокойным началом, чтобы сделать моим основным предметом мир и то всеобщее, на чем держится действие. Вследствие этого мысль и чувства слушателя расширяются, и порыв, который они получают с самого начала, должен, надеюсь, удержать все действие на достаточной высоте.

Мейера я недавно просил доставить мне для следующего Альманаха ваш портрет. Мы хотим это сделать заблаговременно, чтобы гравюру можно было исполнить не спеша. Мне хочется, чтобы для «Валленштейна» он мне сделал изображение Немезиды; такое украшение будет интересным и значительным. Мейер сочинит Немезиду трагического характера; я бы желал иметь ее виньеткой на самом титульном листе.

Могу ли я надеяться, что вскоре вы дадите что-нибудь для «Ор»? Ведь в эти унылые декабрьские дни нельзя делать ничего лучшего, чем зарабатывать деньги, чтобы тратить их в другие дни, более погожие. Нет ли у вас теперь желания завершить «Моисея», или, может быть, найдется другая вещь, которую можно быстрее закончить? Я очень беден, а ведь «Часы» стоять на месте не желают.

Будьте здоровы, желаю вам с Мейером наслаждаться вашей художественной добычей, сокровища коей мне не терпится увидеть; они дадут нам повод для более конкретных суждений об искусстве, в которых я столь остро нуждаюсь. Жена шлет сердечный привет.

Иена, 8 декабря 1797 г.

Я теперь полностью примирился с необходимостью, удерживающей меня здесь на ближайшие месяцы, ибо поездка в Веймар даже не была бы для меня способом чаще встречаться с вами; так что со следующего месяца, благословясь, возобновим прежнюю жизнь, которая не проиграет от присутствия Мейера. Разумеется, нет ничего дурного в том, что между вашей первой и второй эпическими поэмами вы вдвигаете «Фауста». Таким путем вы увеличиваете силу поэтического потока и возбуждаете в себе безудержное стремление к новому чистому творчеству, а уже это есть наполовину вдохновение. «Фауст», когда вы кончите работать над ним, наверняка не оставит вас таким, каким вы к нему приступили; в вас возникает и обостряется какая-нибудь новая сила, так что к вашему новому созданию вы придете обогащенным и исполненным огня.

«Валленштейну» я отдаюся как только могу, но патологическое напряжение физической природы от такой поэтической работы очень изнуряет меня. К счастью, моя болезненность не подавляет моего вдохновения, но она приводит к тому, что оживление во время творчества быстрее утомляет меня и выбивает из колеи. Поэтому мне обычно приходится расплачиваться пятью-шестью днями уныния и страданий за один день счастливого творческого подъема. Это, как вы можете себе представить, необычайно меня задерживает. Однако я не теряю надежды будущим летом увидеть «Валленштейна» на веймарской сцене, а будущей весной целиком погрузиться в моих «Мальтийцев».

Они теперь занимают меня иногда во время отдыха от работы. Есть нечто очень привлекательное для меня в такого рода сюжетах, которые обособляются сами собой и образуют целый замкнутый мир. Этим свойством я широко пользовался в «Валленштейне», а в «Мальтийцах» оно будет мне еще больше на руку. Если этот орден и в самом деле является индивидуумом *sui generis*¹, то в

¹ Своего рода (лат.).

процессе драматического действия это усиливается. Все связи с внешним миром оборваны блокадой, он сосредоточен на себе самом, на заботах о собственном существовании, и в этот момент спасти его от гибели могут только свойства, делающие его тем, что он есть.

Эта драма должна быть написана в такой же степени просто, в какой «Валленштейн» сложен, и я заранее радуюсь тому, что смогу в простом сюжете найти все, что мне нужно, и что впрок пойдет все, что я найду значительного. Я могу ее построить, полностью сохранив греческую форму и по Аристотелевой схеме, с хорами и без членения на акты, так я и собираюсь сделать. Будьте добры, объясните мне, откуда взялось членение на акты? У Аристотеля ничего об этом нет, и ко многим греческим драмам оно вовсе неприменимо.

Кернер пишет мне, что Гесслер снова в Дрездене. Итальянку свою он как будто оставил в Швейцарии, чтобы она там еще обтесалась. Будем надеяться, что она тем временем сбежит от него с другим.

О Гумбольдте я ничего не слышал вот уже полтора месяца и заключаю из этого, что он действительно уехал в Париж, потому что если бы он сидел в Швейцарии, то одна скука заставила бы его написать.

Будьте здоровы и потерпите еще немного до конца этого месяца. У меня теперь все благополучно. Жена шлет сердечный привет. Я рад, что и старику Мейеру покажу что-нибудь из «Валленштейна».

III.

217. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Вена, 12 декабря 1797 г.

Так как в эти дни я займусь любовными сценами второго акта «Валленштейна», то не могу без замирания сердца думать о сцене и о театральной судьбе моей драмы. Ибо построение целого требовало, чтобы любовь, не столько действием, сколько тем, что она спокойно довольствуется собой и свободна от всяких целей, была противопоставлена прочему действию, представляющему собой неудержимое планомерное стремление к определенной цели; таким образом она должна завер-

пить известный человеческий круг. Однако в таком свойстве она не сценична, по крайней мере сценична не в том смысле, в каком она может быть представлена при наших театральных средствах и нашей публике. Поэтому, чтобы сохранить поэтическую свободу, мне нужно надолго изгнать всякую мысль о постановке.

Неужели трагедия вам действительно чужда вследствие ее патетической силы? Во всех ваших поэтических созданиях я нахожу трагическую мощь и глубину, которых хватило бы для совершенной трагедии; в «Вильгельме Мейстере», если говорить о чувстве, заключено больше одной трагедии; я думаю, что просто строгая прямая линия, которой должен придерживаться трагический поэт, чужда вашей натуре, постоянно стремящейся выразить себя со свободной непосредственностью. Кроме того, я еще думаю, что вас стесняет известный расчет на зрителя, от которого трагический поэт отказаться не может, устремленность к цели, внешнее впечатление, с которым при творчестве в этой области поэзии нельзя не считаться; может быть, вы только потому меньше приспособлены к трагической поэзии, что природа вас создала поэтом в родовом смысле этого понятия. По крайней мере я вижу в вас в избытке все *поэтические* качества трагического поэта, и если вы все-таки не могли бы написать настоящей трагедии, то причина этого таится в обстоятельствах не поэтических.

Будьте так добры, пришлите при случае несколько театральных программ с полным перечнем актеров.

Вашу идею об объединении трех библиотек несомненно поддержит каждый разумный житель Иены и Веймара. Надо только найти человека, который был бы способен возглавить это объединение и обеспечить единство и полноту. Материала наверняка найдется много, кое-что имеется, в двух или трех экземплярах, которые можно обменять на новые книги; и почему бы не обогатить библиотечный фонд притоком свежих поступлений?

Новый нюрнбергский поэт, боюсь, доставит нам мало радости. Не то, чтобы у него совсем не было таланта, но у него нет чувства формы и сознания того, чего он хочет. Впрочем, я лишь мельком заглянул в книгу, и, может быть, мне как раз попалось самое скверное.

Исторической статьи я еще не дочитал. Пришлю ее вместе с моим отзывом в пятницу.

Сочинение Эйнзиделя о театре все же содержит кое-какие дельные мысли. Забавно, как дилетанты этого рода высказываются по поводу определенных вещей, которые можно почерпнуть только из глубин науки и размышления, например, то что он говорит о стиле и манере и т. д.

Всего хорошего. От души радуюсь нашим будущим вечерам. Моя жена очень интересуется кометами, которые бороздят небеса Амура и Гименея. Привет Мейеру.

Ш.

218. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

[Иена, 26 декабря 1797 г.]

Противопоставление рапсода и мима вместе с ауди-торией каждого из них представляется мне способом, весьма удачно найденным, чтобы подойти к вопросу о различиях обоих поэтических родов. Было бы достаточно уже и этого метода для того, чтобы сделать невозможной грубую ошибку в выборе сюжета для той или иной поэтической формы или поэтической формы для сюжета. Это подтверждается также и опытом; ибо я не знаю ничего, что при создании драматического произведения так строго удерживало бы поэта в границах определенной поэтической формы, а в случае их нарушения так твердо возвращало бы к ним, как возможно более живое представление о реальных сценических подмостках, о переполненном пестрой, смешанной толпой театральном зале; тем самым поэту сообщается волнующее и тревожное ожидание, напоминающее о законе напряженного и безостановочного стремления и движения вперед.

Мне хочется предложить другой прием для наглядного представления этого различия. Действие драматическое движется передо мной, вокруг эпического движусь я сам, оно же кажется как бы неподвижным. По-моему, это различие очень важно. Если событие движется передо мной, то я накрепко прикован к чувственному настоящему, воображение мое утрачивает всякую свободу, во мне возникает и поддерживается непре-

рывное беспокойство, я должен неотступно пребывать возле объекта, я лишен права оглядываться или размышлять, ибо я следую за посторонней силой. Если же я сам движусь вокруг события, которое уйти от меня не может, то я могу идти неравномерным шагом, могу делать более или менее краткие остановки — в зависимости от моей субъективной потребности, — могу возвращаться или забегать вперед и т. д. И это отлично согласуется также с понятием *прошедшего*, которое можно мыслить как неподвижное, и с понятием рассказа; ибо рассказчику уже в начале и в середине известен конец, для него, стало быть, все моменты действия равноценны, и он поэтому всегда сохраняет спокойствие и свободу.

Мне представляется совершенно ясным, что эпик изображает событие как полностью прошедшее, трагик же — как протекающее полностью в настоящем.

Я еще прибавлю: вследствие этого возникает прелестное противоборство между поэзией как *genus*¹ и ее *species*², которое как в природе, так и в искусстве всегда очень хитроумно. Поэтическое искусство как таковое делает все чувственно непосредственным, и оно вынуждает эпического поэта придавать прошедшему непосредственный характер с тем, чтобы при этом характер его, как прошедшего, не был стерт. Поэтическое искусство как таковое делает все настоящее — прошедшим и, идеализируя, удаляет все близкое, и оно, стало быть, вынуждает драматического поэта держать в отдалении от нас действительность, непосредственно на нас воздействующую, и предоставляет нашему восприятию поэтическую свободу по отношению к материалу. Таким образом трагедия в ее высшем понятии будет всегда стремиться возвыситься до эпоса, и только так она становится явлением поэзии. Точно так же эпическая поэма будет стремиться *опуститься* до драмы, и только так она будет полностью соответствовать родовому понятию поэзии; стало быть, то, что делает поэму и драму поэтическими произведениями, сближает их друг с другом. Признак, который их отличает и про-

¹ Род (*лат.*).

² Виды (*лат.*).

тивнопоставляет друг другу, всегда стремится подавить одно из двух составных частей родового понятия поэзии: в эпосе — *чувственность*, в трагедии — *свободу*; поэтому естественно, что противовесом этому недостатку всегда будет свойство, которое представляет собой специфичный признак противоположного поэтического вида. Следовательно, каждая будет оказывать услугу другой, охраняя *род от вида*. Не допускать, чтобы это взаимное тяготение друг к другу превратилось в смешение или нарушение границ — такова по сути дела задача искусства, высшее достижение которого всегда в том, чтобы соединять характер и красоту; ясность и полноту, единичность и всеобщность и т. д.

Ваш «Герман», если противопоставить ему чистое, строгое понятие эпопеи, в самом деле в известной степени тяготеет к трагедии. Сердце увлечено в нем сильнее и серьезнее, патологического интереса больше, чем поэтического бесстрастия. Трагедии подобает также и ограниченность театра действий, малое число действующих лиц, краткое время, в течение которого протекает действие. Напротив, ваша «Ифигения», стоит только противопоставить ей строгое понятие трагедии, явно вторгается в область эпоса. Я уже и не говорю о «Тассо». Для трагедии в «Ифигении» слишком спокойная поступь, слишком затянутые остановки, не говоря уже о катастрофе, которая противоречит трагедии. Производимое этой драмой впечатление, которое я наблюдал и на себе и на других, было в родовом, поэтическом смысле не трагическим; так всегда и должно быть, когда трагедия неудачна, будучи эпичной. На мой взгляд, для вашей «Ифигении» это сближение с эпосом — недостаток; для вашего «Германа» тяготение к трагедии несколько не является недостатком, во всяком случае нет ровно никакого недостатка с точки зрения производимого им впечатления. Может быть, это зависит от того, что трагедия имеет назначение *определенное*, эпическая же поэма — всеобщее и свободное?

На сегодня все. Я еще не способен ни на какую порядочную работу; меня смогли занять только ваши письмо и статья. Всего хорошего.

Ш.

Иена, 29 декабря 1797 г.

Наш друг Гумбольдт, длинное письмо которого я прилагаю здесь для вас, посреди новозданного Парижа попрежнему верен своей старой немецкой природе; для него как будто ничего не изменилось, кроме внешнего окружения. Определенный тип философствования и чувствования подобен религии: обрубая все связи с внешним миром и изолируя человека, он в то же время увеличивает его внутреннее богатство.

То, что вы теперь делаете, пытаясь размежевать и очистить оба поэтических рода, имеет, конечно, большое значение, но согласитесь со мной: чтобы исключить из произведения искусства все чуждое его роду, необходимо также иметь возможность включить в него все, что его роду соответствует. А именно это теперь невозможно. И так как мы не можем воссоздать условия существования каждого из обоих родов, мы вынуждены их смешивать. Если бы существовали рапсоды и особый мир для них, тогда эпическому поэту не было бы нужды заимствовать мотивы у трагического, а если бы мы обладали средствами и внутренними силами греческой трагедии, да кроме того еще благоприятной возможностью проводить наших зрителей через серию из семи представлений, тогда бы мы могли чрезмерно не раздувать наших драм. Необходимо полностью удовлетворить восприимчивость зрителя и слушателя и затронуть все точки на ее периферии; диаметр этой восприимчивости и есть мера для поэта. И так как моральная тенденция наиболее развита, то она предъявляет наивысшие требования, и пренебрегать ею мы можем только на свою же голову.

Если верно, что вследствие столь дурной склонности нашей эпохи драма приобретает все большее значение (а я в этом не сомневаюсь), то реформу следовало бы начать с драмы, чтобы, вытеснив плоское подражание природе, дать искусству возможность вздохнуть полной грудью. Это, как мне кажется, может быть осуществлено лучше всего введением вспомогательных символических образов, которые заступают место пред-

мета во всем, что не принадлежит к истинно художественному миру поэта и что поэтому должно быть не изображено, но просто обозначено. В этом понятии символического в поэзии я еще как следует не разобрался, но мне оно представляется очень важным. Если бы пользование им было определено, естественным следствием этого было бы то, что поэзия очистилась бы, мир ее сузился бы и стал более значительным,— в этих пределах она бы стала тем более действенной.

Я всегда возлагал известные надежды на оперу, считая, что из нее, как из хоров древнего вакхического праздника, разовьется в облагороженном виде трагедия. В самом деле, в опере не придерживаются такого рабского подражания природе, и этим путем идеальное, пусть даже под знаком индульгенции, получило бы возможность пробраться на сцену. Мощью музыки и еще более свободным гармоническим возбуждением чувств опера настраивает душу на более совершенное восприятие; здесь действительно, даже в патетических местах, возможна более свободная игра, так как ее сопровождает музыка, и чудесное, допускаемое здесь, неизбежно влечет за собой более безразличное отношение к содержанию.

Жажду прочесть статью Мейера; несомненно, что многие ее положения применимы к поэзии.

Постепенно я втягиваюсь в свою работу, но в эту ужасную погоду, право же, нелегко сохранять душевную гибкость.

Скорее бы уж вы были свободны и принесли мне энергию, мужество и жизнь. Всего лучшего.

III.

220. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 19 января 1798 г.

Для вас было бы любопытно и поучительно проследить по категориям и распределить те мысли, которые вами высказаны в старой статье и в последней. Ваше суждение найдет полное подтверждение, и в то же время вы еще больше уверуете в регулятивное исполь-

зование философии в вопросах познания путем опыта. Здесь я остановлюсь лишь на нескольких примерах ее применения, в частности, именно в связи с вашей последней статьей.

а

Представление об опыте в виде трех различных феноменов является совершенно исчерпывающим, если проверить по категориям. Грубый эмпиризм, не выходящий за пределы эмпирического явления, всегда рассматривает *по количеству* лишь единичный случай, единичный элемент опыта, следовательно, опыт здесь отсутствует; *по качеству* он всегда утверждает только одно определенное бытие, без того чтобы различать, делать выводы, противопоставлять, одним словом, сравнивать; *по отношению* ему грозит опасность принять случайное за существенное; *по модальности* он просто ограничен определенно существующим, не подозревая о возможном и не доводя своих наблюдений до понимания необходимости. По-моему, грубому эмпиризму не угрожает опасность впасть в заблуждение, ибо заблуждение возникает только в науке. То, что замечено им, замечено верно, и так как он не испытывает потребности выводить из своих наблюдений законы для объекта, то его наблюдения могут, не тая никаких опасностей, всегда носить единичный и случайный характер.

б

Только вместе с *рационализмом* возникает *наука как явление*, а также заблуждение. Дело в том, что на этой почве начинают свою игру мыслительные силы, и вместе со свободой этих сил, которые так охотно подставляют себя на место объекта, выступает произвол.

По количеству рационализм всегда объединяет *несколько* случаев, и пока он довольствуется тем, что не выдает множественность за всеобщность, то есть не устанавливает объективных законов, он безвреден, даже полезен, ибо он является *путем* к истине, которая может быть обретена лишь после того, как удастся оторваться от единичного. Напротив, если им злоупо-

требить, он становится губителен для науки, потому что он, как вы очень ясно говорите в вашей статье, стремится доказать огромную способность обобщения человеческого духа за счет известной республиканской свободы фактов, одним словом, потому, что хочет подвести под свою идею единства простую множественность фактов и таким образом выдает за всеобщность то, что не является ею.

По качеству рационализм справедливо противопоставляет друг другу отдельные явления, различает их и сравнивает между собой, все это (подобно рационализму вообще) хорошо, похвально и является единственным путем к науке. Но отмеченный выше деспотизм мыслительных сил тотчас же обнаруживает себя и здесь в *односторонности, резкости различений*, как выше в *произвольном* характере обобщений. Ему грозит опасность резко разделить то, что в природе связано, подобно тому, как прежде он объединял то, что природа разделяет. Он создает деления, где таковых нет, и т. п.

По отношению рационализм вечно стремится к тому, чтобы выяснять причинность всех явлений и объединять все quâ причины и следствия. И это весьма похвально и полезно для науки, но тоже вследствие односторонности своей в высшей степени губительно. Сошлюсь здесь на вашу же статью, которая отлично показывает злоупотребления, вызываемые каузальным подходом к явлениям. Ошибка рационализма здесь, видимо, в том, что он, по своей ограниченности, измеряет природу лишь *в длину*, но не *в ширину*.

По модальности рационализм покидает почву действительного, не достигая до необходимого. *Возможность* — такова его необозримая область, а отсюда и безграничность его гипотез. По-моему, и эта функция рассудка необходима, представляя собой *conditio sine qua non* всякой науки, ибо, думается мне, только возможное открывает путь от действительного к необходимому. Поэтому я по мере моих сил ратую за свободу и полноправие теоретической мысли в области физики.

К феномену в чистом виде, который, как мне представляется, и есть объективный закон природы, может проникнуть только *рациональный эмпиризм*. Однако, чтобы повторить еще раз эту мысль, сам рациональный эмпиризм никогда не может начать непосредственно с эмпиризма, ибо неизменно сначала будет заявлять свои права рационализм. Третья категория всякий раз возникает из сочетания первой и второй, и мы, таким образом, обнаруживаем, что только полная активность свободных мыслительных сил вместе с чистейшей и широчайшей активностью чувственной восприимчивости ведут к научному познанию. Таким образом, рациональный эмпиризм будет делать и то и другое: устранил произвол и обусловит свободу; речь идет о произволе, который осуществляется либо мыслью человека в отношении объекта, либо слепым случаем в объекте, либо неограниченной индивидуальностью отдельного явления в отношении мысли. Одним словом, он полностью восстановит объект в его правах, лишив его слепой силы, и он даст человеческому духу всю его свободу (рациональную), лишив его всякого произвола.

По количеству чистый феномен должен включать в себя всю совокупность случаев, ибо в каждом из них он является величиной постоянной. Таким образом, он, вполне в духе этой категории, опять-таки являет собой единство во множественности.

По качеству рациональный эмпиризм всегда *ограничивает*, и об этом свидетельствует пример всех истинных естествоиспытателей, которые держатся на равном удалении от безоговорочного утверждения или отрицания.

По отношению рациональный эмпиризм обращает внимание как на причинные связи, так и на самостоятельность явлений; он видит всю природу в ее взаимной активности; когда явления взаимно обуславливают друг друга, и он поэтому воздерживается от того, чтобы оценивать причинность лишь как простую

убогую длину, он всегда учитывает в то же время и ширину.

По модальности рациональный эмпиризм всегда проникает до необходимости.

Хотя рациональный эмпиризм, в чистом смысле этого понятия, никогда не ведет к злоупотреблениям, подобно двум предыдущим способам познания, следует, однако, все же предостеречь от ложного и мнимого рационалистического эмпиризма. Подобно тому как *мудрое ограничение* составляет самый дух рационального эмпиризма, так *трусливое и боязливое ограничение* обуславливает появление ложного и мнимого. Плодом первого является *чистый*, плодом второго — *бессодержательный и выхолощенный* феномен. Я много раз замечал, что нерешительные, слабые умы, исполненные преувеличенного почтения к предметам и их многообразию, преувеличенного страха перед душевными силами, в конце концов так сужают и, так сказать, опустошают свои суждения и высказывания, что результат оказывается равным нулю.

Как об этой материи, так и о ваших положениях нужно сказать еще столь многое, что я ожидаю вашего прибытия сюда, дабы по-настоящему углубиться в этот вопрос, ибо только *беседа* способствует тому, что я быстро схватываю и прочно усваиваю мысли другого человека. Монологическая форма письма постоянно грозит мне тем, что я могу ухватиться за одну только сторону. В особенности мне хотелось бы еще послушать о том, что вы называете *косвенным* подчинением конкретных случаев правилам.

Моя поэтическая работа стоит вот уже три дня, несмотря на то, что я был в весьма хорошем расположении духа. Воспаление горла, переходившее у нас в доме от одного к другому, наконец передалось и мне, а так как болезнь как раз застигла меня в состоянии повышенной возбудимости, в котором я пребывал из-за моего дела, то вчера у меня весь день был жар. Но сегодня голове моей уже много лучше, и я надеюсь через несколько дней избавиться от злого гостя.

Поздравляю вас с новым «*Ксением*». Отложим его про запас.

Выходки, которыми господин Поссельт развлекает публику, вероятно, обогатят Котта; ибо последний пишет мне, что теперь уже почти покрыл свои расходы.

Здесь настойчиво спрашивают, не собираетесь ли вы поставить в Веймаре Готтерову оперу «Остров духов»?

Не хотите ли теперь, поскольку г-н Гирт в известной степени упреждает вашу статью о «Лаокооне», дать эту статью в «Оры»?

Всего хорошего. Привет от жены.

Ш.

221. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 9 февраля 1798 г.

Господин Шлоссер поступил бы лучше, если бы молча стерпел истины, высказанные ему Кантом, и грубости, адресованные ему Фридрихом Шлегелем. Своей автоапологией он ухудшает дело и срамит себя самым непозволительным образом. Не могу отрицать, что его сочинение показалось мне отвратительным: оно обнаруживает окостенение ума, уже не способного удержать какое бы то ни было убеждение, неизлечимое огрубение чувств и, в лучшем случае, слепоту, если не преднамеренную ослепленность. Вы, знающий этого человека лучше, объясняете, вероятно, правильное и естественное невольной ограниченностью то, что я, охотно считающий людей разумнее, чем они есть, могу объяснить себе только моральным уродством. Вот почему это сочинение возмутило меня, вероятно, больше, нежели оно того заслуживает. В одежды надменного философского тона облечена пустейшая болтовня, повсюду автор взывает к грубым низменным потребностям человеческой природы, — я нигде не вижу и следа подлинного интереса к истине как таковой.

По частностям об этом сочинении сказать нечего, ибо до основного, ради которого все и написано, — нападение на аргументы критицизма и приведение аргументов в пользу нового догматизма, — он так и не добрался. Право же, здесь нет ни одной философской мысли, которая могла бы повлечь за собой философ-

ский спор. Ибо что же можно сказать, если после многочисленных и совсем не безуспешных усилий новых философов выразить спорный вопрос в точнейших и определенной формулах, если после всего этого появляется человек, размахивающий аллегорией и снова повергающий то, что было тщательно подготовлено для чистой мысли, в кромешную тьму, как это делает г-н Шлоссер при характеристике четырех философских сект.

Непростительно, когда писатель, который в какой-то мере дорожит своей честью, может вести себя так нефилософски и нечистоплотно, на таком *расчищенном* поле, каким стало поле философии благодаря Канту. Ведь и мы все, порядочные люди, тоже знаем, что человек, осуществляя самые высокие свои функции, всегда действует как связанное целое, да и вообще природа всегда действует синтетически. Нам вследствие этого никогда не придет в голову отвергать для философии различение и анализ, на коих зиждется всякое исследование, равно как мы не обрушиваемся на химика за то, что он искусственно разрушает синтезы природы. Эти же господа Шлоссеры хотят оцупью пробраться и сквозь метафизику, повсюду они хотят познавать синтетически, но под этим видимым богатством таится в конце концов ничтожная пустота и скудоумие; боюсь, что аффектированное стремление подобных господ всегда рассматривать человека в его целостности, одухотворять физическое и очеловечивать духовное, представляет собой лишь жалкую попытку кое-как сохранить свое «я» в окружающей его уютной темноте.

Когда вы приедете, мы еще много будем говорить на эту тему, но этому сочинению мы немногим будем обязаны. Впрочем, Шлоссер в какой-то степени достигнет своей цели, он усилит свою партию не философов, ибо к философам он вообще не имеет никакого отношения.

Всего хорошего. Мерзкая погода не очень благоприятствует моему усердию, она вернула мне мои старые болезни — катар и насморк.

Жена кланяется вам.

III.

Вена, 20 февраля 1798 г.

Так как я некоторое время был почти совсем удален «от звука речи человека», то меня весьма освежила и порадовала оживленная разговорчивость друга, вчера доставившего мне ваше письмо. Вообще занимательно видеть *читателя*, который возвращает ваши собственные или же чужие идеи, принявшие какой-то другой облик. У этого к тому же явно ощущается преимущество, ибо он был введен в наш круг Гумбольдтом. Любопытно, как при определенном состоянии литературы возникает племя «тунеядцев» (назовите их как угодно), которые строят свое существование на том, что создается другими, и которые, не обогащая и не расширяя мира искусства или науки, сами все же служат для распространения того, что есть, переносят мысли из книг в жизнь и, подобно ветру или некоторым птицам, бросают семена там и сям. Их действительно нужно очень высоко ценить как посредников между писателем и публикой, хотя и опасно смешивать их с публикой. Впрочем, у того друга, о котором идет речь, тонкий ум, и при всей его склонности к рассудительности он как будто обладает нежной чувствительностью; притом ему свойственна особая гибкость, позволяющая ему приспособляться ко всему чужому и даже присваивать его себе. В сравнении с Гумбольдтом у него, по-моему, гораздо более плоские оценки и шаткие понятия, но больше чувства.

Применение категорий к собранному вами материалу непременно должно быть для вас плодотворно. Будучи, с одной стороны, прекрасным повторением, эта операция оказывает вам услуги друга, у которого противоположный строй характера. Мне кажется, что это вынуждает вас искать строгих определений, разграничений, даже резких противопоставлений, к чему вы сами по себе склонности не испытываете, ибо вы боитесь совершить насилие над природой; и так как сухость и строгость, как бы они ни казались опасными в отдельных случаях, всегда устраняются в совокупности целого, то вы вследствие этой операции

всегда будете с удовлетворением возвращаться к своему собственному вам характеру представлений. Эту службу вам отлично сослужит понятие взаимодействия и обособленности; но, используя категории *всеобщности* и *необходимости*, вы придете к тому же. Так как в самом произведении вы не можете избежать полемики, то испытание посредством категорий даст вам безусловное преимущество; я прекрасно понимаю, как оно вам поможет обозреть сразу всю историческую часть.

С вашей схемой я теперь жажду ознакомиться больше, чем когда бы то ни было, и когда вы приедете, мы с истинным удовольствием и всерьез поговорим об этом; не говоря уже о самом вопросе, углубиться в который мне очень бы хотелось, мне в высшей степени интересно явить для вас в моем лице хорошего читателя и испытать, как можно объединить в одном и том же устремлении двойной взгляд на предмет и на субъективную потребность читателя.

Меня так часто отвлекали от моей работы, и конец ее вследствие этого так еще далек, что меня пугают все вопросы о «Валленштейне», которые теперь начинают поступать ко мне из внешнего мира. Шредер хочет сам его играть, и, кажется, он не прочь выступить в этой роли даже в Веймаре. Унгер тоже вчера написал мне из Берлина, что берлинский театр заплатит мне любой гонорар, если я пришлю ему пьесу до того, как она выйдет в свет. Хотя бы мне скорее закончить! Работа теперь снова понемногу подвигается, но голова еще побаливает.

Всего вам хорошего. Жена моя завтра едет в ваши края, чтобы послушать «Волшебную флейту», но, так как она уже ночью поедет назад, едва ли ей удастся поговорить с вами. Приезжайте же, наконец, мы тоскуем по нашим милым вечерам. Сердечный привет Мейеру.

III.

223. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 23 февраля 1798 г.

При том методе, которым вы теперь работаете, вы всегда имеете отличный двойной выигрыш: *во-первых*, проникновение в предмет, а *во-вторых*, проникнове-

ние в деятельность духа, нечто вроде философии творчества, причем последнее является, пожалуй, едва ли не большим выигрышем, ибо познание орудий духа и отчетливое познание метода уже поднимают человека до известного господства над всеми предметами. Я с нетерпением ожидаю, чтобы вы приехали сюда и я мог бы многому научиться и о многом поразмыслить как раз в связи с этим общим вопросом об отношении к эмпирии. Может быть, вы решитесь на то, чтобы в начале вашего произведения подробно разработать этот общий вопрос и тем самым сообщить вашему произведению, даже независимо от его специального содержания, абсолютную ценность в глазах всех тех, кто размышляет о явлениях природы. Бекон должен был бы подтолкнуть вас на это.

Что касается вашего вопроса о стихотворном размере, то, конечно, основное зависит от предмета, в связи с коим вы собираетесь им пользоваться. Вообще же и мне этот размер не по душе: он слишком однообразно гудит, и мне кажется, что он неотделим от атмосферы торжественности. Вероятно, вы не ставите себе целью создать именно такую атмосферу. Так что я предпочел бы стансы,— трудности ведь такие же, но стансам свойственно несравненно большее изящество.

Из Парижа (через Гумбольдта) я узнал, что Шлегели собираются покинуть Иену и перебраться в Дрезден. Вы, может быть, тоже слышали об этом?

Жена рассказывала, что Бринкман пользовался большим успехом в Веймаре, в особенности при дворе вдовствующей герцогини. Он человек очень занимательный в обществе и достаточно хитер, чтобы умело сочетать остроумие с тривиальностью.

Гумбольдт пишет мне также о приговоре, который вынес Фосс вашему «Герману»; он слышал об этом от Фивега, который сейчас в Париже. Он боялся,— так говорил Фосс,— что «Герман» повергнет в забвение его «Луизу». Этого не случилось, но в нем все же есть некоторые места, за которые Фосс будто бы отдал бы всю свою «Луизу». Нельзя-де винить вас за то, что в гексаметре вы не можете выдержать с ним сравнения, поскольку это его, Фосса, стихия, но он все же нахо-

дит, что ваши последние гекзаметры много совершеннее. Отсюда видно, что он не имеет и отдаленного представления об истинном духе поэмы, а стало быть и о духе поэзии вообще, словом — никакой у него не общий и свободный талант, но просто художественный инстинкт, как у птицы, вьющей свое гнездо, или у бобра, строящего свой домик.

Всего хорошего. Жена тоже хочет вам кое-что приписать.

III.

Письмо Гумбольдта я сейчас никак не могу найти, пришлю в другой раз.

224. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 2 марта 1798 г.

В эти ясные дни я снова попробовал подышать свежим воздухом, и это пошло мне на пользу. Право, жаль, что именно теперь вы не можете быть здесь; нет сомнения, что муза не замедлила бы вас посетить.

То, что вы пишете о французах и об их эмигрировавшем, но все же достойном представителе Мунье, очень верно и, как это ни грустно, звучит отрадно, ибо является закономерным следствием всего понятия о сущности этой природы; всегда следует отчетливо понимать различие натур, тогда различие систем само с отчетливостью выступает. В самом деле примечательно, что безразличие к эстетическим явлениям всегда оказывается связанным с моральным безразличием и что чистое строгое стремление к прекрасному, при в высшей степени свободном отношении ко всему природному, влечет за собой ригоризм в вопросах морали. Таково ясное разделение на царство разума и рассудка, и это разделение утверждает себя на всех путях и направлениях, по которым может двигаться человек.

Мунье — достойный pendant к Гарве, который тоже вдруг подобным же образом опозорился в споре о Канте.

Вчера я, наконец, вправду получил французский диплом о гражданстве, о котором была речь в газетах

уже пять лет назад. Он тогда же был изготовлен и подписан Роланом. Но так как имя было искажено, а в адресе не было указания даже на город или провинцию, то он, конечно, и не мог до меня дойти. Не знаю, с чего он теперь снова продолжил свой путь; одним словом, его мне прислали, а именно — через Кампе в Брауншвейге, который по этому поводу адресует мне самые лестные слова.

Думаю, будет не очень дурно, если я извещу об этом герцога; прошу вас сделать мне эту любезность, если это вас не затруднит. Поэтому прилагаю акты. Надеюсь, и вас развлечет то, что я предстаю в них в качестве немецкого публициста *κατ' ἐξουχίᾳ*¹.

Всего вам хорошего. У меня почтовый день, и еще многое следует сделать. Жена вам кланяется.

III.

225. ВИЛЬГЕЛЬМУ ФОН ГУМБОЛЬДТУ

Иена, 27 июня 1798 г.

Ваше сочинение, дорогой друг, явилось для меня в самом деле совершенной неожиданностью; мое изумление еще более возросло, когда я вспомнил, где и в каком гетерогенном окружении вы выполнили этот большой, этот титанический труд.

Мысль о том, чтобы на основании поэмы Гете вывести законы эпической поэзии и даже поэзии вообще, очень удачна; столь же верен и выбор этого произведения, чтобы на основании его разбора показать поэтическую индивидуальность Гете. Ибо, как вы сами говорите, ни в одной поэме так отчетливо и полно не выступают черты поэзии как таковой и эпического ее рода и ни в одной поэме так полно не отразилось своеобразие Гете.

Лишь отдавая вам должное, я скажу, что еще никогда ни одно поэтическое произведение не подвергалось разбору одновременно столь великодушному и основательному, столь многостороннему и в то же время конкретному, критичному и в то же время художественному. Это мог сделать только человек вашего скла-

¹ По преимуществу (греч.).

да, который одновременно видит резкие различия и многосторонние связи. Быть может, ваша пидиосинкразия в ощущениях и могла бы в отдельных случаях сузить ваше поле зрения и нанести ущерб предмету изучения; в вашем рассуждении этого с вами произойти не может. И достоинства этой работы целиком являются вашей заслугой. Конечно, Гете как поэт подготовил вам материал, но я как критик и теоретик искусства мало чем вам помог,— более того, должен сознаться, что я узнаю свое влияние в единственной значительной ошибке, в которой могу вас упрекнуть. Об этом ниже.

Ваше определение искусства вообще и поэзии в частности, ваша дедукция поэтических видов, признаки, которые вы считаете характерными,— все это верно и неоспоримо. Точка зрения, принятая вами для того, чтобы понятиями объяснить таинственное явление (ибо ведь таково всякое поэтическое творчество),— эта точка зрения является самой свободной и высокой, а для философа, стремящегося овладеть этой областью, без сомнения, самой плодотворной. Но, быть может, именно эта философская высота точки зрения неудобна и не слишком плодотворна для художника-творца, ибо никакие пути не ведут с этих высот к объекту. Вот почему я рассматриваю ваш труд как достижение скорее для философии, нежели для искусства, и говорю это вовсе не в укор вам. Ведь и вообще еще сомнительно, может ли философия искусства чему-нибудь научить художника. Художник скорее нуждается в эмпирических и конкретных определениях, которые именно потому для философа слишком узки и неопределенны; напротив, то, что в глазах философа обладает достаточной содержательностью и выражает общий закон, для художника, если он это применит в своем творчестве, всегда окажется выхолощенным и пустым.

Ваше сочинение представляется мне значительным еще и потому, что оно является наглядным примером того, что именно спекулятивная мысль может дать в сравнении с художником и поэтом. Ибо то, чего здесь не сделали вы, вообще не может быть сделано таким путем, и этого нельзя даже и требовать. Вы наиболее полным, достойным и свободным образом представили

философский, критический рассудок в той мере, в какой он занимается не столько регулятивными предписаниями, сколько общими законами, не столько физикой, сколько метафизикой искусства,— и мне кажется, что вы исчерпали этот вопрос.

Не удивляйтесь, дорогой друг, если я теперь вижу большее расстояние, даже противоположность между наукой и искусством, чем, быть может, склонен был видеть несколько лет назад. Именно теперь, когда вся моя деятельность направлена на творчество, я ежедневно ощущаю, сколь мало помогают творчеству поэта *общие отвлеченные* понятия, и в таком расположении духа я порой бываю настолько не философом, что готов отдать все, что знаю сам и что знают другие об основах эстетики, за одно-единственное эмпирическое достижение, за один какой-нибудь ремесленный прием. В применении к творчеству вы, вероятно, и сами согласитесь признать недостаточность теории, я же распространяю мое неверие также на *критику* и взялся бы утверждать, что нет иного вместилища, в котором бы можно было сосредоточить плоды воображения, кроме самого же воображения, и что даже у вас абстракция и язык могли лишь несовершенным образом измерить и выразить ваше собственное видение и ощущение.

Здесь идет речь лишь о той части вашего труда, где вы ищете и устанавливаете понятия, необходимые для дальнейших суждений, при этом я ни в какой степени не имею в виду вашего изложения, но только общий ваш замысел. Ибо следует удивляться тому, как вы точно, всесторонне, исчерпывающе осветили все вопросы; я убежден, что какие бы в будущем ни высказывались мысли о процессе творчества художника и поэта, о природе поэзии и ее родов, все они не только не будут противоречить вашим утверждениям, но будут их лишь разъяснять, и в вашем труде всегда можно будет отыскать место, к которому та или иная мысль относится и где она *implicite*¹ уже содержится. Во всех принципиальных положениях между тем, что говорили вы, и тем, что Гете и я в течение этой зимы

¹ В скрытом виде (*лат.*).

пытались установить по поводу эпопеи и трагедии, наблюдается удивительное соответствие в подходе к самой сущности вопроса, несмотря на то, что вы рассуждаете при помощи понятий метафизических, наши же более годятся для домашнего употребления. Быть может, ваш анализ чрезмерно резок, а характеристики чрезмерно строги и неподвижны. В самом деле, ведь творческое воображение уже доказало, что оно, не подвергаясь опасности, может выходить за эти пределы, и даже вам будет нелегко отстоять чистое понятие, например, эпопеи среди реально существующих эпопей. Несомненно те же затруднения вы испытаете и в связи с другими родами поэзии, жанрами, в особенности с трагедией Шекспира и древних.

Гете и я установили различия между эпической и драматической поэзией более простым способом, чем тот, к которому обязывал вас избранный вами путь; к тому же мы нашли, что это различие и вообще не очень велико. Так, мы не можем допустить, чтобы трагедия в такой степени растворилась в лирической стихии, — она, как и эпос, абсолютно пластична; Гете даже полагает, что она относится к эпопее, как скульптура к живописи. Она, разумеется, соприкасается с лирикой, ибо включает в себя субъективные переживания; подобно этому эпопея соприкасается с искусством зрительным, ибо она вводит человека в ясный мир образов. Нам кажется, что различие между эпопеей и трагедией определяется только тем, что одна из них требует настоящего, другая — прошедшего времени. Первая допускает свободу, ясность, бесстрашие, вторая вызывает ожидание, нетерпение, патологический интерес.

Гете также полагает, и, по-моему, с достаточным основанием, что природу эпоса можно полностью вывести из представления о рапсодe, обстоятельствах его творчества и его публике и что даже *дикость и грубая невежественность* окружавшей его аудитории оказывали решающее влияние на эпическую форму, по крайней мере на форму гомеровского эпоса, являющуюся канонem для всякой эпопеи.

Что касается трагедии, то эту тему я отложу для будущих писем.

Ваш раздел о поэзии как о говорящем искусстве я не до конца понял, но и об этом в другой раз.

Что касается стиля, то, за исключением очень немногих абзацев, которые мы, к сожалению, не сразу поняли, все изложено ясно. Конечно, можно было бы пожелать менее расплывчатого и пространного изложения; при большей сжатости и смелости целое, возможно, выиграло бы в силе и определенности. Но ведь это настойчивое стремление все ограничивать и определять, не допускать никаких неясностей, ничем не рисковать и т. д. и т. д. составляет неотъемлемое свойство вашей натуры, и на эту тему мы часто и много говорили. Вы, правда, хотели избежать известных школярских оборотов в языке, но их не совсем удалось избежать. Вследствие этого работа приобретает несколько неопределенный характер: для обыкновенного читателя она слишком специальна, да и слишком суха, а для собрата по искусству часто излишне подробна и популярна. Едва ли вы можете рассчитывать на то, что человек, не очень искушенный в философии такого рода, станет следить за развитием вашей мысли; напротив, наши современные метафизики искусства будут изучать ваш труд и использовать его, умалчивая об источнике, из которого они черпали свое богатство. Вы для многих проделали подготовительную работу и многим преподали решающий пример.

Вообще же ваше изложение можно упрекнуть в том, что вы избрали слишком спекулятивный путь для разбора индивидуального поэтического произведения. Догматическая часть вашего сочинения (устанавливающая законы для поэта) прекрасно согласуется сама с собой, с объектом, а также с самыми отвлеченными и общими воззрениями других на этот предмет, и в философском смысле она полностью удовлетворительна; не менее верна и безупречна критическая часть (применяющая эти законы к произведению и собственно оценивающая его); кажется, однако, что не хватает некоей средней части, именно такой, которая бы сводила эти общие принципы, метафизику поэзии, к частным принципам и помогла бы применить самое общее понятие в самых индивидуальных случаях.

Отсутствие этой практической части чувствуется каждый раз, когда под понятие подводится не просто общий характер поэта или его произведения, но та или иная черта последнего. В этом случае читатель ощущает hiatus¹, который он едва ли в силах заполнить собственным воображением, и поэтому порой кажется, будто бы примеры не соответствуют понятиям, чего, однако, никогда не бывает.

Я говорил выше, что в этой ошибке я, как мне кажется, узнаю свое влияние. Действительно, наше общее стремление к основным понятиям в эстетических предметах привело нас обоих к тому, что мы слишком непосредственно сводим метафизику искусства к его конкретным проявлениям, используя ее как практическое орудие, для чего она не очень-то годится. Мне часто случалось оказываться в этом *vis à vis* с Бюргером и Маттиссоном, в особенности в статьях для «Ор». Это повредило общедоступности и распространности наших наиболее серьезных идей.

Но на сегодня достаточно, любезный друг. Я сейчас не могу вдаваться в частности еще и потому, что ваше сочинение находится у Гете. Он хотел написать вам вместе со мной, но у него оказались дела в Веймаре. Как вы легко можете себе представить, ваш труд весьма порадовал и тронул его.

Простите, что я только сегодня собрался кое-что высказать вам об этом, и к тому же нечто столь мало существенное. Вы знаете мой характер и то, что я не в силах одновременно со всей серьезностью заниматься двумя разными делами; я давно уже отложил философские размышления, ибо моя трагедия полностью поработила меня. К сожалению, теперь я должен оставить ее, чтобы позаботиться об Альманахе, который, по счастью, уже щедро одарен Гете. До конца августа я едва ли смогу вернуться к «Валленштейну». Мне на него нужно еще несколько месяцев, поэтому он сможет появиться в печати только к Новому году, а может быть и не раньше пасхи, если я буду обрабатывать его для театра.

¹ Пробел, «зияние» (лат.).

От души обнимаю вас, дорогой мой друг. Передайте самый сердечный привет Ли. Кланяйтесь от меня Бринкману и попросите его не забывать о моем Альманахе. Здоровье мое в это лето вполне благополучно.

Сообщите в ближайшем письме, когда Фивег должен получить ваше сочинение. В частности, по-моему, ничего менять не нужно, кроме немногих мест, которые я отмечу в следующем письме, так как сейчас у меня нет рукописи. Если бы вы еще могли немного изменить терминологию, это, конечно, было бы неплохо.

Еще раз всего хорошего.

Ш.

226. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 31 июля 1798 г.

Статья о пластическом искусстве этрусков несколько суха вследствие того, что строго и трезво правдива, но это не может быть упреком самой работе. Автор, представляющий излюбленный предрассудок во всей его наготе и указывающий воображению строгие пределы факта, будет неизменно казаться сухим. Меня эта статья порадовала, потому что я получил ясное и достаточное представление о предмете, который для меня всегда был покрыт мраком. Некоторые тяжеловесные фразы, например самую первую, еще, пожалуй, можно выправить.

Старый мастер поступил очень умно, столь изящным способом скрыв во втором письме скудость материала, в результате чего это не в пример более бедное фактами второе письмо стало даже занимательнее первого, которое гораздо более поучительно. Каждое из них по-своему представляет очень полезный вклад для сборника.

Торжественность, которая будет господствовать в вашем предисловии, не внушает мне опасений, ибо то, что вы называете торжественностью и что действительно является ею, немецкому читателю в целом покажется просто серьезностью и основательностью. Этого предисловия я ожидаю с большим нетерпением.

Для Альманаха снова прибыли некоторые вполне

пригодные рукописи, но необходимого количества все еще не набралось, даже если учесть и мое возможное участие на сорока с лишним страницах. Вчера я, правда, получил сразу и от одного-единственного автора — барона — столько стихов, что ими можно бы было заполнить пол-Альманаха, но (не говоря уже о дурном качестве) с нелепым условием автора — напечатать всю серию, в которой, к тому же, около пятидесяти страниц стихотворений на случай.

В последние дни мое расположение духа вполне способствует работе. Поэтому я одну вещь закончил, а другую кончаю.

Один корректурный лист Альманаха еще не прибыл.

Когда я вчера говорил с *Шерером*, мне вспомнилось замечание, сделанное вами в прошлом году по его адресу. Это совершенно бесчувственная натура, к тому же он настолько гладок, что не за что уцепиться. Встречая такие личности, особенно остро ощущаешь, что духовное начало, собственно, и образует человеческое в каждом человеке, потому что, когда думаешь о таких людях, на память приходят одни лишь факты, а для человеческого не остается никакого места. Думаю, что Шеллинг все же не таков.

Будьте здоровы и скорее кончайте ваши дела в Веймаре. Рекомендую вам то, что вы часто тщетно советуете *мне*: *захотеть* и быстро со всем разделаться.

Жена шлет привет. Вот уже несколько дней, как мы снова одни.

III.

227. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 24 августа 1798 г.

Так как наш герцог возвратился, то срок вашего приезда, видимо, снова отодвигается; за это время я постараюсь отделаться от обязанностей и забот по Альманаху, а когда вы приедете и снова начнутся наши беседы, сделать последний и самый трудный шаг к окончанию «Валленштейна». Поскольку вы выразили желание вникнуть в структуру драмы, то я, когда позволит время, приведу в порядок ее план, разбросанный

по моим бумагам, чтобы он облегчил вам общий взгляд на произведение, пока оно еще не все написано.

Стремлюсь услышать ваши новые мысли об эпическом и трагическом. Погрузившись в работу над трагедией, особенно живо чувствуешь, как удивительно далеко расходятся оба эти поэтические вида. Я это обнаружил, к моему собственному удивлению, во время работы над пятым актом, которая полностью отрешила меня от всего спокойно-человеческого, потому что здесь следовало фиксировать один момент, который неизбежно должен быть мимолетным. То, что воображение здесь на столь длительный срок заморозило все прочие свободные человеческие состояния, пробудило во мне почти ужас перед тем, что я встал на патологический путь, ибо я приписал моему герою то, что было вызвано свойствами моей работы. Но таким образом это служит для меня еще одним доказательством того, что трагедия рассматривает лишь отдельные, исключительные моменты жизни человечества, эпос же, напротив (причем здесь описанное выше состояние возникнуть не может) — постоянное, спокойное и устойчивое ее единство, почему он и воздействует на человека в любом расположении духа.

Я заставляю моих персонажей говорить много, высказываться с известной пространностью; об этом вы мне ничего не говорили и как будто не осудили этого. Да и ваша собственная практика как в драме, так и в эпическом роде говорит в пользу этого. Разумеется, можно было бы ограничиться немногими словами, чтобы завязать и распутать узлы трагического действия, даже может показаться, что это более отвечает природе действующих характеров. Но пример древних, которые так же смотрели на это и которые в том, что Аристотель называет воззрениями и мнениями, вовсе не скупилась на слова, указывает как будто на более высокий поэтический закон, именно здесь требующий отступления от действительности.

Как только вспомнишь, что все поэтические персонажи — существа символические, что они в качестве поэтических образов всегда должны изображать и высказывать нечто общее для человечества, и далее, как

только подумаешь о том, что поэт, да и вообще художник, должен открытым и честным образом удалиться от действительности и помнить о том, что он это делает, то не остается возражений против этого приема. Кроме того, мне кажется, что более короткий и лаконичный способ выражения оказался бы не только чересчур бедным и сухим, он был бы и непомерно реалистическим, жестким и в бурных ситуациях невыносимым, тогда как более широкий и полный способ выражения всегда вызывает известное спокойствие и безмятежность, даже в самых напряженных положениях, изображаемых автором.

Рихтер на днях был здесь, но он заявился ко мне в столь неудачное время, что я его не принял. Маттиссон, которому я несколько недель назад высказал кое-что приятное по поводу его стихотворений и их количества, снова прислал мне стихи; так-то Альманах постепенно растет, принимая нужные размеры. Грис тоже прислал кое-какую мелочь, которую можно использовать. Гепфердт еще не пошел дальше второго листа.

Всего вам хорошего; может быть, я на следующей неделе приеду на день и тогда увижу, как продвигается постройка театра. Когда вы снова приедете, вы увидите, что и мой домик в порядке,— завтра мы будем его освящать. Тем самым для меня начинается более спокойная пора.

Жена шлет вам сердечный привет; она очень рада предстоящему свиданию с вами.

III.

228. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Иена, 31 августа 1798 г.

От души поздравляю тебя с улучшением твоих перспектив, хотя мне и стоит некоторых усилий распрощаться с надеждой на то, что когда-нибудь ты обоснуешься в Лейпциге. Эта перспектива сулила мне многое, мы были бы гораздо ближе друг к другу, общаться было бы много легче, твое собственное положение было бы много свободнее. Самое прекрасное, даже единственное, что придает существованию некоторую цен-

ность — возможность воодушевлять друг друга и помогать друг другу совершенствоваться — возросла бы при этом; не только у тебя, но, по-моему, у всех вас жизнь стала бы гораздо содержательнее, если б твоя работа давала больше досуга (а в университете это так и будет) и если б мы, включая Гете, могли жить ближе друг к другу. Ибо теперь, собственно, и настала пора, когда наша взаимная дружба, ставшая вследствие своей истинности, чистоты и длительности частью нашей жизни, должна принести нам свои самые чудесные плоды. Приходится возиться с таким множеством бесплодных и ложных знакомств, жажда общения и потребность в обществе так часто заставляет цепляться за пустые связи, что потом радуешься, когда с ними удается разделаться; на свете вообще так страшно мало настоящих дружеских связей и так мало содержательных людей, что, уж если людям посчастливилось и они нашли друг друга, следовало бы сблизиться как можно теснее.

В этом отношении я очень многим обязан Гете и знаю, что я тоже оказывал на него благотворное воздействие. Прошло четыре года с тех пор, как мы сблизились, и за это время наша дружба непрерывно развивалась и росла. Мне самому эти четыре года помогли тверже определиться и продвинули меня вперед быстрее, чем то могло бы быть в ином случае. Для моего существа это было целой эпохой, и она была бы еще богаче и значительнее, если бы и мы с тобой в это время жили ближе друг к другу. Но довольно об этом. Ты уж только прости меня, если я с неудовольствием узнал о твоём новом политическом пристанище в Дрездене в пору, когда я научился считать самой прекрасной целью в жизни философский и эстетический досуг и свободу.

Стихи я надеюсь послать тебе в следующий почтовый день. Мне приходится спешить, чтобы обеспечить себе свободу рук для «Валленштейна», ибо мне очень хочется поймать вас на слове и встретиться с вами через пять-шесть недель.

Напиши мне непременно, привез ли тебе, наконец, Мольтке мое письмо. Правда, в нем не содержится

ничего важного, это всего-навсего краткое рекомендательное письмо, но у меня есть особые причины.

От души обнимаем вас. Жена очень хотела услышать от Дорхен, как Фихте со своей женой представлялся вам в Карлсбаде.

Не познакомился ли ты с Шеллингом, который теперь поехал в Дрезден? Ты ведь, вероятно, уже знаешь его сочинение о мировой душе. Он чрезвычайно умен, и я очень рад, что он стал здесь профессором. Будь здоров.

Твой Ш.

229. АВГУСТУ ВИЛЬГЕЛЬМУ ИФФЛАНДУ

Иена, 15 октября 1798 г.

Я получил ваше любезное письмо как раз тогда, когда собирался отправиться в Веймар на представление «Лагеря Валленштейна», и тотчас по возвращении спешу вам ответить.

«Валленштейн» — серия из трех пьес. Первая называется «Лагерь Валленштейна», — это одноактный пролог, идущий час с четвертью и имеющий наибольшее число персонажей. Здесь изображена армия Валленштейна, дана картина состояния Германии во время Тридцатилетней войны, показана диспозиция полков, сражающихся за полководца и против него; эта часть предназначена служить фоном, на коем разворачивается операция Валленштейна. Можно ее, правда, ставить самостоятельно, что мы и делали в Веймаре, ибо это полотно, изображающее войну и лагерь, составляет законченное целое. Но лучше, когда она объединяется со второй драмой.

Эта вторая драма называется «Пикколомини», по имени двух более всего действующих в ней персонажей. В ней пять актов, но идти она будет немного более двух часов. В этой драме — вся экспозиция «Валленштейна», и она кончается завязкой. В конце ее — эпилог, образующий переход к 3-й драме.

Последняя драма называется «Измена и смерть Валленштейна», это и есть собственно трагедия. Так как экспозиция дана ранее и завязка уже есть, то с

первой же сцены развивается непрерывающееся действие. В ней тоже пять актов, и идти она будет неполных 3 часа. Декорации для всех трех драм меняются только между актами, справка о декорациях всех трех драм, как и о костюмах, может быть выслана вам заранее.

Так как я использую веймарский спектакль для того, чтобы придать моим драмам наибольшую гибкость и живость, я не могу послать их другому театру до тех пор, пока не увижу в Веймаре каждую из них. Третья драма может быть представлена в Веймаре не ранее, чем в первой половине декабря, так что вам я мог бы послать всю трилогию 18 или 20 декабря.

Пролог написан короткими рифмованными стихами, вроде гетевского кукольного театра и его «Фауста», две другие драмы — белым ямбическим стихом, приспособленным для свободного произнесения актером. В Веймарском театре стихи пролога читались с чрезвычайной легкостью и отлично доходили до зрителей.

Я не люблю ставить условий, но так как в подобном случае лучше всего прямо высказывать свои пожелания, буду говорить без обиняков. За все три пьесы я требую 60 фридрихсдоров; называя эту сумму, я учитываю многочисленность берлинской публики, блеск вашего театра и, в особенности, ваше доброе расположение.

Я еще не сношлся ни с каким другим театром, если не считать того немногочисленного, что Шредер мог слышать в Веймаре от Бёттигера.

То, что вы поручили г-ну советнику Шлегелю в связи с «Валленштейном», передал мне в Веймаре Гете всего три дня назад.

Примите уверения в моем искреннем почтении.

Шиллер.

230. ФРИДРИХУ КОТТА

Иена, 16 декабря 1798 г.

Обещанное продолжение моего последнего письма зависело от двух других театральных писем, которых я ожидал и которые не пришли; вот почему оно так сильно задержалось.

Если «Валленштейн» выйдет к пасхе, то я, разумеется, теряю на этом немалую сумму, а так как я знаю, что вы были бы рады мне ее сэкономить, то я и рассчитываю на вашу дружескую уступчивость. Иф-фланда, который дает мне 60 луидоров за все три драмы, я уже заранее пытался успокоить по поводу напечатания, хотя и в неопределенных выражениях. Театры Франкфурта, Вены и Граца уже обратились ко мне по этому поводу, и я уверен, что, как только станет известно о задержке с изданием, рукопись потребуют также Гамбургский, Лейпцигский и Бреславльский театры. Против такого изменения читателю по существу возразить нечего, если только честно назвать ему причину, то есть сослаться на пожелание и заинтересованность театральных дирекций. Остается, стало быть, установить срок издания. Думаю, примерно к началу 1800 года. Ждать до пасхи 1800 года из-за театра не нужно, но и более близкий срок (например, к концу сентября 1799) для театров будет слишком ранним. Если вы согласитесь с этим предложением, на том и порешим, а я узнаю о вашей согласии из того, что вы поместите прилагаемое объявление во «Всеобщей газете». Когда я его там увижу, не ранее, я дам соответствующие распоряжения театрам. В то же время будет справедливо, если я от сего дня начислю значительные проценты в вашу пользу на причитающуюся вам сумму или сразу же ее верну. Это само собой разумеется, потому что вследствие отсрочки издания мой доход возрастет, тогда как вы потерпите убыток из-за того, что авансированный вами капитал будет лежать без движения; с моей совести свалится тяжкий груз, если вы в этом вопросе будете со мной совершенно меркантильны. Надеюсь, что часть суммы я смогу вернуть вам в течение нескольких месяцев из театральных сборов.

С Газельмейером говорить больше не о чем. Он корыстный, мелочный человек, и мне бы очень хотелось поднять цену, если он еще раз попросит у меня драму.

Гете предстоит еще много поработать над «Фаустом», прежде чем он его допишет. Я часто тороплю его с окончанием, а сам он полагает завершить свой

труд будущим летом. Конечно, это будет дорогостоящим предприятием. Вся вещь займет не менее 20—30 листов, к тому же должны быть еще гравюры, и он рассчитывает на изрядный гонорар. Но сбыт, надо полагать, будет огромен. Не сомневаюсь, что Гете будет издавать свое произведение у вас, если вы сойдетесь с ним относительно условий, он очень хорошо к вам отнесется. На днях вы получите от него новый материал для «Всеобщей газеты». Как только я обеспечу театры моим «Валленштейном», я тоже буду писать для вашей газеты.

Всего хорошего. Жена сердечно кланяется вам и мадам Котта, равно как и я.

Ваш III.

231. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 22 декабря 1798 г.

Очень хочу прочесть Кантову «Антропологию». Патологическая сторона, которую он всегда выворачивает наружу у человека и которая, быть может, в «Антропологии» и уместна, преследует читателя почти во всех писаниях Канта, и именно она придает его практической философии столь мрачный характер. Удивления и сожаления достойно, что этот веселый, жизнерадостный ум не смог совсем высвободить свои крылья из грязи жизни, не смог даже до конца преодолеть некоторые тяжелые юношеские впечатления и т. п. В нем все еще есть нечто, напоминающее, как и у Лютера, монаха, который хотя и вырвался из монастыря, но не смог окончательно уничтожить его следы.

Охотно верю, что аристократы не очень-то жалуют сочинения такого сорта, как статья Буфле. Они стерпели бы гораздо больше горьких истин, сошедших с уст или из-под пера писателя-буржуа. Но так было всегда; ведь и для церкви ересь христианина всегда была более ненавистна, нежели неверие атеиста или язычника.

Продолжали ли вы в эти дни работу над схемой цветов? В связи с этим я рад, что приеду к вам, и мы сможем немного продвинуть это дело. С Шеллингом я вижу не чаще, чем в неделю раз, и обычно для того,

чтобы, к стыду философии будь сказано, сыграть с ним в l'ombre. Правда, это развлечение стало теперь для меня чуть ли не необходимостью, ибо у меня абсолютно нет другого, хотя, конечно, дурно, что ни на что более разумное мы оба не способны. Как только я хоть немного приду в себя, я с ним вместе займусь чем-нибудь более дельным. Он попрежнему столь же мало общителен и загадочен, как всегда.

От отсутствующих друзей давно нет известий. Надеюсь, что Гумбольдт не в числе тех иностранцев, которых в Париже арестовали.

На случай моего приезда в Веймар я хотел бы просить вас выхлопотать для меня у герцога на 3-4 недели квартиру, которую занимал Турэ. Моя свояченица теперь не может хорошо разместить у себя мою жену и детей, а мне бы не хотелось разлучаться с семьей, да и незачем вас обременять на столь долгий срок. Конечно, это несколько затруднило бы наши собеседования, но ведь важно только устроиться, а там все бы наладилось. Что бы вы посоветовали? Я думаю приехать дней через двенадцать.

В моей работе наблюдается ничтожный прогресс, ибо, исправляя последние акты для нужд театра, я столкнулся с гораздо большими затруднениями, чем ожидал, и работа эта, оказывается, тягостна и требует удивительно много времени.

Поздравляю вас с прошедшим самым коротким днем, который обычно составляет едва ли не целую эпоху в вашей жизни.

Всего хорошего, мы оба вам кланяемся.

Ш.

232. ФРИДРИХУ КОТТА

Иена, 19 февраля 1799 г.

Будьте так добры, любезный друг, и с *первой* же почтой отправьте от моего имени пять каролинов каменщику Гельцелю в Мангейме, проживающему около торговых рядов. Четырнадцать лет назад, во время моего пребывания в Мангейме, эти люди оказали мне

существенные услуги; теперь война нарушила их благосостояние, они терпят лишения и нужду, им необходима безотлагательная помощь. Зная ваше отзывчивое сердце, я надеюсь, что вы не замедлите исполнить мою просьбу. Денежная почта в Мангейм отправляется отсюда только через четыре дня, да, кроме того, до меня дошли слухи, будто почта из-за разлива ходит очень неаккуратно, поэтому я предпочел такой путь для посылки денег.

Будьте так добры и в сентябре месяце выплатите еще раз такую же сумму господину Гельцелю под гарантию моей расписки.

Послезавтра появится гетевская статья о «Пикколомини». Отдайте распоряжение в Штутгарте, чтоб не медлили с ее печатанием. Мы оба просим только об одном: набрать в разрядку отмеченные места, ибо в «Лагере Валленштейна» такие места не были достаточно выделены.

Сердечный привет вам и г-же Котта. Может быть, на этот раз вы приедете вместе с вашей супругой? Мы очень были бы ей рады. Искренне преданный вам

Шиллер.

233. КАРЛУ БЕТТИГЕРУ

Иена, 1 марта 1799 г.

Многое в ваших замечаниях по поводу того, что я хотел вложить в мою пьесу и о чем предоставил догадаться чуткому зрителю, сказано верно и удачно, и это меня, конечно, радует, ибо подтверждает, что мой замысел удался. Правда, намерение поэта могло проступить не всюду достаточно явственно, ведь между ним и зрителем стоял актер, и приниматься в расчет должны только *мои слова* и вся данная мною картина в целом.

Так, ни из всего замысла в целом, ни из текста не явствует, что Октавио Пикколомини такой уж негодяй и злодей. В моей пьесе он не таков, он даже более или менее порядочный человек в обычном понимании этого слова, и подлость, содеянную им, часто совершают на

своим жизненным пути люди, таких же, как и он, строгих понятий о справедливости и долге. Он, правда, выбрал плохое средство, но он преследовал благую цель. Он хочет спасти страну, он верно служит императору, которого после бога чтит выше всех. Он предаст друга, доверившегося ему, но этот друг — изменник своему государю и в его глазах безумец.

Несправедливо также провозглашать основными чертами характера моей графини Терцки коварство и злорадство. Она стремится к великой цели, проявляя при этом ум, силу и твердую волю, и не смущается средствами, это правда. Я считаю, что на политической арене всякая женщина с характером и честолюбием действовала бы не более этично.

Стараясь вернуть ваше уважение этим двум персонажам, я в то же время должен несколько умалить в ваших глазах самого Валленштейна как личность историческую. Исторический Валленштейн *не был* велик, и поэтический тоже *не должен* был стать великим. Согласно историческим данным, Валленштейн мнил себя великим полководцем, ибо был счастлив в бою, груб и смел, но он был скорее кумиром солдат, которых одаривал с чисто царственной щедростью и держал в почете в ущерб всем остальным.

В поведении своем он был нерешительным и нестойким, в своих планах — фантазером и сумасбродом, а в последнем деле своей жизни, в заговоре против императора, проявил себя слабым, неуверенным и даже неискусным человеком. Единственно, что могло казаться в нем великим, но только *казаться*, это его грубость и жестокость, то есть как раз те свойства, которые плохо вяжутся с обликом трагического героя. Я должен был лишить его этих свойств. Но я надеюсь, что вознаградил его за это, одарив силой мысли.

Когда пьесы о Валленштейне в напечатанном виде целый год будут гулять по свету, я сам, возможно, сумею сказать о них несколько слов. А сейчас я еще не отошел от этого произведения на должное расстояние; все же я надеюсь, что могу обосновать каждую отдельную составную часть всей картины общим замыслом.

III.

Иена, 7 марта 1799 г.

Согласно обещанию, посылаю два первых акта «Валленштейна» и надеюсь, что они будут хорошо приняты. Если это возможно, напишите завтра же несколько слов и отправьте мне рукопись обратно воскресной вечерней почтой: у меня нет разборчивой ее копии, и я не хочу, чтобы переписчик бездельничал.

Заодно прилагаю иффландовское сообщение о спектакле «Пикколомини» и афишу. Все произошло совершенно так, как я предполагал, и для начала можно быть довольным. Третья пьеса, надеюсь, тоже пробьет себе дорогу.

По счастью, мне удалось, наконец, так ее аранжировать, что в ней тоже теперь пять актов, и для приготовлений к убийству Валленштейна остается больше места; в театральном отношении эти приготовления стали значительнее. В пьесу введены два решительных военачальника, которые выполняют самый акт убийства, причем они и действуют и говорят; благодаря этому выделяется Бутлер и подготовка к убийству производит более страшное впечатление. Правда, это значительно удлинило мое произведение.

Желаю вам доброго здоровья. Жена немножко недомогала, теперь ей уже полегче, она просит передать сердечный привет. Очень благодарим за репу.

*Ш.**Иена, 15 марта 1799 г.*

Пишу всего несколько строк, чтобы подтвердить свое недавнее обещание. В понедельник вы получите «Валленштейна» целиком. Он умер и погребен. Осталось только кое-что поправить и отшлифовать.

Приезжайте же на праздники. После трудной прошлой недели это будет мне настоящим подкреплением.

Жена кланяется. Желаю вам доброго здоровья.

Ш.

Иена, 17 марта 1799 г.

Наконец-то посылаю вам работу в том виде, до какого я мог ее довести при данных обстоятельствах. Возможно, что отдельным частям не хватает известной законченности, но для театрально-трагической цели она, как мне кажется, достаточно закончена. Если вы решите, что теперь это действительно трагедия, что основные требования чувства удовлетворены, что на основные вопросы разума и любознательности даны ответы, что судьбы героев разрешены и единство основного впечатления достигнуто, я буду очень доволен.

От вашего слова будет зависеть, закончить ли четвертый акт монологом Теклы (что было бы мне приятнее всего) или же двумя небольшими сценами, следующими за этим монологом и, возможно, нужными для окончательного разрешения данного эпизода. Будьте добры, отправьте рукопись с тем расчетом, чтобы она была у меня *самое позднее* завтра, в понедельник, в семь часов вечера, и прикажите написать на конверте, когда был отправлен нарочный.

Все остальное при личном свидании. Сердечно поздравляю с успехами в работе над «Ахиллеидой», тут вы на опыте убедились, как сильно влияет на настроение замысел.

Жена шлет поклон. С нетерпением ожидаем вас на праздник.

Ш.

Иена, 19 марта 1799 г.

Я уже давно боялся того момента, хоть и страстно желал его, когда, наконец, расстанусь со своим произведением; и в самом деле при моей теперешней свободе я чувствую себя куда хуже, чем при том рабстве, в котором жил до сих пор. Сонм людей, который до сих

пор притягивал и держал меня, вдруг исчез, и мне чудится, будто я бесцельно повис в безвоздушном пространстве. В то же время мне кажется совершенно для меня невозможным опять создать что-либо; я не успокоюсь до тех пор, пока не почувствую, что мысли мои с надеждой и интересом вновь устремлены на определенный сюжет. Как только у меня опять будет цель, я отделаюсь от беспокойства, которое сейчас не позволяет мне приняться даже за незначительные работы. Когда вы будете здесь, я предложу вашему вниманию несколько трагических сюжетов, которые являются плодом моей фантазии, — чтобы не ошибиться с самого начала при выборе сюжета. Склонность и неудержимое желание влекут меня к вымышленному, не историческому, к чисто человеческому, исполненному страстей сюжету; солдатами, героями и властителями я сыт по горло.

Как завидую я вашей теперешней непосредственной деятельности. Вы стоите на самой чистой и самой возвышенно-поэтической почве, в прекрасном мире определенных образов, где все уже создано и где все надо воссоздавать сизнова. Вы живете в храме поэзии, и боги служат вам. Эти дни я снова занялся Гомером и с бескопечным удовольствием прочел посещение Вулкана Фетидой. В очаровательном рассказе о её приходе, таком простом и обыденном, в описании мастерской кузнеца есть что-то вечное и в сюжете и в форме, наивность здесь чисто божественная.

Хотя я лично убедился, как быстро вы работаете, для меня все же совершенно непостижимо, что вы наделаетесь или во всяком случае считаете возможным уже к осени закончить вашу «Ахиллеиду»; тем более, что в апреле вы работать не собираетесь. Действительно, я очень сожалею, что вы потеряете этот месяц, но, возможно, вам удастся сохранить ваше эпическое настроение, и тогда не позволяйте театральным заботам отвлекать вас. Что касается «Валленштейна», я с удовольствием сниму с вас часть забот.

На днях г-жа Имгоф прислала мне две последние песни своей поэмы, что доставило мне большую радость. Они развертываются чрезвычайно мягко и чисто,

простыми приемами и с необычной прелестью. Если вы приедете, мы поговорим о них.

Я отсылаю вам обратно «Пикколомини», а взамен прошу «Лагерь Валленштейна», который собираюсь отдать еще раз в переписку, чтобы послать, наконец, Кернеру все три пьесы вместе.

Некий г-н Мейер потребовал от вашего имени ящик с крупой, который и был ему отдан. Он вам доставлен?

Всего наилучшего. Жена шлет поклон. Завтра надеюсь получить известие, что вас можно ожидать в четверг.

Ш.

238. Г-ЖЕ ФОН КАЛЬБ

[Веймар, 20 апреля 1799 г.]

Узнаю ум и сердце Шарлотты. Искренне прочувствованное поэтическое произведение всегда восстанавливает былые прекрасные отношения, если даже случайные влияния ограниченной действительности и могли их испортить. Благородная человечность говорит из прочувствованного произведения искусства благородной человеческой душе, и вновь возвращается счастливая юность духа.

То, что вы вспомнили обо мне, дражайший друг, всегда будет мне дорого. Это для меня не только прекрасная память о сегодняшнем дне, это драгоценный залог вашего доброго отношения и искренней дружбы, что возвращает меня к прекрасной поре нашего первого знакомства. Тогда вы носили в вашем дружеском сердце мою духовную судьбу и чтили во мне талант, еще не развившийся, еще неуверенно преодолевавший материал. Вы ценили меня не за то, чем я был, и не за то, что я уже создал, а за то, чем я мог стать в будущем, и за то, что я мог написать. Если мне теперь удалось осуществить ваши надежды и оправдать то участие, которое вы принимали во мне, то я никогда не забуду, сколь многим я обязан нашим тогдашним прекрасным и чистым отношениям.

Ш.

Иена, 26 апреля 1799 г.

На мне все еще отзывается веймарский рассеянный образ жизни, и я никак не могу прийти в спокойное состояние духа. Пока я занялся историей царствования королевы Елизаветы и начал изучать процесс Марии Стюарт. Я сейчас же наткнулся на несколько основных трагических мотивов, что внушило мне большую веру в этот сюжет, в котором несомненно есть много благородных моментов. Мне кажется, что он особенно подходящ для еврипидовского метода, который заключается в самом полном изображении душевного состояния, ибо я думаю, что можно убрать все судопроизводство и всю политику и начать трагедию с обвинительного приговора. Но об этом — при личном свидании и тогда, когда мысли мои выльются в более определенную форму.

Оказывается, здесь весна, так же как и в Веймаре, не вступила еще в свои права, только в Мюльтале позеленели кусты крыжовника, образующие живую изгородь.

Не будете ли вы так добры взять из библиотеки по прилагаемым распискам отмеченные мною книги и прислать их мне с нарочной. Камдена я уже взял, но забыл оставить расписку. Мне было бы очень приятно, если бы вы могли раздобыть, вероятно из собрания герцога, генцевский исторический календарь, в котором есть жизнеописание Марии Стюарт.

Простите, что причиняю вам столько хлопот.

Еще раз сердечное спасибо за то радушие, которое встретил у вас и благодаря вам в Веймаре. Не откладывайте и приезжайте сюда первого мая, я уже написал об этом Котта.

Жена шлет поклон. Желаю доброго здоровья. Низкий поклон Мейеру.

III.

Иена, 8 мая 1799 г.

Твое последнее письмо я получил среди веймарской суеты, и оно было мне тем приятнее, что после пошлой светской болтовни об этом предмете особенно чувствовалась потребность в серьезном, вдумчивом голосе. Однако в течение ближайших трех-четыре-х месяцев не жди от меня никакого вразумительного ответа на этот счет; я сознательно постарался оторваться от этого материала, и сейчас на меня благотворно действует жизнь в новой стихии. Но не позже чем через неделю ты опять получишь обе пьесы и продержишь их у себя несколько месяцев, чтобы за это время сформулировать свои возражения и пожелания. Если бы ты согласился написать для «Всеобщей литературной газеты» статью о третьей пьесе, ты сделал бы большое одолжение и Гете и мне, потому что эта работа сейчас не входит ни в его, ни в мои планы, а сделать ее нужно. Ты можешь руководствоваться помещенной в той же газете статьей о «Пикколомини», которую мы написали совместно с Гете (правда, несколько поспешно), и не очень трудиться над своей статьей, так как надо дать только основное впечатление от пьесы.

«Валленштейн» имел в Веймарском театре прочный успех и увлек даже самых нечувствительных. Разногласий на его счет не было, и всю неделю только о нем и говорили.

Полтора месяца я не мог ни на чем остановиться, а теперь, слава богу, опять работаю над трагедией. На этот раз ты узнаешь сюжет только тогда, когда всё произведение будет закончено. К концу зимы, самое позднее, я надеюсь с ним справиться; прежде всего, тут не приходится так бороться с сюжетом, как в «Валленштейне», а потом на «Валленштейне» я лучше усвоил само ремесло. Если бы этим летом мне не надо было потратить несколько месяцев на «ПроPILEИ», то, полагаю, я мог бы написать новую пьесу уже к концу этого года.

Чувствую я себя пока молодцом; надеюсь, что за лето здоровье мое еще больше укрепится. Гете обзавелся собственным выездом и каждый день засажает

за мной покататься. На этих днях мы перебираемся на дачу, что и вы, вероятно, тоже скоро сделаете.

Будь так добр и попроси женщин подыскать мне бордюр к голубым обоям для садового павильона. Мне надо двадцать локтей, в ладонь шириной, не больше. Когда я узнаю, что это стоит, то вложу в следующее письмо деньги заодно с деньгами на макароны и крупу.

Сердечно вас обнимаем.

Твой III.

241. ГЕОРГУ ГЕНРИХУ НЕДЕНУ

Иена, 5 июня 1799 г.

Мне стыдно, что я так поздно отвечаю на ваше любезное письмо от сентября прошлого года с приятным вложением, но я отсрочил ответ, потому что не мог еще сказать ничего определенного о «Валленштейне». Примите мою искреннюю благодарность за ваши труды над «Карлосом». Насколько я понимаю по-английски и насколько могу судить о достоинствах перевода, сделан он очень хорошо; но таковы уж поэты: они не хотят отказаться даже от малейшего своего выражения, поэтому не могу скрыть, что мне жалко нескольких мест, силой и своеобразием которых пришлось пожертвовать ради духа чужого языка. Также не могу скрыть, что в этом переводе мне было неприятно изменение размера.

Теперь о «Валленштейне». Это драматическое произведение уже закончено, но оно написано как трилогия — пролог в одном акте, озаглавленный «Лагерь Валленштейна», пьеса в пяти актах, названная «Пикколомини» по двум главным после Валленштейна персонажам, и, наконец, собственно трагедия «Валленштейн», также в пяти актах. Пролог написан короткими рифмованными строками, в духе того века, в котором происходит действие. Обе другие пьесы написаны ямбом. Через моего книгопродавца Котта в Тюбингене ко мне поступили предложения из Англии отослать туда эти пьесы в рукописи, и за это мне предлагают шестьдесят фунтов. Некоторое время тому назад мне также написал с просьбой прислать ему мои будущие пьесы

некий г-н Симондс, проживающий на Патерностер Роу и, как вам, вероятно, известно, тоже выпустивший перевод «Карлоса». Так как я при моих обстоятельствах не имею права быть совершенно равнодушным к меркантильной стороне дела, то вы не истолкуете ложно, если я пожелаю узнать, гарантирует ли мне издатель вашего перевода такие же условия. Мне, конечно, было бы приятно, если бы перевод моих будущих пьес, так же как и «Валленштейна», попал в ваши искусные руки или в руки вашего друга и если бы таким образом я мог соединить внутреннюю существенную выгоду хорошего перевода с внешней меркантильной выгодой.

Я также узнал, что г-н Шеридан, директор Друриленского театра, принимает немецкие пьесы в оригинале и заказывает их переводы для игры на сцене. Если не будет нескромностью с моей стороны затруднять вас поручением, то мне очень хотелось бы знать, действительно ли это так и могу ли я в дальнейшем посылать ему свои пьесы, рассчитанные на театральные постановки. Валленштейновские спектакли я также думаю соединить в один, ибо в разбивке одного и того же трагического действия на два различных спектакля в театре есть что-то непривычное и после первой части всегда остается какая-то неудовлетворенность. Если же соединить обе пьесы в одну, то получается производящий большое впечатление спектакль, в чем я убедился по веймарским постановкам. Возможно, что тогда г-н Шеридан мог бы использовать и эту пьесу.

III.

242. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 25 июня 1799 г.

Боюсь, что из этих нескольких строк вы увидите, как жизнь для меня сейчас *rénible*¹. Зять с сестрой здесь, он трудолюбивый и довольно дельный филистер шестидесяти лет из провинциального городка, подавленный стесненными обстоятельствами и еще более при-

¹ Тягостна (фр.).

шибленный ипохондрией; однако человек довольно сведущий по части новых языков и истории немецкого языка, а также некоторых областей литературы. Вы можете себе представить, как мало у нас общих тем для разговоров и в каком я плохом настроении во время тех немногих бесед, которые мы ведем. Хуже всего то, что он, как мне кажется, представляет довольно значительную категорию читателей и ценителей, категорию, которой нельзя пренебрегать, потому что с его мнением — ведь он же библиотекарь — придется считаться.

Такая закоснелая ограниченность воображения может довести до отчаяния, если чего-нибудь от него ждать.

Кроме того, гости, которые пробудут здесь до воскресенья, отнимают у меня значительную часть времени, а сверх того и все мое хорошее настроение; эту неделю надо просто вычеркнуть из жизни.

Мне действительно очень любопытно знать, какое впечатление произведет ваш «Коллекционер». Раз нельзя особенно надеяться, что будешь строить и насаждать, то уже хорошо, если можешь затоплять и крушить. Единственное отношение к читателям, в котором не приходится раскаиваться, это состояние войны, и я очень стою за то, чтобы и с дилетантизмом боролись всяческим оружием. Изящная форма изложения, как, например, в «Коллекционере», конечно открыла бы этой статье гораздо более широкий доступ к мыслящему читателю, но немцам надо говорить правду как можно резче, поэтому я думаю, что серьезность должна преобладать даже и в форме изложения. Возможно, что в сви́фтовских сатирах можно найти подходящие для этого параллели или надо пойти по стопам Гердера и воззвать к духу Пантагрюэля.

Вероятно, в воскресенье я сам отвезу своих гостей на ближайшую за Веймаром станцию и затем, должно быть, пробуду в Веймаре два следующих дня; надеюсь, что, несмотря на суету, все же несколько часов проведу с вами. Я тоже от всего сердца радуюсь нашей здешней встрече.

Жена шлет поклон. Будьте здоровы.

III.

Вена, 19 июля 1799 г.

Несколько часов тому назад шлегелевская «Люцинда» довела меня до головной боли, от которой я до сих пор еще не отделался. Вам следует хотя бы из любопытства познакомиться с этим опусом. «Люцинда», как и всякое художественное произведение, характеризует своего автора лучше, чем все то, что он написал до сих пор, но делает его еще более карикатурным. Здесь та же вечная его расплывчатость, фрагментарность и совершенно невероятная, в высшей степени странная смесь туманного с характерным. Он чувствует, что поэтичность ему не дается, и поэтому считает себя воплощением иного идеала, соединяющего необузданную романическую фантазию и остроумие. Он вообразил, что сочетает в себе способность к горячей бесконечной любви с невероятным остроумием, и, сотворив себя по такому образцу, позволяет себе все, объявляя своим кумиром даже бесстыдство.

Впрочем, прочесть все произведение невозможно: уж очень надоедает пустая болтовня. После родомонтад в греческом духе и после того как Шлегель потратил столько времени на изучение античности, я надеялся, что найду у него хоть чуточку простоты и наивности древних, но его работа — верх современной бесформенности и неестественности; кажется, что читаешь какую-то смесь из «Вольдемара», «Штернбальда» и непристойного французского романа.

Как я слышал, веймарские господа и дамы дали вчера новый материал для статьи о дилетантизме, открыв любительский театр. Значит, друзей среди них не приобретешь, но зато иенцы могут утешиться, что отношение и к ним и к веймарцам равно справедливое.

Вы получите только один акт «Марии Стюарт»; этот акт потому отнял у меня так много времени и отнимет еще неделю, что я должен был выдержать в нем поэтическую борьбу с историческим материалом, и мне стоило большого труда сделать фантазию независимой от истории, поэтому я старался сразу овладеть всем; что в истории было пригодного для моей цели. Следую-

щие акты, я надеюсь, пойдут скорее, к тому же они значительно короче.

Так, значит, бедствие из Лобеда вам не требуется? Тем хуже, сказал бы я. Мне такая близость с пожилой подругой портит настроение, ибо я как раз сейчас особенно чувствителен ко всему, что давит и ограничивает.

Прилагаемую книгу прошу передать Вульпиусу.

Будьте здоровы.

Жена всем кланяется. Август был вчера здесь у нас.

III.

244. ВОЛЬФАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 2 августа 1799 г.

Желаю вам счастливо перебраться на дачу, что, как мне кажется, должно оказать благотворное влияние на вашу творческую деятельность. После длительного перерыва вам достаточно будет одиночества и спокойной сосредоточенности, чтобы вызвать прилив духовных сил.

Пока вы занимались поэмой Мильтона, мне довелось ознакомиться с эпохой, в которую она возникла и которая ее, собственно, породила. Как ни страшна была эта эпоха, все же она пробуждала поэтический гений, ибо историк не преминул вывести в числе действующих лиц многих прославленных английских поэтов. В этом отношении та революционная эпоха была плодотворнее эпохи французской революции, которую она во многом напоминает. Пуритане играют приблизительно ту же роль, что якобинцы, мероприятия часто те же и те же последствия борьбы. Такие эпохи как бы созданы на нагубу поэзии и искусству, ибо они беспредметно возбуждают и воспаляют дух, не давая ему объекта. Дух пользуется внутренними ресурсами, и это порождает уродливые явления — аллегорическое, изоциренное и мистическое изображение.

Я уже не помню, как выходит из положения Милтон, говоря о свободе воли, но кантовское толкование мне представляется слишком монашеским, я никогда не мог с ним примириться. Решающим доводом является для него то, что человеку свойственно положи-

тельное влечение к добру, так же как и к чувственному благополучию; и, значит, если он выбирает зло, для него так же необходимо положительное внутреннее влечение к злу, ибо положительное не может быть устранено чем-то чисто отрицательным. Здесь же два в корне разнородных явления — влечение к добру и влечение к чувственному благополучию — рассматриваются как совершенно одинаковые потенции и количества, ибо свободная личность у него одинаково противопоставлена этим двум влечениям и находится между ними.

Слава богу, что мы не призваны давать роду человеческому ответы на эти вопросы и нам можно не выходить из мира внешних явлений. Впрочем, эти неясные свойства человеческой природы не являются пустым местом для писателя, особенно для автора трагедий и тем паче для оратора, а в изображении страстей они играют немалую роль.

Уведомьте же меня в следующем письме, когда ожидают герцога обратно в Веймар, а значит, когда можно рассчитывать на ваш личный приезд сюда, в Иену. Мне хотелось бы это знать, потому что от этого зависит небольшое путешествие, которое мы с женой собираемся предпринять на несколько дней, но мне не хочется терять хотя бы один день вашего пребывания здесь.

Жена сердечно благодарит вас за участие.

Будьте здоровы и поскорей порадуйте меня известием, что поэтический час пробил.

III.

245. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 9 августа 1799 г.

Поздравляю с исправлением просодии в стихотворениях. К последнему пункту нашей формулы, к совершенству, бесспорно принадлежит и эта добродетель, и здесь художник должен кое-чему научиться у пунктировщика. Дело в том, что *чистота* просодии служит для внешнего воспроизведения внутренней необходимости мысли, а при известной вольности в просодии, наоборот, чувствуется некоторая нарочитость. С этой точки

зрения просодия великое дело и связана с интимнейшими законами искусства.

Принимая во внимание настоящий момент, каждый, кому дорог хороший вкус, должен радоваться, что к стихам, имеющим несомненную художественную ценность, прикладывается еще и эта мерка. Таким способом лучше всего бороться с посредственностью, ибо это заставит замолчать и тех, кому таланта хватает только на писание правильных стихов, кто работает только для слуха, и тех, кто считает себя слишком самобытным и не желает с должным усердием заниматься метрикой.

Но законы просодии еще не совсем ясны, поэтому даже при доброй воле в применении этих законов всегда останутся какие-то спорные пункты, а так как вы уже столько над этим думали, то было бы, пожалуй, неплохо, если бы вы дали предисловие или высказали ваши основные положения там, где это будет уместно, чтобы нельзя было счесть за простую вольность или за погрешность то, что делается из принципиальных соображений.

Мысль дать к произведению несколько гравюр очень удачна; за них можно хорошо заплатить, а следовательно, они будут хорошо сделаны; но я стоял бы за то, чтобы вы уступили общему настоянию и выбрали только индивидуальные изображения. В «Коринфской невесте» очень подходит ее «катастрофа», из «Алексиса и Доры», из римских элегий и венецианских эпиграмм тоже можно подобрать сюжеты, для которых наш друг Мейер просто создан.

Я очень стремлюсь узнать, как далеко вы подвинетесь в ваших редакторских делах ко времени приезда сюда. Отдельные спорные вопросы относительно метрики будут приятной и поучительной темой для наших бесед.

Не менее стремлюсь я показать вам и мои готовые акта¹, о которых я лично не могу еще высказаться окончательно. Во всяком случае, я с каждым днем все живей ощущаю потребность в театральных представлениях и, конечно, должен буду решиться проводить зимние месяцы в Веймаре. В ближайшее время я займусь

¹ Произведения (лат.).

изысканием материальных средств, необходимых для осуществления этого.

Желаю вам доброго здоровья в вашем одиночестве. Предприму ли я мое маленькое путешествие, а если предприму, то когда, пока я еще ничего сказать не могу. Жена шлет сердечный привет.

III.

246. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 16 августа 1799 г.

Шлегели, как я сегодня выяснил, вилели еще новые шипы в свой «Атенеум» и пробуют таким весьма недурно придуманным способом удержать свое судно на волнах. «Ксении» стали излюбленным образцом. В этом литературном «официозе» есть хорошие выдумки, но вперемежку с дерзкими выходками. В статье о Бёттигере юмор, как видно, не смог пробиться сквозь толщу горечи. Выпад против Гумбольдта невежлив и свидетельствует о неблагодарности, ведь Гумбольдт всегда был в хороших отношениях со Шлегелями, и это новое доказательство, что в сущности они немногого стоят.

Впрочем, обращенная к вам элегия — произведение хорошее, если, конечно, не принимать во внимание ее длину; в ней есть много прекрасных мест. Мне кажется, что в ней даже больше тепла, чем обычно в произведениях Шлегелей, а многое сказано просто отлично. Остальных вещей этого выпуска я еще не читал. Я не сомневаюсь, что на избранном ими теперь поприще они найдут достаточно читателей, но друзей издатели себе не приобретут, боюсь даже, что скоро иссякнет и материал, как это случилось с афоризмами, где они с самого начала раз и навсегда выложили весь свой наличный капитал.

Хорошо бы, если бы вы могли пожертвовать еще что-нибудь в Альманах, я тоже могу кое-что дать, возьмем также Маттиссона, Штейгентеша и еще кое-кого, и тогда Альманах примет свой обычный вид. Не хотелось бы, чтобы Котта и здесь потерпел неудачу, хотя я очень надеюсь на гравюры.

По поводу сборника ваших стихов мне пришло на ум, что вы могли бы еще обогатить жанр дидактических стихотворений, к которым относится «Метаморфоза растений»; возможно, что настроение для таких стихотворений создается всего скорее, ибо здесь вдохновляет рассудок. Если вы приедете сюда, то возможно, что в беседах на эту тему что-нибудь и возникнет так же быстро, как возникло стихотворение о метаморфозе. Заодно это было бы вашей лептой в Альманах.

Моя работа над драмой успешно движется вперед, и если ничто не помешает, то к концу августа я уже закончу второй акт. Вчерне он уже сделан. Я надеюсь, что в этой трагедии все будет театрально, хотя сейчас я ее несколько сокращаю для спектакля. Дело в том, что это сюжет богатый с исторической точки зрения, а я еще обогатил его в историческом смысле, введя мотивы, которые могут порадовать вдумчивого, образованного читателя, но которые на сцене, где и без того предмет дан в чувственных образах, не нужны и не будут интересны, так как широкая публика мало осведомлена в истории. Впрочем, я заранее принял во внимание все, что должно быть выпущено для сцены, и тут не потребуются специальной затраты времени, как для «Валленштейна».

Будьте здоровы и порадуйте нас надеждой на ваш скорый приезд сюда. Жена кланяется; она надеется, что наше переселение в Веймар не задержится дольше, чем до середины января. Я, вероятно, смогу приехать раньше. Будьте здоровы. Низкий поклон Мейеру.

III.

247. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Вена, 20 августа 1799 г.

В эти дни я напал на след другой возможной трагедии; правда, ее еще целиком надо выдумать, но, как мне сдается, ее можно выдумать на основе имеющегося материала. Во время царствования Генриха VII в Англии объявился самозванец Уорбек, выдавший себя за одного из сыновей Эдуарда V, убитых по приказу Ри-

чарда III в Тоуэре. Он сумел привести с виду убедительные доказательства своего спасения, нашел приверженцев, которые его признали и решили посадить на престол; некая принцесса того же дома Йорков, к которому принадлежал Эдуард, искала предлога для распри с Генрихом VII; она знала про обман самозванца и поддерживала его, она-то главным образом и вывела на историческую арену Уорбека. В течение некоторого времени он жил при ее дворе в Бургундии как особа царского рода и играл свою роль. Затем план его потерпел неудачу, он был побежден, разоблачен и казнен.

Из самой истории почти ничего нельзя взять, но вся ситуация в целом очень благодарна, а оба действующие лица — самозванец и герцогиня Йоркская — могут послужить основой трагедии, которую надо будет выдумать из собственной головы. Я вообще полагаю, что лучше брать из истории только общую ситуацию, эпоху и действующих лиц, а все остальное предоставлять поэтической фантазии: отсюда возник бы новый род сюжетов, в котором соединились бы преимущества исторической и выдуманной драмы. Обработать же вышеупомянутый сюжет, мне кажется, надо не так, как это сделал бы комедиограф, а совершенно иначе. Автор комедии старался бы показать несоответствие самозванца той большой роли, которую он взял на себя, и его неосведомленность в ней, и тем самым подчеркнуть комизм. В трагедии самозванец должен предстать словно рожденным для взятой им на себя роли и так с ней сжиться, чтобы отсюда возник интересный конфликт между ним и теми, кто сделал его своим орудием и обращается с ним, как со своим ставленником. Надо, чтобы все выглядело так, словно самозванство только указало ему место, к которому его предназначила сама природа. Не враги, а приверженцы и покровители, любовные интриги, ревность и т. п. должны были бы привести его к катастрофе.

Если вы найдете, что этот сюжет в целом представляет некоторый интерес и может быть положен в основу трагедии, то я понемногу начну им заниматься, ибо, когда я углубляюсь в работу над одной пьесой, мне необходимо в какие-то минуты думать о новом сюжете.

Вы не сообщаете мне ничего утешительного насчет Альманаха. Что касается гравюр, я и не рассчитывал на то, что они очень хороши; в этом отношении мы не избалованы, но в общем эта манера нравится, к тому же рисунок сделан умело, так что мы можем выйти с ними в свет. Ваше замечание о самом стихотворении наводит меня на размышления, тем более что и мне мерещилось нечто подобное. Теперь я не знаю, как быть, потому что я никак не могу заставить себя перейти на лирику. Плохо еще и то, что мы оставляем очень мало места для небольших стихотворений, значит, это должны быть художественно значительные вещи. Как только я окончу второй акт, я серьезно подумаю об этом.

Будьте здоровы, жена шлет поклон.

Ш.

248. ФРИДРИХУ ГЕЛЬДЕРЛИНУ

Иена, 24 августа 1799 г.

Не будь я так беден временем, дорогой друг, и так связан моей нынешней работой, я охотно исполнил бы ваше желание, и внес свою лепту в ваш журнал; в этом году я не внесу своей лепты даже в мой «Альманах Муз», а если и внесу, то весьма скромную. В дальнейшем, может быть, я вовсе расстанусь с ним, потому что вынужден отказаться от всякой работы, которая не дает возможности сохранить абсолютную независимость. Опыт издателя периодических изданий, приобретенный мною за шестнадцать лет, в течение которых я вел по богатому подводными камнями литературному морю не менее пяти различных судов, мало благоприятен и неутешителен, и потому как ваш искренний друг не могу вам посоветовать браться за нечто подобное. Я скорей вернусь к своему старому совету — сосредоточьтесь на определенном круге деятельности. Даже с точки зрения материальной, для нас, поэтов, часто очень существенной, путь периодических изданий только кажется прибыльным, а скромному новичку в этом деле никак нельзя на него отважиться, если нет собственного капитала, который помог бы ему перенести небольшую неудачу.

Как я желал бы не только дать вам совет, но и помочь его выполнить! Если вам будет угодно поближе познакомиться меня с вашим теперешним положением, то я, может быть, скорее смогу предложить что-либо соответствующее вашему желанию.

Будьте здоровы и примите уверения в моей искренней преданности.

Ваш Шиллер.

249. ГЕРЦОГУ КАРЛУ АВГУСТУ

Иена, 1 сентября 1799 г.

Ваша светлость,
милостивейший государь и повелитель!

Немногие месяцы моего пребывания прошедшей зимой и ранней весной в Веймаре в непосредственной близости к вам, ваша светлость, оказали такое живительное воздействие на мое душевное состояние, что я особенно остро ощущаю теперь одиночество и полное отсутствие наслаждения искусством и общения с людьми, на что я обречен, живя в Иене. Пока я занимался философией, я чувствовал себя здесь как раз на месте; теперь же, когда благодаря поправившемуся здоровью я с новым пылом предаюсь своей склонности к поэзии, мне кажется, будто я живу здесь как в пустыне. Место, где интересуются только наукой и главным образом метафизической, неблагоприятно для поэтов, которые издавна процветали только под животворным воздействием искусств и духовного общения. В то же время, вследствие моих занятий драматургией, настоящей потребностью для меня является посещение театра, в благотворном влиянии которого на мою работу я совершенно убежден; все это пробудило во мне горячее желание и впредь проводить зиму в Веймаре.

Однако, сопоставив это намерение с материальными возможностями, я понял, что не в силах оплатить расходы, живя на два дома, да еще при существующей в Веймаре дороговизне на самые необходимые предметы. Будучи в таком затруднительном

положении, я решился обратиться непосредственно к вам, всемилостивейший герцог, и решился с тем большим упованием, что ввиду причины, побуждающей меня к перемене места жительства, смею считать себя обнадеженным вашим собственным милостивым соизволением. Причина эта, ваша светлость, — желание быть ближе к вам, всемилостивейший повелитель, и к их светлостям герцогиням, и совершенствоваться в своем искусстве, всячески стремясь снискать ваше одобрение, а иногда, может быть, и развлечь вас.

Так как я главным образом могу рассчитывать на плоды собственного трудолюбия и в мои намерения никоим образом не входит ослаблять свое усердие — я скорее готов еще удвоить свою деятельность, — то я и осмелился всеподданнейше просить вас, ваша светлость, увеличить мое содержание и тем самым соизволить помочь мне оплатить лишние расходы на ежегодный переезд в Веймар и на жизнь на два дома.

С благоговейной преданностью остаюсь
вашей светлости всемилостивейшего
герцога всеподданнейший и по-
корный слуга

Фр. Шиллер.

250. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Иена, 26 сентября 1799 г.

Теперь уже решено, что в ближайшие годы я буду проводить зимние месяцы в Веймаре; герцог прибавил мне двести талеров и некоторое количество дров *in natura*¹, что при веймаровской дороговизне на дрова очень кстати. Итак, в моем образе жизни наступят различные перемены, а главное, я буду больше бывать в обществе. Хотя в Веймаре жизнь дороже, чем в Иене, все же на полгода тамошнего пребывания я смогу скинуть со счета все то, во что мне обходятся в Иене скромные приемы гостей. Тут я нигде не бываю и потому принимаю и угощаю всех у себя.

¹ *Натурой (лат.).*

В Веймаре это отпадает, и тем самым прибавка в двести талеров будет чистой прибылью.

«Валленштейн» принес нам от герцогини еще ценный подарок — серебряный кофейный сервиз; итак, на этот раз музы были умницами.

Альманах скоро выйдет из печати; это обстоятельство принудило меня прервать драматургическую работу и написать несколько стихотворений. Но завтра я надеюсь вернуться к театральной музе. К сожалению, на этот раз Гете ничего не дал для Альманаха; творческие силы покинули его этим летом. Он уже несколько времени здесь и просил вас кланяться.

Было бы очень хорошо, если бы ты мог снабдить меня сюжетами для драм, потому что мне больше не хватает сюжетов. Правда, в данное время исторические темы мне надоели, они ставят слишком большие преграды полету фантазии и отличаются прозаической сухостью, которую ничем не вытравить.

Читал ли ты «Речи о религии», вышедшие в Берлине, и романтические сочинения Тика? Я недавно прочитал оба произведения, потому что на них обратили мое внимание, а сейчас я объединил их, потому что это продукты Берлина и в известной мере вышли из одного и того же кружка. Первое, хоть и притязает на теплоту и задумчивость, в целом написано еще очень сухо и часто претенциозно; кроме того, новых трофеев в нем маловато. Манера Тика тебе известна из его «Кота в сапогах»; у него приятный романтический тон и много удачных выдумок, но все же он слишком пуст и убог. Ему очень повредило общение со Шлегелями.

Подательница сего письма, некая мадемуазель Бланш из Рудольштадта, воспитательница герцогских детей, хочет с вами познакомиться. Она разумная и весьма достойная особа и, верно, придется по вкусу вашим дамам.

Лотта всем вам кланяется. Три недели тому назад я предпринял с ней поездку в Рудольштадт и Веймар; всего десять дней, как мы дома.

Твой III.

Вена, 15 октября 1799 г.

Сегодня утром окрестили нашу маленькую Каролину, и я начинаю постепенно успокаиваться. Жена чувствует себя вполне сносно при существующих обстоятельствах, и с ребенком эти два дня все благополучно.

Я, наконец, приступил к чтению «Магомета» и делаю при этом кой-какие заметки, которые пришлю в пятницу. Одно совершенно ясно: если вы хотите ради опыта поставить какую-нибудь французскую пьесу и особенно вольтеровскую, то наиболее подходящая — «Магомет». Уже самый сюжет спасает пьесу от равнодушного к ней отношения, а в переводе гораздо меньше сказывается французская манера, чем в других пьесах, которые я вспоминаю. Вы сами уже много для этого сделали и без особого труда можете сделать еще немало. Поэтому я не сомневаюсь, что успех оправдает труд, затраченный на этот эксперимент. И все же я не решился бы делать подобные опыты с другими французскими пьесами, потому что едва ли отыщется еще хоть одна подходящая. Если при переводе нарушить их манеру письма, то что же останется в них поэтически-человеческого, а если сохранить эту манеру и показать в переводе ее достоинства, то как бы это не отпугнуло нашу публику.

Свойство александрийского стиха делиться на два полустишия и характерная особенность рифмы — два александрийских стиха составляют куплет — определяют не только язык этих пьес, но и весь их дух, характеры, настроение, поведение действующих лиц. Вследствие этого все подчиняется закону противопоставления, и подобно тому, как скрипка музыканта управляет движениями танцоров, так и двучленный александрийский стих управляет настроениями и мыслями. Непрерывно приходится обращаться к рассудку, и всякое чувство, всякая мысль насильно, словно на прокрустово ложе, укладываются в эту форму.

Если же в переводе отказаться от александрийского стиха, то будет разрушен тот фундамент, на котором зиждутся французские пьесы, и тогда останутся только развалины. А когда отпадает причина, не понимаешь следствия.

Итак, я боюсь, что из этого источника мы почерпнем не много нового для нашей немецкой сцены, разве только голые сюжеты.

Два дня после вашего отъезда я еще не работал, но надеюсь завтра начать.

Будьте так добры, отправьте мне с нарочной все листы Альманаха, а если можно получить, то и сброшюванный экземпляр.

Низко кланяюсь Мейеру. Будьте здоровы.

Ш.

252. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 25 октября 1799 г.

С того самого вечера как я отправил вам последнее письмо, положение мое было очень печально. В ту же ночь жене стало хуже, и припадки ее перешли в настоящую нервную горячку, которая очень нас пугает. Правда, жена еще не очень слаба, если принять во внимание, сколько сил она потеряла, но она бредит уже третий день, за все время она ни разу не сомкнула глаз, а жар подчас очень силен. Мы все еще в большом страхе, хотя Штарке нас очень обнадеживает. Если даже и не случится самого худшего, то длительная слабость неизбежна.

Эти дни, как вы сами можете себе представить, я очень страдал, но страшное беспокойство, заботы и бессонные ночи не отразились на моем здоровье; возможно, конечно, что это скажется позже. Жену нельзя оставить одну ни на минуту, а она позволяет ухаживать за собой только мне и теще. Ее бред переворачивает мне сердце, я в постоянной тревоге.

Малютка, слава богу, здорова. Не будь здесь тещи, такой заботливой, спокойной и рассудительной, я бы не знал, что делать.

Желаю вам доброго здоровья. Для меня было бы большим утешением видеть вас, но при таких печальных обстоятельствах я не смею вас приглашать.

Шиллер.

253. ШАРЛОТТЕ ШИЛЛЕР

[Веймар, 4 декабря 1799 г.]

Опять посылаю сердечнейший привет моей Лоло. Сегодня я совершенно успокоился, так как знаю, что ты здорова и что тебе отлично живется у нашей милой г-жи фон Штейн. Пусть все воспоминания о последних двух месяцах останутся в иенской долине, здесь мы заживем новой веселой жизнью. Спокойной ночи, дорогая, сердечный привет окружающим.

Посылаю порошок, его надо развести в бутылке холодной воды и поставить в чуть теплое место, *chère mège* знает. Остальное заказано в аптеке.

Шиллер.

254. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 5 января 1800 г.

За хлопотами и развлечениями первого месяца моего здешнего пребывания я не удосужился сесть за письма; я даже не помню, писал ли я тебе отсюда. Жена неизменно чувствовала себя хорошо, сейчас она совсем оправилась, и по ней не скажешь, что она перенесла тяжелую болезнь. Дети тоже не болели. В общем, мне здесь нравится, я чаще вижу людей, здесь я ближе к тем, кто мне приятен. С Гете я вижусь ежедневно. И над пьесой своей я тоже уже много поработал, может быть, к концу февраля я ее закончу, если и дальше пойдет так же.

Посылаю тебе первые акты «Пикколомини». Будет очень приятно, если ты найдешь время сообщить мне твои замечания, так как в будущем месяце надо приступить к печатанию.

У меня сейчас куча всяких планов, и приходится усидчиво работать, потому что жизнь здесь гораздо дороже, чем я предполагал. Все же я постараюсь лучше

побольше заработать, но не отказываться от преимуществ здешнего пребывания, так как оно имеет великое значение для моего душевного равновесия. Иена уже не то, что мне нужно, там уже ничто меня не вдохновляет. Правда, и здесь духовная жизнь развита недостаточно, но здесь много праздного люда, и поэтому есть потребность в духовных развлечениях и, конечно, в первую очередь в искусстве и поэзии.

Лотта шлет поклон и скоро напишет сама. Тысячу раз обнимаем вас.

Твой III.

255. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 24 марта 1800 г.

Посылаю вам мой сердечный привет и после долгого перерыва опять подаю о себе весточку. Вероятно, болел я очень тяжело, потому что даже теперь, через полтора месяца, я все еще не совсем оправился от своего недуга, сил нет, я с трудом поднимаюсь по лестнице, а когда пишу, дрожит рука. И кашель все еще не проходит, и мокроты много выделяется.

Конец прошлого года и начало нового оказались очень печальной порой для нашей семьи, и я боюсь, что мы всю жизнь будем ее вспоминать.

Последняя обработка моего «Валленштейна» припала как раз на это тяжелое время, и потому не удивляйся, любезный Кернер, что я мало использовал твои замечания. Кроме того, произведение искусства, задуманное художником со знанием дела, нечто живое, где все связано одно с другим, где ничего нельзя тронуть, чтобы все не сдвинулось с места. Будь даже у меня полный досуг и душевное спокойствие, мне было бы очень трудно удовлетворить все твои желания, ибо во многих пунктах *quaestionis*¹ у меня противоположные твоим принципиальные взгляды на поэзию, особенно на поэзию трагическую, и от этих взглядов мне трудно отказаться. Примерно дней через десять я пошлю тебе две первые пьесы в напечатанном виде.

Всемирный болтун и сикофант Бёттигер испортил

¹ Спорных (лат.).

мне удовольствие от пьесы. Я собирался прислать тебе «Марию Стюарт», готовую пьесу без всяких предупреждений, чтобы ты не успел заранее испортить себе воображение, размышляя над историческими сюжетами, и сохранил беспристрастие. К сожалению, и эта пьеса очень задержалась из-за злосчастных хлопот этого года. Будь здоров. Лотта шлет сердечный привет. Обнимаю вас всех.

III.

256. АВГУСТУ ВИЛЬГЕЛЬМУ ИФФЛАНДУ

Веймар, 26 апреля 1800 г.

Посылаю вам новый перевод «Макбета» для театра, может быть, он вам пригодится. Те, что были сделаны до сих пор, к сожалению, очень неудачны, и я считаю, что стоило потрудиться и сделать еще одну попытку удержать на сцене эту пьесу — одно из наиболее совершенных шекспировских произведений.

Из рейгардтовских композиций к бюргеровскому переводу «Макбета» можно использовать не только увертюру, но и кое-что другое, особенно в третьей сцене с ведьмами в четвертом действии, когда происходит заклинание.

Я предоставляю вам рукопись за двенадцать дукатов и за столько же каролинов «Марию Стюарт», которую я закончу через полтора месяца самое позднее и которая, надеюсь, принесет мне славу. За пьесы о Валленштейне, из которых первая вам даже не пригодилась, вы заплатили мне слишком дорого, и я надеюсь, что «Мария Стюарт» возместит вам этот убыток.

Прошу вас в двух строчках подтвердить получение.

Преданный вам

Шиллер.

257. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 16 июня 1800 г.

На этот раз я не краснею за свое долгое молчание: работа так захватила меня, что я не мог думать ни о чем другом; и только теперь, когда она окончена, я

могу вспомнить о старых долгах. Я уединился на несколько недель в Эттерсбурге, где жил в одном из веймарских дворцов вдвоем со слугой и где кончал «Марию Стюарт». На прошлой неделе я вернулся домой и руководил театральными репетициями; третьего дня ее играли, и с таким успехом, что большего и желать нельзя. Я начинаю, наконец, овладевать сущностью драматургии и знанием своего ремесла. Рукопись я пошлю тебе как только выполню спешные заказы, две первые копии — они уже заказаны — нужно отправить в Берлин и Лейпциг. Все же я надеюсь не позже чем через десять дней послать тебе пьесу вместе с «Валленштейном», отпечатанным почти целиком — кроме двух последних листов. А пока ты получишь «Макбета», чтоб тебе было что читать из моих работ. Сравни его внимательно с оригиналом и прежними переводами. Конечно, по сравнению с английским подлинником он жалок; но это во всяком случае не моя вина, это вина языка и тех многочисленных купюр, которые требует театр.

Здоровье мое за последние два месяца совсем поправилось. Я много двигаюсь, бываю на воздухе, часто выхожу на улицу и в общественные места и сам на себя удивляюсь. Это отчасти объясняется моей деятельностью; лучше всего я чувствую себя тогда, когда захвачен работой. Поэтому я уже готовлюсь к новой.

Жена вам кланяется, она все время чувствовала себя хорошо, и оба мальчика тоже. Крошка больна ветряной оспой, но она не капризничает, и болезнь проходит благополучно.

Передай сердечный привет Минне и Дорхен и пришли мне поскорей весточку о вас.

Твой III.

P. S. Письмо не поспело с почтой. Тем временем пришла посылка от Дорхен. Жена очень благодарит за то, что вы исполнили ее просьбу, и посылает деньги. Еще раз сердечный привет.

Веймар, 22 июня 1800 г.

Посылаю вам «Марию Стюарт» в том виде, в каком она шла неделю тому назад в здешнем театре. Хотелось бы, чтобы она оказалась достойной того лестного мнения, которое вы как будто составили себе заранее, что несомненно доказывает ваше письмо.

На здешней сцене она произвела то впечатление, которого я желал. Если в Берлинском театре нельзя пойти так далеко, как я это сделал в шестом явлении пятого акта, что возможно было здесь, в Веймаре, то делу легко помочь, вычеркнув кое-что; я вполне доверяю это вам.

Мне было бы очень приятно, если бы г-жа Флек играла Марию, а г-жа Унцельман — Елизавету. Берли я хотел бы видеть только в вашем исполнении, если вас, конечно, не прельщает сильнее Шрузбери.

Прошу вас еще об одном — не затягивать спектакль слишком длинными антрактами. Здесь спектакль длился три с четвертью часа, но если Елизавета будет полностью переодеваться между вторым и третьим действиями, то это без всякой нужды затянет спектакль на двадцать минут. Мое желание — чтобы она меняла только плащ и украшения на голове. В пятом акте все, кто приходит к Марии, должны быть в траурной одежде. Берли и Шрузбери на протяжении всей пьесы одеты в черное.

Будьте добры подтвердить несколькими строчками своевременное получение рукописи.

Искренне преданный вам

Шиллер.

Р. С. Я придаю большое значение тому, чтобы в пьесе Елизавета была еще молодой женщиной, желающей нравиться, почему эту роль надо поручить актрисе, обычно играющей любовниц, здесь я отдал эту роль г-же Ягеман, которая отлично с ней справилась. Марии по пьесе лет двадцать пять, а Елизавете самое большее тридцать.

Вы, конечно, сами увидите, что роль Мельвиля, как она ни мала, должна быть отдана в хорошие руки. Я бы даже просил вас взять ее на себя, если не найдется другого актера достаточно для нее представительного.

259. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 3 июля 1800 г.

Посылаю тебе «Марию Стюарт» и надеюсь на хороший прием. Ты можешь держать рукопись две недели, затем прошу вернуть ее мне, потому что ее ждут мои венские и здешние друзья. Если бы тебе захотелось задержать ее на более долгий срок, можешь отдать в переписку. Предупреждаю только еще, чтобы ты не удивлялся, когда дойдешь до седьмого, явления пятого акта. В спектакле эта сцена была переделана: переделку я пошлю тебе, когда ты прочтешь пьесу.

Меня радует, что ты так доволен «Макбетом». Твое замечание о предсказании, вставленном в первую сцену с ведьмами, возможно, и основательно; но мне это показалось нужным для театра, потому что большинство зрителей очень невнимательны и за них надо думать.

Я не могу советовать вам поставить «Марию» на лейпцигской сцене; по слухам, труппа там очень неважная; Гете, бывший на Лейпцигской ярмарке, очень ее бранил.

Наша труппа во всех смыслах лучше; не благодаря отдельным выдающимся талантам, а благодаря манере держаться на сцене и сыгранности всего ансамбля. Наша труппа играет этот и следующий месяц в Лаухштедте. Если «Марию» дадут там два раза (сегодня, 3-го, ее играют там в первый раз), то нельзя ли перенести проектируемую вами поездку в Лаухштедт? Напиши мне поскорей твое решение, я соображу, что можно сделать.

Испанская литература, конечно, будет для тебя очень привлекательным занятием, если ты в ладах с романтической поэзией. Она, правда, родилась под другим небом и в совершенно другом мире. Не думаю, чтобы наша немецкая поэзия могла почерпнуть из нее

так много, как ты надеешься; дело в том, что нам больше по сердцу глубины философии и подлинность чувства, а не игра фантазии. Недавно Тик в своих романтических вещах опять затронул эту область, и очень удачно; его «Геновева», вероятно, у тебя уже есть. И Шлегели тоже теперь усиленно занимаются испанской литературой,— на свой манер, конечно; но своей односторонностью и самонадеянностью они портят все дело.

III.

260. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 13 июля 1800 г.

Для меня было большим утешением услышать, что «Марии Стюарт» не повредило в твоих глазах то обстоятельство, что временами герой или героиня не внушают особой симпатии. Ты совершенно прав,— мои главные персонажи не привлекают сердца, и не стану отрицать, что это тот пункт, в котором я с тобой разошелся в «Валленштейне», ибо мне казалось, что в твоём суждении о «Валленштейне» ты еще слишком зависел от сюжета: ведь ты придавал особое значение Максу Пикколомини, даже предсказывал, что он должен играть главную роль в «Пикколомини» и затмить Валленштейна. По моему убеждению, не моральное чувство определяет героя, а исключительно само действие, поскольку оно относится к нему одному или исходит от него одного. Герою трагедии моральные качества нужны постольку, поскольку он должен возбуждать ужас и сострадание. Правда, к авторам трагедий уже давно предъявляют другие требования, и всем нам трудно отрешиться при оценке произведения искусства от своих симпатий и антипатий. Но ты со мной согласишься, что мы должны это делать, и что если б мы могли равнодушной относиться к своему герою, это послужило бы только на пользу искусству.

Впрочем, я с давних пор склонен к таким сюжетам, которые вызывают участие, вот я и постараюсь соединять оба эти требования, хотя возможно, что в подлинной трагедии лучше избегать повода воздействовать сюжетом.

Моя новая пьеса должна возбудить большую симпатию уже своим сюжетом. Здесь один главный персонаж, все остальные персонажи, число которых достаточно велико, не могут идти с ним ни в какое сравнение по тому участию, которое он возбуждает. Все же сюжет достоин подлинной трагедии, и если я смогу обработать его не хуже, чем это мне удалось с «Марией», то успех должен быть очень большой.

Будь же так добр и, если можешь, раздобудь мне какие-либо материалы о процессах против ведьм и сочинения по этому вопросу. В своей новой пьесе я касаюсь этой темы и должен взять оттуда несколько основных мотивов.

По поводу поездки в Лаухштедт я жду, чтоб мне написали оттуда, когда назначено новое представление «Марии». Я был бы сердечно рад повидаться с вами.

Жена только сегодня вернулась из Рудольштадта и шлет вам сердечный привет.

Твой III.

261. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 28 июля 1800 г.

Мы очень сожалеем, что не увидимся с вами в этом году; на путешествие в Дрезден у меня нет ни времени, ни средств, но на будущий год, если представится хоть малейшая возможность, ничто меня не удержит, и я рассчитываю, что тогда осуществлю эту поездку не торопясь и спокойно. Пока я не закончу две следующие пьесы, которые сейчас вынашиваю, я не буду знать покоя. На «Марию Стюарт» я потратил, за вычетом того времени, когда я над ней не работал, семь с половиной месяцев, считая с первой мысли об этом сюжете, значит, если принять во внимание, что я приобрел уже больше умения и больше уверенности в работе, я могу надеяться за полгода закончить одну пьесу. Итак, я надеюсь нагнать упущенное и, если доживу до пятидесяти лет, завоевать себе место среди самых плодовитых театральных авторов.

Я не хочу делать тайну из моего нового замысла, но все же прошу никому о нем не упоминать, потому

что, когда говорят о еще не законченной работе, я терплю к ней вкус. Тема, над которой я работаю,— «Орлеанская дева»; план будет скоро закончен, через полмесяца я надеюсь приступить к обработке. Сюжет в том виде, как я его задумал, в высшей степени поэтичен и чрезвычайно трогателен. Но я боюсь с ним не справиться именно потому, что я его очень полюбил, и опасаясь, что не смогу осуществить свою собственную мысль. Через полтора месяца я буду знать, справлюсь ли я со своим замыслом. О колдовстве я распространяться не собираюсь, а в той мере, в какой оно мне понадобится, я надеюсь обойтись собственной выдумкой. В сочинениях на эту тему нет почти ничего, что было бы хоть мало-мальски поэтично; Гете тоже говорил мне, что не нашел в книгах ничего интересного для своего «Фауста». То же и с астрологией; просто диву даешься, каким плоским и грубым шутовством так долго занималось человечество.

«Орлеанскую деву» не втиснуть, как «Марию Стюарт», в узкий корсет. Правда, по количеству листов эта пьеса будет меньше предыдущей, но драматическое действие шире по своему охвату и гораздо смелей и свободней. Каждый сюжет требует своей собственной формы, искусство в том и состоит, чтобы найти подходящую. Трагедия как жанр должна быть в вечном движении и становлении и потенциально она должна осуществляться в сотнях и тысячах различных форм.

Твой III.

262. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Веймар, 13 сентября 1800 г.

Желаю вам удачи в том, что вы предпринимаете в «Фаусте». Не смущайтесь только мыслью, что жалко делать более грубыми те прекрасные образы и ситуации, которые будут в вашем «Фаусте». Во второй части такие случаи, возможно, встретятся еще нередко, и хорошо было бы раз навсегда успокоить на этот счет свою поэтическую совесть. Грубость трактовки, которой требует от вас дух целого, не может уничтожить то возвышенное и прекрасное, что есть в произ-

ведении, она только иначе его «специфицирует» и подготавливает для другого душевного состояния. Именно возвышенные и благородные идеи придадут произведению его очарование, и Елена явится символом всех прекрасных образов, которые войдут в эту поэму. Сознательный переход от чистого к нечистому лучше, чем старанье подняться от нечистого к чистому, как это делаем мы, варвары. Вот вы и должны в своем «Фаусте» всюду утверждать свое право на «расправу» с материалом.

Что касается отзыва о выставленных картинах, не могу вам обещать ничего определенного, кроме письма о них, которое я собираюсь написать один и самостоятельно. Для меня было бы очень невыгодно стремиться слить мои мысли с вашими и мейеровскими. К тому же то, что я выскажу обособленные от ваших взгляды, несомненно будет полезно для читателей «Прописанных», или, вернее, для наших намерений относительно этих самых читателей. Впрочем, я охотно помогу Мейеру советом.

Работа моя подвигается очень медленно, но на месте я не стою. При бедности моих внешних представлений и опыта мне всегда приходится изобретать собственный метод и тратить много времени, чтоб оживить материал. А материал нелегкий и неблизкий мне.

Прилагаю несколько берлинских новинок, которые должны вас позабавить; особенно обрадует вас протекция, которую оказывает вам Вольтман.

Будьте здоровы и не сходите с начатого вами пути.

III.

263. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 21 октября 1800 г.

Не знаю, кто из нас двоих задолжал другому письмо, вероятно должник я, в таком случае прости мне великодушно мою лень. Ты ведь знаешь, если я не пишу, значит ушел по уши в работу, и тогда все оставливается. А у тебя нет этой дурной привычки, в высшей степени свойственной мне, ты умеешь ваять

себя в руки, вот ты и мог бы иногда попенять мне и сообщить, что ты и твои домашние живы-здоровы. За то время, что я тебе не писал, у нас все осталось по-старому, здоровье мое идет на поправку, так что я могу продолжать мой новый образ жизни в отношении моциона и прогулок. Но работа подвигается очень медленно. Я всегда ломаю себе голову над экспозицией, пока, наконец, приду к твердому решению. Но дело это меня не пугает, хотя я и наперед знаю, что работы достанет на всю зиму.

Касательно своих стихов я тебе еще не ответил. Если некоторые стихотворения выпущены, это не значит, что они мною окончательно отвергнуты; оставаться в прежнем виде они не могли, а на переработку потребовалось бы больше времени, чем я мог тогда уделить. Многие стихотворения, хотя бы, например, «Художники», я раз двадцать брал и снова откладывал, раньше чем прийти к окончательному решению. Вначале относительно этого стихотворения у меня была та же мысль, что и у тебя, но она невыполнима. К сожалению, стихотворение это далеко не совершенно, и только отдельные места в нем удачны; их мне, разумеется, самому жалко.

«Радость» же, как я теперь понимаю, стихотворение насквозь ошибочное, и хотя спервоначала оно привлекает известным жаром чувств, все же стихотворение это плохое и отмечает ступень в моем развитии, через которую я должен был перешагнуть, чтобы создать что-нибудь действительно стоящее. Но оно отвечало дурному вкусу того времени, и поэтому на его долю выпала честь стать в какой-то мере народным. Твою любовь к нему, вероятно, надо отнести за счет эпохи, когда оно было написано; но на этом и кончается его ценность, да и ценно-то оно только для нас, а не для мира и не для поэзии.

Об отдельных изменениях в напечатанных в сборнике стихах, которые тебе, может быть, не совсем теперь по вкусу, интересно было бы побеседовать, что мы и сделаем при свидании. Хотя я и сам не всем в равной мере доволен, все же я не могу пойти ни на какие уступки, так как следовал определенным принципам.

Гете давно вернулся из своей поездки в Иену, где он надеялся поработать над «Фаустом»; сделал он очень немного, но то, что сделал, — отлично. В общем, он сейчас пишет мало, хотя все еще отличается богатством замысла и выполнением у него прекрасное. Ему недостает душевного спокойствия из-за печальных домашних обстоятельств, которые доставляют ему много неприятностей, но изменить которые у него не хватает силы воли.

Гумбольдтов ожидают с недели на неделю. Я извещу тебя сейчас же, как они приедут. О духовидцах я ничего не слышал и не верю в них, во всяком случае не отношусь к этому серьезно.

Будь здоров. Все мы шлем вам сердечный поклон.

Твой Ш.

264. АВГУСТУ ВИЛЬГЕЛЬМУ ИФЛАНДУ

Веймар, 19 ноября 1800 г.

Ваше любезное письмо от 8-го числа, а также письмо от г-на Якоби со вложением тридцати шести дукаатов я получил на следующий же день по отправке моего последнего письма и очень вам благодарен. С вашей стороны большая любезность извиняться за опоздание с присылкой денег. Сейчас они как раз очень кстати, так как я собираюсь весело провести новогодние праздники.

Как обрадовало меня ваше желание получить еще одну мою пьесу и сыграть в ней главную роль. Доверить вашему искусству успех пьесы — лучшего я и желать не могу. К сожалению, в своих последних пьесах я скорее требовал от вас жертв и не предоставлял вам достойного вас поля действия; виноват в этом случай, который обычно решает выбор сюжета. И в той пьесе, над которой я сейчас работаю, тоже нет ни одной достаточно значительной мужской роли, так что мне трудно выполнить ваше желание; за исключением одной-единственной *женской* роли, интерес распределяется между несколькими второстепенными персонажами.

Но как только я справлюсь с этой пьесой (которая займет у меня еще месяца четыре, потому что я сел за нее только в сентябре), я первым делом возьмусь за давно уже намеченную трагедию, действие которой держится на одном-единственном мужском персонаже, и, может быть, это как раз и будет роль, которую вы желали бы сыграть. Это роль отца семейства, взятая в героическом аспекте: гроссмейстер мальтийского ордена представлен в кругу своих рыцарей, в то время когда орден стоит на краю гибели, когда ему угрожает вражеская осада и внутренний мятеж. Но благодаря уму, мягкости и силе духа гроссмейстера Ла Валетта орден выходит победителем из всех испытаний. В основу этого характера положены великодушные и доброта в соединении с деятельной энергией и благородством. Гроссмейстер в своем ордене это тот же отец в семье, но одновременно и король в своем государстве и военачальник среди своих рыцарей.

Надеюсь, что к концу будущего лета смогу отдать вам этот законно требуемый вами долг.

Хорошо, если бы берлинские дела позволили вам приехать к нам на проводы столетия, и тогда вы, может быть, согласились бы сыграть Валленштейна. Если есть хоть малейшая возможность, исполните наше желание.

Теперь, когда вы взяли на себя роль Мельвиля в «Марии», я совершенно спокоен за пятый акт и считаю, что вы оказали моей пьесе огромнейшую услугу. Ведь только внешний облик и спокойное достоинство актера, играющего Мельвиля, могут оправдать смелую сцену покаяния и заставить позабыть ее неприличие.

Прошу вас, никому не рассказывайте то, что я вам написал про пьесу «Мальтийские рыцари», и простите мне, что я утаил от вас сюжет пьесы, над которой сейчас работаю. Пусть это мое воображение, но мне кажется, будто я работаю с большим рвением, когда никто не знает моей тайны, а при этой моей работе мне удалось соблюсти тайну. Но как только будет поставлена последняя точка, вы станете обладателем и пьесы и тайны.

Мортимер должен быть не старше двадцати одного — двадцати двух лет. Я сократил пьесу для театра и кое-что выбросил; между прочим, довольно большой монолог Берли в конце той сцены, за которой следует монолог Елизаветы. Это место было восстановлено в копии для здешнего театра и имело большой успех. Вероятно, монолога недостает и в отосланном вам экземпляре, поэтому прилагаю его сейчас. Из мужских ролей здесь наибольший успех имел Берли, потому что его играл самый понимающий из наших актеров — г-н Бекер, который обратил на себя внимание и в роли Квестенберга.

Желаю вам доброго здоровья, примите уверения в моей преданнейшей дружбе.

Шиллер.

265. ГРАФИНЕ ШАРЛОТТЕ ФОН ШИММЕЛЬМАН

Веймар, 23 ноября 1800 г.

Милостивые ваши слова, ваше сиятельство, рассеяли мое смущение, и теперь я снова питаю к вам полное доверие. Да и как мог я хоть на мгновение усомниться в великодушии ваших намерений, которое так явственно проступает в каждой строчке вашего письма. Но я видел только всю глубину своей неправоты и не видел вашего прекрасного сердца, стоящего выше всех ограничивающих предрассудков.

Да, конечно, я возблагодарил бы судьбу, если бы мне было дано жить поблизости от вас. Вы и бесценный Ш. создали бы вокруг меня идеальный мир. Всем, что есть во мне хорошего, я обязан нескольким прекрасным людям, благосклонная судьба поставила их на моем пути в решающие для меня периоды жизни, мои знакомства — это история моей жизни. Это обстоятельство и некоторые слова в вашем письме навели мою мысль на знакомство с Гете, которое я и поныне, по истечении шести лет, почитаю самым счастливым событием моей жизни. Говорить вам о высоком уме этого человека не надо. Вы знаете его заслуги как писателя, правда, может быть, не в той же мере,

в какой чувствую их я. Я искренне убежден, что ни один писатель даже отдаленно не может сравняться с ним по глубине и тонкости чувств, по простоте и правде и в то же время по высокому мастерству. Природа одарила его богаче всех тех, кто родился после Шекспира. И сверх того, что он *получил* от природы, он *приобрел* больше, чем кто-либо другой, ревностными научными исследованиями и занятиями. В течение двадцати лет он неустанно и добросовестно трудится, стремясь познать все три царства природы, и он проник в сокровенные глубины этих наук. Он сделал чрезвычайно важные выводы о физической природе человека и, спокойно следуя своим одиноким путем, преугадал те открытия, которыми теперь так кичится наука. Его открытия в области оптики будут окончательно оценены только в будущем, ибо он со всей очевидностью доказал ложность ньютоновского учения о цветах, и если он проживет достаточно, чтобы завершить свой труд, то этот спорный вопрос будет разрешен раз и навсегда. Он пришел также к совершенно новым и замечательным выводам о магните и электричестве. Он также значительно опередил своих современников в понимании изобразительного искусства, и художники могли бы многому у него поучиться. Кто из писателей хоть отдаленно может сравняться с ним по таким основательным знаниям, а ведь значительную часть своей жизни он посвятил государственным делам, которые нельзя считать мелкими и незначительными только потому, что наше герцогство невелико. Но меня привязывают к нему не эти высокие умственные качества. Если бы он как человек не был для меня выше всех остальных людей, которых я лично знал, то я бы только издали восхищался его гением. Я смело могу сказать, что за шесть лет, прожитых вместе, я ни разу не разочаровался в нем. По натуре своей он чрезвычайно правдив и честен и очень ревниво относится к добру и справедливости; поэтому болтунам, лицемерам и лжеумникам в его присутствии всегда было не по себе. Они ненавидят и боятся его, потому что он от всего сердца презирает ложь и пустоту в жизни и в науке и гнушается всего показного;

из этого ясно, что он неминуемо наживет себе много врагов в современном обывательском и литературном мире.

Теперь вы, верно, спросите, как могло случиться, что при его образе мыслей он поддерживает отношения с такими людьми, как братья Шлегели. Это отношения чисто литературные, а не дружеские, как это может показаться со стороны. Гете ценит все хорошее, где бы он его ни нашел, и потому он отдает должное лингвистическим и стихотворным способностям старшего Шлегеля и его начитанности в древней и иностранной литературе и философским способностям младшего Шлегеля. И оттого что оба брата и их приверженцы утрируют основные положения новой философии и искусства, доводят их до крайности и плохо применяют на практике, вызывая тем самым озлобление или смех, от этого сами принципы не меняются, они не должны страдать из-за своих неудачных последователей. Гете не повинен в том смешном поклонении, которое выказывают ему оба Шлегеля, он их к тому ничем не побуждал, он скорее страдает от него и сам отлично понимает, что источник этого поклонения не совсем чист; ведь эти тщеславные люди пользуются его именем, как хоругвью против врагов, а в сущности заботятся только о себе. Мнение, которое я вам сейчас передаю, принадлежит самому Гете, и в таком тоне мы с ним обычно беседуем о господах Шлегелях.

Но эти люди и их единомышленники смело борются с все больше и больше распространяющейся и укоряющей ненавистью к философии и с беззубой и пустой критикой искусства, и хотя сами они впадают в другую крайность, нельзя допустить, чтобы их одолела еще более вредная партия; разум повелевает соблюдать на пользу науке известное равновесие между философами-идеалистами и не философами.

Я бы желал иметь возможность так же смело воздать должное Гете-семьянину, как я воздал ему должное как писателю и гражданину. Но, к сожалению, вследствие ложного понимания семейного счастья и вследствие злополучной боязни брака он связал себя

отношениями, которые гнетут его в домашнем кругу и делают его глубоко несчастным, но порвать эти отношения он не может по доброте и мягкосердечию. Это его единственное слабое место, но вредит это ему одному, и причиной всего — благородство его натуры.

Прошу простить меня, ваше сиятельство, за такую многоречивость, но я говорю о друге, которого уважаю, люблю и высоко ценю, и мне было бы неприятно, если бы вы оба ложно судили о нем. Будь у вас возможность так узнать и изучить его, как это сделал я, вы сочли бы, что он более достоин вашего уважения и любви, чем многие другие люди.

Шиллер.

266. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 13 января 1801 г.

Возможно, ты уже слышал о том, что Гете тяжело болен; в течение нескольких дней положение его было очень опасно. По началу было похоже, что это рожа, но потом начались судороги и заложило горло; Штарке, который его лечит, опасался воспаления мозга. Но вот уже третий день как все пошло на поправку, он, когда узнал, что я тебе пишу, просил передать тебе его искренний привет.

Из-за его болезни я задержался с работой, что очень мне неприятно, да к тому же еще у меня начался сильный катар, от которого я никак не могу отделаться. Я боюсь этого и следующего месяца, ведь уже три раза они были для меня роковыми, и посему очень берегусь.

В остальном все у нас благополучно, жена шлет сердечный привет и хотела бы поскорей получить от вас весточку.

Твой *Ш.*

Если у тебя найдется время, пришли мне твои замечания к «Марии», потому что скоро она пойдет в печать.

[Февраль 1801 г.]

Я уже сколько раз проговаривался вам об отдельных местах в моей «Деве», что, пожалуй, лучше всего будет познакомить вас со всем по порядку. Да и мне самому нужен сейчас некий толчок, чтобы со свежими силами довести работу до конца. Три акта готовы целиком; если у вас есть охота послушать их сегодня, то в шесть часов я буду у вас. А может быть, вы сами захотите прогуляться, тогда пожалуйста к нам, вместе и поужинаем. Мы были бы очень рады, и мне не пришлось бы выходить на воздух разгоряченным, после двухчасового чтения вслух, и рисковать своим здоровьем. Если вы располагаете прийти, то, будьте так добры, скажите и Мейеру, но чтоб он не приходил раньше восьми.

III.

268. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Иена, 16 марта 1801 г.

Здесь мне все еще живется неплохо и каждый день приносит что-то новое. Я думаю остаться здесь на то время, пока еще могу располагать дачей, то есть до пасхи, и за этот срок набросать в общих чертах всю пьесу, так чтобы в Веймаре осталось только ее обработать и отделать.

Здесьшний философский факультет дал нам повод позабавиться на его счет. Фридрих Шлегель должен был защищать диссертацию, и, чтобы досадить ему, гг. Ульрих, Генрих, Хеннингс и пр. вспомнили старый, давно уже отживший свой век закон и назначили ему оппонентов, когда уже с незапамятных времен повелось, что диссертант сам их себе выбирает. По совету добрых друзей Шлегель беспрекословно подчинился этой неприятности и весьма учтиво общелся с одним из официально назначенных оппонентов, который держал себя не заносчиво; другой же, некий профессор Аугусти, приехавший сюда из Готы, по

общему отзыву — полное ничтожество, начал свое выступление с оскорблений и колкостей и держал себя при этом так вызывающе и неудачно, что Шлегелю пришлось его осадить. Ульрих, присутствовавший в качестве декана и допустивший все грубые выходки оппонента, с торжествующим видом сделал замечание Шлегелю за некоторые его реплики; тот не остался в долгу, чем вызвал смех, и в результате произошли скандальные сцены. По общему отзыву Шлегель держал себя очень сдержанно и с большим достоинством, и полагают, что этот спор подымет его сильно пошатнувшийся авторитет как доцента.

Вышел роман г-жи Фейт, который я хочу вам послать; курьеза ради, проглядите его. Вы встретите там призраки старых знакомых. Все же после чтения этого романа, который можно считать странной карикатурой, я составил себе более лестное представление о его сочинительнице; он еще раз доказывает, сколь многого может достигнуть дилетант, по крайней мере в смысле технического мастерства и голой формы. Книгу по прочтении прошу вернуть.

Сюжет картины, заказанной Гартману, очень меня удивил, но с первого взгляда в нем есть что-то очень интересное и заманчивое. Хотя я сам и не могу разрешить этой загадки, но чувствую, что мысль была блестящая, все равно, удачен ли, или неподатлив взятый сюжет. Ждать от картины полной самостоятельности нельзя, но довольно и того, что, когда просто глядишь на нее, без всякого к ней ключа, она уже заинтересовывает и возбуждает мысль, когда же получаешь к ней ключ, загадка полностью и без остатка разрешается.

Желаю успешной работы над «Фаустом», которого здешние философы ожидают с исключительным нетерпением.

Желаю доброго здоровья, Мейеру усердно кланяюсь.

Покорнейшая просьба приказать сейчас же передать приложения.

Ш.

Иена, 27 марта 1801 г.

Скоро я покину Иену, правда не изнемогая под бременем великих дел и трудов, но все же я унесу с собой кое-какие плоды своего здешнего пребывания; во всяком случае я сделал столько же, сколько сделал бы за это же самое время в Веймаре. Итак, я ничего не выиграл в лотерею, но деньги свои вернул.

От здешней публики я получил — как это обычно со мной случается — меньше пользы, чем ожидал; несколько разговоров с Шеллингом и Нитгаммером — вот и все. На днях еще я напал на Шеллинга за его утверждение в «Трансцендентальной философии», будто «в природе все идет от бессознательного, чтобы прийти к сознательному, в искусстве же, наоборот, идут от сознательного к бессознательному». Правда, ему здесь важно только одно: противопоставить природу и произведение искусства, и тут он совершенно прав. Но боюсь, что господа идеалисты в угоду своей идее слишком мало считают с практикой, на практике же и писатель тоже всегда начинает с бессознательного, более того, он может почесть себя счастливым, если при самом ясном сознании своих действий снова обретет в законченном произведении не ослабленной свою первую смутную еще общую идею. Без такой смутной, но могучей общей идеи, которая предшествует всему техническому процессу, не может быть создано поэтическое произведение, и, мне сдается, поэзия в том именно и заключается, что выражает в словах и передает другим это бессознательное, то есть переносит его в объект. Не поэт может не хуже поэта взволноваться поэтической мыслью, но он не может вложить ее в объект, он не может выразить ее с убедительной необходимостью. Точно так же не поэт может не хуже поэта создать произведение сознательно и с убедительной необходимостью, но такое произведение не возникает из бессознательного и не кончается в нем. Оно остается произведением рассудка. Бессознательное в соединении с рассудком и делает поэта-художника.

За последние годы, стремясь поднять поэзию, вне-

сли путаницу в самое понятие поэзии. Всякого, кто в состоянии вложить свои чувства в объект, так чтобы данный объект принудил меня ощутить эти чувства, а следовательно, действовал на меня как нечто живое, я называю поэтом, творцом. Но не всякий поэт превосходит. Степень его совершенства зависит от богатства, от содержательности, которые он носит в себе и, следовательно, передает вовне, и от степени убедительности, с которой его произведение воздействует на людей. Чем субъективнее его чувства, тем они случайнее; объективная сила покоится на идеальном. Поэтическое произведение должно выражать общее, потому что каждое поэтическое произведение должно быть типическим, иначе это не поэтическое произведение; совершенный же поэт выражает все человеческое.

Сейчас есть несколько настолько образованных людей, что удовлетворить их может только вполне совершенное произведение, но они не способны создать сами что-либо хотя бы только хорошее. Они не могут ничего сделать, дорога от *субъекта* к *объекту* для них закрыта; но именно этот шаг от субъекта к объекту и делает, по-моему, поэта.

Точно так же всегда было и теперь есть достаточное число поэтов, которые могут создать что-либо хорошее и типическое, но их произведения не отвечают вышеизложенным высоким требованиям, да они их себе и не ставили. Им, по-моему, просто не хватает достаточной *степени* совершенства, тогда как тем недостает самих *средств*, а в этом, как я полагаю, сейчас не очень разбираются. Отсюда ненужный и отвлеченный спор между теми и другими, от которого искусство ничего не выигрывает, ибо первые, придерживаясь весьма шаткой области абсолютного, вечно противопоставляют своим противникам только смутную *идею высшего*, за вторыми же стоит *дело*, правда не совершенное, но реальное. Из одной же идеи без *дела* не может ничего получиться.

Не знаю, достаточно ли понятно я выразил свою мысль, хотелось бы знать ваши взгляды на этот предмет, ставший столь близким нам из-за спора об эстетике, который сейчас ведется. Отсюда я, вероятно, вам уже писать не стану, так как в следующую среду пред-

полагаю вернуться в Веймар; может быть, вы уже будете там; и мы опять начнем наши беседы.

Благодарю за «Путешествие по Португалии», написано оно неплохо, только несколько сухо и не без претензий. Мне кажется, что автор принадлежит к тем рассудочным людям, которые в душе настроены более враждебно по отношению к философии и искусству, чем они в том признаются. В данном «Путешествии» это не так существенно, но все же это понимаешь и чувствуешь.

Желаю вам пребывать в добром здравии и наслаждаться приятной погодой.

III.

270. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 27 апреля 1801 г.

Уже около месяца, как я покинул свою старую Йену; трагедию я закончил. Я бы отправил тебе ее сейчас вместе с экземпляром «Марии», но у меня нет ее под рукой; пришлось отдать ее герцогу, а оттуда она еще не вернулась. Опять мне как-то не по себе, хотелось бы уже засесть за новую работу. Только деятельность, направленная на определенную цель, делает жизнь сносною.

Меня радует, что знакомство с *Тиком* тебе так приятно; зная тебя, я легко могу себе это представить, ибо он дает пищу твоему воображению и ты можешь по своему ее переваривать. Меня же бессильные потуги этих господ в их стремлении к высшему только раздражают, а их претензии мне противны. «Геновева» имеет ценность как произведение еще только складывающегося таланта, но это лишь ступень, оно не слажено, в нем много болтовни, как и во всех произведениях Тика.

Жаль, если ничего не выйдет из этого талантливового писателя, которому надо еще так много работать над собой и который думает, будто он уже много над собой работал; я больше не жду от него ничего законченного. Мне сдается, что путь к совершенному пролегал не через пустоту и празднословие; но все насильственное, резкое может прийти к ясности, а грубая сила к прекрасной форме.

Впрочем, Тик литературно образован, и мне пред-

ставляется, что сам он умнее своих произведений, которым еще недостает значительности и содержания. Гете совсем поправился и за это время много потрудился над «Фаустом», но работе еще не видно конца, ведь напечатана самое большее четвертая часть того, что задумано, а то, что сейчас сделано, меньше уже напечатанного. Кроме того, он много занимается оптической и естественно-историческими предметами, несомненно имеющими большое значение.

С Гартманом у меня обстоит так же, как и у тебя; я тоже с ним не познакомился, потому что тогда был в Иене. Но его считают очень талантливым и дельным человеком. Жаль, что ему приходится так шататься по свету и что в искусстве есть секты, но нет церкви.

«Макбета» прилагаю: он как раз готов. Этот год оказался урожайным на произведения моего пера: кроме «Макбета» и «Марии», готово новое издание «Карлоса» и «Истории Нидерландов», а осенью Унгер выпускает «Орлеанскую деву».

III.

271. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Веймар, 28 апреля 1801 г.

Вы много потеряли, пропустив музыкальную неделю, объединившую, нам на развлечение, танец и музыку. Порадовал нас своим чудным голосом Герн в Зарастро; в Тараре он понравился меньше, этот властный, резкий персонаж не в его мягкой манере.

Танцоры, которых мы смотрели в понедельник в интермедии, удивили жителей Веймара и повергли их в недоумение; здесь не привыкли к тем странным позам и движениям, когда ногу вытягивают назад или в сторону во всю длину. Это кажется непристойным, нескромным и вовсе некрасивым. Но в их легкости, быстроте и музыкальной ритмичности есть много очарования.

На днях был проездом Котта, но задержался он здесь всего на несколько часов, на обратном пути он пробудет подольше и надеется застать тогда и вас. Он привез из Штутгарта гравера Мюллера, с которым вы, насколько я знаю, знакомы лично. Это славный че-

ловек, вполне соответствующий своему мастерству: такой же аккуратный, чистенький, маленький и изящный, как его гравюры. Одновременно получены и четыре рисунка Вехтера к «Валленштейну», давшие повод к разным соображениям, опять-таки главным образом о выборе сюжета. Но сделаны они мастерски, своеобразно и сильно. Мейер их еще не видал, мне очень любопытно, отгадает ли он художника.

«Натан» выписан и будет вам послан, чтобы вы распределили роли. Я не хочу больше иметь дело с актерами: уговорами и лаской от них ничего не добиться, с ними возможен только один-единственный способ обращения — краткое приказание, но это не по мне.

«Деву» с неделю тому назад пришлось послать герцогу, и я еще не получил ее обратно. Он сказал моей жене и свояченице, что она произвела на него совершенно неожиданное впечатление, хотя абсолютно не соответствует его вкусам. Но он полагает, что ставить ее нельзя, и, может быть, в этом он прав. После долгого раздумья я решил не отдавать ее театру, хотя из-за этого и лишусь кой-каких прибылей. Во-первых, Унгер, которому я ее продал, рассчитывает на нее как на совершеннейшую новинку к осенней ярмарке, он мне хорошо заплатил, не могу ж я пойти наперекор его желанию. Затем меня отпугивает познанная мною на опыте наука — разучивание ролей, помощь на репетициях и потеря времени, не говоря уже о потере хорошего настроения. Сейчас я ношусь с двумя драматическими сюжетами и, когда их продумаю и проверю, приступлю к новой работе. Будьте здоровы и приезжайте сюда к субботе.

III.

272. ФРИДРИХУ ШЕЛЛИНГУ

Веймар, 12 мая 1801 г.

Большое спасибо, любезный друг, за вашу статью; после первых строк я настроился очень внимательно, потому что вы подходите к вопросу с нужной стороны, зато, правда, и с самой трудной. Я, например, отлично вижу, как много вы выигрываете на этом пути *нега-*

тивно, хотя бы тем, что разом убираете с дороги прежние упорные заблуждения, которые всегда были противны вашей философии; но я еще никак не могу догадаться, как вы *позитивно* выведете свою систему из фразы об индифферентности. Я несколько не сомневаюсь, что это вам удалось, и с нетерпением жду развязки узла.

Статью Фихте отсылаю с благодарностью, в ней много хорошего и правильного, жаль только, что материал заразил его своей прозой. Писать о Николаи и сохранить остроумие, разумеется, задача трудная, но мне сдается, это можно было бы легче осуществить иным путем. Как мне кажется, надо было трактовать этот предмет совершенно философически; Фихте следовало показать извечные и основные черты филистерства и возвести его в родовое понятие; это надо было сделать с самой серьезной философической миной, с чувством собственного достоинства, вроде того как Макиавелли писал «*Il principe*»¹ и в простоте душевной написал злую сатиру на правителей. Или же это надо было делать поэтически и дать работу в стиле Зобальдуса Нотанкера. Характер индивидуума надо было показать в действии. В обоих случаях работа была бы абсолютно ценной, даже если бы на свете был только один Николаи. В таком же виде это просто разумная полемическая статья, из которой видно, что Фихте слишком умен для своего противника, не стоящего даже того, чтоб с ним сражаться.

Прилагаю одну «Марию Стюарт» и оттиск нескольких прежних философических статей. Примите и то и другое с дружеским и добрым чувством. Если вы, как-нибудь на досуге, просмотрите мою статью об эстетическом воспитании, то при свидании скажите мне, совпадают или нет мои взгляды на этот предмет с теперешней точкой зрения философии. Кое-что, конечно, надо отнести за счет состояния философии шесть лет тому назад и обращать внимание только на основную линию, а не на слишком еще догматические рассуждения.

В субботу приезжает сюда Котта, пойдет «Валленштейн». Хорошо было бы и вам приехать и после

¹ «Государь» (итал.).

спектакля вместе с Котта и Гете отужинать у меня. Передайте и Ниттгаммеру, может быть, ему это тоже покажется заманчивым.

Будьте здоровы и примите уверения в моей искренней дружбе.

Шиллер.

273. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 13 мая 1801 г.

Прошлый раз, отсылая тебе свою пьесу, я позабыл приложить предназначенное к ней письмо. Так как оно уже написано, посылаю его и прибавляю еще несколько слов.

За эти две недели я еще не пришел к твердому решению насчет будущей работы. В мои годы и при моем теперешнем уровне сознания выбор сюжета дело сложное, нет уже той беспечности, с которой в юности так легко на все решаешься, и увлечение, без которого невозможна никакая поэтическая деятельность, приходит труднее. При теперешнем ясном понимании себя самого и искусства, которым я занимаюсь, я бы за «Валленштейна» не взялся.

У меня большое желание попробовать свои силы в простой трагедии в самой строгой греческой форме, и среди сюжетов, которые имеются у меня в запасе, есть очень подходящие.

Один тебе известен: мальтийцы; но для этой пьесы у меня нет еще *punctum saliens*¹, все остальное найдено. Не хватает того драматического деяния, к которому стремится действие и которым оно разрешается; все остальное — общий дух всей драмы, поведение хора, фон, на котором разыгрывается действие, — все зрело обдуманно и связано воедино.

Другой сюжет, — всецело плод собственной фантазии, — как будто первым стоит на очереди; тут для меня все ясно, и можно бы сейчас же приступить к работе. В пьесе, вместе с теми, в которых участвует хор, только двадцать сцен и пять действующих лиц. Гете одобряет весь план целиком, но я не захвачен

¹ Прыгающей точки (лат.).

еще этим замыслом в той степени, в которой это мне необходимо, чтобы сесть за поэтическую работу. Основная причина, возможно, в том, что интерес пьесы не столько в действующих лицах, сколько в самом действии, как в Софокловом «Эдипе»; может быть, это и хорошо, но все же как-то расхолаживает.

Есть у меня еще и другие сюжеты, в свое время очередь дойдет и до них, но пока еще они никак не выливаются в какую-то форму. Один из них Уорбек, самозванец XV века, который выдавал себя за убитого в Тоуэре герцога Йоркского и выступил в качестве претендента на английский престол, занятый Генрихом VII. Из истории я беру только самый факт и герцогиню Бургундскую, принцессу из дома Йорков, разыгравшую всю эту комедию. *Punctum saliens* к этой трагедии я нашел, но ее трудно облечь в нужную форму, потому что герой — обманщик, а мне не хотелось бы ни в чем погрешить против этики.

Кроме еще нескольких сюжетов, находящихся в более зачаточном состоянии, есть у меня и тема для комедии, но, когда я над ней думаю, я чувствую, что этот жанр мне совершенно чужд. Правда, мне кажется, что такая комедия, где важнее комическое сплетение обстоятельств, а не комические характеры, и юмор мне по плечу, но слишком уж у меня серьезный нрав; неглубокие сюжеты не могут привлечь меня надолго.

Видишь, в замыслах у меня нет недостатка, но одни боги знают, что удастся осуществить.

С большим нетерпением жду твоего суда над «Орлеанской девой». Гете считает, что это мое лучшее произведение, и особенно доволен всем в целом. Но при вещах такого охвата и разнообразия теряешь поразительно много сил, пора себя побережь.

Прилагаю «Макбета», экземпляра «Марии» на хорошей бумаге у меня еще нет. Напиши мне, посылали ли я тебе вторую часть моих прозаических произведений и на какой бумаге; теперь готова уже и третья и ждет отправки.

Сердечно всех вас обнимаем. У меня все благополучно, надеюсь услышать то же и о вас. Прощай.

Твой Шиллер.

Прилагаю брошюру Фихте, которую ты сам, пожалуй, и не достал бы. В ней он высказывает Николаи в лицо суровую правду, что тот и заслужил, но тон слишком прозаичен, слишком груб и мало остроумен. Лучше было бы взять тему с более общей точки зрения и изобразить типичного филистера.

По прочтении статью верни.

274. МАТИНУ ВИЛАНДУ

Веймар, 17 октября 1801 г.

Искренне уважаемый друг, вы сделали мне к Новому году такой приятный подарок вашим «Сократом» и его подругой «Лаисой», что я от всего сердца хочу по-своему, то есть чем могу, рассчитаться с вами. Взамен *гетеры* посылаю вам *деву* и желаю ей так же блистать среди прочих дев, как блистала ваша Лаиса среди гетер.

Впрочем, у них обеих есть нечто общее — и та и другая стремятся вернуть людское уважение двум милым дамам, пользующимся дурной славой, и вы, конечно, согласитесь, что Вольтер постарался, насколько мог, затруднить работу своему преемнику по теме. Если он слишком глубоко окунул в грязь свою Девственницу, то я вознес свою, возможно, слишком высоко. Но тут ничего нельзя было сделать, надо же было стереть клеймо, которым он запечатлел свою красотку.

Желаю здравствовать вам и всему вашему семейству.

Шиллер.

275. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 21 января 1802 г.

Меня очень порадовало, что «Турандот» вам понравилась. Не скрою, — при работе над ней меня не покидало ощущение самостоятельности и мастерства, что доставляло мне удовольствие; я хотел бы, чтоб мне

представилось еще несколько подобных случаев, весьма желательных в периоды утомления, они не требуют расхода сил на выдумку и все же настраивают на рабочий лад. Во всяком случае, такая работа гораздо выгоднее, чем собственное творчество, которое берет очень много времени.

От вашего театра я еще не получил никакого ответа и, таким образом, даже не знаю, пойдет ли там вообще эта пьеса.

В следующем месяце мы собираемся поставить гетевскую «Ифигению в Тавриде»; по этому случаю я еще раз внимательно перечитал ее, так как Гете чувствует, что кое-что необходимо в ней изменить. Я очень удивился, что «Ифигения» не произвела на меня прежнего благоприятного впечатления, хотя и богата чувствами. Она удивительно современная и негреческая, и просто диву даешься, как можно было сравнивать ее с произведениями греков. Она совершенна только в моральном отношении; но ей очень не хватает темперамента, жизни, движения, всего, что делает пьесу подлинно драматической. Гете сам давно уже говорил мне о ней довольно сдержанно, но я приписывал это капризу, а то и кокетству; при ближайшем же рассмотрении я оценил ее совершенно так же. А ведь в то время, когда это произведение появилось, оно было настоящим метеором, и в наш век большинство людей еще не могут охватить его взглядом. Это гениальное произведение, если рассматривать его безотносительно к драматической форме, останется жить в веках благодаря своим высокопоэтическим достоинствам.

Если искусство, а так же и философию рассматривать, как нечто, всегда находящееся в становлении и никогда не останавливающееся, то есть только динамически, а не — как теперь говорят — атомистически, то можно отдавать должное каждому произведению и не быть у него в плену. Но уж таков немецкий характер, им сейчас же надо все закрепить и заключить бесконечное искусство в какой-нибудь символ, как они уже сделали это во время реформации с теологией. Поэтому даже превосходные произведения не идут немцам впрок: их сейчас же объявляют непогрешимыми

и вечными и стремящегося вперед художника отсылают к ним. Того, кто не преклоняется перед этими произведениями, обвиняют в ереси, не понимая, что искусство выше всех произведений. Правда, в искусстве есть высший предел, но не в современном искусстве, которое может найти спасение лишь в постоянном движении вперед.

Эти дни я перечитывал «Неистового Роланда» и просто не могу тебе выразить, как увлекло и усладило меня это чтение. Тут все жизнь и движение, краски и изобилие, оно выводит тебя из твоего внутреннего мира в кипучую жизнь, но оттуда опять возвращает к собственному «я»; ты носишься по бесконечной стихии, освобождаешься от своего вечного тождественного «я», живешь более богатой жизнью, именно потому что вырван из своего внутреннего мира. И все же при всем богатстве и бурливой порывистости в поэме есть форма и план, который ты скорей *ощущаешь*, нежели *понимаешь*, и в чем ты убеждаешься по непрерывному, ни на минуту не покидающему тебя приятному чувству удовлетворения и радости. Правда, глубины здесь искать нечего и серьезности тоже. Но, право, поверхность нам так же нужна, как и глубина, а о серьезности достаточно заботятся рассудок и судьба, и фантазии незачем этим заниматься.

Будь здоров. Не хочу перечитывать то, что написал.

III.

276. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Веймар, 22 января 1802 г.

Как вы сами убедитесь, мне пришлось произвести меньше опустошений в рукописи, чем я ожидал; я нашел, что, с одной стороны, это не нужно, а с другой — невыполнимо. Драма сама по себе не так длинна, в ней немногим больше двух тысяч стихов, а теперь не будет и двух тысяч, если вы согласитесь выпустить отмеченные места. Но сделать это было не легко, ибо то, что замедляет ход пьесы, заключается главным образом не в отдельных местах, а в общем стиле всего произведения, в котором слишком много рассуждений.

Часто места, которые надо было бы выпустить прежде всего, — необходимое связующее звено, и заменить их другими, не нарушая хода всей сцены, нельзя. Я сделал отметку на полях там, где сомневался, где же перевешивали доводы за купюры, я вычеркивал, а там, где подчеркнуто, мне хотелось бы, чтобы это было выражено иначе.

Так как в самом действии чересчур много правоучительной казуистики, то было бы хорошо несколько ограничить количество назидательных сентенций и таких же диалогов.

Исторические и мифологические места трогать нельзя, они необходимый противовес к местам нравоучительным, а то, что говорит нашему воображению, ни в коем случае нельзя выпускать.

Орест вызывает самые большие сомнения; без фюрий нет Ореста; если причина его состояния не воспринимается нашими внешними чувствами, так как она только у него в сердце, то его состояние лишь долгая и однообразная беспредметная мука; тут одна из разграничительных линий между старой и новой трагедиями. Хорошо было бы придумать, как помочь этой беде. При теперешней краткости пьесы это представляется мне почти невозможным; ведь то, что возможно было сделать без богов и духов, уже сделано. Во всяком случае, советую вам сократить сцены с участием Ореста.

Затем, подумайте, пожалуйста, не лучше ли для оживления драматического интереса чуть пораньше вспомнить о Фоанте и о его таврийцах, бездействующих целых два акта, и вести с одинаковым рвением обе линии действия, из которых одна затихла на слишком долгий срок. Правда, из второго и третьего акта мы узнаем об опасности, которая грозит Оресту и Пилладу, но мы ее не *видим*, нет ничего такого, что мы воспринимали бы своими органами чувств, ничего, благодаря чему напряженное положение приняло бы какую-то видимую форму. Мне кажется, в два акта, которые занимают только Ифигенией и ее братом, надо бы ввести еще какой-нибудь мотив *ad extra*¹,

¹ Кроме того (лат.).

чтобы и внешнее действие оставалось непрерывным и будущее появление Аркада было бы более подготовлено. Теперь же о нем почти забываешь к тому моменту, когда он появляется на сцене.

Таков, правда, характер этой пьесы; то, что зовется собственно действием, всегда происходит за сценой, а вот моральный процесс, который происходит в сердцах, и мысли становятся здесь действием и как бы облекаются в плоть и кровь. Этот характер пьесы надо сохранить, и чувственное восприятие должно в ней всегда уступать первое место моральному; но для того, чтобы моральное было изображено полнее, я считаю нужным уделить столько же места и чувственному восприятию.

«Ифигения» глубоко тронула меня, когда я ее перечитал, — хотя не буду отрицать, что причиной тому отчасти сюжет. Я бы назвал *душой* то, что составляет ее основное достоинство.

На публику пьеса несомненно окажет свое действие, все предыдущее способствует ее успеху. Наши знатоки поставят пьесе в заслугу как раз то, что мы считаем ее недостатком, и с этим вполне можно примириться, ведь нас так часто бранят за то, что на самом деле достойно похвалы.

Будьте здоровы и пришлите мне поскорей весточку о том, что замерзшее произведение начало понемногу оттаивать в ваших руках.

III.

277. ГЕОРГУ ГЕШЕНУ

Веймар, 10 февраля 1802 г.

Посылаю вам продолжение рукописи о Тридцатилетней войне, правда несколько поздно, но за последние месяцы у меня было слишком много других дел.

Как приятно было мне, любезный друг, то, что вы написали об «Орлеанской девице». Эта пьеса вылилась у меня из самого *сердца*, и говорить она должна тоже *сердцу*. Но для этого надо иметь сердце, а оно, к сожалению, не у всех есть.

На этих днях я осуществил свою заветную мечту — приобрести собственный дом. Я отказался от мысли оставить Веймар и располагаю прожить здесь до конца дней своих. Отношения у меня тут сложились хорошие и приятные, а недавно они стали еще лучше. Мой свояк, ведший в Санкт-Петербурге переговоры о браке нашего наследного принца и русской великой княжны, по возвращении сюда назначен членом здешнего тайного совета, так что у меня теперь благодаря трем тайным советникам — Гете, Фойгту и свояку — самые лучшие связи.

Сообщите мне при случае, любезный друг, могу ли я ко дню вознесения получить, не стеснив вас, тот небольшой гонорар, который причитается мне за новое издание «Тридцатилетней войны». Я истратил на покупку дома все, что имел и что мог наскрести, и кошелек мой нуждается в пополнении. Но если это вам почему-либо затруднительно, вы так прямо и напишите, я сумею устроиться как-нибудь иначе. Деньги нужны мне только к вознесению, так как это срок платежа.

Когда мы как следует устроимся в собственном гнездышке, приезжайте с вашей милой женой к нам в гости и дайте нам возможность отблагодарить вас за гостеприимство, оказанное нам в Гогенштедте.

Посылаю сердечный привет вам обоим от жены.

Остаюсь ваш *III*.

278. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 18 февраля 1802 г.

Сердечно благодарю за «Мелодии». Ты на самом деле удивил меня быстротой работы. Я еще не слышал их, но сейчас же послал нашим дамам, чтобы они их разучили. Собрание нашего кружка отложено на несколько дней, потому что сейчас здесь нет Гете и потому что мы хотим дать прощальный праздник в честь наследного принца, который отправляется 23-го в большое путешествие.

Твои замечания о выпадах против христианской религии в моем стихотворении правильны; это место я

и имел в виду, когда писал тебе, что стихотворение еще не совсем доделано.

Я начал еще несколько других, но они по своему сюжету кажутся мне слишком серьезными и поэтичными для чтения в смешанном обществе и за столом. Не знаю почему, но застольная лирика — это подводный камень для поэзии: житейская проза отяжеляет фантазию, и все время чувствуешь опасность впасть в тон песнопений вольных каменщиков, а он (с позволения сказать) самый прозаичный. Даже Гете при таких обстоятельствах сочинил несколько плоских стихотворений; хотя среди них можно найти несколько очень удачных песенок из его лучшей поры.

Успех, который «Иоанна» имела у курфюрста, очень нас позабавил; это нам, философам, и не снилось.

Посылаю тебе письмо к нашему адвокату; дело идет о любовном соглашении, которое предлагает главный военный суд. Более подробно ты узнаешь обо всем от Браннаша. Будь так добр, поговори с ним. Мы мировой довольны, я уполномочил адвоката выбрать из двух предложенных возможностей ту, которую изберет Рихтенфельд, тогда мы будем с ним заодно против наследников по завещанию. Предложение таково: всю наличность наследства — три тысячи восемьсот талеров — разделить на три части, из них присудить одну треть трем законным наследницам, другую — наследникам по завещанию, а последнюю Рихтенфельду, который при таком соглашении выигрывает несколько сот талеров. Все зависит только от того, пойдет ли на это жена Бенкендорфа, которая понесет тогда самый большой убыток.

Прощай. Сердечно обнимаю вас.

Твой III.

279. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Веймар, 20 марта 1802 г.

Радуюсь, что скоро увижу вас здесь и что мы вместе проведем раннюю весну, которая всегда настраивает меня на грустный лад, потому что приносит с собой беспокойное и беспричинное томление.

Я охотно сделаю все, что в моих силах, чтобы поставить «Ифигению» на сцене; работа эта очень поучительная, а в успехе я не сомневаюсь, если актеры будут на высоте. На днях мне написали из Дрездена, что там собираются играть «Ифигению»; за Дрезденом, конечно, последуют и другие театры.

С «Карлосом» все идет у меня хорошо, и я надеюсь через неделю-полторы с ним справиться. Эта пьеса в основе своей несомненно театральна, и многое в ней должно снискать расположение публики. Правда, сделать из нее нечто цельное и в то же время хорошее невозможно уже по одному тому, что замысел очень широк, но я по возможности собрал воедино отдельные куски и таким образом сделал целое просто носителем частностей. А если говорить о публике, то она меньше всего думает о целом.

«Орлеанскую деву» мы все же решили равьше сыграть в Лаухштедте, а потом выступить с ней здесь. Я очень прошу об этом, раз уже герцог определенно высказался против; мне не хотелось бы, чтобы сложилось впечатление, будто я все это подстроил. При свидании поговорим подробнее. Вторая причина та, что в прошлом году я дал роль Иоанны г-же Ягеман, и было бы неудобно теперь отобрать у нее эту роль. Если же пьеса пойдет сперва в Лаухштедте и Иоанну будет играть г-жа Фос, то Ягеман неудобно требовать роль себе для здешних спектаклей. Впрочем, я хочу за последние недели здешнего театрального сезона разучить эту пьесу и сам провести несколько репетиций, для того, чтобы пьеса была хорошо разучена и чтобы в Лаухштедте можно было не ударить в грязь лицом.

Для моих остальных старых пьес я в этом году ничего сделать не могу, да это и не к спеху; если мы справимся еще и с «Ифигенией», то труппа в этом сезоне приедет в Лаухштедт с более богатым репертуаром, чем когда бы то ни было. Да вряд ли даже возможно разучить еще несколько пьес.

У меня есть в запасе новый перевод мольеровского «Урока женам», который можно использовать, конечно, при условии некоторой обработки. Кроме того, меня познакомили еще с одной пьесой, в которой есть

много хорошего, но с точки зрения драматургии в ней есть также много ошибок, так как она переделана из романа.

Г-жа Мери говорила мне, что работает над корнелевским «Сидом»; мы постараемся оказать на ее работу некоторое влияние, чтобы, если это возможно, приобрести ее перевод для театра.

Согласно вашему поручению я приглашу труппу и буду с нетерпением ждать, пока остынут страсти и можно будет, соблюдая все приличия, возобновить прежние дружественные отношения. Целтнеру я дал с собой обе мои песни и жду, что он из них сделает. Вообще одна из кернеровских мелодий очень певуча, если бы только наши дамы умели хорошо петь.

Желаю вам доброго здоровья. Возможно, что в понедельник мы увидимся в Иене, так как свояченица будет там проездом, чтобы повидать подругу, живущую поблизости, и мы, может быть, поедem с ней. Но это еще не наверное.

И'.

280. ХРИСТОФИНЕ РЕЙНВАЛЬД

[10 мая 1802 г.]

Милая сестра!

Хотя я и не получил от Луизы дальнейших известий о дорогой матушке, все же, судя по последнему письму, я могу ждать только того, чего уже давно опасался. Да, дорогой матушки давно, конечно, нет в живых, она отстрадалась, и мы должны были этого ей желать. Дорогая моя сестра, скончались наши любящие родители, с ними оборвалась та старейшая нить, которая привязывала нас к жизни. Мне очень грустно, я действительно ощущаю себя одиноким, хотя меня и окружают любимые и любящие люди, хотя у меня есть еще вы обе, добрые мои сестрицы, к вам я могу прибегнуть и в горе и в радости. Теперь, когда из родной семьи мы одни остались в живых, нам надо сплотиться еще тесней. Никогда не забывай, что у тебя есть любящий брат: я живо помню дни нашей юности, когда мы были друг для друга всем. Жизнь раз-

лучила нас, но мы должны попрежнему быть близки и привязаны друг к другу.

Сердечный привет любезному брату. Больше сегодня писать не могу. Поскорей пришли несколько слов. До гроба преданный тебе брат

Шиллер.

281. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 9 сентября 1802 г.

На этот раз я виноват перед тобой за свое долгое молчание, но я знал, что ты в отъезде, и по природной лени ухватился за этот предлог, только бы не утруждать себя писанием. Но ты ничего не проиграл, потому что это лето, к сожалению, дало мне мало материала, несмотря на то что я не ленился и сейчас работаю довольно серьезно над трагедией, сюжет которой известен тебе по моему рассказу. Это братья-враги или, как я собираюсь ее окрестить, «Мессинская невеста». После долгого колебания между несколькими сюжетами я решил взяться сначала за этот по следующим трем соображениям: 1) план этой трагедии чрезвычайно прост и поэтому разработан мною лучше других, 2) мне необходим был некоторый стимул в виде новой формы, и такой формы, которая приближалась бы к античной трагедии, а здесь это именно так и есть, потому что пьеса действительно близка к эсхиловской трагедии; 3) я должен был выбрать что-нибудь не *de longue haleine*¹, потому что после длительного перерыва мне необходимо написать какое-либо законченное произведение. К концу года я обязательно должен с ней справиться, потому что ее решено сыграть в конце января, в день рождения герцогини. Затем я, не откладывая, займусь «Уорбеком», план которого тоже значительно подвинулся, а непосредственно за ним «Вильгельмом Теллем», ведь это и есть та пьеса, о которой я тебе как-то писал, что она меня очень привлекает. Возможно, ты уже в прошлом году слышал, что я работаю над «Вильгельмом Тел-

¹ Продолжительное (фр.).

лем», потому что еще до моей поездки в Дрезден меня запрашивали о нем из Берлина и Гамбурга. Никогда у меня этого и в мыслях не было. Но так как об этой пьесе несколько раз спрашивали, то я обратил на это внимание и начал изучать «Историю Швейцарии» хрониста Чуди. И тут меня как озарило, ибо этот писатель так правдив, так близок по духу Геродоту и даже Гомеру, что безусловно настраивает на поэтический лад. «Телль» менее всего подходит для драматической обработки, так как действие чрезвычайно разнородно по месту и времени, и большей частью здесь говорится о делах государственного порядка (за исключением легенды о шляпе и яблоке), которые не поддаются изображению на сцене; все же я уже сейчас проделал с сюжетом столько поэтических операций, что он вышел за пределы исторического и стал поэтическим. Впрочем, мне незачем говорить тебе, что задача эта чертовски трудная, потому что если я отвлекусь от всех ожиданий, с которыми публика и наше время подойдут именно к этому сюжету, то все же мне предстоит выполнить очень высокое поэтическое требование, ибо здесь надо наглядно и убедительно показать на сцене целый народ в определенных местных условиях, целую отдаленную эпоху и, что главное, совершенно местное, почти что индивидуальное явление. Все же колонны уже возведены, и я надеюсь построить крепкое здание.

А чтобы ты за это время не потерял веры в мою творческую работоспособность, прилагаю «Кассандру», небольшое стихотворение, родившееся в прошлом месяце. Ты, может быть, пожалеешь, что мысль, которая положена в основу этого стихотворения и которая, пожалуй, могла бы дать сюжет для трагедии, вылилась только в лирическое стихотворение. Хотелось бы, чтобы этот пустяк доставил вам удовольствие. Я радуюсь, когда представляю себе, как ты читаешь это стихотворение в милом домашнем кругу. Может быть, тебе покажется соблазнительным положить его на музыку.

Нездоровье Кунце всех нас очень огорчает, и я боюсь, как бы это не кончилось плохо. Все-таки ему следует испробовать все средства, посоветоваться с

несколькими известными врачами и попытать счастья на других водах. Примерно при таких же обстоятельствах Гердеру очень помог Ахен.

С книгопродавцем, которого ты предложил, я связаться не могу, боюсь, как бы не обиделся Котта, — он очень хорошо ко мне относится, и, кроме того, это нарушило бы данное ему обещание. Сомневаюсь, что в ближайшие годы стану заниматься критической или вообще теоретической работой, пока никакой склонности к этому я не чувствую. Если ты что-нибудь напишешь, обещаю тебе сейчас же пристроить. Сегодня сюда ждут Гумбольдта, мое прощание с ним будет очень грустным. Когда увидишь тещу, кланяйся ей от нас, она, наверное, каждую свободную минутку проводит с вами. Сердечно всех вас обнимаем.

Твой III.

282. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 15 ноября 1802 г.

Осуществление проекта, о котором ты пишешь, всецело зависит от собственного твоего усердия, никаких предварительных переговоров не требуется. Как только том будет готов в рукописи, он будет отпечатан и оплачен. У меня достаточно хорошие отношения с Котта; а так как я сам могу и хочу принять участие в этом деле, то мне незачем разводить с ним церемонии. Но пока мы не увидим, как идет продажа, я не могу взять с него более двух каролинов за лист, потому что он мне друг и потому что никогда нельзя рассчитывать на хороший сбыт критических произведений. После того как плохо разошлись «Пропилеи», которых было продано всего триста экземпляров, он стал осторожнее. Если ты думаешь, что другой книгопродавец заплатит тебе дороже, то я охотно возьму на себя переговоры; но тогда я не могу в этом участвовать, потому что обещал свое участие Котта, уступив его настоятельным просьбам.

Не беспокойся, когда все будет готово, моими статьями я тебя не задержу, я знаю, что ты заинтере-

сован в осуществлении этого замысла, и этого достаточно; серьезными делами я и занимаюсь серьезно, и ты будешь мною доволен. Кроме того, то, что я тебе предназначаю, к счастью, уже найдено, и мне достаточно будет неделю усердно поработать. В следующий раз напишу побольше.

Я с нетерпением жду окончательного решения по делу об удовлетворении за убытки в Регенсбурге, от чего в дальнейшем будут также зависеть и мои денежные дела. Курфюрст Ашафенбургский возобновил свои прежние обязательства по отношению ко мне, и я, конечно, что-нибудь получу, как только у него самого что-нибудь будет. Дела его не так уж плохи, и как частное лицо он может еще многое сделать, даже если и не будет иметь никакого значения как курфюрст. Такая помощь мне тоже необходима, так как голая честь, оказанная мне Веной, потребует в дальнейшем кое-каких расходов, на которые я не рассчитывал.

Главное для человека — трудолюбие, ибо оно дает не только средства к жизни, оно, и только оно, дает жизни цену. Вот полтора месяца, как я усердно и, насколько могу судить, плодотворно работаю. Уже готовы полторы тысячи стихов «Мессинской невесты». Совершенно новая форма сделала меня моложе, или, вернее, античная форма сделала меня более древним, ибо древним временам свойственна подлинная юность. Если бы мне удалось изобразить исторический сюжет вроде «Телля», в том же духе, в каком написана моя теперешняя трагедия, — а она бы могла быть написана еще легче, — то я считал бы, что создал все, чего, по справедливости, можно сейчас требовать.

С первой же конной почтой отправлю тебе «Меуары» и «Флоры», все что достану. Ты очень скоро будешь рад отделаться от этой благодати. Но зато я приложу интересную вещь — четыре пьесы Эсхила, переведенные Фридрихом Штольбергом еще в пору его расцвета и только теперь изданные; они очень хорошо читаются, и, должен признаться, уже много лет ничто не вызывало во мне такого почтительного восхищения, как эти высокопоэтические произведения.

Твоим решением в связи с процессом мы совершенно удовлетворены.

Прилагаю последнюю гетевскую новинку, можете оставить ее у себя. В ней есть прекрасные места, но они вплетены в пошлый диалог и выглядят словно звезды на одежде нищего. В спектакле все сойдет, даже чрезвычайно неудачная аллегорическая завязка.

Желаю доброго здоровья. Сердечно обнимаем всех вас.

Твой Ш.

283. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 29 ноября 1802 г.

Посылаю Эсхила, которого прошлый раз позабыл вложить. Получишь также и все недостающие томы «Мемуаров», как только они ко мне вернутся: одни я давал почитать, другие потеряны. «Флоры» не могу послать полностью, потому что и мне были присланы не все выпуски. Но несколько выпусков еще дошло.

Тебе хочется знать подробнее, как обстояло дело с моим дворянством. Узнал я следующее (конечно, получить сведения из первоисточника я не мог): герцог уже давно хотел чем-нибудь меня порадовать. Случайно оказалось, что Гердеру, купившему имение в Баварии, где по местным обычаям он как мещанин не мог владеть землей, пожаловано было дворянство курфюрстом Пфальцским, который присваивает себе право возводить в дворянское достоинство. Гердер хотел и здесь заставить считаться со своим пфальцграфским дворянством, но его поставили на место, да еще и высмеяли, потому что всем было лестно уколоть его самолюбие; ведь он всегда выставлял себя величайшим демократом, а теперь захотел пролезть в дворяне. По этому поводу герцог сказал кому-то, что хочет хлопотать мне такое дворянство, против которого никто не может ничего возразить. К этому присоединилось еще и то, что Коцебу, которого терпеть не могут при дворе, назойливо туда лез, чего нельзя было при всем желании ему запретить, ибо он и его жена

имели на то право. Это, вероятно, еще больше укрепило герцога в желании дать мне дворянство. То, что мой свояк занимает первую придворную должность, тоже, верно, сыграло свою роль. Конечно, несколько странно, что из двух сестер одна занимает при дворе высокую должность, а другая там вовсе не принята, хотя у нас с женой вообще много связей со двором. Жалованная грамота на дворянство сразу улаживает все, так как моя жена, дворянка по рождению, вновь восстанавливается в правах, которыми пользовалась до замужества, потому что иначе пожалованное мне дворянство не принесло бы ей никакой пользы. Дворянство дало моей жене кой-какие преимущества, и она может передать его в будущем моим детям, мне же оно почти ничего не принесло. Но в таком маленьком городке, как Веймар, все же преимущество то, что ты ниоткуда не исключен; если в большом городе этого даже не замечаешь, то здесь это иногда бывает очень неприятно.

Почта сейчас отправляется, и потому я не могу ничего больше приписать. Будь здоров, сердечно обнимаем всех.

Твой III.

284. ВИЛЬГЕЛЬМУ ФОН ГУМБОЛЬДТУ

Веймар, 17 февраля 1803 г.

Позвольте не начинать, дорогой друг, первое письмо в Рим с извинений, которые всегда являются плохим предзнаменованием. Простите мне долгое молчание и не наказывайте своим. Мы искренне обрадовались, узнав, что вы сносно устроились в Риме; мало-помалу все наладится, потому что человек, и в частности немец, всегда создает себе свой собственный мир и приобретает умение терпеливо переносить то, что не укладывается в определенную форму. Живя в мягком климате, думайте о нашем суровом небе; в то время, как я пишу вам, все погребено под снегом и имеет такой вид, словно никогда больше не будет лета — а все же мы живем, принося и зимой цветы и

плоды. Восемнадцать дней тому назад я закончил свою трагедию; пусть ее копия, которую я пошлю вам недели через две, искупит до известной степени мое долгое молчание. Мой первый опыт написать трагедию в классической форме доставит вам удовольствие. По ней вы сможете судить, получил ли бы я за нее награду, или нет, будь я современником Софокла. Я не забыл, что вы назвали меня новейшим из всех новых поэтов, определив таким образом меня величайшим контрастом тому, что называется античным. Я буду вдвойне рад, если мне удастся вынудить вас признаться, что я смог освоить и этот чуждый мне стиль. Не хочу скрывать, однако, что без довольно-таки подробного ознакомления с Эсхилом этот переход в древние времена дался бы мне труднее.

Быть может, вы не знаете, что сейчас вышли переведенные Штольбергом в его лучшие времена «Прометей», «Семеро против Фив», «Персы» и «Эвмениды». Не скрою, что сколько бы ни потерял подлинник, они все же дали мне высокое представление об Эсхиле. Я слышал, что Якобс в Гете переводит всего Эсхила.

Вся поэзия — как немецкая, так и иностранная — находится теперь в таком жалком состоянии, что необходимы большая любовь и вера, чтобы думать о дальнейшем стремлении вперед и надеяться на лучшее. Школа Шлегеля и Тика становится все более и более пустой и карикатурной, ее антиподы — все более и более пошлыми и жалкими, а публика колеблется между этими двумя направлениями. О содружестве ради хорошей цели нечего и думать, каждый ратует за себя и защищает свою шкуру, как в первобытные времена.

Приходится сожалеть, что Гете до такой степени медлителен. Это происходит оттого, что он принимается попеременно и за то и за другое, ни на чем решительно не сосредоточиваясь. Он стал теперь действительно монахом и живет в одинокой созерцательности, которая, не будучи отвлеченной, все же не приводит и к продуктивности.

В продолжение трех месяцев, он, не хвоя, ни разу не вышел из дому, даже из комнаты. Он написал

вам, вероятно, о том, чем занимается. Если бы Гете сохранил еще веру в возможность добра и был бы последователен в своей деятельности, то многое в искусстве вообще и в частности в драматическом могло бы быть реализовано тут, в Веймаре. Было бы создано хоть кое-что, и прекратился бы этот злосчастный застой. Один я ничего сделать не могу. Часто меня тянет подыскать в мире другое местожительство и другой круг деятельности; если бы где-нибудь было сносно, я бы уехал. К сожалению, Италия, и Рим в особенности,— неподходящее место для меня; физическая сторона существования угнетала бы меня там, а эстетическая не вознаграждала бы, так как я недостаточно интересуюсь изобразительным искусством и понимаю его. Вы сами, мой друг, едва ли выдержали бы долго в Италии без определенных занятий.

Странно, что мы отошли друг от друга с тех пор, как философствовали с вами в 1794 и 1795 годах в Иене и были наэлектризованы столкновениями во мнениях. Те времена навсегда останутся в моей памяти, и, хотя я теперь перешел к более отрадной, поэтической деятельности и, в общем, чувствую себя здоровее, все же могу вас заверить, дорогой друг, что мне вас не хватает и что я считаю себя намного постаревшим из-за прерванного духовного общения с вами.

3 марта. Это письмо полно уныния. Возможно, было бы лучше не отправлять его, но оно передаст вам мои воспоминания и переместит меня в вашу среду. О том, как мы живем, напишет вам Лоло. Вы, вероятно, смеялись, услышав о возведении нас в более высокое звание. То была затея нашего герцога, а так как все уже свершилось, то я соглашаюсь принять это звание из-за Лоло и детей. Лоло сейчас в своей стихии, так как вертит шлейфом при дворе.

Рейнгардту я написал несколько строк, которые прошу ему передать. Поклонитесь от моего имени Грассу и Фернову; близкая встреча с последним очень радует меня.

Пусть добрая Ли не забывает меня, а вы, дорогой друг, сохраните ко мне любовь.

Ш.

Веймар, 10 марта 1803 г.

Мы надеемся, что твой Карл уже совсем поправился и вы больше не беспокоитесь о нем. Желаю вам найти хорошего доктора, потому что жить без этого домашнего бича невозможно. Посоветуйся с ним, не давать ли Эмме ослиное молоко. Здесь его пили многие, у кого слабое здоровье, результат был хороший; прошлым летом оно и мне пошло на пользу. Это молоко — самый чистый животный препарат из трав; кажется, будто пьешь растительное молоко. В вашем винограднике вполне можно держать такое животное, и Минна тоже могла бы с успехом полечиться таким образом.

Меня очень обрадовало то, что ты пишешь о моем произведении; я стремился вложить в него именно то, что ты нашел. О хоре могу добавить, что я хотел изобразить его роль двояко — с одной стороны, когда он находится в состоянии спокойной созерцательности, носителем высшей человеческой мудрости, а с другой — чем-то специфическим, когда он начинает переживать и превращается в действующее лицо. В своем первом качестве он как бы вне пьесы и, таким образом, обращается больше к зрителям. У него, как такового, есть преимущество перед действующими лицами, но только такое, какое бывает у спокойного человека перед человеком взволнованным, — он стоит на надежном берегу, тогда как судно борется с волнами. Во втором своем качестве — как лицо действующее самостоятельно, хор должен показывать всю слепоту, ограниченность и глухое возбуждение массы и таким образом помогать выделить главные действующие лица.

Форма, в которую я позволил себе облечь идеи, оправдывается тем, что действие перенесено в Мессину, где сталкивались и смешивались христианство, греческая мифология и магометанство. Хотя христианство было основной и господствующей религией, греческие мифологические существа продолжали жить в языке,

в старых памятниках, в созданных греками городах, а вера в сказки и в волшебство присоединилась к мавританской религии. Смешение этих трех мифологий, которое в ином случае уничтожило бы характерные черты религий, приобрело там оригинальный характер. Это превосходно выражено в хоре, являющемся исконным, живым носителем традиции.

Твое предложение ввести хор в театр будет *здесь* действительно осуществлено, и если судить по единственной читке, меня ждет большой успех. Пришли обратно мой экземпляр, а взамен я пришлю тебе театральный.

Опицу я не посылаю пьесы. Здешний театр желает показать ее в Лаухштедте как новинку и просил меня не давать ее пока в Лейпциг, за что меня задабривают гонораром. Так как Опиц исполнил бы ее плохо, то я даже был доволен, что первое впечатление в ваших местах будет получено от чтения.

Всего хорошего. Сообщи мне поскорее, что у тебя все наладилось. Мы тоже с трудом переживаем это суровое время года, то болеем, то поправляемся. Хотя я в общем чувствую себя довольно хорошо. Сердечно обнимаем вас.

Твой
Шиллер.

236. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 28 марта 1803 г.

Уже с неделю меня мучают сильные боли в бедре и пояснице, что заставляет бояться будущих рецидивов. Такие болезни легко укореняются и становятся хроническими. Пока у меня нет ни жара, ни мучительных приступов; очевидно, я простудился на каменных лестницах замка. Неделю тому назад возвратился из своих странствий наш наследный принц, и мне пришлось выходить из дому.

Недели полторы тому назад здесь давали первый раз «Мессинскую невесту», а позавчера ее повторили. Впечатление было сильное и необычайное, моло-

дой части публики она тоже понравилась, притом настолько, что после спектакля мне была устроена овация, на которую здесь раньше вообще не решались. Относительно хора и преобладания в пьесе лирического начала произошло, конечно, резкое расхождение во мнениях, так как большая часть немецкой публики не может еще отрешиться от своего прозаического понимания естественности в поэтическом произведении. Это старый, извечный спор, который едва ли прекратится когда-нибудь.

Что касается меня лично, то могу смело сказать, что на спектакле «Мессинская невеста» я впервые в жизни ощутил, что такое настоящая трагедия. Хор превосходно объединял все части. Возвышенная, внушающая ужас серьезность царила над всем происходящим на сцене. У Гете то же впечатление, он считает, что такое явление возвышает театр.

На этой неделе Гете даст театру свою новую пьесу: «Побочная дочь». Не говори об этом до тех пор, пока не будет сообщено официально. Сюжет взят из вышедшей в свет несколько лет тому назад во Франции авантюрной истории побочной дочери принца Конти; возможно, ты уже читал ее. Если нет, постарайся достать, она очень развлечет тебя, хотя все это простая выдумка.

«Дельфина» произвела на меня такое же впечатление, как и на тебя. У Сталь нельзя отнять известной глубины, серьезности и правдивости чувств, редко встречающихся у французских писателей. Если ей недостает поэтичности, то она во всяком случае обладает убедительным красноречием. В этом романе радуют также отдельные меткие и удачные черты и яркие места; вот если бы только герой не был таким жалким, а все вместе взятое не являлось бы выражением худосочных понятий, до того комичных и пошлых, что они могли бы красоваться в качестве изречений на дверях дома.

Я обнаружил в рукописи «Мессинской невесты», которую ты мне вернул, несколько досадных, безобразных описок, которые тебя, должно быть, смущали.

К другим местам, отмеченным тобою, не могу подходить столь строго; ведь можно позволить себе некоторые вольности, особенно в лирическом произведении.

Окончив «Мессинскую невесту», я для отдыха и чтобы дать театру новинку, начал переводить несколько французских комедий, которые будут готовы через несколько недель. У одной из них много достоинств, она заслуживает серьезной обработки; вторая — легкая комедия с интригой, которая заинтересовывает и может выдержать полдюжины представлений в любом театре.

Ну, всего хорошего, искренне желаем, чтобы скарлатина у детей прошла без осложнений. Врач, вероятно, прописал уже строжайший режим и диету на продолжительное время после болезни.

Сердечно обнимаем всех вас.

Твой III.

287. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 12 мая 1803 г.

За последние недели меня очень отвлек театр, и это помешало мне работать и писать письма. Три недели тому назад здесь впервые была поставлена «Орлеанская дева» и с тех пор повторена много раз. У меня было немало работы на репетициях; пьеса прошла восхитительно и имела необычайный успех. Все были в восторге. Мне хотелось, чтобы и вы присутствовали при этом. Хотя в нашем театре нет больших талантов, все же никто не мешал, и получилась цельная картина. Орлеанскую деву исполняла артистка, не игравшая обычно больших ролей, но тут благодаря счастливому сочетанию ее индивидуальности и большого опыта ей удалось создать превосходный образ.

Если бы вы могли приехать в Лаухштедт в июле, я показал бы вам три мои пьесы, пользующиеся здесь наибольшим успехом. Мы могли бы провести вместе неделю и вполне насладиться нашей встречей.

Две комедии, переведенные мною с французского, пришлю как только у меня будут лишние экземпляры, потому что сейчас я тороплюсь передать их театрам.

Последние дни я провел весело: прусские офицеры в Эрфурте пригласили меня на празднество, и я поехал туда. Меня очень забавляло пребывание в обществе военных: собралось около ста офицеров, из которых особенно интересны были для меня заслуженные майоры и полковники.

Пьесу Гете до сих пор достать невозможно; она будет напечатана к Михайловой ярмарке.

Будь здоров. Напиши мне скорее, что у вас все благополучно.

Сердечно кланяюсь всем.

Твой Ш.

288. ШАРЛОТТЕ ФОН ШИЛЛЕР

Лаушштедт, 4 июля 1803 г.

Театральный посыльный едет сегодня в Веймар, и я имею возможность, моя дорогая, сообщить тебе кое-что о себе. Я доехал сюда благополучно, я прибыл после 7 часов. Городок произвел на меня довольно хорошее впечатление, аллея и все строения вокруг веселые, о съехавшихся достаточно заботятся. Здесь стало оченьлюдно, но при этом чувствуешь себя непринужденно, так что я охотно двигаюсь среди людской массы. Мне было трудно найти пристанище; только после многочисленных расспросов удалось отыскать жилище между аллеей и театром, расположенное в очень красивой местности, *par terre*¹, в саду; соседи далеко и не стесняют меня. Питаюсь я в салоне, очень красивом и почти таком же большим, как концертный зал в доме сословных представителей в Веймаре. Салон обычно вмещает 100—120 человек, причем бывает очень весело. Здесь много саксонских и несколько прусских офицеров и много дам, среди которых встречаются довольно красивые. Каждый вечер после ужина танцуют, а дудят целый день.

Принц Вюртембергский прибыл вчера в 4 часа; с тех пор как он здесь, мы проводим все время вместе. Он очень любезен и обходителен, ему нравится, повиди-

¹ Внизу (*фр.*).

тому, возможность затеряться в толпе и оставаться совершенно незамеченным.

Вчера ставили «Мессинскую невесту». Публики было очень много. Угнетала духота перед грозой, и мне хотелось быть далеко отсюда. Во время спектакля разразилась сильная гроза; раскаты грома и шум ливня были такие, что целый час нельзя было понять почти ни одного слова, произнесенного актерами, а о том, что происходит на сцене, догадывались только по мимике. Актеры испугались, и с минуту я думал, что придется опустить занавес. При самых сильных вспышках молнии многие женщины выбежали из театра. Началось смятение.

Все же спектакль был доведен до конца, и актеры держались сносно. Забавным и вместе с тем ужасным оказался такой эффект: при неистовых проклятиях, посылаемых небу Изабеллой (в последней сцене), должен был ударить гром, и вот как раз при словах хора:

Когда тучи мрачат чертог небесный
И, грозя, громыхает гром,
Мы пред сумраком близким бездны
Власть судьбы над собой сознаем...—

раздался такой треск, что Графф *ex tempore*¹ сделал жест, покоровший всю публику.

Сегодня идет «Побочная дочь». Герцог Вюртембергский пробудет здесь еще и завтрашний день, ему тут очень нравится, как и толстяку Августу, который сердечно приветствует вас.

Вчера, после бала, поздно ночью мне устроили серенаду, в которой участвовало много студентов из Галле и Лейпцига, так что я не выспался; утром они снова встретили меня музыкой. «Чужестранка из Андроса», поставленная тут в первые недели, не произвела никакого впечатления и в конце концов была даже освистана.

Бумага моя совершенно исписана, и я вынужден закончить письмо. Поцелуй милых глупышек. Скоро напишу снова. Тысяча поклонов и Гете, если ты его увидишь. Всего хорошего, милая мышка.

Твой III.

¹ Вдруг (лат.).

Веймар, 18 августа 1803 г.

Вы, должно быть, давно ждете от меня известий касательно вашего поручения, дорогой друг, но я ничего не мог сообщить вам раньше о результате. Я сам совершенно не связан с учащимися и знаю только немногих, на мнение и рекомендацию которых мог бы в данном случае положиться. Нимайер, к которому я обратился, не мог еще никого найти; именно теперь некоторые подходящие люди отправились на очень выгодных условиях в другие места. Очень способный доцент философии, г-н д-р Гегель из Вюртемберга, сейчас в Йене. У него хорошая философская голова, может быть он известен вам как литератор; но вы не хотите метафизика. Он несколько болезненный и угрюмый человек и, кроме того, может освободиться только с пасхи. Сын Фосса поступил недавно воспитателем к графу Ройсс из Берлина.

В моем списке есть еще некий Молинар из Крефельда, которого рекомендовал мне Грисбах. Он, повидимому, очень достойный молодой человек, образованный и порядочный; по уверениям Грисбаха, он удовлетворяет вашим требованиям, с которыми я его полностью познакомил. Он понимает по-итальянски и свободно говорит по-французски. Если судить о рекомендуемом по рекомендующему, то можно полагать, что Молинар довольно хороший, порядочный и, вероятно, образованный человек. Однако из этой рекомендации не следует, что он обладает также и умом. Все же с ним не будет никакого риска, и я, пожалуй, посоветовал бы вам взять его; я не считаю удобным первым говорить с тем, кого предлагаю. В случае согласия ответьте первой же почтой, потому что скоро наступит осень. Я написал ему через Грисбахов, и у него будет время решить этот вопрос, прежде чем получится ваш ответ. Если в ближайшие две недели найдется еще кто-либо, сообщу вам тотчас же.

Экземпляр «Мессинской невесты» вы получите непосредственно от Котта, которому я поручил это сделать. Я бы охотно послал вам рукопись, но мне

столько рассказывали о ненадежности почты в Италию, что я считаю слишком рискованным доверить ей мое небольшое богатство.

Вам очень понравится «Побочная дочь» Гете. Если вы сравните ее с другими его пьесами раннего и последующего периода, то это приведет вас к интересным выводам. Он не овладел в ней еще, правда, чисто сценической стороной — слишком много слов и слишком мало действия, — но высокая символика, с которой он обработал тему, сглаживает все и превращает пьесу в одно идеальное целое, что действительно достойно изумления. Это настоящее искусство, захватывающее до глубины души силой правды. Вас, как и меня, удивило, вероятно, что в то время как (после моего последнего письма) вы совершенно отчаялись в работоспособности Гете, он закончил новое произведение. Это произошло потому, что он держал все в секрете от меня и от всего света. В октябре пьеса выйдет уже из печати.

Сейчас меня очень занимает «Вильгельм Телль»; материал здесь очень непокорный, стоивший мне больших трудов. Но так как тема вообще очень привлекательна и своей народностью очень подходит театру, то я не унываю и надеюсь в конце концов преодолеть все.

Вы скоро увидите в Риме Шеллинга с Шлегель, на которой он женился. Он, наверное, заинтересует вас. Плачевно только, что он позволил позорно поработить себя.

Наша иенская «академия», к сожалению, распадается. Лодер уезжает в Галле, Грисбах не переживет зимы, Гуфеланд и Шютц вместе с «Литературной газетой» и Паулюсом приглашены в Верцбах, куда они, вероятно, скоро отправятся. Бач умер еще в прошлом году. Философия окончательно переселилась отсюда вместе с Шеллингом. Нельзя, к сожалению, надеяться, что другие университеты, помогающие разрушить Иенский, будут представлять собой кое-что значительное. Может быть, Иена была лет восемь тому назад последним в своем роде и имеющим непреходящее значение очагом жизни.

Прилагаю стихотворение, написанное с намерением создать хороший текст для публичного исполнения.

Почти все немецкие песни, которые поют в веселых кружках, носят плоский, прозаический отпечаток ма-сонских песен; потому что жизнь не дает материала для поэзии; я избрал для этого стихотворения поэтическую основу гомеровского времени и вывел в нем древние образы героев «Илиады». Так отрываешься от прозы жизни и попадаешь в лучшее общество.

О наших новостях напишет моя жена. Круг интересов, в котором я вращаюсь, настолько однообразен, что я совсем не замечаю, как идет жизнь; да, дорогой друг, когда я думаю о том, что вы живете в совсем других, высоких сферах, то не решаюсь рассказывать вам что-либо о себе.

Душевно сочувствуем вам во всем и желаем,— раз уж обстоятельства сложились так,— чтобы вы все больше и больше привыкали к окружающему вас теперь и чтобы вы чувствовали себя при этом счастливым.

От всей души обнимаем вас и добрую Каролину.

Ваш Ш.

290. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Веймар, 21 декабря 1803 г.

Быстрая и действительно утомительная смена плотворного одиночества и разнообразных светских развлечений настолько утомила меня за последнюю неделю, что я совершенно не мог найти времени, чтобы написать вам, и поручил своей жене обрисовать наше положение.

Госпожа де Сталь покажется вам именно такой, какой вы ее à priori представляли себе. Все в ней вылито из одного куска, нет ни одной чуждой, фальшивой или патологической черты. Это приводит к тому, что, несмотря на невероятную разницу в характерах и образе мыслей, чувствуешь себя с ней очень хорошо, можешь выслушать от нее все и все ей сказать. Французский склад характера представлен в ней в чистом виде и в весьма привлекательном освещении. Она всегда спорит со мной, когда речь идет о философии,

следовательно, во всех высших и низших инстанциях, но, несмотря на трату слов, я остаюсь при прежнем мнении. Искренность ее чувств лучше ее метафизики, ее прекрасный ум поднимается до гениальности. Она хочет все постичь, объяснить, взвесить, она не признает ничего неясного, неразрешимого, а там, куда не достигае́т свет ее факела, для нее ничего не существует. Поэтому она испытывает ужасный страх перед идеалистической философией, которая, по ее мнению, приводит к мистике и суеверию, а это тот удушливый воздух, от которого она погибает. Того, что мы называем поэзией, она абсолютно не понимает, она может постичь в таких произведениях только страстное, риторическое, общепонятное. Она не принимает ничего фальшивого, но настоящее распознает не всегда. Из этих нескольких слов вы поймете, что ясность, решительность и остроумная жизнерадостность ее натуры могут влиять только благотворно; единственно тягостным является совершенно необычайное проворство ее языка. Чтобы следить за нею, надо целиком обратиться в слух. Но даже я, при незначительном навыке во французской разговорной речи, беседую с ней довольно сносно, а вам, при большей практике, нежели у меня, будет очень легко установить с ней контакт.

Я предложил бы вам приехать в субботу познакомиться с нею. В воскресенье вы сможете возвратиться, чтобы закончить свои иенские дела. Если мадам де Сталь останется тут дольше Нового года, то вы еще будете иметь возможность встретиться с нею. Если же она уедет раньше, то сможет посетить вас в Иене. Все сводится к тому, чтобы вы поспешили получить о ней личное представление и освободились бы от известного предубеждения. Если вы сможете приехать раньше субботы, тем лучше.

Всего хорошего. В моей работе за эту неделю я не могу похвастать успехом, но все же она не совсем приостановилась. Очень жаль, что этот интересный человек прибыл к нам в такое неудобное время, когда нас угнетают спешные дела, плохое время года и печальные события, от которых невозможно отвлечься.

III.

Веймар, 14 января 1804 г.

Что вы довольны началом «Телля», для меня большое утешение, в котором я особенно нуждаюсь при теперешней удушливой атмосфере. В понедельник собираюсь послать вам сцену «На Рютли», которую переписывают сейчас набело. Ее можно читать как законченное целое.

Жду с нетерпением встречи с вами. Когда вы снова откроете свою калитку?

Сегодня впервые за целый месяц у меня появилось желание побывать в театре. За все время я не чувствовал никаких побуждений к этому, главным образом из-за моего общего состояния.

Мадам де Сталь собирается пробыть здесь еще три недели. Несмотря на непостоянство французов, опасаясь, что ей придется испытать на себе, что и мы, немцы, в Веймаре тоже переменчивый народ и что нужно уметь уйти во-время.

Перед отходом ко сну напишите мне хоть слово.

Ш.

292. АВГУСТУ ВИЛЬГЕЛЬМУ ИФФЛАНДУ

Веймар, 23 января 1804 г.

Чтобы доказать вам свою услужливость, дорогой друг, посылаю пока первый акт «Телля», составляющий добрую четверть всей пьесы. Прилагаю также наиболее важные места из второго акта: в небольшой недостающей сцене изображен Геслер, приказывающий водрузить на столб шляпу. Большая часть трех последующих актов готова и будет прислана через две недели. Вся пьеса, как я надеюсь, будет у вас к концу февраля.

О постановке «Телля» в Веймаре, в день рождения герцога, не может быть и речи, даже если бы я и закончил его. Драма предназначена для вас и для Берлина и должна там впервые увидеть свет.

Так как я не знаю точно, не слишком ли удлинится пьеса, то в посланной вам рукописи я взял в скобки те места, которыми можно будет пожертвовать для

краткости. Несмотря на все сокращения, она будет такой же величины, как и «Орлеанская дева».

Из той части, которую я сегодня послал вам, вы увидите, что Штауффахер, Мельхталь и Аттинггаузен — весьма серьезные роли. В следующих актах Телль становится очень деятельным; с развитием действия Руденц тоже приобретает большой сценический интерес. Эту роль я думал поручить Бетману. Вы сами, как я полагаю, будете выбирать *только* между ролью Телля и ролью Штауффахера.

Итак, поручаю эту книгу и ее автора вашему благосклонному вниманию. Пусть же первая проба удовлетворит ваши желания.

Весь ваш
Шиллер.

293. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Веймар, 6 июня 1804 г.

Вчера вечером я говорил вам о просьбе, с которой обратился к нашему герцогу, а сегодня утром получил прилагаемую записку, полную самого благожелательного отношения ко мне. Тон этой записки внушает надежду на то, что герцог серьезно думает помочь мне и готов поставить меня в такое положение, при котором можно рассчитывать улучшить мое *gen familiarem*¹.

Чтобы жить здесь сносно, мне необходимы 2000 талеров. До сих пор больше двух третей, 1400—1500 т., покрывали мои писательские доходы. Я буду охотно добавлять ежегодно 1000 т., если смогу рассчитывать на оклад в 1000 т. Если же обстоятельства не позволят тотчас же повысить мое жалованье с 400 т. до 1000, то я надеюсь на милость герцога, который утвердит сейчас 800, а спустя несколько лет — 1000 т. Напишите, мой лучший друг, знающий мое положение и здешние условия, что думаете об этом, и считаете ли вы, что, не упрекая себя в нескромности, я смогу обратиться к герцогу в подобных выражениях.

III.

¹ Имущественное положение (*лат.*).

Веймар, 16 июня 1804 г.

Долго я не подавал признаков жизни, дорогой старик, но я много думал (о тебе) и сейчас с искренним нетерпением ожидаю твоего возвращения. Это свидание будет для всех нас настоящим праздником, потому что к тому времени ты закончишь свою трудную работу и сможешь наслаждаться отдыхом. Мое положение здесь стало лучше, и надеюсь, что оно еще более улучшится. Здоровье мое сносно, работаю я довольно много. Если Лоло будет хорошо держаться, то ты найдешь нас довольными и веселыми. Все мы напряженно ждем появления новой звезды с востока.

Ты знаешь, что за это время я побывал в Берлине. Не нашел там ничего особенного, но проводить в нем несколько месяцев в году было бы приятно и полезно. Я (чувствовал) потребность двигаться по чужому, большому городу. В конце концов мое назначение — писать для широкого мира, мои драматические произведения должны воздействовать (на этот мир), а здесь я чувствую себя в таких мелких, стесненных условиях, что чудо, как я могу еще создавать что-либо, предназначенное для большего.

О том, что я обрабатываю сейчас для театра авантюристический поход Лжедмитрия, тебе писала Ка-ролина. Это безумный сюжет, но я взялся за него с большой охотой и надеюсь, что получится хорошо. Если тебе попадется что-либо, относящееся к этой теме и могущее мне помочь, вспомни обо мне. Костюмы того времени (прошло уже 200 лет), монеты, планы городов и т. п. (были бы очень желательны). (Прилагаю) письмо книготорговца (Клингера), адресованное тебе. Он хочет (до крайности) получить для издательства «Рамо» Дидро. Если возможно, помоги ему; он готов оказать тебе любую ответную услугу. Если не удастся уговорить Клингера печатать «Рамо» в подлиннике, по-французски, то, возможно, он позволит сделать немецкий перевод. «Жак-фаталист» Дидро тоже вышел в немецком переводе на несколько лет

раньше французского издания, и тем самым интерес к оригиналу сильно поднялся.

По своем возвращении из Петербурга Фойгт с большою похвалою отзывался о тебе, и по (заслугам). Делай свое дело [дорогой] старик, чтобы извлечь богатые плоды из твоих [больших] трудов и забот.

Сердечно обнимаю тебя.

Твой III.

295. КАРЛУ ФРИДРИХУ БЕЙМЕ

Веймар, 18 июня 1804 г.

Ваше высокоблагородие,
высокоуважаемый господин тайный
советник!

После ваших милостивых отзывов обо мне в Потсдаме, излагаю чистосердечно без промедления свои пожелания. Этим я обязан великодушным намерениям короля и вашей благосклонности.

Я не сомневаюсь ни минуты, что длительное пребывание в Берлине позволит мне совершенствовать свое искусство и принимать большее участие в тамошней театральной жизни; но мой окончательный переезд из Веймара в Берлин с многочисленным семейством я смогу предпринять только при условиях, назвать которые мешают мне скромность.

Цель была бы достигнута, если бы я мог проводить в Берлине несколько месяцев в году. Благодаря такой перемене жительства я мог бы соединять те преимущества, которые предоставляет (для обогащения ума) кипучая жизнь большого города, и пользу тихой обстановки маленького города (для спокойного сосредоточения мыслей), потому что, хотя поэт черпает свои темы из большой жизни, обрабатывать их он должен в уединении и тишине.

Так как король великодушно намеревается поставить меня в самые благоприятные для моей деятельности условия, то я осмеливаюсь ожидать милости, что его величество создаст мне это счастье на таких основаниях, с которыми последнее неразрывно связано.

Две тысячи талеров ежегодного жалованья дадут мне полную возможность прилично жить некоторую часть года в Берлине и быть гражданином государства, которого осчастлививляет прославленное правление прекрасного короля.

С величайшим почтением остаюсь
вашего высокоблагородия
покорнейший слуга

фон Шиллер.

296. ВОЛЬФГАНГУ ФОН ГЕТЕ

Вена, 3 августа 1804 г.

Я перенес серьезный припадок, который мог бы окончиться плохо, но опасность, к счастью, устранена: мне стало лучше. Если бы только эта нестерпимая жара дала мне возможность бороться с силами! Внезапное ослабление нервов в такое время года действует почти убийственно, но за последнюю неделю я чувствую, что болезнь моя приходит к концу. Сил едва ли прибавилось, но голова немного прояснилась, и аппетит полностью восстановился.

Меня очень радует, что вы закончили «Геца фон Берлихинген» и что, таким образом, мы можем с уверенностью ждать праздника в театре.

Граф Геслер сейчас здесь и останется, должно быть, еще с неделю. Может быть, вы приедете в это время?

С рецензией Бодену на Коцебу вышла скверная история, но если все принимать всерьез, то не стоило возиться со «Всеобщей литературной газетой». Мне думается, что можно рискнуть напечатать это произведение *mutatis mutandis*¹, особенно в сокращенном виде, ведь оно по крайней мере будет напоминать о главных претензиях, выдвигаемых против Коцебу, пусть и недостаточных, но по существу правильных.

Прилагаемые мелодии к «Теллю» присланы мне из Берлина. Попросите Детуша или кого-нибудь другого сыграть их вам и послушайте, что они собой представляют.

¹ С необходимыми изменениями (лат.).

У меня все в порядке. Все кланяются вам сердечно. Будьте здоровы. Поклон друзьям, особенно госпоже Штейн.

Ш.

297 ШАРЛОТТЕ ФОН ШИЛЛЕР

Веймар, 21 августа 1804 г.

Окружающая спокойная обстановка и удобства, которых я был лишен, благоприятно действуют на меня, но мне странно чувствовать себя таким одиноким и оторванным от вас. До твоего приезда я с удовольствием буду заниматься небольшими доделками по дому. Пол в кабинете уже настлан, комната Христины будет приведена в порядок и станет вполне удобна для жилья. Детская сейчас очень комфортабельна; спальня рядом — тоже. Я заказал для твердой кушетки новый хороший матрац, набитый конским волосом из сохранившихся у меня подушек; налицо два дубовых комода и два новых дубовых стола; находящиеся в плохом состоянии буковые столы будут заново облицованы и проморены. Для тебя уже приготовлен очень красивый ночной столик красного дерева и маленький чайный столик, обитый лакированной жостью. Чехлы с дивана и стульев из парадных комнат я отдал в стирку, как и занавеси из передних комнат, которые я возьму себе.

Госпожа фон Штейн хотела навестить тебя вчера вместе с Гехгаузен; все было уже приготовлено, но им помешал холодный ветер. Принцессе я отправил письмо, прилагаю ее ответ.

Не видел еще ни души, за исключением преподавателя Фосса.

Состояние моего здоровья прежнее, я доволен, что оно не ухудшилось из-за холода.

Береги ящичек с сервизом для завтрака, который я не мог взять с собой. В нем уложены мелкие драгоценности вроде бриллиантового кольца и т. п.

Сердечно кланяйся от меня *chère mère*, фрау и барышням. Братья кланяются Адольфу и сестричке.

Если погода не переменится к лучшему и мое самочувствие не улучшится, я вряд ли приеду в четверг. Если будет дождь, я не пошлю коляску, поездка может повредить тебе.

Передай мой нижайший поклон Грисбахам.

Сообщи через посыльную, как ты живешь и как малышка. Сердечно обнимаю тебя.

Твой III.

298. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 11 октября 1804 г.

Постепенно начинаю поправляться и обретать веру в свое выздоровление, совершенно утраченную за последние два месяца. Для творчества тоже появляются желание и силы; они-то, надеюсь, и завершат доброе дело, так как при работе я чувствую себя хорошо.

Чем я займусь сначала, сам не знаю, так как колеблюсь между двумя планами, и до того как решить, обдумываю оба вместе. Атилла — пошлый замысел, никогда не приходивший мне в голову.

Из Берлина я ничего больше не получал. Там решили, должно быть, отказаться от этого намерения, так как я настаивал на постоянном жительстве в Веймаре и на сохранении здешних отношений. Кроме того, при моем теперешнем самочувствии я был бы принужден отказаться наотрез от какого бы то ни было ангажемента, потому что не могу слишком доверять своему здоровью. Я теперь вполне удовлетворен здешними условиями; не исключена возможность, что они еще улучшатся, потому что, как я слышал, наша наследная принцесса расположена ко мне.

Посылаю тебе «Телля» и желаю, чтобы он доставил тебе некоторое удовольствие при чтении на досуге.

Все здоровы и сердечно кланяются тебе. Пиши мне поскорее.

Твой III.

Веймар, 10 декабря 1804 г.

Сильный катар, который я схватил на последних празднествах, очень изнурил меня за несколько недель. Мое здоровье, к сожалению, настолько шатко, что за каждую допущенную вольность я принужден расплачиваться неделями страданий. Таким образом, несмотря на самые лучшие намерения, моя деятельность приостановилась. За неимением более серьезных произведений посылаю небольшую пьеску; тебе, наверное, будет интересно узнать, как я выпутался из такой ситуации.

Если в Дрездене собираются ставить «Вильгельма Телля», то было бы лучше давать его в обработке, сделанной мною для здешнего театра. Пьеса значительно сокращена. Выпущен, например, весь пятый акт, так как мы не хотели упоминать об убийстве кайзера. Количество действующих лиц уменьшено. Вычеркнуто много вызывавших недовольство щекотливых мест. Если мне не придется иметь дело с Опицем, о котором я не могу больше слышать, то пусть получают копию рукописи за 10 луидоров: я не вижу причины дарить что-нибудь г. Секонда. Если ты можешь вести переговоры относительно этого дела, разумеется, ничего не обещая,— то это мне очень приятно: вы избегнете по крайней мере постановки изуродованного спектакля. «Эстетика» Рихтера я еще не видел. Долгая отвычка от всех теоретических взглядов на искусство и всякого умничания сделали меня тупым в этом отношении, а пустая метафизическая болтовня философов искусства внушила мне отвращение ко всякому теоретизированию. На деле эта духовная операция не уживается с практикой, потому что в данном случае необходимо выводить законы из реальных предметов, а не исходить из общих формул, которые здесь несколько не помогают делу.

Вольцогены сердечно кланяются вам. У него сейчас очень много работы по делам наследной принцессы, так как он один ведает всем.

Наши дружескіе поклоны Геслеру. От всей души обнимаем вас всех.

Рукопись пришли обратно, у меня нет больше копии.

Ш.

300. ВОЛЬФАНГУ ФОН ГЕТЕ

14 января 1805 г.

Мне очень жаль, что ваше пребывание дома — не добровольное. К сожалению, нам всем плохо; лучше тому, кто вынужден привыкнуть переносить нездоровье. Я очень рад, что решился и осуществил задуманное — занялся переводом. Таким образом, в дни невзгод получилось по крайней мере кое-что, я жил в это время и работал. На следующей неделе решу, достаточно ли у меня подходящее настроение, чтобы приняться за «Деметриуса», в чем я, конечно, сомневаюсь. Если это не удастся, то мне придется снова искать полумеханическую работу.

Посылаю вам переписанное. Завтра мой Рудольф закончит все. Не просмотрите ли вы первые страницы, сравнивая их в отдельных местах с оригиналом. Что вам покажется странным, отметьте карандашом. Я хотел бы закончить это возможно скорее и прежде чем будут расписаны роли. Если за них примутся послезавтра, то в следующее воскресенье может быть читка, а с того времени до 30-го останется еще десять дней.

Герцог разрешил мне прочитать «Мемуары» Мармонтеля, которые сейчас у вас. Дайте их мне, пожалуйста, когда кончите.

Великая княгиня рассказывала вчера с большим подъемом о вашем недавнем чтении. Она рада, что увидит и услышит еще много ваших произведений.

Будьте здоровы и дайте поскорее о себе знать.

Если у вас не будет настроения прочитать присланные страницы, прошу вас вернуть их мне тотчас же для того, чтобы я мог использовать время для переписки.

Ш.

Веймар, 20 января 1805 г.

Как начинающий таять лед, просыпается мое сердце и способность мышления, совершенно застывшие в суровые зимние дни. В продолжение всей зимы меня непрерывно мучил катар, очень изнурявший и убивавший почти всю мою энергию. При таком самочувствии нечего было и думать о счастливой, вольной деятельности. Чтобы не быть совсем праздным и с помощью какой бы то ни было работы пережить этот суровый период, я перевел «Федру» Расина, пьесу, у которой много достоинств; в своем роде она даже превосходна. Долгое время она была «парадной лошадью» французской сцены и частично продолжает ею оставаться. Посмотрим, как ее примет немецкая публика. Я перевел ее обыкновенным нерифмованным ямбом с добросовестной точностью, не позволяя себе никаких изменений. Как только у меня найдется копия, пришлю тебе рукопись. Ее будут играть здесь в день рождения герцогини, 30-го этого месяца.

Смерть Губера поразила вас, вероятно, так же, как и меня. Тяжело вспоминать об этом и сейчас. Кто бы мог подумать, что он оставит нас первым! Хотя мы последнее время не поддерживали с ним отношений, но он был для нас *жив* и связан с лучшим периодом нашей жизни, и это было безразлично. Я уверен, что и вы теперь мягче относитесь к той большой несправедливости, которую он совершил по отношению к вам. Он, наверно, глубоко переживал это и жестоко раскаивался.

Напиши мне скорее несколько слов, как вы живете и как жили в течение долгого времени, когда мы ничего не слышали друг о друге.

Сердечно обнимаю вас.

Твой III.

22 февраля 1805 г.

Я очень обрадовался, увидев несколько строк, написанных вашей рукой. Это воскрешает мою веру в то, что могут вернуться прежние времена, на что я иногда совершенно не надеюсь. Два сильных припадка, перенесенных за семь месяцев, потрясли меня до основания, и мне будет трудно поправиться.

Хотя причиной моего теперешнего припадка было, повидимому, эпидемическое заболевание, но жар был такой высокий и начался он, когда я был в таком ослабленном состоянии, что я испытываю чувство, будто встал после тяжелейшей болезни. Особенно стараюсь бороться против уныния, величайшего из бед в моем положении.

Жажду узнать, отослали ли вы рукопись «Рамо». Гешен ничего не сообщил об этом, да и вообще в продолжение двух недель никто ничего не написал мне.

Пусть улучшается ежедневно и ежечасно состояние вашего здоровья и мое тоже, чтобы мы могли поскорее повидать друг друга.

III.

27 марта 1805 г.

Напишите мне, как вы жили эти дни. Я взялся, наконец, со всей серьезностью за работу и думаю, что мне нелегко будет оторваться от нее. После таких продолжительных перерывов и несчастных случаев трудно было занять твердую позицию, и мне пришлось сделать над собой большое усилие. Зато теперь я вошел во вкус.

Боюсь, что холодный норд-ост затруднит ваше и мое выздоровление, но на этот раз я чувствую себя лучше, чем обычно при подобном состоянии барометра.

Не пошлете ли вы мне для Гешена французского «Рамо»? Я попрошу его послать вам пробные листы тотчас же, как они будут отпечатаны.

Будьте здоровы. Хотя бы одну-единственную строчку от вас!

III.

304. ВИЛЬГЕЛЬМУ ФОН ГУМБОЛЬДТУ

Веймар, 2 апреля 1805 г.

Я не смог бы отвечать перед небом, дорогой друг, если бы не использовал представившийся мне прекрасный случай вспомнить о былом. Прошло бесконечно много времени с тех пор; как я не писал вам, а все же мне кажется, что наши умы были всегда вместе, и мне радостно думать, что даже после такого продолжительного молчания я с тем же доверием могу общаться с вами, как и в ту пору, когда мы были вместе. Для нашего взаимопонимания не существует лет и пространства. Круг вашей деятельности не может так сильно отвлекать вас, а моей — не делает меня настолько односторонним и ограниченным, что мы не сможем сговориться относительно того, что считаем достойным и справедливым. В конце концов мы оба идеалисты, и стыдно, если о нас скажут, что внешнее формировало нас, а не мы формировали его.

Вы знаете и, я думаю, читали то, над чем я работал за долгое время перерыва в нашей переписке. Мне хочется услышать от вас самого, довольны ли вы моим «Теллем»; это позволительное желание, так как, что бы я ни делал, я всегда думаю о том, как это вам понравится. Вы остались в моих мыслях советчиком и судьей, каким часто бывали на самом деле. Когда я пытаюсь выйти за пределы субъективных оценок, то делаю это всегда от вашего лица и от лица вашего духа.

Надеюсь, что в своих поэтических стремлениях я не пятился назад; возможно, что я несколько отошел в сторону, так как мне пришлось сделать кое-какие уступки материальным требованиям жизни и времени.

Произведения драматурга быстрѣе подхватывает поток времени, нежели другие, драматург против своего желанія приходит в многостороннее соприкосновение с массой и при этом не всегда сохраняет чистоту. Вначале ему нравится быть властителем умов, но с каким властелином не случается, что для утверждения своего господства он становится слугой своих слуг. Так же легко может случиться, что я, наполнивший немецкие театры шумом своих пьес, заимствовал от них кое-что.

Со времени создания «Гелля» болезни и развлечения часто прерывали мою деятельность; поездка в Берлин прошлой весной, сильная болезнь летом и страшно утомительная зима очень отвлекли меня от цели. Правда, не было недостатка в намерениях и планах, но я слишком долго колебался и только несколько месяцев тому назад решился написать новую трагедию, над которой буду работать, вероятно, до конца нынешнего года. Так как прошлой зимой я не мог писать ничего своего, то, чтобы делать что-либо, я перевел «Федру» Расина, которую теперь играют в театре. Эта не совсем легкая работа была для меня приятной практикой. К приезду нашей принцессы я написал небольшую пьеску, которую прилагаю. Это произведение данной минуты, задуманное, написанное и поставленное в несколько дней. Сборник моих пьес, начало которому будет положено нынешним летом, откроется этой интермедией, «Дон Карлосом» и «Орлеанской девой».

Гете был зимой снова очень болен, он страдает от последствий болезни и сейчас. Все советуют ему уехать в места с более мягким климатом — бежать от здешней зимы. Я настаиваю на том, чтобы он снова поехал в Италию, но он не принимает никакого решения — боится расходов и трудностей; его связывают, должно быть, и другие соображения. При таких обстоятельствах он не мог, конечно, много сделать в поэтическом отношении, но вы знаете, что он никогда не сидит без работы, а его отдых выражается только в перемене занятий. Зимой он перевел ненапечатанную, очень остроумную сатиру Дидро, которая выйдет у

Гешена летом. Теперь он занят изданием ненапечатанных писем Винкельмана и по временам, при хорошем настроении, напоминает о себе в «Литературной газете». Если ему позволит здоровье, он напишет вам, наверно, с этой же оказией. Зимой мы виделись с ним редко, потому что оба не выходили из дому.

Вы знаете о том, что мне были сделаны предложения переселиться в Берлин, но что герцог Веймарский создал мне такие условия, которые позволили мне остаться здесь. Так как я заключил хорошие договоры на свои драматические произведения с Котта и с немецкими театрами, то смогу приобрести кое-что для своих детей, и смею надеяться, что если будет так продолжаться до моего пятидесятилетия, то я обеспечу им надлежащую независимость. Видите, я занимаю вас рассказами, как отец семейства, но такая орава детей, как у меня, может навести на размышления. Живем мы здесь, впрочем, в очень приятных условиях, и я ни минуты не жалею, что предпочел эту жизнь пребыванию в Берлине. Если бы я был совершенно независимым человеком, то спустился бы на чetyре градуса к югу.

О нашем литературном мире могу сообщить вам немного, так как мало вращаюсь в нем. Умозрительная философия, если я и принадлежал когда-нибудь к числу ее сторонников, отпугнула меня своими пустыми формулировками, на этой пустынной ниве я не нашел для себя ни одного живительного источника и никакой пищи, но глубокие основные идеи идеалистической философии остаются для меня вечной ценностью, и только из-за нее одной можно считать себя счастливым, что живешь в такое время. Поэтическая продукция Германии имеет очень жалкий вид: не ясно, откуда возьмется литература в ближайшие тридцать лет. Я не могу назвать вам за длительное время ни одного поэтического произведения, созданного новым поэтом, которое могло бы доставить удовольствие. Напротив, ослиное желание подражать овладело теперь немцами больше, чем в прежние времена, такое подражание состоит сплошь из тождественной передачи и ухудшения прообраза.

Мой «Валленштейн» и «Мессинская невеста» на-
шли много подражателей, но это ни на йоту ничему
не помогло.

Однако довольно о моих и немецких делах. Мне
хочется представить себе наглядно, как вы живете в
Риме и чем именно. Немецкий дух сидит в вас слиш-
ком глубоко для того, чтобы вы могли перестать где
бы то ни было чувствовать и думать по-немецки. Во
время своего пребывания в Веймаре г-жа де Сталь
снова укрепила меня в моем германизме, хотя она
живо давала мне почувствовать многие преимущества
ее нации над нашей. В философском и поэтическом
отношении мы положительно впереди французов, но
в других отношениях мы проигрываем.

Возобновили ли вы знакомство с Шлегелем и в ка-
ких вы с ним отношениях? Мир мало слышит теперь
об этих двух братьях, но беда, которую они причи-
нили слабым молодым головам, будет чувствоваться
еще долго, а печальное бесплодие и фальшь нашей те-
перешней литературы являются следствием этого
скверного влияния.

Передайте доброй Ли мой сердечный привет.
В прошлом году я обрадовался и огорчился при виде ее
здесь и, не скрою, очень боялся за нее. Тем приятней
дошедшие до нас хорошие вести о ней. Прошу напо-
мнить обо мне господину Кольрауту.

Прошу вас, дорогой друг, поскорее отправить при-
лагаемое письмо Грассу. Он ждет его почти год и,
должно быть, уже отчаялся получить.

Тысячу раз обнимаю вас, мой дорогой друг, и же-
лаю, чтобы в этом письме вы нашли меня таким, ка-
ким некогда знали.

Шиллер.

305. ГОТФРИДУ КЕРНЕРУ

Веймар, 25 апреля 1805 г.

Лучшее время года дает себя чувствовать, наконец,
и у нас и приносит с собой снова бодрость и подъем.
Мне, однако, будет трудно превозмочь жестокие

удары, обрушивавшиеся на меня в продолжение десяти месяцев, и я опасаясь, что кое-что от них все-таки останется — природа помогает человеку между сорока и пятьюдесятью годами не так, как в тридцать лет. Я буду очень доволен, если мое здоровье и жизнь продлятся до пятидесяти лет.

Гете был очень болен коликами в почках; болезнь сопровождалась сильными болями, возвращавшимися дважды. Доктор Штарк сомневается, сможет ли он окончательно вылечить его. Сейчас Гете чувствует себя сносно; он только что вышел из моей комнаты, мы говорили с ним о поездке в Дрезден, которую он рад был бы предпринять нынешним летом. Разумеется, при теперешнем состоянии его здоровья он не сможет работать, а ничего не делать не в его характере. Для него будет лучше всего созерцать искусство, что даст ему научный материал.

Прошлую зиму он все же работал. Кроме нескольких очень умных рецензий в иенской газете, он перевел ненапечатанную рукопись Дидро, которая по счастливой случайности попала нам в руки, и снабдил ее примечаниями. Она выйдет у Гешена под названием «Племянник Рамо». Я пришлю ее тебе, как только она появится. Дух Дидро сохранился в ней полностью; наряду с этим она прониклась еще и духом Гете. В этом произведении передан разговор, который ведет [воображаемый] племянник музыканта Рамо с Дидро; племянник — воплощенный паразит, типичный «герой» этого класса; характеризуя себя самого, он одновременно сатирически обрисовывает общество и мир, в котором живет и процветает. Дидро, в шаловливой с виду манере, подверг едкой критике врагов энциклопедистов, особенно Палиссо, и отомстил своре темных критиков за всех хороших писателей своего времени; при этом он раскрыл свое мнение о великом споре музыкантов и выразил по этому поводу много прекрасных мыслей.

Кроме этой работы, Гете сдал еще ненапечатанные письма Винкельмана, сопроводив их своими приписками и замечаниями. Эта книга выйдет также на пасху. Поэтического не было создано ничего.

Хотя я теперь довольно прилежен, но вследствие того, что долгое время не работал и до сих пор чувствую слабость, подвигаюсь вперед медленно. Если я тебе сейчас назову тему, ты не сможешь представить себе идеи моей пьесы, все дело в манере построения, а не в том, каков на самом деле будет сюжет. Тема историческая. В моем освещении она приобретает полное трагическое величие, ее можно было бы назвать в известном смысле соотнесительной «Орлеанской деве», хотя она и во всем разнится от нее.

Ты должен непременно отделаться от вдовы Губера. Такие скверные особы только загрязняют, пачкают нас и досаждают. Какая наглость, что эта женщина обратилась к тебе. Если ты не прогонишь ее, она может позволить себе еще большее.

Видел ли ты «Наследство Неккера», изданное его дочерью? Если нет, пришло. Тебе будет интересно читать произведение, приведшее в волнение всех клеветующих на мадам де Сталь. Дочь, разумеется, слишком хвалит отца, но получилось недурно. В книге мало значительного, но есть кое-что забавное, и среди прочего небольшой «роман» старого Неккера производит странное впечатление.

Сердечно кланяемся всем вам. Будь здоров.

Твой *Ш.*



ПИСЬМА ШИЛЛЕРА



«Не из книг почерпнул Шиллер свою ненависть к униженному человеческому достоинству в современном ему обществе...» (Белинский, Стихотворения Полежаева¹.)

1

Для всякого, кто хочет глубже и разностороннее узнать Шиллера, человека и художника, его письма представляют живой и многообразный интерес. Они позволяют проникнуть в его духовный мир, вводят в его многотрудную жизнь, открывают пути к самым заветным тайнам его замыслов, в его творческую мастерскую.

Письма Шиллера живо воскрешают впечатление от его жилища в Веймаре — в том «Шиллерхаузе», в котором он провел последние годы своей жизни: светлые, просто-просто обставленные комнаты, небольшой рабочий стол, шпага, гитара и маленький глобус звездного неба, стоящий у письменного прибора, — сочетание примет обычной скромной жизни писателя — и бессмертного поэтического начала, живущего в любом его произведении.

Письма Шиллера — яркий и правдивый документ эпохи. В них его бурное и динамическое время — конец XVIII — па-

¹ В. Г. Белинский, Собр. соч. в трех томах, 1948, т. II, стр. 242.

чало XIX века — встает в своих событиях, на которые поэт откликнулся быстро и горячо, в настроениях и мыслях самого писателя. Это — важная часть его литературного наследия, неотъемлемая сторона его творческой деятельности, отмеченная печатью самобытного художнического гения великого немца.

Среди многочисленных памятников эпистолярной литературы XVIII века, богатой первоклассными образцами этого жанра, письма Шиллера занимают видное место. При чтении их видишь, как тесно был связан в то время собственно эпистолярный жанр с эпистолярной художественной прозой, с романами Ричардсона, Руссо, Гете. Письма Шиллера не раз заставляют читателя вспоминать о Сен-Пре, герое «Новой Элоизы», страстном мечтателе-разночинце, враге неравенства и несправедливости, и еще чаще — о юном Вертере. Все это вместе с большим количеством живых сцен и портретов, разбросанных в письмах Шиллера, с большой художественной силой воссоздает атмосферу того времени.

Письма Шиллера острее и живее, чем все, что о нем сказано биографами, они дают почувствовать гнет «немецкого убожества», тяжесть и скованность жалкого мирка, в котором протекала жизнь поэта. «Через печальную, мрачную юность вступил я в жизнь, и бессердечное, бессмысленное воспитание тормозило во мне легкое, прекрасное движение первых зарождавшихся чувств. Ущерб, причиненный моей натуре этим злополучным началом жизни, я ощущаю по сей день», — так вспоминает Шиллер о годах молодости, протекших в классовых захлах Карлсшутле и на ее плацпарадах. Ущерб, о котором он упоминает на этот раз, очень велик: он заключается в том, что молодой писатель, выросший в отвратительной атмосфере слежки и шпионства, насаждаемого в Карлсшутле, стал недоверчив, подозрителен; для Шиллера, с его верой в человека, эти чувства особенно мучительны и уродливы. Но как ему освободиться от них в полицейской Германии? Когда он мог не опасаться цензуры или доносчиков, он прямо писал о «старом ироде» — герцоге Вюртембергском, всемогущем повелителе автора «Разбойников». Над всеми ранними письмами Шиллера тяготеет призрак педантической, мелочной, невыносимой тирании герцога, который запретил Шиллеру заниматься литературой, запретил поэту быть поэтом; «деспот, не терпящий ослушания», стоит на дороге между Шиллером и театром. Изза смехотворного светского церемониала, в котором провинци-

альные немецкие князьки пытаются жалко подражать блеску Версаля или Петербурга, Шиллер не может попасть на постановку собственной пьесы: она приходится на тот самый день, когда он в качестве военного медика должен засвидетельствовать свое почтение любовнице герцога.

Шиллеру надо было унижаться перед бездушным театральным дельцом Дальбергом, придумывая уловки, при помощи которых можно обмануть подозрительность «старого ирода». «Для того чтобы не подвергать себя опасности», должен Шиллер бежать из Штутгарта от герцогской опеки: поэт слишком хорошо знал о трагической судьбе смелого немецкого публициста Шубарта, которого герцог Вюртембергский подверг многолетнему заключению.

Да автор «Разбойников» и сам бывал под арестом. Это известно, например, из письма к тому же Дальбергу от 15. VII. 1782 года. Двухнедельным арестом автор «Разбойников» поплатился за короткую поездку к Дальбергу, вызванную неотложными театральными делами.

Скрытой и злой насмешкой звучит определение, которое дает немецкой современности Шиллер в вынужденно почтительном письме к Дальбергу. «В наше просвещенное время, при нашей умелой полиции и строгой определенности законов, да еще как бы в самом лоне законности,— писал он, отвечая на трусливые критические замечания Дальберга относительно «Разбойников»,— такая бесшабашная шайка вряд ли могла бы возникнуть».

Писатель странствует по землям Германии, ища страны, где менее тягостна была бы власть «умелой полиции» и «строгой определенности законов». И, следя за его письмами, читатель попадает в помещичьи и бюргерские немецкие дома, в аудиторию Иенского университета, где молодежь жадно ловит слова профессора Шиллера о лучшем будущем, которого достойно человечество, в Веймар 90-х годов, где дух «немецких Афин», атмосфера многообразной интенсивной культурной жизни причудливо сочетаются с затхлостью мелкой феодальной резиденции, и, наконец, в Берлин. Прусская столица показала Шиллеру большим городом, но жить в гогенцоллерновском Берлине ему было еще труднее, чем в Веймаре.

Где бы ни жил поэт,— в Штутгарте, в Мангейме, в Иене, в Веймаре — всюду преследовало его ощущение удушья и застоя, царившее во всей Германии. Он пытался избавиться от

них, уходя в мир создаваемых им образов. Но чувство постоянного конфликта с немецкой действительностью, лишь иногда заслоняемое другими переживаниями, вновь и вновь вспыхивающее в нем, проходит через все письма Шиллера.

«Ты не знаешь, как опустошен мой дух, как омрачен мой мозг,— пишет он одному из друзей в 1788 году.— Философская ипохондрия пожирает мою душу, все цветы моего духа грозят опасть». И через много лет, уже будучи знаменитым драматургом и поэтом, повторяет: «...я чувствую себя в таких мелких, стесненных условиях, что чудо, как я могу еще создавать что-либо, предназначенное для большего...»

И сколько трагизма звучит в одном из последних его писем, помеченном 2 апреля 1805 года: «Надеюсь, что в своих поэтических стремлениях я не пятился назад; возможно, что я несколько отошел в сторону, так как мне пришлось сделать кое-какие уступки материальным требованиям жизни и времени». Скупые, но горькие слова: за ними стоят годы нужды, упорной борьбы за возможность быть писателем, за то, чтобы не сникнуть под натиском забот о куске хлеба, о крове, о старых родителях, о собственном малом домашнем очаге, дававшем животворное душевное тепло.

Шиллер делал «кое-какие уступки времени», о которых он, как видим, писал не без горечи. «Немецкое убожество» наложило свою печать и на его творчество, сказавшись в острых противоречиях этого замечательного поэта, то звавшего к восстанию против деспотизма немецких князей, то пугавшегося революционной ломки привычных и тягостных для него условий немецкой жизни. Но каковы бы ни были противоречия Шиллера, он с жадностью и острым интересом следил за всеми бурными событиями конца века, за назреванием и развитием французской революции, за признаками общественного оживления в Германии — и его письма свидетельствуют об этом особенно убедительно. Проблема революции остро интересовала Шиллера издавна. В одном из писем 1783 года он с увлечением упоминает о прочитанной им книге «История Бастилии»; по существу это был памфлет против французского абсолютизма, вызывавший к европейскому общественному мнению и приводивший особенно вопиющие факты полицейского произвола в королевской Франции. Шиллер, в памяти которого были свежи воспоминания о заточении Шубарта (вместе с другими молодыми людьми он посетил поэта в его темнице), не мог не

отнести всего того, о чем читал в «Истории Бастилии», к жизни Бюртемберга: в его тюрьмах, пусть менее известных, чем старый парижский замок, томилось немало узников, о тяжелой участи которых Шиллер хорошо знал.

Письма рассказывают о том, как постоянное чувство протеста, жившее в сердце Шиллера, проявляется в его интересе к революциям прошлого. Автор «Истории отпадения соединенных Нидерландов» — книги, для которой он нашел высокие и смелые слова о героизме восставшего народа, — Шиллер штудирует историю английской революции, старается осмыслить революционный характер войны американского народа за независимость. Особенно увлекают его события французской революции, упоминания о которой то и дело встречаются в его переписке.

Известно, что отношение Шиллера к французской революции было весьма противоречивым. Шиллер видел во французской революции проявление справедливого протеста против феодального строя, решительную ломку его устоев. С волнением следил он за глубоким воздействием революции и связанных с нею событий на немецкое общество, ощущая это воздействие прежде всего на себе самом.

Вместе с тем его отпугивали беспощадные плебейские методы французских якобинцев. Революционное насилие было глубоко чуждо Шиллеру. Шиллер, писатель-гуманист XVIII века, далек от понимания того, что подлинно великая любовь к людям рождает и укрепляет беспощадную ненависть к тем, кто мешает их счастью.

Конечно, в этих острых противоречиях Шиллера сказалось общее состояние немецкой общественной жизни, отсталость немецких стран, где не было революционного класса, способного решительно расправиться с феодализмом.

Когда войска революционной Франции вторглись в пределы Германии, неся с собою ликвидацию сгнивших старых порядков и очищая авгиевы конюшни феодальной Германии от средневековой нечисти, Шиллер с возрастающей тревогой и страхом наблюдал за приближением революционной бури к Иене, в которой он жил в те годы. Из писем 1792—1793 годов видно и постоянное внимание Шиллера к борьбе, которая идет уже на территории немецких земель, — к битвам за Рейн, к судьбам Майнца, в котором под защитой революционной французской армии стали собираться силы передовой немец-

кой общественности, — но к этому интересу примешивается нерешительность, колебания, сомнения.

В одном из своих писем к Готфриду Кернеру, Шиллер, как это видно из письма, жадно выслушивает историка Мюллера, который только что прибыл из революционного Майнца, изучает революционную французскую прессу: война и революция стоят на его пороге. «Война с Францией намечена на будущий год, — пишет Шиллер, — так что расквартироваться думают на немецкой территории, и кто знает, не вторгнутся ли туда французы. С тех пор как я читаю «Монитор», я жду от них многого. Если ты не читаешь эту газету, я тебе очень ее рекомендую. Тут мы найдем подробности о дебатах в Национальном конвенте и можем узнать силу и слабость французов.

В Германии идут усиленные приготовления, и, как всегда, это отражается на свободе частных лиц. В Геттингене вскрывают все сколько-нибудь подозрительные пакеты и письма, и это вызывает множество жалоб... Майнцские перспективы для меня очень сомнительны; но бог с ними. *Если французы лишат меня моих надежд, мне может прийти в голову искать у них лучшей участи...*» (курсив наш. — Р. С.).

Вот как обстояло дело. Даже относясь отрицательно к ученому и писателю Георгу Форстеру, решительно ставшему на сторону революционной Франции (письмо от 21. XII. 1792 г.), даже собираясь вступить в «спор о короле» — то есть о Людовике XVI — и, видимо, осуждая позицию конвента, Шиллер видит для себя возможность искать лучшей участи в Майнце, захваченном французами.

«Политические дела... не дают вздохнуть. Французы в Штутгарте...», — пишет Шиллер в июле 1796 года, и мы должны понять всю значительность этих слов — ведь это тот самый Штутгарт, где прошла томительная юность поэта. Тут же он сообщает Гете, что перепуганная австрийская цензура запретила последний выпуск «Альманаха муз», «...поэтому в новом мы должны быть еще более беспощадны!» — восклицает он. В этом восклицании прорывается то лучшее, что было в его душе плебея, взволнованного и увлеченного бурными историческими событиями. При всей сложности и противоречивости отношения Шиллера к французской революции из писем видно, какое захватывающее впечатление она на него производит, каким большим нравственным и эстетическим переживанием становится для него новая революционная эпоха. Те-

перь она является предметом его пристального внимания и изучения. Он исполнен желания писать о революции, воплотить эту тему в образах.

В письме к Кернеру Шиллер настаивает на том, чтобы тот написал статью об английской революции и Кромвелле: сам Шиллер не может этого сделать только из-за недостатка времени. С Архенгольцем (1795) он делится мыслью о том, что хорошо было бы «кратко и сжато нарисовать картину американской борьбы за независимость», и тут же замечает, что «французская революция по крайней мере пока еще не созрела для исторического искусства». Не созрела — потому что еще не завершилась, потому что еще не собраны факты, не отстоялись впечатления. Но самая мысль о художественном произведении, посвященном революционным событиям, все время не покидает Шиллера. «Очень существенно именно в наше время,— пишет он,— вынести здравое суждение о революции...», дать «яркую запоминающуюся картину событий в целом». Вникая в эту непрерывающуюся работу мысли художника, мы шире понимаем ту творческую атмосферу, в которой складывалась «Орлеанская дева», в которой вызрели планы трилогии о Валленштейне и замысел Телля. Мысли о революционных процессах, в ходе которых преобразовывалось общество, об участии народа в этих процессах вели Шиллера к созданию шедевров немецкой литературы, в которых уже намечалась тема «судьбы человеческой — судьбы народной», тема *будущего* Германии. Не случайно в письме к Гете от 7. IV. 1797 года Шиллер особенно подробно останавливается на проблеме изображения народной массы в драме и ссылается на Шекспира, который в «Юлии Цезаре» умеет живописать простой народ «с необычайным величием».

С молодых лет тянулся Шиллер к исторической тематике, видя в ней возможность постановки и решения больших современных вопросов. Великие революционные события конца века помогли ему найти новый угол зрения на ход истории, на ее уроки, и если в его ранних пьесах с историческими сюжетами («Заговор Фиеско», «Дон Карлос») тема народа только намечена, а на первый план выдвинута сильная и сложная личность, прежде всего увлекающая поэта, то в его поздних исторических драмах народ занимает все большее место, приобретает все большее значение: это солдаты Валленштейна, вершащие его судьбу и судьбу Германии, швейцарские па-

стухи и поселяне из «Телля», русские крестьяне из незаконченного «Деметриуса», так близко напоминающего иногда драматургию Пушкина.

Шиллер не был в числе тех немецких патриотов, которые праздновали освобождение рейнских провинций от феодальной неволи и плечом к плечу с французскими якобинцами пытались создать новое и, как им казалось, подлинно справедливое общество, основанное на «Социальном договоре». Он не сломил немецкого убожества своей пламенной проповедью об эстетическом и этическом перевоспитании человека. Но, выстунив в немецкой литературе как поэт-бунтарь, звавший за собой немецкую молодежь, Шиллер не утратил темперамент борца до последних лет своей деятельности. В пору зрелости, пришедшую в 90-х годах вместе с порой революции, Шиллер определеннее и точнее оценивал ситуацию в немецкой литературе, чем в начале своего творческого пути. В идеологической и литературной борьбе, которая обострялась в скрытых и явных формах в Германии 1790—1800-х годов, Шиллер занял позицию, которая в конечном итоге была проявлением огромного положительного воздействия революционных событий на его талант. Об этом говорит не только «Вильгельм Телль», произведение, сохранившее свой освободительный пафос и в наши дни. Об этом говорят и письма Шиллера.

Выступая вместе с Гете в качестве провозвестника и защитника идеалов подлинно национального и гуманистического искусства, Шиллер в эту пору все более нетерпимо относится к литературе, враждебной этим идеалам, к формирующемуся на рубеже столетий реакционному романтизму. Пламенный поэт-мечтатель, обращенный к будущему человечества и звавший за собой читателей, Шиллер, как и Гете, не раз и с нескрываемой резкостью писал в эти годы о братьях Шлегелях и Людвиге Тике — корифеях иенской группы немецких реакционных романтиков, как раз в эту пору отходивших от недолгого увлечения событиями французской революции.

За последнее время некоторые литературоведы заговорили о немецком реакционном романтизме умиротворяюще, появилась тенденция замалчивать его отрицательную роль в общем развитии немецкой литературы — конца XVIII — начала XIX века — под предлогом «исторического» отношения к этим далеким от нас событиям. Письма Шиллера свидетельствуют о его воинствующем и нетерпимом отношении к некоторым

реакционным романтикам, писателям талантливым, но с его точки зрения вредно влиявшим на общий ход развития немецкой литературы. Шиллер писал, что «школа Шлегеля и Тика становится все более и более пустой и карикатурной».

Еще в 1795 году Шиллер отрицательно отзывался о статье Ф. Шлегеля «О границах прекрасного», отмечая в этом раннем манифесте немецкого романтизма (тогда еще не отмеченном чертами прямой политической реакционности) запутанность понятий и советуя Кернеру «не щадить» Шлегеля, подвергнуть его суровой критике. А в письме к Гете от 19. VII. 1799 года Шиллер столь же резко говорит о «Люцинде», повести Ф. Шлегеля, одном из программных произведений немецкой романтической прозы. В определении Шиллера «Люцинда» Шлегеля — «верх современной бесформенности и неестественности...»

Вероятно, в этой оценке и надо искать ответа на вопрос о том, что же именно отталкивало Шиллера от романтиков «иенской школы», как назывался кружок писателей, куда входили братья Шлегели, Тик и их единомышленники. «Неестественность», отсутствие жизненной правды — вот что было чуждо и неприятно Шиллеру в произведениях иенских романтиков.

Вместе с тем все с большим вниманием следил Шиллер за выдвижением тех новых сил в немецкой литературе, в которых воплощалась ее демократическая линия. В его переписке встречаются имена замечательного немецкого поэта Ф. Гёльдерлина, к творчеству которого Шиллер относился с «участливой дружбой» (письмо к Гёльдерлину, 24. XI. 1796 г.), и Жан Поля Рихтера.

Письма свидетельствуют о том внимании, с которым следил зрелый Шиллер за развитием немецкой философии. Известно, какое значение имело для Шиллера знакомство с работами Канта (что нашло отражение и в его письмах). Шиллер особенно чутко отозвался на те их стороны, которые объективно помогли борьбе передовых умов Германии против застоя в немецкой философской мысли, против засилья теологии в немецких университетах конца XVIII столетия. Деятельность Канта Шиллер расценивал как «революцию в мире философии» (письмо принцу Христиану от 9. II. 1793 г.) и приветствовал эту революцию, указывая на ее значение для развития эстетической мысли в Германии. В письмах явственно выступает глубокое уважение Шиллера к Г. Лессингу — великому немецкому реалисту-просветителю, и острый интерес

к реалистической эстетике великого французского просветителя Дени Дидро. Оценки, которые Шиллер в своих письмах дает состоянию немецкой литературы и философии на рубеже XVIII—XIX веков, свидетельствуют о том, что он все более критически относился к тем их течениям, которые связаны с феодальной реакцией, и все с большим сочувствием — к явлениям передовым.

Знакомясь с письмами Шиллера, читатель видит, как под влиянием бурной эпохи развивался и крепнул дух воинствующего гуманизма, присущий великому немецкому поэту, как он сам становится страстным критиком, деятельным участником литературной борьбы своего времени. Изменяется и отношение Шиллера к действительности: оно становится все более активным, действенным, решительным. В первых письмах еще нередко звучали ноты трагической жалобы молодого поэта, чувствующего себя жертвой «немецкого убожества». В поздних письмах голос Шиллера — нередко трагический — звучит мужественно. Это говорит немецкий писатель-патриот, видящий в своем благородном труде большое национальное дело и поэтому столь взыскательно относящийся и к своим произведениям и к произведениям своих собратьев.

2

Отражая общий путь развития Шиллера, показывая раз-
нообразные живые связи, скреплявшие его с различными кругами немецкого общества, письма Шиллера дают очень много и для понимания его художественной эволюции. Конечно, прежде всего об этом надо судить, опираясь на его произведения. Но доверительный разговор — особенно переписка Шиллера с Гете и Кернером — оказывается очень важным комментарием к тому, что создано Шиллером-поэтом и драматургом.

Письма помогают понять то особое значение, которое для всего творческого развития Шиллера имела философия, стремление к теории познания. Она всегда была для Шиллера тесно связана с теорией искусства. Эстетика Шиллера, сохраняя преемственность с эстетическим наследием Просвещения, вместе с тем была и великим шагом вперед¹. Стремление к новому, пыл поэта и мыслителя, открывающего новые горизонты твор-

¹ Об этом подробнее см. статью В. Ф. Асмуса к 6 т. данного издания.

чества и новые сокровища человеческой души, были присущи уже ранним произведениям Шиллера. Эти черты отчетливо видны в самых ранних его письмах. Постепенно смелое новаторство писателя делается все более осозанным, более глубоким. Вырастают требования, которые выдвигает Шиллер перед самим собою и перед немецким искусством.

Ясное представление о том, чем жил в эти годы Шиллер, дает его письмо к принцу Фридриху Христиану (9. II. 1793 г.), тесно связанное со всей работой Шиллера над «Письмами об эстетическом воспитании». Говоря о «революции в философии», произведенной работами Канта, Шиллер утверждает, что она «потрясла основы, на которых зиждилась эстетика, и разбила вдребезги существовавшую до сих пор эстетическую доктрину, если вообще ее можно так назвать»; последние слова этой фразы свидетельствуют о весьма критическом отношении к эстетической мысли начала 90-х годов.

Заявляя, что в работе «Критика способности эстетического суждения» Кант «попытался основы критической философии сделать и основами вкуса», Шиллер утверждает, что философы, однако, едва ли смогут в ближайшее время заняться вопросами «философии искусства». Этой области, по ироническому замечанию поэта, «видимо, суждено остаться в привычном ей мраке».

Шиллер не желает мириться с таким плачевным положением — и это в духе его активной натуры. «Я считаю, что она заслуживает лучшей участи, — пишет он об эстетике, — и возымел дерзкую мысль стать ее рыцарем». Писателя не останавливает отсутствие специальной подготовки в этой области: он заявляет о своем намерении «стараться развить в себе способность к философскому мышлению» и с полным основанием утверждает, что у него «есть и некоторое важное превосходство» перед философами, которые занимаются эстетикой: «Чтобы создать теорию искусства, мне кажется, недостаточно быть только философом: нужно самому создавать произведения искусства... Длительная работа в области искусства дала мне возможность исследовать его природу в тех ее проявлениях, которые нельзя изучить по книгам».

Далее раскрывается заветный замысел Шиллера: он хочет «возвысить до уровня философского знания одну из наиболее действенных пружин человеческого ума — искусство, формирующее нашу душу». Такова глубоко жизненная благородная

задача, которую намечает себе Шиллер. Он приступает к ее решению в «Письмах об эстетическом воспитании».

Переписка полно и разносторонне отражает работу над этой замечательной книгой. Особенно живо свидетельствует о напряжении всех творческих сил поэта письмо к Кернеру (3. II. 1794 г.),— краткое изложение его нового эстетического труда.

В «Письмах об эстетическом воспитании» содержится глубокая критика и реакционной феодальной идеологии, врагом которой был Шиллер, и многих новых черт общественной жизни, связанных с развитием буржуазных отношений. Ощущение непримиримого противоречия между буржуазным обществом и подлинным искусством ярко высказано в «Письмах», и это свидетельствует о глубокой народности лучших страниц книги.

Но в «Письмах»,— как и в строках, адресованных Кернеру,— сказалась и кантианская, сугубо идеалистическая сторона взглядов Шиллера на искусство. Шиллер называет искусство «веселым царством игры и видимости», в котором человек якобы «освобождается ото всего, что зовется принуждением как в физическом, так и в моральном смысле». Это «веселое царство», с точки зрения Шиллера, независимо от «страшного царства сил» и «священного царства законов», одинаково угнетающих и подчиняющих себе человеческий дух.

Искусство как игра, радующая и отвлекающая человека от тяготящих его забот,— это одно из характерных положений эстетики Канта, как видим, унаследовано Шиллером. Но неверно было бы считать Шиллера просто последователем Канта. Письма Шиллера знакомят нас с тем, как стремящийся вперед критический разум взвешивал, проверял, изучал различные стороны взглядов Канта — и все чаще сомневался в их правильности. Письмо к Б. Фипениху, боннскому профессору — стороннику Канта, свидетельствует с особой убедительностью о том, насколько критически относился Шиллер к эстетической теории Канта, хотя во многом от нее и зависел: «Мои лекции по эстетике заставили меня углубиться в эту сложную область и принудили настолько основательно ознакомиться с теорией Канта, насколько это необходимо, чтобы не остаться просто слепым последователем его. Я действительно близок к тому, чтобы установлением объективного критерия вкуса опроверг-

нуть утверждение Канта, будто такой критерий невозможен». Усомниться в основном положении эстетики Канта относительно невозможности объективного критерия вкуса — это значило сделать смелый шаг вперед, к реалистической и материалистической эстетике.

Переписка 90-х годов показывает не только сложные и трудные пути эстетического развития поэта, но и самые ценные стороны его эстетических взглядов — его уверенность в том, что искусство — великая воспитательная сила, общественный фактор. Восприняв эту мысль от просветителей XVIII века, Шиллер развил ее и высказал с присущим ему жаром и искренностью.

Нельзя не понять, что в шиллеровском плане создания новой эстетики отражены общие большие сдвиги, происходившие в мире общественной и эстетической жизни XVIII века и приведшие в конечном итоге к зарождению новых великих явлений в области искусства — прогрессивного романтизма и критического реализма.

Работа над «Письмами» была длительным и важным этапом эстетического развития Шиллера. Но оно шло дальше, и его письма к Гете рассказывают об этом еще увлекательнее, чем переписка с Кернером. Эстетическая проблематика писем к Гете тем острее и значительнее, что нередко в них есть сложная, не всегда прямая полемика и с самим собой и с Гете, идеи которого оказывали на Шиллера особенно сильное стимулирующее воздействие. «Недавние беседы с вами привели в движение всю грудку моих идей», — признавался Шиллер Гете (23. VIII. 1794 г.). Чтение их переписки дает почти физическое ощущение того, как «грудка идей» Шиллера действительно «движется», изменяется в его беседах с Гете, в умозрительном диалоге, который идет между автором письма и его корреспондентом, чьи возражения или замечания он предвидит, когда пишет ему.

Содержание писем к Гете властно ставит проблему творческого метода Шиллера, проблему своеобразного критического самоосмысления, которая в те годы сильно волновала Шиллера. Именно в письмах к Гете находятся самые откровенные и подчас не лишённые горечи автохарактеристики Шиллера-художника, хватающие за душу своей искренностью признания, которых он никому, кроме Гете, не делал. «Не ждите от меня избытка реальных идей; это именно найду я у вас, — писал Шил-

лер (31. VIII. 1794 г.).— Так как круг моего мышления меньше, то я скорее и чаще пробегаю его... Вы стремитесь к тому, чтобы упростить свой огромный мир идей, а я стараюсь придать больше разнообразия своему небольшому достоянию. Вы должны управлять целым царством, а я лишь относительно многочисленной семьей понятий, которые я искренне хотел бы расширить до размеров небольшого мирка.

Моему уму свойственно... стремление к символизации, и я как промежуточный тип колеблюсь между логикой и интуицией... между техническим подходом к искусству и гением. Вот это-то и придавало мне, особенно в прошедшие годы, довольно неловкий, неуклюжий вид как в сфере спекуляции, так и в сфере поэзии: ведь обычно там, где я хотел философствовать, меня обгонял поэт, а там, где я хотел быть поэтом,— философ. И еще теперь случается, что сила воображения вредит моим абстракциям, а холодный рассудок — моему поэтическому творчеству».

Так писал Шиллер своему другу, в котором видел приближение к «наивысшему из того, что может сделать из себя человек». И тут же признавался, что сам он находится в состоянии «великой и всесторонней душевной революции». «Великая и всесторонняя душевная революция» — вот какую образную характеристику подобрал Шиллер для того, чтобы сказать о новом этапе творческих исканий, настойчиво устремлявших его к решению проблем реализма. Об этом и рассказывают его письма к Гете и к другим корреспондентам (к Гумбольдту, 9. I. 1796 г., к нему же 21.III. 1796 г.). Разумеется термин «реализм», встречающийся и у Шиллера и у Гете, нельзя буквально отождествлять с его современным истолкованием, но уже тогда Гете и Шиллер вкладывали в этот термин представление об искусстве, стремящемся к объективному изображению действительности. Еще в письме от 1. IX. 1794 года Шиллер упоминает о растущем взаимопонимании между ним и Гете по основным вопросам эстетики: «Мы с ним полтора месяца назад беседовали об искусстве и теории искусства, исследовали эту тему вдоль и поперек, поделились теми основными идеями, к которым мы пришли совершенно различными путями. Неожиданно обнаружилось, что идеи эти совпадают, и это совпадение тем более интересно, что оно проистекает действительно из величайшего несходства наших точек зрения».

Возможно, что Шиллер даже несколько преувеличил «совпадение» эстетических взглядов Гете и своих. Но важно, что это начавшееся сближение двух великих поэтов усиливалось и крепло, находило себе подтверждение не только во взаимных высоких оценках, которыми обменивались они по поводу своих новых произведений, а и в общности эстетических позиций. Эти данные уже довольно прочно свидетельствуют именно о том, что развитие Шиллера и Гете — при всем их огромном различии, которое они сами осознавали и о котором писали не раз,— шло в известной мере по одному направлению. Таким общим направлением был путь реалистической немецкой литературы.

Проблема реализма занимает значительное место и в статье Шиллера «О наивной и сентиментальной поэзии» (1795), где Шиллер развивает свой взгляд на два типа писателей — «реалиста» и «идеалиста». При этом показательно, что, считая себя самого «идеалистом» (о чем говорит его письмо к Гумбольдту от 9. I. 1796 г.), Шиллер в конце своей статьи объективно приходит к выводу о желательности известного синтеза поэзии «наивной» — «реалистической», — в его понимании, отражающей материальный, объективный мир, и поэзии «сентиментальной», «идеальной» по его терминологии.

Идея синтеза поэзии материального мира и мира идей полнее, чем в статье 1795 года, раскрыта в упомянутом письме к Гумбольдту. В нем Шиллер, говоря о полном взаимопонимании между собою и Гете, называет себя «идеалистом», а его — «закоренелым реалистом», но намечает линии сближения «реализма» и «идеализма».

Они заключаются в том, что если художник-«реалист» изображает закономерно существующий *материальный мир*, художник-«идеалист» изображает такой же объективно существующий в человеческом сознании *мир идей*. И «реалист» и «идеалист» создают свои произведения, обобщая явления действительности, беря их, в определении Шиллера, «в целом». В этом они противостоят художникам — «эмпирикам» и художникам — «фантастам», которые либо не могут создать «цельного», то есть обобщенного изображения действительности, либо уходят слишком далеко от правды жизни, подчиняясь своему вымыслу.

Как практически осуществляется синтез «реализма» и «идеализма», как перед Шиллером открывались новые творче-

ские возможности, рассказывает письмо к Гумбольдту от 21. III. 1796 года.

Говоря о своей работе над характером Валленштейна, Шиллер пишет: «...я набрел на в высшей степени поразительное доказательство своих идей о реализме и идеализме, которое одновременно сможет успешно помочь мне в моей поэтической композиции. Все, что я говорил в последней статье о реализме, в высокой степени верно для Валленштейна. В нем нет никакого благородства, ни в одном житейском поступке он не проявляет величия; в нем мало достоинства, и все же я надеюсь, следуя по чисто реалистическому пути, создать характер драматически сильный и заключающий в себе подлинно жизненный принцип. Прежде я старался — например в *Позе* и *Карлосе* — заменить недостающую правду прекрасным идеалом, теперь в Валленштейне я хочу за отсутствующий идеал (сентиментальный) вознаградить голой правдой». Это важное свидетельство дальнейшего возмужания Шиллера-художника. С высоты, достигнутой им во время работы над «Валленштейном», судит он о прошлом — о «Дон Карлосе», отчетливо видя различия, разделяющие эти два произведения, из которых каждое по-своему замечательно.

Вместе с тем нельзя решать сложные вопросы творческой эволюции Шиллера схематически. Письма дают богатый материал для того, чтобы почувствовать, в какой мере важно для Шиллера-поэта романтическое восприятие действительности, сказывающееся и в высокой героике его драм, и в резкой, разносторонней критике бюргерско-помещичьей Германии, и в противопоставлении миру немецкого убожества — мира поэтической мечты, веяние которой в письмах Шиллера, пожалуй, еще более ощутимо, чем в его художественном творчестве. Для самого Шиллера его связь с романтической эстетикой была настолько очевидной, что он прямо называл некоторые свои произведения «романтическими». Так, например, в октябре 1795 года Шиллер сообщал Гумбольдту: «Еще хотелось мне поддаться давнишнему искушению и испробовать свои силы в новом для меня роде — написать романтическую повесть в стихах, сырой материал для которой у меня уже заготовлен». Видимо, речь шла о поэме «Битва с драконом», которая всем своим сказочно-рыцарским духом действительно близка романтической эстетике.

В романтизме Шиллера отразился страстный протест про-

тив немецкого ничтожества, его мечты о лучшем будущем человечества, его вера в способность человека на высокий подвиг ради светлого общего дела.

«...Байрон так же есть намек на будущее Англии, как Шиллер — намек на будущее Германии: оба эти поэта были резкими противоречиями национальному духу своих стран, и в то же время каждый из них мог явиться только в своей стране»¹, — писал Белинский. Сопоставление имен Байрона и Шиллера знаменательно. Противостоя «иенской школе» реакционных немецких романтиков, Шиллер воплощал в своем творчестве перспективы немецкого прогрессивного романтизма.

Мы остановились на некоторых письмах, отражающих особенно богато и разнообразно путь эстетического развития Шиллера. Но, разумеется, таких писем гораздо больше. Внимательный читатель найдет почти в любом из приведенных в нашем издании писем к Гете, Кернеру или Гумбольдту выражение этого процесса.

В письмах Шиллера разбросано множество ценнейших замечаний и признаний, знакомящих с творческой лабораторией поэта и очень важных для изучения психологии его художественного творчества.

В связи с этим, например, обратим внимание на письмо к Рейнвальду от 14. IV. 1783 года, раскрывающее специфику работы молодого Шиллера над образами его героев.

Разговор начинается с общей проблемы, очень важной для Шиллера, — с вопроса о дружбе, о способности жить интересами другого человека, любить их в нем и через них понимать его. И отсюда, открывая подлинно гуманистический характер эстетики Шиллера, намечается линия, ведущая к шиллеровскому методу изображения человека, объясняющая основные принципы этого метода: «Если мы можем пламенно сочувствовать нашему другу, то в сердце у нас найдется тепло и для наших поэтических героев... Бесспорно то, что мы должны быть друзьями наших героев, раз нам суждено вместе с ними распалиться гневом, трепетать, плакать и отчаиваться, что они должны быть для нас самостоятельными людьми, поверяющими нам свои сокровенные чувства, изливающими на нашей груди свои страдания и радости. Отсюда следует, что наш образ

¹ В. Г. Белинский, Собр. соч. в трех томах, 1948, т. II, стр. 514—515.

чувств — это рефракция, нечто не первичное, но порожденное состраданием. Мы, поэты, трогаем, потрясаем, воспламеняем сильнее всего тогда, когда сами почувствовали страх за наших героев и сострадание к ним. Один крупный философ, сейчас не припоминаю его имени, заметил, что симпатию вернее всего и сильнее всего пробуждает симпатия же. Теперь я отдаю себе полный отчет в этой сентенции. Поэтому надо быть не столько живописцем своего героя, сколько его *возлюбленной*, его *душевым другом*.

Письмо к Рейнвальду, как видим, объясняет и очень многое в сильной стороне эстетики Шиллера — в ее гуманистической любви к человеку — и в ее стороне слабой: возможность объективно и незаметно для поэта происходящей подмены чувств героя своими собственными, возможность превращения героя драмы в «рупор духа времени» возникает совершенно очевидно, поскольку стирается грань между героем и автором. Вместе с тем, указывая на это обстоятельство, надо подчеркнуть, что в поздних драмах Шиллера трактовка героя делается более объективной, более историчной («Валленштейн», «Вильгельм Телль»).

Не меньший интерес представляет критический анализ общего процесса собственной творческой работы, данный Шиллером в одном из писем к Кернеру (25. V. 1792 г.): «Часто стыжусь я того, как возникают мои произведения, даже наиболее удачные.

Принято говорить, что поэт, когда он творит, должен быть всецело поглощен своим предметом. Меня же часто может увлечь какая-нибудь одна, притом не всегда существенная сторона избранной мною темы, и только в самом процессе работы начинает вырисовываться и развиваться мысль за мыслью. То, что побудило меня создать «Художников», полностью отпало, когда я их завершил. То же было и с «Карлосом». С «Валленштейном»... дело обстоит лучше...»

Говоря в одном из писем к тому же Кернеру о своей трудной жизни литератора-разночинца, Шиллер сетовал, что заботы о хлебе насущном мешают творческой работе художника слова. «Для драмы мне не нужно книг, для нее, — утверждал Шиллер, — требуется напряжение всей моей души и все мое время». Вот это «напряжение души» живет в письмах Шиллера, передается тому, кто внимательно и любовно вчитывается в них, входя в жизнь великого немецкого поэта.

Шиллер — поэт юности; лучшие образы, созданные им, овеяны юношеским пафосом дерзания, дышат юношеской чистотой. Читая письма Шиллера — от самых ранних до самых последних, написанных незадолго до смерти, — вы чувствуете бессмертие юности Шиллера, заключающееся в постоянном страстном движении вперед, в высокопоэтическом беспокойстве души поэта, волнующем нас и сегодня.

3

Сложный путь развития Шиллера отразился не только в содержании его писем, но и в их стиле, в их художественной стороне. Молодой Шиллер выражался витиевато и чувствительно. «Скоро, любезнейший друг, уже придет прекрасная пора, когда ласточки начнут возвращаться на наши небеса, а чувства — в нашу грудь. Как страстно я ее жду! Одиночество, недовольство судьбой, неосуществленные надежды, а возможно, и новый образ жизни заставили, если можно так выразиться, фальшиво звучать мой дух и расстроили обычно чистый инструмент моих чувств. Надеюсь, что дружба и май снова возвратят ему былую звучность. Истинный друг опять примирит меня с родом человеческим, часто являвшимся мне со столь неприглядной стороны и на полпути остановит мою музу, уже отправившуюся в Коцигу», — меланхолически-высокопарно писал юный Шиллер.

В дальнейшем стиль писем заметно изменяется. Из них уходит несколько жеманное многословие. Вторгается масса житейских подробностей. Язык писем обогащается, становится более точным и содержательным. В одном жанре пишутся письма к Кернеру, с неповторимо задушевыми нотами; в другом — тоже задушевнейшие — к «милому другу» Гумбольдту; в совсем ином — озабоченном, исполненном нескрываемого и напряженного ожидания ответа, — к Гете. Особо стоят письма к родным, к жене, просто к светским и литературным друзьям. Но как бы ни был разнообразен стиль писем Шиллера, они всегда остаются необыкновенно эмоциональными — уже без сентиментального многословия. Нельзя, например, без волнения читать его письма к невесте — к Лотте Ленгефельд, или простые письма к родителям — скромным бедным людям.

Еще большее впечатление производят те места в письмах,

где Шиллер с присущей ему искренностью и порывистостью рассказывает о своем творчестве. Вот одно из них: «Когда я сажусь писать, в моей душе гораздо чаще возникает музыкальный образ стихотворения, нежели ясное представление о его содержании, которое мне порой еще неизвестно...» Немецкий подлинник этих строк и сам звучит почти как стихотворение. В нем проявляется и содержательность, и поэтичность, и музыкальность эпистолярной прозы Шиллера.

С годами все отчетливее слышна мужественная струна голоса Шиллера — патетическая, богатая различными оттенками, нередко суровая. Все чаще прорываются гневные и резкие слова: Шиллер не стесняется назвать «старым иродом» умершего герцога Вюртембергского, раздраженно говорит о том, что Виланд, несмотря на свой талант, бывает «старой бабой и филистером», а Гердер — сочетает «трусливую дряблость» с упрямством и резкостью. Сценки и образы веймарской жизни, сохраненные в письмах, привлекают своей сатирической живостью.

Много людей проходит перед читателем писем Шиллера, и так как Шиллер — человек необыкновенно чуткий к своим корреспондентам — пипшет, тонко улавливая свойства каждого из них, то в целом письма Шиллера, из которых складывается и портрет самого автора, дают почувствовать личность тех, к кому они написаны. Мы живо ощущаем чистое и тихое обаяние Лотты Ленгефельд, несокрушимую надежность дружбы Готфрида Кернера, с которым можно говорить как с самим собой, внимательную приязнь энциклопедически любознательного Гумбольдта, холодную спесь Дальберга, с которым приходится хитрить в любой записке, старосветский мир матери поэта, сложную натуру молодого поэта Гельдерлина. Гений Шиллера сказался в том, что в его письмах проступают и угадываются живые свойства тех, кому они адресованы.

Но над всеми возвышается Гете. История отношений Шиллера и Гете, личность Гете выступают в письмах Шиллера с такой отчетливой и поразительной силой, что все письма Шиллера к нему составляют как бы повесть излюбленного в XVIII веке эпистолярного жанра.

Сначала в письмах Шиллера к другим людям возникает тень великого современника, еще очень далекая и чужая. Затем появляется он сам — и как с ним трудно молодому Шиллеру, как давит его Гете, как растерян и подавлен Шиллер первой встречей с гением — и как он ею вместе с тем восхищен.

Всей душой отзываясь на это новое и нелегкое знакомство, Шиллер медленно утверждает себя в мире, окружающем Гете,— и с глубоким удовлетворением пишет о том, что Гете, наконец, открылся для него, стал относиться к нему с доверием. Гете сам передал нам историю того, как он постепенно открывал для себя Шиллера, как он любовался его движением вперед, развитием и углублением его таланта.

И вот происходит нечто совершенно необычайное: письмо Шиллера к Гумбольдту рассказывает о том, как слились, соединились их таланты в работе над «Ксениями» — группой сатирических стихотворений. «При всей чудовищной разнице между Гете и мною даже вам будет подчас трудно, а подчас и вовсе невозможно различить в этом произведении долю каждого из нас», — пишет Шиллер своему ученому другу.

Теперь они действительно едины, и что значит эта действительная, взыскательная дружба для Шиллера,— видно по его письмам. Шиллер выпрямился во весь рост около Гете — и под его защитой и под его влиянием. Постепенно и Кернер и Гумбольдт отходят на второй план, хотя отношения с Кернером — и это видно по переписке — остаются самыми близкими (более теплыми, чем сложная близость с Гете). Но все же первый план жизни Шиллера — это его творчество, а значит, и Гете, поскольку начинается пора, когда они вместе представляют все самое большое и новое, что было в немецкой литературе их времени.

Для благородного Шиллера с его культом дружбы особенно характерно то, что, упоминая о Гете в письмах к другим, он неизменно говорит о превосходстве Гете над собою — мечтателем и «рыцарем философии искусства».

Мы, от души любящие Шиллера и приученные к нему великими русскими писателями, переводчиками и актерами, не всегда можем согласиться с таким благородным самоотвержением, с чистосердечным культом Гете, которым веет со страниц писем Шиллера. Высоко ценя Гете, мы не можем не видеть того бессмертно прекрасного, что содержится в пламенном гуманизме «адвоката человечества» — и чего не было у Гете. Для нас они — и Гете и Шиллер — велики каждый сам по себе, в своем неповторимом значении, измеряемом и масштабами немецкой литературы и масштабами литературы мировой.

Творчество Шиллера, его огромный талант и задушевность свободно и полно проявляются в его письмах. Не будучи про-

изведениями художественной литературы в узком смысле слова, письма Шиллера входят в нее как одно из ярких и своеобразных проявлений его гения.

«Моя величайшая радость — работа...» — писал Шиллер В. Вольдогену. Эти слова могут быть поставлены в качестве эпиграфа к биографии Шиллера — писателя-труженика, лишь незадолго до смерти обеспечившего себе возможность работать именно над тем, к чему влекли его творческие замыслы, а не забота о куске хлеба.

Переписка Шиллера, знакомя нас с самыми различными сторонами его жизни, заставляет часто вспоминать эти вдохновенные слова поэта. Вместе с ним обдумывая планы создания новой эстетики, разделяя его сомнения относительно композиции «Валленштейна» или концовки баллады «Ивиковы журавли», прислушиваясь к его спорам с Гете и Гумбольдтом, Кернером и Виландом, мы остро чувствуем пафос писательского труда — радость работы, о которой так проникновенно говорил Шиллер.

В своем «Опыте о Шиллере», посвященном стопятидесятилетию со дня его смерти, великий немецкий писатель Томас Манн напомнил о гуманистической силе чувств и идей поэзии Шиллера: «...его стремлении к прекрасному, истинному и доброму, к нравственному, к внутренней свободе, к искусству, к любви, к миру — и к спасительному уважению, которое человек должен питать по отношению к самому себе».

Этот мир бессмертных идей и чувств, запечатленных в творчестве Шиллера, живет и в его письмах.

Р. САМАРИН



КОММЕНТАРИИ



Перевод настоящего собрания писем Шиллера сделан по семитомному изданию, подготовленному Фрицем Йонасом: Fritz Jonas, «Schillers Briefe», 1—7 Bd., Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart... , 1892—1896.

Напечатанные в этом томе письма Шиллера перевели:

Н. Ман. Письма 1 — 56.

Д. Горфинкель. Письма 57—112, 176—179, 181—185, 187, 188, 190, 192, 194.

Т. Хмельницкая. Письма 113—129; 131—135.

Э. Фельдман. Письма 136, 137, 139, 141—175.

Е. Эткинд. Письма 186, 189, 191, 193, 195—201, 203, 204, 208—211, 213, 214—231.

Н. Никольская. Письма 130, 138, 140, 180, 202, 205—207, 212. Ею переведены также стихи на страницах: 12, 80, 93, 94.

И. Татаринова. Письма 232—283.

М. Зельдович. Письма 284—305.

1

Адресат — товарищ поэта по Вюртембергской военной академии, окончил академию 15. XII. 1778 г. и начал службу лейтенантом в Штутгарте.

Стр. 7. *...я слишком превознес тебя в своих стихах!* — В конце этого письма Шиллер цитирует четыре строчки из своего стихотворения в «восточном духе», где, параллельно теме дружбы Шиллера и Шарфенштейна, развивается тема дружбы двух «восточных друзей» — Селима и Сангира.

Стр. 9. *Буажоль*, Георг Фридрих — сын купца из городка Эрикур в тогдашнем графстве Мёмпельгардт; окончил академию одновременно с Шарфенштейном.

Стр. 10. ...«Аминта» Клейста.— Клейст, Эвальд Христиан (1715—1759) — немецкий поэт, автор многочисленных песен, од, элегий и идиллий. Аминта — традиционный образ так называемой пасторальной поэзии, перемены которой характерны для творчества Э. Клейста.

Клопшток, Фридрих Готлиб (1724—1803) — немецкий поэт, автор монументальной эпической поэмы «Мессиада» (1745—1773) и патриотической трилогии: «Битва в Тевтобургском лесу» — 1769, «Арминий и князь» — 1784, «Смерть Арминия» — 1787. Уже в преклонном возрасте Клопшток восторженно приветствовал французскую буржуазную революцию конца XVIII в., но позже калялся в этом как в заблуждении («Мое заблуждение» — 1793, «Моя скорбь» — 1796 и др.).

Стр. 41. Гебель, Франц Август Леопольд — товарищ Шиллера и Шарфенштейна по академии.

Груб, Людвиг Фридрих Иоганн — тоже учащийся Вюртембергской академии.

Стр. 12. Давид — царь Иудей, которому библейское предание приписывает «Книгу псалмов»; Ионафан — сын царя Саула, первого царя Иудейского.

2

Адресат — старшая сестра поэта Христофина (1757—1847).

Стр. 13. Людвигсбург — вторая столица герцогства Вюртембергского. Возле этого города находилась военная академия герцога Карла Евгения, с 1781 г. носившая название «Высшая Карлова школа», Карлсшале. Ниже вместо Вюртембергская академия будет стоять «Карлсшале», даже если речь будет идти о времени до ее переименования (равным образом и «карлсшюлер» — воспитанник этой академии).

Стр. 14. Гогенгейм — владение, доставшееся в лен герцогу Карлу Евгению, выстроившему здесь (1782) большой дворец.

3

Адресат — один из ближайших друзей Шиллера в юношеские годы. По выходе из Карлсшале он получил должность младшего библиотекаря, был участником шиллеровской «Антологии на 1782 год». В письме речь идет о «Разбойниках» (1781).

Стр. 14. ...по части искусства убеждать не уступающий

Францу.— Франц— одно из действующих лиц «Разбойников» Шиллера, брат Карла Моора.

Стр. 15. *Маммон* означает на арамейском языке: деньги, имущество, барыш, богатство.

Штейдлин, Готхольд Фридрих (1758—1796) — незначительный швабский лирический поэт. В сентябре 1781 г. вышел его «Швабский альманах муз на 1782 год» со стихотворением Шиллера, подписанным (впервые) его полным именем, а не инициалами, — «Восхищение Лаурой». Между Штейдлином и Шиллером вскоре вспыхнула литературная вражда. Вялому сентиментальному альманаху Штейдлина молодой Шиллер противопоставил свою «Антологию на 1782 год», мужественную и энергичную, с явственно прозвучавшими в ней нотами протеста против тогдашней немецкой действительности. Из 83 стихотворений «Антологии», напечатанных под двадцатью тремя различными пифрами, около 50—60 принадлежали самому Шиллеру.

...заново проштудировать мою «Физиологию и философию». — Речь идет о трактате молодого Шиллера, написанном им в 1779 г. (первоначально — на немецком языке) и поданном профессорам осенью этого же года под заглавием «Философия физиологии» (по-латыни).

А если слух и разнесется, то ты всегда успеешь выдать за автора одного из твоих братьев. — «Разбойники» Шиллера вышли без указания имени автора в мае 1781 г. Так как ни один издатели не рискнул издержками по напечатанию этой пьесы, то Шиллер издал ее на свой счет, положив этим начало столь тяготившим его впоследствии долгам. Книжечка была напечатана в Штутгарте, но местом издания, для отвода глаз цензуры, указаны Франкфурт и Лейпциг.

Капф, Йозеф фон (1759—1791), окончил Карлсшутле одновременно с Шиллером. Некоторое время по выходе из академии Капф и Шиллер жили в Штутгарте на одной квартире.

4

Адресат — имперский барон Вольфганг *Гериберт фон Дальберг* (1750—1806), брат викарного епископа (коадьютора) майнцского (см. примеч. к п. 93); возглавлял театр в Мангейме, где 13 января 1782 г. были поставлены «Разбойники» Шиллера.

Стр. 16. *Мангейм* — самый большой город великого герцог-

ства Баденского. В Мангейме был основан (1774) один из лучших театров Германии. «Заветная мечта» Шиллера «обосноваться в Мангейме» осуществилась позднее. С 1 сентября 1783 г. он стал штатным драматургом Мангеймского театра с жалованием в 300 гульденов в год. Но ему вскоре пришлось жестоко разочароваться в том, что это «рай драматической музыки».

5

Стр. 17. *Шван*, Христиан Фридрих — мангеймский издатель и книготорговец. По его указанию Шиллер заменил предисловие к «Разбойникам» другим, где сила протеста была смягчена и где подчеркнуто морально-дидактическое содержание пьесы; в тексте последней, по настоянию Швана, были вычеркнуты или изменены реплики с выпадами против «проклятого неравенства в мире» и тому подобные места, свидетельствовавшие о революционном настроении их автора.

6

Стр. 18. *Вот, наконец, и «Блудный сын», или переплавленные «Разбойники».*— Исходная ситуация «Разбойников», где Карл фон Моор, мот и весельчак, раскаявшись, готов возвратиться к отцу и к покинутой невесте, несколько напоминает евангельскую притчу о блудном сыне. Шиллер сильно переработал для Мангеймского театра свою пьесу, которую он напечатал в мае 1781 г. на свой счет, как драму для чтения.

Стр. 20. *...по справедливому замечанию моего эрфуртского рецензента...*— Вскоре после выхода в свет не поставленных еще на сцене «Разбойников» рецензент «Эрфуртской ученой газеты» магистр Христиан Фридрих Тимме, в предчувствии новой эпохи в немецкой драматургии, писал (24 июля 1781 г.): «Если мы вправе ожидать немецкого Шекспира, то вот он перед нами».

8

Адресат — *Фридрих Вильгельм Давид фон Ховен*, товарищ и друг поэта, вместе с ним перешедший на медицинский факультет Вюртембергской академии. О нем Шиллер впоследствии писал: «С ним прошел я все ступени духовных исканий с тринадцати лет до двадцати одного года. Вместе писали мы стихи, занимались медициной и философией» (п. 121, 4. X. 1793 г.).

Стр. 22. ...о моем предполагаемом альманахе, или, вернее, антологии.— Имеется в виду «Антология на 1782 год», анонимно вышедшая весной 1782 г. с издательской пометкой для цензуры относительно места выхода книжки: Тобольск.

Пришли мне также твою Оссианову «Солнечную песнь»...— очевидно, песнь, написанную в духе поэзии легендарного кельтского певца Оссиана.

9

Стр. 23. ...перенесение времени действия в эпоху установления имперского мира и отмены кулачного права...— то есть, как поясняет ниже Шиллер, из эпохи царствования прусского короля (с 1740 по 1786 г.) Фридриха II в эпоху царствования германского императора (с 1564 по 1576 г.) Максимилиана II. Барон фон Дальберг, стремясь лишить «Разбойников» политической злободневности, настаивал на перенесении времени действия пьесы из современности в далекую историческую эпоху. Молодой драматург, боясь прямо отклонить это предложение, выставляет ряд соображений художественного порядка и просит Дальберга «простить отцу сие горячее заступничество за свое дитя».

Стр. 24. ...автором «Геца фон Берлихингена»...— то есть Гете (1749—1832), за восемь лет до «Разбойников» Шиллера выпустившим в свет свою драму «Гец фон Берлихинген с железной рукой», 1773; это одно из значительнейших произведений периода Бури и Натиска в немецкой литературе.

...в одном из изданий Вергилия.— Публий Вергилий Марон (70—19 гг. до н. э.) — римский поэт; речь идет о его эпической поэме «Энеида», повествующей о скитаниях троянского героя Энея после разрушения Трои. Пример, приводимый Шиллером, — ярчайший образчик так называемого анахронизма, ошибки против последовательности во времени.

Quodlibet — буквально означает: «что угодно». Шиллер, начав письмо похвалой дальберговскому плану перенесения времени действия в отдаленную историческую эпоху, постепенно подводит к убийственной характеристике этого плана, который превратил бы пьесу «в порочное и отвратительное *quodlibet* — в ворону в павлиньих перьях».

Стр. 25. Барон Отто Генрих фон Гемминген (1755—1836) — драматург, автор пьесы «Немецкий отец семейства» (1780).

Стр. 27. *Бёк*, Иоганн Михаэль — актер Мангеймского театра, первый исполнитель роли Карла Моора.

За любезное предложение оплатить мне расходы по поездке покорнейше благодарю...— Дальберг выплатил Шиллеру 44 гульдена в возмещение расходов по поездке. Пьеса, обогащавшая театральные кассы всей Германии, ничего не принесла ее автору в материальном отношении и нисколько не помогла ему справиться со «всемогущим маммоном», на что он рассчитывал.

11

Стр. 28. *Графиня фон Гогенгейм*, Франциска Тереза — фаворитка герцога Карла Евгения.

12

Стр. 29. *Петерсен и Рейхенбах* — младшие библиотекари герцога Вюртембергского, бывшие «карлсшюлеры».

13

Стр. 29. *...я должен буду совершить пренеприятный прыжок из мягкого климата Пинда на север...*— Пинд — большой горный хребет в Греции, отделяющий Фессалию от Эпира. Здесь находятся горы Парнас и Геликон; Пинд — олицетворение поэзии, поэтического вдохновения.

...мне удастся закончить «Заговор в Генуе»...— «Заговор Флеско в Генуе. Республиканская трагедия» Шиллера вышла весной 1783 г. у книгоиздателя Швана в Мангейме.

15

Стр. 33. *...за свою последнюю поездку к вам я был на две недели посажен под арест.*— Всего вероятнее, с 28 июня по 12 июля.

История испанца Дом Карлоса безусловно заслуживает пера драматурга...— Трагедия Шиллера «Дон Карлос», перво-

начально называлась (от сокращенного латинского dominus—господин) «Дом Карлос».

В Вагнеровой «Детоубийце».— Вагнер, Генрих Леопольд (1747—1779) — немецкий поэт и драматург периода Бури и Натиска. «Детоубийца» — мещанская трагедия (1776), переделанная им впоследствии (1779) в драму: «Эвочка Гумбрехт, или Мамаши, примечайте!»

16

Адресат — *Карл Евгений Вюртембергский* (1728—1793) — типичнейший представитель немецкого княжеского деспотизма, с безудержным произволом правивший Вюртембергом с 1744 по 1793 г. Когда Шиллер писал комментируемое письмо (1782), он действительно был «из всех многочисленных воспитанников герцогской академии первый и единственный, кто привлек к себе широкое внимание во всей Германии».

17

Это письмо написано из предместья Франкфурта-на-Майне — Заксенгаузена, куда бежал Шиллер и где он скрывался, боясь преследования влиятельного в немецких Землях герцога Вюртембергского.

Стр. 35. *...я в бегах...*— Шиллер бежал из Штутгарта в ночь на 23 сентября 1782 г., а 24-го был уже в Мангейме. В этот же день он написал герцогу, полковнику Зегеру и командиру гренадерского полка, где он служил лекарем,— генералу Оже. 26-го он читал «Фиеско» актерам мангеймской труппы, а спустя два дня получил ответ от генерала Оже на свое, уже вторичное, к нему обращение — ответ, не дававший ему никакой гарантии безопасности в случае возвращения. Чтобы уйти от возможного преследования со стороны герцога Вюртембергского, Шиллер 30 сентября или, самое позднее, 1 октября покинул Мангейм, отправившись вместе со своим преданным другом А. Штрейхером во Франкфурт-на-Майне.

...во время пребывания великого князя...— Шиллер бежал в ночь на 23 сентября, когда внимание всех было привлечено к шумному празднеству в увеселительном замке Солитюд, где герцог Вюртембергский принимал великого князя Павла Петровича, будущего императора Павла I.

Стр. 36. *Мейер*, Христиан Дитрих (1749—1782) — актер и режиссер Мангеймского театра, сочувственно относившийся к Шиллеру. В одном из последующих писем (п. 27, 11. IX. 1783 г.) Шиллер сообщает о смерти Мейера и говорит о нем: «Друг, которому я многим был обязан».

18

Адресат — друг Шиллера, будущий вюртембергский главный врач.

Стр. 37. *В данное время я нахожусь на пути в Берлин.* — Шиллер, все еще опасаясь преследований, дезориентирует адресата относительно своего местопребывания и цели своих скитаний (ср. ниже, в п. к А. Штрейхеру от 14. I. 1783 г.).

Стр. 38. *Николаи*, Христоф Фридрих (1733—1811) — книго-торговец и немецкий писатель, издатель «Всеобщей немецкой библиотеки» (1765—1792; 1800—1805); известен своими выступлениями против Канта и Фихте, а также против Гете и Шиллера.

Абель, Якоб Фридрих (1751—1829) — профессор философии в Карлсшуте (с 1772 г.) и в Тюбингене (с 1790 г.), друг Шиллера, посвятившего ему «Фиско» (1783).

Стр. 39. *Кранц*, Иоганн Фридрих — камерный певец; позднее был капельмейстером в Веймаре.

Герн, Иоганн Георг — мангеймский, а затем берлинский певец.

19

Стр. 39. *Оггерсгейм* — городок, где Шиллеру пришлось скрываться около двух месяцев, так как в письмах из Штутгарта все еще говорилось об опасности преследования и выдачи его герцогу. Здесь Шиллер жил под именем «доктора Шмидта» (до этого — «доктора Риттера»).

20

Адресат — *Андреас Штрейхер* (1761—1833) — друг Шиллера, по профессии музыкант; он бежал с Шиллером из Штутгарта и мужественно разделил с ним его полные тревог скитания. Штрейхер — автор книги «Бегство Шиллера из Штутгарта и пребывание в Мангейме с 1782 по 1785 г.».

Стр. 40. *Бауэрбах* — имение Генриетты фон Вольцоген (1745—1788), четверо сыновей которой обучались на дворян-

ском отделении Вюртембергской академии, в том числе барон Вильгельм фон Вольцоген (1762—1809) — впоследствии муж Каролины фон Ленгефельд-Бейльвиц, свояченицы поэта.

Стр. 41. *Ну и задам же я страху на пасхальной ярмарке!* — Обычно книгоиздатели приурочивали выход книги к большим годовым ярмаркам — на пасху, в Михайлов день (осенью) и др.; крупнейшим издательским и книготорговым центром немецких земель был уже тогда Лейпциг, издавна славившийся и своей международной ярмаркой.

Дерен — купец в Отгерсгейме, любитель литературы.

Напишите мне, что это за офицер разыскивал меня. — Этот швабский офицер, справлявшийся в Мангейме о Шиллере, причинил поэту много тревог. Но страх беглеца был неоснователен, так как о Шиллере расспрашивал его штутгартский приятель лейтенант Козериц.

21

Стр. 42. *...если герцог В. что-нибудь пронюхает...* — Имеется в виду герцог Вюртембергский.

Стр. 43. *Рейнвальд*, Вильгельм Фридрих Герман (1737—1815) — мейнингенский библиотекарь, муж Христовины Шиллер, сестры поэта.

...я познакомился с юным господином фон Врмб... — Буквами Врмб Шиллер обозначил помещика Вильгельма Христиана Людвига фон Вурмба из Волькрамсгаузена.

О неприятной истории с Вольцоген — молчите. — Это письмо, по утверждению издателя переписки Шиллера Ф. Йонаса, написано с нарочитой целью ввести в заблуждение официальные лица из Вюртемберга относительно покровительства, которое оказывала Генриетта фон Вольцоген беглецу-поэту.

Моя новая трагедия, под названием «Луиза Миллер», закончена. — Таково было первоначальное название «Коварства и любви»; окончательное заглавие пьесе дал Август Вильгельм Иффланд (о нем см. примеч. к п. 34).

22

Стр. 43. *Вейган* — издатель журнала «Немецкий музеум» и лейпцигский книготорговец.

Стр. 44. *...надеюсь, что ревнивый отец и супруг, грозный, на-*

смешливый инквизитор и жестокий герцог Альба... — «Ревнивый отец и супруг» — Филипп II (1527—1598), король (с 1555 г.) Испании и (с 1581 г.) Португалии, отец инфанта Дон Карлоса. Инквизитор — одно из действующих лиц трагедии Шиллера «Дон Карлос». Герцог Альба, Фернандо Альварес де Толедо (1508—1582) — испанский государственный деятель и полководец, наместник Нидерландов с 1567 по 1573 г.; одно из действующих лиц «Дон Карлоса».

Стр. 45. *Ежели у вас имеется Брантом «История Филиппа II», то ссудите меня и ею.* — Шиллер неоднократно пользовался произведениями французского писателя Пьера де Бурдейля, аббата Брантома (1527—1614). В 1796—1797 гг. Шиллер выпустил три тома «Мемуаров» Брантома в своей серии «Всеобщее собрание исторических мемуаров».

...в «Готской газете» — в газете, выходившей в городе Гота, столице маленького герцогства Саксен-Кобург-Гота; ее полное название: «Готская научно-литературная газета».

«История Бастилии» показалась мне очень занимательной... — Бастилия — крепость (замок) в Париже, государственная тюрьма. Разрушена восставшим народом 14 июля 1789 г.

Коцит (греч. миф.) — приток Ахеронта. Обе реки считались в древности реками подземного мира. «Отправиться к Коциту» — умереть.

Стр. 46. *Стихотворение!* — Намек на оду Фридриха Вильгельма Юнга к Шиллеру, помещенную в № 9 «Немецкого музея».

23

Стр. 46. *...видимо, еще не совсем изверились в моем драматургическом даровании.* — Дальберг отклонил «Фиеско», а затем и переработку этой «республиканской трагедии». Иффланд хлопотал о выдаче автору, находившемуся в тяжелом материальном положении, хотя бы восьми луидоров гонорара, но Дальберг отказал.

Стр. 47. *Собираюсь одновременно работать над трагедией о принце Конрадине.* — Конрадин (1252—1268) — последний отпрыск швабского императорского дома Гогенштауфенов; шестнадцать лет отроду был казнен в Неаполе после неудавшейся попытки оружием вернуть себе королевство отца. Судьба Конрадина не раз служила темой сценической обработки.

Стр. 48. *Лейбниц*, Готфрид Вильгельм (1646—1716) — один из крупнейших немецких философов-идеалистов.

Стр. 49. ...*«Юлий из Тарента»* растрогал меня больше, чем Лессингова *«Эмилия»*, хотя Лессинг несравненно наблюдательнее Лейзевица.— Лессинг, Готхольд Эфраим (1729—1781) — немецкий писатель, крупнейший представитель немецкого Просвещения. Его трагедия в прозе *«Эмилия Галотти»* (1772), маскируясь итальянскими именами действующих лиц, разоблачала княжеский деспотизм германских карликовых монархий. Лейзевиц, Иоганн Антон (1752—1806) — немецкий писатель периода Бури и Натиска, автор трагедии *«Юлий из Тарента»* (1776)

Стр. 51. *Моя леди интересуется меня, пожалуй, не меньше моей штутгартской Дульцинеи.*— Леди — это леди Мильфорд, герцогская фаворитка из *«Коварства и любви»*. Штутгартская Дульцинея — всего вероятнее, Шарлотта фон Вольцоген, дочь владелицы Бауэрбаха.

Адресат — упомянутая (в примеч. к п. 20 от 8. XII. 1782 г.) Генриетта фон Вольцоген, предоставившая Шиллеру убежище в своем имении Бауэрбах.

Стр. 53. *Винкельман*, Франц Карл Филипп — офицер и вюртембергский камер-юнкер, сватавшийся к дочери Генриетты — Шарлотте.

Стр. 58. *Месяц назад здесь побывали г-н и г-жа фон Кальб...*— Супруги Кальб прибыли в Мангейм 8 мая. Муж — Геприх фон Кальб, пфальц-двейбрюкенский офицер; жена — Шарлотта фон Кальб; ее перу принадлежат роман *«Корнелия»* и мемуары.

Стр. 61. ...*посылаю краткий проспект задуманной мною «Мангеймской драматургии».*— Дальберг не поддержал этого начинания Шиллера, затеянного по образцу знаменитой *«Гамбургской драматургии»* (1767—1768) Лессинга.

Адресат — *Фердинанд Губер* (1764—1804), литератор и дипломат, одно время близкий член дружеского кружка Шиллера, Кернера и двух сестер Шток.

Стр. 66. *...извещение о журнале* — извещение о выходе журнала «Рейнская Талия», датированное 11. XI. 1784. Первый номер «Талии» вышел в середине марта следующего года. Журнал Шиллера назывался первоначально «Рейнская Талия», затем «Талия» и, наконец, «Новая Талия».

Адресат — *Христиан Готфрид Кернер* (1756—1831), литератор, самый близкий друг Шиллера. Его многотомная переписка с последним, наряду с перепиской Шиллера с Гете, — исключительно ценный литературный памятник того времени.

Стр. 67. *Элизиум* (греч. миф.) — место вечного упокоения душ умерших, поэтический символ красоты и покоя.

Стр. 68. *Лафатер*, Иоганн Каспар (1741—1801) — швейцарский писатель, автор «Швейцарских песен» (1767) и нескольких мистических сочинений и «Физиономических фрагментов» (1775—1778).

...за эти 12 дней со мной и во мне произошла революция... — Эта «революция», по предположению Ф. Йонаса, — решение расстаться с Шарлоттой фон Кальб, уйти из-под ее влияния.

Стр. 69. *...мои нынешние отношения с герцогом Веймарским...* — Опубликованный в «Талии» первый акт «Дон Карлоса» Шиллер посвятил Карлу Августу (1757—1828), герцогу Веймарскому, который еще 27 декабря 1784 г. присвоил ему звание веймарского советника.

Стр. 70—71. *Благословен случай!* (говорит Фердинанд фон Вальтер)... и далее — цитата из «Коварства и любви» (V, 2).

Стр. 72. *...о г-не Ренншюбе, а также о его жене...* — Ренншюб — актер Мангеймского театра; в мангеймской премьере «Коварства и любви» 15 апреля 1784 г. исполнял роль гофмаршала фон Кальба, а его жена — роль леди Мильфорд.

Стр. 73. *Иффланд*, Август Вильгельм (1759—1814) — немецкий актер и драматург. В Мангеймский театр поступил в 1779 г.;

первый разработал роль Франца Моора; в 1796 г. переехал в Берлин, где (1811) стал генеральным директором Прусского Королевского театра.

35

Стр. 74. ...а временами является и умение скрасить ему, как говорит Йорик, сей жизненный фрагмент.— Шиллер цитирует роман английского писателя Лоренса Стерна (1713—1768) «Тристрам Шенди» (1760—1767).

37

Стр. 76. ...я свел бесчисленное множество знакомств, из которых наиболее интересные...— Далее Шиллер называет следующих лиц: *Вейссе*, Христиан Феликс — лейпцигский податной инспектор; *Эзер*, Адам Фридрих — художник, с 1764 г. директор Лейпцигской академии искусств; *Гиллер*, Иоганн Адам — композитор, автор книг по музыке; *Цолликофер*, Георг Иоахим — лейпцигский проповедник; *Губер*, Михаэль — преподаватель французского языка в Лейпциге, отец Людвига Фердинанда Губера, друга Кернера и Шиллера; *Юнгер*, Иоганн Фридрих — лейпцигский литератор; *Рейнике*, Иоганн Фридрих — актер Дрезденского театра.

Стр. 79. *Лаура в Шиллеровом «Примирении»* — моя старшая дочь.— Старшая дочь книготорговца Швана — Маргарита. Героиней этого стихотворения Шиллера (1784) в действительности была Шарлотта фон Кальб.

38

Стр. 79. ...стремится искупить толику своей вины перед счастьем.— «Вина перед счастьем» — «античная» идея, позднее нашедшая отражение в балладе Шиллера «Поликратов перстень» (1797), см. стих 60. Буквально: «Я уплатил счастью свой долг».

Стр. 80. ...уже в бессилии бросают якорь.— Этими словами заканчивается стихотворение Шиллера «Величие мира» (1781).

39

Письмо послано из пригородной деревни Голис, куда Шиллер перебрался из Лейпцига в начале мая. В Лейпциге, 25 мая 1785 г., Шиллер впервые встретился с Кернером.

Стр. 85. *Граф Редерн*, Сигизмунд Эренрейх — саксонский посол в Мадриде, находился в то время в Дрездене; друзья надеялись, что он выхлопочет Губеру место по дипломатической части в столице Саксонии. Впоследствии (1787) Губер некоторое время служил секретарем посольства в Майнце.

Стр. 86. *Плюмике*, Карл Мартин (1749—1833) — ловкий берлинский театральный писатель, автор переработки «Разбойников» Шиллера (применительно к мещанским вкусам).

42

Стр. 92. *Три с половиной строчки оригинала не разобраны, повидимому зачеркнуты Терезой Губер.*— Примечание Фрица Йонаса. Губер, Тереза (1764—1829) — немецкая писательница, жена Ф. Губера.

Стр. 93. *Родриго* — имя маркиза Позы, преданнейшего друга Дон Карлоса, героя трагедии Шиллера.

Дело со Шлоссеровыми фрагментами Кернеру и мне пришлось по душе.— Шлоссер, Иоганн Георг (1739—1799) — немецкий писатель, друг юности Гете и муж сестры поэта Корнелии. Речь идет о его работе «Фрагменты о просвещении».

Стихотворная цитата — из «Дон Карлоса».

Уотсон, Роберт (1746—1783) — английский историк. Его «История правления Филиппа II Испанского» вышла в немецком переводе в Любеке в 1778 г.

43

Стр. 94. Стихотворная цитата.— Эти стихи предназначались для «Дон Карлоса».

Абт, Томас (1738—1766) — немецкий философ, автор нескольких популярных во второй половине XVIII в. сочинений: «О смерти за отечество», «О заслугах» и др.

44

Адресат — *Фридрих* Людвиг *Шредер* (1744—1816), выдающийся немецкий трагический актер, балетмейстер и драматург; руководил с 1771 г. Гамбургским театром.

Стр. 99. *Сцена маркиза и королевы уже в разгаре...*— См. «Дон Карлос», IV, 3.

Мой поклон Кунцам, Шнейдерам и Гартвигам. Сегодня вечером мы у Нейманов.— *Кунце*, Фридрих — лейпцигский купец; *Шнейдер* — лейпцигский книготорговец; *Гартвиц* — врач в Дрездене; *Нейман*, Иоганн Леопольд — секретарь саксонского военного министерства в Дрездене.

Стр. 100. *Бек*, Генрих — мангеймский актер. *Шарлотта* — Шарлотта фон Кальб. *Беккер*, Вильгельм Готлиб — профессор истории. *Риш*, Вольфганг фон — дрезденский дворянин.

Стр. 101. «*Liaisons dangereuses*» — «Опасные связи» (1782) — роман в письмах французского писателя Шодерло де Лакло (1741—1803).

За «Карла XII» я еще не принялся — за «Историю Карла XII» (1731), короля Швеции (с 1697 по 1718 г.), одну из лучших исторических работ Вольтера (образец его художественной исторической прозы).

Госпожа Вольф — жена дрезденского капельмейстера.

Арнимы — дворянская семья в Дрездене. Кернер одно время опасался, что Шиллер сильно увлечется Марией Генриеттой Элизабет фон Арним.

Стр. 104. «*Открытую вражду*» вы получили...— Речь идет о какой-то французской комедии, переведенной Губером и изданной в Мангейме в 1788 г. под заглавием: «Открытая война, или Хитрость против хитрости».

Стр. 107. *Г-жа фон Штейн* — подруга Гете, Шарлотта фон Штейн, жена веймарского обершталмейстера; когда Гете познакомился с нею (1779), она была уже матерью семерых детей. Гете, который в 1787 г. находился еще в Италии, вел с ней оживленную переписку.

Гете еще в Италии...— Гете уехал в Италию 3 сентября 1786 г., отправился в обратный путь 22 апреля 1788 г.

Стр. 107—108. *Бодэ*, Иоганн Иоахим Христоф (1730—1793) — немецкий книгоиздатель и переводчик английских романов XVIII в. *Бертух*, Фридрих Юстин (1747—1822) — немецкий писатель и книготорговец, один из сотрудников Виланда по журналу «Немецкий Меркурий». *Рейнгольд*, Карл Леонгард (1758—1823) — немецкий философ-кантианец, в 1772 г. стал иезуитом, но спустя несколько лет бежал из австрийской иезуитской коллегии и сложил с себя духовное звание. В 1783 г. переселился в Веймар, стал зятем Виланда и сотрудником «Немецкого Меркурия», в котором (1786—1787) были напечатаны его «Письма о Кантовой философии». С 1787 г. Рейнгольд — профессор философии в Иене, а с 1794 г. — в Киле. *Шретер*, Корона Элизабет Вильгельмина (1751—1802) — веймарская актриса. *Шарлотта* — Шарлотта фон Кальб. *М-лле Шмидт*, Каролина — дочь веймарского тайного советника Иоганна Христофа Шмидта.

Стр. 108. ...о маленьком *Фрице* — о сыне Шарлотты фон Кальб.

Стр. 109. *Виланд*, Христоф Мартин (1733—1813) — видный немецкий писатель, автор дидактического романа «Агагон», эпической поэмы «Оберон» и многих других произведений; переводчик Шекспира, Сервантеса, Лукиана, Горация; издатель ежемесячного журнала «Немецкий Меркурий» (1773—1789).

О Клингере он говорил очень остроумно, Штольберг ему песносен...— *Клингер*, Фридрих Максимилиан — см. прим. к п. 294. Граф Фридрих Леопольд *Штольберг* (1750—1819) — немецкий писатель, переводчик четырех трагедий Эсхила, автор литературного памфлета «Размышления о «Богам Греции» господина Шиллера».

Стр. 110. *Завтра посету Гердера.*— Гердер, Иоганн Готфрид (1744—1803) — немецкий писатель, веймарский генеральный суперинтендент (высший протестантский церковный инспектор) в Веймаре с 1776 г. В 1770 г. сблизился в Страсбурге с молодым Гете. Автор сочинений «Фрагменты о новой немецкой литературе» (1767), «Критические леса» (1769), «Мысли о философии истории человечества» (1784—1791). Упомянутая в письмах жена Гердера — урожденная Флаксланд Мария Каролина (1750—1809) — автор «Воспоминаний из жизни Гердера», выпущенных в 1820 г.

Стр. 111. *Ежели вы видели у Граффа его портрет...*— Графф, Антон (1736—1813) — немецкий художник, автор целой галереи портретов знаменитых современников: Лессинга, Шиллера, Гердера, Мендельсона и др.

...*Шубарта и герцога Вюртембергского...*— Шубарт, Христиан Фридрих Даниэль (1739—1791) — немецкий поэт и композитор; за сатирические стихи против герцога Вюртембергского последний заманил его на свою территорию, арестовал и без суда продержал десять лет в крепости (1777—1787), после чего назначил его директором своего театра в Штутгарте.

Стр. 112. *Начало, трагующее о Спинозе, мне понравилось.*— Идеи Баруха Спинозы (1632—1677) оказали большое влияние на Гердера и Гете.

Мое имя Вульпиус.— Вульпиус, Христиан Август (1762—1827) — немецкий писатель, секретарь веймарской библиотеки с 1797 г., брат Христианы Вульпиус, жены Гете. Он автор большого числа драм, рассказов и «разбойничьего» романа «Ринальдо Ринальдини».

Стр. 113. *...некий Шлик...*— Иоганн Конрад Шлик — виолончелист из Готы.

50

Стр. 113. *Я получил приглашение от герцогини, и Виланд должен был поехать со мною в Тифурт.*— Речь идет о вдовствующей герцогине Веймарской Анне Амалии, матери герцога Карла Августа, которая, во время его малолетства, шестнадцать лет была регентшей маленькой страны. Виланд был воспитателем Карла Августа.

Стр. 114. *Кобелль, Фердинанд (1740—1799)* — немецкий художник и гравер, с 1768 г.— профессор живописи в Мангейме. Возможно, что здесь имеются в виду работы его брата (1749—1822), оставившего после себя несколько тысяч ландшафтов и архитектурных видов, исполненных пером, а также и гравюр.

Стр. 115. *Много приятного я жду от молодой герцогини...*— Луизы Каролины Генриетты, жены Карла Августа.

Стр. 116. *Тюрго, Анн Робер Жак (1727—1781)* — французский экономист, министр финансов Франции (1774—1776).

Стр. 117. *Готтер, Фридрих Вильгельм (1746—1797)* — немецкий поэт и драматург.

Виланд поведал мне о возникновении некоторых стихов, «Комических рассказов» и «Мусариона»...— «Комические

рассказы» Виланда вышли в 1765 г. (первая редакция), а дидактическая поэма «Мусарион, или Философия граций» — в 1768 г.

51

Стр. 123. *Он намерен прочитать переписку Юлий — Рафаэль...*— «Философские письма» Юлия и Рафаэля были написаны Шиллером (Юлий) при некотором содействии Кернера (Рафаэль), которому принадлежит только пятое письмо, написанное в 1788 г. и напечатанное в седьмом выпуске «Талии» в 1789 г.; первые четыре «письма» Юлия — Рафаэля написаны целиком Шиллером и напечатаны в третьем выпуске «Талии» в 1786 г.

...пишет свои «Идеи»...— Гердеровы «Идеи по философии истории человечества», одно из значительнейших произведений этого писателя, выходили в те годы в Риге (4 тт., 1784—1791).

Цолликофер, Георг Иоахим (1730—1788) — протестантский проповедник в Лейпциге (с 1758 г.); кроме проповедей опубликовал «Новую книгу церковных песен» (1786 г.; 8 изд.).

...пруссский король... обратился к Шпальдингу...— Прусским королем был тогда Фридрих Вильгельм II (с 1786 по 1797 г.), племянник и преемник Фридриха II. Шпальдинг, Иоганн Иоахим (1714—1804) — протестантский теолог.

Стр. 125. *Относительно «Клио» я напишу Губеру.*— «Клио» — название журнала, который собирался издавать Губер.

52

Стр. 127. *Кнебель, Карл Людвиг* — веймарский гофмейстер.

Стр. 129. *Фойгт, Христиан Готлиб* — веймарский тайный советник, один из ближайших помощников Гете в делах управления герцогством.

Стр. 130. *Шютц, Христиан Готфрид (1747—1832)* — профессор красноречия в Иене, с 1804 г. — в Галле.

53

Стр. 133. *Блумауер, Алоис* — австрийский поэт.

Стр. 135. *Гуфеланд, Готлиб* — профессор права в Иене, а затем в Вюрцбахе.

Стр. 136. *Дедерлейн, Иоганн Христоф* — профессор теологии Иенского университета (с 1782 г.).

Грисбах, Иоганн Якоб — протестантский теолог, профессор (с 1775 г.) Иенского университета. Его жена Фридерика Юлиана, урожденная Шютц, часто упоминается в письмах Лотты Ленгефельд и Шиллера как «Лавровый венок».

Стр. 137. *Фон Реке*, Элиза (1754—1833) — немецкая писательница; с 1779 г. жила в Митаве, при дворе своей сестры Доротеи, герцогини Курляндской. Здесь она поддерживала знаменитого авантюриста «графа» Калиостро (настоящее имя Джузеппе Бальзамо), которого потом разоблачила в брошюре, вышедшей в Берлине в 1787 г.: «Сообщение о пребывании пресловутого Калиостро в Митаве».

Стр. 138. *Фон Шардт*, Софи Фридерика Элеонора — жена государственного советника (в Веймаре) Эрнста Карла фон Шардта.

54

Стр. 141. *Ридель*, Корнелиус Иоганн Рудольф — веймарский советник.

Стр. 142. ...«*Меркурий*» недостаточно многогранен, не соответствует своему названию...— Речь идет о журнале Виланда «Немецкий Меркурий».

55

Стр. 145. *Рейнгарт*, Иоганн Христиан (1761—1847) — немецкий художник-пейзажист и гравер. Один из лучших своих оригинальных листов «Буря» он посвятил Шиллеру; оставил после себя ряд исторических ландшафтов в классическом стиле.

Стр. 146. *Твоя новость касательно Гете ни на чем не основана.*— Эта новость относилась к пересудам по поводу отношений Гете с Шарлоттой фон Штейн.

56

Стр. 148. ...*мне пришлось пообещать Виланду еще обработать и «Оберона».*— Опера на сюжет героической поэмы Виланда «Оберон» (1780) была написана значительно позднее, в 1826 г., композитором Вебером (1786—1826).

«*Journal de Paris*» — «Парижская газета», где была помещена статья Мерсье о Шиллере (19. XI. 1787 г.).

Шубарт положил на музыку и мою «Радость»...— Шубарт, Христиан Даниэль, поэт и композитор, уже упоминавшийся выше (см. примеч. к п. 49). «Радость» — песнь Шиллера «К радости».

58

Стр. 151. ...*мнугу, доставившую мне необычайное удовольствие: «Жизнь Дидра»...*— Дидро, Дени (1713—1784) — великий французский просветитель, философ-материалист, драматург, романист и художественный критик, редактор-издатель «Энциклопедии».

...*принца Августа Гатского...*— Август Эмиль Леопольд — герцог (с 1804 г.) Сансен-Гота-Альтенбургский, идиллический поэт, меценат.

Стр. 152. ...*и мне оно дороже того, что мы знаем о Руссо.*— Руссо, Жан Жак (1712—1778) — великий французский просветитель.

«*Pensées philosophiques*» — «Философские мысли», сочинение Дени Дидро. Книга была предана сожжению в 1746 г. вместе с книгой другого философа-материалиста Ламетри «Естественная история души».

Стр. 154. *Монтескье*, Шарль Луи Секонда (1689—1755) — французский писатель, один из умеренных представителей раннего французского Просвещения.

Сафокл (497—406 гг. до н. э.) — великий древнегреческий трагик, автор трагедий «Аякс», «Электра», «Антигона», «Эдип-царь», «Эдип в Колоне» и др.

59

Адресат — будущая жена Шиллера (с 1790 г.), род. в 1766 г., ум. в 1826 г., дочь рудольштадтского егермейстера Карла Христофа фон Ленгефельд и Луизы Юлианы Элеоноры фон Л., урожденной фон Вурмб.

60

Стр. 157. *Посылаю вам еще три тома «Джонса»; остальные, в перевода Бодэ, еще не вышли.*— Речь идет о романе английского писателя Генри Фильдинга (1707—1754) «История Тома Джонса, найденныша» (1749). Немецкий перевод Бодэ вышел в Лейпциге в 1786—1788 гг.

Стр. 159. *Как вам теперь живется в Р.? — в Рудольштадте. Один из моих близких друзей...*— Губер.

Стр. 160. *То дело, заботу о котором вы так любезно взяли на себя...*— 22 апреля Лотта сняла для Шиллера квартиру в деревне Фолькштедт.

Стр. 162. *Вольцоген еще не ответил мне...*— барон Вильгельм фон Вольцоген, будущий (второй) муж вестры Лотты— Каролины фон Бейльвиц.

Стр. 164—165. *Младшая не вполне свободна от известной coquetterie d'esprit...*— Младшая — Лотта; старшая — Каролина фон Бейльвиц (1763—1847); вышла замуж после развода с Бейльвицем за барона Вильгельма фон Вольцогена. Каролина превосходила Лотту в интеллектуальном отношении, она отличалась литературным дарованием. В 1798 г. был напечатан ее двухтомный роман «Агнесса фон Лилиен», который приняли за роман Гете. Известна ее книжка «Жизнь Шиллера, составленная по семейным воспоминаниям, его собственноручным письмам и со слов его друга Кернера» (1830).

Стр. 167. *История Гуттена еще не продумана...*— Гуттен — герой «Человеконенавистника» (неоконченной драмы Шиллера).

Стр. 167. *...жизнеописание Помпея у Плутарха...*— *Плутарх* (ок. 40—120) — греческий писатель, автор 46 жизнеописаний знаменитых греков и римлян. *Помпей*, Гней II Великий (106—48 гг. до н. э.) — римский государственный деятель и полководец, член первого триумvirата; с 49 г. — враг Юлия Цезаря; разбит последним при Фарсале.

Выделенные курсивом эпитеты и другие слова — цитаты Шиллера из Фоссова перевода «Одиссеи».

Стр. 169. *Первое впечатление...*— В этом письме обращает на себя внимание то, что Шиллер описывает внешность Гете так, как будто он его никогда не видел. Между тем появление Гете в декабре 1779 г. в Вюртембергской академии не могло не оставить у Шиллера впечатления на всю жизнь.

Стр. 170. *Анжелика Кауфман (1741—1807)* — немецкая художница.

Стр. 171. Граф *Штольберг*, Фридрих Леопольд (1750—1819) — немецкий поэт и дипломат, известный своей религиозностью, которая побудила его перейти в католичество. Шиллер выступал против него и против его брата Христиана (1748—1821), тоже поэта, в сборнике эпиграмм, составленных вместе с Гете, — «Ксении».

Стр. 173. *«Histoire de mon temps»* (фр.) — «История моего времени», мемуары прусского короля (1740—1786) Фридриха II о двух его силезских войнах (1740—1742; 1744—1745).

Стр. 174. *Сейчас я работаю над переводом «Ифигении в Авлиде» Еврипида.* — Еврипид (ок. 480—406 гг. до н. э.) — греческий трагик.

«Théâtre Grecs» — «Греческий театр» (антология драматургии).

В «Пандоре» за восемьдесят девятый год... ты найдешь мое стихотворение... — «Знаменитая женщина».

В ближайшем выпуске «Талии» тоже появится стихотворение... — Намек на стихотворение «Художники», которое, однако, появилось в «Меркурии» Виланда.

Стр. 175. *...Гердер... нанял квартиру для себя одного, без Дальберга...* — Здесь имеется в виду каноник Иоганн Фридрих Гуго фон Дальберг, брат коадьютора майнцского, а также и Дальберга из Мангейма.

Стр. 179. *Всегда хорошо, когда находишься под воздействием мудрости.* — Домашние прозвали Лотту фон Ленгефельд — Мудростью, а Каролину — Беспечностью.

...когда мы собирались за чаем вокруг хитроумного *Одиссея*... — то есть, вместе читая «Одиссею» (в нем. переводе Фосса).

73

Стр. 180. Он привез с собой аршин, чтобы измерить колосса.— В оригинале «локоть» — тогдашняя мера длины; в Вюртемберге, на родине Шиллера, — 0,61 метра.

Сен-Готард — горный перевал в Швейцарии.

Стр. 181. ...в известном клубе... — Клубом здесь названы собрания знакомых Шиллера, куда не приглашались дворяне.

Стр. 182. *Shaftesbury* я надеюсь насладиться позже... — Шефтсбери (1671—1713) — английский философ-моралист.

74

Стр. 185. ...характеры *Реца*, герцога Орлеанского, *Анны и Мазарини*... — Жан Франсуа Поль де Гонди, кардинал де *Рец* (1614—1679) — известный мемуарист. *Герцог Орлеанский*, здесь Гастон д'Орлеан (1608—1660), — брат Людовика XIII, участник заговоров (фронды) против *Мазарини* (1602—1661), правителя Франции во время малолетства Людовика XIV и регентства (с 1643 г.) королевы *Анны Австрийской* (1601—1666).

75

Стр. 186. *Мориц*, Карл Филипп (1757—1793) — немецкий писатель, примыкавший к литературному движению Бури и Натиска (роман «Антон Рейзер», 4 тт., 1785—1790). Мориц написал резко отрицательную рецензию на «Коварство и любовь» Шиллера.

Ла Рош, Мария Софи (1731—1807) — немецкая писательница, друг Виланда.

Стр. 188. *Гиббон*, Эдуард (1737—1794) — английский историк, автор исторического труда «История упадка и падения Римской империи» (6 тт., 1782—1788).

Эсхил (525—456 гг. до н. э.) — древнегреческий трагик.

Стр. 190. *«Преступник по бесчестью»* — первоначальное заглавие повеллы Шиллера *«Преступник из-за потерянной чести»*.

Стр. 196. *Мой портрет я вам еще раздобуду. Загляните в прилагаемую книгу...* — Речь идет о портрете Шиллера, сделанном Дорой Шток. Книга — *«Клеомена»* Августа Лафонтена (1758 — 1831), немецкого писателя, автора более ста пятидесяти томов романов, повестей и пр.

Стр. 198. *Юнг*, Эдуард (1683—1765) — английский поэт, автор религиозно-нравоучительной поэмы *«Жалоба, или Ночные думы»*.

Стр. 200. *Такой план у меня на примете...* — Шиллер намекает на задуманную им трагедию *«Мальтийцы»*.

Твой перевод... — Кернер перевел из Гиббона главу о Магомете.

Стр. 201. *...вторую Минну...* — служанку Кернеров.

Стр. 201. *Подождем же из!* — Из ранних оценок *«Художников»* Шиллера наиболее значительна критическая статья Августа Вильгельма Шлегеля, напечатанная в *«Академии словесных искусств»* 1790—1791 гг.

Стр. 206. *Твоя идея о том, чтобы я претворил какой-нибудь замечательный поступок Фридриха Второго в эпическое стихотворение...* — Кернер подал эту мысль Шиллеру 14. X. 1788 г.; она долго занимала Шиллера; в письме от 28. XI. 1791 г. он объявил Кернеру, что отказывается писать *«Фридрициаду»*.

Стр. 207. *...стансы из «Освобожденного Иерусалима».* — *«Освобожденный Иерусалим»* — поэма знаменитого итальянского поэта Торквато Тассо (1544—1595).

...битву при Коллине и предшествовавшую победу под Прагой... — 6 мая 1757 г. прусский король Фридрих II одержал

победу над австрийцами, в результате которой он осадил Прагу, заперев в ней армию принца Карла Лотарингского. Но 18 июня 1757 г. в битве под Коллином (Чехия) войска Фридриха II были разбиты.

...печальное стечение обстоятельств перед смертью императрицы Елизаветы, которое затем так счастливо и так романтично разрешается с ее смертью.— Вступление России в Семилетнюю войну привело Фридриха II на край гибели. Он был разгромлен русскими войсками при Егерсдорфе и Кунерсдорфе. Но 5 января 1762 г. русская императрица Елизавета умерла, завещав престол отпрыску захудалого немецкого рода, принцу Гольштинскому, начавшему править Россией под именем Петра III. Поклонник Фридриха II, император Петр III отозвал победоносные русские войска из Пруссии и возвратил Фридриху все завоеванные территории; в этом заключалась «романтичность» ситуации, спасшая основателя прусского военного могущества.

83

Стр. 209. *Зевс Фидия...*— Фидий (5 в. до н. э.) — величайший древнегреческий (аттический) скульптор, создатель колоссальных статуй Афины (в афинском акрополе) и Зевса (в Олимпии).

84

Стр. 214. *В переводе...*— Имеется в виду перевод Каролины из Овидия.

...грозу, надвигающуюся на вас из Тюрингии! — Оттуда ожидали дядю сестер Ленгефельд, барона Вурмба, а также поэта фон Геккингка.

85

Стр. 215. *Вы ожидаете Геккингка, а я тем временем познакомился с Бюргером.*— Геккингк, Леопольд Фридрих Гюнтер (1748—1828) — немецкий поэт. Бюргер, Готфрид Август (1747—1794) — немецкий поэт, автор баллады «Ленора» и многих популярных песен, издатель «Геттингенского альманаха муз».

Стр. 221. *Шиллинг*, Фридрих Густав (1766—1839) — саксонский лейтенант, служивший во Фрейберге. Он писал стихи и стал впоследствии весьма плодовитым романистом.

Стр. 222. *Роллена мне не нужно.*— Роллен, Шарль (1661—1741) — французский историк, автор многотомных популярных сочинений по древнегреческой и римской истории.

Стр. 228. *О нашей Каролине...*— О Каролине Дахерёден, ставшей впоследствии женой Вильгельма фон Гумбольдта, друга Шиллера.

Стр. 231. *...покончим со всеми красными записками!* — В письме от 24. X. 1789 г., в котором Лотта писала Шиллеру, что ему больше подошла бы по духу ее сестра Каролина, она напоминала своему жениху о посланной ему красной записке, где она выражала то же сомнение в любви к ней Шиллера.

Стр. 233. *Работа, вначале ничего не сулившая мне...*— Имеется в виду статья Шиллера о крестовых походах, напечатанная в его «Собрании исторических мемуаров».

Стр. 234. *Кoadъютору я тоже напишу в ближайшие дни...*— Дальберг, Карл Теодор Антон Мариа (1744—1817) — имперский барон, викарный епископ (коадъютор) майнцкий (с 1787 г.), курфюрст Майнцкий и эрцканцлер Империи с 1802 г. От его восшествия на престол майнцкого духовного княжества Шиллер ожидал для себя больших благ, но избрание коадъютора Дальберга в курфюрсты состоялось только спустя 13 лет после того, как было написано комментируемое письмо.

Стр. 235. *Буттервек*, Фридрих (1766—1828) — немецкий философ и историк литературы.

Стр. 237. *...жить одна с Б.*— с Бейльвицем, с которым Каролина вскоре развелась.

Стр. 239. *Томсон*, Джемс (1700—1748) — английский поэт, автор четырех поэм о временах года (1726—1730).

Я сейчас заставляю моих студентов переводить кое-что из «Анахарсиса»...— Речь идет о романе французского писателя и исследователя старины Бартеlemi (1716—1795) «Путешествие молодого Анахарсиса по Греции». Отрывок об осаде ионитов на о. Радосе был, в частности, переведен шведом Томасом Берлингом и в рукописи принят Шиллером («Талия»).

95

Стр. 240. *То, что ты пишешь о Берлине...*— Кернер посоветовал Шиллеру добиваться места историографа и члена Берлинской академии наук.

Лодер, Юстус Христиан (1753—1832) — профессор медицины в Иене (с 1782 г.).

99

Стр. 247. *Тем временем либо умрет некто, о ком ты знаешь, либо для меня откроется какая-нибудь иная выгодная возможность.*— Шиллер попрежнему имеет в виду смерть курфюрста Майнцского, который, однако, прожил до 25. VII. 1802 г. (см. также примеч. к п. 93).

Стр. 248. *Паулюс*, Эбергард Готлиб (1761—1851) — профессор восточных языков и профессор теологии в Иене.

101

Стр. 251. *...пришлете мне сюда Нанетту.*— Каролина Нанетта — младшая сестра Шиллера; умерла восемнадцати лет.

103

Стр. 255. *Гименей* (греч. миф.) — бог брака. *Иппокрена* — «источник вдохновения» на горе Геликон, забивший, когда крылатый конь Пегас ударил в эту гору копытом. *Атрибут Трагедии* — маска, *Истории* — свиток.

Губер, видимо, придает большое значение «Тайному суду», и это мне не нравится.— «Тайный суд» — пьеса Губера.

Стр. 256. ...и в конце концов дело дойдет опять до Юлиуса и Рафаэля! — Шиллер имеет в виду свои и Кернера «Философские письма», печатавшиеся в «Талии».

Стр. 257. Он совсем иначе восхищается моим обзором всемирной истории в «Мемуарах», чем ты. — Кернер довольно холодно отозвался в письме от 9. II. 1790 г. о философско-исторических работах Шиллера; он все время настаивал на его возвращении к поэзии и драматургии.

Функ — саксонский офицер и литератор.

Максимилиан де Бетюн, герцог де *Сюлли* (1560—1641). Первые два тома его мемуаров вышли в 1634 г., остальные — посмертно, в 1662 г.

Стр. 264. В Веймаре рецензия на стихотворения Бюргера заставила много говорить обо мне. — Эта рецензия Шиллера была опубликована без его подписи во «Всеобщей литературной газете» 15 и 17 января 1791 г. Она вызвала горячую полемику. «Антикритика» Бюргера была написана 5 марта 1791 г. и появилась в той же газете вместе с ответом Шиллера (в апреле 1791 г.). См. том VI настоящего издания.

Стр. 265. ...«Путешествия» господина Беньовского. — Беньовский, Мориц Август (1741—1786) — польский офицер и путешественник, участник Барской (заключенной в г. Баре) конфедерации. Его автобиография вышла на немецком языке в 1791 г.

Тюммель, Мориц Август (1738—1817) — литератор из Готы, автор романа «Путешествия по южным провинциям Франции».

Дик, Иоганн Готфрид (1750—1815) — лейпцигский литератор и книготорговец.

Стр. 267. Сегодня я получил письма из Копенгагена от принца Августенбургского и графа фон Шиммельмана... — Фридрих Христиан герцог Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-

Августенбургский (1765—1814), в то время наследник датского престола (1791), предложил больному Шиллеру ежегодную пенсию в тысячу талеров (на три года), вследствие чего Шиллер в 1793 г. посвятил ему свои «Письма об эстетическом воспитании» — трактат, напечатанный в VI томе настоящего издания. *Граф Эрнст фон Шиммельман* (1747—1831) был тогда датским министром.

Стр. 271. *К эстетическим письмам... я еще не успел приступить, однако перечитываю... кантовскую «Критику способности суждения»... — Это (после «Критики чистого разума» — 1784, и «Критики практического разума» — 1788 г.) третий труд (1790) Иммануила Канта (1724—1804); он посвящен обоснованию идеалистической эстетики.*

Баумгартена я тоже хочу предварительно почитать. — Баумгартен, Александр Готлиб (1714—1762) — философ, последователь школы философа-просветителя Христиана Вольфа (1679—1754).

Зульцер, Иоганн Георг (1720—1779) — немецкий эстетик, автор «Всеобщей теории изящных искусств».

...особенно рвется перо к Валленштейну. — Валленштейн, Альбрехт (1583—1634) — герцог Фридрихский, генералиссимус Империи в Тридцатилетней войне, смещенный в 1634 г. и убитый по подозрению в государственной измене. Трилогия Шиллера: «Лагерь Валленштейна» (1797), «Пикколомини» (1798), «Смерть Валленштейна» (1799).

Стр. 272. *Меня навел на это наблюдение мой «Гимн к Свету»... заранее могу сказать, что он мне удастся.* — Этого стихотворения Шиллеру не удалось написать.

*...Рейнгольд пригласил одного здешнего магистра *legens* перевести *Notes «Essais»* на немецкий язык.* — *Magister legens* (лат.) — магистр, которому доверено чтение лекций в университете. Гом, Генри (1696—1782) — английский философ-просветитель. Его «Опыты об основах морали и естественной религии» вышли на немецком языке в 1768 г. Другой труд этого философа: «Элементы критицизма» (1762—1765) в немецком переводе вышел третьим изданием в 1790—1791 гг.

Стр. 273. ...предлагает писать о революции Кромвеля...— то есть об английской буржуазной революции, вождем которой был Кромвель (1599—1658), лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии с 1653 г.

Юм, Дэвид (1711—1776) — английский философ-идеалист и историк.

Шпренгель, Маттиас Христиан (1746—1803) — историк («История Великобритании и Ирландии»).

Стр. 274. «Каллий, или О красоте».— Эту работу Шиллеру не пришлось осуществить в размерах, первоначально намечавшихся. Вместо обширного сочинения в форме диалога он написал семь писем Кернеру, которые были изданы спустя более полувека.

Стр. 275. Дедерлейн — см. примеч. к п. 53.

Рейнгард, Франц Фолькмар (1753—1812) — профессор теологии в Виттенберге с 1782 г., придворный саксонский проповедник в Дрездене с 1791 г.

Я ввел в свой круг еще одного моего земляка...— Карла Генриха фон Гроса; в 1793 г. Грос — студент в Иене, в 1796 г. — профессор права в Эрлангене, автор сочинения «Об идее судьбы у древних».

Форстер, Иоганн Георг Адам (1754—1794) — немецкий путешественник и писатель («Путешествие вокруг света» — 1779), горячий сторонник французской революции; был послан майнцскими республиканцами в Париж с ходатайством о присоединении Майнца к Франции и там умер.

Я с трудом удерживаюсь от искушения вмешаться в спор о короле и написать по этому поводу статью.— Это письмо характеризует реакцию Шиллера на решающие события французской буржуазной революции конца XVIII в.

Адресат — Рамберг, Иоганн Генрих (1763—1840), немецкий художник, автор многих картин аллегорического и мифологического содержания, а также иллюстраций к произведениям Шиллера и Гете.

Стр. 283. *Дидо* — французские литографы (с 1713 г.).

Кринбергер, Иоганн Филипп (1721—1783) — автор нескольких трудов по теории музыки, ученик Иоганна Себастиана Баха (1685—1750).

Стр. 283. *...я эти дни был занят двумя статьями для журнала.*— Это статьи: «О грации и достоинстве» (1793) и «О возвышенном» (1793) — см. том VI настоящего издания.

Стр. 284. *Глейхен-Руссвурм*, Вильгельм Генрих Карл фон (1765—1816) — отец Генриха Адальберта фон Г.-Р. (1803—1861), женатого на младшей дочери поэта Эмилии (1804—1872), авторе многочисленных публикаций о жизни и творчестве отца.

Стр. 286. *Среди достойнейших из них — М. Конц, которого ты, помнится, тоже знал...*— Конц, по прозвищу «Толстый Магистр», в августе 1892 г. был с рекомендательным письмом у Кернера в Дрездене.

Д. Ховен — доктор Ховен (см. примеч. к п. 8).

Даннекер, Иоганн Генрих (1758—1841) — скульптор, близкий друг Шиллера, изваявший бюст поэта.

Гети, Филипп Фридрих (1758—1839) — придворный художник в Штутгарте (с 1780 г.).

Стр. 287. *Я сейчас снова начал большую статью...*— Она не была закончена: фрагменты ее появились в 9 и 11 тетрадах журнала «Оры» за 1795 г. и были напечатаны позднее под названием «О необходимых пределах в применении художественных форм» (см. том VI настоящего издания).

Хотелось бы мне, чтобы ты прочел новую статью Рамдора «Харита, или О прекрасном в изобразительных искусствах».— Фридрих Вильгельм Базилиус фон Рамдор (1752—1822); об этой статье см. п. 132 от 7. IX. 1794 г.

Мне любопытно, кого пришлют в Иену вместо Рейнгольда.— Профессора Рейнгольда сменил в Иенском университете Фихте, Иоганн Готлиб.

Из перечисленных в этом письме представителей штутгартской «художественной интеллигенции» Шиллер выделяет скульптора Даннекара (о нем см. прим. к п. 121) и музыканта Цумштейга («Среди музыкантов самый одаренный Цумштейг»). Последний (1760—1802) — бывший однокашник и друг Шиллера (музыка к песням в «Разбойниках»), директор Штутгартской оперы с 1792 г., прославился как композитор-песенник: некоторые его песни и романсы удержались до XX в.

Стр. 294. *Миллер*, Иоганн Готфрид (1747—1830) — с 1775 г. профессор гравёрного искусства в Штутгарте.

Шеффauer, Филипп Якоб (1756—1808) — с 1789 г. профессор скульптуры в Штутгарте.

Веркмайстер, Бенедикт Мариа — придворный священник в Штутгарте.

Стр. 295. ...*план моего Валленштейна... как только он будет готов — я уверен, что через три недели осуществлю его.* — В действительности эта работа длилась около трех лет. «Валленштейн» разросся в большую трилогию.

124

Стр. 295. *Гумбольдт*, Вильгельм фон (1767—1835) — немецкий языковед, философ-идеалист, поэт и государственный деятель. В его «Эстетических опытах» (1799) разобраны: элегия «Прогулка» Шиллера, а также «Герман и Доротея» и «Рейнеке Лис» Гете. Он был очень близок к Гете и Шиллеру, с которыми состоял в переписке.

Стр. 296. *В новом издании своего философского «Учения о религии» Кант... —* Это издание появилось в 1794 г. В одном из применений Кант с уважением отзывался о Шиллере как философе.

125

Стр. 287. *Баггасен*, Йенс (1764—1826) — датский поэт и философ.

126

Стр. 298. ...*в виде приложения к этому письму.* — Приложение — проспект журнала «Оры».

Здесь in loco четвара наших: Фихте, Гумбольдт, Вольтман и я.— Вольтман, Карл Людвиг (1770—1817) — геттингенский литератор, с 1794 г.— профессор истории в Иене. Из следующего затем списка имен поясним следующие: Гарве, Христиан (1742—1798) — немецкий философ, переводчик Цицерона и Аристотеля; автор нескольких морально-философских работ. Энгель, Иоганн Якоб (1741—1802) — философ-просветитель и теоретик искусства, директор Берлинского театра. Яюби, Фридрих Генрих (1743—1819) — немецкий философ, романист и поэт, развивавшийся под сильнейшим влиянием Гете. Маймон, Соломон (1753—1800) — берлинский литератор, автор сочинения «О понятии Прекрасного» и др. Бланкенбург, Христиан Фридрих (1744—1796) — лейпцигский литератор. Тюммель, Мориц Август (1738—1817) — писатель из Готы, близкий по манере к Виланду, автор десяти томного романа в духе английского писателя Стэрна — «Путешествие по южным провинциям Франции». Лихтенберг, Георг Христоф (1742—1799) — немецкий ученый-физик и сатирический писатель. Маттиссон, Фридрих (1761—1831) — немецкий поэт; о нем Шиллер написал статью «О стихотворениях Маттиссона», 1794. Салис-Зеевис, Иоганн Гауденц (1762—1834) — офицер на французской службе, незначительный поэт.

127

Стр. 300. ...мой скромный труд...— См. примеч. к п. 124.

128

Стр. 303. *Котта*, Иоганн Фридрих (1764—1832) — книготорговец, к которому с 1787 г. перешло старинное тюрингенское издательство, основанное Иоганном Георгом Котта (1631—1692). Эта фирма известна своими изданиями сочинений Шиллера, Гете и др.

129

Стр. 304. ...возвратились из путешествия.— Гете ездил вместе с герцогом Веймарским в Дессау, Дрезден и в Лейпциг.

Стр. 305. *Недавние беседы с вами...*— и, прежде всего, беседа обоих поэтов после заседания иенского общества естествоиспытателей, в середине июля 1794 г. Эта историческая беседа — поворотный пункт в отношениях Шиллера и Гете.

Стр. 306. ...*между Фтией и бессмертием*.— Фтия — родина Ахилла в Фессалии; согласно мифу, рок предоставил Ахиллу выбор между долгою, но бездеятельной жизнью в родном городе и жизнью короткою, но полною славы, и Ахилл выбрал вторую, сулившую ему бессмертие.

Стр. 307. *Маленькое произведение Морица*...— Имеется в виду «Опыт немецкой просодии» К. Ф. Морица (Берлин, 1786), посланный Вольфгангом Гете Шиллеру.

Стр. 308. *Произведение Дидро*...— «Нескромные сокровища» (1748), галантно-эротический роман, сатирически разоблачающий нравы французского двора во времена Регентства и Людовика XV.

...*не согласитесь ли вы на то, чтобы ваш роман*...— «Годы учения Вильгельма Мейстера».

130

Стр. 310. *Мне бесконечно жаль, что «Вильгельм Мейстер» потерян для нашего журнала*.— Гете уже обещал его Унгеру, Фридриху Готлибу (1753—1804), берлинскому книгоиздателю и граверу.

В прилагаемом номере «Талии»...— Это был четвертый выпуск «Новой Талии».

131

Стр. 311. ...*рецензия на Маттиссона*...— статья Шиллера «О стихотворениях Маттиссона» (1794).

133

Стр. 315. *Реберг, Август Вильгельм* (1757—1836) — ганноверский чиновник, автор сочинения «Об искусстве воспитания».

Не забудь привезти мне мадам де Севинье, Элоизу и Роллена.— «Письма» мадам де Севинье (1626—1696), роман «Новая Элоиза» (1761) Жан Жака Руссо и «Древняя история» Шарля Роллена (1661—1741).

134

Стр. 316. *Свой роман он хочет присылать мне по томам*...— «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1795—1796).

Как обстоит дело с писательством и музыкой? — Тема статьи о писательстве не была реализована Кернером; статья о музыке, как уже упомянуто, напечатана в V выпуске «Ор» в 1795 г.

135

Стр. 317. *Мейер*, Иоганн Генрих (1760—1832) — искусствовед и знаток античности, директор рисовальной школы в Веймаре, друг Гете; был деятельным сотрудником шиллеровского журнала «Оры» и гетевского журнала, посвященного искусству, — «Пропилеи» (начал выходить с конца 1798 г.).

137

Стр. 321. *...книгу отца берет книготорговец Михаэлис.* — Каспар Шиллер (с 1775 г. инспектор древесного питомника герцога Вюртембергского) написал книгу о садоводстве.

138

Стр. 323. *На ваше и все наши имена я наложил у Котта запрет...* — Шиллер в письме к книгоиздателю Котта от 24 ноября потребовал от него сохранения в тайне имен некоторых авторов журнала «Оры».

Об истории, касающейся мадемуазель Клерон... — Клерон (1723—1803) — актриса, исполнительница трагических ролей во Французском театре. Речь идет об одной мистификации, жертвой которой стала эта актриса.

139

Стр. 324. *Гесслер*, Карл — прусский посланник в Дрездене, друг Кернера. Шиллер имеет в виду уведомление о журнале «Оры».

Бистер, Иоганн Эрих — берлинский библиотекарь и издатель «Берлинского ежемесячника».

141

Стр. 327. *...при чтении маленькой статьи Канта...* — статьи «О чувстве прекрасного и возвышенного».

Стр. 328. *Гердер порадовал нас необычайно удачным по*

теме и выполняемую сочинением...—статьей «Наша судьба». Кернер нашел ее очень напыщенной и похожей на церковную проповедь.

Господин фон Гумбольдт, тот, что из Байрейта...—Александр фон Гумбольдт (1769—1859), брат Вильгельма фон Гумбольдта, в то время обер-бергмейстер в Байрейте, впоследствии знаменитый натуралист, путешественник и государственный деятель..

...листки Вейсхуна...—статья о синонимах, присланная для журнала «Оры». Вейсхун, Фридрих Август (1759—1795) — венский приват-доцент философии.

143

Стр. 330. *...письма об эстетическом воспитании человека...*—Кант нашел их «превосходными» и обещал «внимательно изучить их» с тем, чтобы сообщить автору «свои мысли о них», и этим ограничился.

144

Стр. 332. *Рейгардт, Иоганн Фридрих (1752—1814)* — немецкий композитор (автор музыки к некоторым произведениям Гете) и писатель; редактировал журнал «Германия», издавал «Лицей изящных искусств»; за сочувствие французской революции был уволен с должности капельмейстера в Берлине, которую занимает с 1775 г., и переехал в Гибихенштейн (в 1791 г.). Его отношения с Гете и Шиллером впоследствии резко обострились.

Фосс, Иоганн Генрих (1751—1826) — поэт, переводчик Гомера, Вергилия, Горация, автор бюргерской поэмы «Луиза».

146

Печатаемый набросок письма интересен отрицательным отношением Шиллера к реакционно-идеалистической философии Фихте, проявившимся здесь хотя и на частном случае, но характерным для всего идейного пути поэта.

147

Стр. 338. *...дочь советника Шютца...*—дочь венского профессора философии Христиана Готфрида Шютца (1747—1832),

одного из основателей «Июльской всеобщей литературной газеты».

...великий Фернанд...— Карл Людвиг Фернов (1763—1808), художник и искусствовед.

Стр. 339. *...в душе вы попросите прощения у великого «Я» из Османштедта...*— то есть у Фихте. Великим «Я» Шлягер называет его, вышучивая центральное понятие ультраидеалистической философии Фихте — «Я». Фихте поселился (1795) в Османштедте, под Веймаром.

148

Адресат — гамбургский историк Иоганн Вильгельм фон Архенгольц (1743—1812), автор «Истории Семилетней войны», издатель журнала «Минерва».

150

Стр. 343. *...прочтите это стихотворение...*— «Идеал жизни».

151

Стр. 346. *Ваши пожелания касательно эпиграмм будут исполнены в точности.*— Гете писал Шиллеру о своих «венецианских эпиграммах», начатых еще в конце восьмидесятых годов и частично напечатанных в Берлине в 1791 г.

...я снова повторяю просьбу о «Фаусте».— Гете начал писать «Фауста» в 1774 г., а закончил его незадолго до смерти, в 1821 г. Шиллер настойчиво убеждал Гете продолжать работу над «Фаустом» и хотел получить для «Ор» хотя бы отрывки.

152

Стр. 347. *...сочинение э-жи Сталь...*— Жермена Неккер, по мужу де Сталь (1766—1817) — французская писательница, предшественница романтизма во Франции, много содействовавшая сближению французской и немецкой литератур и пропагандировавшая творчество Шиллера и Гете. Гете перевел для «Ор» некоторые ее произведения, в том числе и «О влиянии страстей на счастье индивидуумов и наций» (1795).

...об этом позаботится Лоло...— Лотта, жена Шиллера.

Стр. 348. *«Влажная душа»* — выражение, которое Гумбольдт употребил, говоря о работе упоминаемого в этом абзаце франкфуртского врача Самуэля Томаса Зиммеринга (1755—1830) «Об органе души».

Стр. 349. *...написать романтическую повесть в стихах...* — по всей вероятности, «Бой с драконом».

154

Стр. 351. *...мне приятно знать, что вы еще далеко от майнских распрей. Тень великана незначай могла бы потревожить и вас.* — Гете был в Эйзенахе, откуда он собирался поехать на свою родину во Франкфурт-на-Майне, но около 21 октября он уже возвратился назад, повидимому, действительно потревоженный приближением французских войск к Франкфурту, который они и заняли в 1796 г.

Стр. 352. *Тогда мои примечания пойдут в следующем.* — Шиллер не написал их; по крайней мере они не были напечатаны.

«Раздел земли» вам... следовало бы прочесть во Франкфурте из окна на улице Цейль, где сама почва к этому предназначена. — Опять намек на приближение французов к Франкфурту.

Стр. 353. *...от нашего итальянского странника...* — от Мейера, о нем см. примеч. к п. 135.

155

Стр. 355. *...грубые нападки Вольфа на Гердера по поводу статьи последнего о Гомере.* — Вольф, Фридрих Август (1759—1824) — один из основоположников классической филологии нового времени В 1795 г. опубликовал свое «Предисловие к Гомеру». Вольф писал в нем о долгой устной традиции приписываемых Гомеру поэм, отрицал авторство Гомера и считал обе великие античные поэмы коллективным произведением многих поколений рапсодов. Гердер поместил в «Орах» за 1795 г. две статьи, посвященные Гомеру: «Гомер, как любимец времени» и «Гомер и Оссиан». Первая из этих статей была особенно высоко оценена Гете и Шиллером, но она-то главным образом и подверглась нападкам Вольфа (в № 122 «Всеобщей литературной газеты» от 24. X. 1795 г.). Гердер не стал отвечать Вольфу.

...мою эпиграмму, касающуюся «Иллиады»...— Это известная эпиграмма Шиллера, в которой выражено его отношение к спору об авторстве Гомера:

Рвите Гомеров венок и считайте отцов совершенной,
Вечной поэмы его!

Мать одна у нее: в пей родные черты отразились —
Вечной природы черты!

157

Стр. 360. ...о статье *Энгеля*.— Энгель напечатал в «Орах» новеллу «Господин Лоренц Штарк».

Шрейфогель — иенский студент.

Гельфельд — домовладелец в Иене.

Стр. 361. *Джулио Романо*, или Джулио Пиппи (1499—1546) — итальянский художник и архитектор, ученик Рафаэля.

158

Стр. 361. *Я полностью одобряю ваше решение взяться за работу...*— Гумбольдт намеревался написать работу о характере греческого духовного мира («греческого духа»).

Стр. 362. *Гедике*, Фридрих — директор гимназии в Берлине.

159

Стр. 366. ...Он (Шютц) решил сам рецензировать «Оры»...— Рецензию на этот журнал за первый год его существования написали совместно Шютц и Шлегель.

...о сочинении *Кондорсе* — французского математика и философа (1743—1794). Речь идет о его сочинении «Историческая картина прогресса человеческого ума» (1794).

160

Стр. 368—369. *Из Сафо мне известно лишь одно стихотворение...*— Сафо — древнегреческая поэтесса (род. на острове Лесбос ок. 600 г. до н. э.).

Стр. 369. *Sacuntala* — Шакунтала — героиня одноименной драмы величайшего индийского поэта VI в. н. э.— Калидасы.

Софи Уестерн — героиня романа английского писателя Генри Фильдинга (1707—1754), «История Тома Джонса, найденныша».

Стр. 370. ...два шуточных стихотворения...— «Раздел земли» и «Мудрецы».

Небольшое сочинение Канта я еще не читал...— «О вечном мире».

Стр. 375. *Мысль насчет «Ксений» великолепна...*— «Ксении» («подарки гостям, гостинцы») — эпиграммы (по образцу эпиграмм римского сатирика Марциала), над которыми Гете и Шиллер работали почти весь 1796 г.; они появились в октябре 1796 г. в шиллеровском «Альманахе муз на 1797 г.» в количестве 413, им предшествовали 103 памятки нравоучительного характера.

Рахениц, Йозеф Фридрих фон (1744—1818) — дрезденский гофмаршал, автор «Писем приятельнице об искусстве».

...приятель Николаи — наш заклятый враг...— Христоф Фридрих Николаи — уже упоминавшийся в примеч. к п. 18.

Стр. 376. *...уподобится куртке Арлекина...*— по пестроте.

Брандис, Иоахим Дитрих (1762—1846) переводчик книги Эразма Дарвина (деда Чарльза Дарвина), врача, натуралиста и поэта, «Зоономия или Законы органической жизни» (3 тома, Ганновер, 1795—1799).

Теренций (II в. до н. э.) — римский комедиограф; сохранилось шесть его комедий, в том числе комедия «Братья», переведенная на немецкий язык в 1761 г. Карлом Францем Романусом.

Стр. 377. *Бёттигер, Карл Август (1760—1835)* — археолог, директор гимназии в Веймаре с 1791 г., автор многих статей об античной жизни, а также и критических статей (о Шиллере, Иффланде и др.)

Стр. 377. *...который из Шлегелей прислал вам статью «К познанию греков»? Не дрезденский ли?* — Фридрих Шлегель.

Стр. 378. *...беглых заметок к сочинению г-жи Сталь... и рецензии на «Мейстера»...*— И то и другое не было написано Шиллером.

Для разбара прилежу вас с Кернером.— Ни Гумбольдт, ни Кернер не оказали влияния на выбор «Ксений».

Стр. 381. *Граф Пургшталъ* — Готффрид Венцель фон Пургшталъ (1773—1812) — философ.

Бюрде, Самуэль Готлиб (1753—1831) — незначительный поэт, переводчик «Потерянного рая» Мильтона.

Стр. 382. *Лангбейн, Август Фридрих Эрнст* (1757—1835) — дрезденский поэт.

Стр. 384. *Козегартен, Готхард Людвиг* (1758—1818) — незначительный немецкий поэт.

Фридлендер, Давид — берлинский банкир.

Стр. 385. «*Собачья почта*» — книга Жан Поля Рихтера (см. примеч. к п. 174), «Гесперус, или 45 дней собачьей почты», Берлин, 1795.

Гернинг, Иоганн Исаак (1767—1837) — франкфуртский поэт.

Стр. 386. *Рейгардт* — см. примеч. к п. 144.

...книгу Гейнзе сильно бранят... — Имеется в виду музыкальный роман Гейнзе «Гильдегарда фон Гогенталь» (1795—1796).

Стр. 386. *Ваша статья о Шекспире...* — «Нечто о Вильяме Шекспире в связи с «Вильгельмом Мейстером».

Стр. 387. *Эшенбург, Иоганн Иоахим* (1743—1820) — немецкий филолог, переводил (прозой) Шекспира (Цюрих, 1775—1782).

Стр. 393. ...чудесное время, проведенное нами вместе. — Кернеры пробыли в Иене с 27 апреля по 17 мая.

Стр. 395. *Вот Фоссиус...* — то есть одна из книг филолога Исаака Фосса (1618—1689).

Стр. 395. «*Идиллия*» при втором чтении взволновала меня еще сильнее, чем при первом. — Идиллия Гете «Алексис и Дора».

Гердеровская книга... — За четыре дня до написания ком-

ментлируемого письма Гете неодобрительно высказался о новых томах «Писем о человеке» Гердера.

Стр. 396. *Преклонение его перед Клейстом, Герстенбергом и Гесснером...*— Клейст, Эвальд (1715—1759) — см. примеч. к п. I. Герстенберг, Генрих Вильгельм (1737—1823) — немецкий поэт, близкий Клопштоку; считается предшественником движения Бури и Натиска благодаря своей драме «Уголино» (1768). Гесснер, Соломон (1730—1788) — швейцарский идиллический поэт, художник и гравер.

Рихтер, Иоганн Пауль, обычно называемый Жан Поль (1763—1825) — немецкий писатель-юморист; в 1796—1797 гг. был издан один из лучших его юмористических романов «Зибенкес».

...«Челлини» нравится необычайно...— мемуары итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини (1500—1571); Гете закончил их перевод в 1803 г.

175

Стр. 398. *Унгер*, Фридрих Готлиб — берлинский книгоиздатель.

Я еще не писал вам о Гесперусе...— о Жан Поле Рихтере, в 1795 г. выпустившем в свет книгу «Гесперус, или 45 дней собачьей почты».

176

Стр. 403. *Разве нельзя было сделать из этого маркиза старого знакомого Лотарио или дяди...*— Гете последовал совету Шиллера и назвал маркиза старым знакомым дяди.

178

Стр. 411. *Если вы можете обойтись неделю без «Вьейвиля»...*— без «Мемуаров» Франсуа де Вьейвиля (1510—1571).

Стр. 412. *Фациус*, Фридрих Вильгельм (1764—1843) — веймарский гранильщик камней.

180

Стр. 417. *Сборник Муратори* — свод сочинений итальянского историка Лодовико Антонио Муратори (1672—1750), собирателя и исследователя античной старины и надписей.

Стр. 418. ...не решитесь ли вы одолжить для этого ваш портрет работы Мейера? — Гете отклонил эту просьбу.

181

Стр. 420. Вы, наверное, знаете, о каком месте я здесь говорю...— Шиллер намекает на то место в первой главе восьмой книги «Мейстера», которое начинается словами: «О ненужная строгость морали...» и т. д.

182

Стр. 423. Французы — в Штутгарте, куда будто бы вначале бросились имперские войска...— австрийские войска; Вюртемберг входил в состав империи, которую возглавляли Габсбурги. В 1796 г. французы предприняли кампанию на юге Германии. Спустя две недели после письма Шиллера, 7 августа 1796 г., французский генерал Моро заставил Вюртемберг заключить мир.

Маленькая Паулюс — жена иенского профессора восточных языков Элизабет Фридерика Каролина Паулюс.

Ардт, Иоганн — протестантский теолог, автор сочинений «Истинное христианство» (1605) и «Райский вертоград» (1612).

Стр. 424. *Гернзутеры* — религиозное братство, примыкавшее к протестантской евангелической церкви, но стремившееся к умеренной реформе последней в духе «раннего христианства». Основано графом Цинзендорфом в 1723 г.

184

Стр. 427. *Гесс*, Иоганн Карл — кобургский архивариус. *Витгёфт*, Генриетта — мангеймская актриса

186

Стр. 431. Я постараюсь исполнить его последнюю волю...— издать вторую часть труда отца, Каспара Шиллера, о садоводстве; поэт не нашел для нее издателя, так как и первая часть залежалась.

Стр. 432. *Майора Реша я знаю...*— Дело шло, повидимому, о том, чтобы рекомендовать подходящего офицера в гувернеры для наследного принца Веймарского. Якоб Фридрих Реш преподавал артиллерию и фортификацию (в Штутгарте).

Стр. 433. *Генц, Фридрих фон (1764—1832)* — берлинский литератор.

Стр. 434. *Клаудиус, Маттиас* — незначительный провинциальный литератор. *Гирт, Алоиз Людвиг (1759—1837)* — искусствовед.

Стр. 435. *Гете работает теперь над новым произведением...*— над идиллией «Герман и Доротея».

Стр. 436. *Вольф* — см. примеч. к п. 155.

Стр. 436. *Бистер, Иоганн Эрих (1749—1816)* — немецкий писатель просветительского направления (см. примеч. к п. 139). Его умышленно пощадили в «Ксениях». *Мейер, Людвиг Вильгельм* — берлинский литератор.

Стр. 437. *Кто такие «юные племянники», Шлегель все еще не отгадал.*— Эпиграмма в «Ксениях» о «юных племянниках» была направлена против братьев Шлегелей.

Адресат — замечательный немецкий поэт Иоганн Христиан Фридрих Гёльдерлин (1770—1843); в 1794—1795 гг. был принят, по рекомендации Шиллера, гувернером к сыну Шарлотты фон Кальб. В 1795—1798 гг. Гёльдерлин — домашний учитель в семье купца Гонтарда во Франкфурте; жену Гонтарда он воспел как идеальный женский образ под именем Диотимы в отдельных стихотворениях и в романе «Гиперион». После нескольких лет скитаний по Швейцарии и Франции Гёльдер-

лин возвратился на родину (1802) в состоянии умопомешательства, которое, перемежаясь редкими прояснениями, продолжалось до смерти писателя.

194

Стр. 444. *...наткнулся на Дидро...*— на его сочинение «О живописи».

Стр. 445. «Агнеса фон Лилиен» — роман свояченицы Шиллера Каролины, вышел полностью в 1798 г. Опубликованный первоначально без подписи, он был приписан Гете.

195

Стр. 446. *Об этом говорят ваши идиллии, большая и малая, и ваша недавняя элегия...*— Большая идиллия — «Герман и Доротея», малая — «Алексис и Дора», недавняя элегия — «К Герману и Доротее».

...что-либо из наследия Ленца...— Друг юности Гете поэт Якоб Ленц (1751—1792). Гете послал Шиллеру 1 февраля из своего архива некоторые произведения Ленца, из числа которых в №№ 4 и 5 «Ор» за 1797 г. был напечатан «Лесной отшельник» — подражание «Вертеру» Гете.

196

Стр. 447. Мюллер, Фридрих (1749—1825), по прозвищу Малер Мюллер (живописец Мюллер) — немецкий художник, гравер и поэт.

Следует ли мне отослать вашу элегию в печать...— Имеется в виду элегия «К Герману и Доротее», которая так и не была напечатана в «Орах».

Для сказки желаю вам поскорее благоприятного расположения духа.— Эта сказка была потом вставлена в «Годы странствия Вильгельма Мейстера» под заглавием «Новая Мелузина».

197

Стр. 448. *В течение этих дней я читал «Филокетта» и «Трахинянок»...*— трагедии Софокла, как и другие, названные в тексте письма ниже.

Стр. 450. *Жажду вскоре получить что-либо из «Челлини»...*— Гете поторопился прислать продолжение своего перевода для апрельского номера «Ор».

Стр. 453. *...в шекспировских «Близнецах»...*— в «Комедии ошибок» Шекспира.

Стр. 453—454. *Гумбольдт сегодня уехал... Итак, вот еще одна дружба... которая никогда не возродится...*— Предвидение Шиллера оправдалось: он увиделся с Гумбольдтом только в начале августа 1801 г. и в конце сентября 1802 г., но больше они никогда не жили в таком теснейшем духовном общении, как в Иене.

Стр. 454. *...теперь благодаря заключению мира...*— Речь идет о предварительных условиях мира, подписанных 18 апреля Наполеоном (в Леобене, Штирия).

То, что ты написал недавно о Г. и В. ...— о Гердере и Виланде. Дальше Виланд сопоставляется с английским поэтом Александром Попом (1688—1744).

Стр. 455. *Шлоссер, Иоганн Георг (1739—1799)* — см. примеч. к п. 42.

Стр. 456. *Я задумал сделать из этого балладу...*— В литературном архиве Шиллера был найден только незначительный отрывок баллады о Дон Жуане.

Стр. 458. *...кое-что, правда, можно отнести на счет переводчика.*— Переводчик — некий Курциус; его перевод вышел в 1753 г. в Ганновере.

«Фаэтон» Овидия — в переводе Фосса был напечатан в пятом номере «Ор» за 1797 г.

Стр. 459. *...за счет статьи Ленца...*— Она была помещена в четвертом номере и не подлежала оплате, так как Якоб Ленц — ее автор — умер еще в 1792 г.

Стр. 459. *Вы прочли Шлегелю критику на Шлоссера?* — Последний опубликовал статью, с которой резко полемизировал Фридрих Шлегель.

Стр. 460. *...он рецензировал «Агнессу» и отозвался о ней весьма резко.*— Имеется в виду роман Каролины фон Вольцогеп «Агнеса фон Либиен», отрывок которого был без подписи напечатан в «Орах».

...в журнале, который носит такое наименование: «Летопись страждущего человечества».— Под таким заглавием выходил тогда в Альтоне журнал; в третьем номере его за 1797 г. была помещена статья, о которой и говорит Шиллер.

Стр. 462. *Я рассчитываю послать вам завтра новую балладу...*— «Поликратов перстень»; закончена 24 июня.

Стр. 464. *Посылаю одновременно мою балладу. Это в противовес к вашим «Журавлям».*— Первоначально Гете предполагал написать балладу «Ивиковы журавли», но уступил эту тему Шиллеру.

Стр. 465. *Статью Гирта я охотно взял бы в «Оры».*— Статья Гирта о Прекрасном в искусстве была напечатана в седьмом номере «Ор» за 1797 г.

Вашей статьи ожидаю с большим нетерпением...— статьи Гете о Лаокооне.

«Пролог» — «Лагерь Валленштейна», в следующем письме названный: «...мой драматический дебют после перерыва в целых десять лет».

Стр. 467. *Шмидт, Карл Христиан (1761—1812)* — профессор теологии в Иене.

Стр. 468. *Наша приятельница Мери...*— иенская поэтесса Софи Мери.

Стр. 469. *Напротив того, Амалия Имгоф пришла в поэзию не столько благодаря сердцу, сколько воображению...*— Амалия фон Имгоф (1776—1831) — поэтесса, известная под именем Амалии фон Гельвиг (по мужу). Шиллер напечатал ряд ее произведений в своем «Альманахе муз» и в «Орах». Ей принадлежит перевод «Саги о Фритьофе» Тегнера на немецкий язык.

210

Стр. 474. *Искренне рад, что вы подумали и об «Орах» и обещаете мне что-либо для них в октябре.*— Ни одно произведение Гете не появлялось больше в «Орах».

Здесь явился еще один поэтический гений шлегелевского типа и склада.— Намек на иенского литератора Иоганна Дитриха Гриса (1775—1842).

211

Стр. 474. *Песня исполнена веселости и естественности.*— Песня «Наж и мельничика».

Стр. 475. *...из чего вы можете видеть, что я овладел стихией огня, после того как объездил воду и воздух.*— Вода — стихия «Кубка», воздух — стихия «Ивиковых журавлей», стихия огня — в «Хождении на железный завод».

213

Стр. 478. *Замысел «Вильгельма Телля»...*— Этот замысел Гете уступил Шиллеру, который создал не эпическую поэму, как задумывал Гете, а историческую пьесу-легенду.

Стр. 479. *Песня о мельничном ручье...*— стихотворение Гете «Юноша и мельничный ручей».

215

Стр. 481. *Не браните меня за то, что сегодня... вы не получите комедию, которую просили...*— пьесу драматурга Фридриха Эбергарда Рамбаха (1767—1826) «Предательство по убеждению», которую Гете попросил возвратить ему.

Стр. 483. *Если этот орден и в самом деле является индивидуумом sui generis...*—Речь идет об ордене мальтийских рыцарей, которые назывались также госпитальерами или иоаннитами. Орден св. Иоанна был основан в Иерусалиме еще в XI в. н. э. при больнице и часовне св. Иоанна. В 1187 г. после завоевания Иерусалима султаном Саладином, этот орден монашествующих рыцарей несколько раз менял свое местопребывание; с 1310 г. иоанниты жили на завоеванном ими острове Родосе, который они вынуждены были сдать султану Сулейману II в 1522 г. Затем они переселились на о. Мальту. Здесь под руководством гроссмейстера Жана де Лавалетта, «мальтийцы» отразили нападение Сулеймана II, заставив его снять осаду,—событие, которое Шиллер намерен был сделать темой своей героической трагедии.

217

Стр. 485. *Новый нюрнбергский поэт...*—Иоганн Витшель (1769—1847), церковный проповедник.

Стр. 486. *Сочинение Эйзиделя о театре...*—«Основы теории сценического искусства». Фридрих Гильдебранд фон Эйзидель (1750—1828) — камергер веймарской вдовствующей герцогини Амалии.

220

Стр. 490. *...в старой статье и в последней.*—Первая — «Опыт как посредник между субъектом и объектом»; была напечатана только в 1823 г. Вторая посвящена вопросу о методе естественных наук.

Стр. 495. *Поссельт, Эрнст Людвиг (1763—1804)* — историк из Тюбингена.

221

Стр. 495. *Господин Шлоссер поступил бы лучше, если бы молча стерпел истины, высказанные ему Кантом...*—Гете передал Шиллеру вторую статью мужа своей покойной сестры Корнелии, Шлоссера, написанную в виде письма «Молодому человеку, желающему изучать критическую философию».

Стр. 497. ...друга, вчера доставившего мне ваше письмо...— шведского посланника в Берлине и в Париже Карла Густава Бринкмана.

Стр. 498. При том методе, которым вы теперь работаете...— Речь идет о работе Гете над учением о цвете.

Стр. 499. Бекон Веруламский (1561—1626) — английский философ, основатель английского эмпиризма, покоящегося на индуктивном методе познания.

Что касается вашего вопроса о стихотворном размере...— Гете спрашивал Шиллера, стоит ли воспользоваться размером, которым Шлегель написал своего «Прометея», или же применить обычные стансы.

Стр. 500. Мунье, Жан Жозеф — с 1796 г. директор одного из воспитательных заведений в Веймаре.

Стр. 501. ...я предстаю в них в качестве немецкого публициста...— Сопроводительное письмо к закону французского Национального собрания от 26. VIII. 1792 г., присваивавшему Шиллеру звание гражданина Франции, было адресовано «господину Жиллю, немецкому публицисту», — и та же искаженная фамилия Шиллера с квалификацией «немецкий публицист» проставлена в самом законе. Письмо подписал министр внутренних дел Французской республики жирондист Жан Мари Ролан де ла Платьер.

Стр. 501. Ваше сочинение, дорогой друг, явилось для меня... совершенной неожиданностью...— работа Гумбольдта о «Германе и Доротее» Гете; позднее она вошла в первый том «Эстетических опытов» Гумбольдта (Брауншвейг, 1799), где помимо идиллии Гете был разобран и его «Рейнеке Лис», а также элегия Шиллера «Прогулка».

Стр. 508. *Шерер*, Александр Николаус (1771—1824) — впоследствии веймарский горный советник, он только что (см. дату письма) возвратился из Англии и Шотландии, где совершенствовался в химии.

Шеллинг, Фридрих Вильгельм Йозеф (1775—1854) — немецкий философ-идеалист, представитель «пантеистического», а позднее — «христианского» идеализма. Был профессором в Иене, Вюрцбурге, Мюнхене, а с 1841 г. — в Берлине.

228

Стр. 511. *Мольке*, Адам Готлиб Детлеф фон (1765—1843) — ученый и поэт.

229

Стр. 513. *То, что вы поручили г-ну советнику Шлегелю в связи с «Валленштейном»...* — Иффланд обратился через Августа Вильгельма Шлегеля к Шиллеру с просьбой о передаче трилогии «Валленштейн» берлинскому Национальному театру для постановки.

230

Издатель Котта согласился на сделанное ему Шиллером предложение, и 28 декабря во «Всеобщей литературной газете» появилось объявление о том, что издание трилогии «Валленштейн» откладывается на один год.

Стр. 514. *Газельмейер* — директор театра в Штутгарте.

231

Стр. 515. *...статья Буфле...* — «Речи о литературе» Станислава де Буфле (1738—1815).

232

Стр. 517. *Послезавтра появится гетевская статья о «Пикколомини».* — Рецензия Гете на премьеру «Пикколомини» была напечатана во «Всеобщей литературной газете» 25—31 марта 1799 г.

Это письмо — ответ Шиллера на рецензию Бёттигера, помещенную незадолго до того в «Журнале мод».

Стр. 520. ...закончить ли четвертый акт монологом *Теклы* (что было бы мне приятнее всего) или же двумя небольшими сценами, следующими за этим монологом...— Гете высказался за то, чтобы закончить монологом; для печати Шиллер прибавил еще две сценки.

Стр. 521. На днях г-жа *Имгоф* прислала мне две последние песни своей поэмы...— Поэтесса Гельви́г (урожденная Имгоф); поэма — «Лесбийские сестры».

Стр. 523. *Камдена* я уже взял...— Уильям Камден — английский исследователь старины, автор многих сочинений на латинском языке по истории Англии и Шотландии.

...генцевский исторический календарь...— календарь издателя Фивега на 1799 г., в котором была помещена статья Генца о Марии Стюарт.

Стр. 524. Твое последнее письмо...— Кернер писал Шиллеру о «Валленштейне».

Адресат — Джордж *Неден* (1770—1826) — переводчик на английский язык «Дон Карлоса» (1798); до этого он перевел «Фиеско». В 1798 г. в Лондоне вышел также и другой перевод «Дон Карлоса», подписанный неким Симондсом. Упоминаемый в начале третьего абзаца *Шеридан* — знаменитый английский комедиограф Ричард Бринсли Шеридан (1751—1816), автор «Соперников» (1775) и «Школы злословия» (1777).

Стр. 527. ...*гости, которые пробудут здесь до воскресенья...*— Рейнвальды прожили у Шиллера с 24 до 30 июня.

...я очень стою за то, чтобы и с дилетантизмом боролись всяческим оружием.— Гете незадолго перед тем сообщил о своем намерении написать статью о дилетантизме.

...в *свифтовских сатирах...*— в сочинениях английского сатирика Джонатана Свифта (1667—1745), автора «Сказки о бочке» (1704), «Писем суконщика» (1714), «Путешествий Гулливера» (1726) и др.

...или надо пойти по стопам Гердера и воззвать к духу Пантагрюэля.— Здесь Шиллер указывает на предисловие Гердера к его «Метакритике». Пантагрюэль — герой сатирического романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» великого французского писателя-гуманиста Франсуа Рабле (ок. 1494—1553)

Стр. 528. ...*шлегелевская «Люцинда»...*— роман Фридриха Шлегеля, вышедший в 1799 г.

После родомонтад в греческом духе...— Родомонтада — хвастовство (по имени Родомонте, одного из героев «Неистового Роланда» итальянского поэта Ариосто, 1474—1553).

...кажется, что читаешь какую-то смесь из «Вольдемара», «Штернбальда» и непристойного французского романа.— «Вольдемар» — двухтомный роман Фридриха Генриха Якоби (1743—1819); «Скитания Штернбальда» — незаконченный роман Людвиг Тика (1773—1853), писателя-романтика и переводчика.

Стр. 529. ...*бедствие из Лобеда...*— Здесь Шиллер имеет в виду шестидесятилетнюю поэтессу Иоганну Сузанну Боль (1738—1806), которую он рекомендовал Гете принять у себя, чтобы смягчить другое «бедствие» — навязчивость «пожилой подруги» Марии Софи Ла Рош (1731—1807), о ней см. примеч. к п. 75.

Вульпиус — см. примеч. к п. 49.

Август был вчера здесь...— Август (1789—1830) — сын Гете.

Стр. 530. *Поздравляю с исправлением просодии в стихотворениях.*— Гёте писал Шиллеру, что размышляет об улучшении метрического строя своих стихов, особенно написанных дактилем.

Стр. 532. *...пожертвовать еще что-нибудь в Альманах...*— Гете на этот раз не дал ничего для альманаха; Шиллер включил в последний, помимо своих стихов («Изречение Конфуция», «Ожидание», «Песня о колоколе»), стихи Маттиссона, Козегартена, Штейгентеша и Кнебеля.

Стр. 533. *Генрих VII* — английский король с 1485 по 1509 г.; *Уорбек*, Перкин — самозванец, казнен в 1497 г.; *Эдуард V* — сын английского короля Эдуарда IV и его наследник; был заточен в Тоуэр вместе со своим братом, и оба были задушены там по приказу их дяди Ричарда Глостера (ставшего английским королем под именем Ричард III, 1483—1485); такая же судьба постигла обоих сыновей Эдуарда V.

Стр. 538. *«Речи о религии»* (1799) — книга Фридриха Даниеля Шлеймахера (1768—1834), представителя немецкой идеалистической философии.

Стр. 543. *Посылаю вам новый перевод «Макбета» для театра...*— Этот перевод Иффланд отослал Шиллеру обратно; в Берлине, писал он, часто ставят «Макбета», и актеры лишены возможности переучивать текст.

Стр. 551. *Вначале... у меня была та же мысль, что и у тебя...*— Кернер утверждал, что из «Художников» нужно сделать два стихотворения, выделив историческую часть в отдельное произведение.

Стр. 553. ...возьмусь за давно уже намеченную трагедию...— за пьесе «Мальтийцы», которая так и не была написана, хотя Шиллер лет пятнадцать не отказывался от этого замысла.

Стр. 554. ...обратил на себя внимание и в роли Квестенберга.— Одно из действующих лиц в «Пикколомини».

Стр. 558. *Ульрих*, Иоганн Август Генрих — профессор философии в Иене; *Генрих*, Христиан Готлиб — с 1782 г. профессор истории в Иене; *Хеннингс*, Юстус Христиан — с 1765 г. иенский профессор моральной философии; упоминаемый ниже Иоганн Христиан *Аугуст* — тоже иенский профессор философии; все трое были оппонентами на защите диссертации Ф. Шлегелем.

Стр. 559. *Фейт*, Доротея (1763—1839) — жена Фридриха Шлегеля. Речь идет о ее незаконченном романе «Флорентин».

Гартман, Фердинанд Август (1774—1842) — штутгартский художник.

Стр. 562. *Благодарю за «Путешествие по Португалии»...*— По предположению комментаторов, это была работа Г. Ф. Линкса «Путевые заметки о Франции, Испании и Португалии».

Стр. 563. *Герн*, Иоганн Георг (1757—1830) — мангеймский певец. *Зарастро* — персонаж из оперы «Волшебная флейта» Моцарта (1756—1791). *Тарар* — герой одноименной оперы Антонио Сальери (1750—1825), учителя Бетховена и Шуберта, на текст Бомарше.

Стр. 564. *Мюллер*, Иоганн Готхард (1747—1830) — выдающийся немецкий гравер, глава так называемого «живописного» направления в гравировальном искусстве того времени; гравировал портрет Шиллера работы Граффа (1794).

...четыре рисунка *Вехтера* к «*Валленштейну*»...— видимому, рисунки, помещенные впоследствии в «Альманахе

для дам» (1808) и иллюстрирующие четыре сцены из шиллеровского «Валленштейна». *Вехтер*, Георг Фридрих Эбергард (1762—1852) — венский художник, автор картин на исторические сюжеты.

272

Стр. 564. *Большое спасибо, любезный друг, за вашу статью...*— Сочинение Шеллинга «Моя система философии» вышло в конце 1801 г., но автор познакомил с ним Шиллера, очевидно, в рукописи или в черновом наброске.

Стр. 565. *Статью Фихте я отсылаю с благодарностью...*— «Жизнь Фридриха Николаи и его странные мнения» (1801).

...вроде того, как Макиавелли писал «Il principe»...— Никколо Макиавелли (1469—1527) — итальянский писатель, автор трактата «Государь», в котором он защищал идеи сильной государственной власти, оправдывал самые жестокие методы управления и призывал к борьбе против требований народных масс.

273

Стр. 566. *Другой сюжет* — «Мессинская невеста».

Стр. 567. *Есть у меня еще и другие сюжеты... Один из них Уорбек...*— От темы об английском самозванце Шиллер пришел к теме «Деметриуса».

276

Стр. 570. *...мне пришлось произвести меньше опустошений в рукописи, чем я ожидал...*— в рукописи «Ифигении».

278

Стр. 573. *...о выпадах против христианской религии...*— По настоянию Кернера эти выпады (в стихотворении «Певец, или Четыре эры») были устранены. Первоначальная редакция Шиллера не сохранилась.

Стр. 574. *Браннаш*, Христиан Готхольд — дрезденский адвокат.

Стр. 578. *...начал изучать... Чуди...*— историческую летопись (хронику) Эгидиуса Чуди (1505—1572) на латинском языке: «Хроника гельветов».

Нездоровье Кунце всех нас очень огорчает...— Имеется в виду старый друг Шиллера Кунце (умер в апреле 1803 г.).

Стр. 579. *Осуществление проекта...*— Кернер намеревался издавать журнал «Анналы поэзии».

Стр. 580. *Курфюрст Ашафенбургский возобновил свои прежние обязательства по отношению ко мне...*— Курфюрст Майнцкий Карл фон Дальберг (о нем см. примеч. к п. 93) накануне ликвидации (1803) Майнцкого духовного княжества, оставаясь курфюрстом и рейхсканцлером-примасом Германии, получил княжество Ашафенбург вместе с землями епископства Регенбургского. Эти события сначала были неблагоприятны Шиллеру («убытки в Регенбурге»), но у него вновь появились надежды, когда Дальберг «возобновил свои прежние обязательства» (вернее, обещания), которые так и не были исполнены.

...голая честь, оказанная мне Веной...— дворянская грамота, пожалованная Шиллеру.

Стр. 581. *Прилагаю последнюю гетевскую новинку...*— пьеску «*Was wir bringen*».

Стр. 583. *Я слышал, что Якобс в Готе переводит всего Эсхила.*— Фридрих Якобс (1764—1847) — с 1785 г. учитель гимназии в городе Гота.

Стр. 584. *Грасс, Карл Готхард (1767—1814) — художник-пейзажист. Фернов, Карл Людвиг (1763—1808) — поэт, с 1802 г. иенский профессор истории искусств.*

Стр. 588. *Три недели тому назад здесь впервые была поставлена «Орлеанская дева» и с тех пор повторена много раз.*— «Орлеанская дева» впервые была поставлена 23 апреля, а затем — 30 апреля, 7 мая и 30 мая.

Стр. 589. *Я доехал сюда благополучно...*— Шиллер отправился 2 июля в Лаухштедт.

Принц Вюртембергский прибыл вчера в 4 часа...— Имеется в виду Евгений Вюртембергский, генерал прусской службы.

Стр. 590. *Графф ex tempore сделал жест, покоровший всю публику.*— Иоганн Якоб Графф (1768—1848) — актер Веймарского придворного театра, исполнитель ролей Альбы, короля Филиппа, Валленштейна и др. в пьесах Шиллера.

...и толстяку Августу...— Августу фон Вольцгогену, адъютанту принца Вюртембергского.

...утром они снова встретили меня музыкой.— По воспоминаниям некоего Крапа, который был тогда (1803) студентом, молодежь на руках принесла Шиллера после спектакля на студенческую пирушку и горячо его чествовала.

Стр. 591. *Вы, должно быть, давно ждете от меня известий касательно вашего поручения...*— Гумбольдт просил подыскать ему наставника для его детей взамен Римера, ставшего воспитателем сына Гете Августа.

Очень способный доцент философии, г-н д-р Гегель из Вюртемберга, сейчас в Иене.— Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770—1831), впоследствии выдающийся философ-идеалист, родом из Штутгарта.

Стр. 592. *Философия окончательно переселилась отсюда вместе с Шеллингом.*— Шеллинг, Фридрих Вильгельм (1775—1854) — известный философ-идеалист Германии. Необычайно острой философской полемикой подготовил конфликт, побудивший его перейти из Иенского в Вюрцбургский университет (1803). Ниже в тексте письма говорится о женитьбе Шеллинга на Каролине Шлегель (1763—1809).

Прилагаю стихотворение...— «Торжество победителей».

Стр. 594. *...печальные события...*— смерть Гердера, смерть сына Вильгельма фон Гумбольдта, смерть некоторых других близких обоим поэтам людей.

Стр. 595. *Драма предназначена для вас и для Берлина и должна там впервые увидеть свет.*— Премьера «Телля» в Веймаре состоялась 17 марта 1804 г., а в Берлине — только в июле.

Стр. 597. *Все мы напряженно ждем появления новой звезды с востока...*— приезда великой княжны Марии Павловны, вышедшей замуж за наследного принца Веймарского Карла Фридриха.

(Прилагаю) *письмо книготорговца (Клингера)...*— письмо издателя Георга Гешена к Шиллеру. Упоминание о Клингере (1752—1831) — повидимому, намек Вольцогену действовать через этого, в свое время, немецкого «бурного гения», который в начале XIX в. был уже генералом русской службы и начальником Пажеского корпуса. В Петербурге с 1785 г. была библиотека Дидро (купленная в 1765 г. Екатериной II) с большим числом копий рукописей Дидро. Таким образом, Вольцогена просили (при содействии Клингера) раздобыть копию рукописи «Племянника Рамо». Последний был переведен Гете в 1805 г. и вышел раньше французского издания. «Жак-фаталист» Дидро вышел на немецком языке в 1792 г. в переводе Миллиуса.

Адресат — советник прусского кабинета министров.

Стр. 599. *Меня очень радует, что вы закончили «Геца фон Берлихингена»...*— то есть переработку этой драмы, написанной еще в 1773 г.

Стр. 600. *Гехгаузен, Луиза фон — фрейлина герцогини Амалии. Фосс, Иоганн Генрих — сын поэта и филолога Фосса, преподаватель веймарской гимназии.*

Братья кланяются Адольфу...— сыну Каролины фон Вольцоген.

Стр. 602. ...посылаю небольшую пьеску...— «Присяга искусств на верность».

«Эстетику» Рихтера я еще не видел.— «Введение в эстетику» Жан Поля Рихтера вышло в 1804 г.

300

Стр. 603. ...занялся переводом.— 14 января Шиллер после 26 дней труда закончил перевод «Федры» Расина.

...прочитать «Мемуары» Мармонтеля...— французского писателя Жана Франсуа Мармонтеля (1723—1799).

304

Стр. 608. Винкельман, Иоганн Иоахим (1717—1768) — один из крупнейших немецких искусствоведов.

Стр. 609. Кольраут — домашний врач Гумбольдта. Грасс, Карл Готхард — художник-пейзажист.

305

Стр. 610. ...подверг едкой критике врагов энциклопедистов, особенно Палиссо...— Шарль Палиссо де Монтенуа (1730—1814) — посредственный французский писатель, враг просветителей и энциклопедистов, которых он плоско высмеивал в своих комедиях и в памфлете «Маленькие письма против больших философов».

Н. СЛАВЯТИНСКИЙ



**КРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ
ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА**



1759

10 ноября В швабском городке Марбахе на реке Некаре (герцогство Вюртембергское) родился великий поэт и драматург Германии Иоганн Христоф Фридрих Шиллер.

Его отец — Иоганн Каспар Шиллер (1723—1796), сын деревенского булочника, полковой фельдшер, участник войны за Австрийское наследство (1741—1748) и Семилетней войны (1756—1763), прапорщик, а ко времени рождения будущего поэта — лейтенант полка принца Людвиг Вюртембергского.

Мать — Елизавета Доротея Кодвейс (1733—1802), дочь пекаря, владельца маленькой марбахской гостиницы «Золотой лев».

Родители Шиллера поженились, когда Иоганну Каспару было двадцать пять, а Елизавете Доротее шестнадцать лет. В 1757 г. родилась старшая сестра Шиллера Христофина (в замужестве Рейнвальд), первый друг и биограф будущего поэта (ум. в 1847 г.)

1760—1762

Отец на войне и только изредка видится с семьей, живущей преимущественно в Марбахе. Раннее детство Шиллера целиком проходит под влиянием матери.

«Мать была разумной, доброй женщиной, и ее доброта, неисчерпаемая даже к людям, которые ее нисколько не касались, снискала ей всеобщую любовь. С тихим смирением покорялась она своей тяжелой судьбе, и забота о детях значила для нее больше всего остального. Думая о ней, я вижу, как неизгладимо живут в нас впечатления детства».

(К Лотте фон Ленгефельд и Каролине фон Бейльвиц, 3. I. 1790.)

1762. Опубликовано произведение, сыгравшее выдающуюся роль в идеологической подготовке французской буржуазной революции XVIII века — «Об общественном договоре, или Принципы политического права» Жан Жака Руссо (1712—1778). Значительное влияние бесспорно оказали взгляды Руссо и на передовых людей Германии, в частности на идейное развитие Шиллера. Памяти великого философа посвящено одно из ранних стихотворений немецкого поэта — «Руссо» (1781). Утверждаемый в «Общественном договоре» идеал народовластия наиболее полно выражен в последней завершённой драме Шиллера — «Вильгельм Телль».

1763

15 февраля

Подписан Губертсбургский мир.

Елизавета Доротея Шиллер с детьми переезжает к мужу, который еще до окончания войны был произведен в капитаны и переведен в полк, несший гарнизонную службу в Штутгарте и Людвигсбурге.

1764—1765

Отец назначен вербовщиком рекрутов, и семья Шиллера переезжает в местечко Лорх. Живописная природа Лорха, поездки на яр-

марки в соседний католический городок Гмюнд с его пышными церковными празднествами, народными гуляниями, спектаклями средневековых мистерий — таковы наиболее яркие детские впечатления будущего поэта.

Шиллер начинает заниматься родным языком и латынью у местного пастора Мозера. В группу учеников входят также сестра Шиллера Христофина и Карл Конц, будущий поэт и ученый (1762—1827).

Шиллер обессмертил имя своего первого учителя в «Разбойниках», где пастор Мозер выступает не только представителем истинного благочестия, противопоставляемого в драме циничному аморализму Франца Моора, но и смелым обличителем владетельного тирана.

«Подумайте, Моор, жизнь тысяч людей подчинена мановению вашей руки, из каждой тысячи девятьсот девяносто девять вы сделали несчастными... Неужто вы думаете, что эти девятьсот девяносто девять рождены для гибели, для того, чтобы быть куклами в вашей сатанинской игре? Не думайте так!..» («Разбойники», д. V, сцена I).

1766

Начало года Рождение сестры Шиллера Луизы (ум. в 1836 г.).

Ссора вюртембергского герцога Карла Евгения со своим сеймом; в числе последствий этой ссоры — отказ сейма платить жалованье всем герцогским служащим, включая офицеров.

Декабрь Тяжелое материальное положение вынуждает капитана Шиллера покинуть Лорх и снова поселиться с семьей в окрестностях Людвигсбурга, где он арендует участок земли и выращивает саженцы для продажи (в 1767—1768 гг. в печати появляется несколько статей И. К. Шиллера о садовом искусстве и плодоводстве; в 1795 г. — книга «Уход за деревьями»).

«В Людвигсбурге мы жили у друзей, близ герцогского замка и театра... Офицерам и их семьям был предоставлен туда свободный доступ. Наградой за прилежание для маленького Шиллера стало посещение театра. Известно, какой пышностью отличались во время правления герцога Карла оперные и балетные спектакли, исполнявшиеся преимущественно итальянскими актерами. Можно представить себе впечатление, которое произвели эти спектакли на мальчика — Шиллера. После простой, почти сельской жизни Лорха, герцогская резиденция показалась ему каким-то сказочным царством. В театре он весь превращался в слух и внимание и, вернувшись домой, мастерил из книги сцену, вырезал из бумаги «актеров», которых водил за ниточки, разыгрывая сцены из виденных спектаклей. Но вскоре эта игра надоела, и «актерами» стали сам Шиллер, обе сестры и школьные товарищи. В саду устроили сцену — весь дом должен был принимать участие в этом театре...»

(Из воспоминаний сестры Шиллера Христини.)

1767. Напечатана и впервые поставлена (в Гамбурге, затем Франкфурте-на-Майне, Вене, Лейпциге и Берлине) первая реалистическая немецкая комедия — «Минна фон Барнгельм» Г. Э. Лессинга, справедливо воспринятая современниками как смелое обличение феодально-пруссацеских порядков. В числе зрителей и первых восторженных поклонников пьесы был молодой Гете.

Чернышевский писал позднее об этой драме: «В «Минне фон Барнгельм» немцы в первый раз увидели себя и свою жизнь предметом художественного воспроизведения... В первый раз являлось все это в немецкой поэзии — эта народность лиц и сюжета, идеи и обстановки».

Драматургия Лессинга, с которой Шиллер впервые знакомится в годы пребывания в Карлсшуте,— один из основных источников раннего творчества поэта.

1768

Шиллер начинает заниматься в людвигсбургской латинской школе, программа которой сводилась к изучению катехизиса и латинского языка. Увлекается переложением прозаических текстов в латинские стихи.

1770

Семья Шиллера переезжает в летнюю резиденцию герцога — Солитюд, где Иоганн Каспар, произведенный незадолго до того в майоры, назначен заведующим герцогскими парками. Материальное положение Шиллеров несколько улучшается, но зависимость от герцога становится еще большей. 11-летний Фридрих оставлен до окончания школы в Людвигсбурге.

1770. 16 декабря в Бонне родился величайший немецкий композитор Людвиг ван Бетховен (ум. в 1827 г.).

В проникнутую революционной героикой IX симфонию (1824) Бетховен включает хор на текст оды Шиллера «К радости».

1772

Апрель

Латинская школа окончена. Успешно выдержан экзамен в Штутгарте. Родители Шиллера мечтают о поступлении Фридриха на богословский факультет. Готовясь к конфирмации, Шиллер пишет свое первое лирическое стихотворение. К этому времени относятся и

первые драматические опыты Шиллера — трагедии «Христиане» и «Абесалон» (не сохранились).

1772. Основан так называемый Геттингенский «Союз рощи», объединявший молодых лириков, характерных представителей движения Бури и Натиска. К «Союзу рощи» (Гайнбунду) примыкали — создатель немецкой баллады Г. А. Бюргер (1747—1794); будущий известный переводчик Гомера — И. Г. Фосс (1751—1826); поэты: Гельти, братья Штольберг и др. Объявив решительную борьбу французскому влиянию в литературе, геттингенские «барды» с чисто штюмерской экзальтацией проповедовали в своих стихах ненависть к тирании, патриотизм и культ природы.

Закончена «Эмилия Галотти» Лессинга, произведение с неизвестной до того в немецкой литературе смелостью разоблачающее правящую клику Германии. 13 марта в Брауншвейге состоялось первое представление этой драмы.

Традиция Лессинга и, в частности, влияние «Эмилии Галотти» в творчестве Шиллера наиболее отчетливо проявляются в его трагедии «Коварство и любовь».

1773

16 января

По приказу герцога Вюртембергского Карла Евгения 13-летний Фридрих Шиллер зачислен на первое бюргерское отделение юридического факультета Военного Питомника. (Вскоре этот Питомник будет переименован в Военную Академию Карла Евгения.) Иоганн Каспар вынужден дать «добровольную» подписку в том, что его сын — Иоганн Фридрих Шиллер обязуется «всецело посвятить себя служению герцогскому вюртембергскому дому и ни в коем случае не нарушать этого обязательства без милостивного разрешения герцога».

Шиллер пробыл в Военной Академии (т. н. КарлсшULE) до 1780 г.

«Через печальную, мрачную юность вступил я в жизнь, и бессердечное, бессмысленное воспитание тормозило во мне легкое, прекрасное движение первых зарождавшихся чувств. Ущерб, причиненный моей натуре этим злополучным началом жизни, я ощущаю по сей день,—вспоминал впоследствии поэт годы, проведенные в Академии...—Тех призраков, которые с давних лет окружали меня и окружают до сих пор, лучшая часть моего существа не могла полностью изгнать!»

(К Каролине фон Бейльвиц, 25. VIII. 1789.)

21 ноября

В академическом журнале запись: «Ученик Шиллер наказан 12 ударами ивовых розг за то, что взял в долг у своего товарища булку».

23 декабря

Шиллер получает штрафной билет за то, что попросил уборщицу приготовить ему чашку кофе. Наказание по этим билетам, которые ученики были обязаны носить на виду, в верхнем кармане мундира, назначал сам герцог. За годы, проведенные в КарлсшULE, подобных штрафных билетов у Шиллера было шесть.

1773. В России начало крупнейшего, руководимого Е. И. Пугачевым, восстания против крепостного гнета (1773—1775).

Любопытный отклик на эти события содержится в газете, издаваемой писателем-демократом, политическим учителем Шиллера — Х. Д. Шубартом (1739—1791), «Немецкая хроника» за 5 января 1775 г. При всей неполноте информированности автора заметки о Пугачеве она свидетельствует о несомненном интересе наиболее прогрессивных немецких литераторов к народным движениям за пределами Германии.

Опубликована историческая драма И. В. Гете «Гец фон Берлихинген», «драматическое восхваление памяти революционера» (Энгельс). «Гец фон Берлихинген» — одно из любимейших произведений юноши Шиллера.

1774

Шиллер делает запись в альбом своему другу Ховену: «Только тот велик и счастлив, кому не надо ни повиноваться, ни повелевать для того, чтобы быть чем-нибудь» (Гете).

1775

18 ноября

Академию переводят из замка Солитюд в Штутгарт.

Декабрь

Шиллер переходит на открывшийся в Академии медицинский факультет.

«Причиной этого перехода было не столько предпочтение юридическим наукам медицинских, сколько наша страстная любовь к поэзии, в которой мы уже начали пробовать в то время свои силы — Шиллер в области лирики и драмы, я — в жанре песни, баллады и романа. Эти поэтические опыты поглощали большую часть нашего времени и все наши интересы. Мы так отстали в учении, что уже не могло быть и речи о том, чтобы наверстать упущенное. Мы решили посвятить себя изучению медицины и заняться этим делом серьезно, тем более что медицина казалась нам гораздо ближе к поэзии, чем сухая, педантичная юриспруденция!»

(Из воспоминаний Ф. В. Ховена.)

1775. Начало войны за независимость в Северной Америке (1775—1783). Борьба американского народа за свободу, с интересом и сочувствием встреченная передовой частью

немецкого общества, явилась новой статьей дохода для немецких князей, усиленно продававших в это время своих солдат Англии. «Хотите узнать последние цены на пушечное мясо? — обращалась «Немецкая хроника» к своим читателям.— Ландграф Гесен-Кассельский ежегодно получает 450 тысяч талеров за 12 тысяч храбрых гессенцев, большинство которых сложит голову в Америке. Герцог Брауншвейгский получает 85 тысяч талеров за 3954 пехотинца и 360 кавалеристов, и, несомненно, лишь немногие из них увидят снова свою родину.

...Вот прекрасный текст для проповеди патриотам, сердце которых не может оставаться спокойным, когда их соотечественники разделяют судьбу чернокожих рабов и отправляются, как скот на бойню, в чужие стороны...» (1776, 25 марта, № 25). Позорную торговлю немецких князей своими подданными Шиллер заклеил в «Коварстве и любви».

Крупное восстание крестьян в Богемии (Чехии), на которое также откликается «Немецкая хроника».

1776

Профессор Якоб Фридрих Абель (1751—1829), один из немногих прогрессивных ученых, допущенных к преподаванию в Академии (вел на медицинском факультете общий курс философии, широко затрагивая вопросы истории культуры; в частности, именно Абель познакомил Шиллера и его соучеников с творчеством Шекспира), читает публичную лекцию, посвященную изложению передовых социально-политических и нравственных воззрений того времени.

Несомненно глубокое влияние профессора Абеля на формирование личности юного Шиллера.

Вместе со своими ближайшими друзьями, также пробовавшими силы в литературе,— Фридрихом Вильгельмом Ховеном, Вильгельмом Петерсеном и Фридрихом Шарфенштейном — Шиллер зачитывается произведениями писателей-штюрмеров, проникавшими в Академию несмотря на строжайшие запреты начальства и слежку надзирателей. Под впечатлением романа Гете «Страдания юного Вертера» Шиллер пишет драму «Нассауский студент» (не сохранилась).

«Все свое время, включая и часы прогулок, Шиллер посвящал литературе. Какие же произведения раньше других приковали к себе сердце юноши? Поэзия Клопштока и прежде всего его «Мессиада»... Бесспорно, что горячее вчувствование в мировоззрение и образы Клопштока оказало влияние на формирование Шиллера... «Уголино» Герстенберга и «Гец фон Берлихинген» Гете дали поэтическому развитию Шиллера иное направление — перевели его в русло трагедии... Затем Шекспир вытеснил всех других поэтов из сердца Шиллера. Изучение его произведений стало единственным занятием Шиллера на долгое время, достичь такого мастерства — вот о чем он теперь мечтает. Из произведений новой немецкой поэзии, кроме перечисленных, к его любимым принадлежали драмы Лессинга, стихи многообещающего Малер Мюллера и «Юлиус Тарентский» Лейзевица».

(Из воспоминаний В. Петерсена.)

Конец года

Напечатано первое стихотворение Шиллера — «Вечер». Эта юношеская идиллия была опубликована в десятом номере «Швабского журнала», издававшегося профессором Бальтазаром Гаугом (читал в Академии стилистику и изящные искусства).

«Автор этих строк — 16-летний юноша; он, повидимому, знаком с произведениями наших

лучших писателей и обещает со временем статью о магна sonatorum¹).

(Из примечаний редакции «Швабского журнала».)

1776. Появление «Бури и натиска» Ф. М. Клингера (1752—1831), драмы, давшей название целому направлению антифеодальной немецкой литературы 70-х гг. За ней следуют «Солдаты» Я. М. Лёнца (1751—1792), «Юлиус Тарентский» И. А. Лейзевица (1752—1806) и др.

Родился Э. Т. А. Гофман (ум. в 1882 г.), немецкий писатель-романтик.

1777

Шиллер увлекается Плутархом, Шекспиром, Руссо и Гете. Начинает работать над драмой «Разбойники». Своему другу Шарфенштейну Шиллер заявил: «Мы напишем такую книгу, которая непременно будет сожжена рукой палача».

Поэт Христиан Фридрих Даниель Шубарт (1739—1791), автор ряда политических стихотворений и статей, обличавших феодальный деспотизм, по указке герцога Вюртембергского обманным путем заманен из Ульма, где он издавал свою газету «Немецкая хроника», на вюртембергскую территорию; арестован и без суда заключен в крепость Гогенасперг, где он провел 10 лет (1777—1787). Неизгладимое впечатление произвел на юного Шиллера этот позорный акт княжеского произвола.

В № 3 «Швабского журнала» опубликовано стихотворение Шиллера «Завоеватель», подписанное, как и идиллия «Вечер», буквой «Ш». Приводим характерный отрывок, раскрывающий идейный замысел этого юношеского стихотво-

¹ Знаменитостью. Буквально: громко звучащими устами (лат.).

Умер знаменитый французский писатель и философ Вольтер, Франсуа Мари Аруэ (род. в 1694 г.).

Многочисленные высказывания Шиллера о Вольтере носят, как правило, отрицательный характер (известное исключение составляет написанное в 1800 г. стихотворение «К Гете, когда он поставил «Магомета» Вольтера»). Шиллер был односторонен в своей оценке Вольтера, не видел выдающейся роли, которую сыграл великий просветитель, непримиримый противник феодальных порядков и католического мракобесия, в формировании передовой общественной мысли предреволюционной Европы.

1779

Май

Шиллер читает друзьям сцены из «Разбойников», встреченные с восторженным энтузиазмом.

Пишет диссертацию «Философия физиологии», вызвавшую возмущение академического начальства своим «бурным» стилем, а также стремлением юного автора утвердить взаимообусловленность физической и духовной природы человека.

Ноябрь

Директор КарлсшULE докладывает герцогу о диссертациях выпускников медицинского факультета.

«Диссертацию Рейнгардта, как и воспитанника Шиллера, печатать не следует, хотя я и должен согласиться, что эта последняя не лишена достоинств и что в ней много огня. Но именно данное обстоятельство — мое глубокое убеждение в том, что огонь этот еще слишком силен — и заставляет меня отказаться от опубликования настоящей работы. Думаю, что будет очень хорошо продержат Шиллера еще год в Академии, чтобы жар его поостыл. Если он будет так же прилежен, из него еще может выйти великий человек».

(Из резолюции герцога.)

14 декабря

На праздновании годовщины основания Академии присутствует Гете, захвативший в Штутгарт, возвращаясь из своего путешествия по Швейцарии. Получая награды по трем предметам, Шиллер трижды подходит к столу, за которым, в числе других почетных гостей, находится прославленный автор «Геца» и «Вертера», чтобы, по установленным в Академии правилам, поцеловать полу мундира своего герцога (руку «его светлости» разрешалось целовать только ученикам дворянского происхождения).

1779. Опубликована философская драма Г. Э. Лессинга «Натан Мудрый», один из величайших памятников гуманизма XVIII века. Чернышевский писал о «Натане Мудром», что выше него «в немецкой литературе по колоссальному значению стоит только «Фауст» Гете».

1780

Шиллер продолжает работать над «Разбойниками». Заканчивает диссертацию, озаглавленную в окончательной редакции «Опыт исследования вопроса о связи между духовной и животной природой человека». Вынужден посвятить ее Карлу Евгению.

14 декабря

Получив врачебный диплом, Шиллер назначается полковым лекарем в штутгартский гарнизон с нищенским жалованием в 18 гульденов. Офицерское звание Шиллеру присвоено не было.

1781

Весна

Работа над «Разбойниками» завершена.

Осень

После тщетных поисков издателя, Шиллер печатает «Разбойников» за свой счет. Несмотря на то, что драма опубликована без подписи

автора и с указанием вымышленного места издания — Франкфурт и Лейпциг, имя Шиллера приобретает за короткий срок широчайшую известность. Демократическими слоями немецкого общества «Разбойники» были встречены с подлинным энтузиазмом.

В «Эрфуртской ученой газете» напечатана статья известного критика Х. Ф. Томме, в которой он заявляет: «Если мы имеем основание ждать появления немецкого Шекспира, то вот он налицо».

Шиллер посещает крепость Гогенасперг, где видится с Шубартом, прочитавшим автору «Разбойников» восторженную рецензию на его драму.

1781. Умер великий немецкий просветитель, основоположник национальной немецкой литературы Г. Э. Лессинг (род. в 1729 г.).

1782

13 января

Премьера «Разбойников» на сцене Мангеймского театра. Необычайный успех. Шиллер, тайно приехавший из Вюртемберга, присутствует на спектакле.

Февраль

Опубликована «Антология на 1782 год». На титульном листе указано вымышленное место издания сборника — Тобольск.

Шиллер отклоняет предложение герцога лично просматривать все будущие произведения молодого писателя.

Весна

Шиллер работает над «Заговором Фиеско». Совместно с профессором Я. Ф. Абелем и В. Петерсеном выпускает журнал «Вюртембергский репертурий литературы».

Конец мая

Поэт вторично, без разрешения, едет в Мангейм на представление «Разбойников». Приказом герцога посажен на две недели на гауптвахту.

Замысел «Луизы Миллер» («Коварство и любовь»).

Лето

Воспользовавшись травлей реакционных газет, обвинивших Шиллера в оскорблении граждан города Граубюндена (одному из персонажей «Разбойников» принадлежат слова о том, что в Граубюндене «мошеннический климат»), герцог категорически запрещает Шиллеру писать какие-либо сочинения, кроме медицинских.

15 сентября

Приезд в Штутгарт наследника русского престола Павла с женой, племянницей Карла Евгения. В Солитюде начинаются многодневные празднества, отвлекшие внимание придворной администрации.

22 сентября

Вместе со своим другом музыкантом Андреасом Штрейхером Шиллер бежит из Вюртемберга в Мангейм (Пфальц). По свидетельству Штрейхера, в пути Шиллер читает сочиненные в крепости стихи Х. Д. Шубарта, рукопись которых он вез с собой, в частности ставшее знаменитым стихотворение «Гробница государей», один из наиболее ярких образцов немецкой антифеодальной лирики. (Сам Шубарт считал опубликование этого стихотворения в 1781 г. причиной продления своего ареста.)

Штрейхер (1761—1833) — будущий автор книги «Бегство Шиллера из Штутгарта и пребывание его в Мангейме с 1782 по 1785 г.».

*Конец
сентября*

На квартире режиссера Х. Д. Мейера Шиллер знакомит ведущих актеров Мангеймского театра со своей новой драмой «Заговор Фиеско». Чтение Шиллера успеха не имело.

30 сентября

Опасаясь преследований со стороны герцога, Шиллер на время покидает Мангейм и, сопровождаемый Штрейхером, пешком отправляется во Франкфурт-на-Майне. Останавливается в пригороде Заксенгаузен, где ждет решения Дальберга относительно «Фиеско».

«Достаточно печально уже и то, что на мне подтверждается гнусная истина: ни одному вольнолюбивому пвабу не дано ни расти, ни совершенствоваться».

(К Дальбергу, 30. IX.)

- 6 октября* Шиллер получает письма от Дальберга, сообщающего, что он считает «Заговор Фиеско» в его настоящем виде непригодным для театра. В каком-либо задатке за драму поэту отказано. Шиллер терпит жестокую нужду.
- Середина октября* Шиллер и Штрейхер покидают Франкфурт и возвращаются в Пфальц, проделывая большую часть пути пешком. Из конспиративных соображений Шиллер, под именем доктора Шмидта, останавливается не в Мангейме, а в местечке Оггерсгейм (час ходьбы от Мангейма), на скотопригонном дворе.
- Конец осени* Писатель работает над «Луизой Миллер». Переделывает по указанию Дальберга для театра «Заговор Фиеско». Мангеймский издатель и книготорговец Х. Ф. Шван издает «Заговор Фиеско».
- 30 ноября* Шиллер уезжает из Оггерсгейма.
- 8 декабря* Под именем доктора Риттера Шиллер поселяется в деревне Бауэрбах (близ Мейнингена) в небольшой усадьбе Каролины Вольцоген, матери своего товарища по Академии — Вильгельма. Шиллер обретает временное пристанище.
- Декабрь* Начало дружбы с библиотекарем В. Ф. Рейнвальдом (1737—1815), ставшим в 1786 г. мужем сестры Шиллера Христофины. Из книг, которыми снабжает его Рейнвальд, Шиллер впервые подробно знакомится с историей шотландской королевы Марии Стюарт и судьбой испанского инфанта Карлоса.

1783

- Январь* Приезд в Бауэрбах Каролины Вольцоген с дочерью Шарлоттой.
- Середина февраля* Работа над новой драмой «Луиза Миллер» вчерне закончена.
- Март* Возобновление переписки с Дальбергом относительно постановки «Фиеско» и «Луизы Миллер» на мангеймской сцене.

- Конец марта* Шиллер окончательно останавливается на сюжете из эпохи Филиппа II. Начало работы над «Дон Карлосом».
- Конец мая* Второй приезд Каролины Вольцоген с дочерью в Бауэрбах. Шиллер делает предложение 16-летней Шарлотте, на которое г-жа Вольцоген отвечает отказом.
- 24 июля* Поэт уезжает из Бауэрбаха в Мангейм, чтобы принять участие в репетициях «Фиеско».
- 1 сентября* Шиллер становится штатным драматургом и заведующим репертуаром Мангеймского театра.
- Вторая половина ноября — декабрь* Шиллер тяжело болен.

1783. Родился Василий Андреевич Жуковский (ум. в 1852 г.), талантливый русский поэт и «гений перевода», как охарактеризовал его Пушкин.

В. А. Жуковский был великолепным знатоком и интерпретатором поэзии Шиллера, начиная с его ранних произведений — «Амалия» (у Жуковского «Плач Людмилы», первоначально опубликован в «Вестнике Европы», 1809), «К Эмме» (у Жуковского «Идиллия», 1805) и кончая последними лирическими стихотворениями 1803—1804 гг.: «Путешественник» (первоначально в «Вестнике Европы», 1810), «Торжество победителей» (первоначально в «Северных цветах», 1829), «Горная дорога» (первоначально в «Для немногих», 1818).

Наибольшей известностью по праву пользуются непревзойденные переводы Жуковского «романтической трагедии» Шиллера «Орлеанская дева» (впервые опубликованной в «Стихотворениях В. А. Жуковского», т. I, 1824) и классических баллад «Ивиковы журавли» (первоначально в «Вестнике Европы», 1814); «Рыцарь Тогенбург», «Граф Габсбургский» (первоначально в «Для немногих», 1818); «Ку-

бок», «Перчатка», «Поликратов перстень» (первоначально в «Балладах и повестях В. Жуковского», СПб. 1831) и др.

1784

11 января

Премьера «Заговора Фиеско» в Мангеймском театре, прошедшая без особого успеха. «...«Фиеско» публика не поняла. Республиканская свобода здесь звук без всякого значения, пустое слово; в жилах жителей Пфальца не течет римская кровь».

(К Рейнвальду, 5. V.)

Зима

Шиллер избран в члены Курфюрстского немецкого общества, что дает ему права пфальцкого подданного.

Перерабатывает для мангеймской сцены свою третью драму — «Луизу Миллер», в которой, как и в «Разбойниках» и «Фиеско», вынужден, по требованию Дальберга, «смягчить» наиболее смелые, политически острые сцены.

Март

«Любезный сын! Здесь, в Германии, театральный поэт — это всегда только маленький человек. Если бы ты жил в Англии и там увидел бы свет твоя последняя, присланная мне трагедия, ты наверняка смог бы стать счастливым, в то время как тут ты вынужден думать только о том, как бы не навлечь на себя немилость какого-нибудь князя. Право же, медицина дала бы тебе более верный кусок хлеба и более прочную репутацию... Я никому не говорил, что у меня есть экземпляр «Фиеско», так как из-за некоторых сцен этой драмы я не могу допустить, чтобы кому-нибудь стало известно, что она мне нравится».

(Из письма отца. Солютюд 18. III.)

Конец зимы —
весна

Шумный успех мещанской мелодрамы актера и драматурга А. В. Иффланда «Преступление из честолюбия».

15 апреля

Премьера «Коварства и любви» (это заглавие дано драме по совету Иффланда) в Мангеймском театре. Огромный успех. Пьеса распространяется по всей Германии.

Драма увидела свет и на штутгартской сцене, однако вскоре была снята с репертуара. Полковнику Зегеру, в ведении которого находился Штутгартский театр, объявлен выговор.

26 июня

На заседании Курфюрстского немецкого общества Шиллер читает доклад: «Каково воздействие хорошего постоянного театра?» (при подготовке к печати доклад был назван: «Театр, рассматриваемый как нравственное учреждение») — призыв к созданию боевого демократического искусства.

Июнь

Шиллер получает письмо из Лейпцига от группы почитателей его таланта: «В то время, когда искусство все более унижается до положения трусливого раба богатых и могущественных сластолюбцев, особенно благодетельно для общества, если находится великая личность, которая показывает, на что еще способен человек. Передовая часть человечества, которая болеет за свое время и стремится к чему-то лучшему, утоляет в его созданиях свою жажду, испытывает душевный подъем, находит новые силы на своем тяжелом пути к высшей цели. Так хотелось бы пожать руку своему благодетелю, увидеть в его глазах слезы радости и вдохновения, ободрить его, если в минуты усталости он усомнится, достойны ли его современники того, чтобы он трудился для них...»

Лето

Шиллер знакомится с сестрами Ленгефельд — Каролиной и Шарлоттой, которые, возвращаясь с матерью из Швейцарии, остановились в Мангейме, чтобы посетить поэта. Эта кратковременная встреча не произвела на Шиллера особого впечатления. (Через 6 лет Лотта Ленгефельд станет женой поэта.)

Шиллера посещает сестра Христофина со своим женихом Рейнвальдом.

Банкротство и арест друга Шиллера, ссудившего ему деньги на печатанье «Разбойников». Шиллер должен срочно вернуть одолженную сумму. От долговой тюрьмы Шиллера спасает его квартирный хозяин — каменщик Гёльцель.

Лето — осень Напряженная работа над «Дон Карлосом».

Начало дружбы Шиллера с Шарлоттой фон Кальб (1761—1843), писательницей и мемуаристкой, имевшей впоследствии немалое влияние также и на Жан Поля и Гёльдерлина. (Шарлотта — прообраз Ливды в романе Жан Поля «Титан».) Встреча с этой незаурядной женщиной, «Титанидой», как называл ее Жан Поль, сыграла значительную роль в личной жизни поэта. Ей посвящены стихотворения «Борьба» и «Резиньяция».

Ухудшаются отношения Шиллера с дирекцией и актерами Мангеймского театра.

11 ноября Извещение о выходе журнала «Рейнская Талия», с помощью которого Шиллер рассчитывал поправить свои материальные дела.

12 декабря Шиллер читает герцогу Веймарскому Карлу Августу (знакомство произошло в Дармштадте благодаря связям Шарлотты Кальб) первый акт «Дон Карлоса». Пожалован чином Веймарского советника, что, впрочем, не меняет бедственного положения поэта.

1784. Год смерти выдающегося французского писателя и философа-материалиста Дени Дидро (род. в 1713 г.), основателя и редактора «Энциклопедии», ставшей в XVIII столетии центром борьбы против феодально-религиозной идеологии (см. ниже отзыв Шиллера о «Племяннике Рамо» Дидро).

Март

Выход 1-го (единственного) номера «Рейнской Талии», содержащего отрывки из «Дон Карлоса» и статью «Музей антиков в Мангейме».

Острые критические статьи журнала окончательно сорят Шиллера с мангеймскими театральными деятелями.

9 апреля

По приглашению группы своих почитателей — молодого ученого Х. Г. Кернера, молодого писателя, впоследствии дипломата, Л. Ф. Губера и их невест — Доры и Минны Шток — Шиллер уезжает из Мангейма в Лейпциг.

«За всю свою жизнь не могу припомнить такой глубокой пророческой уверенности, какой я одержим теперь, что в Лейпциге я буду счастлив.. До сих пор судьба разрушала все мои планы. Мое сердце и моя муза должны были смиряться перед необходимостью».

(К Кернеру, 22. II.)

17 апреля

Прибытие Шиллера в Лейпциг.

Начало мая

Личное знакомство с Христианом Готфридом Кернером (1756—1831). Начало дружбы, продолжавшейся до последних дней жизни поэта. «Итак, в путь, в добрый путь, милый странник, решившийся как брат, как верный друг, сопровождать меня в моем романтическом путешествии к правде, к славе, к счастью!»

(Кернеру, 7. V.)

Х. Г. Кернер — издатель первого Собрания сочинений Шиллера (1812—1815).

В письме к издателю Швапу Шиллер просит руки его дочери Маргариты. Получает отказ.

Лето

Шиллер живет в деревне Голис, неподалеку от Лейпцига. В кружке Кернера написана ода «К радости».

11 сентября

Вслед за Кернером Шиллер переезжает в Дрезден.

*Сентябрь 1785—
июль 1787*

Шиллер живет в Дрездене и загородном домике Кернера в деревне Лошвиц. Здесь завер-

шен «Дон Карлос», написаны «Философские письма», первые главы романа «Духовидец», новелла «Преступник из-за потерянной чести» и ряд статей для «Талии». Шиллер начинает серьезно заниматься историей.

1786. На этот год падает еще одно преступление Карла Евгения Вюртембергского — продажа полка немецких юношей-пехотинцев Голландско-Остивндской компании для службы в Африке. На это позорное событие откликнулся Х. Д. Шубарт обличительным стихотворением «Мыс Доброй Надежды», ставшем популярной солдатской песней.

Смерть Фридриха II Прусского.

Выход «Ифигении в Тавриде» Гете.

1787

Весна

«Сообщаю тебе, так как газет ты не читаешь, некоторые политические новости. Калони больше не министр финансов. Неккер выслан за 20 миль от Парижа... Гессенцы уже отступили из Бюксбурга. Прусские и пфальцские войска получили приказ их изгнать. Калиостро исчез из Лондона, захватив драгоценности своей жены. Посылаю тебе четыре письма и две книги современных историков».

(Кернер к Шиллеру, 2. V.)

Лето

Драма «Дон Карлос» напечатана в типографии лейпцигского издателя Г. И. Гешена.

Июль

Шиллер посылает экземпляр «Дон Карлоса» директору Гамбургского Национального театра Ф. Л. Шредеру (1744—1816), выдающемуся актеру и режиссеру.

«О главнейшем я должен вас предупредить. Я не знаю, насколько терпима гамбургская публика. Допустима ли, например, сцена короля и великого инквизитора... Относительно сцены

Филиппа с маркизом, надо думать, в республиканском городе тревожиться нечего».

(К Шредеру, 13. VI.)

Опасения Шиллера оправдались — сцену короля и великого инквизитора Шредер вынужден был исключить из спектакля.

20 июля

Шиллер покидает Дрезден. Едет в Веймар, город Гердера, Виланда и Гете.

Конец июля

Личное знакомство с Х. М. Виландом (1733—1813), И. Г. Гердером (1744—1803) и другими литераторами. Шиллер приступает к сотрудничеству в журнале Виланда — «Немецкий Меркурий».

27 июля

Шиллер присутствует на вечере у герцогини Амалии матери Карла Августа. Круг веймарских знакомых Шиллера увеличивается. «На днях мне пришлось совершить в высшей степени скучную прогулку в большой и знатной компании. Это неизбежное зло, в которое меня ввергли мои отношения с Шарлоттой. Сколько же здесь встречается пустоголовых людей!»

(К Кернеру, 12. VIII.)

Август

Шиллер проводит несколько дней в Иене в доме философа Рейнгольда.

28 августа

Шиллер присутствует на празднике в честь дня рождения Гете, устроенном друзьями в отсутствие поэта (Гете был в это время в Италии) в его саду.

Сентябрь

Премьера «Дон Карлоса» в Гамбургском театре.

Шиллер усиленно работает над «Историей отпадения Нидерландов».

Конец октября

Читает отрывки из своего исторического сочинения Виланду и Шарлотте фон Кальб.

Французский драматург Мерсье, во время пребывания в Мангейме, смотрит «Разбойников»; чрезвычайно похвально отзываясь о пьесе и выражает намерение перевести на французский язык все произведения Шиллера.

- 19 ноября* В «Journal de Paris» опубликована восторженная статья Мерсье о Шиллере.
- Начало зимы* Шиллер навещает г-жу Вольцоген в Бауэрбахе. На обратном пути вместе с Вильгельмом Вольцогеном заезжает в Рудольштадт, где сближается с семьей Ленгефельдов.

1788

Начало года В «Немецком Меркурии» опубликованы фрагменты из «Истории отпадения Нидерландов», с интересом встреченные читателями.

Шиллер продолжает работать над «Духовидцем», пишет статьи и рецензии для «Талии» и «Всеобщей литературной газеты».

Март В «Немецком Меркурии» напечатано стихотворение Шиллера «Боги Греции», вызвавшее ожесточенные нападки религиозных ханжей и реакционеров, в частности графа Штольберга, одного из бывших страстных приверженцев Бурри и Натиска, перешедшего в лагерь католической реакции. Статья Штольберга, обвинявшего Шиллера в атеизме, была напечатана в августовском номере «Немецкого Музея» за 1788 год. В защиту стихотворения Шиллера с блестящей отповедью Штольбергу выступил один из выдающихся литературных и культурных деятелей Германии XVIII столетия, будущий политический руководитель Майнцской республики (см. ниже) Георг Форстер (1754—1794).

Статья Г. Форстера «Фрагмент письма одному немецкому писателю о «Богам Греции» Шиллера» опубликована в журнале «Новая немецкая литература и народоведение» за 1789 г.

Весна В Мангеймском театре поставлен «Дон Карлос». Спектакль не пользовался особым успехом, что отчасти объясняется изменениями в тексте, самовольно внесенными Дальбергом.

Лето Шиллер живет в деревне Фолькштедт, неподалеку от Рудольштадта. Занимается историей и

античной литературой — переводит с латинского подстрочника «Ифигению в Авлиде» Еврипида и несколько сцен «Финикиянок». Дружба с сестрами Ленгефельд.

- Июль* В «Немецком Меркурии» напечатаны «Письма о «Дон Карлосе».
- 7 сентября* У Ленгефельдов Шиллер встречается с вернувшимся из Италии Гете.
- Ноябрь* Шиллер читает сестрам Ленгефельд стихотворение «Художники».
- Возвращение в Веймар. Работа для «Талии» и «Немецкого Меркурия».
- Конец ноября* Опубликована I часть «Истории отпадения Нидерландов». Эта работа принесла Шиллеру славу выдающегося исторического исследователя.
- Декабрь* При содействии Гете Шиллер получает предложение занять место экстраординарного профессора истории в Иенском университете.

1788. Закончена драма Гете «Эгмонт».

В переработке Шиллера «Эгмонт» идет на сцене Веймарского театра в 1796 г.

1789

- Январь* Шиллер получает магистерский диплом и формальное назначение в Иену.
- Февраль* В «Немецком Меркурии» напечатано стихотворение «Художники».
- Весна* Знакомство с Г. А. Бюргером (1747—1794), поэтом-демократом, автором «Леноры». Между поэтами заключен своеобразный договор о соревновании — решают перевести тот же отрывок из «Энеиды» Вергилия.
- 11 мая* Шиллер переезжает в Иену, где он предполагает «жить по-студенчески», то есть на максимально скромные средства.
- 26 мая* В переполненной аудитории Шиллер, восторженно встреченный студентами, читает вступительную лекцию: «В чем состоит изучение мировой истории и какова цель этого изучения?».

- 15—21 июня Шиллер в Рудольштадте. Делает предложение Лотте фон Ленгефельд.
- 14 июля Победа революции во Франции. Взятие Бастилии. «Мы часто вспоминали впоследствии, как это событие потрясло всю Европу и проникло в жизнь каждого человека. Разрушение памятника мрачного деспотизма казалось нам предвестником скорой победы свободы над тиранией».
- (Из воспоминаний Каролины Вольцоген.)

Июль Шиллер начинает работать над «Историей Тридцатилетней войны», рядом мелких исторических сочинений и редактированием «Собрания исторических мемуаров».

Август Шиллер проводит несколько дней у Кернеров в Лейпциге.

18 декабря В письме к г-же Ленгефельд Шиллер официально просит руки ее дочери.

1789. Под влиянием событий во Франции — революционные волнения крестьян в Эльзасе и других прирейнских немецких княжествах.

1790

Январь По просьбе Шиллера, герцог Веймарский назначает ему пенсию — 200 талеров в год.

22 февраля Свадьба Шиллера и Шарлотты фон Ленгефельд.

«В сельской церкви под Иеной, при закрытых дверях богослов-кантианец (адъюнкт Шмидт) совершил обряд венчания — очень забавная сцена для меня!»

(К Кернеру, 1. III.)

Март Шиллер, по его собственному признанию, «совершенно нестерпимо перегружен работой». Занят лекциями, статьями для «Талии», редактированием «Мемуаров», переводами из «Энеиды».

Май С Шиллером сблизился иенский студент Фридрих фон Гарденберг, в будущем — известный писатель-романтик Новалис (1772—1801).

*Лето
Август*

Шиллер проводит в Рудольштадте.

Шиллер знакомится с датским поэтом и философом Йенсом Баггесеном (1764—1826), страстным почитателем его таланта. Тяжелое впечатление производит на Й. Баггесена болезненное состояние и стесненные материальные обстоятельства великого немецкого драматурга.

Сентябрь

В издаваемом Гешеном «Историческом календаре для дам» опубликованы 1 и 2 книги «Истории Тридцатилетней войны». Весьма значительное для того времени количество (7000) экземпляров расходуется в короткий срок. Работа имеет большой успех.

1790. Поездка Георга Форстера в Англию и Францию, результатом которой явились «Очерки Нижнего Рейна, Брабанта, Фландрии, Голландии и Франции в апреле, мае и июне 1790 г.» — своеобразная панорама начавшегося политического пробуждения Европы под влиянием французской революции. «Очерки» Форстера — выдающийся памятник немецкой публицистики XVIII века.

Значительные крестьянские волнения в Саксонии, в районе Мейсена, подавленные воинскими частями.

Восстание подмастерьев-ремесленников в Майнце.

1791

Начало января

Шиллер в Эрфурте, где избран членом Академии общепольных наук (осн. в 1754).

Болезнь Шиллера — первый приступ туберкулеза легких, болезни, ставшей для поэта роковой.

11 января

Шиллер возвращается в Веймар и возобновляет чтение лекций. Новая тяжелая вспышка болезни. У постели больного дежурят его близкие и студенты. Каролина читает Шиллеру «Критику способности суждения» Канта.

Во «Всеобщей литературной газете» напечатана без подписи статья Шиллера «О стихотво-

рениях Бюргера», о которой Гете сказал, что он хотел бы быть ее автором.

Февраль

«Мой врач весьма настаивает, чтобы эту зиму я совсем не выходил без шубы, а у меня ее еще нет... Я предоставляю вам свободу, если вы найдете что-нибудь хорошее, сообразоваться с вашим вкусом, лишь бы мех не обошелся мне намного дороже пяти луддоров».

(К Гешену, 11. II.)

Март

Шиллер чрезвычайно заинтересован «Критикой способности суждения». В письме к Кернеру выражает намерение «глубоко проникнуть в философию Канта».

Весна

Новая вспышка болезни. Распространяются слухи о том, что Шиллер умер.

Июнь

Датские поклонники Шиллера во главе с Баггесеном, устроившие на морском берегу празднество в честь немецкого поэта, в разгар торжества получают известие о мнимой смерти Шиллера. Празднество превращается в трехдневные поминки.

Начало июля

Шиллер с женой едет на воды в Карлсбад. Замысел трагедии о Валленштейне. Шиллер посещает дом в Эгере, в котором был убит Валленштейн.

Осень

Шиллер работает над 3-й книгой «Истории Тридцатилетней войны». Занимается переводами и статьями для «Талии».

Октябрь

В Веймарском театре поставлен «Дон Карлос».

Ноябрь

Шиллер работает над 3-й книгой «Истории на национальную тему. «Ни одному писателю, будь он по воззрениям каким угодно «другом человечества», в своих представлениях не убежать от своей родины. Пусть его выдает только язык, этого одного довольно, чтобы ограничить его известными формами и придать его произведению национальное своеобразие».

(К Кернеру, 28.XI.)

Предложение Кернера сделать героем поэмы Фридриха II Шиллер категорически отвергает, утверждая, что его недостаточно вдохновляет этот характер и что он «никогда не сможет его полюбить».

Декабрь

Принц Августенбургский и министр финансов Шиммельман (Дания) назначают Шиллеру субсидию на три года по тысяче талеров в год для поправки здоровья. «Наконец-то я обладаю досугом, чтобы учиться, копить знания и работать для вечности!»

(К Кернеру, 13. XII.)

1791. Массовое восстание подмастерьев в Гамбурге, к которому присоединяются рабочие текстильных и сахарных мануфактур.

В Саксонии издан специальный указ «Против беспорядков и восстаний», поводом для которого послужили участвовавшие волнения ремесленников и рабочих.

Родился Теодор Кернер (ум. в 1813 г.), будущий поэт «освободительных войн», старший сын Х. Г. Кернера, друга Шиллера.

1792

1 января

«Сердечное мое пожелание нам обоим в этом новом году, чтобы навеки сгнуло то, чему не должно жить. Это бы вернее всего помогло и тебе и мне».

(К Кернеру.)

Зима

Шиллер ревностно занимается изучением философии Канта. Работает над статьями по эстетике.

Февраль

Новая вспышка болезни.

7 апреля

Шиллер с женой едет на несколько недель в Дрезден, к Кернеру.

Середина мая

Встреча Шиллера с товарищем детских лет К. Ф. Концем, приехавшим проведать своего знаменитого земляка.

«Философия Канта составляла главный предмет разговоров, которым Шиллер умел придать особый интерес... Он был олицетворенная гуманность, а жена его — образец благородства и скромности».

(Из воспоминаний Конца.)

- Лето* Шиллер возобновляет работу над «Историей Тридцатилетней войны». Собирается приступить к «Письмам об эстетическом воспитании». Мечтает о возвращении к поэтическому творчеству.
- 10 августа* Народное восстание и свержение монархии во Франции. За событиями по ту сторону Рейна Шиллер следит по газете «Moniteur», которую он регулярно читает.
- 26 августа* На заседании французского Конвента принято решение о предоставлении почетного гражданства Французской республики наиболее выдающимся иностранцам, в том числе Костюшко, Вашингтону, Песталоцци, Клопштоку и Шиллеру, которые «своими произведениями и мужеством послужили делу свободы и приблизили час освобождения человечества». Диплом о присвоении ему гражданства Французской республики, подписанный Дантоном и Роланом, Шиллер получил только в 1798 году.
- Август* Гете посещает Майнц и отмечает в своем дневнике господствующее здесь «сильное республиканское возбуждение умов».
- Начало сентября* Проведать Шиллера приезжают его мать и младшая сестра Каролина Наннета.
- 20 сентября* Победа французской армии над войсками контрреволюционной коалиции при Вальми. Вместе с герцогом Карлом Августом в прусских войсках находился Гете, охарактеризовавший победу при Вальми как начало новой эры в мировой истории.
- Осень* Шиллер читает студентам Йенского университета у себя на дому приватный курс эстетики (4—5 часов еженедельно), над которым усердно работает.

- 21 октября** Взятие Майнца французскими войсками под командованием генерала де Кюстина. Вожди майнцской демократии, и в числе их Георг Форстер требуют провозглашения Майнца республикой.
- 23 октября** По образцу парижских политических клубов в Майнце создано «Общество друзей свободы и революции».
- 15 ноября** Георг Форстер в Майнцском клубе произносит речь, в которой призывает к солидарности с революционным народом Франции и развенчивает германскую конституцию, «дьявола феодального рабства... ужасное привидение, говорящее о титулах, о феодализме, о пергаментах, в то время когда разумные люди говорят об истине, о свободе, о нации и человеческих правах...»
- Конец ноября** От историка Мюллера, захватившего в Иену по пути из Майнца, Шиллер узнает о подробностях майнцских событий. К Форстеру, Губеру и другим членам майнцкого клуба немецких якобинцев Шиллер относится отрицательно.
- Любопытно, однако, что, стремясь вырваться из Иены, Шиллер не отвергает мысли о переезде в Майнц, оккупированный революционной армией. «Если французы лишат меня моих надежд, мне может прийти в голову искать у них лучшей участи».
- (К Кернеру, 26. XI.)
- Декабрь** Замысел трактата «Каллий, или О красоте». Возмущенный судом над Людовиком XVI, Шиллер выражает намерение написать статью в защиту свергнутого короля.

1793

- 13 января** На главной площади Майнца, при большом стечении народа, происходит праздник «Дерева свободы». В Майнце возникает первая демократическая республика на немецкой земле.

21 января

По постановлению Конвента казнен Людовик XVI.

«Я уже начал статью в пользу короля, но не мог продолжать, и она еще теперь лежит неоконченную. Вот уже несколько дней как я не читаю французских газет — так опротивели мне эти подлые живодееры».

(К Кернеру.)

Зима

Шиллер продолжает работать над статьями по эстетике.

«С моим здоровьем все попрежнему, не лучше и не хуже... Неустанные труды примиряют меня с печальным существованием, на которое обрекает меня моя немогущая плоть».

(К Фишениху, 11. II.)

Весна

Шиллер болен.

Апрель

Шиллер снимает небольшой загородной дом и заводит собственное хозяйство (до этого он и Лотта жили на положении квартирантов). Продолжая труды по эстетике, Шиллер готовит к печати сборник своих стихотворений.

31 мая—2 июня

Широкие народные выступления во Франции. Буржуазная революция достигла своей высшей точки — якобинской диктатуры.

В Париже с успехом идут «Разбойники» Шиллера, озаглавленные «Robert, chef des brigands» («Роберт, атаман разбойников»).

Июль

Поэт отправляет графу Шиммельману свою новую работу — «О грации и достоинстве», опубликованную в журнале «Новая Талия», пачавшем выходить с 1792 г.

Начало августа

Шиллер с женой едет на родину. Опасаясь преследований со стороны герцога, останавливается в Гейльбронне, на границе Вюртемберга. Встреча со старым учителем по латинской школе — магистром Яном.

1 сентября

«В 3 часа пополудни пришел ко мне неожиданно гофрат Шиллер, одетый в нарядный шелковый камзол, и попросил пойти с ним вместе

к бургомистру Ваксу, который уже ждал этого посещения. Приготовясь наблюдать предстоящее солнечное затмение, я поставил у себя в комнате несколько зеркал, которыми отражал солнце. Шиллер занялся зеркалами и старался отразить солнце в третьем и четвертом. Затем он заинтересовался стеклянным конусом, при помощи которого я изобразил ему в комнате радугу, и он с большим любопытством наблюдал радужные цвета. В 4 часа мы отправились к бургомистру, который был очень рад знакомству с Шиллером; мы немало говорили о Франции, Майнце и эмигрантах. Обо всех этих событиях Шиллер высказывался чрезвычайно осторожно...»

(Из воспоминаний сенатора Шиблера.)

8 сентября

Убедившись, что герцог решил, по его собственному заявлению, «игнорировать» своего «беглого полкового лекаря», Шиллер переезжает ближе к родительскому дому, в Людвигсбург, где останавливается у своего товарища по академии — доктора Ф. В. Ховена.

14 сентября
Осень

Рождение первого сына Шиллера — Карла. Шиллер работает над «Письмами об эстетическом воспитании», статьей «О необходимых пределах применения художественных форм» и «Валленштейном» (делает наброски нескольких сцен в прозе). В Людвигсбурге Шиллер встречается со своим старым другом, известным скульптором И. Г. Даннекером (1758—1841) и поэтом Ф. Маттиссоном (1761—1831); читает, по просьбе Яна, несколько лекций в городской школе.

24 октября

Смерть герцога Карла Евгения Вюртембергского. «Смерть старого ирода не оказала ни на меня, ни на мою семью никакого влияния...»

(К Кернеру, 10. XII.)

Начало ноября

Шиллер посещает Академию в Штутгарте, где восторженно встречен студентами.

Декабрь

Превозмогая новый приступ болезни, длившийся до февраля, Шиллер работает над «Письмами об эстетическом воспитании».

1793. Восстание ткачей в Силезии.

Опубликован первый перевод на русский язык драмы Шиллера «Разбойники», сделанный студентом Московского университета Николаем Сандуновым.

1794

Февраль

Указом нового герцога Вюртембергского Людвиг Евгения закрыта Штутгартская военная Академия, «плантация рабов», как назвал ее Шубарт, где прошли отрочество и юность Шиллера.

Март

Поэт переезжает в Штутгарт. Занят разработкой подробного плана «Валленштейна». Позировать скульптору Даннекеру, создателю знаменитого мраморного бюста Шиллера.

Апрель

Шиллер едет в Тюбинген навестить своего бывшего учителя Абея. В Тюбингенском университете занимаются в это время философы Г. В. Ф. Гегель и Ф. В. Шеллинг и поэт И. Х. Ф. Гёльдерлин. Знакомство Шиллера с известным издателем Котта (Иоганн Фридрих фон Коттендорф, 1764—1832), предложившим ему взять на себя редактирование нового большого журнала.

Во время пребывания на родине Шиллер в основном закончил «Письма об эстетическом воспитании». Отправленные к принцу Августенбургскому подлинники этих писем сгорели при пожаре королевского дворца в Копенгагене летом 1794 года.

6 мая

Шиллер с семьей уезжает из Штутгарта. Проводит три дня в Мейнингене у Рейнвальда и Христофины.

15 мая

Возвращение Шиллера в Иену. Начало тесной дружбы с Вильгельмом Гумбольдтом (1767—1835), языковедом, философом и государственным деятелем.

«Была весна 1794 года, когда Шиллер возвратился из поездки на родину в Йену... с острой жаждой деятельности... Он вступал в период значительнейший для его духовного развития. Это было окончание того времени, когда после «Дон Карлеса» Шиллер совсем отошел от драматического творчества, Шиллер стоял теперь накануне нового расцвета своих творческих сил, начало которого ознаменовано «Валленштейном». Благополучному окончанию затянувшегося кризиса Шиллер обязан не только одаренности своей натуры, но и неустанному труду...

Чтобы быть ближе к Шиллеру, я поселился в Йене, куда приехал несколькими неделями раньше его возвращения. Мы виделись по нескольку раз в день, особенно же часто по вечерам, засиживаясь до поздней ночи... Основной стихией всей жизни Шиллера была мысль. Пытливая работа ума никогда не прекращалась в нем, отступая только перед тяжелейшими препятствиями физического недуга. Казалось, что напряженная работа мысли была для него отдыхом, а не усилием...»

(Из воспоминаний В. Гумбольдта.)

Начало июня

Шиллер увлечен планом создания нового журнала — «Оры» (по-гречески «Часы»), редактировать который уговорил его Котта, взявший на себя финансовую сторону дела.

13 июня

Шиллер посылает письма с предложением сотрудничать в «Орах» Иммануилу Канту и Гете. (Участвовать в журнале были приглашены также И. Г. Фихте, В. Гумбольдт, И. Г. Гердер, Х. Г. Кернер, Ф. Г. Клопшток, К. Л. Вольтман, И. Г. Фосс и многие другие выдающиеся немецкие писатели и ученые.)

По проекту Шиллера журнал должен «заниматься всем, о чем можно говорить с эстетической и философской точки зрения... Все то, что может заинтересовать лишь профессионального ученого или что может удовлетворить лишь

малообразованного читателя, будет исключено; в особенности и безусловно будет запрещено все, что относится к государственной религии и политическому устройству...»

24 июня

«Я с радостью и от всего сердца примкну к вашему обществу». (Из ответа Гете.)

Июль

Начало дружбы Шиллера с Гете. Сближение писателей началось с беседы по поводу гетевской теории метаморфозы растений после заседания Иенского общества любителей естествознания. «Нравственная сила Шиллера была велика,— она приковывала всех приближавшихся к нему... Для меня это (дружба с Шиллером.— Л. Л.) было новой весной...»

(Из воспоминаний Гете. Эккерман, «Разговоры с Гете».)

12 августа

Мать Шиллера сообщает сыну о всеобщем недовольстве, усиливающимся в Бюртемберге. «Не знаю, что и написать нового, разве что в нашей стране виды на будущее все мрачней, недовольных людей больше, чем довольных. Крестьяне ходят на охоту и ни о чем и слышать не хотят, да и другие бюргеры собираются действовать на французский манер. Все, что посадишь, крадут, овощи приходится собирать незрелыми, если кто-нибудь из нас или герцог хочет хоть что-нибудь получить... То туда, то сюда высылают воинские части, чтобы навести порядок в стране...»

23 августа

Письмо Шиллера к Гете, содержащее глубокий анализ творческого метода веймарского корифея. В сближении обоих поэтов это послание сыграло решающую роль. Переписка Шиллера и Гете приобретает все более неофициальный дружеский характер.

Конец августа

Шиллер едет на несколько дней в Вейсенфельс для обсуждения с Кернером плана нового журнала — «Оры».

Сентябрь

На основе сохранившихся у него черновиков писем к принцу Августенбургскому, Шиллер готовит для печати свое крупнейшее теоретиче-

ское сочинение «Письма об эстетическом воспитании человека». (Этот труд был завершен в августе 1795 г.) Одновременно начинает работать над исследованием «О наивной и сентиментальной поэзии».

4 сентября
19—20 сентября
бря

Гете приглашает Шиллера в Веймар.

Шиллер гостит у Гете в Веймаре. «Несколько дней мы с половины двенадцатого... до одиннадцати вечера были непрерывно вместе... Мы много говорили о его и моих произведениях, задуманных и начатых трагедиях и т. п.»

(К Шарлотте Шиллер, 20.IX.)

Осень

Несмотря на болезненное состояние, Шиллер напряженно и продуктивно работает. Много времени и сил отдает организационно-редакторской деятельности в журналах «Оры» и «Альманах муз».

В Иенском университете читает лекции Фихте, сменивший на кафедре философии уехавшего Рейнгольда. Шиллер отрицательно относится к философии Фихте, отмечая уже в начале учебного года основной ее порок, ее субъективно идеалистический характер.

7 ноября

Шиллер сообщает Кернеру, что два первых номера «Ор» готовы к выпуску.

10 декабря

Во «Всеобщей литературной газете» за подписью Шиллера напечатано объявление о выходе «Ор», содержащее политическую и художественную программу нового журнала. «Когда близкая война угрожает отечеству, а борьба политических мнений и интересов делает ее еще более страшной и окончательно запугивает муз и граций; когда нет спасения от этого врага ни в разговорах, ни в современной литературе, не лишне будет занять... читателя совершенно противоположною беседой... Посреди политических неурядиц наш журнал будет служить убежищем муз и харит, убежищем, из которого будет изгнано все порожденное грязным духом политического пристрастия...»

1794. Смерть Георга Форстера. Посланный майнцскими республиканцами в Париж, чтобы добиться присоединения Майнца к революционной Франции (март, 1793), Форстер после взятия Майнца пруссаками (июль, 1793) был объявлен изгнанником. Умер в возрасте 40 лет.

1795

3 января

«С Новым годом, с новым счастьем! Пусть мы проведем его с вами так, как мы провели конец прошлого года, с взаимным участием ко всему, что каждый из нас любит и делает. Если и одинаково мыслящие не будут сближаться, то что же станет с обществом и с общением между людьми! Меня радует надежда, что наше взаимное воздействие и доверие будут шириться».

(Гете к Шиллеру.)

Январь

Шиллер знакомится с новыми книгами романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера». Глубоко потрясен реализмом романа. «Не могу выразить, как мучительно бывает порой чувство, когда от подобного произведения переходишь к философии. Все в нем так радостно, так живо, все так гармонически разрешено и человечески истинно... Впрочем, я осмелюсь сказать, что в моих спекулятивных построениях я оставался верен природе, поскольку это совместимо с понятием анализа; и я, быть может, был ей верен более, чем считается допустимым и возможным у наших кантианцев. Но от этого я все же не менее живо чувствую, какое бесконечное расстояние отделяет жизнь от умничанья об ней...»

(К Гете, 7.I.)

Февраль

Шиллер получает приглашение в Тюбингенский университет, от которого отказывается, не желая расстаться с Иеной и Веймаром.

«Меня очень радует, что вы захотели остаться в Иене и что ваше отечество не смогло

перетянуть вас обратно к себе. Надеюсь, что мы еще много дел совершим вместе и многое создадим».

(Гете к Шиллеру, 21.II.)

1 марта

Шиллер посылает Канту два первых номера журнала «Оры», содержащие «Письма об эстетическом воспитании». Журнал просуществовал до 1797 года, так и не приобретя широкого круга читателей. Враждебно встреченный эпигонами немецкого просветительства (группа Николай) и мещанскими писаками вроде Коцебу, он не напел опоры и в передовых кругах немецкой интеллигенции, которые не могли быть удовлетворены тенденциозным аполитизмом этого издания.

Лето — осень

После шестилетнего перерыва Шиллер возвращается к поэтическому творчеству. Одно за другим появляются стихотворения: «Поэзия жизни», «Власть песнопения», «Пегас в ярме», «Идеалы», «Идеал и жизнь», «Раздел земли», «Прогулка» и другие образцы философской лирики Шиллера. «Совершенно очевидно, что ясность идей благоприятствует поэтическому творчеству. Если бы я не проделал весь тернистый путь сквозь свою эстетику, никогда это стихотворение («Идеал и жизнь». — *Л. Л.*), трактуемое столь трудный предмет, не достигло бы той простоты и ясности, какими оно сейчас обладает».

(К В. Гумбольдту, 9.VIII.)

Август

Закончены «Письма об эстетическом воспитании».

Поэт продолжает трудиться над своим последним крупнейшим теоретическим исследованием — «О наивной и сентиментальной поэзии».

Гете в Эйзенахе, откуда он собирался поехать на свою родину, во Франкфурт-на-Майне. Эта поездка, однако, не состоялась, так как к Франкфурту приближались французские войска.

«Мне часто кажется удивительным, что мы с вами — вы, захваченный водоворотом света, и я, сидящий между своими окнами, затянутыми бумагой, и окруженный тоже лишь бумагами,— что мы могли сблизиться и понять друг друга... На каждый час бодрости и веры в себя приходится десять таких, когда я падаю духом и не знаю, что о себе думать. Тогда мнение окружающих, подобное вашему, является для меня истинным утешением».

(К Гете, 16.X.)

Осень — зима

Шиллер увлечен изучением античных авторов.

9 ноября

Сообщает В. Гумбольдту о своем решении заняться греческим языком, знания которого были у Шиллера чрезвычайно недостаточными.

30 ноября

Делится с Гумбольдтом своим намерением «заменить этой зимой сколько возможно ночное чтение романов латинскими поэтами».

Шиллер попрежнему уделяет много времени редакционно-издательской деятельности, преимущественно «Орам», которыми он все больше начинает тяготиться.

«Ты не можешь себе представить, в каком непрестанном напряжении принужден я жить, отчасти для того, чтобы осуществлять некогда зародившиеся во мне замыслы, отчасти из-за необходимости ежемесячно насыщать «Оры», сотрудниками которых я поставлен в жалчайшее положение».

(К Корперу, 21.XII.)

Конец года

Начало совместной работы Шиллера в Гете над «Ксениями» — эпиграммами, направленными против реакционеров, религиозных ханжей, вульгарных просветителей и других идейных и художественных противников обоих поэтов.

1795. Заключение Базельского мира, по которому Франция приобретает права на левый берег Рейна.

Опубликован роман Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера».

1796

Январь

Напряженная работа над «Ксениями», которая продолжалась 8 месяцев с перерывами. «За несколько дней их написано уже более 20, а когда наберется несколько сотен, то мы их разберем и с сотню оставим для Альманаха... Ругаться все будут страшно, но и расхватывать их будут с жадностью...»

(К В. Гумбольдту, 4.I.)

«Он живет в своем собственном мире, оторванный от какого бы то ни было общества. Иногда он по нескольку месяцев не выходит из комнаты... Гете — единственный человек, который, когда он приезжает в Иену, много общается с Шиллерами; он приходит к ним каждый вечер часа в 4 и остается до после ужина. Обычно он входит молча, садится, подперев голову, берет какую-нибудь книгу или же карандаш или перо и рисует... Шиллер находится в состоянии непрерывного напряжения всех своих духовных и физических сил... При его образе жизни он будет действовать до тех пор, пока однажды, за письменным столом, не случится так, что последняя капля иссякнет в этом светильнике и свет погаснет навеки».

(Из письма К. В. Ф. Функа к Кернеру, посетившего Иену 7—10 января 1796 г.)

*Середина
января*

Выход № 1 «Альманаха муз». Журнал существовал с 1796 по 1800 год, сотрудники — Гете, Гердер, Л. Тик, Гельдерлин, А. В. Шлегель.

*Середина
марта*

Шиллер возобновляет работу над планом «Валленштейна».

«Прежде я старался, например в Позе и Карлосе, заменить недостающую правду прекрасным идеалом, теперь в Валленштейне я хочу за отсутствующий идеал (сентиментальный) вознаграждать голой правдой».

(К В. Гумбольдту, 21.III.)

- 23 марта* Смерть младшей сестры Шиллера — Нанеты.
- Начало апреля* Шиллер проводит две недели в Веймаре.
- 16 апреля* В Веймарском театре — гастроль Иффланда, исполнившего роль Франца Моора в «Разбойниках».
- Начало мая* Шиллер, Гете и Кернер в Иене.
- 13 июня* Шиллер посылает Гете стихотворение «Жалоба Цереры» — «первый поэтический плод этого года».
- Июнь* Знакомство Гете и Шиллера с крупнейшим немецким сатирическим писателем того времени Жан Полем Рихтером (1763—1825).
- Начало июля* В письмах Шиллера к Гете — детальный анализ первых восьми книг романа «Вильгельм Мейстер».
- «Сердечно благодарю вас за ваше ободряющее письмо и за сообщение о том, что вы чувствовали и думали при чтении романа, особенно же его восьмой части. Поскольку он вам нравится, вы не можете не заметить в нем своего собственного влияния, ведь несомненно же, что без наших отношений я вряд ли закончил бы его или во всяком случае закончил бы не в том виде, как теперь... Как много можно было бы прибавить еще, чтобы охарактеризовать те исключительные отношения, в которых я нахожусь только с вами одним».
- (Гете к Шиллеру, 7.VII.)
- 11 июля* Рождение второго сына Шиллера Эрнста Фридриха Вильгельма. «Одно из имен малыша — Вильгельм», — сообщает Шиллер Гете,

намекая, очевидно, что оно дано в честь героя романа Гете — «Вильгельм Мейстер».

Конец июля

Из писем Гете Шиллер узнает о новых победах французских войск, развивших наступление на юге Германии. Связь Шиллера с родными прервана... «Политические дела, которых я всегда так избегал, теперь прямо не дают вздохнуть. Французы в Штутгарте...»

(К Гете, 23.VII.)

Август

Шиллер работает над стихотворением «Помпея и Геркуланум», изучает материалы об извержении Везувия.

7 сентября

Смерть отца Шиллера.

Октябрь

Выходит в свет «Альманах муз на 1797 год», содержащий более 400 «Ксений», Шиллера и Гете.

«Мы сочинили много двустиший совместно,— вспоминал впоследствии эту работу Гете, высмеивая стремление ряда критиков установить точное авторство той или иной эпиграммы.— Часто я давал мысль, а Шиллер облакал ее в стихи; иногда имело место обратное, а часто Шиллер сочинял первый стих, а я — второй. Можно ли при этом говорить, что мое и что твое! Нужно действительно быть до мозга костей филистером, чтобы придавать хоть малейшее значение решению подобного рода вопросов».

(Эккерман, «Разговоры с Гете».)

Появление эпиграмм вызвало ожесточенные нападки на Шиллера и Гете со стороны их противников. По свидетельству Лотты, Шиллер намеренно не читал ничего из многочисленных печатных выпадов против «Ксений».

В «Альманахе муз на 1797 год» напечатаны «Дева с чужбины», «Помпея и Геркуланум», «Два пола», «Tabulae votivae» («Памятки») и другие стихотворения Шиллера.

Конец октября

Шиллер возобновляет изучение исторических источников для «Валленштейна». «Самое

позднее через три месяца я более или менее овладею целым в достаточной мере, чтобы начать писать»

(К Кернеру, 28.X.)

16 декабря

В письме к Гете Шиллер сообщает, что работа над первым актом «Валленштейна» продвигается успешно.

1796. В Париже раскрыт «Заговор равных», возглавляемый французским революционером, коммунистом-утопистом Гракхом Бабёфом. Бабёф гильотинирован 27 мая 1797 г.

Начало итальянской кампании Наполеона (1796—1797), закончившейся изгнанием австрийцев из Италии и гибелью лучших австрийских армий.

1797

Зима

Шиллер разрабатывает подробный сценарий «Валленштейна».

В центре переписки Шиллера и Гете — вопросы античной поэтики, специфика эпического и драматического жанров.

Начало весны

Гете проводит полтора месяца в Иене.

Апрель

Шиллер получает диплом Стокгольмской Академии наук.

В письме к Гете Шиллер выражает восхищение народными сценами шекспировского «Юлия Цезаря», с которым он знакомится по только что законченному переводу А. В. Шлегеля.

2 мая

Шиллер переезжает в купленный им флигель с садом на окраине Иены. «Меня окружает прекрасная местность, солнце заходит, дружелюбно прощаясь, и щелкают соловьи. Все вокруг веселит меня, и мой первый вечер в собственных владениях исполнен самых радостных предзнаменований».

(К Гете.)

- 28 мая* В письме к Шиллеру Гете высказывает свое удовлетворение новой работой друга — «Лагерем Валленштейна». «От повторного чтения пролога у меня осталось очень хорошее и сильное впечатление, но такая затрата сил для одной единственной драмы была бы слишком велика...»
- 14 июня* Закончена баллада «Пловец» (в переводе Жуковского — «Кубок»).
- 18 июня* Шиллер сообщает Гете, что написал небольшое стихотворение, способствующее развитию сюжета «Кубка» — балладу «Перчатка».
- В этом письме — знаменательное признание Шиллера о том, что под воздействием Гете произошли глубокие изменения в его творческом методе. «Вы все больше отучаете меня от стремления, которое во всякой практической, а особенно поэтической деятельности нетерпимо, — идти от общего к индивидуальному, и, напротив того, указываете мне путь от отдельных случаев к общим законам».
- 24 июня* Закончена баллада «Поликратов перстень».
- Гете сообщает другу о своем решении заняться «Фаустом».
- 7 июля* Шиллер сообщает Гете, что начал работать над «Песней о колоколе». «Это стихотворение меня очень занимает, однако на него уйдет много недель...» («Песня о колоколе» была завершена Шиллером во второй половине сентября 1799 г.)
- В рабочем календаре Шиллера — запись:
- 31 июля* «Готов «Рыцарь Тогенбург».
- Июль—август* Шиллер много занят подготовкой очередных выпусков «Ор» и «Альманаха муз».
- 17 августа* Шиллер посылает Гете новую балладу — «Ивиковы журавли», сюжет которой уступил ему Гете, ранее сам предполагавший написать стихотворение на эту тему, и по совету Гете вносит в нее изменения.
- Конец августа — начало сентября* Новая острая вспышка болезни. «На это время я почти прервал все мои занятия, а скудные минуты, когда самочувствие мое было

сносным, отнимал у меня Альманах... Берешь себя в руки, потому что это необходимо... Печатание Альманаха скоро закончится...»

(К Гете, 7.IX.)

- 25 сентября* Закончена баллада «Хождение на железный завод».
- Начало октября* Выход «Альманаха муз на 1798 год». Шиллер возвращается к работе над «Валленштейном».
- Октябрь* В письме из Швейцарии Гете делится с Шиллером своим замыслом написать эпическую поэму о Вильгельме Телле.
- 28 ноября* В письме к Гете Шиллер рассказывает об огромном впечатлении, которое произвела на него драма Шекспира «Ричард III», «одна из самых возвышенных трагедий, какие я знаю...»
- 1 декабря* Из письма матери Шиллера к сыну, из Леонберга (близ Штутгарта): «Здесь еще полно имперских войск и, должно быть, этой зимой цены на продукты будут все еще очень высоки...»
- 8 декабря* «Валленштейну» я отдаюсь как только могу, но патологическое напряжение физической природы от такой поэтической работы очень изнуряет меня».

(К Гете.)

1797. Заключен так называемый Кампоформийский мирный договор, оформивший выход потерпевшей поражение Австрии из первой антифранцузской коалиции.

Родился Генрих Гейне (ум. в 1856 г.), великий поэт Германии. В статье «Романтическая школа» Гейне писал: «Шиллер творил во имя великих идей революции, он разрушал Бастилии мысли, он участвовал в сооружении храма свободы».

1798

Зима

Шиллер живет в полном уединении, которое оживляется только регулярной перепиской с Гете. Напряженную работу над «Валленштейн-

ном» прерывают участвовавшие приступы болезни.

2 марта

Шиллер получает, наконец, диплом о присвоении ему французского гражданства, отправленный пять лет назад без указания места жительства и к тому же с искаженной фамилией адресата.

Конец мая —
конец июня

Гете живет в Иене.

Шиллер отдает все силы «Альманаху муз» и «Валленштейну». «Не следовало бы, пожалуй, браться за такое сложное, обширное и неблагодарное дело, как мой «Валленштейн» — работая над ним, поэт вынужден израсходовать все свои художественные средства для оживления строптивого материала. Этот труд лишает меня мирного существования, заставляет напряженно устремлять все силы в одну точку, не дает мне возможности спокойно воспринимать иные впечатления...»

(К. Кернеру, 15.VI.)

Июнь

Из Парижа Шиллер получает монументальную работу В. Гумбольдта о поэме Гете «Герман и Доротея», из исследования которой критик стремился вывести общие законы эпической поэзии. (Впоследствии в эту работу был включен также анализ «Рейнеке Лиса» Гете и «Прогулки» Шиллера.) Давая высокую оценку этому критическому опыту, Шиллер делает замечание, чрезвычайно характерное для эволюции его собственных воззрений о роли эстетической теории. «Не удивляйтесь, дорогой друг, если я теперь вижу большее расстояние, даже противоположность между наукой и искусством, чем, быть может, склонен был видеть несколько лет назад. Именно теперь, когда вся моя деятельность направлена на творчество, я каждодневно ощущаю, сколь мало помогают творчеству поэта *общие отвлеченные* понятия, и в таком расположении духа я порой бываю настолько не фи-

лософом, что готов отдать все, что знаю сам и что знают другие об основах эстетики, за единственное эмпирическое достижение, за один какой-нибудь ремесленный прием.

(К В. Гумбольдту, 27.VI.)

В связи с подготовкой «Альманаха» Шиллер вынужден до осени прервать работу над «Валленштейном».

Лето Закончено философское стихотворение «Счастье».

15 августа Шиллер сообщает Кернеру, что читал на днях Гете два последних акта «Валленштейна» («Пикколомини»).

18—26 августа Шиллер пишет «Бой с драконом» (первоначальное название — «Рыцарь»).

27—30 августа Работа над балладой «Порука».

30 сентября Шиллер сообщает Кернеру, что по совету Гете он разделил собственно «Валленштейна» на две драмы: «Пикколомини» и «Смерть Валленштейна».

Осень Стихотворение «Элевзинский праздник».

Иффланд через А. В. Шлегеля обращается к Шиллеру с просьбой переслать его новую трагедию для постановки в Берлинском Национальном театре. Шиллер считает возможным послать «Валленштейна» в Берлин только после того, как драма увидит свет на сцене Веймарского театра.

12 октября Веймарский театр после перестройки открывает сезон «Лагерем Валленштейна». Репетициями руководили непосредственно Гете и Шиллер, приехавший для этой цели в Веймар. Представлению был предпослан специально написанный пролог, в котором Шиллер подчеркивает стремление служить своим искусством современности.

Декабрь Шиллер закончил «Пикколомини».

31 декабря Шиллер посылает экземпляр рукописи «Пикколомини» Гете.

1798. Родился великий польский поэт Адам Мицкевич (ум. в 1855 г.). Перу Мицкевича принадлежат переводы стихотворений Шиллера: «Амалия» (1819), «Свет и тепло» (1820), баллады «Перчатка» (1820) и отрывка из драматической поэмы «Дон Карлос» (акт I, сцены 1 и 2, 1821—1823), а также импровизация, посвященная немецкому поэту — «Пускай мне Шиллер...», впервые прочитанная в Берлине в 1829 г.

1799

Январь

Шиллер в Веймаре руководит репетиционной работой над второй частью трилогии. Одновременно пьеса готовится к постановке и в Берлинском театре.

30 января

Премьера «Пикколомини» на сцене Веймарского театра (роль Валленштейна исполнял Графф, Макса — Фосс, Тэклы — Ягеман). Спектакль прошел с чрезвычайно большим успехом. «Шиллер был в таком восторге, что даже... за ужином прибавил от себя несколько бутылок шампанского, которые принес в театр под плащом».

(Из воспоминаний современника.)

*Начало
февраля*

Шиллер возвращается в Иену.

18 февраля

Премьера «Пикколомини» в Берлинском Национальном театре.

19 февраля

Шиллер просит своего издателя Котта срочно отправить денежный перевод каменщику Гельцелю. «Четырнадцать лет тому назад во время моего пребывания в Мангейме, эти люди оказали мне существенные услуги; теперь война нарушила их благосостояние, они терпят лишения и недостаток и нуждаются в безотлагательной помощи».

*Конец
февраля*

В «Журнале мод» помещена рецензия директора веймарской гимназии Беттигера на «Пикколомини», не удовлетворившая Шиллера.

17 марта

Шиллер посылает Гете последнюю часть трилогии — «Смерть Валленштейна».

«...«Валленштейн» Шиллера такое крупное произведение, что второго, равного ему, невозможно найти».

(Из отзыва Гете. Эккерман, «Разговоры с Гете».)

25—31 марта

Во «Всеобщей литературной газете» напечатана рецензия Гете на премьеру «Пикколомини».

Конец марта

Шиллер получает благодарственное письмо от своей бывшей мангеймской квартирной хозяйки Анны Гельцель. «На присланные вами деньги я смогла снова вечером зажечь лампу... 2 марта вошли французы, каждый горожанин должен был взять на постой 6 человек и полностью содержать их, представляете себе наше положение; никто и конца не видит всем бедам, которые принесла война». (Речь идет о войне Франции против второй коалиции Германских государств, в которую входили Австрия, Бавария, Вюртемберг и др.— Л. Л.)

20 апреля

Премьера трагедии «Смерть Валленштейна» в Веймарском театре. «Валленштейн» имел в Веймарском театре прочный успех и увлек даже самых нечувствительных, разногласий на его счет не было, и всю неделю только о нем и говорили».

(К Кернеру, 8.V.)

26 апреля

Шиллер сообщает Гете, что занялся историей царствования королевы Елизаветы и процессом Марии Стюарт. Просит прислать ему книги по этому вопросу.

Май

Шиллер начинает работу над «Марией Стюарт». Получает через Котта предложение из Англии послать туда для перевода рукопись трилогии о Валленштейне. Выражает желание посылать свои пьесы, в частности «Валленштейна», в театр, руководимый Р. Б. Шериданом.

Июнь

Шиллер перечитывает «Гамбургскую драматургию». «Нет никакого сомнения, что Лессинг

лучше всех своих немецких современников разбирался в вопросах искусства, острее и в то же время либеральнее мыслил о нем...»

(К Гете, 4.VI.)

*Середина
июля*

Шиллер читает недавно вышедший роман Ф. Шлегеля — «Люцинда». В письме к Гете дает резко отрицательную оценку этому произведению.

20 августа

Шиллера посещает Людвиг Тик.

Шиллер делится с Гете своим замыслом написать трагедию о претенденте на английский престол, самозванце Уорбеке (этот замысел остался неосуществленным; в черновых бумагах Шиллера сохранился только подготовительный материал: подробный сценарий и небольшие отрывки трагедии).

1 сентября

Шиллер обращается к герцогу Карлу Августу с просьбой увеличить выплачиваемую ему пенсию и дать ему таким образом возможность проводить зиму в Веймаре. «Пока я занимался философией, я чувствовал себя здесь как раз на месте; теперь же, когда благодаря поправившемуся здоровью, я с новым пылом предаюсь своей склонности к поэзии, мне кажется, будто я живу здесь как в пустыне... Вследствие моих занятий драматургией, настоящей потребностью для меня является посещение театра, в благотворном влиянии которого на мою работу я совершенно убежден...»

Просьба Шиллера была удовлетворена. Герцог увеличил пенсию на 200 талеров, прибавив от себя 4 сажени дров на зиму.

*Конец
сентября*

Завершена «Песня о колоколе».

11 октября

В письме к Кернеру от 26.IX содержится отрицательная оценка «Речей о религии» Шлейера и новых сочинений Тика.

3 декабря

Рождение дочери Шиллера — Каролины.

Шиллер с семьей переезжает в Веймар.

Из письма матери Шиллера: «Твое предыдущее письмо, любезный сын, застало нас в беде — французы находились в трех часах отсюда и все были охвачены страхом, все бежали, и я со служанкой тоже — мы перебрались в верхний замок... где не было никого, кроме сторожа и его жены. Тут и застало нас твое письмо с известием о тяжелой болезни милой Лотты; я забыла про французов, к тому же стало немного спокойнее — имперские войска отбили их атаки. Но горести наши далеко еще не кончились. Ах, как счастливы страны, которые могут жить мирной жизнью. Ведь наши крестьяне буквально погибают от тяжести военных поставок имперским войскам. Недалеко отсюда имперские солдаты срубили для своих костров все фруктовые деревья, сломали все ограды вокруг садов, забрали у крестьян пшеницу, сено, овес, так что им осталось только вместе со скотиной умирать голодной смертью, ограбили все вокруг... да еще требовали денег и увезли с собой заложников, пока эти деньги не уплачены...»

(3. XII. 1799.)

1799. Год рождения величайшего русского поэта А. С. Пушкина (ум. в 1837 г.)

Горячую симпатию Пушкина к немецкому поэту характеризуют строки из стихотворения «19 октября», обращенные к друзьям юности:
«Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви...»

1800

1 января

«Поздравляю вас с Новым годом и новым веком, надеюсь, что вы встретили его в добром здравии. Пойдете ли вы сегодня в оперу? Если да, то мы увидимся, так как я решил сегодня развлечься!»

(К Гете.)

- Середина февраля* Шиллер тяжело болен.
- Апрель* В Веймарском театре — премьера трагедии Шекспира «Макбет» в обработке Шиллера.
- Май* Шиллер живет в замке Эттерсбург в полном уединении. Работает над «Марией Стюарт».
- 9 июня* «Мария Стюарт» окончена.
- 14 июня* Премьера «Марии Стюарт» в Веймарском театре. «Я начинаю, наконец, овладевать сущностью драматургии и знанием своего ремесла».
- (К Кернеру, 16.VI.)
- 22 июня* Шиллер посылает Иффланду экземпляр своей новой трагедии для Берлинского театра.
- Июль — август* Веймарская группа с огромным успехом играет «Марию Стюарт» в Лаухштедте.
- 1 июля* Шиллер приступает к работе над романтической трагедией — «Орлеанская дева».
- Июль* Шиллер просит Кернера прислать ему материалы о процессах ведьм.
- Опубликовано первое собрание стихотворений Шиллера. «Особенно старался я насколько возможно изъять из стихов абстрактные идеи; в свое время я слишком увлекся этой стороной».
- (К Кернеру, 3.IX.)
- 2 августа* Шиллер сообщает Гете, что познакомился с целой литературой об эпохе Жанны д'Арк.
- Осень — зима* Работает над «Орлеанской девой».

1801

- 3 января* Шиллер сообщает Кернеру, что тяжелая болезнь Гете задержала на некоторое время его (Шиллера) работу.
- 10 февраля* Шиллер знакомит Гете с первыми тремя актами новой драмы.
- 5 марта — 3 апреля* Шиллер в Иене, куда он поехал, чтобы в уединении завершить работу.
- 27 марта* В письме к Гете Шиллер сообщает о своем споре с Шеллингом по поводу утверждения

последнего в его «Трансцендентальной философии», будто «в природе все идет от бессознательного, чтобы прийти к сознательному, в искусстве же, наоборот, идут от сознательного к бессознательному». «Боюсь только, что господа идеалисты в угоду своей идее слишком мало считаются с практикой,— утверждает Шиллер,— на практике же и писатель тоже всегда начинается с бессознательного, больше того, он может почесть себя счастливым, если снова обретет в законченном произведении не ослабленную свою первую смутную еще общую идею. Без такой смутной, но могучей общей идеи, которая предшествует всему техническому процессу, не может быть создано поэтическое произведение...»

16 апреля

Закончена трагедия — «Орлеанская дева».

20 апреля

Возвращая Шиллеру рукопись нового произведения, Гете пишет: «Оно так прекрасно, что я и не знаю, с чем его сравнить!»

Середина мая

В письме к Кернеру Шиллер рассказывает о своих дальнейших творческих планах — поэт колеблется между сюжетами «Мальтийцев», «Уорбека» и «Мессинской невесты».

Лето

Шиллер с семьей живет у Кернера в Лопшице, затем в Дрездене.

Начало сентября

Шиллер переезжает из Дрездена в Лейпциг, чтобы посмотреть на местной сцене «Орлеанскую деву».

18 сентября

Премьера «Орлеанской девы» в Лейпциге. Огромный успех.

Конец сентября

Шиллер возвращается в Веймар.

Осень — начало зимы

Шиллер занят переработкой для театра «Турандот» Гоцци и «Ифигении» Гете.

В певческом кружке Гете, собиравшемся по средам в его доме, Шиллер читает новые стихи — «Благоволенье мига», «Друзьям», «Четыре века».

Конец года

Стараниями Коцебу в городской ратуше должен был состояться праздник в честь Шиллера. Отменен по настоянию поэта. В своих

воспоминаниях об этом времени Гете впоследствии рассказывал: «Шиллер был, как это легко представить себе при его возвышенном характере, решительным врагом пошлого обожания и пустых почестей, предметом которых его делали или хотели сделать. Когда Коцебу вздумал устроить в честь его публичную демонстрацию, это было ему так противно, что от отвращения он буквально заболел. Точно так же неприятно было ему принимать незнакомых посетителей, являвшихся к нему на поклон...»

(Эккерман. «Разговоры с Гете».)

1801. В Германии возникают первые профессиональные рабочие объединения (касса взаимопомощи мостильщиков в Берлине и годом позднее — печатников в Дрездене).

Заклучен Люневильский мир, по которому к Франции отходит левый берег Рейна.

1802

26 января

Премьера «Орлеанской девы» в Дрездене.

30 января

Первый спектакль «Турандот» Гоцци — Шиллера в Веймарском театре.

Шиллер получает приглашение ко двору герцога Веймарского.

2 февраля

В записке, адресованной Шарlotte фон Штейн, Шиллер просит избавить его от необходимости посещать двор. «Так как я здесь живу уже два года, не будучи ни разу приглашен ко двору... то желал бы, чтобы и на будущее время, по случаю моей болезни, меня исключили из списка приглашенных. Вы хорошо знаете, что лично для себя я не стремлюсь к отличиям...»

Март

Поэт начал подготовительные работы к новой драме «Вильгельм Телль».

29 апреля

Смерть матери Шиллера.

Шиллер переезжает в купленный им дом на Эспланаде (в начале XIX столетия эта веймар-

ская улица была аллеей, которая вела к театру, находившемуся за городской стеной).

*Середина
августа*

Шиллер приступает к работе над трагедией «Мессинская невеста». «После долгого колебания между несколькими сюжетами я решил взяться сначала за этот... А чтобы ты не потерял веры в мою творческую работоспособность, прилагаю «Кассандру», небольшое стихотворение, родившееся в прошлом месяце».

(К Кернеру, 9.IX.)

15 ноября

Шиллер сообщает Кернеру, что полторы тысячи стихов «Мессинской невесты» уже готовы.

16 ноября

Шиллеру пожалована дворянская грамота.

О том, сколь мало значения придавал Шиллер этому событию, свидетельствует его замечание в письме к В. Гумбольдту от 17.II.1803 г.: «Вы, вероятно, смеялись, услышав о возведении нас в более высокое звание. То была затея нашего герцога, а так как все уже свершилось, то я соглашаюсь принять это звание из-за Лоло и детей. Лоло сейчас в своей стихии, так как вертит шлейфом при дворе».

1803

Январь

Ухудшение здоровья Шиллера. «Из-за головных болей я часто бываю вынужден отдыхать целые недели».

(К Кернеру, 7.I.)

*Первые дни
февраля*

Окончена «Мессинская невеста».

4 февраля

Читает «Мессинскую невесту» «в обществе друзей, знакомых и врагов», как Шиллер в тот же день сообщает Гете.

17 февраля

В письме к В. Гумбольдту Шиллер выражает свое усиливающееся разочарование немецкими писателями-романтиками так называемой Йенской школы. «Школа Шлегеля и Тика становится все более пустой и карикатурной...»

- 19 марта* Премьера «Мессинской невесты» в Веймарском театре. «После спектакля мне была устроена овация, на которую здесь раньше вообще не решались».
- (К Кернеру, 28.III.)
- Март—апрель* Шиллер занят переводом и переработкой пьес французского комедиографа Л. Ф. Пикара — «Племянник-дядя» и «Паразит» (заглавия Шиллера).
- 23 апреля* Первый спектакль «Орлеанской девицы» на веймарской сцене. «Пьеса прошла восхитительно и имела необычайный успех».
- (К Кернеру, 12.V.)
- Спектакль был повторен 30 апреля, 7 мая и 30 мая.
- Начало мая* Шиллер едет на несколько дней в Эрфурт на празднество, устроенное в его честь.
- Июль* Шиллер живет в Лаухштедте, где играла в то время веймарская труппа.
- 3 июля* После спектакля «Мессинской невесты» студенты чествуют поэта — поют серенаду под его окнами.
- 12 июля* В письме к Иффланду Шиллер обещает еще до конца зимы прислать в Берлин «Телля».
- Июль—август* Продолжение подготовительной работы для «Вильгельма Телля».
- 25 августа* В рабочем календаре Шиллер записывает: «Сегодня вечером приступил к Теллю».
- «Вы на редкость счастливый человек, дорогой Шиллер, что смогли сохранить в себе такую живую творческую силу; мне кажется, ни одному писателю не удавалось так, как вам, следовать раз намеченному пути. Вряд ли хоть кто-нибудь, кто познакомится с вашими драмами в их хронологической последовательности, станет это отрицать...»
- (Из письма В. Гумбольдта. Рим. 27.X.1803 г.)
- Конец года* Напряженная работа над «Теллем», прерываемая приступами болезни.

Декабрь

Приезд в Веймар французских писателей, мадам де Сталь и Бенжамена Констана. Шиллер ведет с ними продолжительные беседы о немецкой литературе и философии.

1803. Смерть Гердера и Клопштока.

По требованию Наполеона рейхстаг утверждает план «вознаграждения» крупных германских государств за потери их владений на левом берегу Рейна присоединением к ним 112 мелких княжеств.

Опубликован русский перевод «Заговора Фиеско» («Заговор Фиеско в Генуе», трагедия г. Шиллера в 5 д., перевод Гнедича, М. 1803).

1804

18 февраля

Запись в рабочем календаре: «Окончил «Телля».

10 марта

Запись в рабочем календаре: «Решил писать «Деметриуса».

17 марта

Первое представление «Вильгельма Телля» в Веймаре. В письме от 20.III. Шиллер сообщает Кернеру: «...«Телль» имел гораздо больший успех, нежели другие мои пьесы».

20 марта

Шиллер делится с В. Вольцогеном своими планами переезда из Веймара, все более тяготившего поэта мелочностью интересов, в какой-либо другой город. «Повсюду будет лучше, чем тут...»

Апрель

Иффланд посылает к Шиллеру секретаря Берлинского Национального театра Паули, которому поручено уговорить поэта произвести купюры в тексте «Вильгельма Телля» и переработать некоторые места драмы, вызывающие «политические опасения» дирекции театра.

1—20 мая

Шиллер с семьей, по приглашению Иффланда, живет в Берлине. Король Фридрих Вильгельм III предлагает назначить поэту значительную пенсию, если он переедет в прус-

скую столицу. От предложения поселиться в Берлине Шиллер отказывается.

- Июнь* Первые наброски «Деметриуса».
- Начало июля* Шиллер с женой живут в Иене.
- 25 июля* Рождение дочери Шиллера — Эмилии.
Новый тяжелейший приступ болезни, от которого Шиллеру уже не суждено было оправиться.
- Середина августа* Шиллер возвращается в Веймар.
- Октябрь* «Постепенно начинаю поправляться и обретать веру в свое выздоровление, совершенно утраченную за последние два месяца».
- (К Кернеру, 11.X.)
- 4—8 ноября* По просьбе Гете Шиллер пишет к прибытию в Веймар недавно обручившейся княжеской четы — наследного принца Веймарского — Карла Фридриха и Марии Павловны (дочери Павла I) небольшую пьесу — «Приветствие искусств», которую сам считал позже «искусственным произведением».
- 12 ноября* Премьера «Приветствия искусств» на веймарской сцене.
- Декабрь* Шиллер работает над переводом «Федры» Расина, так как болезнь не позволяет «и думать о счастливой вольной деятельности».

1805

- 14 января* Перевод «Федры» окончен.
- 30 января* «Федра» поставлена в Веймарском театре.
- Зима* Шиллер болен. Лишен общения с Гете, который в это время тоже много хворает.
- Март* Превозмогая болезнь, Шиллер снова принимается за «Деметриуса».
- 2 марта* В письме к В. Гумбольдту Шиллер пессимистически оценивает состояние современной немецкой литературы и ее ближайшие перспективы.

- 25 апреля* Сообщая Кернеру о скором выходе «Племянника Рамо» Дидро, переведенного и прокомментированного Гете, Шиллер с чрезвычайной симпатией отзывається об этом произведении, в котором автор «отомстил своре темных критиков за всех хороших писателей своего времени...»
- 29 апреля* Шиллер последний раз посещает Гете.
- Начало мая* Шиллеру хуже — он снова прикован к постели.
- 9 мая в шестом часу вечера* Смерть Шиллера.
- В ночь на 12 мая* Скромные похороны Шиллера на кладбище при церкви св. Якова. В 1827 г. останки Шиллера, положенные в саркофаг, сделанный по рисунку Гете, были перенесены в герцогский склеп.

1805. В Московском журнале «Аврора» опубликована обширная статья о Шиллере одного из издателей — Я. И. де Санглета (т. 1, №№ 1 и 2) — первое на русском языке критическое исследование о Шиллере.

Л. ЛОЗИНСКАЯ

А Л Ф А В И Т Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ъ
произведений Фридриха Шиллера,
включенных в 1—7 тт. Собрания сочинений

	<i>Том</i>	<i>Стр.</i>
Альпийский стрелок	1	363
Амалия	1	80
Анонимная река	1	240
Античная статуя — северному страннику	1	209
Античные статуи в Париже	1	320
Архимед и ученик	1	211
Астрономам	1	233
Астрономические сочинения	1	234
Афоризмы и отрывки из рукописного наследия Шиллера	6	65
Баловни счастья	1	221
Беглец	1	133
Безупречность	1	236
Бессмертие	1	210
Битва	1	115
Благоволение мига	1	339
Благосклонность муз	1	237
Боги Греции	1	156
Бой с драконом	1	283
Болтуны — ценители искусства	1	237
Борьба	1	145
Брут и Цезарь	1	80
Валленштейн. Драматическая поэма	2	273
В альбом другу	1	365
Везер	1	240
Величие мира	1	124
Вечер	1	185

	<i>Том</i>	<i>Стр.</i>
Вильгельм Телль. Драма	3	271
Власть песнопения	1	178
Внутреннее и внешнее	1	234
Возвышенная тема	1	218
Возмездие муз	1	105
Вольфовский Гомер	1	221
Ворота	1	238
Воспитатели	1	217
Восхищение Лаурой	1	110
Восьмистрочная станса	1	238
Встреча	1	246
В чем состоит изучение мировой истории и какова цель этого изучения (вступительная лекция)	4	7
Выбор	1	236
Вытрезвление Бахуса	1	102
Гениальность	1	235
Гений	1	193
Гений	1	235
Гений с опрокинутым светильником	1	214
Гению весны	1	124
Германия и ее князя	1	207
Германское государство	1	219
Геро и Леандр	1	324
Гомериды	1	221
Гордость человека	1	213
Горная дорога	1	362
Граф Габсбургский	1	354
Граф Эберхард Грейнер фон Бюртемберг	1	136
Грекомания	1	220
Греческий Гений	1	215
Группа из Тартара	1	128
Данаиды	1	219
Два пола	1	228
Два пути добродетели	1	208
Двойкий способ действия	1	230
Дева с чужбины	1	222
Детоубийца	1	111
Дилетант	1	237
Дистих	1	238
Дитя в колыбели	1	206
Дифирамб	1	229
Дмитрий Самозванец. Неоконченная трагедия	3	427
Добродетель женщины	1	214
Добро и величие	1	216
Долг каждого	1	231
Дон Карлос, инфант Испанский. Драматическая поэма	2	7

Достоинство женщины	1	186
Достоинство мужчины	1	139
Достойное уважения	1	213
Достопримечательные события из жизни маршала де Вьейвиля	5	523
Друг и враг	1	234
Дружба	1	130
Друзьям	1	340
Дунай в ***	1	239
Дурные монархи	1	93
Дух и буква	1	219
Духовидец. Из воспоминаний графа фон О ***	3	533
Естествоиспытатели и трансцендентальные философы	1	220
Жалоба девушки	1	302
Жалоба Цереры	1	224
Желание	1	322
Животворящее	1	230
Журналисты и Минос	1	99
Заал	1	239
Завтрак герцога Альбы в Рудольштадтском замке в 1547-г.	4	377
Заговор Фиеско в Генуе. Республиканская трагедия	1	497
Заговор Фиеско в Генуе	6	536
Задача	1	231
Законодательство Ликурга и Солона	5	409
Законодателям	1	213
Закон природы	1	236
Зальцах	1	240
Зевс — Геркулесу	1	206
Зенит и Надир	1	212
Зимняя ночь	1	142
Знаменитая женщина	1	160
Значение	1	218
Ивиковы журавли	1	267
Игра судьбы. Отрывок из хроники	3	519
Играющий мальчик	1	207
Идеал женщины	1	214
Идеал и жизнь	1	189
Идеальная свобода	1	234
Изречение Конфуция	1	315
Иермеиада	1	241
Илиада	1	210
Ильм	1	239
Иоанниты	1	207
История отпадения соединенных Нидерландов от ис- панского владычества	4	29

История французских смут, предшествовавших воцарению Генриха IV	4	383
Исправителю мира	1	233
Исследователи	1	236
Истина	1	216
Источник юности	1	213
Ищущим прозелитов	1	208
К*	1	231
К**	1	231
К***	1	231
К Гете, когда он поставил «Магомета» Вольтера	1	317
К Минне	1	134
К музе	1	231
К радости	1	149
К цветам	1	125
К Эмме	1	249
Калий, или О красоте	6	79
Кант и его толкователи	1	219
Карфаген	1	212
Кассандра	1	344
Кернеру	1	153
Ключ	1	232
Коварство и любовь. Мещанская трагедия	1	613
Колесница Венеры	1	84
Колумб	1	208
Красота	1	217
Критику	1	232
Круг природы	1	213
Кубок	1	254
Купец	1	208
Лаура у клавесина	1	109
Лжеучение	1	213
Les fleuves indiscrets	1	240
Лучшее государственное устройство	1	213
Лучшее государство	1	234
Любовь и желание	1	216
Майн	1	239
Majestas populi	1	233
Мария Стюарт. Трагедия	2	643
Мастер	1	237
Мессинская невеста, или Враждующие братья. Трагедия с хорами	3	163
Метафизик	1	186
Мечты	1	183
Мистикам	1	232
Многообразие	1	235

Могильная фантазия	1	82
Могущество женщин	1	214
Моралисту	1	123
Моя антипатия	1	233
Моя вера	1	234
Мудрецы	1	203
Мудрость и ум	1	232
Мужицкая серенада	1	104
Музей антиков в Мангейме	6	542
Музыка	1	236
Мысли об употреблении пошлого и низкого в искус- стве	6	505
Надежда	1	279
На день рождения госпожи Гризбах	1	251
Надовесский похоронный плач	1	263
Наивысшее	1	210
Наука	1	219
Начало нового века	1	321
Неизменное	1	206
Немецкая верность	1	209
Немецкая комедия	1	220
Немецкая муза	1	320
Немецкий гений	1	218
Немецкий шедевр	1	220
Нения	1	303
Непобедимая армада	1	154
Непростительное	1	219
Нечто о первом человеческом обществе по данным Моисеева Пятикнижия	5	501
Новейшие законодатели вкуса	1	219
Нравственная сила	1	230
...ные реки	1	240
Нынешнее поколение	1	231
О великом переселении народов, о крестовых походах и о средних веках	5	477
О возвышенном. I	6	171
О возвышенном. II	6	488
О грации и достоинстве	6	115
О наивной и сентиментальной поэзии	6	385
О необходимых пределах применения художественных форм	6	359
О нравственной пользе эстетических нравов	6	478
О применении хора в трагедии	6	655
О причине наслаждения, доставляемого трагическими предметами	6	26
О «Садовом Календаре на 1795 год»	6	647
О современном немецком театре	6	7

	Том	Стр.
О стихотворениях Бюргера	6	608
О стихотворениях Маттисона	6	628
О трагическом искусстве	6	41
Об игре Иффланда в «Короле Лире»	6	540
Об «Эгмонте», трагедии Гете	6	597
Обзор важнейших событий всемирной истории во времена императора Фридриха I	5	449
Обелиск	1	238
Объявление книгопродавца	1	220
Общая участь	1	215
Одиссей	1	206
Ожидание	1	248
Ожидание и исполнение	1	215
Опасные последствия	1	221
Орлеанская дева	1	323
Орлеанская дева. Романтическая трагедия	3	7
Осада Антверпена принцем Пармским в 1584—1585 годах	4	333
Остроумие и рассудок	1	217
Отец	1	215
Отречение	1	146
Памятник разбойнику Моору	1	131
Певцы минувшего	1	211
Пегас в ярме	1	180
Пегниц	1	240
Первое (ненапечатанное) предисловие к «Разбойникам»	6	515
Перчатка	1	259
Песнь о колоколе	1	304
Песня привратника	1	319
Печать в виде головы Гомера	1	237
Пикколомини	2	326
Письма об эстетическом воспитании человека	6	251
Письма о «Дон Карлосе»	6	552
Плейса	1	239
Подарок	1	213
Подражатель	1	235
Поликратов перстень	1	260
Политическое учение	1	232
Помпея и Геркуланум	1	223
Порука	1	291
Посредственное и доброе	1	218
Почести	1	207
Поэзия жизни	1	177
Поэт-моралист	1	218
Поэту	1	237
Пояс	1	237
Правление	1	216

Предисловие к «Дон Карлосу» в журнале «Рейнская Талия»	6	548
Предисловие к полному собранию исторических ме- муаров	5	401
Предпочтение	1	217
Преждевременным объединителям	1	220
Прекрасная индивидуальность	1	234
Прекраснейшее явление	1	245
Прекрасный мост	1	238
Преступник из-за потерянной чести. Истинное проис- шествие	3	493
Приговор женщины	1	214
Притчи и загадки	1	331
Прогулка	1	197
Прощение	1	152
Прощание Гектора	1	79
Прощанье с читателем	1	188
Пружины	1	216
Пуншевая песня	1	351
Пуншевая песня. Для севера	1	352
Путеводители жизни	1	212
Путешественник. Песня	1	350
Разбойники. Драма в пяти действиях	1	369
«Разбойники»	6	519
Раздел земли	1	202
Различное назначение	1	230
Разрозненные размышления о различных эстетиче- ских предметах	6	223
Рассудок	1	217
Редкое сочетание	1	236
Рейн	1	239
Рейн и Мозель	1	239
Рецензия на «Мемуары» Гольдони	6	594
Руссо	1	111
Рыцарь Тогенбург	1	265
Сависское извятие под покровом	1	194
Свет и тепло	1	253
Свет и цвет	1	234
Сеятель	1	208
Сила поэзии	1	217
Смерть Валленштейна. Трагедия в пяти действиях	2	446
Слова безумия	1	316
Слова веры	1	252
Собор святого Петра	1	238
Собственный идеал	1	232
Согласие	1	232
Солдатская песня	1	301

	<i>Том</i>	<i>Стр.</i>
Сообщение	1	230
Сословное различие	1	230
Сравнение	1	143
Средство соединения	1	218
Субъект	1	216
Суд женщины	1	214
Суд над графами Эгмонтом и Горном и казнь их	4	323
Счастье	1	281
Тайна	1	247
Тайна воспоминаний	1	126
Танец	1	179
Театр жизни	1	245
Театр, рассматриваемый как нравственное учреждение	6	15
Тень Шекспира	1	244
Теофания	1	210
Торжество победителей	1	357
Три возраста природы	1	235
То, чему бог научил...	1	229
Тридцатилетняя война	5	7
Триумфальная арка	1	238
Триумф любви	1	117
Тэкла	1	347
Уловка	1	218
Уродство	1	216
Условие	1	217
Ученое общество	1	220
Ученый труженик	1	231
Фантазия	1	217
Фантазия к Лауре	1	107
Филистер и прекраснодушный	1	216
Философская беседа	1	219
Философские системы	1	237
Философский эгоист	1	209
Философы	1	241
Фортуна и мудрость	1	122
Хождение на железный завод	1	272
Художники	1	164
Целебный источник в ***	1	240
Ценное и достойное	1	230
Человеческая деятельность	1	215
Человеческое знание	1	211
Четыре века	1	342

	<i>Том</i>	<i>Стр.</i>
Ширина и глубина	1	254
Шире	1	240
Элевзинский праздник	1	295
Элегия на смерть юноши	1	96
Элизиум	1	129
Эльба	1	239
Эпический гекзаметр	1	238
Эпоха	1	218
Юному другу, посвятившему себя философии	1	210
Юноша у ручья	1	349
Язык	1	236

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АДРЕСАТОВ

	<i>Стр.</i>
Августу Вильгельму Иффланду	
15 октября 1798 г.	512
26 апреля 1800 г.	543
22 июня 1800 г.	545
19 ноября 1800 г.	552
23 января 1804 г.	595
Андреасу Штрейхеру	
8 декабря 1782 г.	40
14 января 1783 г.	42
9 октября 1795 г.	350
Вильгельму фон Архенгольцу	
10 июля 1795 г.	339
Вильгельму фон Вольцогену	
16 июня 1804 г.	597
Вильгельму фон Гумбольдту	
9 августа 1795 г.	343
5 октября 1795 г.	347
26 октября 1795 г.	353
9 ноября 1795 г.	357
7 декабря 1795 г.	361
17 декабря 1795 г.	367
25 декабря 1795 г.	371
4 января 1796 г.	377
9 и 11 января 1796 г.	381
21 марта 1796 г.	389
27 июня 1798 г.	501
17 февраля 1803 г.	582
18 августа 1803 г.	591
2 апреля 1805 г.	606
Вильгельму Петерсену	
[Весна 1781 г.]	14

Вильгельму Шлегелю	
10 декабря 1795 г.	365
9 января 1796 г.	379
11 марта 1796 г.	386
[1 июня (?) 1797 г.]	460
Вольфгангу фон Гете	
13 июня 1794 г.	301
23 августа 1794 г.	304
31 августа 1794 г.	308
7 сентября 1794 г.	312
28 октября 1794 г.	317
9 декабря 1794 г.	322
7 января 1795 г.	325
19 февраля 1795 г.	327
22 февраля 1795 г.	329
15 мая 1795 г.	331
15 июня 1795 г.	333
6 июля 1795 г.	338
17 августа 1795 г.	345
16 октября 1795 г.	351
29 декабря 1795 г.	375
22 января 1796 г.	385
31 января 1796 г.	385
18 июня 1796 г.	395
28 июня 1796 г.	397
2 июля 1796 г.	399
3 июля 1796 г.	404
5 июля 1796 г.	408
6 июля 1796 г.	412
8 июля 1796 г.	412
9 июля 1796 г.	418
23 июля 1796 г.	423
28 июля 1796 г.	424
31 июля 1796 г.	426
1 августа 1796 г.	427
19 октября 1796 г.	431
23 октября 1796 г.	433
28 октября 1796 г.	436
28 ноября 1796 г.	438
12 декабря 1796 г.	444
17 января 1797 г.	445
7 февраля 1797 г.	446
4 апреля 1797 г.	448
7 апреля 1797 г.	449
25 апреля 1797 г.	451
2 мая 1797 г.	455
5 мая 1797 г.	456
16 мая 1797 г.	459
23 июня 1797 г.	461

26 июня 1797 г.	462
7 июля 1797 г.	464
17 августа 1797 г.	466
7 сентября 1797 г.	470
22 сентября 1797 г.	474
20 октября 1797 г.	476
30 октября 1797 г.	478
28 ноября 1797 г.	480
1 декабря 1797 г.	481
8 декабря 1797 г.	483
12 декабря 1797 г.	484
[26 декабря 1797 г.]	486
29 декабря 1797 г.	489
19 января 1798 г.	490
9 февраля 1798 г.	495
20 февраля 1798 г.	497
23 февраля 1798 г.	498
2 марта 1798 г.	500
31 июля 1798 г.	507
24 августа 1798 г.	508
22 декабря 1798 г.	515
7 марта 1799 г.	519
15 марта 1799 г.	519
17 марта 1799 г.	520
19 марта 1799 г.	520
26 апреля 1799 г.	523
25 июня 1799 г.	526
19 июля 1799 г.	528
2 августа 1799 г.	529
9 августа 1799 г.	530
16 августа 1799 г.	532
20 августа 1799 г.	533
15 октября 1799 г.	539
25 октября 1799 г.	540
13 сентября 1800 г.	549
[Февраль 1801 г.]	558
16 марта 1801 г.	558
27 марта 1801 г.	560
28 апреля 1801 г.	563
22 января 1802 г.	570
20 марта 1802 г.	574
21 декабря 1803 г.	593
14 января 1804 г.	595
6 июня 1804 г.	596
3 августа 1804 г.	599
14 января 1805 г.	603
22 февраля 1805 г.	605
27 марта 1805 г.	605

Генриетте фон Вольцоген	
11 сентября 1783 г.	52
7 июня 1784 г.	58
8 октября 1784 г.	61
Георгу Генриху Недену	
5 июня 1799 г.	525
Георгу Гешену	
10 февраля 1802 г.	572
Гериберту фон Дальбергу	
[Июль 1781 г.]	16
17 августа 1781 г.	17
6 октября 1781 г.	18
3 ноября 1781 г.	21
12 декабря 1781 г.	23
25 декабря 1781 г.	27
1 апреля 1782 г.	29
4 июня 1782 г.	30
15 июля 1782 г.	32
[30 сентября 1782 г.]	35
16 ноября 1782 г.	39
3 апреля 1783 г.	46
2 июля 1784 г.	61
19 марта 1785 г.	72
Герцогу Карлу Августу	
1 сентября 1799 г.	536
Герцогу Карлу Вюртембергскому	
1 сентября 1782 г.	34
Герцогу Фридриху Христиану Августенбургскому и графу Эрнсту фон Шиммельману	
19 декабря 1791 г.	268
Госпоже Луизе фон Ленгефельд, урожд. фон Вурмб	
18 декабря 1789 г.	243
22 декабря 1789 г.	244
Госпоже фон Кальб	
[20 апреля 1799 г.]	522
Готлибу Фихте	
24 июня 1795 г.	335
4 августа 1795 г.	340
Готфриду Гердеру	
4 ноября 1795 г.	356
Готфриду Кернеру	
10 и 22 февраля 1785 г.	67—68
7 мая 1785 г.	79
3 июля 1785 г.	82
11 июля 1785 г.	87
15 апреля 1786 г.	94
29 декабря 1786 г.	98
22 апреля 1787 г.	100
23 и 24 июля 1787 г.	106—109

28 и 31 июля 1787 г.	113—116
8 августа 1787 г.	119
12 августа 1787 г.	125
29 августа 1787 г.	130
14 октября 1787 г.	140
8 декабря 1787 г.	143
19 декабря 1787 г.	147
18 января 1788 г.	149
12 февраля 1788 г.	151
26 мая 1788 г.	162
27 июля 1788 г.	164
12 сентября 1788 г.	169
20 октября 1788 г.	172
1 декабря 1788 г.	183
Новый 1789 г. и 5 января	191—192
12 января 1789 г.	193
25 февраля 1789 г.	197
9 марта 1789 г.	201
10 марта 1789 г.	206
30 марта 1789 г.	208
28 мая 1789 г.	217
23 ноября 1789 г.	239
24 декабря 1789 г.	247
6 января 1790 г.	249
1 марта 1790 г.	253
16 мая 1790 г.	256
1 ноября 1790 г.	257
26 ноября 1790 г.	259
22 февраля 1791 г.	262
3 марта 1791 г.	264
13 декабря 1791 г.	267
25 мая 1792 г.	270
6 ноября 1792 г.	273
21 декабря 1792 г.	274
5 мая 1793 г.	282
27 мая 1793 г.	283
15 сентября 1793 г.	285
4 октября 1793 г.	285
3 февраля 1794 г.	288
17 марта 1794 г.	293
18 мая 1794 г.	295
12 июня 1794 г.	298
4 сентября 1794 г.	311
9 октября 1794 г.	315
10 ноября 1794 г.	319
19 декабря 1794 г.	324
21 декабря 1795 г.	369
21 марта 1796 г.	388
23 мая 1796 г.	393

[28 октября 1796 г.]	435
28 ноября 1796 г.	441
1 мая 1797 г.	454
10 июля 1797 г.	465
31 августа 1798 г.	510
8 мая 1799 г.	524
26 сентября 1799 г.	537
5 января 1800 г.	541
24 марта 1800 г.	542
16 июня 1800 г.	543
3 июля 1800 г.	546
13 июля 1800 г.	547
28 июля 1800 г.	548
21 октября 1800 г.	550
13 января 1801 г.	557
27 апреля 1801 г.	562
13 мая 1801	566
21 января 1802 г.	568
18 февраля 1802 г.	573
9 сентября 1802 г.	577
15 ноября 1802 г.	579
29 ноября 1802 г.	581
10 марта 1803 г.	585
28 марта 1803 г.	586
12 мая 1803 г.	588
11 октября 1804 г.	601
10 декабря 1804 г.	602
20 января 1805 г.	604
25 апреля 1805 г.	609
Графине Шарлотте фон Шиммельман 23 ноября 1800 г.	554
Доктору фон Якоби 6 ноября 1782 г.	37
Друзьям [1781 или 1782 г.]	29
Иммануилу Канту 13 июня 1794 г.	299
1 марта 1795 г.	330
Иоганну Генриху Рамбергу 7 марта 1793 г.	280
Карлу Бёттигеру 1 марта 1799 г.	517
Карлу Фридриху Бейме 18 июня 1804 г.	598
Каролине фон Бейльвиц 27 ноября 1788 г.	179

10 декабря 1788 г.	189
5 февраля 1789 г.	195
25 августа 1789 г.	227
3 ноября 1789 г.	233
Каспару и Доротее Шиллер	321
21 ноября 1794 г.	321
Лотте фон Ленгефельд	
[конец февраля или начало марта 1788 г.]	155
5 апреля 1788 г.	156
11 апреля 1788 г.	157
2 мая 1788 г.	160
[20 августа 1788 г.]	167
Конец августа 1788 г.	168
Конец сентября 1788 г.	171
Ноябрь 1788 г.	176
Ноябрь 1788 г.	176
[27 ноября 1788 г.]	177
4 декабря 1788 г.	186
23 апреля 1789 г.	213
30 апреля 1789 г.	215
3 августа 1789 г.	222
[3 августа 1789 г.]	223
25 августа 1789 г.	225
12 сентября 1789 г.	229
29 октября 1789 г.	231
15 ноября 1789 г.	235
[30 ноября] 1789 г.	241
[8 января 1790 г.]	252
15 января 1791 г.	261
Мартину Виланду	
3 октября 1791 г.	266
17 октября 1801 г.	568
Отцу, Каспару Шиллеру	
7 января 1790 г.	250
Принцу Фридриху Христиану фон Шлезвиг-Гольштейн-Августенбургскому	
9 февраля 1793 г.	276
10 июня 1794 г.	296
Рейнвальду	
27 марта 1783 г.	43
14 апреля 1783 г.	47
3 мая 1783 г.	51
[11 мая 1783 г.]	51

Фердинанду Губеру	
7 декабря 1784 г.	64
25 марта 1785 г.	73
[17 апреля 1785 г.]	75
5 октября 1785 г.	91
Фридриху Гельдерлину	
24 ноября 1796 г.	437
24 августа 1799 г.	535
Фридриху Котта	
16 декабря 1798 г.	513
19 февраля 1799 г.	516
Фридриху фон Ховену	
[Конец 1781 г.]	22
Фридриху Шарфенштейну	
Лето 1777 г.	7
Фридриху Шеллингу	
12 мая 1801 г.	564
Фридриху Шредеру	
12 октября 1786 г.	96
13 июня 1787 г.	102
4 июля 1787 г.	105
Христиану Нивану	
30 декабря 1781 г.	28
24 апреля 1785 г.	76
Христофине Рейнвальд	
25 апреля 1796 г.	393
[10 мая 1802 г.]	576
Христофине Шиллер	
19 июня 1780 г.	12
1 января 1784 г.	56
28 сентября 1785 г.	89
Шарлотте Шиллер	
20 сентября 1794 г.	314
[4 декабря 1799 г.]	541
4 июля 1803 г.	589
21 августа 1804 г.	600
Элизабет Шиллер	
19 сентября 1796 г.	429

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ПИСЬМА ШИЛЛЕРА

1. Фридриху Шарфенштейну, лето 1777 г.	7
2. Христофине Шиллер, 19 июня 1780 г.	12
3. Вильгельму Петерсену [весна 1781 г.]	14
4. Гериберту фон Дальбергу [июль 1781 г.]	16
5. Гериберту фон Дальбергу, 17 августа 1781 г.	17
6. Гериберту фон Дальбергу, 6 октября 1781 г.	18
7. Гериберту фон Дальбергу, 3 ноября 1781 г.	21
8. Фридриху фон Ховену [конец 1781 г.]	22
9. Гериберту фон Дальбергу, 12 декабря 1781 г.	23
10. Гериберту фон Дальбергу, 25 декабря 1781 г.	27
11. Христиану Швану, 30 декабря 1781 г.	28
12. Друзьям [1781 г. или 1782 г.]	29
13. Гериберту фон Дальбергу, 1 апреля 1782 г.	29
14. Гериберту фон Дальбергу, 4 июня 1782 г.	30
15. Гериберту фон Дальбергу, 15 июля 1782 г.	32
16. Герцогу Карлу Бюртембергскому, 1 сентября 1782 г.	34
17. Гериберту фон Дальбергу [30 сентября 1782 г.]	35
18. Доктору фон Якоби, 6 ноября 1782 г.	37
19. Гериберту фон Дальбергу, 16 ноября 1782 г.	39
20. Андреасу Штрейхеру, 8 декабря 1782 г.	40
21. Андреасу Штрейхеру, 14 января 1783 г.	42
22. Рейнвальду, 27 марта 1783 г.	43
23. Гериберту фон Дальбергу, 3 апреля 1783 г.	46
24. Рейнвальду, 14 апреля 1783 г.	47
25. Рейнвальду, 3 мая 1783 г.	51
26. Рейнвальду [11 мая 1783 г.]	51
27. Генриетте фон Вольцоген, 11 сентября 1783 г.	52
28. Христофине Шиллер, 1 января 1784 г.	56
29. Генриетте фон Вольцоген, 7 июня 1784 г.	58
30. Гериберту фон Дальбергу, 2 июля 1784 г.	61
31. Генриетте фон Вольцоген, 8 октября 1784 г.	61
32. Фердинанду Губеру, 7 декабря 1784 г.	64

33. Готфриду Кернеру, 10 и 22 февраля 1785 г.	67—68
34. Гериберту фон Дальбергу, 19 марта 1785 г.	72
35. Фердинанду Губеру, 25 марта 1785 г.	73
36. Фердинанду Губеру [17 апреля 1785 г.]	75
37. Христиану Швану, 24 апреля 1785 г.	76
38. Готфриду Кернеру, 7 мая 1785 г.	79
39. Готфриду Кернеру, 3 июля 1785 г.	82
40. Готфриду Кернеру, 11 июля 1785 г.	87
41. Христофине Шиллер, 28 сентября 1785 г.	89
42. Фердинанду Губеру, 5 октября 1785 г.	91
43. Готфриду Кернеру, 15 апреля 1786 г.	94
44. Фридриху Шредеру, 12 октября 1786 г.	96
45. Готфриду Кернеру, 29 декабря 1786 г.	98
46. Готфриду Кернеру, 22 апреля 1787 г.	100
47. Фридриху Шредеру, 13 июня 1787 г.	102
48. Фридриху Шредеру, 4 июля 1787 г.	105
49. Готфриду Кернеру, 23 и 24 июля 1787 г.	106—109
50. Готфриду Кернеру, 28 и 31 июля 1787 г.	113—116
51. Готфриду Кернеру, 8 августа 1787 г.	119
52. Готфриду Кернеру, 12 августа 1787 г.	125
53. Готфриду Кернеру, 29 августа 1787 г.	130
54. Готфриду Кернеру, 14 октября 1787 г.	140
55. Готфриду Кернеру, 8 декабря 1787 г.	143
56. Готфриду Кернеру, 19 декабря 1787 г.	147
57. Готфриду Кернеру, 18 января 1788 г.	149
58. Готфриду Кернеру, 12 февраля 1788 г.	151
59. Лотте фон Ленгефельд [конец февраля или начало марта 1788 г.]	155
60. Лотте фон Ленгефельд, 5 апреля 1788 г.	156
61. Лотте фон Ленгефельд, 11 апреля 1788 г.	157
62. Лотте фон Ленгефельд, 2 мая 1788 г.	160
63. Готфриду Кернеру, 26 мая 1788 г.	162
64. Готфриду Кернеру, 27 июля 1788 г.	164
65. Лотте фон Ленгефельд [20 августа 1788 г.]	167
66. Лотте фон Ленгефельд, конец августа 1788 г.	168
67. Готфриду Кернеру, 12 сентября 1788 г.	169
68. Лотте фон Ленгефельд и Каролине фон Бейльвиц, конец сентября 1788 г.	171
69. Готфриду Кернеру, 20 октября 1788 г.	172
70. Лотте фон Ленгефельд, ноябрь 1788 г.	176
71. Лотте фон Ленгефельд, ноябрь 1788 г.	176
72. Лотте фон Ленгефельд [27 ноября 1788 г.]	177
73. Каролине фон Бейльвиц, 27 ноября 1788 г.	179
74. Готфриду Кернеру, 1 декабря 1788 г.	183
75. Лотте фон Ленгефельд и Каролине фон Бейльвиц, 4 декабря 1788 г.	186
76. Каролине фон Бейльвиц, 10 декабря 1788 г.	189
77. Готфриду Кернеру, в Новый 1789 г. и 5 января	191—192
78. Готфриду Кернеру, 12 января 1789 г.	193
79. Каролине фон Бейльвиц, 5 февраля 1789 г.	195
80. Готфриду Кернеру, 25 февраля 1789 г.	197

81. Готфриду Кернеру, 9 марта 1789 г.	201
82. Готфриду Кернеру, 10 марта 1789 г.	206
83. Готфриду Кернеру, 30 марта 1789 г.	208
84. Лотте фон Ленгефельд и Каролине фон Бейльвиц, 23 апреля 1789 г.	213
85. Лотте фон Ленгефельд и Каролине фон Бейльвиц, 30 апреля 1789 г.	215
86. Готфриду Кернеру, 28 мая 1789 г.	217
87. Лотте фон Ленгефельд, 3 августа 1789 г.	222
88. Лотте фон Ленгефельд и Каролине фон Бейльвиц [3 августа 1789 г.]	223
89. Лотте фон Ленгефельд, 25 августа 1789 г.	225
90. Каролине фон Бейльвиц, 25 августа 1789 г.	227
91. Лотте фон Ленгефельд и Каролине фон Бейльвиц, 12 сентября 1789 г.	229
92. Лотте фон Ленгефельд, 29 октября 1789 г.	231
93. Каролине фон Бейльвиц, 3 ноября 1789 г.	233
94. Лотте фон Ленгефельд и Каролине фон Бейльвиц, 15 ноября 1789 г.	235
95. Готфриду Кернеру, 23 ноября 1789 г.	239
96. Лотте фон Ленгефельд и Каролине фон Бейльвиц [30 ноября] 1789 г.	241
97. Госпоже Луизе фон Ленгефельд, урожд. фон Вурмб, 18 декабря 1789 г.	243
98. Госпоже Луизе фон Ленгефельд, 22 декабря 1789 г.	244
99. Готфриду Кернеру, 24 декабря 1789 г.	247
100. Готфриду Кернеру, 6 января 1790 г.	249
101. Отцу, Каспару Шиллеру, 7 января 1790 г.	250
102. Лотте фон Ленгефельд [8 января 1790 г.]	252
103. Готфриду Кернеру, 1 марта 1790 г.	253
104. Готфриду Кернеру, 16 мая 1790 г.	256
105. Готфриду Кернеру, 1 ноября 1790 г.	257
106. Готфриду Кернеру, 26 ноября 1790 г.	259
107. Лотте, 15 января 1791 г.	261
108. Готфриду Кернеру, 22 февраля 1791 г.	262
109. Готфриду Кернеру, 3 марта 1791 г.	264
110. Мартину Виланду, 3 октября 1791 г.	266
111. Готфриду Кернеру, 13 декабря 1791 г.	267
112. Герцогу Фридриху Христиану Августенбургскому и графу Эрнсту фон Шиммельману, 19 декабря 1791 г.	268
113. Готфриду Кернеру, 25 мая 1792 г.	270
114. Готфриду Кернеру, 6 ноября 1792 г.	273
115. Готфриду Кернеру, 21 декабря 1792 г.	274
116. Принцу Фридриху Христиану фон Шлезвиг-Гольш- штейн-Августенбургскому, 9 февраля 1793 г.	276
117. Иоганну Генриху Рамбергу, 7 марта 1793 г.	280
118. Готфриду Кернеру, 5 мая 1793 г.	282
119. Готфриду Кернеру, 27 мая 1793 г.	283
120. Готфриду Кернеру, 15 сентября 1793 г.	285
121. Готфриду Кернеру, 4 октября 1793 г.	285
122. Готфриду Кернеру, 3 февраля 1794 г.	288

123. Готфриду Кернеру, 17 марта 1794 г.	293
124. Готфриду Кернеру, 18 мая 1794 г.	295
125. Принцу Фридриху Христиану Августенбургскому, 10 июня 1794 г.	296
126. Готфриду Кернеру, 12 июня 1794 г.	298
127. Иммануилу Канту, 13 июня 1794 г.	299
128. Вольфгангу фон Гете, 13 июня 1794 г.	301
129. Вольфгангу фон Гете, 23 августа 1794 г.	304
130. Вольфгангу фон Гете, 31 августа 1794 г.	308
131. Готфриду Кернеру, 4 сентября 1794 г.	311
132. Вольфгангу фон Гете, 7 сентября 1794 г.	312
133. Шарлотте Шиллер, 20 сентября 1794 г.	314
134. Готфриду Кернеру, 9 октября 1794 г.	315
135. Вольфгангу фон Гете, 28 октября 1794 г.	317
136. Готфриду Кернеру, 10 ноября 1794 г.	319
137. Каспару и Доротее Шиллер, 21 ноября 1794 г.	321
138. Вольфгангу фон Гете, 9 декабря 1794 г.	322
139. Готфриду Кернеру, 19 декабря 1794 г.	324
140. Вольфгангу фон Гете 7 января 1795 г.	325
141. Вольфгангу фон Гете, 19 февраля 1795 г.	327
142. Вольфгангу фон Гете, 22 февраля 1795 г.	329
143. Иммануилу Канту, 1 марта 1795 г.	330
144. Вольфгангу фон Гете, 15 мая 1795 г.	331
145. Вольфгангу фон Гете, 15 июня 1795 г.	333
146. Гитлибу Фихте, 24 июня 1795 г.	335
147. Вольфгангу фон Гете, 6 июля 1795 г.	338
148. Вильгельму фон Архенгольцу, 6 июля 1795 г.	339
149. Готлибу Фихте, 4 августа 1795 г.	340
150. Вильгельму фон Гумбольдту, 9 августа 1795 г.	343
151. Вольфгангу фон Гете, 17 августа 1795 г.	345
152. Вильгельму фон Гумбольдту, 5 октября 1795 г.	347
153. Андреасу Штрейхеру, 9 октября 1795 г.	350
154. Вольфгангу фон Гете, 16 октября 1795 г.	351
155. Вильгельму фон Гумбольдту, 26 октября 1795 г.	353
156. Готфриду Гердеру, 4 ноября 1795 г.	356
157. Вильгельму фон Гумбольдту, 9 ноября 1795 г.	357
158. Вильгельму фон Гумбольдту, 7 декабря 1795 г.	361
159. Вильгельму Шлегелю, 10 декабря 1795 г.	365
160. Вильгельму фон Гумбольдту, 17 декабря 1795 г.	367
161. Готфриду Кернеру, 21 декабря 1795 г.	369
162. Вильгельму фон Гумбольдту, 25 декабря 1795 г.	371
163. Вольфгангу фон Гете, 29 декабря 1795 г.	375
164. Вильгельму фон Гумбольдту, 4 января 1796 г.	377
165. Вильгельму Шлегелю, 9 января 1796 г.	379
166. Вильгельму фон Гумбольдту, 9 и 11 января 1796 г. 381—384	381—384
167. Вольфгангу фон Гете, 22 января 1796 г.	385
168. Вольфгангу фон Гете, 31 января 1796 г.	385
169. Вильгельму Шлегелю, 11 марта 1796 г.	386
170. Готфриду Кернеру, 21 марта 1796 г.	388
171. Вильгельму фон Гумбольдту, 21 марта 1796 г.	389
172. Христофине Рейнвальд, 25 апреля 1796 г.	393

173. Готфриду Кернеру, 23 мая 1796 г.	393
174. Вольфгангу фон Гете, 18 июня 1796 г.	935
175. Вольфгангу фон Гете, 28 июня 1796 г.	397
176. Вольфгангу фон Гете, 2 июля 1796 г.	399
177. Вольфгангу фон Гете, 3 июля 1796 г.	404
178. Вольфгангу фон Гете, 5 июля 1796 г.	408
179. Вольфгангу фон Гете, 6 июля 1796 г.	412
180. Вольфгангу фон Гете, 8 июля 1796 г.	412
181. Вольфгангу фон Гете, 9 июля 1796 г.	418
182. Вольфгангу фон Гете, 23 июля 1796 г.	423
183. Вольфгангу фон Гете, 28 июля 1796 г.	424
184. Вольфгангу фон Гете, 31 июля 1796 г.	426
185. Вольфгангу фон Гете, 1 августа 1796 г.	427
186. Элизабет Шиллер, 19 сентября 1796 г.	429
187. Вольфгангу фон Гете, 19 октября 1796 г.	431
188. Вольфгангу фон Гете, 23 октября 1796 г.	433
189. Готфриду Кернеру [28 октября 1796 г.]	435
190. Вольфгангу фон Гете, 28 октября 1796 г.	436
191. Фридриху Гельдерлину, 24 ноября 1796 г.	437
192. Вольфгангу фон Гете, 28 ноября 1796 г.	438
193. Готфриду Кернеру, 28 ноября 1796 г.	441
194. Вольфгангу фон Гете, 12 декабря 1796 г.	444
195. Вольфгангу фон Гете, 17 января 1797 г.	445
196. Вольфгангу фон Гете, 7 февраля 1797 г.	446
197. Вольфгангу фон Гете, 4 апреля 1797 г.	448
198. Вольфгангу фон Гете, 7 апреля 1797 г.	449
199. Вольфгангу фон Гете, 25 апреля 1797 г.	451
200. Готфриду Кернеру, 1 мая 1797 г.	454
201. Вольфгангу фон Гете, 2 мая 1797 г.	455
202. Вольфгангу фон Гете, 5 мая 1797 г.	456
203. Вольфгангу фон Гете, 16 мая 1797 г.	459
204. Вильгельму Шлегелю [1 июня (?) 1797 г.]	460
205. Вольфгангу фон Гете, 23 июня 1797 г.	461
206. Вольфгангу фон Гете, 26 июня 1797 г.	462
207. Вольфгангу фон Гете, 7 июля 1797 г.	464
208. Готфриду Кернеру, 10 июля 1797 г.	465
209. Вольфгангу фон Гете, 17 августа 1797 г.	466
210. Вольфгангу фон Гете, 7 сентября 1797 г.	470
211. Вольфгангу фон Гете, 22 сентября 1797 г.	474
212. Вольфгангу фон Гете, 20 октября 1797 г.	476
213. Вольфгангу фон Гете, 30 октября 1797 г.	478
214. Вольфгангу фон Гете, 28 ноября 1797 г.	480
215. Вольфгангу фон Гете, 1 декабря 1797 г.	481
216. Вольфгангу фон Гете, 8 декабря 1797 г.	483
217. Вольфгангу фон Гете, 12 декабря 1797 г.	484
218. Вольфгангу фон Гете [26 декабря 1797 г.]	486
219. Вольфгангу фон Гете, 29 декабря 1797 г.	489
220. Вольфгангу фон Гете, 19 января 1798 г.	490
221. Вольфгангу фон Гете, 9 февраля 1798 г.	495
222. Вольфгангу фон Гете, 20 февраля 1798 г.	497
223. Вольфгангу фон Гете, 23 февраля 1798 г.	498

224.	Вольфгангу фон Гете, 2 марта 1798 г.	500
225.	Вильгельму фон Гумбольдту, 27 июня 1798 г.	501
226.	Вольфгангу фон Гете, 31 июля 1798 г.	507
227.	Вольфгангу фон Гете, 24 августа 1798 г.	508
228.	Готфриду Кернеру, 31 августа 1798 г.	510
229.	Августу Вильгельму Иффланду, 15 октября 1798 г.	512
230.	Фридриху Котта, 16 декабря 1798 г.	513
231.	Вольфгангу фон Гете, 22 декабря 1798 г.	515
232.	Фридриху Котта, 19 февраля 1799 г.	516
233.	Карлу Бёттигеру, 1 марта 1799 г.	517
234.	Вольфгангу фон Гете, 7 марта 1799 г.	519
235.	Вольфгангу фон Гете, 15 марта 1799 г.	519
236.	Вольфгангу фон Гете, 17 марта 1799 г.	520
237.	Вольфгангу фон Гете, 19 марта 1799 г.	520
238.	Г-же фон Кальб [20 апреля 1799 г.]	522
239.	Вольфгангу фон Гете, 26 апреля 1799 г.	523
240.	Готфриду Кернеру, 8 мая 1799 г.	524
241.	Георгу Генриху Недену, 5 июня 1799 г.	525
242.	Вольфгангу фон Гете, 25 июня 1799 г.	526
243.	Вольфгангу фон Гете, 19 июля 1799 г.	528
244.	Вольфгангу фон Гете, 2 августа 1799 г.	529
245.	Вольфгангу фон Гете, 9 августа 1799 г.	530
246.	Вольфгангу фон Гете, 16 августа 1799 г.	532
247.	Вольфгангу фон Гете, 20 августа 1799 г.	533
248.	Фридриху Гельдерлину, 24 августа 1799 г.	535
249.	Герцогу Карлу Августу, 1 сентября 1799 г.	536
250.	Готфриду Кернеру, 26 сентября 1799 г.	537
251.	Вольфгангу фон Гете, 15 октября 1799 г.	539
252.	Вольфгангу фон Гете, 25 октября 1799 г.	540
253.	Шарлотте Шиллер [4 декабря 1799 г.]	541
254.	Готфриду Кернеру, 5 января 1800 г.	541
255.	Готфриду Кернеру, 24 марта 1800 г.	542
256.	Августу Вильгельму Иффланду, 26 апреля 1800 г.	543
257.	Готфриду Кернеру, 16 июня 1800 г.	543
258.	Августу Вильгельму Иффланду, 22 июня 1800 г.	545
259.	Готфриду Кернеру, 3 июля 1800 г.	546
260.	Готфриду Кернеру, 13 июля 1800 г.	547
261.	Готфриду Кернеру, 28 июля 1800 г.	548
262.	Вольфгангу фон Гете, 13 сентября 1800 г.	549
263.	Готфриду Кернеру, 21 октября 1800 г.	550
264.	Августу Вильгельму Иффланду, 19 ноября 1800 г.	552
265.	Графине Шарлотте фон Шиммельман, 23 ноября 1800 г.	554
266.	Готфриду Кернеру, 13 января 1801 г.	557
267.	Вольфгангу фон Гете [февраль 1801 г.]	558
268.	Вольфгангу фон Гете, 16 марта 1801 г.	558
269.	Вольфгангу фон Гете, 27 марта 1801 г.	560
270.	Готфриду Кернеру, 27 апреля 1801 г.	562
271.	Вольфгангу фон Гете, 28 апреля 1801 г.	563
272.	Фридриху Шеллингу, 12 мая 1801 г.	564
273.	Готфриду Кернеру, 13 мая 1801 г.	566

274. Мартину Виланду, 17 октября 1801 г.	568
275. Готфриду Кернеру, 21 января 1802 г.	586
276. Вольфгангу фон Гете, 22 января 1802 г.	570
277. Георгу Гешену, 10 февраля 1802 г.	572
278. Готфриду Кернеру, 18 февраля 1802 г.	573
279. Вольфгангу фон Гете, 20 марта 1802 г.	574
280. Христофине Рейнвальд [10 мая 1802 г.]	576
281. Готфриду Кернеру, 9 сентября 1802 г.	577
282. Готфриду Кернеру, 15 ноября 1802 г.	579
283. Готфриду Кернеру, 29 ноября 1802 г.	581
284. Вильгельму фон Гумбольдту, 17 февраля 1803 г.	584
285. Готфриду Кернеру, 10 марта 1803 г.	585
286. Готфриду Кернеру, 28 марта 1803 г.	586
287. Готфриду Кернеру, 12 мая 1803 г.	588
288. Шарлотте фон Шиллер, 4 июля 1803 г.	589
289. Вильгельму фон Гумбольдту, 18 августа 1803 г.	591
290. Вольфгангу фон Гете, 21 декабря 1803 г.	593
291. Вольфгангу фон Гете, 14 января 1804 г.	595
292. Августу Вильгельму Иффланду, 23 января 1804 г.	595
293. Вольфгангу фон Гете, 6 июня 1804 г.	596
294. Вильгельму фон Вольцогену, 16 июня 1804 г.	597
295. Карлу Фридриху Бейме, 18 июня 1804 г.	598
296. Вольфгангу фон Гете, 3 августа 1804 г.	599
297. Шарлотте фон Шиллер, 21 августа 1804 г.	600
298. Готфриду Кернеру, 11 октября 1804 г.	601
299. Готфриду Кернеру, 10 декабря 1804 г.	602
300. Вольфгангу фон Гете, 14 января 1805 г.	603
301. Готфриду Кернеру, 20 января 1805 г.	604
302. Вольфгангу фон Гете, 22 февраля 1805 г.	605
303. Вольфгангу фон Гете, 27 марта 1805 г.	605
304. Вильгельму фон Гумбольдту, 2 апреля 1805 г.	606
305. Готфриду Кернеру, 25 апреля 1805 г.	609
Письма Шиллера. <i>Р. Самарин.</i>	613
Комментарии. <i>Н. Славягинский.</i>	637
Летопись жизни и творчества Фридриха Шиллера. <i>Л. Лозинская.</i>	699
Алфавитный указатель произведений Фридриха Шиллера, включенных в 1—7 тт. Собрания сочинений	763
Алфавитный указатель адресатов	772

Фридрих Шиллер
Собрание сочинений, т. 6

Редактор *Б. Арон*

Художник *Г. Фишер*

Художественный редактор

Л. Калитовская

Технический редактор *Л. Сутина*

Корректор *Н. Бондарчук*

Сдано в набор 16/V—57 г.
Подписано к печати 19/IX—57 г.
Бумага 84 × 108¹/₃₂. 24³/₄ печ. л.
40,38 усл. печ. л. 38,07 уч.-изд. л.
Тираж 75 000. Зак. 2617.
Цена 12 руб.

Гослитиздат.

Москва, Б-66, Ново-Васманная, 19.

Типография «Красный пролетарий»

Госполитиздата

Министерства культуры СССР.

Москва, Краснопролетарская, 16.